

Министерство образования Российской Федерации
Волгоградский государственный педагогический университет

Научно-исследовательская лаборатория
«Аксиологическая лингвистика»

Н. А. Красавский

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ
В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

1 $\frac{02 - 1}{23 - 0}$

Монография

Волгоград
«Перемена»
2001

ББК 81.411.2-4
К 784



Научный редактор:

доктор филологических наук, профессор *В.И. Карасик*
(Волгоградский государственный педагогический университет).

Рецензенты:

доктор филологических наук, профессор *З.Е. Фомина*
(Воронежский государственный университет);

доктор филологических наук, профессор *В.М. Савицкий*
(Самарский государственный педагогический университет).



2004175007

Красавский Н.А.

К 784 Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингво-
культурах: Монография. – Волгоград: Перемена, 2001. – 495 с.
ISBN 5-88234-515-4

Рассматривается актуальная проблема сопоставительного изучения эмоциональных концептов в немецкой и русской лингвокультурах. Впервые в отечественной лингвистике предпринята попытка разноаспектного сравнительного синхронно-диахронического исследования номинаций базисных эмоций в немецком и русском языках. Предлагается лингвокультурологический подход к изучению формирования и функционирования немецкой и русской концептосфер эмоций.

Адресовано широкому кругу филологов, лингвокультурологам, этнолингвистам, психологам и специалистам-гуманитариям, работающим в парадигме культурных концептов.

ББК 81.411.2-4

ISBN 5-88234-515-4

© Н. А. Красавский, 2001

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| Предисловие | 4 |
| Введение | 7 |
| Глава 1. ОНТОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОН- ЦЕПТОВ | 30 |
| 1.1. Понимание природы эмоций и их классификация в психологии | 30 |
| 1.2. Толкование понятия «концепт» в современной лингвистике | 40 |
| 1.3. Определение социального феномена «эмоциональный концепт» | 59 |
| Глава 2. СПОСОБЫ СИМВОЛИЗАЦИИ И СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИЙ | 77 |
| 2.1. Невербальная и вербальная коммуникации как способы симво- лизации эмоций | 77 |
| 2.2. Средства языковой концептуализации эмоций | 100 |
| Глава 3. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИО- НАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ ЯЗЫКО- ВЫХ КУЛЬТУРАХ | 120 |
| 3.1. Этимолого-культурологический анализ номинантов эмоций | 120 |
| 3.2. Лингвокультурологическая характеристика эмоциональных концептов в лексикографии | 167 |
| 3.3. Парадигматические связи номинантов эмоций в немецком и русском языках | 218 |
| 3.4. Синтагматические связи базисных номинантов эмоций в немецком и русском языках | 263 |
| 3.5. Концептуализация эмоций в мифологической, мифолого- религиозной и современной наивной и научной картинах мира | 321 |
| Заключение | 449 |
| Перечень библиографических ссылок | 463 |
| Список словарей и сокращений | 492 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Лингвокультурология, обязанная своим происхождением антропологически ориентированной лингвистике, интенсивно развивающаяся со второй половины 90-х годов XX в. в самостоятельную лингвогуманитарную парадигму, имеет своим исследовательским объектом две знаковых системы – язык и культуру, представляющие собой неразрывно связанные друг с другом социальные феномены. Ее основной исследовательской целью является анализ культурно-языковой компетенции членов того/иного этноса, изучение их менталитета как носителей конкретного лингвокультурного коллектива. Данным обстоятельством, как мы понимаем, объясняется приоритетность и теоретико-прикладная ценность исследований *культурной семантики* языка как в отечественном, так и зарубежном языкознании (см.: Воробьев 1997; Карасик 1996, с. 3–16; Кубрякова 1999, с. 6–13; Маслова 1997; Постовалова 1999, с. 25–33; Вежбицкая 1999; Bayer 1994; Fleischmann 1999, с. 16–33 и др.).

Становление лингвокультурологии как комплексной дисциплины, изучающей язык во взаимосвязи с культурой, объективно предполагает формирование соответствующего терминологического аппарата. Одним из ее базисных понятий является концепт, привлекающий внимание многих исследователей – лингвистов, филологов, специалистов по искусственному интеллекту, когнитологов (Лихачев 1997, с. 280–287; Степанов 1997, с. 40–42; Стернин 1999, с. 69–79; Grabowski, Harras, Hertmann 1996; Schwarz 1992 и др.). Отсутствие единого понимания в определении концепта как центрального понятия лингвокультурологии свидетельствует прежде всего о трудностях формирования новой научной парадигмы / новой научной дисциплины. Объективные сложности, возникающие на пути лингвокультурологов, судя по современным отечественным публикациям, стимулируют появление большого количества работ, вы-

полненных в рамках одной из самых молодых лингвогуманитарных дисциплин.

Безусловно, важное место в лингвокультурологических изысканиях, как показывает обзор научной литературы, занимает традиционно актуальная для мировой филологии проблема – язык эмоций (см.: Бабенко 1989; Фомина 1996; Шаховский 1988; Вежбицкая 1997, с. 326–375; Buck 1984; Buller 1996, p. 271–296; Zillig 1982). В отличие от традиционного – лингвистического (преимущественно семасиологического) – описания языка эмоций лингвокультурологический подход к его изучению представляет значительную теоретическую и практическую ценность не только для филологии, но в целом для всего гуманитарного знания (главным образом, для этнопсихологии, этносоциологии, этнографии, культуроведения, лингвокультурологии и когнитологии). Лингвокультурологическое (в отличие от собственно филологического) изучение психической ипостаси *разноэтносных* языковых личностей заключается прежде всего в том, что оно позволяет выявить особенности культурных предпочтений и доминант, в целом специфику устройства психического, внутреннего, ментального мира представителей определенной этнической общности, языкового коллектива, его менталитет.

Вербализация мира, в особенности мира эмоций, *per definitionem*, этноспецифична, что обусловлено самыми разнообразными факторами экстра- и интралингвистического порядка, детерминирующими жизнь языка, его функционирование, происходящие в нем структурно-семантические, функциональные трансформации (см.: Верещагин, Костомаров 1990, с. 14; Каган 1990, с. 357; Косериу 2001; Hudson 1991, p. 120–128). Языковые обозначения эмоций, насколько мы можем судить, до недавнего времени практически не исследовались отечественными учеными в сопоставительном *лингвокультурологическом синхронно-диахроническом* аспекте, что, по нашему мнению, во многом затрудняет поиски ответов на многочисленные вопросы, касающиеся динамики развития самих культурных эмоциональных концептов, их лингвоспецифической структуры и функционирования в разных языковых сообществах, в целом — в разных национальных культурах.

В многочисленных лингвистических изысканиях, имеющих своим предметом исследование языка эмоций, указывается на теоретическую и практическую важность его основательного изучения (Маркелова 1997, с. 66–75; Телия 1987, с. 65–74; Jaeger, Plum 1989, S. 849–

855 и др.). При этом, как правило, речь идет об изучении исключительно *собственно языкового механизма* обозначения психических переживаний человека. Вне поля зрения (или, в лучшем случае, на его периферии) ученых остаются многочисленные и очень важные экстралингвистические факторы, оказывающие воздействие на эмоциональную сферу жизнедеятельности человека. Несмотря на относительно новую, но все же в значительной степени уже сформировавшуюся, заявившую о себе языковедческую парадигму – «лингвистика эмоций», – в большинстве выполненных в ее рамках работ (Баженова 1990; Буряков 1979, с. 47–59; Вильмс 1997; Гридин 1976; Шахова 1980; Широкова 1999, с. 61–65 и др.) обычно не принимаются во внимание особенности менталитета того / иного этноса – особенности народной психологии, национального характера, этнокультурологическая специфика бытия той / иной этнической общности, архитектоника национальной культуры и т.п. Следствием такого ограниченного филологическими рамками научного подхода является достаточно большое количество лингвистических работ, ставящих перед собой задачи преимущественно лишь описания языковых механизмов вербализации эмоций, что далеко недостаточно для действительно глубокого осмысления онтологии психических переживаний, столь релевантных для всякой культуры и цивилизации.

Перспективными, по нашему убеждению, могут стать исследования, выполненные в пограничной зоне интересов, на первый взгляд, казалось бы, разных, но в действительности максимально близких смежных наук – лингвистики, культурологии, этнографии, этнологии, социологии, психологии и истории. Особую важность при этом представляет изучение эволюции, становления эмоциональной номинативной системы. Диахроническое исследование ее элементов – вербальных знаков, выступающих в качестве носителей определенных концептов конкретной культуры, – имеет большое значение для определения самого процесса формирования и функционирования ее эмоционального фрагмента, занимающего значительное место в человеческой концептуальной и языковой картине мира.

Таким образом, недостаточная теоретическая изученность эмоциональных концептов как структурно-смысловых культурных образований, релевантных для носителей, пользователей языка, вкупе с прикладным значением проблемы эмоций для филологии и в целом для гуманитарных наук служат, на наш взгляд, обоснованием необ-

ходимости предпринимаемого в настоящей монографии исследования. Его целью является комплексное сопоставительное лингвокультурологическое изучение сущности эмоциональных концептов как структурно- и содержательно-сложных, многомерных вербализованных мыслительных конструктов человеческого сознания в русской и немецкой языковых культурах.

Выражаю глубокую благодарность научному консультанту — доктору филологических наук, профессору В.И. Карасику за активную поддержку и помощь в подготовке монографии, а также уважаемым рецензентам — доктору филологических наук, профессору З.Е. Фоминой и доктору филологических наук, профессору В.М. Савицкому за критические замечания и рекомендации; доктору филологических наук, профессору В.П. Москвину, сделавшему важные замечания.

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что истина, добытая трудом многих поколений, потом легко дается даже детям, в чем и состоит сущность прогресса; но менее известно, что этим прогрессом человек обязан языку. Язык есть потому же условие прогресса народов, почему он орган мысли отдельного лица.

А.А. Потебня

Аксиоматично звучит сегодня тезис о том, что языкознание относится к базисным наукам гуманитарного знания. Уникальность статуса лингвистики (прежде всего среди гуманитарных наук) заключается в самом объекте ее изучения — языке, формирующем и развивающем человеческую мысль, кодирующем человеческий опыт, с одной стороны, а с другой, выступающем как «орудие анализа мира» (Лурия 1998, с. 48). Уместно вспомнить содержательную характеристику языка датского ученого Л. Ельмслева, справедливо отметившего высокий эвристический потенциал лингвистики при толковании вербализованного человеком мира. Более полувека тому назад в своих хорошо известных лингвистической общественности «Прологоменах к теории языка» он указал на необходимость изучения языка как самого продуктивного способа интерпретации человеческой мысли

и в целом культуры: «Язык, рассматриваемый как знаковая система и как устойчивое образование, используется *как ключ* к системе *человеческой мысли*, к природе человеческой психики. Рассматриваемый как надындивидуальное социальное учреждение язык служит для *характеристики нации*. Рассматриваемый как колеблющееся и изменяющееся явление, он может открыть дорогу как к пониманию стиля личности, так и к событиям жизни прошедших поколений» (Ельмслев 1999, с. 132, курсив мой.— Н.К.).

Язык как активный посредник («Zwischenwelt» в терминологии немецкого классика Л. Вайсгербера) между действительностью и сознанием Номо loquens, как показывает анализ специальной литературы, в последние два — три десятилетия все чаще и чаще попадает в орбиту интересов многих специалистов смежных с лингвистикой научных дисциплин — логиков, психологов, психоаналитиков, социологов, культурологов, этнографов, этнологов, в целом — культур-антропологов. Тенденция, точнее говоря, теперь уже закономерность обращения ученых-гуманитариев как к теоретическим воззрениям языковедов, так и непосредственно к созданной ими обширной эмпирической базе свидетельствует, во-первых, о релевантности языковых фактов для адекватного всестороннего научного объяснения мира и, во-вторых, о явно выраженной интеграции наук, расширяющей горизонты человеческого познания объективной и субъективной действительности.

Как известно, в науковедении, особенно в последнее время, все более настойчиво и убедительно отстаивается положение, согласно которому будущее науки — за многоаспектным, комплексным исследованием феноменов мира. Интегрированный подход к их изучению — примета сегодняшнего дня. Общим местом многих современных публикаций стало аргументированное утверждение о том, что решение многочисленных фундаментальных вопросов (в том числе и лингвистически ориентированных, например, язык и мышление, язык и сознание, слово и мысль и т.д.) принципиально не может быть найдено в рамках прокрустова ложа какой-либо частной науки, ограниченные возможности которой не позволяют исследователям глубоко и всесторонне изучать то / иное явление мира. Отсюда вполне логично и естественно интегрирование многих, на первый взгляд, казалось бы, столь разных и несовместимых наук — математики и лингвистики, кибернетики и лингвистики и т.п. Данный процесс с полным правом можно считать событием знакового характера, в особенности для второй половины минувшего XX столетия. Отмеченное выше интегри-

рование наук правомерно определить как закономерный и необходимый процесс эволюции человеческой цивилизации, задающий векторы дальнейшего успешного развития научного знания вообще и гуманитарного в частности.

Одним из таких важнейших векторов, определяющим траекторию поступательного движения современной филологической науки, является антропоцентрический / антропологический (в терминологии Ю.С. Сорокина — антропофилический) подход к изучению сущности *Homo loquens* (см.: Арутюнова 1999; Богуславский 1994; Карасик 1992; Карасик 2000, с. 5–18; Кузнецов 2000, с. 8–22; Мамонтов 2000; Морковкин 1988, с. 131–136; Мурзин 1995, с. 11–12; Сорокин 1999, с. 52–57). Формирование антропоцентрически ориентированной лингвистики можно квалифицировать как своеобразную реакцию ученых на исчерпавший свой объяснительный потенциал в середине XX в. структурализм (датская глоссематика, трансформационная грамматика Н. Хомского и его учеников и т.п.), рассматривающий язык вне человека, а человека вне языка. Абсолютно актуальным и совершенно справедливым можно признать высказанное еще в 1965 г. в журнале «Вопросы языкознания» замечание В.И. Абаева о наметившейся в то время дегуманизации лингвистики и культуры в целом: «Любая общественная наука изучает в конечном счете человека... Сказанное в полной мере относится и к языкознанию. Не изгнать человеческий фактор, как рекомендуют структуралисты, а раскрыть во всей полноте его роль в языке – вот высшее назначение языкознания как общественной науки» (Абаев 1965, с. 38). Легко заметить, что в данном случае речь идет о критике модных в то время лингвистическом структурализме и формализме, которые, с одной стороны, безусловно, явились необходимым этапом в развитии филологического знания, обогатили его новой методологией и подходами, а с другой – «спрятали» сам объект лингвистического исследования, выхолостив из языковедческой парадигмы содержательную сторону языка как социального явления.

Расширение объектов лингвистического изучения, постоянное «расшатывание» границ классического языкознания с его соссюрдовской установкой «изучать язык в самом себе» (Серебрянников 1988, с. 8), отказ от «имманентной» лингвистики, постановка, в частности языковедами, вопросов лингвокультурологического, лингвоэтнографического, лингвосociологического и, наконец, лингвопсихологического плана – таков в самых общих чертах портрет современного языковедения. Оно становится все более «человечным», поскольку в поле

его зрения оказываются многие ранее нетрадиционные для него вопросы – этнография речи, язык социального статуса, культурная семантика, национально-культурная специфика семантики языка и многие другие. В этой связи хотелось бы вспомнить высказанные более десяти лет назад слова академика Б.А. Серебренникова, прогнозировавшего и угадавшего «человеческое» развитие филологической науки: «При антропологическом подходе к изучению языковых явлений необходимо решение такой фундаментальной задачи, как определение влияния человека на его язык и языка на человека, его мышление, культуру, его общественное развитие в целом» (Серебренников 1988, с. 9, курсив мой. – Н.К.).

Антропоцентрический подход к изучению «дома бытия» (М. Хайдеггер) и соответственно человека, его построившего и в нем проживающего, предполагает комплексное, а значит многоаспектное, всестороннее рассмотрение сущности человеческой природы, столь необходимое для самопознания, самоидентификации человека на современном этапе его развития. Результатом такого симбиоза можно считать появление новых научных дисциплин, сформировавшихся на стыке традиционных и, более того, уже успевших о себе заявить посредством предложенных ими конкретных способов толкования социальной действительности. Многообещающими, в частности, являются рассматриваемые современными учеными перспективы когнитологии – науки, представляющей собой «пограничную» область знания философии, лингвистики, психологии и кибернетики. Ее, безусловно, важнейшей компонентой является лингвистика, предмет изучения которой – язык как социальный феномен, вобравший в себя в форме знаков элементы материальной и духовной культуры человека. Составляющими культуры являются человеческая мысль, понятия, представления, т.е. в целом ментальный мир *Homo sapiens*, реально существующий в языковых знаковых формах, распрепредмечивание которых позволяет исследователю с определенной степенью достоверности установить этапы развития эволюции человеческого мышления и сознания, определить закономерности их становления, выявить социокультурные доминанты того / иного лингвоэтноса во временных и пространственных рамках и т.п. Язык как социальное явление, таким образом, представляет интерес не только для лингвистики, филологии в целом, но и для многих других наук. Его можно изучать, по справедливому замечанию Б.А. Серебренникова, «с самых различных точек зрения и в самых различных аспектах с помощью различных наук» (Серебренников 1983, с. 195).

В рамках антропоцентрической парадигмы филологической науки отечественные ученые выделяют такие ее важнейшие перспективные направления, как лингвогносеология (когнитология), лингвосоциология, лингвопсихология, лингвоэтнология, лингвопалеонтология и лингвокультурология (Постовалова 1999, с. 29). В известном смысле отмеченные направления указанной филологической парадигмы условны (методологически необходимы!), поскольку в действительности предметом их изучения является человеческий язык – смыслообразующий посредник между сознанием и миром. Отмеченные выше В.И. Постоваловой лингвогуманитарные парадигмы обнаруживают со всей очевидностью зону пересечения общих интересов смежников – языковедов, когнитивистов, культурологов и т.д. Обзор современных как зарубежных, так и отечественных разножанровых научных публикаций позволяет заметить повышенный интерес ученых к исследованию лингвокогнитивной деятельности языковой личности (Арутюнова 1991, с. 7–23; Беляевская 2000, с. 9–14; Демьянков 1994, с. 17–33; Колшанский 1990; Кубрякова 1996, с. 3–10; Ольшанский 2000, с. 26–55; Степанов 1997а; Шахнарович 2000, с. 38–42; Lakoff 1987; Langacker 1990; Sager 1995; Schwarz 1996; Taylor 1995 и др.). Примечательно то обстоятельство, что сегодня во многих работах российских лингвистов-когнитивистов (Воркачев 2001, с. 64–72; Бабушкин 1996 и др.) ставится акцент на этнокультурологической ипостаси «говорящего человека». Учет языковедами этнокультурологических сведений при исследовании концептов, безусловно, способствует становлению и интенсивному развитию парадигмы лингвистического концептуализма, объектом изучения которой, на наш взгляд, можно считать прежде всего вербализованные концепты, функционирующие в разных лингвокультурах. Свидетельством успешного развития данной парадигмы может служить появление в отечественной филологии специальных терминов – «концепт», «культурный концепт», «концептосфера», «семиосфера», «лингвокультурема», отражающих смену исследовательских приоритетов. Самый факт формирования лингвистического концептуализма мы оцениваем как убедительный аргумент в пользу признания полипарадигмального подхода к изучению языка в лингвистике 90-х годов XX в.

Обзор современной теоретической литературы позволяет заметить все возрастающее в геометрической прогрессии количество работ, авторы которых так / иначе апеллируют к понятию «концепт». Более того, в некоторых из них предлагается создание специальной науки – концептологии, объектом исследования которой должны

стать концепты. «Концептология: это междисциплинарный интегративный подход к пониманию и моделированию сознания, познания, общения, деятельности» (Ляпин 1997а, с. 34). По мнению С.Х. Ляпина, концепт есть ее центральное понятие и основной исследовательский метод (Ляпин 1997а, с. 34). Данная наука, формирование которой еще предстоит осуществить, должна интегрировать часто, как мы понимаем, разрозненные интеллектуальные усилия исследователей из разных областей знания с целью эффективного изучения, в частности, важнейшего компонента человеческого языкового сознания – концепта.

Центральное место в понятийно-категориальном аппарате современного языкознания и, в частности, указанной выше парадигмы занимает предложенный лингвистической общественности Ю.Н. Карауловым термин «языковая личность». По авторитетному мнению его создателя, языковая личность является той «сквозной идеей, которая ... пронизывает и все аспекты изучения языка и одновременно разрушает границы между дисциплинами, изучающими человека, поскольку нельзя изучать человека вне его языка» (Караулов 1987, с. 3). Симптоматично, на наш взгляд, издание в России целой серии научных сборников с названием «Языковая личность», авторы которых активно разрабатывают данное понятие (см., например: Добровольский, Караулов 1993, с. 5–15; Карасик 1996, с. 3–16; Сентенберг 1994, с. 14–24; Сиротинина, Кормилицына 1995, с. 15–18). Под языковой личностью Ю.Н. Караулов понимает «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью» (Караулов 1989, с. 3). В рассматриваемом понятии, по Ю.Н. Караулову, целесообразно вычленение трех уровней – вербально-семантического (нормальное владение языком), когнитивного (набор систематизированных идей, понятий, концептов) и прагматического (цели, мотивы, установки коммуникантов) (Там же, с. 5).

Терминосочетание «языковая личность» имеет свои «дериваты» – «говорящая личность», «коммуникативная личность» (см., например, Красных 1998, с. 17–18), «эмотивная языковая личность» (Шаховский 2000, с. 122), что служит, во-первых, убедительным доказательством перспективности и актуальности антропоцентрически ориентированной лингвистики и, во-вторых, удачным выбором Ю.Н. Карауловым самого словосочетания для собирательного обозначения емкого лингвокультурологического понятия.

Приведенная выше дефиниция языковой личности позволяет выделить в ней различные аспекты, в частности прагматико-мировоззренческий, кумулятивно-репродуктивный и креативный (подробнее см.: Сентенберг 1994, с. 12–24). К ним, по нашему мнению, можно отнести и эмотивно-прагматический аспект (эмотикон) языковой личности, под которым в самом общем виде мы понимаем способность Homo loquens посредством употребления языковых единиц (уровень языковой и когнитивной компетенции) эксплицитировать свои оценочные суждения (уровень интенции), объектом которых являются самые различные фрагменты мира. Эмотикон языковой личности находит свое выражение на уровне как авербальных средств (жесты, мимика и т.п., т.е. паразэмотикон), так и вербальных знаков (собственно эмотикон). К последним относятся разноуровневые средства языка. Наиболее часто используемыми при этом являются лексические языковые средства – экспликации, дескрипции и номинации психических переживаний человека. Они неоднократно подвергались эмотивистами разностороннему лингвистическому анализу, однако не потеряли своей актуальности и сегодня (Брагина 1998, с. 41–63; Вежбицкая 1997 г, с. 326–375; Маслова 1991, с. 179–204; Фомина 1996; Шахнарович, Графова 1991, с. 99–113; Шаховский 2000, с. 121–128; Широкова 1999, с. 61–65; Dolnik 1994, S. 504–513; Jaeger, Plum 1989, S. 849–855; Kuehn 1987, S. 267–278 и др.), что обусловлено сложностью изучения психических явлений.

Фундаментальное результативное исследование их сущности вряд ли возможно в рамках какой-либо частной науки, которая, как было отмечено ранее, всегда имеет некоторые методологические ограничения, выражающиеся, в частности, в редуцированном наборе специальных методик. Их даже самое филигранное применение объективно не может вскрыть в полной мере онтологию изучаемого феномена во всех его аспектах. Отсюда следует необходимость интеграции усилий ученых разных наук. Многие психологи, в центре внимания которых находится вопрос изучения сущности психических переживаний человека, постоянно указывают на необходимость их изучения и другими непсихологическими науками, что должно привести к более полному познанию этого загадочного, в высшей степени самого «человеческого» и сложного явления (см.: Изард 1999; Лук 1982; Рубинштейн 1984, с. 152–161; Ekman 1971, p. 207–283; Ortony, Clore, Collins 1988). Подобного рода «призывы» к интегрированию наук с целью более полного изучения эмоционального мира человека во многом объясняются, как нам кажется, «панлингвизмом» всех фраг-

ментов нашего бытия. Иначе говоря, знаковый характер «мира вещей», вербализация объективной и субъективной реальности, находящейся в орбите интересов ученых, провоцирует обращение за помощью к лингвистам и специалистам смежных с языкознанием наук – семиотикам, этнографам, культурологам и т.д. Так, известный психолог П.М. Якобсон полагал, что «...процесс *осознания чувств* непременно *предполагает его обозначение*, название его соответствующим словом; только в этом случае испытываемое чувство может быть осознано» (Якобсон 1956, с. 41, курсив мой. – Н.К.). Возможно, данное утверждение носит дискуссионный характер, поскольку, как хорошо известно из лакунарной теории (см., например, Sorokin 1993, S. 167–173; Стернин 1999, с. 69–79), отсутствие специального знака в естественном языке для номинации того / иного понятия еще не означает отсутствия последнего в концептуальной картине мира носителя того / иного языка. Вместе с тем мы считаем, что сам факт нахождения понятия, в том числе и эмоционального, на семиотической карте конкретного языка может свидетельствовать о его глубинной концептуальной разработанности в том / ином лингвоэтносе и, следовательно, психологической (шире культурологической) актуальности для его членов.

Проблема оязыковлени психических констант в разных этнических сообществах представляется чрезвычайно релевантной не только для филологов и психологов, но и лингвокультурологов и в целом — для когнитологов. Изучение психических переживаний с лингвокультурологических и лингвокогнитивных позиций необходимо, поскольку в этом случае становится возможным вскрытие особенностей устройства и функционирования этнического и индивидуального языкового сознания, самого ментального мира членов определенного языкового коллектива. Общеизвестно, что в *разных языках* эмоции в *разной степени* вербализованы (см.: Вежицкая 1997а, с. 33–88; Вежицкая 1997г, с. 326–375; Головановская 1997, с. 224–271; Городникова 1985; Lutz 1988). Этот факт вряд ли следует толковать исключительно с позиций интралингвистики – в терминологии А.А. Уфимцевой «техническими возможностями» (Уфимцева 1977, с. 13) того / иного языка, например, его разветвленной аффиксальной системой и т.п. Безусловно, объяснения собственно лингвистического характера нередко бывают вполне целесообразными, оправданными, по своей сути значимыми, однако считать их исчерпывающими и исключительно основными не совсем правомерно. Мы полагаем, что более подробное обозначение эмоционального мира в опреде-

ленном языке (см., например: Красавский 1992) далеко не обязательно является результатом преимущества «техники» одного языка над другим. На наш взгляд, с точки зрения здравого смысла естественно предположение о различной степени актуальности вербализуемого разноуровневыми языковыми средствами понятия в том / ином этносе. Языковая избирательность, свойственная тому / иному культуроносителю (термин Д.С. Лихачева) при вербализации конкретного фрагмента мира, в значительной мере детерминирована культурной релевантностью последнего. Установление степени культурной релевантности того / иного сегмента человеческого бытия, в том числе и его психического фрагмента, для конкретного этноса – задача чрезвычайно сложная и, думается, трудновыполнимая в смысле успешной реализации исследователями какой-либо *одной* области знания. В этой связи с известной долей уверенности можно говорить о значительной роли лингвистов, работающих в полипарадигмальном поле – в этнокультурологической, социальной и когнитивной лингвистике. Посредством сбора объемного эмпирического материала и последующего его научного анализа они могут внести и, более того, уже вносят свой существенный вклад в решение задачи исследования общности и специфики разноэтнического семиотического пространства.

Обзор специальной литературы позволяет заключить, что, во-первых, проблема вербализации психических переживаний в разных лингвокультурах в сопоставительном аспекте мало разработана и, во-вторых, ее исследование имеет несомненную теоретическую и прикладную ценность не только для филологии, но и гуманитарных наук вообще (см., например, Апресян 1995, с. 453–465; Арутюнова 1999б, с. 385–398; Маркелова 1997, с. 66–75; Jaeger, Plum 1989, S. 849–855).

Изложенное выше приводит нас к постановке следующей цели предпринятого исследования: провести *комплексное сопоставительное лингвокультурологическое изучение сущности эмоциональных концептов как структурно- и содержательно-сложных, многомерных вербализованных мыслительных конструктов человеческого сознания в русской и немецкой языковых культурах*. Определяя в самом первом приближении эмоциональный концепт как трехкомпонентную структуру, состоящую из понятия, образа и культурной ценности, мы намерены рассмотреть этот феномен в *динамике* его функционирования в культурно-вербальном пространстве немецкого и русского языков.

Обозначенная цель предполагает решение следующих *основных* исследовательских *задач*: 1) определить понятие «эмоциональный концепт»; 2) лингвистически классифицировать эмоциональные

концепты; 3) составить дискурсную типологию вербализованных эмоциональных концептов; 4) выявить феноменологические сходства и различия в архитектонике разнотипных эмоциональных концептов; 5) провести сопоставительный лингвокультурологический анализ эмоциональных концептов в их динамике в немецкой и русской языковых культурах; 6) лингвистически верифицировать психологическую классификацию эмоций.

Реализация научных задач предполагает выбор адекватных им и самому практическому материалу исследовательских методов. Мы считаем целесообразным использование следующих (помимо общих методов – (сопоставительного, сравнительно-исторического, дедуктивного, индуктивного, интроспективного) частных *лингвистических методов и приемов*: 1) метод компонентного дефиниционного анализа; 2) этимологический анализ; 3) метод интерпретации; 4) контекстуальный анализ; 5) метод лингвистического интервьюирования (фрагментарно); 6) прием количественного подсчета.

Выявить глубину определенных идей, представлений, понятий, концептов, составляющих стержень той / иной национальной культуры, принципиально возможно на уровне соответствующего анализа лингвистической эмпирической базы, поскольку язык как семиотическая система отражает в форме знаков всевозможные комбинации реальных и ментальных действий человека. Вместе с тем следует заметить, что сам по себе даже самый богатый, разнообразный лингвистический материал, подвергнутый языковедами специальному филологическому анализу, может легко ввести в заблуждение, оказаться не строго научным, если его исследователями не будут приняты во внимание факты из смежных с языковедением гуманитарных дисциплин. При недооценке их значимости возрастает степень вероятности искаженного, неадекватного действительности толкования человеческого бытия, в том числе и его эмоциональной ипостаси. Данными соображениями обусловлено использование помимо названных выше лингвистических методов доступных нам данных о феномене эмоций из области гуманитарных наук – культурологии, культурологической антропологии, этнографии, этнологии, религиоведения, истории, социологии, психологии, психоанализа, экзистенциальной философии. Привлечение сведений об изучаемом нами феномене из указанных сфер человеческого знания принципиально необходимо, поскольку в задачи предпринимаемого исследования входит изучение концептов в *синхронно-диахронической* плоскости

двух относительно удаленных лингвокультур – русской, квалифицируемой специалистами как византийский тип культуры (Георгиева 1998, с. 27–29), и немецкой, представляющей собой англосаксонский тип культуры (Вежбицкая 1997а, с. 38–41).

Единицами анализа настоящего исследования выступают прямые номинации эмоций немецкого и русского языков (слова типа *Schrecken*, *Freude*, *ужас*, *радость* и т.п.), объединенные лингвистами на основании их понятийной эквивалентности в соответствующие синонимические ряды: *Angst* – страх, *Freude* – радость, *Trauer* – печаль, *Zorn* – гнев. При выборе для лингвокультурологического анализа *данного* лексико-семантического объединения, вербализующего фрагменты эмоциональной концептосферы, мы исходили из следующих соображений.

Поскольку мир эмоций как в русском (Вежбицкая 1997а, с. 37–43 и др.), так и в немецком языках (Городникова 1985; Leewen-Turnovcova 1996, S. 305–337 и др.) достаточно детально семантизирован, в том числе и однословными номинациями, то анализирующий его исследователь стоит перед трудной задачей выбора ограниченного набора лексем. Мы считаем правомерным воспользоваться осуществленной психологами селекцией так называемых *базисных* эмоций, которыми, как правило, приписывается статус универсальных психических явлений (Витт 1984, с. 3–28; Изард 1980; Нойманн 1998, с. 354–360; Риман 1998, с. 13–14; Фрейд 1989, с. 43–48; Buck 1984, р. 28–30; Ekman, Friesen 1981, р. 79–80; Sparhawk 1981, р. 430–432; Tomkins, McCarter 1964, р. 120–122). В одной из своих работ психолингвист Е.Ю. Мягкова с целью установления «списка имен эмоций», отмеченных в многочисленных классификациях психических переживаний (Васильев, Поплужный, Тихомиров 1980; Вилюнас 1984, с. 3–28; Джемс 1984, с. 83–92; Додонов 1978; Изард 1980; Лук 1982; Никифоров 1978; Симонов 1982, с. 44–56; Спиноза 1984, с. 29–46), пришла к выводу о том, что разные авторы называют разное количество основных (базальных, базисных, фундаментальных) эмоций (Мягкова 1990, с. 65–66). Мы при изучении данных «списков» обнаружили, что при этом практически всеми психологами в качестве базисных называются страх, радость, гнев и печаль.

По утверждению Н.В. Витт, «...существуют достаточно веские основания полагать, что именно базальные (т.е. базисные, примеч. мое. *Н.К.*), обобщенно репрезентирующие всю палитру разнообразных эмоций, выступают в качестве *родовых* по отношению к соответствующим группам других эмоций» (Витт 1983, с. 31, курсив

мой. – Н. К.). Ранее к аналогичным выводам пришел психолог Дж. Блок, экспериментально установивший «групповое родство человеческих эмоций» (Block. – Цит. по: Рейковский 1979, с. 165–166).

Отмеченное психологией групповое родство эмоций подтверждается многочисленными лингвистическими данными. Если входящие в эмоциональные зоны вербализованные элементы семантически проанализировать, то, как было установлено рядом выполненных на материале разных языков семасиологических работ (см.: Красавский 1999, с. 134–141; Шахова 1980), выводы психологов во многом окажутся лингвистически подтвержденными. Здесь, в частности, имеется в виду наличие большого количества отражающих элементы «эмоциональных зон» синонимических рядов (см.: Красавский 1999, с. 134–141).

Современными учеными (Воробьев 1997; Голованивская 1997; Попова, Стернин 2001, с. 19–22 и др.) лингвокультурологический анализ концептов проводится посредством применения *полевого* метода, предполагающего описание семантически однопорядковых языковых единиц, формирующих тот / иной фрагмент вербального мира. С целью получения более достоверных лингвокультурологических данных о жизни эмоциональных концептов в русской и немецкой концептосферах, мы считаем целесообразным использование вышеуказанного метода. Таким образом, предметом нашего исследования являются субстантивные синонимические ряды номинативного поля эмоций в двух языках.

Выбор для предполагаемого лингвокультурологического анализа *субстантивно* оформленной лексики обоснован самим категориальным статусом данного класса слов. Именно «существительные сосредоточивают мысль на том, что воспринимается как *устойчивые* элементы человеческого опыта» (Givón; Sasse. – Цит. по: Вежицкая 1999в, с. 164). Не случайно во многих работах, рассматривающих культурные концепты (Вежицкая 1999; Голованивская 1997; Локтионова 1999, с. 12–23; Шмелев 1991, с. 55–58; Boehme 1993а, S. 302–306; Kuesters 1993, S. 307–317 и др.), предпочтение отдается субстантивно выраженным языковым номинациям.

Методологической основой предпринимаемого нами исследования концептов эмоций является диалектическое понимание природы данных социальных феноменов, представляющих собой результат сложного организованного когнитивно-эмоционального освоения человеком *внеязыковой* и *языковой* действительности. Действительно адек-

ватная интерпретация культурного пространства – среды обитания эмоциональных концептов, толкуемых нами как *сложные многомерные структурно-когнитивные знаковые образования*, – предполагает применение *интегрированного подхода* к их изучению: использование исследователем не только лингвистических, в целом семиотических, но и психологических, этнографических, исторических, социально-экономических, общекультурных данных, которыми располагает современная наука.

Изучение сущности культурных эмоциональных концептов на собственном языковом материале может позволить нам посредством применения ряда упомянутых выше лингвистических методик описать *содержание* наиболее важных фрагментов эмоционального лексико-семантического поля. Можно предположить, что исследование разноразличного материала на уровне парадигматической и синтагматической оси в сопоставляемых лингвокультурах обнаружит как существенные сходства, так и ряд не менее значимых лингвокультурологических различий в немецком и русском эмоциональном лексико-семантическом поле. Установление лингвистических фактов (этимология номинантов эмоций, способы их лексикографической интерпретации, свойственные им парадигматические отношения, общее и особенное в употреблении обозначений эмоций, их метафорические описания и т.п. в сравниваемых языках), вероятно, само по себе имеет уже определенную ценность как для филологов – семасиологов, историков языка, лексикографов, в целом для специалистов по коммуникативной лингвистике, так и для специалистов по когнитивным и культурологическим наукам. Вместе с тем сугубо языковедческие сведения вряд ли могут обладать достаточно серьезной объяснительной силой; они, скорее всего, лишь констатируют состояние языка, его использование человеком. Банально звучит, но факт: всякое исследование должно объяснять феномены мира, а не ограничиваться описанием, классификацией пусть даже и достаточно интересного (в нашем случае – языковедческого) материала.

Традиция интерпретации языковедческих данных исключительно с позиций имманентной лингвистики, насколько нам позволяет судить собственная компетентность, в зарубежной (прежде всего в западноевропейской и американской) лингвистике три-четыре десятилетия назад канула в лету, а в настоящее время успешно (пусть и с некоторым опозданием) «размывается» и в отечественной науке о языке. Примечательно, что к интегральному, основывающемуся на

языковом материале анализу сущности мира все чаще и настойчивее призывают смежники лингвистов – этнографы, историки, культурологи, философы (см., например: Арнольдов 1993, с. 189–192; Григорьева Т.П. 1987, с. 262–300; Гуревич 1989). Иными словами, исследование любых культурных концептов не может быть редуцировано лингвистическими данными.

Решение всякой лингвокультурологической задачи, с нашей точки зрения, обязывает ученого вычленив из богатого эмпирического материала (в том числе и собственно языкового) определенные базовые компоненты или аспекты, которые можно рассматривать как исходные концептуальные ориентиры для проведения соответствующих научной операции анализа и синтеза. В качестве методологически релевантных ориентиров в нашем исследовании мы рассматриваем компоненты / аспекты самого феномена культуры. В этой связи содержательно важной, в целом понятия культуры, сама «механика» культурологического разбора социальных феноменов выдающегося американского культуролога и антрополога середины прошлого столетия Л. Уайта. В не потерявшей и сегодня актуальности работе «Три типа интерпретации культуры» (первое издание статьи датируется 1945 г. — журнал «Southwestern Journal of Anthropology») он рецензирует многочисленные подходы коллег к анализу способов объяснения культуры. Сведущему читателю, вероятно, известны острые дискуссии в кругу культурологов относительно понимания и техники интерпретации этого сложного явления. Суть бурно протекавшей полемики, отголоски которой слышны и по сей день, заключалась в определении *детерминирующего* компонента культуры. Одни исследователи выступали за исключительно *историческое* рассмотрение (М. Хантер, З. Лоуи), другие придерживались концепции *эволюционизма* (Г. Чайлд, Дж. Стюард, Э. Сервис), третьи отстаивали позицию «*культурной диффузии*» (Ф. Боас), четвертые предлагали строго *семиотический* взгляд на обозначенную проблему (К. Гирц), пятые были сторонниками *психологизма* в интерпретации культурных феноменов (Д. Бидни, Р. Бенедикт).

Очевидно то обстоятельство, что родоначальники различающихся друг от друга культурных концепций в своих рассуждениях обнаруживают определенную односторонность в своих подходах, что вполне объяснимо, если иметь в виду саму специфику исследуемого каждым из них материала (одни изучают *современные* традиции и обычаи, другие концентрируют свое внимание на изучении *мифов*,

легенд и сказок, третьи рассматривают результаты традиционной (т.е. физической) антропологии, четвертые обращаются преимущественно к анализу семантики языка или же вербальной семиотики в целом и т.д.). Тем самым мы хотим сказать, что, во-первых, используемые артефакты как материальной культуры, так и «идеи» (в понимании и терминологии Б. Малиновского) духовной культуры различны по своему происхождению и характеру, и, во-вторых, уже как следствие — приоритет в выборе методик и в целом подходов.

Заслужой же автора «Трех типов интерпретации культуры», по нашему мнению, можно считать предложенный им научному миру, проявляющему интерес к изучению культуры, системный, исключительно комплексный подход к ее анализу. Л. Уайт убежден в том, что культурный анализ возможен и, более того, необходимо проводить посредством использования разных методов. «В культуре существуют три четко разграниченных и вычленяемых процесса и соответственно существовали и должны существовать три соответствующих способа ее интерпретации. Эти три процесса вместе с соответствующими им способами интерпретации культуры суть: 1) временной процесс является хронологической последовательностью единичных событий; его изучает история; 2) формальный процесс представляет явление во вневременном, структурном и функциональном аспектах, что дает нам представления о структуре и функции культуры; 3) формально-временной процесс, представляющий явления в виде временной последовательности форм; его интерпретацией занимается эволюционизм», — справедливо утверждал Л. Уайт (Уайт 1997, с. 561). «Таким образом, — резюмировал он, — мы различаем *исторический, формальный (функциональный) и эволюционный процессы*» (Там же, курсив мой. — Н.К.).

Против ограничения в подходах к анализу культурных фактов выступали и другие хорошо известные ученые. Так, еще более полувека назад К. Клакхон писал: «Существует возражение против того, чтобы объяснять при помощи культуры слишком многое. Однако в такой критике культурологической точки зрения нередко кроется смешное представление о том, что необходимо придерживаться *одного главного объяснительного принципа*. Напротив, *нет никакой несовместимости между биологическим, географическим, культурным, историческим и экономическим подходами*. Все они необходимы» (Клакхон 1998, с. 64–65, курсив мой. — Н.К.).

Таким образом, при лингвокультурологическом описании феномена эмоциональных концептов как системы мы считаем принципи-

ально методологически верным и технологически продуктивным учитывать влияние на их формирование, становление и развитие таких факторов, как *социальный, исторический, психологический, символический* (в особенности – вербальный). Это значит, что интересующие нас концепты будут интерпретироваться на основе не только языковых, преимущественно семантических данных, полученных в ходе применения специальных методических процедур, но и многочисленных общекультурных фактов, наиболее признанных в современной гуманитарной науке. Следует заметить, что в настоящем исследовании мы не преследуем цель определения степени релевантности того / иного фактора, воздействующего на динамику развития эмоциональной концептосферы немецкого и русского языков. Их совокупность есть более общий – культурологический – фактор.

В одной из своих работ К. Клакхон ставит в упрек своим коллегам их, по его мнению, научно некорректное, постоянно акцентируемое противопоставление указанных факторов, выступающих как определенные регулятивы культуры. Его рассуждения касаются, в частности, попыток некоторых исследователей определить вневременной, универсальный детерминант развития человеческой цивилизации, в т. ч. стоящую перед учеными дилемму «культура» или «природа». В своем «Зеркале для человека» К. Клакхон пишет: «Между природой и культурой нет никакого “или – или”». Культурный детерминизм столь же однобок, как и биологический детерминизм. Оба фактора взаимозависимы. Культура основывается на человеческой природе, и ее формы определяются и биологией человека, и законами природы» (Клакхон 1998, с. 42). Он приводит ряд «натуралистических» примеров «руководства культуры биологическими процессами – рвотой, плачем, обмороком, порядком приема пищи ...» (Там же, с. 42–43).

Поскольку, как мы уже указывали, нами будут учитываться такие регулятивы культуры, как социальный, исторический, символический и прочие факторы, детерминирующие в комплексе процесс развития концептов, далее целесообразно и логично охарактеризовать их в самом общем виде.

Сущность социального фактора развития культуры и рожденных ею концептов состоит в том, что всякий культурно обусловленный феномен может иметь место только в сообществе индивидов. Образно выражаясь, место рождения и «прописки» любых концептов, в том числе и концептов эмоций, социально маркировано. Социальность культуры понимается исследователями как противопоставление био-

логической ипостаси ее носителя – человека (Сепир 1993, с. 185–194; Лотман 1996, с. 323–327 и др.). Так, культура, понимаемая многими культурантропологами как набор определенных социально-культурных (*групповых*) привычек, «разделяется людьми, живущими в организованных коллективах, или обществах, и представляет собой относительное единообразие под воздействием *социальных* факторов» (Мердок 1997, с. 50, курсив мой. – *Н.К.*). Заметим, что современные ученые солидарны друг с другом в утверждении о социальном характере культуры и ее концептов.

Социальные феномены представляют собой определенным образом выстроенные человеческим языковым сознанием понятийные системы, формирование и дальнейшая эволюция которых подчинены законам общественного развития. Такие человеческие мыслительные конструкты, как представления, наивные (народные) понятия и возникшие впоследствии на их основе строгие научные понятия и концепты, принципиально могут рождаться и функционировать исключительно в *социальной среде*. Иначе говоря, всякое мыслительное образование, которым когда-либо располагал и которым владеет «здесь и сейчас» человек, по своей сути социально, коллективно.

По мере же стратификации общества, вызванной все более усложняющейся его практической деятельностью, формируются микросоциумы, обладающие определенными специфическими этнокультурными характеристиками, отличающими их членов от более размытого и общего этнокультурного образования – социума. Не случайно в этнографии и в целом в культурологии в последнее время все чаще говорят не об общественном менталитете, а о его различных «вариантах», например, региональном или групповом менталитете (см., например: Dinzelsbacher 1993, S. IX–XXXVII; Yeggle 1980, S. 81–126).

Вышеприведенные концептуальные замечания особенно актуальны (в силу технологии их исполнения) при изучении *языковленных* предметов объективной и субъективной действительности: вербализованные концепты сохраняют в своем содержании следы их прежней жизни. Языковленный концепт – автобиографичен; за ним неизбежно тянется длинный шлейф его многочисленных употреблений в национальных лингвокультурах. Так, исследование этимологии слов, обозначающих те / иные ментальные человеческие операции, делает возможным сам процесс осмысления формирования мыслительных конструктов, продуцируемых языковой личностью. Заметим, что многие известные ученые (Вежицкая 1999; Воробьев 1997; Лихачев 1997, с. 280–287; Степанов 1997, с. 288–305), работающие в парадиг-

ме лингвистического концептуализма, аргументированно настаивают на необходимости привлечения этимологических данных при изучении любых культурных концептов.

Концепты рассматриваются нами как системно связанные, находящиеся друг с другом в определенных таксономических отношениях сложные мыслительные *динамичные* образования. Содержание концептов с той / иной степенью интенсивности постоянно меняется во времени, что определяется в целом многочисленными культурными изменениями, происходящими в том / ином человеческом сообществе на разных этапах его существования. Отсюда и необходимость учета всей *истории жизни* эмоциональных концептов, нашедших обозначения в языке, при их культурологическом анализе. Иными словами, научное исследование понятийных систем, *эволюционно* сформировавшихся при освоении человеком окружающего его внешнего и живущего в нем внутреннего мира, непременно должно проводиться *в диахронии культуры*, в особенности культуры вербальной, зафиксировавшей собой в форме знаков (следовательно, принципиально распредмечиваемой) само движение человеческой мысли.

С вышеохарактеризованным фактором напрямую корреспондирует исторический (или эволюционный), определяющий культурное развитие человека. Ученые, изучавшие на протяжении многих лет самые различные формы проявления культуры, способы ее существования, не без оснований полагают, что всякий культурный факт (например, элементы духовной культуры – ритуал, сказка и т.п., элементы материальной культуры – технические приборы, рабочие инструменты и др.) подвержен эволюционной трансформации. Культура исключительно исторична по своему характеру, она «подразумевает *непрерывность* духовной жизни человека, общества...» (Лотман 1994, с. 8, курсив мой.– Н.К.).

Богатый эмпирический материал этнографического свойства позволяет многим культурологам говорить о единстве человеческой культуры и «линейной стадильности» ее исторического развития (см., например, Бидни 1997, с. 385–389). Здесь следует указать на общее, ставшее в современной науке традиционным признание принципа историзма при интерпретации самых различных фактов культуры. Пренебрежение им может привести к получению данных, неадекватных действительному состоянию мира, т.е. к псевдонаучным результатам. Серьезный анализ того / иного фрагмента мира, его научное *всестороннее многоаспектное* описание, подлинно *глубокое* толкование необходимо предполагают диахронно исследовательского взгляда.

пристальное «всматривание» ученого, вооруженного соответствующим арсеналом методик, в историческую ретроспективу – среду формирования и функционирования того / иного социального явления.

Таким образом, концепты культуры, сама культура могут существовать только как феномен принципиально *исторический* (см.: Арнольдов 1987, с. 6–7; Верещагин, Костомаров 1990, с. 24–25; Маслова 1997, с. 56–87; Юдин 1999). Культура и ее составляющие начинают формироваться на определенном историческом этапе развития человеческой цивилизации, коррелируют с историческими фактами, событиями, происходящими в общественной практике человека, подвержены их влиянию и в свою очередь воздействуют на них. Человеческая природа, ее, так сказать, психология не есть константа на протяжении всей истории.

Семиотический (или символический) фактор развития культуры и соответственно ее концептов признается в качестве базисного не только лингвистами (Кассирер 1996, с. 202–209; Коул, Скрибнер 1977; Лотман 1996, с. 324–325; Сепир 1993, с. 191–193 и др.), но и большинством культурологов (Кафанья 1997, с. 91–114; Малиновский 1997, с. 681–702 и др.). Культура и составляющие ее концепты могут генерироваться, существовать и развиваться только как определенным образом выстроенная семиотическая (вербальная и невербальная) система. Генерирование смыслов, освоение мира, накопление и передача опыта практической деятельности человека – все это немислимо вне нашего языка, стимулирующего рождение идей, распредмечивающего им же поименованную действительность, аккумулярующего ранее добытое предками знание и трансформирующего его потомкам.

Известный семиотик Э. Кассирер в ставшей в свое время бестселлером «Философии символических форм» определял культуру как «врожденную способность человека к символизации», а самого ее носителя – как человека – «animal symbolicum» («символическое животное») (Кассирер 1996, с. 203). Другой не менее титулованный ученый, функционалист-культурантрополог Б. Малиновский, считал, что важнейшим аспектом символизма является вербальный и что «неотъемлемой частью эмпирического материала, собираемого полевым исследователем, является обширное параллельное толкование фактов, не обязательно содержащееся в самом поведении» (Малиновский 1997, с. 686).

Заслуживающей внимания следует признать мысль основателя Тартуско-московской семиотической научной школы Ю.М. Лотмана о взаимоотношении культуры и знака. В одной из своих работ он

заметил: «Культура вообще может быть представлена как совокупность текстов; однако с точки зрения исследователя точнее говорить о культуре как механизме, создающем совокупность текстов, и о текстах как о реализации культуры» (Лотман 1996, с. 327). Заметим, что собственно вербальный, содержательный компонент культуры не исчерпывает собой всего ее символизма. Важными являются и другие семиотики, например, живопись, архитектура и т.п.

Здесь же отметим, что *вербальная* (собственно языковая) знаковая культурных, в том числе и эмоциональных, концептов – самый надежный, достоверный материал для всякого культурологического исследования (разумеется, при умелом его описании, при условии применения соответствующих адекватных ему методик и т.п.), поскольку наиболее *важные* фрагменты духовной культуры принципиально оказываются облаченными в форму слова. Известно, что символизируются и, в частности, вербализуются наиболее значимые для человека факты культуры, которая, по М. Веберу, «охватывает те – и *только* те – компоненты действительности», которые становятся ценностными для нас (Вебер 1990 а, с. 374–375).

В заключение укажем, что эмоциональные концепты мы рассматриваем как результат семиозиса, процесса означивания когний человека при освоении им окружающего его мира. В данной работе предлагается описание эмоциональных концептов двух лингвокультур как *знаковых* образований. Отсюда необходимости исследования этимологии обозначающих их слов, иллюстрирующих способы, ассоциативную направленность мысли древнего и средневекового человека, зачатки сознания которого, как будет показано дальше, были первоначально пленены мифологическими представлениями о познаваемом мире. Не менее культурологически релевантными окажутся и многочисленные собранные нами метафорические факты, являющиеся в действительности в современном языке осколками разбившегося мифолого-мистического мира, равно как и в более значительной степени сохранившегося на сегодняшний день религиозного толкования, столь содержательно актуальных для прошлых цивилизаций.

Следующим базисным фактором, в значительной степени определяющим становление концептосферы языка, является *психологизм* культуры. Читателю, ознакомленному с историей становления лингвистической науки, хорошо известно то значение, которое учеными традиционно придавалось психологическому феномену в развитии человеческой мысли и языка. Достаточно, кажется, вспомнить имена

таких зарубежных и отечественных исследователей, как Х. Штейнталь, Г. Шухардт, Г. Пауль, А.А. Потебня, чтобы понять сами истоки формирования психологической лингвистики, отпочковавшейся в последние четыре десятилетия от лингвистики классической. Сегодня психолингвистика – самостоятельная научная парадигма, автономное научное направление, изучающее язык преимущественно как знаково оформленный психологический факт.

Трудно всерьез вступать в дискуссию с современным утверждением о том, что «человек говорящий» есть непременно «человек психический». Общеизвестно, что практическая деятельность и основывающаяся на ней глубокая рефлексивно-языковая деятельность человека есть не только производная определенных социально-экономических и исторических факторов. Последние, вне всяких сомнений, социально важны для жизни этноса, но вместе с тем они не являются единственно возможными и, как считают многие современные исследователи, действительно самыми релевантными. Далеко не всеми учеными, в том числе и отечественными (см., например: Юдин 1999, с. 30–35), однозначно приписывается им статус единственной культурной детерминанты, управляющей нашим бытием. Согласно психологическому знанию, значительную роль в нем играет такой психический феномен, как *мотив*, лежащий в основе поступков человека, не обязательно напрямую корреспондирующий с практическими, бытовыми его потребностями. Это теоретическое положение в свое время было достаточно обстоятельно разработано авторами как «нового психологического учения», прежде всего отцом психоанализа З. Фрейдом и впоследствии его многочисленными учениками, так и сторонниками экзистенциальной философии – Ж.-П. Сартром, С. Кьеркегором, А. Камю и др. Аналогичного мнения придерживались представители многих других научных, в частности, социологических школ, например, в лице немецкого исследователя социологии религии М. Вебера (см.: Вебер 1990).

Ученые, изучающие древние и современные цивилизации с точки зрения психологии, считают, что в основе важнейшей составляющей нашего бытия – духовной культуры (в том числе и в основе ее облигаторного атрибута – языка) лежат определенные архетипы, под которыми понимаются символические формулы, начинающие «функционировать всюду там, где еще не существует сознательных понятий» (Юнг 1996, с. 459). Архетипы как психологические символы не только предшествуют появлению понятий, концептов, служат базой для их образования, но в дальнейшем они психологически «держат», как правило, в вербальной форме формирующуюся культуру.

Так, к примеру, опирающийся на анализ древних текстов психоаналитик Э. Нойманн к числу важнейших архетипов относит идею огня, родственную, выражаясь его собственной терминологией, «идее пожирательства». В своей монографии он пишет о том, что даже нынешний, современный язык не может преодолеть психологическое воздействие этого архетипа, т.е. первичного психологического образа (Нойманн 1998, с. 42). Аналогичные суждения высказывались и многими другими учеными (см., например: Потенба 1997, с. 60–64). Подобного рода рассуждения, безусловно, интересны и заслуживают внимания и соответствующей верификации при лингвокультурологическом анализе нашего материала, в особенности при рассмотрении вопроса метафорического употребления слов, обозначающих эмоциональные концепты в современном языке.

В приведенных выше размышлениях известных исследователей речь идет о психологическом детерминизме, хорошо известной научному миру теории, имеющей, правда, не только сторонников, но и достаточно многих оппонентов. Не дискутируя вопрос об определении сильных и слабых сторон концепции психологического детерминизма, следует признать ее жизнеспособность, высокую степень объяснительной силы.

Изложенные здесь вкратце рассуждения ученых мы интерпретируем прежде всего как своеобразный призыв учитывать роль психологического фактора при изучении проблемы формирования и функционирования тех / иных концептов. Учет психологического фактора принципиально необходим при культурологическом анализе любых концептов и в особенности *эмоциональных, непосредственно связанных с миром психики, отражающих его.*

В заключение следует дефинировать ключевые термины, используемые в данной монографии: «эмоция», «базисная эмоция», «номинант эмоции», «базисный номинант эмоции», «концепт», «эмоциональный концепт», «базисный эмоциональный концепт», «эмоцио-концептосфера», «картина мира», «языковая картина мира», «эмоциональная картина мира».

Под *эмоцией* понимается «психическое отражение в форме непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к потребностям субъекта» (ПС 1990, с. 461). *Базисная эмоция* — это филогенетически первичное, основанное на перцептивных представлениях психическое переживание человека (страх, радость, гнев, печаль), являющееся психологически универсальным и наиболее реле-

вантным культурным феноменом того / иного этноса. Под *номинантом эмоции* понимается субстантивно оформленный вербальный знак (слово), обозначающий эмоцию. *Базисный номинант эмоции* – это слово (субстантив), обозначающее соответственно базисную эмоцию (страх, радость, гнев, печаль).

Концепты – «это самоорганизующиеся интегративные функционально-системные многомерные (как минимум, трехмерные) идеализированные формообразования, опирающиеся на понятийный (или псевдо-, или предпонятийный) базис, закрепленный в значении какого-либо знака: научного термина, или слова (словосочетания) обывденного языка, или более сложной лексико-грамматико-семантической структуры, или невербального предметного (квазипредметного) образа, или предметного (квазипредметного) действия и т.д.» (Ляпин 1997 а, с. 18).

Эмоциональный концепт мы трактуем как этнически, культурно обусловленное сложное структурно-смысловое, как правило, лексически и / или фразеологически вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе, включающее в себя помимо понятия образ, оценку и культурную ценность и функционально замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации однопорядковые предметы (в широком смысле слова), вызывающие пристрастное отношение к ним человека. Под *эмоциоконцептосферой* понимается совокупность эмоциональных концептов.

Картина мира – совокупность человеческих представлений, знаний о мире. *Языковая картина мира* – понятия, концепты, человеческие знания в целом, оформленные соответствующими (разнотипными) вербальными знаками. *Эмоциональная языковая картина мира* – определенное множество эмоционально «проработанных» человеком на базе сенсорных, тактильных, в целом – перцептивных образов, исходящих от окружающей среды, представлений, восприятий, ощущений оязыковленных понятий, являющихся проекцией нашего внутреннего, психического мира.

Глава 1

ОНТОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ

1.1. Понимание природы эмоций и их классификация в психологии

Рассмотрим понимание и классификации эмоций в современной психологии; анализ существующих в лингвистике характеристик понятия «концепт»; определение социального феномена «эмоциональный концепт»; формы существования и способы вербализации эмоциональных концептов в культуре.

Прежде чем приступить к непосредственному обсуждению предмета настоящего исследования – эмоциональных концептов (далее ЭК), необходимо, по нашему мнению, в сжатом виде изложить сущность психологических подходов к феномену эмоций. Это значит, что в первую очередь следует обсудить вопросы функций и классификаций эмоций, выделяемых в психологии.

Следует заметить, что на проблеме эмоций традиционно фокусировалось внимание многих ученых, в особенности психологов и психоаналитиков. Постоянный интерес исследователей, и прежде всего психологов, к эмоциям обусловлен физиолого-психологической значимостью этого явления, с одной стороны, и сложностью его природы и, следовательно, объективными трудностями изучения данного феномена, с другой (см.: Рубинштейн 1984, с. 152–153; Спиноза 1984, с. 29–33; Kainz 1962; Vester 1991, S. 3–5). Традиционно интересна проблема эмоций и для лингвистов (Бабенко 1990; Buller 1996, p. 271–296; Буряков 1979, с. 47–48; Лукьянова 1986; Лукьянова 1991, с. 157–178; Мягкова 1990; Телия 1987, с. 65–74; Широкова 1999, с. 61–65; Reuning 1941, p. 10–12; Ekman, Friesen 1981, p. 75–81; Jaeger, Plum 1989, S. 849–853; Ochs 1993, p. 168–188 и др.), указывающих на сложность изучения чувственной сферы языкового пространства, нечеткостью вербализации ее фрагментов. Исследование эмоций по-прежнему

му, судя по многочисленным авторитетным современным публикациям, занимает приоритетное место как в психологии, так и в лингвистике.

Анализ специальной литературы обнаруживает множество научных концепций, претендующих на основательное объяснение этого загадочного явления и при этом нередко противоречащих друг другу. Наиболее известными, устоявшимися и общепринятыми считаются следующие теории: дискретных эмоций, социального конструктивизма, активационная, физиолого-когнитивная, мотивационная, неврологическая, информационная, биологическая, когнитивная, функциональная, дезорганизационная, конфликтная, экзистенциальная (подробнее см.: Buller 1996, p. 271–296; Вилюнас 1984, с. 3–28; Рейковский 1979, с. 7–8; Шаховский 1988, с. 43–48). Между авторами, сторонниками указанных концепций, ведутся многолетние жаркие дискуссии о сущности эмоционального явления. Предметом научного спора при этом оказывается проблема установления функций, точнее статуса функциональной доминанты эмоций. Поскольку объем данной книги ограничен, а в доступных читателю работах, прежде всего по отечественной психологии, психолингвистике, лингвистике эмоций, имеется достаточно подробное описание вышеперечисленных концепций, мы не станем подробно излагать их содержание, а укажем лишь на некоторые, с нашей точки зрения, узловые моменты теоретических воззрений наиболее известных и авторитетных ученых в рассматриваемой области человеческого знания.

При обсуждении вопроса сущности эмоций в психологии традиционно ведут речь об их роли для человеческого организма и всей жизнедеятельности человека в целом, об источниках их возникновения, формах протекания, классификациях. Распространенной, особенно в прошлом (еще не значит – общепринятой!), является точка зрения, в соответствии с которой эмоциям приписывается главным образом *отражательная* функция (Сеченов 1995, с. 100–102; Bayer 1994, с. 58–90). Эмоциональные переживания есть не более чем результат проецирования в сознание объективно существующих явлений (событий, фактов и т.п.).

Данной функции часто противопоставляется функция *регуляторная* (или регулятивная), признаваемая сегодня многими психологами первичной, доминантной, т.е. определяющей, по сути, все другие (см., например: Buller 1996, p. 271–273). Один из ее наиболее известных сторонников, польский профессор Я. Рейковский, полагает, что эмоции

«регулируют действия человека; то, как эти действия будут совершаться, зависит от актуального сочетания эмоциональных сил» (Рейковский 1979, с. 7).

Когнитивная функция психических переживаний человека также относится многими исследователями к числу важнейших (Изард 1980; Лурия 1984, с. 228–234; Калашник 1984, с. 220–227). Познание объективного мира, в соответствии с теорией когнитивизма эмоций, не может проистекать беспристрастно, не оценочно, поскольку сама суть, природа его интерпретатора – человека – в высшей степени эмоциональна. Как отмечает В.И. Шаховский, первоначально мысль может возникать именно в форме эмоционального образа, формирующегося до ее речевой выраженности (Шаховский 1988, с. 59). Следовательно, можно отметить три важнейшие (основные) функции эмоций – отражательную, регуляторную (регулятивную) и когнитивную.

Для лингвистов же вопрос о примате той / иной функции эмоций не имеет принципиального значения. Нам достаточно знать (по крайней мере, применительно к поставленным в монографии исследовательским задачам), что посредством эмоций сущность человеческого бытия *отражается* в сознании человека, *регулируется* ими и *познается*.

Помимо вопроса о функциях эмоций в психологии, в целом в культурантропологии важное место отводится обсуждению проблемы их универсальности. При этом высказываются диаметрально противоположные суждения. Одни исследователи считают, что эмоции не универсальны. Их природа и понимание зависят от типа культуры, лингвоэтнической принадлежности человека и некоторых других факторов. Сами эмоции, равно как и способы их вербального и невербального оформления в том / ином этносе, усваиваются как некие культурные паттерны, заданные определенным социокультурным пространством (Heelas 1984, p. 21–42; Lutz 1988, p. 61–64). Другие, напротив, полагают, что эмоции универсальны (Tomkins, McCarter 1964, p. 120–122). Всякая эмоция, по их мнению, «общедоступна»; она открыта для переживания человека вне зависимости от каких-либо культурных параметров того / иного этнического и языкового сообщества. Существует и третья, компромиссная, позиция в оценке эмоций на предмет их универсальности / неуниверсальности – «нейрокультурная теория» (терминология Б. Буллера; Buller 1996, p. 279). Ее сторонники (Buller 1996, p. 278–281; Ekman, Oster 1979, p. 527–554) выступают «за синтез универсальной (universalist) и культурно-релятивистской (cultural relativist) позиций» при толковании природы эмо-

ций (Buller 1996, p. 279, перевод мой.– Н.К.). Согласно этой теории, эмоции – генетически врожденный феномен, но только через опыт люди учатся культурно специфическим правилам их выражения (display) (Buller 1996, p. 279, перевод мой.– Н.К.). Нередко в антропологической литературе (см.: Buller 1996, p. 280–282) приводятся достаточно яркие этноцентрические примеры, иллюстрирующие специфику лингвистического оформления эмоций в разнотипных культурах, например, коллективной (collectivistic) японской и индивидуалистской (individualistic) американской.

Хорошо известный ученому миру американский исследователь К. Изард, автор дифференциальной теории эмоций, отстаивает позицию умеренного универсализма эмоций. «*Некоторые отдельные эмоции*, – пишет он, – *являются универсальными, общекультурными феноменами*. И кодирование, и декодирование ряда эмоциональных выражений одинаковы для людей всего мира, безотносительно к их культуре, языку или образовательному уровню» (Изард 1980, с. 95., курсив мой.– Н.К.). К их числу многими исследователями относятся ранее упомянутые нами так называемые базисные (базальные) эмоции – страх, гнев, радость, печаль (см.: Изард 1980; Нойманн 1998, с. 354–360; Buck 1984; Ekman, Friesen 1981, p. 79–80).

В нашем понимании, причиной (или, возможно, одной из причин) дискуссии по поводу универсальности/неуниверсальности эмоций является различное понимание их природы. Признание эмоций универсальным/неуниверсальным явлением зависит от понимания их природы. Если под эмоциями понимать простейшие, основанные на перцепции человеком мира психические процессы (например, гнев, страх), то этот феномен, безусловно, универсален. Элементарные поведенческие эмоциональные реакции, как доказано в психофизиологии, генетически заложены в человеке (см.: Сеченов 1995, с. 103–110). Сложнее обстоит дело с другим классом эмоций, которые мы бы назвали социализированными. К. Юнг обозначает их «интеллектуальными»; в терминологии Б.И. Додонова они определяются как «моральные» и «эстетические» (Юнг 1996, с. 578–579; Додонов 1978, с. 118–126). Последние представляют собой действительно ментальный, культурно обусловленный продукт (например, любовь, счастье). Их осознание и дальнейшая рефлексия связаны с определенными этапами развития цивилизации. Переживание социализированных эмоций (чувств) доступно далеко не всякому человеку. Но причина их «закрытости» скорее носит не этнокультурный, а индивидуально-пси-

хологический характер. Так, при классификации людей на психологические типы К. Хорни приводит пример с таким их классом, как садисты, которые не могут испытывать чувства жалости (Хорни 1995, с. 155), которое, как мы понимаем, социализировано.

Все специалисты, профессионально занимающиеся вопросом изучения эмоционально-чувственной сферы человека, указывают на размытость формирующих ее сегментов, четкая идентификация которых трудно выполнима (см.: Рубинштейн 1984, с. 152–155). «Чистых» эмоций, по их мнению, в природе не бывает. Они в действительности тесно сплетены друг с другом; всякая эмоция комплексна, она подобна молекуле, состоящей из множества атомов. Примечательно то обстоятельство, что эмоциям, в особенности социализированным, разными учеными приписывается разное атомное строение. В.К. Вилюнас, делая в одной из своих статей обзор теорий эмоций, указывает, что, например, сострадание, по Р. Декарту, есть соединение печали, любви и ревности; однако, согласно Б. Спинозе, эта комплексная эмоция состоит из «любви и ненависти к любимому лицу и зависти к тому, кого он любит» (Вилюнас 1984, с. 24). О диффузности эмоций говорят не только наблюдения ученых, экспериментальные данные психологов, но и многочисленные лингвистические и этнографические факты. Уместен, по нашему мнению, пример на употребление номинаций эмоций в художественных произведениях. Смешанность человеческих эмоций иллюстрируется фрагментом из хорошо известного романа И. Гете «Страдания молодого Вертера»: «Wenn ich ihre schwarzen Auge sehe, ist mir es schon wohl. Sieh, und was mich verdriesst, dass Albert nicht so gluecklich zu sein scheint, als er – hoffte – zu sein glaubte – wenn – Ich mache nicht gern Gedankenstriche, aber hier kann ich mich anders nicht ausdruecken – und mich duenkt, deutlich genug» – «Когда я вижу ее черные очи, мне так хорошо становится на душе. Послушай, что меня огорчает, так это то, что Альберт не кажется таким счастливым, каким он надеялся стать. – И когда я думаю ... если бы ... Я ставлю здесь многоточие, но я не могу выразить свои мысли иначе ... Мне кажется, они выражены достаточно ясно и понятно» (J.W. Goethe 'Die Leiden des jungen Werthers', персвод мой. – Н.К.). Этот пример, на наш взгляд, манифестирует, с одной стороны, диффузный характер эмоций, а с другой – идею сложности оязыковлени переживаемой одним из художественных персонажей действительно комплексной эмоции, включающей в себя и любовь, и страдание, и жалость, и, может быть, зависть.

В качестве более «живой» и более реальной иллюстрации смешанности человеческих чувств приведем этнографические наблюдения культуролога Б. Малиновского. Он предлагает нам пример отношения туземцев к умершим: «Эмоции исключительно сложны и даже противоречивы; доминирующие элементы – *любовь* к умершему и *отвращение* к трупу, страстная *привязанность* к личности, о которой все чаще напоминает тело, и сокрушительный *страх* перед той страшной вещью, что от нее осталось, – эти два элемента смешиваются и оказывают воздействие друг на друга» (Малиновский 1998, с. 49, курсив мой. – Н.К.). Человек выступает как минимум в двух ипостасях: как биологическая особь и как социально-культурный феномен.

Далее уместно бы заметить, что в психологии у терминов «чувство», «эмоция», «аффект» нет строго закрепленных за ними значений. Факт терминологических разночтений У. Магдауолл объясняет «неопределенностью и разнообразием мнений об основах, условиях возникновения и функциях тех процессов, к которым эти термины относятся» (Магдауолл 1984, с. 103.). Отсюда, кстати, становятся понятными различные толкования не только в словарных определениях филологических лексикографических источников, что в принципе допустимо с учетом задач обычных, предназначенных для наивных носителей языка словарей, но и даже в дефинициях специальных (психологических) словарей. Для иллюстрации этого утверждения приведем предлагаемые психологами словарные дефиниции из специальных словарей русского и немецкого языков. «Эйфория – *чувство легкости, блаженства, крайнего счастья, довольства, радости*» (ПС 1965, с. 279). «Эйфория – *повышенное радостное настроение, состояние благодушия и беспечности, не соответствующее объективным обстоятельствам, при котором наблюдается мимическое и общее двигательное оживление, психомоторное возбуждение*» (ПС 1990, с. 455). «Euphorie – *gehobene Stimmung, Wohlbefinden*» (WBP 1974, S. 59). «Euphorie – *Zustand intensiver Gluecksgefuehle und gesteigerter Lebensfreude*» (KPL 1949, S. 22).

Как можно видеть из приведенных здесь примеров, в самих дефинициях, предлагаемых составителями различных психологических словарей, отсутствует какой-либо единый критерий (или критерии) при классификации психических переживаний человека. Наше наблюдение на конкретном словарном материале, таким образом, подтверждает высказываемую многими исследователями мысль о диффузности эмоций, что, безусловно, затрудняет их лингвистическое изучение.

Поскольку в психологии нет единого понимания и четкого терминологического разграничения в употреблении родственных понятий «эмоция», «чувство», «аффект», «ощущение» (см.: Додонов 1975, с. 21–25; Клапаред 1984, с. 93–102; Лук 1982, с. 29; Нойманн 1998, с. 344; Юнг 1996, с. 37; Kirchgaessner 1971, S. 231–236; Mandler 1975, p. 10), мы, следуя терминологической традиции отечественных лингвистов-эмотиологов (Мягкова 1990; Фомина 1996; Шаховский 1988; Шаховский 1995, с. 3–15 и др.), используем термин «эмоция» как собирательное понятие.

Фундаментальное изучение учеными эмоций выявило их следующие основные характеристики: первичность – вторичность, или производность (Риман 1998; Нойманн 1998), элементарность – абстрактность (Юнг 1996), культурная значимость, или моральная ценность в терминологии Б.И. Додонова (Додонов 1975; см. также: Рейковский 1979; Jeggle 1980, S. 98–99), интенсивность (Вилюнас 1984, с. 20), продолжительность (Там же, 1984, с. 20–21), осознанность (Фрейд 1984, с. 203–211), полярность – положительные и отрицательные (Рубинштейн 1984; Ekman, Friesen 1981, p. 79–80; Royatos 1993, S. 303–341). Данные свойства психических переживаний человека кладутся в основу их психологических классификаций. Так, в частности, на основе критериев «осознанность – неосознанность», «кратковременность – продолжительность» психического переживания принято различать, с одной стороны, эмоции и аффекты, а с другой – чувства как социализированные («интеллектуальные») эмоции (Юнг 1996, с. 579; см. также: Богозов 1965, с. 20; 178–179). Критерий интенсивности нередко кладется в основу классификации психических переживаний на эмоции и аффекты (Калашник 1984, с. 220–227; Лук 1982, с. 29; Лурия 1984, с. 228–234) и т.п.

Традиционно актуальной и по-прежнему наиболее острой остается проблема правомерности классификации психических переживаний на базисные (базальные, фундаментальные) и производные, периферийные. Ей уделялось достаточно много внимания как психологами (Витт 1984, с. 3–28; Изард 1980, 1999 и др.), психоаналитиками (Риман 1998; Нойманн 1998; Фрейд 1989, с. 43–48), так и западными философами-экзистенциалистами (Кьеркегор 1993; Сартр 1994, с. 433–470; Ясперс 1991).

Так, известный немецкий психоаналитик Э. Нойманн при рассмотрении вопроса о зарождении, последующей эволюции человеческого сознания утверждает, что первичными, примитивными эмоциями были страх, радость и удовольствие. Затем в процессе развития и

становления культуры цивилизованным человеком начинают переживаться и другие (вторичные, производные, периферийные) эмоции, в частности – страдания и чувства вины (Нойманн 1998, с. 354–360). Психоаналитик Ф. Риман солидарен с мнением своего соотечественника. Он полагает, что первичной следует считать эмоцию страха, генетически запрограммированную, выражаясь его языком, в сознании как «примитивного, так и цивилизованного человека». «Переживание страха содержится в самом нашем существовании» (Риман 1998, с. 14). Ф. Риман авторитетно настаивает на признании универсального характера рассматриваемого им феномена: «Страх существует *независимо от культуры и уровня развития народа* или отдельных его представителей; единственное, что изменяется – это объекты страха» (Там же, с. 12, курсив мой. – Н.К.). Следовательно, можно заключить, что эмоция страха – универсальный феномен, существующий вне исторического культурного пространства.

Любопытны рассуждения родоначальника психоанализа — З. Фрейда, в своих работах охотно обращавшегося к мифологическим сюжетам, обнаруживая в них ответы на многие вопросы человеческой экзистенции, ее психогенеза. Предлагая греческому мифу о царе Эдипе психоаналитическую интерпретацию, он убеждает нас в первичности страха. Согласно его теории либидо, детский страх, «соответствующий вытесненному эротическому влечению, не имеет объекта; это еще страх (Angst), а не боязнь (Furcht). Дитя не может знать, чего оно боится» (Фрейд 1989, с. 49).

Страх, страдание и вина как филогенетически первичные, т.е. как базисные (основные) человеческие эмоции, являются центральными категориями в известной, в свое время обладавшей большой fasciniрующей и, как думается, определенной объяснительной силой европейской экзистенциальной философии, родившейся в 20–30-е годы прошлого столетия и успешно развивавшейся до недавнего времени (Кьеркегор 1993; Сартр 1994, с. 433–470; Хайдеггер 1993; Ясперс 1991).

Считаем уместным в двух словах изложить сущность этого философского направления, поскольку, как нам кажется, экзистенциалистам во многом удалось интуитивное (не значит – ненаучное!) осмысление глубинных пластов человеческой психики.

Основоположник христианского варианта западноевропейского экзистенциализма датский мыслитель С. Кьеркегор объяснял реальные поступки, действия, размышления, в целом поведение человека страхом перед богом и смертью. Страх, по мнению ученого, – это все-

общая, неотъемлемая форма, способ человеческого существования. Жить можно только со страхом и в страхе. Страх связан с чувством вины человека; он – важнейшая компонента, основа нашего религиозного сознания (Кьеркегор 1993, с. 27, с. 41–42). Во многом аналогичные по своей сути суждения высказывали и другие экзистенциалисты. Так, в частности, ученик датчанина, немецкий философ К. Ясперс, предложивший ученому миру концепцию «пограничных ситуаций», ставил под серьезное сомнение интеллектуальные способности и духовное развитие всякого человека, который не испытывает чувство страха и состояние предчувствия смерти (Ясперс 1991, с. 32–33).

Релевантность страха для жизни человека отмечается также и в работах другого не менее выдающегося западноевропейского философа (не экзистенциалиста) Т. Гоббса, любившего повторять ставшую впоследствии крылатой фразу: «Единственным аффектом в моей жизни был страх» (Цит. по: Барт 1994, с. 501).

Общеизвестна самая серьезная, во многом, вероятно, справедливая критика экзистенциалистов представителями других философских направлений. Однако следует заметить, что и сегодня к числу основных психических переживаний большинством как отечественных, так и зарубежных ученых относится чувство страха (Витт 1983; Лук 1982; Рейковский 1979; Dinzelsbacher 1993; S. XXIV и мн. др.). Кроме данного феномена базисными, как было нами отмечено во введении, принято считать также радость-удовольствие (Нойман 1998 и др.), гнев и печаль (Витт 1983, Изард 1999 и др.). В основу классификации эмоций на базисные и производные, таким образом, может быть положен филогенетический критерий. Базисные эмоции по своему происхождению первичны, а по природе элементарны, не социализированы.

Вопрос упомянутых выше и кратко рассмотренных психологических классификаций психических переживаний человека представляет собой, безусловно, интерес для лингвокультурологов и специалистов по когнитивным наукам. Оязыковленные в разных культурах эмоции обнаруживают многие из названных ранее психологами признаков – интенсивность, градуируемость, положительность и отрицательность, продолжительность и т.п. (Городникова 1985; Красавский 1999а, с. 162–172; Широкова 1999, с. 61–65). Традиционные для сопоставительной лингвистики, в частности для кросс-культурной семасиологии, полевые описания языка выявляют существенные раз-

личия в природе культурных знаков, в особенности опредметивших психические константы (Головановская 1997, с. 224–270; Красавский 2000, с. 18–28; Покровская 1998 и др.).

Вслед за многими учеными (Апресян 1995а, с. 453–457; Вежбицкая 1999 а, с. 547–550; Лакофф, Джонсон 1990, с. 396–398; с. 400–402; Морозова 1999, с. 300–304) мы считаем релевантной проблему сопоставительного изучения вербализации эмоций в разных лингвокультурах. Хорошо известно, что номинативная плотность оязыковленного эмоционального мира в разных этносах, культурах нередко бывает различной (Вежбицкая 1997 в, с. 302–315; Reuning 1941). Лексические дифференциации в концептуализации эмоций особенно заметны при сравнении типологически и генетически различающихся языков (см., например: Lutz 1982, р. 113–128). Следует ли оценивать многочисленные лингвистические данные подобного рода как доказательство различной степени психологической значимости мира эмоций (либо его отдельных фрагментов) для носителей *разных* культур, или же правомерно в качестве аргумента ограничиться указанием на различия в «технических» (т.е. внутрилингвистических) возможностях того / иного языка? Могут ли разные языки, разные культуры, обнаруживающие различия в номинациях эмоций, быть более или менее «эмоциональными»? Может ли изменяться индекс эмоциональности одного и того же народа во времени? Перечень вопросов аналогичного характера можно продолжать до бесконечности. Поиски ответов на них сложны, поскольку сложен сам по себе характер связи сознания, (эмоционального) мышления и (эмотивного) языка. Попытки установления корреляции между этими феноменами привели многих ученых (Б. Уорф, Э. Сепир) либо к радикальному вербализму (экстремальный случай – теория лингвистической относительности), либо к умеренному вербализму (Коул М., Скрибнер С. и др.), либо же, наоборот, к вульгарному материализму, отрицающему креативную роль языка.

Адекватное изучение психолого-культурологических характеристик эмоций, вербализованных в русской и немецкой культурах, их места и интерпретации в разноэтносных концептосферах предполагает как использование самых разнообразных лингвистических методик, так и обращение исследователя к данным смежных с языковедением наук – этнографии, культурологии, психологии, социологии и др. Прежде чем перейти к лингвокультурологическому анализу ЭК, материализовавших в форме знаков психические константы и их оценку человека, следует рассмотреть понимание термина «концепт» в современной лингвистике.

1.2. Толкование понятия «концепт» в современной лингвистике

Понятие «концепт», ставшее в последние годы в отечественном языкознании стержневым, благодаря трудам Г. Фреге и А. Черча было заимствовано лингвистами из математической логики. Его применение как термина в нашем языковедении обнаруживается в вышедшей в 1928 г. статье С.А. Аскольдова (псевдоним С.А. Алексеева) «Слово и концепт», опубликованной в журнале «Русская речь». Однако в силу различных объективных и субъективных причин, одной из которых, безусловно, была государственная идеология Советского Союза (после выхода в свет этой статьи С.А. Аскольдов был официально обвинен в идеализме), понятие концепта, не успевшее по сути получить соответствующего обстоятельного осмысления филологами, на длительное время исчезает из отечественного лингвистического лексикона. Можно также предположить, что данный термин, значительно пересекающийся по своему содержанию с устоявшимся традиционным, более привычным для научной общественности термином русского языка «понятие», не смог выдержать конкуренции, что в свою очередь, вероятно, объясняется, с одной стороны, иноязычным происхождением первого, а с другой – отсутствием на тот период развития лингвистической мысли его должного научного толкования.

Лишь спустя несколько десятилетий, в нашей стране данным термином начинают оперировать когнитивисты, некоторые из которых работают в парадигме философии языка (Павиленис 1986, с. 240–263; Холодная 1983 и др.). В их работах приоритетным является изучение базисных подсистем человеческого знания. Вербальные знаки, фиксирующие элементы понятийных систем, как правило, при этом когнитивистами не акцентируются, что, безусловно, не способствует более глубокому анализу и соответственно пониманию сущности (языковых) концептов. Последние, как известно, переживают этапы своего становления в конкретных исторических условиях, в определенном *культурном контексте*. Вместе с тем следует заметить, что полученные ими научные данные в значительной степени стимулировали и продолжают стимулировать поступательное развитие когнитивной лингвистики в нашей стране.

Понятие «концепт» переживает эпоху «лингвистического ренессанса» с начала 90-х годов XX столетия в первую очередь благодаря научным трудам Д.С. Лихачева и Ю.С. Степанова, реанимировавших его и давших ему свою обстоятельную интерпретацию. Активное употребление данного термина в когнитивной лингвистике, в

парадигме лингвистического концептуализма и в лингвокультурологии объясняется необходимостью введения в их категориальный аппарат недостающего когнитивного «звена», в содержание которого помимо понятия входят ассоциативно-образные оценки и представления о нем его продуцентов и пользователей.

Концепт как всякий сложный когнитивный лингвосоциальный конструкт не имеет однозначного толкования в науке о языке на современном этапе ее развития (Бабушкин 1996; Воркачев 2001, с. 64–72; Карасик 1999, с. 5–19; Кубрякова 1996 а, с. 90–93; Лихачев 1997, с. 280–287; Ляпин 1997, с. 11–35; Скидан 1997, с. 36–69; Степанов 1997 а, с. 40–76). Дискуссионными являются вопросы архитектоники (Скидан 1997, с. 6–8; Степанов 1997 а, с. 40–42), классификации / типологии концептов (Бабушкин 1996; Болдырев 1999, с. 62–69; Лихачев 1997, с. 282–284), их соотношения с полисемантическими языковыми единицами (Лихачев 1997, с. 280–287), облигаторности или факультативности вербализации концептов (Кубрякова 1996а, с. 90–93; Карасик 1997, с. 157–159; Нерознак 1998, с. 80–85), методы их изучения (Степанов 1997 а, с. 40–76; Попова, Стернин 2000 и др.).

Прежде чем остановиться на анализе вышеуказанных проблем, следует вкратце обосновать необходимость употребления иноязычного термина в российском языкознании. Не является ли он в действительности избыточным, и насколько функционально оправдано его заимствование и употребление в лингвистике? Этот иноязычный термин родствен русскому слову «понятие». Имя существительное «conceptus» происходит от латинского глагола «conceptere» – «зачинать», т.е. буквально значит «поятие, зачатие»; его русский эквивалент «понятие» образовано также от глагола «пояти», имевшего в древнерусском языке значения «схватить, взять в собственность, взять женщину в жены» (подробнее см.: Степанов 1997а, с. 40, курсив мой. – Н.К.). Легко заметить, что оба глагола этимологически во многом родственны, выражают общую идею приобретения. Следует отметить, что данные термины не имеют статуса абсолютных синонимов. Употребление их в отечественной лингвистике все еще не имеет четкого разграничения. В одних работах термин «понятие» толкуется как более объемная по содержанию единица языкового сознания, в других же, напротив, концепт признается более объемной, широкой единицей (см.: Худяков 2001, с. 32–37).

Вслед за Ю.С. Степановым (Степанов 1997а, с. 40–43) мы считаем концепт более объемным мыслительным конструктом человеческого сознания по сравнению с понятием. По нашему мнению, концепт есть

некое суммарное явление, по своей структуре состоящее из самого понятия и ценностного (нередко образного) представления о нем человека.

Русское слово «понятие» имеет, безусловно, более широкое применение в нашем языке, в том числе и профессиональном языке филологов. Оно полисеманлично: «1. Логически оформленная мысль о классе предметов, явлений; идея чего-нибудь. 2. Представление, сведение о чем-нибудь. Иметь, получить понятие о чем-нибудь. 3. Обычно мн. Способ, уровень понимания чего-нибудь. У детей свои понятия» (ТС 1995, с. 551). Как термин это слово традиционно употребляется прежде всего в философии и логике. В логике он моносемичен, имеет следующую дефиницию: «Понятие – мысль, фиксирующая признаки отображаемых в ней предметов и явлений, позволяющие отличать эти предметы и явления от смежных с ними» (Горский, Ивин, Никифоров 1991, с. 150).

Сферами применения термина «концепт» в русском языке являются прежде всего когнитивная психология, когнитивная и культурологическая лингвистика. Все возрастающий научный статус данного термина подтверждается его активным использованием в работах крупных исследователей. Автор фундаментальной работы «Константы. Словарь русской культуры» Ю.С. Степанов относит слово «концепт» к «главным терминам Словаря» (Степанов 1997а, с. 40). Не случайно включение концепта и в «Краткий словарь когнитивных терминов», изданный под редакцией Е.С. Кубряковой (Кубрякова и др. 1996).

Концепт, согласно научным дефинициям (Аскольдов 1997, с. 269; Кубрякова 1996 а, с. 90–93; Ляпин 1997, с. 11–35; Скидан 1997 а, с. 5–10), – это многомерный мыслительный конструкт, отражающий процесс познания мира, результаты человеческой деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий информацию о нем. Так, М.А. Холодная трактует концепт как «познавательную психическую структуру, особенности организации которой обеспечивают возможность отражения действительности в единстве разнокачественных аспектов» (Холодная 1983, с. 23). По мнению Р. Павилениса, концепты – это «смыслы, составляющие когнитивно базисные подсистемы мнения и знания» (Павиленис 1986, с. 241. – Цит. по: Бабушкин 1996, с. 15).

Концепт, как и понятие, – единица когнитивного порядка. Архитектоника концепта как структурно-смыслового образования сложнее архитектоники понятия. Согласно В.И. Карасику, концепт состоит из 3 компонентов – понятийного, образного и ценностного (Кара-

сик 1996, с. 3–16). По образному замечанию С.Х. Ляпина, «в глубине концепта мерцает понятие» (Ляпин 1997, с. 27). Данные рассуждения ассоциируются со структурой лексических значений слов, разработанных в семасиологии (ср.: денотат, коннотат, денотативная сема, коннотативная сема, эмотивная сема, оценочная сема и т.п.).

Концепт в отличие от понятия не только мыслится, но и *переживается*. Его объем, таким образом, шире объема понятия. Концепт включает в себя само понятие, являющееся в свою очередь его обязательным ядерным компонентом.

Обсуждение вопроса архитектоники концепта методологически полезно, теоретически ценно, поскольку знание исследователем его структурных компонентов в действительности позволяет адекватно применить целый комплекс специальных исследовательских методик. Использование последних, таким образом, объективно способствует выявлению самой сущности изучаемого факта культуры и языка.

Методологически важными мы считаем рассуждения о структуре концепта Ю.С. Степанова. Концепт, по его мнению, включает в себя такие компоненты, как «1) *основной, актуальный признак*; 2) *дополнительный, или несколько дополнительных, пассивных признаков*, являющихся уже не актуальными, *историческими*; 3) *внутреннюю форму*, обычно вовсе не осознаваемую, запечатленную во внешней словесной форме» (Степанов 1997а, с. 44). Первый компонент – основной, актуальный признак концепта – значим, «известен» всем носителям того / иного языка, той / иной культуры. Выраженный вербально, он – средство коммуникации представителей определенной этнической общности, нации, народа, народности. В отличие от него второй компонент – дополнительный, пассивный признак (или дополнительные, пассивные признаки) концепта – обнаруживает свою актуальность далеко не для всего этноса; он, если так можно выразиться, доступен для представителей определенной социальной группы, для конкретного микросоциума. Социальная релевантность данного признака или признаков корпоративно ограничена (ср. с «ближайшим» и «дальнейшим» значениями слова у А.А. Потебни). И, наконец, третий компонент концепта – этимологический признак или внутренняя форма – является наименее актуальным для языко- и концептоносителей любой культуры, поскольку историей жизни слова, как известно, занимаются преимущественно специалисты конкретных наук. Вместе с тем этот признак релевантен опосредованно, «как основа, на которой возникли и держатся остальные слои значения» (подробнее см.: Степанов 1997а, с. 45).

Вербально оформленные, в частности лексикализованные концепты, в отличие от неязыковленных концептов, более доступны исследователю. Изучение сущности вербализованных концептов предполагает применение метода этимологического анализа, поскольку принципиально релевантны его «исходная форма» (термин Ю.С. Степанова), момент ее зарождения и последующего становления в человеческом сознании. Заметим, что в западноевропейской этнографии этот метод уже давно активно и успешно используется при изучении культурных феноменов (см., например: Bausinger 1980; Vocelka 1993, S. 295–301). Если применение метода этимологического анализа открывает занавес тайны первых шагов жизни концепта, т.е. его исследование в *диахронической* плоскости, то использование, например, ставшего традиционным и эффективным во второй половине XX столетия метода компонентного анализа в его различных вариациях может оказаться полезным при изучении сущности концепта в *синхронии*.

При изучении концептов в синхронии лингвокультуры, безусловно, эффективными являются также и традиционные психолингвистические методики, позволяющие «срезать» тот / иной фрагмент языкового сознания современных носителей языка. Применение подобного рода методов поможет установить «скрытые» признаки концепта – его ассоциации. Данные методики незаменимы, в особенности при межкультурном исследовании концептов, признаваемых эквивалентами в разных лингвокультурах. Полезным может оказаться также использование данных разноязычных ассоциативных словарей, представляющих собой срез знаний и оценок среднестатистической языковой личности конкретного этноса.

Названные здесь в качестве примеров методы, разумеется, должны быть дополнены целым рядом нелингвистических методов (Степанов 1997а, с. 50). Заметим, что современная практика изучения концептов (Гачев 1988; Голованивская 1997; Толстая 1991, с. 109–115 и др.), как мы указывали ранее, показывает эффективность использования лингвокультурологами данных из области смежных с языковедением наук – истории, этнографии, социологии, культурантропологии и др.

Принципиально важным при описании онтологии концептов является вопрос о формах их представления: всякий ли концепт вербализован? Большинство исследователей считают, что концепты не обязательно выражены языком. Утверждается, что они, *как правило*, оязыковлены, но их вербализация не облигаторна (Вежицкая 1997 в, с. 294–315; Карасик 1997, с. 157; Ляпин 1997, с. 11–35; Стернин 1999,

с. 69–79 и др.). Сами техники их оязыковления могут быть различными – однословная, словосочетательная, несколькословная (предложная) номинация.

Наше ознакомление с когнитивно- и лингвокультурологически ориентированными работами позволяет заметить предпочтительность выбора для анализа лексикализованных (Арутюнова 1991, с. 7–23; Бабушкин 1996; Вежицкая 1999; Прохвачева 1999 и др.) и фразеологизованных (Бабушкин 1996; Гак 1991, с. 24–31 и др.) концептов. Вместе с тем концепты могут вербализоваться и грамматически (Болдырев 1999, с. 62–69; Вежицкая 1999, с. 44–51). Обращение ученых к фразеологизованным и, в особенности, к лексикализованным концептам объясняется, на наш взгляд, характером корреляции понятий, идей и оформляющих их знаков. Концепты, вербализованные лексически, обнаруживают непосредственную корреляцию обозначаемого и обозначающего.

А. Вежицкая, анализируя проблему соотношения понятий и слов, их оязыковляющих (лексикализирующих), отмечает важность знаковой оформленности человеческих идей, мыслей, понятий. Она пишет: «Но почему присутствие тех или иных слов столь важно? Нельзя ли, чтобы люди обладали понятиями без слов? Разве в языке нет *скрытых категорий*? Скрытые категории, конечно, есть, и понятия могут существовать даже и без представляющих их слов. Но, во-первых, *наличие слова (отдельной лексической единицы) служит прямым свидетельством существования понятия*, а при его отсутствии имеются, в лучшем случае, лишь косвенные свидетельства. Во-вторых, при человеческом общении *недостаточно «обладать» понятием, важны также средства передачи его другим людям* (даже при предположении, что возможно обладать понятием, не имея средств для его передачи). Для некоторых понятий такая передача возможна с помощью *описательных конструкций или парфраз*; для других, однако, необходимо иметь *прямое лексическое выражение*» (Вежицкая 1997 в, с. 294, курсив мой. – Н.К.).

При определении сущности концептов С.Х. Ляпин высказывает мнение о их разной оформленности. Концепты, по Ляпину, – это «идеализированные формообразования, опирающиеся на понятийный (или псевдо-, или предпонятийный) базис, закрепленный в значении какого-либо знака: научного термина, или слова (словосочетания) обыденного языка, или более сложной лексико-грамматико-семантической структуры, или *невербального* предметного (квазипредметного) образа, или предметного (квазипредметного) действия и т.д.»

(Ляпин 1997, с. 18, курсив мой. – *Н.К.*). Концепт, таким образом, не обязательно вербален. Более того, он может эксплицироваться «предметными действиями». Соглашаясь с точкой зрения С.Х. Ляпина, добавим, что понятие, как установлено учеными, может мыслиться человеком, особенно ребенком, непосредственно знакомыми ему самими предметами, их свойствами, отношениями (см. подробнее: Сеченов 1995, с. 216–217; Коеск 1987, S. 362–363). Концепты, равно как и понятия, не обязательно должны иметь, по нашему мнению, вербализованную форму, хотя, как правило, они материально существуют, т.е. знаково оформлены.

Проблема языкового выражения тех / иных смыслов является центральной в так называемой «лакунарной теории». Общеизвестно, что окружающий человека мир в разных культурах, в разных языках может по-разному члениться. Разные языки различно семантизируют действительность, ее отдельные «участки», в чем проявляется их своеобразие, известная оригинальность. Этот лингвистический факт объясняется главным образом причинами этнографического, в целом – культурно-исторического характера. Обсуждение же вопроса лакунарности необходимо предполагает поиск ответа на достаточно сложный вопрос: тождественны или не тождественны понятия и концепты разных языков и культур?

По мнению одних ученых, понятия во всех языках тождественны, хотя выражаться они могут по-разному. «Некоторая мысль, представленная в определенной словесной форме, есть понятие. Можно представить ее во многих других языковых формах (в естественных или искусственных языках), являющихся переводами одних в другие, и мы будем иметь все то же понятие. Разные формы и признаются переводами друг друга в силу того, что выражают одно и то же понятие» (Войшвилло 1967, с. 104).

Согласно другой точке зрения (в настоящее время более распространенной), понятия, концепты в разных языках и культурах обычно не совпадают, поскольку разные языки по-разному отражают действительность, берут в основу формируемого понятия различные его стороны (Hudson 1991, p. 73–84; Jackendoff 1993, p. 184–185). Иначе говоря, в каждом языке для понятий характерна своя специфика.

Уместно в качестве иллюстрации несовпадения понятий, концептов, в частности этических, в разных культурах, их вербальных трансляций, в особенности существующих в разных диахронических плоскостях цивилизаций, привести фрагмент из книги А.Ф. Лосева «(Очерки античного символизма и мифологии». А.Ф. Лосев пишет: «Сокра-

товская философия, говорят, есть этика, и эпистемное знание направлено у него на этические понятия. Но что такое *‘agauos*, слово, столь бесцветно переводимое нами как “хороший”, что и такое *ageih*, слово которое до сих пор переводят как “добродетель”? *‘Agauos* ровно не имеет никакого морального смысла. Теперь первоначальный смысл этого слова понимают как “приличный”, “подобающий” и выводят из религиозно-ритуальной сферы. Оно употребляется и относительно людей, и относительно вещей, и я бы его часто переводил как “настоящий”, “правильный”, “соответствующий цели”. Нельзя ведь сказать по-русски: добродетель свиней, лошадей, добродетель карандаша, пера, сапога. Вот почему “хорошее” или “благое” у Сократа совпадает с “полезным” и “нужным”. Ясно, что “Благо” платонизма есть обоснование зримой мировой скульптуры, а не какая-то скучная моралистика, к которой силится большинство свести Платона. У нас даже нет такого термина, чтобы передать это платоническое *‘agauos*. И мы никак не можем понять, что переводить подобные термины с греческого на современный европейский язык все равно что впечатление от античной статуи передавать средствами современной балалайки. “*‘Agauos*”, “добродетель”, которую эпистемно исследуют Сократ и Платон, всегда имеет под собой значение способности *строить*, мастерить, конструировать» (Лосев 1993, с. 94).

Думается, что как в первой, так и во второй концепциях есть некоторые уязвимые места. Начнем с анализа точки зрения, согласно которой понятия в разных языках тождественны. Ее ахиллесовой пятой можно считать необходимость постоянного обращения при трансляции определенных смыслов, идей с одного языка на другой к дескриптивным лингвистическим средствам, например, к различным перифразам и т.п. Безусловно, описательные техники позволяют *в целом* передать смысл, четко выраженный на лексическом или фразеологическом уровне в одном языке, на другой язык. Об этом свидетельствуют факты переводоведения.

Результаты некоторых работ, авторы которых заслуженно пользуются большим уважением в лингвистическом мире, говорят о том, что понятия, смыслы, вербально выраженные в одном языке и не обозначенные специальным знаком (например, словом) в другом, в принципе передаваемы за счет самых различных компенсирующих средств. При этом, однако, имеют место смысловые потери (Markovina 1993, S. 174–178; Sorokin 1993, S. 167–173).

Для нас очевиден тот факт, что в разных языках, даже самых генетически и типологически удаленных друг от друга, есть некоторое

множество категорий, являющихся для них общими. К их числу, например, можно отнести грамматико-лексические категории субъекта и объекта действия, предмета, признака, времени, модальности и др. Наличие ряда универсальных лингвистических категорий в разных языках (пусть даже их количество и дискретно) свидетельствует о «психологическом единстве» разных народов, культур. Вместе с тем известно также, что это «психологическое единство» не исключает самого существования определенных национальных черт в том / ином языке.

Если следовать диаметрально противоположной концепции, т.е. универсализировать принцип несовпадения понятий в разных языках (Муравьев 1975, с. 28), то сложно объяснить возможности адекватного перевода с одного языка на другой, наконец, факт взаимопонимания между народами.

Мы считаем, что транслируемость смыслов, актуализированных языком в одной культуре, принципиально возможна в другую культуру. При этом, однако, не исключена объективная потеря, «непереносимость» некоторых периферийных компонентов переводимого смысла, идеи. Вероятно, этот факт объясняется не только «техническими» возможностями того / иного языка, не интралингвистическими, а скорее, какими-то культурными, экстралингвистическими факторами. Смыслы, идеи, понятия, концепты переносятся, выражаясь образно, в другое культурное пространство, обладающее собственными специфическими характеристиками, своей системой координат. Аккультурация транслируемых смыслов нередко приводит к появлению несколько отличных от них смыслов. Идея, смысл, «пересаженные» из одной культуры в другую, оказываются в смысловом поле другой культурно-понятийной системы, выстроенной по несколько иным «правилам». Эти «правила» в действительности представляют собой результирующее событие, сформировавшееся и перманентно формирующееся в определенных исторических условиях: особенности национального менталитета, характера народа, специфика его традиций, нравов и т.п. Такие компоненты культуры, как традиции, обычаи, нравы, суеверия, приметы, обусловлены целым комплексом факторов. Достаточно вспомнить теории географического, психологического, историко-экономического, лингвистического детерминизма, чтобы представить себе в общих чертах специфику этнокультуры и соответственно этноконцептов.

Хотелось бы подчеркнуть, что при трансляции смыслов, как мы думаем, может иметь значение как сам их характер (смыслы, идеи,

понятия могут быть самыми разнообразными. Ср.: перенос технической терминологии и перенос вербально выраженных (этнически обусловленных) моральных ценностей, культурных приоритетов), так и родственность культур, например, их географическая близость или отдаленность. Следовательно, отсутствие вербального знака в конкретном языке (в частности, слова) еще не говорит о том, что для его носителей *принципиально невозможно*, чуждо понимание определенных смыслов, четко вербализованных в иной культуре. При этом следует сделать одну существенную оговорку. Сопоставление идей, смыслов, формирующих разные культурные понятийные (концептуальные) системы, научно корректно лишь в случае их характеристики в синхронии. Естественным в этом отношении можно признать значительные расхождения между культурными понятийными системами, имеющие место при сопоставлении цивилизаций, существующих в разные эпохи. Интересны, на наш взгляд, и полезны в методологическом смысле суждения русского философа А.Ф. Лосева, который сравнивает толкование таких, казалось бы, по крайней мере с позиций сегодняшнего дня, абсолютных, универсальных концептов, как «пространство» и «время» (бытийные категории), в Древней Греции и в нынешнем западном мире.

При анализе понимания древними греками философского понятия «фатум» (т.е. судьба) А.Ф. Лосев со ссылками на труды специалиста по античности, немецкого историка О. Шпенглера, сопоставляет ингредиенты этой категории – «пространство» и «время» – в Древней Греции с современными западными представлениями об этих феноменах: «Античная аполлоновская душа всегда жила *малым, обозримым*. Греческий язык не знает термина, обозначающего *пространство*» (Лосев 1993, с. 45–46). И далее приводится высказывание О. Шпенглера: «Равным образом у греков отсутствовало наше чувство ландшафта, чувство горизонтов, видов, дали, облаков, а также понятие отечества, распространяющееся на большое пространство и охватывающее большую нацию» (Шпенглер. – Цит. по: Лосев 1993, с. 46).

О категории времени А.Ф. Лосев пишет следующее: «Что же касается греков, то года для них не имеют никакого значения, в то время как для западного человека полны напряжения каждая минута, каждая секунда» (Лосев 1993, с. 47). Другим символом концепции времени является, по его мнению, форма погребения. Философ цитирует О. Шпенглера с последующим комментарием: «Античный человек, руководствуясь глубоким, бессознательным жизнеощущением, изби-

рает сожжение мертвых, акт уничтожения, в котором с полной силой выражено его привязанное к здешнему эвклидовское существование. Он не хотел никакой истории, никакой долговечности, ни прошлого, ни будущего, ни заботы, ни разрешения, и поэтому уничтожал то, что не обладало более существованием в настоящем моменте, тело Перикла или Цезаря, Софокла или Фидия» (Шпенглер. – Цит. по: Лосев 1993, с. 46). Затем он заключает: «Лишенные чувства времени, дали, бесконечного, греки были лишены и вообще всякого чувства заднего плана, потустороннего. Для них существовал только передний план бытия» (Лосев 1993, с. 43). Здесь же автор цитаты указывает читателю на совершенно противоположную традицию погребения египтян, которые в отличие от греков, наоборот, увековечивали тела (Там же, 1993, с. 44).

Фиксация и культуролого-когнитивный анализ концептов как объектов научного изыскания принципиально предполагают обращение ученого к изучению семантического (в широком смысле слова) континуума посредством применения соответствующих лингвистических, социо- и психолингвистических методик. Другими словами, концепты, «прописанные» в языковом сознании человека, можно вычлениить, распроектировать как семиотические феномены. В данном случае, по нашему мнению, применение существующих научных методов позволяет более или менее адекватно интерпретировать лежащие как бы на поверхности (в силу своей вербализации!) человеческого сознания феноменологические субстанции. Это – во-первых. Во-вторых, анализ оязыковленных смыслов для их толкования абсолютно необходим, но, скорее всего, недостаточен, поскольку не всякая мысль, идея вербализована в конкретной культуре на уровне знака. Отсюда следует необходимость изучения неязыковленных, мы бы сказали «спрятанных» от взора невооруженного специальным прибором (=методикой) человека, смыслов, в действительности имеющих место в той / иной культуре.

Трансформируемые в культурные концепты понятия в их первичной форме существуют в человеческом сознании как некий диффузный, размытый, недостаточно четко схваченный языком «сгусток смысла» (термин Ю.С. Степанова, см.: Степанов 1997а, с. 42), интуитивно осознаваемый его продуцентом-носителем. Невербализованные понятия и концепты реально «живут» в имплицитной форме в самом общении людей на уровне различных скрытых языковых категорий. Отсутствие же зафиксированных языком идей, мыслей, безусловно, значительно затрудняет успешное изучение природы понятий

и концептов. Их вычленение из текста (термин понимается в его расширительном варианте) или дискурса связано с многочисленными сложностями, которые хорошо известны всем тем, кто пытался дать глубокий, всесторонний (т.е. учитывающий все аспекты рождения, существования, синхронного и диахронического функционирования и т.п. того / иного «текстового полотна») анализ / интерпретацию текста как носителя, хранителя и распространителя смыслов, идей.

Человеческое сознание, аккумулируя в себе в ходе исторической эволюции множество смыслов по мере освоения действительности, бесконечно варьируя и комбинируя их, «открывает» при этом благодаря своей конструктивной ментальной деятельности все новые и новые идеи, которые изначально существуют как некие «полусмысловые» эмбрионы, трансформируемые впоследствии в определенные смысловые структуры. Последние приобретают лишь *со временем* определенность, более / менее отчетливые контуры своего очертания. (Попутно заметим, опережая изложение результатов своего исследования, что данная определенность нередко принципиально зависит от релевантности того / иного феномена для конкретной этнической общности.) Эти все еще не до конца оформившиеся, но уже «зачатые» «сгустки смысла» можно бы назвать предформами потенциальных понятий, способных в перспективе стать концептами, т.е. понятиями, сопровождаемыми определенными оценками (концепт = понятие + представление о нем). Как правило, эти предформы потенциальных понятий по мере их все более глубокого осмысления человеком, а значит, их дальнейшей трансформации в понятия и концепты вербализуются на том / ином языковом уровне (лексическом и фразеологическом).

Изучение некоторых теоретических работ по глубинной психологии, в которых обсуждается вопрос становления человеческого сознания (см.: Нойманн 1998), приводит к мысли о том, что, прежде чем предформы понятий (размытые формы мысли, представления) будут осмыслены архаичным, примитивным человеком, станут, так сказать, его интеллектуальным достоянием, свое эмбриональное состояние они, являясь зародышами потенциальных мыслительных конструкций – впечатлений, ощущений, представлений, – непременно переживают на уровне бессознательного. По мере превращения архаичного человека в человека цивилизованного, все более приобретающего черты *Homo sapiens*, мыслительные конструкты, находящиеся на пути своего все более четкого лингво-когнитивного оформления, постепенно

извлекаются сознанием из области бессознательного. Затем, как можно предположить, по прошествии длительного времени данные «извлеченные» потенциальные понятия, а в перспективе – реальные концепты (мы бы их назвали мотивированным, как нам кажется, весьма подходящим в нашем случае немецким термином *Vorbegriffe* – «предпонятия»), подчиняясь законам развития человеческого мышления, в целом – человеческой эволюции, выкристаллизовываются в некие четкие смысловые фрагменты, несущие в себе отражение результатов «проработанных» человеком ощущений и впечатлений как перцептивных образов, исходящих от окружающей среды.

Таким образом, формы вербализации концептов могут быть различными (Бабушкин 1996, Кубрякова 1996а, с. 90–91 и др.). В зависимости от техники их оязыковления лингвистами предлагается структурно-семантическая типология концептов. Так, А.П. Бабушкин классифицирует концепты на лексические и фразеологические (Бабушкин 1996). На наш взгляд, со структурно-семантической точки зрения правомерно выделение в самостоятельные типы пропозитивных, предложных и др. концептов. Иначе говоря, концепты могут быть оформлены и более сложными в структурном отношении номинативными техниками.

Помимо структурно-семантической типологии концептов правомерной следует признать их дискурсную классификацию. Авторы последней кладут в ее основу принцип *способов освоения мира* – научный, художественный и обыденный (см.: Аскольдов 1997, с. 268–276; Карасик 1997, с. 156–158). Следовательно, можно выделить в отдельный тип научные, художественные и обыденные концепты.

Предложение рассматривать концепты с точки зрения их эксплуатации в том / ином типе текста (дискурса) в косвенной форме было высказано еще С.А. Аскольдовым (1928 г.). Оно продуктивно и безусловно полезно в теоретическом отношении для когнитивной науки, когнитивной лингвистики, литературоведения и в частности поэтики, в целом – филологии. Данная дискурсная классификация строится на противопоставлении логической четкости познавательных и расплывчатости художественных концептов. С.А. Аскольдов пишет: «Самое существенное отличие художественных концептов от познавательных заключается все же именно в неопределенности возможностей. В концептах знания эти возможности подчинены или требованию соответствия реальной действительности, или законам логики. Связь элементов художественного концепта зиждется на совер-

шенно чуждой логике и реальной прагматике художественной ассоциативности. Нельзя сказать, чтобы в этой ассоциативности не было закономерности и требовательности. Но они все же не укладываются ни в какие правила и представляют в каждом отдельном случае особую *индивидуальную* норму вроде нормы развития музыкальной мелодии» (Аскольдов 1997, с. 275, курсив мой. – Н.К.). Утверждение об индивидуальности как важнейшей фундаментальной черте, свойстве художественных концептов, вербализуемых в творческих текстах, и об общности познавательных или, как пишет автор цитаты, «научных» концептов, можно, вероятно, считать в современной науке уже аксиомой.

Суждения С.А. Аскольдова об отличиях художественных и научных концептов вряд ли могут вызывать какие-либо принципиальные возражения со стороны современной науки. «Слово в художественном творчестве и восприятии, – утверждал С.А. Аскольдов, – имеет существенно иную роль, чем в познании. Там оно исполняет по преимуществу номинативную или дефинитивную функцию, т.е. или является средством четкого обозначения, и тогда оно простой *знак*, или средством логического определения, тогда оно научный термин. В этой роли оно имеет мало или никакого внутреннего средства со своими внутренними смыслами. В искусстве оно большей частью *символ*, т.е. нечто, имеющее внутреннюю органическую связь со своим значением» (Аскольдов 1997, с. 276).

Архитектоника концепта как трехкомпонентной структуры предполагает различную степень реализации его признаков (понятия, образа и оценки) в различных типах коммуникации (дискурсах) – научном, художественном и бытовом. В дискурсе, понимаемом нами вслед за Ю.Н. Карауловым и В.В. Петровым как «сложное коммуникативное явление, включающее кроме текста еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресанта), необходимые для понимания текста» (Караулов, Петров 1989, с. 8), таким образом, актуализируются признаки вербализованных концептов.

Архитектоника концепта как носителя смысла может варьироваться (по аналогии с языковыми значениями) в зависимости от ситуации его погружения в конкретный текст, конкретную ситуацию общения. Использование концепта в разных культурно обусловленных ситуациях, по всей видимости, дает основание говорить о его вариабельности, а если точнее – об определенной нестабильности периферийной части этого понятия. Известная вариабельность концептов, одна-

ко, не исключает наличия в них неких универсальных структур, служащих мостиками между знанием, сознанием и человеческой культурой. Эти структуры, по утверждению О.П. Скидан, фиксируют специфическую предметность и способы ее бытия. Их, в понимании О.П. Скидан, следует назвать *категориальными структурами*. Последние выполняют роль фиксаторов предметности в ее собственной и идеальной форме, а также способов бытия этой предметности (Скидан 1997, с. 45, курсив мой. – Н.К.).

На необходимость изучения категориальных, в особенности субкатегориальных признаков, составляющих сущность концептов, указывает В.И. Карасик, предложивший конкретные способы исследования концептов, которые могут быть актуальны / типичны как для многих, так и для отдельных, единичных культур. Изучение природы категориальных признаков, являющихся результатом обобщения предметов, их свойств и отношений, по мнению В.И. Карасика, позволяет выявить, с одной стороны, некоторые универсальные понятийные категории, например, такие как время, красота, польза и т.д. С другой же стороны, «языковым универсальным понятиям противостоят конкретные для данного языка частные сложные понятия, соотносимые во многих случаях с отдельными словами и словосочетаниями. Такие понятия являются уникальными. Вместе с тем концептологическое осмысление языковых признаков включает в себя *трансляцию* соответствующих культурных феноменов, выявление и сохранение особенностей, свойственных типам тех или иных значений. Иначе говоря, задача состоит в выявлении опосредующих звеньев между универсальными и уникальными понятиями» (Карасик 1997, с. 157).

Эти «опосредующие звенья» В.И. Карасик называет субкатегориальными признаками в языке. По его мнению, именно их анализ является наиболее многообещающим и перспективным для концептологии: «Субкатегориальные признаки более конкретны, чем абстрактные категории, с одной стороны, и образуют специфические комбинации, свойственные тому или иному языку, с другой стороны. Один из наиболее важных принципов субкатегориального анализа заключается в том, что переходы признаков более существенны, чем сами признаки. Признаки не существуют изолированно, они всегда представлены в виде признаков кластеров, сложных единств, стороны которых могут быть с исследовательской целью проанализированы отдельно» (Там же, с. 159).

Стоит, на наш взгляд, заметить, что в последние 10–20 лет наукой были выработаны специальные исследовательские методики, приме-

нение которых ведет к успешной рефлексии текстов (дискурсов). Попытки ученых (герменевтов, лингвистов, литературоведов, этнографов, этнологов, культурологов и т.д.) адекватно толковать тексты привели к формированию в совсем недавнем прошлом и к бурному сегодняшнему развитию отдельного перспективного языковедческого направления – лингвистики текста – и в целом – к дискурсивному подходу в изучении лингвокультур.

Очевидно, что *современная* интерпретация знаково закрепленных результатов человеческой ментальной, в целом – духовной, деятельности, т.е. культуры, на самом деле в той / иной степени объективно искажает истинные реалии прошлого; она всегда аппроксиматична, поскольку сам текст как фрагмент культуры объясняется его толкователями с позиции нынешнего знания, с точки зрения сегодняшних традиций и в целом – современного состояния культуры. Действительно адекватный анализ любых культурных феноменов должен быть максимально контекстным, реально приближенным *ко времени* их рождения. Безусловно, что решение подобного рода научной задачи чрезвычайно сложно. Оно в перспективе предполагает, в частности, создание качественно новых исследовательских методик, базирующихся на результатах, исследовательском опыте, накопленном множеством научных дисциплин, каждая из которых располагает своим подходом, видением проблем, исследовательским материалом и методологией. Однако, как мы указывали в самом начале монографии, сегодня уже есть некоторые субъективные и объективные предпосылки к появлению интегрированной (в подлинном смысле этого слова) гуманитарной науки, способной комплексно изучать явления культуры.

Концепты могут типологизироваться не только структурно-семантически, дискурсно, но и социологически. Так, Д.С. Лихачев все концепты классифицирует на следующие группы: универсальные («смерть», «жизнь»), этнические («отчизна», «интеллигенция»), групповые («сцена» для актера и зрителя), индивидуальные (они полностью зависят от личного опыта, системы ценностей, культурного уровня конкретного человека) (Лихачев 1997, с. 284–285).

Классификация концептов Д.С. Лихачева, в нашем понимании, строится, если можно так выразиться, на социологическом критерии, суть которого заключается в охвате той / иной идеи, мысли, концепта определенного количества людей. Заметим, что аналогичный критерий используется в отношении типологизации человеческих знаний в целом (см.: Hudson 1991, p. 75–77). Обладание тем / иным кон-

цептом зависит от такого культурологического фактора, как система предпочтений, ценностей целых этносов, формирующих их стратов (социальных групп) и, наконец, конкретных индивидуумов, владеющих в той / иной степени самой культурой. Именно от степени владения культурой, т.е. уровня образованности, воспитанности, интеллигентности, зависит концептосфера конкретного человека.

Социологически ориентированная классификация концептов Д.С. Лихачева провоцирует возникновение релевантного для задач нашего исследования вопроса: универсальны ли концепты, в том числе и концепты эмоций, или же они обладают спецификой в разных языковых сообществах?

Хорошо известно, что проблема особенностей языкового мировосприятия с давних времен волновала умы и сердца многих мыслителей (В. Гумбольдт, Л. Вайсгербер, М. Хайдеггер, Б. Уорф, Э. Сепир, Л.В. Щерба, А.А. Потебня и др.). Не потеряла она своей притягательной силы и для многих современных исследователей (Брутян 1968; Вежбицкая 1997, 1999; Кацнельсон 1986; Колшанский 1990; Радченко 1997; Толстой 1997, с. 306–315 и др.). Не менее известен также факт доказанности в современной науке этноспецифики культурных концептов.

Важнейшей характеристикой концептосферы как средоточия человеческих представлений, идей о том / ином фрагменте бытия (помимо национальной окрашенности) следует признать ее хронопространственную лабильность. Концептосфера – не застывшая семиотическая система – не обязательно устойчива, а, напротив, принципиально изменяема во времени и пространстве той / иной этнической культуры. Ее сегменты, концепты «привязаны» не только к конкретной этнической общности, но и к конкретным социальным группам.

Другими словами, концепт есть некая идея, фрагмент общей человеческой культуры, «живущий» в сознании как целых народов, отдельных этносов, так и отдельных социальных групп и, более того, конкретных индивидуумов. Отсюда, как кажется, легко формулируется глобальная задача диахронического исследования существования, эволюции концептов в человеческой цивилизации, в ее отдельных этнических и интерэтнических, т.е. родственных, культурах (например, восточнославянской и западнославянской и т.д.). Сопоставительный анализ концептосфер разных культур позволяет уже сегодня со всей очевидностью увидеть особенности развития национально-специфического сознания человека, зафиксировать в частности и в особенности отраженные на *вербальном уровне* отличия и сходства

мыслительной деятельности того / иного народа, специфику его ментального мира, национального характера.

Анализ концептосфер немаловажен в отрыве от их носителей, являющихся, по меткому и весьма удачному замечанию Д.С. Лихачева, не только культуроносителями, но и непременно языконосителями (Лихачев 1997, с. 282–283). С учетом существующих на сегодняшний день исследовательских методик необходимым и возможным при изучении концептосфер представляется обращение ученых к анализу языка, отражающего, перерабатывающего, классифицирующего и квалифицирующего результаты человеческой деятельности – мысли, идеи, дух. Изучение доступных для рефлексии знаковых форм существования понятийной системы позволит, таким образом, более глубоко распродетить сущность человека в ее самых различных ипостасях.

Здесь нелишне будет указать на все более активное и результативное использование лингвистических данных представителями смежных с филологией наук, в частности этнологами и этнографами, многие из которых заявляют о необходимости изучать *прежде всего тексты* как «первоочередной исследовательский материал» (терминология этнолога-лингвиста В. Кашубы. – Kaschuba 1995, S. 19, курсив и перевод мой. – Н.К.). Представители смежных с языкознанием наук сегодня с уверенностью говорят о наступившем в этнологии «лингвистическом повороте» («linguistische Wende» in der Ethnologie) (Kaschuba 1995, S. 19).

Если в концепте сфокусировано понятие, т.е. представления, знания человека об определенном явлении мира, то вполне закономерна их трансформация во временном континууме. Оязыковленный концепт, базирующийся на представлении, понятии и возникающий благодаря существованию последних в сознании, по мере погружения в культурное пространство конкретного этноса приобретает как когнитивный элемент дополнительные вторичные признаки – образ и оценку.

Жизнь, судьба слова как носителя концепта детерминирована прежде всего различными экстралингвистическими факторами (строением культуры, особенностями исторического развития общества, его традициями, обычаями, в целом – менталитетом конкретного этноса). Определенное, но, вероятно, не определяющее значение при этом имеют также и (внутри)лингвистические факторы, например, асимметрия языкового знака, тенденция к единообразию определенных языковых парадигм и т.д. Собственно лингвистические факторы /

причины развития нашего языкомышления (термин Г.В. Колшанского. – Колшанский 1990, с. 37) способны, безусловно, развивать сам концепт (ср., например, словообразовательные возможности того / иного языка). Достаточно вспомнить многочисленные распространенные способы вторичной и косвенной номинации (метонимия, метафора, функциональные переносы) в языке, в том числе и образной, чтобы хорошо себе представить сам путь полета человеческой мысли, обусловленный определенными как универсальными, так и национально-специфическими способами функционирования нашего языкового сознания, мышления.

Развивая мысль Д.С. Лихачева об особенностях обладания языковой личностью концептами, хочется отметить, что само толкование, глубина интерпретации концепта (как правило, *вербализованного* смысла, живущего в культуре) в значительной степени зависят не только от индивидуальных рефлексивных способностей конкретного индивидуума, но и от его принадлежности к тому / иному социуму (ср. оценочное отношение к концепту «8-е Марта» в *современном* русском и, например, в немецком этносе) или даже к микросоциуму (ср. оценочное отношение представителей российских правоохранительных органов и правозащитников-шестидесятников к русскому концепту «День чекиста» или, например, позиции глубоко верующих людей и атеистов к универсальному для мировых религий концепту «загробная жизнь»), от его возраста (ср. отношение к культурно-универсальным концептам «плотская любовь» и, например, «смерть» молодежи и соответственно пожилых людей) и некоторых других характеристик человека. Иначе говоря, проникновение в глубинный пласт концепта как когнитивно-культурного конструкта детерминруется спецификой в целом самого определенного временными рамками социокультурного пространства, в котором пребывает человек.

В парадигме лингвистического концептуализма важным представляется обсуждение вопроса соотношения родственных явлений – концепта и слова, концепта и значения слова (Аскольдов 1997, с. 267–274; Кубрякова 1996а, с. 91–92; Лихачев 1997, с. 280–287). В одной из своих работ, посвященной указанной проблеме, Д.С. Лихачев, положительно отзываясь о ранее упоминавшейся новаторской статье С.А. Аскольдова «Слово и концепт», вместе с тем не полностью соглашается с ним в определении сущности концепта: «В отличие от С.А. Аскольдова я полагаю, что концепт существует не для самого слова, а во-первых, для *каждого основного (словарного) значения слова отдельно* и, во-вторых, предлагаю считать концепт своего рода “алгебраическим” выражением значения (“алгебраическим выраже-

нием” или “алгебраическим обозначением”), которым мы оперируем в своей речи, ибо *охватить значение во всей его сложности человек просто не успевает, иногда не может, а иногда по-своему интерпретирует* его (в зависимости от своего образования, личного опыта, принадлежности к определенной среде, профессии и т.д.)» (Лихачев 1997, с. 281, курсив мой.– Н.К.). Таким образом, в одном конкретном концепте может быть выражено только одно значение, один ЛСВ (если мы имеем дело с многозначным словом).

Характеризуя связь между концептом и значением, Е.С. Кубрякова в «Словаре когнитивных терминов» отмечает следующее: «Концепт – это скорее посредник между словами и экстралингвистической действительностью, и значение слова не может быть сведено исключительно к образующим его концептам. Правильнее было бы, наверно, говорить о концептах как соотносительных со значением слова понятиях. Значением слова становится концепт, схваченный знаком» (Кубрякова 1996 а, с. 92). Из сказанного можно заключить, что значение есть означенный концепт, что концепт предшествует формированию (лексического) значения слова.

В одной из своих более поздних публикаций Е.С. Кубрякова уточняет свое понимание соотношения значения слова и концепта, указывая на редуцированный характер значения слова, с одной стороны, и на трансформации языка, вызванные необходимостью именования возникающих в сознании человека новых смыслов, – с другой. «У истоков формирования значения знака, – авторитетно утверждает известный ученый, – стоят редуцируемые в этом процессе *концептуальные структуры*; с рождением же нового знака существующий знак становится представителем нового *концепта*, ибо его значение соответствует отныне схваченному этим знаком отдельному кванту информации» (Кубрякова 2000, с. 29).

В заключение следует указать, что концепт соответствует отдельному словозначению, он культурно и национально обусловлен, как правило, вербализован (преимущественно лексически и / или фразеологически).

1.3. Определение социального феномена «эмоциональный концепт»

Любые концепты как ментальные образования могут существовать лишь в форме их совокупностей. Совокупность концептов, как было отмечено ранее, есть, по Д.С. Лихачеву, концептосфера (Лиха-

чев 1997, с. 282). Концептосфера эмоций (или эмоцио-концептосфера) представляет собой совокупность множества обычно вербализованных на лексическом и фразеологическом уровнях ЭК, состоящих друг с другом в сложных структурно-смысловых и функциональных отношениях и включающих в себя понятийный, образный и ценностный компоненты.

Принимая во внимание характеристики сущности концептов из известных научных работ (Аскольдов 1997, с. 267–279; Лихачев 1997, с. 280–287; Кубрякова 1996а, с. 90–93; Степанов 1997а, с. 40–57; Ляпин 1997, с. 11–35; Скидан 1997а, с. 5–10 и др.), понятие «эмоциональный концепт» мы дефинируем как этнически, культурно обусловленное, сложное структурно-смысловое, ментальное, как правило, лексически и / или фразеологически вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе, включающее в себя помимо понятия образ, культурную ценность и функционально замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации предметы (в широком смысле слова) мира, вызывающие пристрастное отношение к ним человека. Теперь рассмотрим вышеперечисленные компоненты содержания предложенного читателю определения ЭК.

Как и всякий другой, эмоциональный концепт культурно обусловлен. Он рождается при определенных социально-исторических условиях в конкретной этнической общности на определенном этапе ее развития. Иногда он может заимствоваться ею извне как *понятие*; затем рефлексироваться первоначально «чужим» для него сознанием, а впоследствии трансформироваться непосредственно в более сложный феномен – концепт. Условия его появления и дальнейшего существования в обществе (в широком смысле слова, т.е. практически в любой группе человеческого сообщества / коллектива) могут быть самыми различными. Их уточнение не является для нас, по крайней мере на страницах данной части работы, предметом специального, а значит, всестороннего, глубокого, детального обсуждения. Поэтому мы ограничимся характеристикой культурной обусловленности концептов в самых общих рассуждениях, представленных в сжатом виде.

Важнейшим первичным *условием* рождения концептов, в том числе и эмоциональных, изначально существующих в понятийной форме, можно считать, опираясь на специальные историко-этнографические работы (например: Батищев 1987, с. 100–101; Bausinger 1980, S. 212–213), совместную, коллективную деятельность людей. Хорошей иллюстрацией данного тезиса могут служить слова немецкого

этнографа, историка Х. Баузингера: «Труд формирует и шлифует образ жизни в целом <...> Через коллективный труд знания, навыки передаются из поколения в поколение. Совместная же деятельность (*die gemeinsame Taetigkeit*) ведет к формированию общего языкового мира (*die gemeinsame Sprachwelt*)» (Bausinger 1980, S. 212–213, перевод и курсив мой. – Н.К.). Полагаем, что совместная деятельность ведет к формированию не только общего языкового мира (*die gemeinsame Sprachwelt*), что, безусловно, верно, но и коллективной, общей психологии определенных социальных групп людей, облигаторно включающей в себя и их эмоциональные отношения.

Другим важным условием рождения концептов, непосредственно связанным с вышеуказанным, следует считать социализацию личности – процесс, имеющий место на более позднем этапе эволюции человеческой цивилизации. Человек социализируется во многом благодаря общественным экономическим изменениям. Последние имеют своим результатом трансформации самого менталитета того / иного этноса / субэтноса. Здесь уместно привести некоторые этнографо-исторические примеры. Так, К. Вибиг (Viebig 1914, S. 31–33. – Цит. по: Korff 1980, S. 49), давая описание жизни немецких крестьян в прошлом, указывает на изменения в их менталитете, причиной чему стали изменившиеся экономические условия, которые, по выражению историка, привели к «деформации коллективной человеческой психики» конкретной этнической (суб)общности. Психосоциокультурные трансформации такого страта, как немецкое крестьянство, выводятся К. Вибиг преимущественно из самой экономической системы, характерной для того времени (Viebig 1914, S. 33. – Цит. по: Korff 1980, S. 49, перевод мой. – Н.К.).

В статье проф. Г. Корффа, посвященной анализу книги К. Вибиг, читаем: «Она (К. Вибиг, примеч. мое. – Н.К.) указывает на то, что люди благодаря организации своей деятельности и возникающим нормам культуры “создают условия для появления не только ее социальных структур, но и также для развития коллективной психики и менталитета”» (Korff 1980, S. 49, перевод мой. – Н.К.).

Аналогичные рассуждения о значении социализации человека содержатся также в работах и других западных культурологов и этнографов. Некоторые из них при этом указывают на недостаточное внимание ученых к проблеме социализации человека применительно к научным историко-этнографическим исследованиям культуры прошлого. Так, в частности, обсуждая вопрос регионального менталитета немцев на примере жителей, проживающих в местечке Штайн-

лахталь (Steinlachthal), культуролог У. Йеггле, используя собранные исторические материалы, в качестве доминирующей черты характера называет их грубость в общении, что связано с особенностями условий жизни этой группы людей. По его мнению, скрупулезный анализ лингвокультурологического материала является единственным способом познания специфики ментального, психологического развития определенных территориально организованных групп людей, у которых есть «что-то вроде общей судьбы» (so wie ein gemeinsames Schicksal), общего характера, привычек», которые наследуются их членами из поколения в поколение (Yegggle 1980, S. 97, перевод мой. – Н.К.).

С мнением У. Йеггле полностью согласен другой немецкий ученый – К. Байер. Он утверждает, что этнографические исследования должны опираться исключительно на анализ содержания «продуктов культуры» (Produkte der Kultur) – *фольклор, словесные выражения, грамматические конструкции* и другие самые различные «модели / образцы поведения» (Verhaltensmuster), типичные для той / иной общности (Bayer 1994, S. 52, перевод и курсив мой. – Н.К.). Как видим, процитированные западные этнологи, говоря о культуре как об общественном феномене, непременно указывают на ее изучаемость, транслируемость, возможность усвоения последующими поколениями той / иной этнической общности.

Поскольку ЭК есть концепты культурные и в своей работе мы неоднократно оперировали термином «культура», остановимся вкратце на его определении.

Известные культурологи А. Кребер и К. Клакхон дают следующую дефиницию культуре: «Culture is a product; is historical; includes ideas, patterns and values; is selective, is *learned*, is *based upon symbols*; and is an abstraction from behaviour and the product of behaviour». – «Культура – исторический продукт; включает идеи, образцы, ценности; она избираема, *изучаема*, *основывается на символах* и является поведенческой абстракцией и продуктом поведения» (Kroeber, Kluckhohn 1963, p. 11, перевод и курсив мой. – Н.К.).

Данная, как может показаться на первый взгляд, усеченная, свернутая дефиниция (думается, это не недостаток ее, а скорее – очевидное достоинство) обнаруживает свои важнейшие содержательные компоненты – результат человеческой деятельности (product), историзм, необходимые стержневые ментальные элементы (ideas, pattern, values), избирательность (selective), преемственность ее поколениями, транслируемость через обучение (learned), знаковость (is based upon

symbols), характер «предметности» (abstraction from behaviour) и источник формирования (the product of behaviour).

Важнейшей облигаторной чертой культуры, как показывает ознакомление со специальной научной литературой, является ее изучаемость и наследуемость. В работах, так или иначе затрагивающих проблему «язык – культура», данная ее черта обязательно отмечается. Так, Э. Гуденаф пишет: «As I see it, a society's culture consists of whatever it is one has to know or believe in order to operate in a manner acceptable to its members... Culture, being what *people have to learn* as distinct from their biological heritage, must consist of the end-product of learning: knowledge, in a most general ... sense of the term». – «Как я это понимаю, культура общества состоит из того, что следует знать или во что верить, чтобы совершать поступки в таких формах, которые приемлемы для ее членов. Культура, будучи тем, что люди должны изучить, в отличие от их биологического наследия, должна состоять из конечного продукта познания: знания в самом общем ... смысле термина» (Goodenough 1957. – Цит. по: Hudson 1991, p. 74, перевод и курсив мой. – Н.К.).

В определении культуры уже цитировавшегося этнолога К. Байера основной акцент ставится также на «передаче знаний одним поколением другому», что служит вообще основной предпосылкой ее возникновения: «Die Entwicklung lernfaehiger Lebewesen war eine wesentliche Voraussetzung fuer die Entstehung von Kultur». – «Развитие способных к обучению живых существ было существенной предпосылкой для возникновения культуры» (Bayer 1994, S. 43, перевод мой. – Н.К.).

Говоря о культурной обусловленности концептов, следует помнить о все более углубляющейся в последние несколько десятилетий стратификации общества, что, несомненно, ведет к большей размытости понятия «национальная культура» и, следовательно, к трудностям ее анализа. Образование субкультур (т.е. разновидностей некой общей культуры), носителями которых являются представители разных конфессиональных, социальных, профессиональных и возрастных групп, значительно затрудняет осмысление специфических особенностей определенной национальной, этнической культуры в ее *современном* состоянии.

Приведем в этой связи заслуживающее нашего внимания высказывание профессора К. Байера: «Многое говорит о том, что мы, общаясь друг с другом, находимся в частично генетически переданной

нам, а частично культурно сформированной ситуации самообмана (Selbsttaeuschung). <...> Охотник и собиратель нашего эволюционного прошлого, даже еще крестьяне, жители тирольской деревни, в XIX веке могли реально иметь благодаря относительно простому устройству их продолжающейся длительное время совместной, взаимообусловленной жизни *сравнительно схожий язык, образ мыслей*... В то время не было причин для появления различий в формах культуры, их дифференциации (Differenzierungen). <...> Ситуация с тех пор драматически изменилась. Решающим фактором при этом было все набирающее силу общественное *раздробление (Aufsplitterung) на субкультуры (Teil- und Subkulturen)*, социальную и региональную подвижность (Mobilitaet), миграции населения, а также информационный «наплыв» (Flut) масс-медиа, которые каждый выбирает *индивидуально сам для себя*» (Bayer 1994, S. 109–110, перевод и курсив мой. – Н.К.).

Исследуя феномен культуры конца XX столетия, этнограф У. Ханнерц указывает на «сплетенность» нынешнего мира (vernetzte Welt) как культурного пространства, лишенного – в отличие от его более ранних этапов развития – географических барьеров для активного, интенсивного общения между народами, в особенности проживающих на удаленных друг от друга территориях. Так, в качестве примера на транслируемость одних концептов, в том числе и оценочных, эмоциональных, из одной культуры в другую У. Ханнерц называет сложившуюся в последнее десятилетие социокультурную ситуацию в Ламу. Смотря на фотографию, изображающую юношу, сидящего за компьютером, он задает себе вопрос: «Что же сегодня определяет культуру этой страны, куда приезжает так много туристов из Европы, где имеют место индийское видео и собственные традиции проживающего здесь народа?» (Hannertz 1995, S. 70, перевод мой. – Н.К.).

Технические возможности сегодняшнего дня (пресса, телевидение, другие средства массовой коммуникации, например, все более распространяемая и набирающая в геометрической прогрессии популярность система Internet) объективно сближают культуры разных народов, что в перспективе, вероятно, может привести к появлению нескольких мультикультурных образований. Не случайно ряд исследователей высказывают мысль о том, что происходящие в современном мире интеграционные процессы, прежде всего в экономике и как следствие – в других сферах человеческой жизнедеятельности, «гомогенизируют» изначально различные культуры; их национальные ва-

рианты могут просто исчезнуть и уже начинают исчезать (Lash, Уггу 1994, р. 4. – Цит. по: Hannerz 1995, S. 72, перевод мой. – *Н.К.*).

Заслуживает внимания мнение (возможно, дискуссионное) Г.Д. Гачева, признающего факт унификации культуры разных народов, их быта («у всех телевизоры и авто...») и мышления («интернационализм и математизация наук»), но вместе с тем полагающего, что «в ядре своем каждый народ остается сам собой до тех пор, пока сохраняется особенный климат, времена года, пейзаж, национальная пища, этнический тип, язык» (Гачев 1988, с. 430). Последние, по мысли известного лингвоэтнографа, «непрерывно питают и воспроизводят национальные складки бытия и мышления» (Там же, с. 430). К данной проблеме мы еще вернемся при лингвокультурологическом анализе ЭК в главе 3.

ЭК мы дефинировали не только как культурно, но и как этнически обусловленные ментальные образования. Их этническая специфика определяется такими социокультурно-психологическими характеристиками конкретного сообщества людей (своего рода формами его материальной и духовной экзистенции), как *традиции, обычаи, нравы, особенности быта, стереотипы мышления, модели / образцы поведения* и т.п., исторически складывающиеся на всем протяжении развития, становления той / иной этнической общности. Их учет, безусловно, важен не только для этнографических и исторических исследований, но и для лингвокультурологических работ, в частности для адекватного изучения концептосфер разных языков.

Так, например, этнолог Г. Корфф утверждает, что при изучении культуры непозволительно пренебрегать, казалось бы, на первый взгляд не столь уж таким и важным ее характерологическим свойством, как «нормы повседневной жизни» (Alltagsnormen): «Alltagsnormen gehoeren genauso zur Kultur wie epochal dominierende Lebensgefuehle». – «Нормы повседневной жизни так же относятся к культуре, как эпохально доминирующие жизненно важные чувства» (Korff 1980, S. 30, перевод мой. – *Н.К.*). Их равно, как и другие признаки социума, этнологам можно рассматривать в качестве «действенного инструмента объяснения культурных понятий» – «als tragfaehiges Erklaerungsinstrument der Kulturbegriffe» (Korff 1980, S. 30, перевод мой. – *Н.К.*).

Этническую обусловленность ЭК мы бы хотели проиллюстрировать на примере понимания феномена любви в античных цивилизациях – греческой и римской. Здесь следует указать, с одной стороны, на схожесть, а с другой – на различия в интерпретации этого концеп-

та древними греками и римлянами. Как в древнегреческой, так и в римской культуре любовь считалась божественным даром, ниспосланным свыше человеку, о чем свидетельствуют сохранившиеся до наших дней многочисленные мифы. Мифическими образами, символизирующими любовь в Древней Греции и Риме, были богини Афродита и соответственно Венера. Примечательно, что древнегреческое сознание четко дифференцировало несовпадающие функциональные сферы бога Эроса и богини Афродиты. Последняя символизировала непосредственно физическую как гетерогенную, так и гомогенную близость между людьми, принципиально лишенную переживания каких-либо глубоких чувств. Подобного рода общение греками расценивалось как совершенно нормальное, естественное деяние. Этой, если так можно выразиться, разновидности любви противопоставлялась любовь духовная, которую олицетворял собой Эрос. Духовная (душевная) любовь при этом не была лишена сексуальной компоненты; она ее предполагала, но к ней полностью не сводилась. Духовная (душевная) любовь, на которой, в отличие от любви физической, постоянно акцентировалось внимание греков, мыслилась как сложное переживание. Оно было для них по своей сути дуалистическим, амбивалентным. С одной стороны, любовь представляла собой высшую форму душевного чувствования, наполненного божественной чистотой и, следовательно, непременно облагораживающая человека; с другой стороны, — как глубочайшее страдание, сильная душевная боль, способная иногда даже лишить рассудка человека, привести его к совершению непоправимых, роковых ошибок, ослабить морально и физически. Не случайно любовь часто называли душевной болезнью.

Понимание римлянами универсального феномена любви было несколько отлично от его древнегреческой интерпретации. Так, в частности, как свидетельствуют исторические данные, римские императоры постоянно указывали своим подданным на пагубное воздействие этого чувства на человека, его организм, прежде всего — душу. По словам историка Плутарха, император Катон (234–149 гг. до н. э.) считал, что «ein verliebter Mann erlaubt seiner Seele, im Koerper eines anderen Menschen zu leben» — «Влюбленный мужчина разрешает своей душе жить в теле другого человека» (Plutarch Cato Maior. — Цит. по: Feichtinger 1993, S. 61, перевод мой. — Н.К). Перемещение же души мужчины в тело женщины или другого мужчины осуждалось, считалось большим грехом.

В римском обществе поощрялись те поступки мужчин, которые вели исключительно к физической любви, в особенности с женщинами.

ми-рабынями или мужчинами-рабами. Создание культа физической (sinnlich), а не душевной (seelisch) любви среди населения Рима – в отличие от культа душевной (духовной) любви в Древней Греции (Feichtinger 1993, S. 61) – объясняется во многом политическими факторами, в частности желанием элиты избежать каких-либо потрясений в обществе, в конечном счете – стремлением его правителей всяческими способами сохранить Великую империю.

Как можно видеть из небольшого экскурса в историю древних цивилизаций, в разных этносах было несколько различное понимание природы такого важного ЭК, как «любовь». В то время как в Древней Греции предпочтение отдавалось любви духовной (это, однако, не исключало полностью и ее физической разновидности), то в Римской империи санкционировалась, культивировалась любовь физическая, что в значительной степени объясняется разными социально-историческими условиями, в которых находились сопоставляемые нами культуры.

Этническую обусловленность концептов не менее убедительно и красочно, как нам кажется, иллюстрирует пример, приведенный в одной из работ широко известного культурантрополога К. Клакхона, сопоставляющего содержательный состав ЭК «ревность» в разных культурах. В данном случае речь идет о причинах, способных вызвать это столь распространенное (по крайней мере, в европейских этносах) человеческое переживание. Он пишет: «Многоженство “инстинктивно” кажется американке отвратительным. Она не в силах понять, как женщина может избежать ревности и дискомфорта, если ей приходится делить мужа с другими. Она чувствует, что согласиться с таким положением “неестественно”. В то же время женщина из племени коряков с трудом бы поняла, как можно быть столь эгоистичной и равнодушной к женской компании, чтобы ограничивать своего мужа лишь одной супругой» (Клакхон 1998, с. 39–40).

ЭК мы определяем как структурно-смысловое интегративное ментальное образование. Что здесь имеется в виду? Концепт – это, прежде всего, интегративная, суммарная мыслительная конструкция, фиксирующая в вербальной форме само понятие, его ценность для концептоносителей и образы их языкового сознания. В концепте как сложно оформленной ментальной структуре фокусируются результаты освоения человеком мира. Рефлексия действительности, основанная на перцепции как способе познания, приводит к формированию определенных понятий. Понятие же, согласно логическим дефинициям, есть человеческая мысль, которая фиксирует «признаки отобража-

емых в ней предметов и явлений, позволяющие отличать эти предметы и явления от смежных с ними» (Горский, Ивин, Никифоров 1991, с. 150). Формой же зарождения самого понятия является представление.

Понятия как конденсаторы признаков, свойственные тем / иным предметам (термин употребляется в широком смысле), оцениваются человеком, стремящимся квалифицировать окружающий его мир. Человеческое сознание по своей природе пытается при распределении действительности, ее систематизации определить конкретный предмет, его признаки, всякое явление с точки зрения ряда универсальных категорий (утилитарных, эстетических, моральных и т.п.). Фрагменты мира оцениваются человеком как полезные и бесполезные, хорошие и плохие, красивые и безобразные и т.д. Поскольку рефлексивная деятельность человека по сути оценочна, следовательно, и ее результаты – понятия – обладают определенными ценностными свойствами для того / иного сообщества.

Сформировавшиеся вербализованные понятия обеспечивают соответственно коммуникативно-гносеологический процесс. Их трансформация в концепты как более сложные мыслительные образования происходит в конкретном пространственно-временном континууме определенного человеческого сообщества. Концепт, таким образом, есть понятие, погруженное в конкретный лингвокультурный контекст, в конкретную сферу его употребления в пространстве и времени. Он размещен в определенной системе идеологии (этот термин применяется нами в его расширительном варианте толкования).

Структура ЭК – понятие, оценка и образы – изменчива во времени, что обусловлено в целом многочисленными лингвокультуральными факторами (социально-экономическими трансформациями общества, сменой моральных ценностей, выбором ценностных приоритетов и т.п.; языковыми изменениями – заимствования, деривационные процессы, метафоризация, метонимия и т.п.).

Когнитивная структура (понятийное содержание) ЭК изменчива, поскольку сама среда их обитания – культурное и временное пространство – постоянно трансформируется, подчиняясь определенным диалектическим законам развития общества и природы. В качестве примера здесь могут быть названы многочисленные случаи изменения значения слов, номинирующих рассматриваемые концепты. Примечательно, что семантика этих слов с течением времени может трансформироваться настолько значительно, что в ряде случаев возникает новый эмоциональный концепт. Так, например, немецкое слово *Wehmut*

(первичная форма – *wemot*) в XV в. имело два значения «душевная боль» (*Schmerz*) и «гнев» (*Aerger*), а затем, с XVII–XVIII вв., оно употребляется уже в значении «тоска» (EW 1989, S. 1840).

Сказанное выше позволяет заключить, что ЭК как фиксаторы мыслительного процесса этноспецифичны. Как знаки, встроенные в определенную систему человеческих идей, они обладают соответственно определенными смысловыми особенностями этнического характера.

ЭК как знаковые элементы представляют собой лабильные, как правило, оязыковленные фрагменты языковой картины мира. Высокая плотность вербализации эмоций как в русском, так и в немецком языках (см. Вежбицкая 1997в, с. 302–315; Городникова 1985; Красавский 1992) может быть объяснена в первую очередь их социально-психологической релевантностью для жизнедеятельности человека. Ученые (например, Кубрякова 1999, с. 7–8; Сепир 1993 а, с. 270–284; Hudson 1991, р. 9–11), рассматривающие проблему облигаторности – факультативности вербализации существующих в нашем сознании понятий, утверждают, что действительно релевантные концепты для той / иной культуры оязыковляются. В своей книге «*Sociolinguistics*» Р. Хадсон пишет: «We may predict that most concepts relevant to the culture will have words in each language to express them». – «Мы можем предположить, что большинство концептов (понятий), значимых для культуры, должно иметь свое словесное выражение в каждом языке» (Hudson 1991, р. 10, перевод мой. – Н.К.).

В предложенной читателю дефиниции ЭК отмечается, что они, как правило, оязыковлены, равно как вербализована и сама человеческая культура, по крайней мере ее основные фрагменты, на что аргументированно указывают многие исследователи. Заметим, что вербализация концептов не всегда обязательна. Концепты как «смысловые сгустки» могут иметь скрытую форму своего существования; нередко они оказываются «рассеянными» в том / ином языке.

В качестве неочевидной формы существования концептов назовем языковые лакуны – «белые пятна» на семантической карте того / иного языка (лат. *'lacuna'* – углубление, впадина, полость). Лакунами признаются те иноязычные слова, которые выражают понятия, не закрепленные языковой нормой данного языка и для передачи которых в этом языке требуются более или менее пространственные перифразы – свободные словосочетания, создаваемые на уровне речи (Бархударов 1977, с. 23; Муравьев 1975, с. 6).

Выше мы уже говорили о том, что мысли, идеи, понятия, лексически выраженные в одном языке, в принципе переводимы на другой

язык. Однако при этом, по утверждению ряда исследователей, не исключены некоторые смысловые потери (коннотации), в особенности при переводе художественного текста с одного языка на другой. Часть эмотивного смысла, эксплицированная в тексте-оригинале, нередко оказывается не полностью транслируемой в другой язык, что позволяет говорить о так называемых эмотивных лакунах (Шаховский, Сорокин, Томашева 1998). Права А. Вежбицкая, заявляющая о том, что «некоторые идеи на одних языках выразить легче, чем на других» (Вежбицкая 1997в, с. 291).

Трудности трансляции ЭК, в том числе и субстантивно оформленных, с одного на другой язык обусловлены спецификой их культурного места в национальной картине мира. Совпадение ядерной, т.е. понятийной, части концепта еще не значит тождественности его периферии – оценки в целом ценности и многочисленных образов, ассоциируемых с ним.

Проведенное нами ранее на материале русского и немецкого языков сопоставительное исследование базисных ЭК (Красавский 2000, с. 18–28), представленных в лексикографических источниках, обнаруживает значительные сходства в толкующих их словарных (филологических и особенно энциклопедических, психологических) дефинициях. Этот факт, на наш взгляд, служит аргументом в пользу признания общности ядерной компоненты ЭК, т.е. их понятийной основы. В то же время их периферийные части, в частности образы, эксплицированные в разноязычных словарных статьях как особом типе текста, обнаруживают очевидные различия, что свидетельствует об их несовпадающих ценностных характеристиках, оценочных представлениях в данных лингвокультурах. Более подробно эта проблема будет рассмотрена в главе 3.

Определяя сущность ЭК, мы указали на их *заместительную* функцию, которую в качестве важнейшей впервые при характеристике понятия «концепт» отметил еще в первой половине XX в. С.А. Аскольдов. Концепт, по его мнению, замещает «в процессе мысли множество предметов одного и того же рода» (Аскольдов 1997, с. 269). ЭК как когнитивные структуры, словесно выраженные, действительно замещают в мыслительно-коммуникативной деятельности определенные знания, представления о фактах, событиях, происходящих в реальной и виртуальной жизни. Выполняя функцию замещения, вербализованные ЭК (номинанты, экспликанты, дескрипторы эмоций), фиксирующие результаты человеческой познавательной деятельно-

сти, имеют разную природу, что детерминируется непосредственно способами освоения мира человеком, на характеристике которых мы остановимся в следующей главе.

Выводы

Определение сущности ЭК необходимо предполагает изучение другого, лежащего в их основе, феномена – самих эмоций. В нашей работе термин «эмоция» имеет обобщающее, собирательное значение: под ним понимаются все психические переживания человека – аффекты, чувства, состояния. Выбор термина «эмоция» обусловлен уже сложившейся в лингвистике традицией: именно ему отдается предпочтение в большинстве научных филологических работ (по крайней мере, отечественных).

Эмоции относятся к самым таинственным явлениям мира, все еще недостаточно удовлетворительно изученным человеком несмотря на их биопсихосоциальную значимость. Существует труднообозримая научная литература, описывающая природу эмоций. Естественно то обстоятельство, что они наиболее изучены в психологической науке (как в традиционной, так и в «глубинной» психологии). В рамках самой психологии существуют различные интерпретации онтологии этого явления. Сегодня в науке насчитывается более 20 теорий эмоций, в рамках которых обнаруживаются существенные различия в понимании природы эмоций. Наиболее важным при этом следует признать различие в определении их функциональной стороны. К функциям эмоций относят отражательную, регуляторную и когнитивную. Дискуссии среди психологов ведутся, как правило, при выявлении доминантной функции эмоций. В последние десятилетия ученые на основании экспериментальных данных все чаще говорят о значительной роли эмоций на мыслительные операции человека, что, как можно предположить, объясняется бурным развитием когнитивных наук во второй половине минувшего столетия.

Меньше разногласий среди психологов наблюдается в определении источников возникновения эмоций. Ими является воздействие на человека объектов окружающей его действительности. Находящийся в постоянно изменяющемся состоянии мир стимулирует человеческое сознание к рефлексии соответствующих физически воспринимаемых *Ното sapiens* объектов, которые видоизменяются, трансформируются, но при этом всегда способны вызывать у него те / иные эмоциональные реакции, следовательно, и переживания. Объекты

мира воздействуют на наш организм, возбуждая его рецепторы, которые посылают сигналы в кору головного мозга.

Нет ясности при определении формы протекания психических (эмоциональных) переживаний человека. Здесь называются ощущения, эмоции, «чувствования», чувства-ощущения (Юнг 1996), чувства, аффекты. Данные термины имеют разные толкования. Терминологическая путаница затрудняет, с одной стороны, профессиональное общение самих психологов, а с другой (что не менее важно!) – лингвистическое изучение эмоций.

Принципиальное значение имеют экспериментально установленные содержательные характеристики эмоций, которые соответственно кладутся в основу их классификации: первичность – вторичность, или производность (Риман 1998; Нойманн 1998), элементарность – абстрактность (Юнг 1996), культурная значимость (или моральная ценность в терминологии Б.И. Додонова) (Додонов 1975, с. 21–33), интенсивность (Вилюнас 1984, с. 20), продолжительность, осознанность (Там же, с. 20–21), полярность – положительные и отрицательные (Рубинштейн 1984, с. 152–161; Kirchgassner 1971). Данные характеристики (качества) психических переживаний будут лингвистически верифицированы нами в ходе анализа ЭК.

Изучение работ по психологии, психоанализу, экзистенциальной философии, этнографии и культурологии позволяет констатировать факт разной степени социальной релевантности *разных* эмоций в жизни человека. Исследователи выделяют базисные и вторичные (периферийные) эмоции (Витт 1983; Изард 1999; Нойманн 1998; Рейковский 1979; Риман 1998; Buck 1984 и др.). В основу данной классификации кладутся как минимум следующие три признака: 1) первичность – вторичность эмоций в филогенезе человеческого сознания (Изард 1999; Нойманн 1998; Риман 1998 и др.) Ср.: «Фундаментальные эмоции являются врожденными» (Изард 1999, с. 31); 2) культурная значимость или моральная ценность (Додонов 1975, с. 21–33 и др.); 3) экзистенциальная субстанция (Кьеркегор 1993; Сартр 1994, с. 433–470; Хайдеггер 1993; Ясперс 1991). Как отечественные, так и зарубежные ученые называют разное количество базисных эмоций, но практически все они относят к их числу страх, радость, гнев и печаль. Этот факт мы попытаемся верифицировать на *лингвистическом* материале.

ЭК занимают важное место как в наивной, так и научной картинах мира. Человеческие представления, понятия, знания отражены в

языке – семиотической системе сознания. Форма их экзистенции – языковое сознание, языкомышление. Языковая форма существования картины мира позволяет выделять ее особую разновидность – языковую картину мира. Наряду с такими языковыми картинами мира, как универсальная и идиоэтническая; общенациональная, коллективная и индивидуальная (Черемисина 1995, с. 15–16), мифолого-религиозная (Мечковская 1998, с. 33) и др., выделяют также и эмоциональную языковую картину мира (Бабенко 1995, с. 65–66; Шаховский 1995 а, с. 72–73). Эмоциональная картина мира – это оценочная деятельность человеческого сознания при ментальном освоении фрагментов мира. Осмысление этого мира всегда сопровождается классификационно-квалифицирующими ментальными поступками человека. Компоненты эмоциональной картины мира – это эмоциональные представления, эмоциональные понятия и, наконец, эмоциональные концепты. Эмоциональная картина мира – сложное структурно-смысловое образование, фрагменты которого, как правило, оязыковлены. Ее феноменологическое существование – зарождение, становление, развитие в целом – в определенной степени обусловлено самим языком. Эмоциональная картина мира проецируется в нашем языковом сознании. Эмоциональную языковую картину мира мы понимаем как определенное множество эмоционально «проработанных» человеком на базе перцептивных образов, исходящих от окружающей среды, и представлений, восприятий, ощущений и, как правило, оязыковленных понятий, концептов, являющихся проекцией внутреннего, психического мира.

ЭК, в нашем понимании, – это этнически, культурно обусловленное, сложное структурно-смысловое интегративное, ментальное, как правило, лексически и / или фразеологически вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе, включающее в себя помимо понятия образ, оценку, культурную ценность и функционально замещающие человеку в процессе рефлексии и коммуникации однопорядковые предметы (в широком смысле слова), вызывающие пристрастное отношение к ним человека.

Культурная обусловленность концепта выражается в том, что он рождается в конкретной социально-исторической ситуации, в конкретной этнической общности на определенном этапе ее развития. Иногда он может заимствоваться ею извне первоначально как понятие, затем рефлексироваться «чужим» для него сознанием, а впоследствии трансформироваться непосредственно в более сложный фено-

мен – концепт. Трансформация эмоционального понятия в эмоциональный концепт сопряжена с приобретением последним оценочного опыта. Условиями же появления и дальнейшего существования концепта следует считать такие важнейшие факторы, как совместная трудовая деятельность людей и социализация личности.

ЭК мы определили не только как культурно, но и как этнически обусловленные ментальные образования. Этническая обусловленность ЭК определяется такими социо-психокulturологическими характеристиками конкретного сообщества людей (своего рода формами его экзистенции), как традиции, обычаи, нравы, особенности быта, стереотипы мышления, модели поведения и т.п., исторически сложившиеся на всем протяжении развития, становления этноса. Эти характеристики чрезвычайно важны для любого сообщества цивилизованных людей.

Следующей составляющей ЭК является его когнитивный, ментальный компонент. ЭК базируется на эмоциональном понятии; он включает его в себя. Эмоциональное понятие можно определить как человеческую мысль, фиксирующую признаки, свойства ментальных, эмоционально насыщенных с точки зрения их квалификатора явлений, отличающихся от противоположных им рационально оцениваемых человеком явлений. Эмоциональное понятие основано на перцептивных образах реального мира; оно есть представление человека об определенном предмете, явлении и т.п. Представление как форма зарождения понятия рефлексивируется человеческим сознанием, что приводит к появлению самого понятия. Предметы мира могут мыслиться эмоционально. Более того, некоторые из них в силу своих природных свойств не могут эмоционально не мыслиться.

В основе эмоциональных понятий лежит оценка. Ее можно считать онтологическим свойством человека, который не может в своей познавательной деятельности не квалифицировать окружающий его мир. Человеческое сознание изначально при освоении действительности, ее систематизации пытается определить конкретный предмет, его признаки, всякое явление с точки зрения ряда общечеловеческих универсальных категорий (утилитарных, эстетических, моральных и т.п.). Человек квалифицирует фрагменты мира как полезные и бесполезные, хорошие и плохие, красивые и безобразные и т.д.

ЭК отличается от эмоционального понятия тем, что имеет более сложную смысловую структуру. ЭК – это не только понятие, не только набор определенных когнитивных элементов, но и оценочные пред-

ставления о самом понятии. Оязыковленный ЭК, базирующийся на понятии, по мере погружения в культурное пространство конкретного этноса обрастает дополнительными вторичными признаками (образ, оценка).

Жизнь слова как основного носителя ЭК детерминирована как экстралингвистическими факторами (строением культуры, особенностями исторического развития общества, его традициями, менталитетом конкретного этноса), так и собственно интралингвистическими (например, асимметрией языкового знака, тенденцией к единообразию определенных языковых парадигм, открытостью к заимствованиям и т.д.). Здесь можно назвать способы вторичной и косвенной номинации в языке, чтобы хорошо себе представить траекторию полета человеческой мысли, обусловленную определенными как универсальными, так и культурно-специфическими способами функционирования нашего языкового сознания, мышления.

ЭК есть лабильные, как правило, оязыковленные фрагменты концептуальной картины мира. Высокая плотность и разнотипность вербализации рассматриваемого феномена объясняется его психологической, в целом социальной культурной релевантностью для человека. Изменение содержания ЭК определяется средой их обитания – культурным и временным пространством, которое постоянно трансформируется.

ЭК, как правило, эксплицированы языковыми знаками. Вместе с тем они могут иметь и скрытую форму своей экзистенции, т.е. пассивно существовать как мыслительное образование в понятийной системе носителей определенного языка. ЭК как языковые категории могут быть скрытыми, формально не эксплицированными в том / ином языке. Относительно онтологии лексически скрытых категорий интересные рассуждения находим у Л.В. Щербы: «Само собой разумеется, что должны быть какие-либо внешние выразители этих категорий. Если их нет, то нет в данной языковой системе и самих категорий. Или, если они и есть, благодаря подлинно существующим семантическим ассоциациям, то они являются лишь *потенциальными, но не активными ...*» (Щерба 1957, с. 64, курсив мой.– Н.К.).

В этой связи возникает вопрос о транслируемости мыслей, идей, понятий из одного языка, одной культуры в другой язык, другую культуру. Мы полагаем, что эти ментальные образования, актуализированные в определенном языке, принципиально переводимы в другую культуру и принципиально рефлексированы ее носителями. При этом,

как кажется, не исключена объективная потеря, «недотранслируемость» некоторых *периферийных* компонентов смысла, понятия. Этот факт в значительной мере объясняется определенными этнокультурными факторами. Аккультурация транслируемых смыслов, понятий может приводить к появлению несколько отличных от них смыслов, понятий. Последние, «пересаженные» из одной культуры в другую, оказываются в смысловом поле другой культурно-понятийной системы, выстроенной по несколько иным «правилам», которые составляют специфику культуры, этнической общности (ее своеобразные традиции, обычаи, нравы, национальный менталитет).

Возможно, что при трансляции идей, смыслов, понятий может иметь значение как сам их характер (смыслы, идеи, понятия могут быть самыми разнообразными, ср., например: заимствования технической терминологии и слова, семантика которых содержит национальные, этнические признаки), так и родственность культур, например, их географическая близость или удаленность и т.п. Считаем, что отсутствие вербального знака в конкретном языке (в частности, слова) еще не говорит о том, что для его носителей *принципиально невозможно*, чуждо понимание определенных смыслов, понятий, концептов, четко вербализованных в иной культуре.

ЭК выполняют в мыслительно-коммуникативной деятельности человека функцию замещения определенных понятий, представлений о фактах, событиях, происходящих в нашей жизни. При этом они имеют разную природу, что определяется способами освоения человеком мира. В зависимости от способов распредмечивания действительности (конкретная практическая повседневная человеческая деятельность, искусство, наука) формируются соответственно обиходные, художественные и научные ЭК. Данные типы концептов существенно различаются степенью своего абстрагирования. Таким образом, глубина понимания человеком психических феноменов, разная степень проникновения человеческого мышления в их сущность находят свое выражение в названных разнотипных ЭК.

В заключение считаем необходимым еще раз указать на сложность установления условий зарождения концептов, их трансформаций, в целом их функционирование в культурно и этнически обусловленном человеческом языковом сознании. Фундаментальный анализ ЭК как культурных феноменов обязательно должен проводиться с учетом экстра- и интралингвистических данных.

СПОСОБЫ СИМВОЛИЗАЦИИ И СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИЙ

2.1. Невербальная и вербальная коммуникации как способы символизации эмоций

Утверждение об актуальности глубокого всестороннего исследования понятия «коммуникация» и в теоретическом, и в прикладном аспектах вряд ли может вызвать у ученых (филологов, семиотиков, философов и т.д.) какие-либо возражения. По справедливому замечанию Г.Г. Почепцова, «коммуникация входит в число постоянных объектов гуманитарной науки» (Почепцов 1998, с. 9), что обусловлено в целом все более усложняющимися социальными реалиями человеческого бытия, необходимостью его рациональной организации и регулирования и т.д.

В современной науке существует множество «коммуникативных» концепций, авторами которых выступают лингвисты, психологи, семиотики, представители других (преимущественно гуманитарных) наук. Так, Г.Г. Почепцов, фундаментально проанализировавший многочисленные работы по данной проблеме, выделяет следующие основные коммуникативные модели: лингвистическая, литературная, театральная, герменевтическая, фольклорная, семиотическая, культурологическая, прагматическая, психоаналитическая, мифологическая, социологическая, текстовая, философская, игровая, вещественная, антропологическая, деконструктивистская, постструктуралистская, математическая, кибернетическая, социально-психологическая, контент-анализ, разведывательная, конфликтологическая (Там же, с. 9-72). Из данного перечня коммуникативных моделей нетрудно увидеть широкий спектр интересов со стороны представителей самых различных отраслей знания (не только, как могло бы показаться на первый взгляд языковедов, литературоведов, семиотиков) и соответ-

ственно множество подходов в исследовании, интерпретации понятия «коммуникация».

При всем различии в подходах и технологиях исследования коммуникации ученые едины во мнении о знаковой форме ее существования. Коммуникация означена, оформлена либо вербально, либо невербально. Человеческая мысль, идея материализуются в форме соответствующего знака – вербального или невербального.

Концепты как мыслительные конструкторы, размещенные и функционирующие в человеческом сознании, существуют в *культурно-семиотическом* пространстве и времени. Они представляют собой означенные когнитивные структуры. Формы их означивания не обязательно вербальны. Концепты могут быть также и неоязыковленными, иначе говоря, не выраженными традиционным языком (в узком понимании этого термина), т.е. могут иметь иную, не вербальную символическую запись, оформляться, например, языком живописи, архитектуры, танца, ритуала и т.д.

Семиотический фактор является одним из основных условий развития культуры, в том числе и языковой. Благодаря своему знаковому оформлению культурный концепт, с одной стороны, выступает в деятельности его носителя и продуцента – человека – как результат его интеллектуальных усилий, направленных на освоение мира, а с другой – как самый способ их совершения. Временно-пространственный континуум охвачен знаковостью. Знак (вербальный и невербальный) есть убедительное свидетельство существования определенной мысли, идеи в сознании человека.

Знаками человеческая мысль, таким образом, не только (не столько?) оформляется, но и генерируется. «Знак служит не только цели сообщения *готового* мысленного содержания, но является *инструментом*, благодаря которому само это содержание складывается и впервые приобретает свою полную определенность» (Кассирер 1996, с. 203, курсив мой. – Н.К.).

Когнитивно-эмоциональное освоение человеком внешнего и внутреннего мира по своей сути принципиально знаково; оно предполагает пользование знаковыми системами, обеспечивающими как сам процесс познания действительности, так и непрременную семиотическую фиксацию его результатов. По образному выражению Э. Сепира, «вся культура, равно как и поведение индивида, тяжело нагружены символизмом» (Сепир 1993б, с. 207). Действительность, как известно, познается человеком различными семиотическими

способами – как вербальными (естественный язык), так и невербальными (искусство, например, архитектура, живопись, графика и т.п.). Философ, лингвист Х. Ортега-и-Гассет делает справедливое замечание о знаковом характере познавательного процесса: «Чтобы некоторое свойство могло стать отдельным предметом мысли, необходим знак, который бы зафиксировал результат абстрагирующего усилия, материализовал бы его и обеспечил удобной нишей» (Ортега-и-Гассет 1990, с. 74). Гносеологическая функция языковых и неязыковых знаков и символов является важнейшей, но далеко не единственной. Им ингриентно присущи также коммуникативная, информативная и экспрессивная функции.

В самом общем виде знак можно определить как носитель информации в целом – смысла, с одной стороны, и способ сохранения и эволюции последнего в культуре – с другой. В зависимости от использования типа знака (вербального или невербального) форма коммуникации бывает либо вербальной, либо невербальной. В реальном человеческом общении данные два типа коммуникации неразрывно связаны друг с другом, представляя в действительности единую, сложным образом структурированную коммуникативную систему.

Многими авторитетными специалистами по изучению коммуникативных систем доказано, что вербальные и невербальные средства общения с точки зрения *онтогенеза* представляют собой объединенную коммуникативную единицу (*integrated communicative unit*) (Woodall 1996, p. 146, перевод и курсив мой. – *Н.К.*). Более чем убедительной можно признать основывающуюся на экспериментальных данных классификацию невербальной коммуникации немецких паралингвистов К. Элиха и Й. Ребайна на следующие типы: а) комитативный – *komitative* (доминантное невербальное общение сопровождается естественным языком); б) презентативный – *presentative* (язык жестов, ему сопутствует традиционный язык); в) остенсивный – *ostentative* (например, демонстративное закрытие двери плюс краткий словесный комментарий) (Ehlich, Rehbein 1982, S. 7–9, перевод мой. – *Н.К.*).

Таким образом, все коммуникативные действия человека следует классифицировать на вербальные и невербальные (или паралингвистические) с некоторой степенью *условности* (Ehlich, Rehbein 1982, S. 11; Sager 1995, S. 85). В действительности в реальном общении они выступают в комплексе. Так, отечественный паралингвист И.Н. Горелов считает, что невербальные знаки имеют «функции сопровождения и подкрепления (или дополнения)» (Горелов 1981, с. 13). Актуализация же этих функций зависит, по нашему мнению, от самого

типа коммуникации (типа дискурса, функционального стиля, речевого жанра и т.п.). Частотность применения и коммуникативно-социальная релевантность невербальных средств детерминированы сферой человеческого общения (ср. язык – в расширительном понимании этого термина – общения ученых на научном симпозиуме и язык их же общения в банкетном зале или, допустим, на политическом митинге).

«Авербальные действия (поскрипывание стулом, громоыхание дверью, кивок, взгляд, жест и пр.), – пишет И.Н. Горелов, – включены в коммуникативный акт, полностью замещая вербальный стимул или вербальную реакцию» (Там же, с. 10). Тщательный анализ И.Н. Гореловым множества текстов (преимущественно литературных) выявил хронологию реализации невербального и вербального компонентов коммуникативных актов: первые из них предшествуют, как правило, вторым (Там же, с. 79).

Использование человеком вербального и невербального кодов общения обусловлено в первую очередь определенными ограничениями каждого из них. При этом, как замечает И.Н. Горелов, «паралингвистический знак ... представляется более ограниченным, чем знак лингвистический, если иметь в виду денотаты, являющиеся конструктами абстрактного мышления» (Там же, с. 8). Экспликация сложной абстрактной идеи или же, например, соответствующее оформление временных грамматических категорий («если», «после того как», «когда» и т.п.) в невербальной форме значительно затруднена. Поэтому можно сделать вывод об определенном «аграмматизме» невербального знака / кода общения.

В работах как отечественных, так и зарубежных исследователей (Горелов 1981; Колшанский 1974; Цибуля 1991, с. 212; Kendon 1981, р. 1–56; Poyatos 1981, р. 371–399) неоднократно указывалось на недостаточное внимание лингвистов к изучению проблемы невербального кода общения между людьми, в особенности соотношения вербальных и невербальных коммуникаций в их онто- и филогенезе. Вместе с тем, как показывает анализ теоретической литературы, обозначенная проблема в последнее десятилетие все более интенсивно и результативно начинает обсуждаться лингвистами и паралингвистами, особенно зарубежными (см.: Burgoon 1996, р. 6–11; Poyatos 1993; Sager 1995, S. 2–6; Woodall 1996, р. 130–132, р. 135–147). Заметим, что в действительности значимость невербального способа кодирования и декодирования человеческих коммуникативных интенций понималась еще в глубокой древности, в эпоху зарождения риторики. Так,

уже Квинтилиан указывал на важность риторического умения по использованию невербальных способов выражения мыслей докладчиком (см. Kendon 1981, p. 28–29). Помимо релевантности невербальных средств для риторического типа общения она имеет и другой, не менее важный практический интерес: невербальный код может применяться как единственное средство в обучении определенных категорий людей, например, глухих (Ekman, Friesen 1981, p. 73; Kendon 1981, p. 29–30; Schifffrin 1981, p. 243–244).

Само терминосочетание «невербальная коммуникация» в науке появилось благодаря выходу в свет книги психиатра Й. Рюша и лингвиста В. Киза с соответствующим наименованием в 1956 г. (Kendon 1981, p. 4). По их мнению, «сообщения (messages) могут кодироваться либо как практические действия (practical actions) человека или другого живого существа, либо же иконически (iconic). <...> К иконическим способам передачи информации относятся в первую очередь такие символические системы (symbol systems), как слова» (Ruesh, Kees 1956. – Цит. по: Kendon 1981, p. 5, перевод мой. – Н.К.).

Невербальные коммуникативные акты (communicative acts) выполняют ряд важнейших функций, к числу которых относят следующие: 1) повторение (repeat) того, что вербально сказано; 2) замена (substitute) части вербального сообщения (verbal message) невербальным средством; 3) дополнение (complement) или уточнение (clarify) вербально оформленного сообщения через невербальное; 4) противоречие / отрицание (contradict) вербального утверждения невербальным способом; 5) выделение голосом определенных слов (Ekman, Frisen 1981, p. 87). Иными словами, невербальные поступки коммуникантов занимают никак не менее важное место по сравнению с их речевыми аналогами в человеческом общении. Более того, в определенных коммуникативных актах, в первую очередь эмоционально насыщенных, отражающих эмоциогенные жизненные ситуации, им нередко принадлежит функция доминанты.

Английский ученый Ю. Бургун, на наш взгляд, исчерпывающим образом дает описательную характеристику невербальной коммуникации. Она, по его мнению, а) вездесущая (omnipresent), общения вне ее не бывает; б) мультифункциональна; ей присуще множество важных функций; в) способствует лучшему взаимопониманию людей; г) первична, с точки зрения филогенеза (phylogenetic primacy), «in our development as species nonverbal communication predated language» («в нашем развитии как особей невербальная коммуникация предшествует языку»); д) обладает также онтогенетической первичностью, на-

чальное усвоение языка детьми преимущественно невербально; е) способна выразить то, что не может и / или не должна выражать вербальная коммуникация; ж) более истинна (trusted), чем вербальная форма общения людей (Burgoon 1996, р. 6, перевод мой. – Н.К.).

Здесь же уместно упомянуть наблюдения некоторых паралингвистов, экспериментально установивших недоверие взрослых коммуникантов к вербально оформленным высказываниям. В общении людей невербальное поведение вызывает больше доверия, чем вербальное. Любопытно, что дети, наоборот, склонны верить словам (Woodall 1996, р. 138–139). Выявлено также, что невербальные способы коммуникации значительно более действенны, более эффективны, чем вербальные. В особенности это правило актуально, по мнению В. Удолла, для конфликтных ситуаций (Woodall 1996, р. 139), изобилующих эмоциональной напряженностью отрицательного характера. Не случайно невербальные средства общения часто называют «windows to the soul» – «окнами души» (Burgoon 1996, р. 8), что обусловлено значительной трудностью психологического контроля за своим неязыковым поведением, коррелирующим с уровнем бессознательного. Показателен в этом отношении экспрессивный афоризм Ф. Ницше: «Люди свободно лгут ртом, но рожа, которую они при этом корчат, все-таки говорит правду» (Ницше. – Цит. по: Почепцов 1998, с. 124). Примечательны выводы А. Пиза, полученные экспериментальным путем: люди, и в особенности дети, говорящие неправду, произвольно в той / иной форме прикрывают рот ладонью (Пиз 1995, с. 31). Нелишне, кстати, вспомнить и работы психоаналитиков, доказывающих на примерах произвольных действий пациентов их истинное отношение к тем / иным фактам и людям. Достаточно привести описанный З. Фрейдом случай с регулярными порезами безымянного окольцованного («супружеского») пальца пациенткой, вербально скрывающей свою неприязнь к законному мужу, эмоцию, деструктивно действующую на ее психическое и физическое состояние и приведшую в клинику известного психоаналитика и психиатра (см.: Фрейд 1989).

Социальная важность невербального канала общения убедительно иллюстрируется статистическими данными: от 60% (Burgoon 1996, р. 3) до 93 % (Пиз 1995, с. 17; Woodall 1996, р. 136) всей информации передается именно этим способом, чем и вызван теоретико-прикладной интерес к невербальной коммуникации специалистов самых разных отраслей современного знания: лингвисты изучают структуру невербальных кодов (nonverbal codes) и их отношение к вербальной

коммуникации; антропологи исследуют невербальные средства общения в разных типах культуры, устанавливая ее национальную специфику; для психиатров и психоаналитиков интересно девиантное невербальное поведение людей; социологи изучают вопрос невербальных паттернов как характеристик представителей разных социальных групп и т.п. (Burgoon 1996, p. 22). При этом совершенно очевидно, что при изучении как вербального, так и невербального типов коммуникации ученые имеют дело со способом выражения и формой фиксации человеческой мысли – языковым и неязыковым знаком.

Интересные данные о социально-психологической релевантности невербальных и вербальных знаков в сфере public relation приводятся в исследовании специалистов по вопросам массовой коммуникации. Эмоциональная оценка сообщения докладчика, по результатам социологического опроса американских бизнесменов, зависит от его *мимики* (на 55%), от фонетико-артикуляторных свойств произнесенной им речи (на 38%) и от лексического наполнения текста выступления (всего лишь на 7%) (Вайнрих. – Цит. по: Почепцов 1998, с. 146, курсив мой. – Н.К.).

Удельный вес разнотипных знаков, как мы уже отмечали, зависит от множества факторов: сферы и самой ситуации общения, т.е. ее участников, уровня их образования, возраста и т.п., их информационных и коммуникативных интенций, от количества коммуникантов, места и формы общения и т.д. Как способ символического поведения человека невербальные знаки важны в особенности для *эмоциональной* коммуникации, провоцируемой обычно эмоциогенными (как правило, сопровождаемыми речевыми поступками) событиями. Этот лингвистический факт мы интерпретируем как большие возможности невербального типа общения для выражения эмоций человека. Иначе говоря, невербальные знаки способны эксплицировать (и часто эксплицируют) трудно вербализуемые естественным языком коммуникативные интенции говорящего. Адекватное оязыковление эмоций осложнено самой их природой, диффузным характером (Бабенко 1990; Телия 1987, с. 65–74; Фомина 1996; Шаховский 1988 и др.). Этим обстоятельством и обусловлено самое активное и, что не менее важно, достаточно результативное обращение коммуникантов в ситуациях эмоционального общения к невербальному коду.

Так, к числу наиболее важных и, как кажется, очевидных для человеческого эмоционального общения функций К. Элих и Й. Ребайн относят установление контакта, приветствие, прощание, желание или, напротив, нежелание дальнейшей коммуникации (Ehlich, Rehbein

1982, S. 67–68). Социально-психологическая значимость невербального кода в эмоциональной коммуникации, по нашему мнению, во многом определяется также и этическими нормами общества. Нежелание вести беседу одним коммуникантом с другим / другими далеко не всегда можно вербально эксплицировать в силу правил этикета, однако легко можно выразить посредством невербальных, паралингвистических средств. Наиболее часто используемым неязыковым средством при этом, как установлено учеными (например, Ehlich, Rehbein 1982, S. 67), является взгляд (по крайней мере, в европейской культуре). Активность, традицию применения коммуникантом невербального кода следует объяснить в первую очередь трудностью вынесения ему обвинительных санкций в нежелании общения, в некорректности поведения, невоспитанности и т.п.

Классификация невербальных знаков может строиться на разных критериях (Соболевский 1986, с. 107–108; Poyatos 1993, p. 9–11). Так, паралингвист Ф. Поятос предлагает разделить все невербальные знаки на две группы: соматическую (*somatic*) и культурную (*cultural*). К первой он относит: а) кинетическое поведение (*kinesics*) индивида, т.е. движение частей его тела (*body-signs*); б) физиолого-химические (*chemical*) реакции организма человека, например, слезы как символ несчастья; в) кожные (*dermal*) реакции, например, покраснение лица; г) температурные или термальные (*thermal*) реакции, например, появление пота или ощущение холода на спине. Ко второй Поятос относит: а) артефактуальные (*artifactual signs*) знаки, например, звуки, издаваемые мебелью (*furniture*) или звонком (*bell*); б) знаки, относящиеся к окружающей среде (*environmental*), например, звуки дерева и т.п. По сути предложенная классификация знаков строится по принципу оппозиции «внутреннее» vs. «внешнее».

И.А. Соболевский типологизирует знаки (сигналы) на: а) оптические – мимикожестикоулярные и предметные; б) акустические – голос, свисток и т.п. (Соболевский 1986, с. 107). В основу данной классификации знаков положен принцип канала восприятия физического мира (визуальный и слуховой контакт с окружающей средой).

И.Н. Горелов предлагает классифицировать все невербальные (паралингвистические) знаки на три группы: 1) фонационные; 2) мимико-жестовые и пантомимические; 3) смешанные, т.е. фонационно-мимико-пантомимические (Горелов 1981, 74–75). В основу этой классификации знаков, как мы понимаем, положена признаковая оппозиция «звук» – «соматика».

Как невербальное, так и вербальное поведение коммуницирующих друг с другом людей основано на знаке. Заметим, что знаковое оформ-

ление социальных феноменов традиционно представляло и представляет значительный интерес для самого широкого круга исследователей – семиотиков (Моррис 1983, с. 37–89; Степанов 1983, с. 5–36), языковедов (Барт 1994, с. 340–355; Кубрякова 2000, с. 26–29; Соссюр 1999, с. 68–80; Ekman, Friesen 1981, p. 73–82), литературоведов (Аверинцев 1987, с. 378–379; Белый 1994), этнографов (Гуревич 1972), культурантропологов (Клакхон 1998; Dinzelbacher 1993, S. IX–XIV), геральдиков (Kendon 1981, p. 2–4), психологов (Стефаненко 1999, с. 22–27; Kainz 1962, S. 114–116). Релевантность же изучения человеком социально-психического процесса означивания мира (семиозиса) состоит в объяснительных потенциях (функциях) знака – способа, средства, результата и формы существования человеческой мысли. Еще Г. Лейбниц пророчески заметил: «Никто не должен бояться, что наблюдение над знаками уведет нас от вещей: напротив, оно приведет нас к сущности вещей» (Лейбниц. – Цит. по: Моррис 1983, с. 37).

Знак с незапамятных времен приковывал внимание великих мыслителей (Сократ, Платон, Квинтилиан и др.). Однако сама наука о знаках – семиотика – начинает активно формироваться лишь с середины XIX в. У ее истоков, как известно, стоял английский ученый Ч. Пирс, традиции которого были успешно продолжены его соотечественником Ч. Моррисом, определившим в первой половине XX столетия место и статус данной науки: «Отношение семиотики к другим наукам двоякое. С одной стороны, семиотика – это наука в ряду других наук, а с другой стороны, это *инструмент наук*» (Моррис 1983, с. 38, курсив мой. – *Н.К.*). Интегрирующее начало семиотике приписывается и современными исследованиями (Sager 1995, S. 1–4 и др.), что обусловлено самим предметом ее изучения – знаком. «Знаки – это объекты, изучаемые биологическими и физическими науками и связанные между собой в сложных функциональных процессах» (Моррис 1983, с. 38). По Ч. Моррису, семиотика призвана объединить разные науки – физические, биологические и гуманитарные (Там же).

Современные специалисты по семиотике выделяют в этой науке «три больших компактных узла – семиотика языка и литературы (речь и тексты), живопись, музыка, архитектура, кино, обряды, ритуалы, системы коммуникации животных и системы биологической связи в человеческом организме» (Степанов 1983, с. 5–6). В данном случае мы имеем дело с расширительным (ставшим сегодня традиционным!) толкованием семиотической науки. Он предполагает изучение семиотикой любых знаковых систем, несущих смысл, информацию.

Существуют самые различные классификации знаков. Знаки и символы классифицируются на: а) первичные и вторичные – хронологический принцип (Гуревич 1972, с. 265–267; Маковский 1996; Уилрайт 1990, с. 108–109); б) вербальные и невербальные – принцип формы выражения (Горелов 1981, с. 9–10; Льюис 1983, с. 211–212; Hayakawa 1967, S. 26–31); в) референциальные и конденсационные – принцип осознанности vs. неосознанности (Сепир 1993 б, с. 204–209); г) индивидуальные, коллективные и национальные – социологический принцип (Bayet 1994, S. 112–117); г) социальные и собственно культурные – принцип психологической актуальности и релевантности (Ekman, Friesen 1981, p. 73–74); д) заимствованные и собственные – принцип источника появления (Черданцева 1998, с. 85); е) примитивные (элементарные) и сложные – принцип архитектоники (Лотман 1987, с. 12–13; Моррис 1983, с. 45–46); ж) имплицитные и эксплицитные – принцип выраженности vs. невыраженности; з) собственно экспрессивные и неэкспрессивные – принцип психологического восприятия или, в иной терминологии, аффективные и эпистемологические (Ochs 1993, p. 216–217); и) архаичные и актуальные – принцип «возраста» (Маковский 1996); к) активные и пассивные – принцип социопсихологической актуальности и темпоральности (Лотман 1987, с. 11–12); л) универсальные и национально специфические – этнографический принцип (Уилрайт 1990, с. 98–108; Ekman, Friesen 1981, p. 73–82; Woodall 1996, p. 147–149). Следует заметить, что признаки, положенные в основу данных классификаций, могут в действительности пересекаться.

Классической считается классификация знаков Морриса-Пирса, в основе которой лежит принцип соотношения означаемого и означающего. Согласно этой классификации, правомерно выделение следующих типов знаков: 1) *иконический знак* (основан на фактическом подобии означающего и означаемого, например, рисунка какого-то животного и самого животного; первое заменяет второе, потому что на него похоже); 2) *индекс* (основан на реально существующей смежности означающего и означаемого; действие индекса зависит от ассоциации по смежности, например, дым есть индекс огня или ускорение пульса как симптом жара); 3) *символ* (основан на установленной по соглашению, усвоенной смежности означающего и означаемого; при этом эта связь существует независимо от наличия или отсутствия какого-либо сходства или физической смежности, например, весы как символ правосудия. См. подробнее: Якобсон 1983, с. 104). Названные выше типы знаков – икон, индекс и символ -- не имеют строгих вер-

бальных / невербальных ограничений: в нашем понимании они проецируются и на естественный человеческий язык, и на паралингвистические средства выражения интенций *Homo agens*.

Принципиально важным вопросом при рассмотрении сущности разнотипных знаковых образований, т.е. при их классификации, является наличие или же отсутствие связи между означаемым и означающим – двумя сторонами знака. Так, при сравнительном анализе конкретных иероглифов и эмблем (т.е. разных классов знаков), в основе которых лежит семантическая корреляция между изображением и его вербальным соответствием, представитель Тартуской семиотической школы Е.Г. Григорьева рассматривает данные типы знаков как их иконический тип. И те, и другие, по ее мнению, характеризуются известной внутренней противоречивостью. Икон в силу своей неутраченной предметности стремится к обозначению единичного, конкретного объекта, а знак конвенциональный в силу своей абстрактности стремится обозначить любой объект или все объекты (Григорьева Е.Г. 1987, с. 79). Сопоставление двух видов письменности – китайской и европейской – позволяет утверждать, что первая метонимична. В качестве примера Е.Г. Григорьевой приводится иероглиф, обозначающий государство, иконический элемент которого толкуется как «на каждый рот – по копыю». «Утрата непосредственной связи между иконическим и “понятийным” элементами (как в слове европейской письменности) приводит к образованию чисто конвенционального знака. Эмблема в этом смысле представляет собой явление, обратное иероглифу» (Григорьева Е.Г. 1987, с. 79). Следовательно, в разных естественных языках вербальные знаки могут быть в разной степени иконичными.

В семиотической литературе, рассматривающей типологию знаков, китайское письмо традиционно приводится как образец связи означаемого и означающего (Ортега-и-Гассет 1990, с. 72–76; Вауер 1994, S. 114–115 и др.). «Имена, письменные знаки закрепляют абстрактные объекты, полученные в результате расчленения конкретных понятий. Если объект мысли очень необычен, мы опираемся на привычные знаки и, сочетая их, очерчиваем его контуры. Наше письмо практичней китайского, поскольку оно основывается на чисто механическом принципе. В нем для каждого звука есть свой знак; но поскольку он сам по себе ничего не означает, наше письмо не значимо. *Китайская письменность непосредственно обозначает понятия. Она более прямо отражает течение мысли.* Писать или читать по-китайски – значит думать. Китайские иероглифы более точно, чем наши

орфографические знаки, воспроизводят мыслительный процесс. Так, не найдя знака для обозначения печали, китаец соединил две идеограммы, одна из которых обозначала “осень”, а другая – “сердце”. Печаль была зафиксирована как “осень сердца»» (Ортега-и-Гассет 1990, с. 74–75, курсив мой.– Н.К.).

Основанная на принципе соотношения означаемого и означающего, трехкомпонентная классификация знаков Пирса-Морриса модифицирована современными семиотиками (Efron 1972; Ekman 1977, S. 181–184; Ekman, Friesen 1981, p. 71–75; Kendon 1981, p. 30–31 и др.). Так, Д. Эфрон считает целесообразным «различать всего лишь два типа знаков – эмблемы и идеографы» (Efron 1972. – Цит. по: Ekman, Friesen 1981, p. 77); А. Кендон классифицирует знаки на индексы, идеографы, пиктограммы и эмблемы (Kendon 1981, p. 30); П. Экман выделяет *emblems, illustrations, regulators and adapters* (Ekman 1977, p. 181–184). Не менее примечателен и сам факт различного толкования указанных семиотических понятий. Так, термин «emblem» Д. Эфроном толкуется достаточно широко: это понятие включает в себя как вербальные знаки (устные и письменные), так и сами жесты (Efron 1972. – Цит. по: Ekman, Friesen 1981, p. 71). П. Экман и В. Фризен придерживаются иной точки зрения. Они предлагают следующую дефиницию обсуждаемому семиотическому феномену: emblem – «nonverbal acts (a) which have a direct verbal translation usually consisting of a word or two or a phrase, (b) for which this precise meaning is known by most or all members of a group, class, subculture, or culture, (c) which are most often deliberately used with the conscious intent to send a particular message to the other person(s), (d) for which the person(s) who sees the emblem usually not only knows the emblem’s message but also knows that it was deliberately sent to him, and (e) for which the sender usually takes responsibility for having made that communication. A further touchstone of an emblem is whether it can be replaced by a word or two, its message verbalized, without substantially modifying a conversation ... Emblems are communicative and interactive acts». – «Эмблемы – это невербальные акты, а) которые имеют прямую вербальную трансляцию, обычно состоящую из слова или словосочетания; б) для которых это определенное значение известно всем или большинству членов группы, класса, субкультуры или культуры; в) которые, как правило, часто сознательно используются для передачи информации другому лицу (другим лицам); г) содержание которых получателем / получателями понимается, осознается ими же и цель отправителя / отправителей сообщения; д) отправитель / отправители несут ответственность за

коммуникацию» (Ekman, Friesen 1981, p. 75, перевод мой. – Н.К.). По мнению авторов цитаты, эмблемы (emblems) отличаются от большинства других невербальных знаков в первую очередь осознанностью (awareness) и намеренностью (intentionality) их употребления» (Ekman, Friesen 1981, p. 71).

Символы-иллюстраторы (illustrations) сопровождают коммуникативные акты, продуцируемые человеком; вне речи их не бывает. Символы-регуляторы (regulators) могут, по П. Экману, использоваться и самостоятельно, т.е. вне вербально оформленных актов, и как вкрапления в речи (например, кивок головой). Под адаптерами (adapters) им понимается само невербальное средство (например, часть тела человека, рука, палец и т.п.), выражающее тот / иной смысл. Эта разновидность символа подобно регулятору может иметь место и вне вербальной оформленной речи (Ekman 1977, p. 181–184).

Символы традиционно противопоставляются конвенциональным знакам. В своем «Курсе общей лингвистики» классик Ф. де Соссюр рассматривает символ как специфический знак. По его мнению, символ «характеризуется тем, что он не до конца произволен; он не вполне пуст, в нем есть рудимент естественной связи между означающим и означаемым»; «Символ справедливости – весы – нельзя заменить чем попало, например, колесницей» (Соссюр 1999, с. 71). При всей спорности обсуждаемого в лингвистике тезиса о произвольности vs. непроизвольности знака (см.: Журавлев 1974; Левицкий 1973) следует согласиться с мнением исследователей, квалифицирующих символ как когнитивное образование, обладающее *мотивационной* основой. Иконичность отличает символ от других конвенциональных знаков. Он обладает определенным подобием между планами выражения и содержания.

По Ю.М. Лотману, «символ выступает как бы конденсатором всех принципов знаковости. Он – посредник между разными сферами семиозиса, а также между семиотической и внесемиотической реальностью. В равной мере он посредник между синхронией текста и памятью культуры. Роль его – роль семиотического конденсатора» (Лотман 1987, с. 20).

В Философской энциклопедии символу дается следующее развернутое определение: «Символ – отличительный знак; *знак, образ*, воплощающий какую-либо идею; видимое, реже слышимое образование, которому определенная группа людей придает особый смысл, не связанный с сущностью этого образования. ... Смысл символа явля-

ется, как правило, намеком на то, что находится сверх или за чувственно воспринимаемой внешностью образования (например, крест – символ христианской веры; определенные сигналы рога означают начало или конец облавы). Символы с более абстрактным смыслом олицетворяют часто нечто такое, что иным путем, помимо символов, не может быть выражено: например, гром и молния понимаются как символ нуминоза; женщина – как символ плодородия земли, тайна жизни и мира (София). Повседневная жизнь человека наполнена символами, которые напоминают что-либо, воздействуют на него, разрешают или запрещают, поражают или покоряют. Все можно считать только символом, за которым скрыто еще нечто другое» (КФЭ 1994, с. 413, курсив мой. – Н.К.).

В Литературном энциклопедическом словаре предлагается следующая дефиниция символа: «Символ есть *образ*, взятый в аспекте своей *знаковости* <...>; он есть *знак*, наделенный всей органичностью и неисчерпаемой многозначностью *образа*. Всякий символ есть образ (и всякий образ есть, хотя бы в некоторой мере, символ); но категория символа указывает на выход образа за собственные пределы, на присутствие некоторого смысла, нераздельно слитого с образом, но ему не тождественного» (Аверинцев. – Цит. по: Арутюнова 1999 б, с. 337, курсив мой. – Н.К.).

Исследователи, рассматривающие отмеченные выше феномены, приходят к мысли о том, что символ определяется через апелляцию к образу и знаку. Последние же для своего определения не нуждаются в обращении к концепту символа (Арутюнова 1999 б, с. 338). Следовательно, символ можно трактовать как разновидность более общего понятия – знака.

При сопоставительном рассмотрении понятий «образ» и «символ» ученые отмечают ограничения первого из них применительно к миру абстракций. Так, М.М. Копыленко и З.Д. Попова указывают на то, что «образ может быть только у конкретно-чувственного объекта, символ может быть и у абстрактных понятий» (Копыленко, Попова 1989, с. 50).

Как вербальный, так и невербальный способы распредмечивания действительности осуществляются человеком посредством его обращения к родственным друг другу семиотическим феноменам – знаку, образу и символу (Аверинцев 1987, с. 378–379; Арутюнова 1999 б, с. 337–346; Барт 1994, с. 340–355; Лотман 1987, с. 10–20 и др.). Онтологическая близость данных явлений хорошо иллюстрируется уже самими их дефинициями. Выражаясь семасиологической терминологией

ей, знак выступает в функции гиперонима, а символ и образ – в качестве гипонимов.

В научной литературе высказывается аргументированное мнение о том, что в основе и символа, и знака лежит образ (Арутюнова 1999 б, с. 338). Он представляет собой базис, «над которым надстраивается и символ, и знак» (Там же). Некоторые специалисты по семиотике полагают, что образ вообще предшествовал появлению слова как знакового образования, уже готового к употреблению (см.: Тресиддер 1997, с. 5–7).

Образная основа знака и символа, следовательно, объединяет эти два понятия, различия же между ними сводятся к выполнению несопадающих функций. По Н.Д. Арутюновой, фундаментально исследовавшей дистрибуцию этих родственных семиотических явлений в естественном (русском) языке, знак всегда коммуникативен, адресатен, конвенционален; символ же, напротив, некоммуникативен, безадресатен; он канонизирован. Поэтому знак в отличие от символа «не может быть произвольно фальсифицирован: реакция адресата программируется им достаточно однозначно. Символ мощен, но беззащитен. Его, как и образ, легко фальсифицировать» (Арутюнова 1999 б, с. 344). Символ в отличие от знака более удален от непосредственного общения. «Символ ближе к мышлению – художественному, мифическому, религиозному, знак – к общению» (Там же). Аналогичные рассуждения были высказаны американским антропологом-лингвистом Э. Сепиром, считавшим, что символ «выражает сгусток энергии; т.е. его действительная значимость непропорционально больше, чем на первый взгляд тривиальное значение, выражаемое его формой как таковой» (Сепир 1993б, с. 205).

Общепризнанным следует принять положение семиотиков, согласно которому символ и в плане выражения, и в плане содержания рассматривается как самодостаточный законченный текст, обладающий «некоторым единым замкнутым в себе значением и отчетливо выраженной границей, позволяющей ясно выделить его из окружающего семиотического контекста» <...>. Последнее обстоятельство представляется особенно существенным для способности «быть символом» <..> Он легко вычленяется из семиотического окружения и столь же легко входит в новое текстовое окружения. С этим связана его существенная черта: символ никогда не принадлежит какому-либо одному синхронному срезу культуры – он всегда пронзает этот срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее. Память символа всегда

древнее, чем память его несимволического текстового окружения» (Лотман 1987, с. 11–12). Следовательно, символ в отличие от других типов знаков структурно и семантически более самостоятелен.

Символы, по общему признанию многих ученых (Клакхон 1998, с. 39–41; Лотман 1987, с. 10–14; Ekman, Friesen 1981, р. 73–75 и др.), относятся к архаичному классу знаковых образований в культурах. «Стержневая группа их (символов), – утверждает Ю.М. Лотман, – восходит к дописьменной эпохе, когда определенные (и, как правило, элементарные в начертательном отношении) знаки представляли собой свернутые мнемонические программы текстов и сюжетов, хранившихся в устной памяти коллектива. Способность сохранять в свернутом виде исключительно обширные и значительные тексты сохранялась за символами» (Лотман 1987, с. 11).

Кумулятивная функция символа как базисного (вербального и невербального) знакового образования неразрывно связана с другой, ранее указанной познавательной функцией. Языковая и неязыковая символизация мира – главная предпосылка и необходимое условие зарождения цивилизованного человека.

Символом не только замещаются фрагменты мира, но им же они и объясняются. «Любое живое существо или неодушевленный предмет (он обычно одушевлялся), любое действие и движение (или отсутствие действия или движения) облекались в форму символа, соотносимого с божественной благодатью, опасностью, жизнью или смертью, божественным очищением, принесением клятвы и т.п.» (Маковский 1996, с. 28).

В высшей степени релевантны уже (и в особенности?!) в эпоху языка вербальные символы, обладающие изначально сакральным характером (Малиновский 1998, с. 42–51; Мечковская 1998, с. 32–34; Фрэзер 1998, с. 35–45; Kainz 1962, S. 185–186, S. 193–197 и др.). «*Буквенные формулы (слова)* <...> хранят в себе тайну человеческой духовности, сущность различных ступеней, форм и параметров духовной энергии, глубоко скрытой от взглядов поверхностного наблюдателя. В глубокой древности такие формулы создавались именно для того, чтобы *скрывать истинные и наиболее глубокие смыслы*, уводить в сторону от них, поскольку они считались священными, всячески уберечь от взгляда “непосвященных” истинные пружины и мотивы эволюции человеческой культуры» (Маковский 1996, с. 28, курсив мой. – Н.К.).

Солидарен с мнением лингвиста М.М. Маковского этнограф, историк А.Я. Гуревич. О словесных символах, их значимости для средне-

векового человека он пишет следующее: «...Слова имели магическую силу. Этимологии популярны в средние века. Дать толкование слову значило *раскрыть сущность обозначаемого им явления*. Средневековые этимологии <...> людям служили руководством для углубления в тайну мира. <...> То, что для нас – не более чем метафора, которую было бы нелепо понимать буквально, представало сознанию средневековых людей в качестве символа, видимого образа незримых сущностей. Символ в средневековом его понимании не простая условность, но обладает огромным значением и исполнен глубочайшего смысла. Ведь символичны не отдельные акты или предметы: весь по-сторонний мир не что иное, как символ мира потустороннего; поэтому любая вещь обладает двойным или множественным смыслом: наряду с практическим применением она имеет применение символическое» (Гуревич 1972, с. 265–266, курсив мой. – Н.К.). Вербальные символы, таким образом, являлись для человека способом постижения, объяснения и толкования мира. Изначально они имели исключительно сакральную природу.

По А.Я. Гуревичу, «отношения между прообразом (т.е. символом, примеч. мое. – Н.К.) и явлением стабильны и неизменны. Это не динамические, а функциональные отношения. Подобное установление связи между вещью и стоящей за ней высшей реальностью долгое время удовлетворяло потребности познания людей средних веков. Доминирование символического мышления было связано с его универсализмом. Средневековое сознание исходило из принципа, что целостность, *universitas* – общество, нация, церковь, корпорация, государство – концептуальна, а следовательно, и в действительности предшествует своим индивидуальным членам. Эта целостность обладает реальностью, индивиды же, в нее входящие, – их продукты, своего рода акциденции. <...> Теоретический анализ средневековых мыслителей неизменно исходил из целого, а не из индивида. Поэтому в отдельном видели преимущественно символ общего» (Там же, с. 267).

Древние символы вербальные, равно как и невербальные, родившиеся в разных цивилизациях, по своей сути панкультурны. В известном смысле они представляют собой культурные универсалии, константно актуальные для всех этносов и времен. На данных архаичных символах держится сама человеческая цивилизация.

В одной из своих работ П. Экман и В. Фризен следующим образом характеризуют панкультурные символы: «Панкультурные символы (*pan-cultural emblems*) имеют склонность быть первичными (*will*

tend to be primarily); они – из числа тех, которые соотносятся (refer) с такими функциями организма и тела, как прием пищи (eating), занятие любовью (lovemaking) и т.п., а также с такими, которые соотносятся с простейшими человеческими действиями, как-то: прогулка (walking), сон (sleeping), сиденье (sitting), прикосновение к чему-либо (touching). Такие символы являются изобразительно-иконичными (pictorial-iconic), или кинетично-иконичными (kinetic-iconic), или указательными (pointing-intrinsic) в их кодировании. *Культурно же специфические символы (culture-specific emblems) коррелируют с более сложными, более комплексными (more complex) поступками человека, связанными с определенными когнитивными событиями (cognitive events).* Все произвольно (arbitrarily) кодированные символы являются *культурно специфическими*; некоторые иконически кодированные символы культурно специфичны в их кодировании (in encoding), но при этом они понятны (understandable) представителям других культур» (Ekman, Friesen 1981, p. 74, перевод и курсив мой. – Н.К.).

Хотелось бы в этой связи отметить высокую психологическую ценность для этноса культурных символов, являющихся его специфическими маркерами, своеобразной визитной карточкой. Действительно, убедительным аргументом непреходящей психолого-культурной значимости указанного класса символов для общества может, по нашему мнению, служить развернувшаяся в России в конце 2000 г. полемика по вопросу принятия музыки и текста гимна нашей страны. Как можно видеть, сознание, мышление современных людей по-прежнему, как и многие века назад, мифологично, подобно сознанию, мышлению примитивных народов. Думается, не без оснований человек Э. Кассирером был определен как «animal symbolicum».

Символ как знаковое образование обладает сложной архитектурной, поскольку он в действительности строится на «множественности смыслов» (Барт 1994, с. 350). Он не просто указывает на предмет, но одновременно обращен к другому смыслу, который способен раскрыться только внутри и через посредство первого смысла (Барт 1994, с. 350–351). Структурная организация конвенционального знака, как правило, более проста, нежели архитектура символа.

Помимо отмеченных выше некоторых различий между рассматриваемыми семиотическими образованиями, безусловно, существуют и сходства, в том числе и функциональные, между символом и знаком. Во-первых, и тот, и другой материальны; они воспринимаются человеком различными органами чувств (например, визуально или / и аудитивно, или / и тактильно и т.п.). Во-вторых, они выполняют за-

местительную функцию. «Символ всегда выступает как заместитель некоторого более тесно посредничающего типа поведения, откуда следует, что всякая символика предполагает существование значений, которые не могут быть непосредственно выведены из ситуационного контекста» (Сепир 1993б, с. 205). Принцип замещения (*das Stellvertreterprinzip*), по С. Загеру, является одним из центральных аспектов в эволюции языковой и всякой другой символизации (Sager 1995, S. 186). В-третьих, и символ, и знак выполняют эвристическую функцию (Белый 1994, с. 244–259; Лосев 1993; Лотман 1987, с. 10–20; Новиков 1990 б и др.). Так, в частности, П.А. Флоренский назвал символ «таинственным высвечиванием действительности иными мирами – просвечиванием сквозь действительность иных миров, которое дается осязать, видеть, нюхать, вкушать <...> Символ и был подглядыванием тайны. Ибо тайна мира символами не закрывается, а именно раскрывается в своей подлинной сущности» (Флоренский. – Цит. по: Новиков 1990б, с. 23).

Существуют различные классификации символов (Сепир 1993б, с. 204–209; Тресиддер 1997, с. 5–7; Науакawa 1967, S. 26–31 и др.). Так, Э. Сепир выделял два базисных типа символов – референциальный и конденсационный. Первый из них включает такие формы, как устная речь, письмо, телеграфный код, национальные флаги и т.п., которые принято использовать в качестве экономного средства обозначения. Второй тип символизма – «это чрезвычайно сжатая форма заместительного поведения для прямого выражения чего-либо, которая позволяет полностью снять эмоциональное напряжение в сознательной или бессознательной форме» (Сепир 1993б, с. 205). В качестве примера конденсационной символики Э. Сепиром приводится внешне бессмысленный ритуал омовения больного, страдающего навязчивым неврозом (Там же, с. 205–206).

По мнению американского ученого, появлению референциальных символов предшествовало возникновение конденсационных символов. «Вероятно, большая часть референциальной символики восходит к бессознательно вызываемому символизму, насыщенному эмоциональным качеством, который постепенно приобретал чисто референциальный характер по мере того, как связанная с ним эмоция исчезала из данного типа поведения. Так, потрясение кулаком воображаемому врагу становится самостоятельным и в конечном счете референциальным символом гнева, когда никакого врага: ни настоящего, ни воображаемого: не имеется в виду. Когда происходит эта утрата эмоциональности, символ становится сообщением о гнeve как

таковом и подготовительной ступенью к чему-то вроде языка. То, что обычно называется языком, возможно, изначально восходило именно к таким самостоятельным и утратившим эмоциональность крикам, которые ранее снимали эмоциональное напряжение» (Там же). Мы можем заключить, что предложенная Э. Сепиром классификация символов на референциальные и конденсационные строится на критерии сознательного vs. бессознательного.

«Референциальный символизм, — указывал Э. Сепир, — развивается по мере совершенствования формальных механизмов сознания, а конденсационный все глубже и глубже пускает корни в сферу бессознательного и распространяет свою эмоциональную окраску на типы поведения и ситуации, на первый взгляд удаленные от первоначального значения символа. Таким образом, оба типа символов берут свое начало от ситуаций, в которых знак оторван от своего контекста. Сознательное совершенствование формы превращает такой отрыв в систему обозначения. А бессознательное распространение эмоциональной окраски превращает его в конденсационный символ» (Там же, с. 206–207).

Другая классификация символов строится на принципе техники их экспликации. По аналогии с указанной выше классификацией знаков на языковые и неязыковые символы разделяют на две соответствующие группы — вербальные и невербальные (см.: Тресиддер 1997, с. 5–7; Hayakawa 1967, S. 26–31; Hofstadter 1987, S. 374–376 и др.).

Н.И. Толстой и С.М. Толстая классифицируют все символы на словесные (т.е. вербальные), предметные и акциональные — символы действий (Толстой, Толстая. — Цит. по: Копыленко, Попова 1989, с. 50).

Согласно немецкому семиотику, лингвисту Э. Оксу, все вербальные символы могут быть проклассифицированы на аффективные — affective и эпистемологические — epistemological (Ochs 1993, p. 216–217). В основу его классификации положен прагматический признак — восприятие реципиентом знака может быть рациональным или же, наоборот, эмоциональным. Одним из факторов, определяющих способ декодирования информации (рассудочный или эмоциональный) ее получателем, является сам характер символа, в целом знака — носителя смысла, интенции отправителя сообщения.

Интерпретация символа и знака вообще, глубина их «прочтения» зависят как от компетентности самого толкователя (уровня его знаний, принадлежности к тому / иному социуму и т.п., т.е. его лингвокультурного паспорта), так и от его лингвоэтнической принадлежности (в случае объяснения предметных и акциональных символов).

Известно, что символы, в том числе и эмоциональные, нередко могут принципиально различаться по выражаемым ими смыслам в разных культурах. Так, барсук символизирует счастье в британской культуре, а белка, наоборот, несчастье (Э. Рэдфорд, М. Рэдфорд 1997, с. 21), в то время как в русской культуре эти зоонимы не нагружены какими-либо общепризнанными символическими функциями. Флороним «осина» — символ проклятия в русской культуре (на ней удавился Иуда) (Миненок 1997, с. 110), чего нельзя сказать, к примеру, о подобной символике указанного слова в англосаксонской культуре. «Алая роза» в русской культуре выступает в качестве символа любви, а в британской (в частности, в английской) — несчастья (Э. Рэдфорд, М. Рэдфорд 1997, с. 388). Множество предметных символов, однако, оказывается идентичным по эксплицируемым им смыслам в разных этносах и культурах. Так, птица ворон — символ несчастья как в британской (английской, ирландской, шотландской, уэльсской) культуре (Э. Рэдфорд, М. Рэдфорд 1997, с. 82), так и в русской (Миненок 1997, с. 82). Кстати, отсюда, вероятно, устойчивые словесные комплексы типа «накаркать беду» и т.п.

Культурные концепты, судя по этнографическим и историческим материалам, достаточно часто и продуктивно строятся на предметных символах, иллюстрирующих ярко выраженные оценочные образы. Последние, по нашему мнению, имеют принципиально ассоциативный характер. Положенные в основу символов ассоциации держатся на культурной памяти их генераторов и носителей. Однако применительно к феномену собственно эмоций существует достаточно ограниченное количество предметов, выступающих в функции их символов, что обусловлено, на наш взгляд, его абстрактным характером. Эмоции легко метафоризируются общенациональным и индивидуальными языками, но редко «привязываются» человеческим сознанием к конкретным предметам действительности и артефактам. «Валентность» понятия «эмоция» достаточно свободная, широкая, что мы объясняем калейдоскопической направленностью его ассоциаций. Множество ассоциативных признаков, приписываемых эмоциям, их самая активная тропизация (метафоризация, метонимизация, функциональные переносы) блокируют в действительности появление многочисленных предметных символов. Символ — это знак, «стабилизирующий в отличие от метафоры форму» (Арутюнова 1999б, с. 337; см. также: Барт 1994, с. 351). Примерами предметных общенациональных символов конкретных эмоций могут служить некоторые флоронимы. Так, ива — это символ грусти в русской культуре; терн — сим-

вол страдания (Толстой, Толстая 1978. — Цит. по: Копыленко, Попова 1989, с. 51). Здесь же заметим, что флороним «ива» символизирует грусть и в немецкой культуре (композитивная лексема «Trauerweide» — «плакучая ива»). Использование же флоронимов в качестве средства символизации (в том числе и метафорической!) эмоций, как будет показано в главе 3 монографии, имеет уходящее корнями в глубокую древность магико-мифологическое происхождение.

Считаем необходимым подчеркнуть, что наш вывод о количественно редуцированной предметной символизации эмоций основывается на фактах *общенационального* языка; идиолекты при этом нами во внимание не принимаются. Индивидуально-авторская символизация, в том числе и предметная, эмоций есть результат лингвокреативного процесса конкретной языковой личности. При этом мы отдаем себе отчет в том, что национальный язык формируется, развивается благодаря конкретным языковым элитарным личностям, обогащающим его лексикон и структуру. Достаточно, например, вспомнить продуктивность лингвокреативной деятельности М. Лютера, значительно повлиявшего на развитие немецкого языка, в частности переводом Библии. Вместе с тем мы полагаем, что в случае анализа символов эмоций приоритетным является их коллективное, общенациональное употребление, их узуальное использование.

Интересный пример на символическое описание концепта гнева во французской лингвокультуре обнаруживаем в монографии М.К. Голованивской. Она приводит дескрипцию указанной эмоции со ссылкой на Чезаро Рипа, который в символической форме следующим образом описывает гнев: «Это молодая женщина с красным или темным цветом лица — ведь именно так выглядит кожа гневливого человека. <...> У женщины этой широкие плечи, раздувшееся лицо, красные глаза, круглый лоб, раздутые ноздри. Она хорошо вооружена, вместо шлема у нее на голове медвежья голова, из которой выходят пламя и дым, в правой руке — обнаженный меч, в левой — зажженный факел, одежда ее — красного цвета. Эта женщина молода, ведь Аристотель еще писал, что именно молодые часто гневливы и готовы в любой момент вспыхнуть, поскольку они честолюбивы и не могут терпеть, когда им идут наперекор. Шлем из медвежьей головы, так как именно это животное более других склонно к гневу. Обнаженный меч символизирует действие, которое часто совершается в гневе и в результате которого проливается кровь. Зажженный факел — это сердце взбешенного человека, которое горит и сгорает. Лицо вздувается оттого, что кровь закипает и от этого же горят глаза» (Голова-

ниевская 1997, с. 259). Совершенно очевидно, что предложенное здесь символическое описание Ч. Рипом гнева по своей сути соматично (плечи, лицо, глаза и т.п.). Упоминаемое же конкретное животное (медведь) далеко не обязательно ассоциируемо французским этносом с гневом. Ментальное соположение указанных эмоций и зоонима исключительно индивидуально-авторское.

Известный дефицит предметно-символического осмысления эмоций компенсируется высокой продуктивностью и регулярностью употребления акциональных символов, корреспондирующих с ними. Бесчисленное множество речевых выражений, в том числе и устойчивых словесных комплексов, свидетельствует о генетической предрасположенности эмоций к действенно-символическому выражению. Приведем небольшой ряд наиболее распространенных символов-акционалов эмоций: а) стучать кулаком по столу – *mit der Faust auf den Tisch schlagen* (угроза); б) сжимать кулаки – *die Faust (die Faeuste) ballen* (от гнева); в) топтать ногами – *mit den Fuessen stampfen* (от гнева, бешенства); г) хлопать в ладоши – *Beifall klatschen* (от восторга, радости; «захлопать» кого-либо); д) преклонить колени перед кем-либо – *vor j-m die Knie beugen* (из уважения); е) посыпать голову пеплом – *sich (D) Asche aufs Haupt streuen* (раскаяние и горесть) и т.п. Как можно видеть из приведенных примеров, в основе данных речевых устойчивых высказываний лежат конкретные действия, узואльно закрепившие реакции человека на определенные реальные стимулы. В данном случае обращает на себя внимание эквивалентность символов-акционалов в русском и немецком языках. Факт апеллирования носителей типологически разных языков к одним и тем же реальным физическим поступкам человека можно объяснить универсальностью его поведения как биологической особи, в программу действий которой генетически заложены одинаковые реакции на определенные внешние стимулы. Кроме того, межъязыковая и межкультурная универсальность символов-акционалов эмоций может быть объяснена и социальными (в случае с примером (е) – религиозными) факторами. Из вышеприведенных иллюстраций можно также заключить, что многие устойчивые речевые выражения (клише), давно и продуктивно применяемые в русской и немецкой лингвокультурах, подобно лексемам, полисемичны (примеры б, в, г), что мы оцениваем, с одной стороны, определенной ограниченностью реальных действий, совершаемых человеком, а с другой – законом А. Мартине (закон экономии языковых усилий).

Процесс символизации эмоций объективирован разноуровневыми средствами естественного человеческого языка. Известно, что наи-

более коммуникативным является лексико-фразеологический уровень языка. Его номинативные потенции (в особенности лексического субуровня) объясняют факт обращения ученых при анализе культурных концептов именно к лексическим и фразеологическим средствам языка (Арутюнова 1991, с. 7–23; Бабушкин 1996; Вежбицкая 1999; Воробьев 1997; Гак 1991, с. 24–31; Толстая 1999, с. 229–234; Феоктистова 1999, с. 174–179; Jaeger, Plum 1989, S. 849–855; Kuehn 1987, S. 267–278 и др.), чем и обусловлен наш выбор соответствующего материала. Таким образом, в дальнейшем мы вкратце остановимся на характеристике самих средств языковой концептуализации эмоций.

2.2. Средства языковой концептуализации эмоций

Лексические эмоциональные концепты

Как всякий социально-культурный феномен, эмоции объективированы языком. Для того чтобы понять сущность того / иного вербально оформленного явления, необходим анализ техники его номинации в диахронической плоскости языка. Изучение способов номинации предметов (в широком толковании этого термина) мира – необходимое условие успешного изучения формирования и эволюции концептосфер языка, поскольку именно исследование *языковых средств* объективации фрагментов внешнего и внутреннего мира позволяет посмотреть «на вещь изнутри».

Социально-психологическая и биологическая релевантность эмоций для жизни человека имеет своим результатом их детальную вербализацию в самых разных языковых сообществах (Апресян 1995 а, с. 366–373; Вежбицкая 1997 а, с. 33–44; Городникова 1985; Телия 1987, с. 65–74; Lutz 1988; Reuning 1941 и др.). Вербализация эмоций осуществляется преимущественно на лексическом и фразеологическом уровнях.

Лексический языковой субуровень, как было указано выше, объективирует эмоциональный феномен самими различными номинативными техниками. Можно сказать, что лексикализованная эмоция есть ЭК, поскольку она как знаковое образование существует, функционирует в лингвокультуре и, следовательно, отражает в себе эмоциональный опыт того / иного индивида, в целом – социума, оценочно категоризирует, концептуализирует окружающий мир. Лексема есть важнейшее средство вербального оформления концепта. В афористическом выражении А. Вежбицкой «добиться до мысли можно

только через слова» (Вежбицкая 1999, с. 294, курсив мой. – Н.К.) есть, безусловно, гиперболический след. «Добратись до мысли» можно и посредством анализа тех же грамматических конструкций. Вместе с тем мы считаем обращение к анализу средств и способов техники лексической объективации эмоций при исследовании соответствующей концептосферы языка приоритетным как минимум по двум причинам. Во-первых, *слову* в когнитивной психологии, генеративной грамматике и так называемых лексических грамматиках приписывается первостепенная важность в порождении, восприятии и хранении информации (Кубрякова 1996б, с. 97). Собственно лексический состав языка наиболее очевидно, «напрямую» отражает фрагменты экстралингвистической действительности (предмет – понятие – имя). Во-вторых, в современной лингвистической семантике достаточно хорошо отработаны сами исследовательские методики (методы компонентного, дефиниционного, дистрибутивного анализов, семантического дифференциала, психолингвистические эксперименты и т.п.). Иначе говоря, исследования лексики языка, опирающиеся на успешно апробированные методические процедуры, представляются нам в значительной степени технологичными.

При этом, естественно, нельзя забывать, что оформление мыслительных конструкторов лексическими средствами прямой, вторичной и косвенной номинаций – это не единственный способ их оязыковления. Вторичная и косвенная номинации «характерны не только для лексического состава языка, но также для аффиксальных средств и синтаксических конструкций: она существует везде, где произошло переосмысление языковой сущности» (Телия 1990, с. 337). Здесь же еще раз укажем на традиционную предпочтительность обращения ученых (Воробьев 1997; Голованивская 1997; Шмелев 1991, с. 55–58 и др.), анализирующих культурные концепты, к лексическому материалу, что, как мы понимаем, обусловлено названными выше причинами.

Исследователи, предпринимавшие попытки описать концепты эмоций (Бабушкин 1996, с. 35–39, с. 63–65; Вежбицкая 1999, с. 547–610; Телия 1987, с. 65–74; Dolnik 1994, S. 504–513; Kuehn 1987, S. 267–278 и др.), указывают на их диффузный характер, трудность более или менее четкой демаркации их границ на концептуальной карте языка. Так, В.П. Бабушкин отмечает сложности отнесения эмоциональных лексических концептов (*любовь, счастье, ревность* и т.п.) к тому / иному конкретному их типу: «мыслительным картинкам», «схемам», «интеронимам», «фреймам», «сценариям», «кинсайтам» (Бабуш-

кин 1996, с. 35–36). Размытость понятия «эмоция» служит препятствием его четкой лексикографической дескрипции, что и явилось причиной применения различных нетрадиционных методических процедур при описании интересующего нас феномена – его метафорических дескрипций (Лакофф, Джонсон 1990, с. 396–397; 400–402), фреймового и сценарного подходов (Wegner 1985, S. 51–55), языка семантических примитивов (Вежбицкая 1997г, с. 326–375), на характеристике которых мы остановимся позже. Здесь же подчеркнем, что танталовы муки человека в описании природы эмоций, равно как и других культурно-ментальных явлений (в отличие от физически существующих), лежат в плоскости способа их восприятия. Вспомним, в частности, суждение Г. Лейбница, указавшего при рассмотрении абстрактных и конкретных феноменов на то, что справедливость, в отличие от лошади, нельзя увидеть (Лейбниц. – Цит. по: Бабушкин 1996, с. 36).

На наш взгляд, известная абстрактность эмоций является основной причиной их сложной вербально-концептуальной организации. Архитектоника, в частности лексически выраженных концептов эмоций (*радость, гнев* и т.п.), таким образом, сложна, поскольку трудно постигаемо само данное психическое явление. Помимо ядерной части в нее включена широкая периферия, формируемая многочисленными образно-оценочными коннотациями, своеобразными коллективно-индивидуальными результатами мыслительной деятельности человека. Интерпретации эмоций людьми основываются на нескольких критериях – «хорошо» vs. «плохо», «полезно» vs. «вредно», «продолжительно» vs. «непродолжительно», «интенсивно» vs. «неинтенсивно» (подробнее см.: Красавский 1999а, с. 162–172), приписывание статуса доминанты которым в отношении конкретной эмоции может различаться в разных культурах, социумах и микросоциумах. Более того, их толкование (в том числе и эмоционально-оценочное) отдельными индивидуумами далеко не всегда совпадает в рамках одного и того же этнического сообщества, что, однако, не отменяет существования некоего усредненного, среднестатистического «портрета» той / иной эмоции. Можно предположить, что составители лексикографических толкований эмоций опираются на существующие стереотипные, наиболее распространенные знания и представления языковых сообществ, народа об описываемом явлении.

Номинацию принято классифицировать на 1) первичную, 2) вторичную и 3) косвенную (Телия 1990, с. 336). Ее первый класс образует сравнительно небольшое количество слов, что обусловлено главным образом причинами психологического порядка: человеческая память

ограничена, а познаваемый мир безграничен. В своей лингвокреативной деятельности Homo loquens «экономит» на языковых средствах при вербализации осваиваемого им мира, осуществляя переносы наименований уже распредмеченных фрагментов действительности по смежности, ассоциации, функциям. Данный лингвокогнитивный процесс приводит к появлению вторичных и косвенных номинаций, число которых значительно превосходит первичный тип языковых обозначений.

В науке неоднократно высказывалась мысль о первичности обозначения реальных предметов мира в онтогенезе человеческого языка. Культурные и ментальные «факты», согласно этой точке зрения, номинировались значительно позже и нередко с помощью применения уже «готовых» знаков. Многочисленные этимологические сведения о жизни слов (см.: Маковский 1996; Монич 1998, с. 97–120) действительно свидетельствуют о языковой символизации предметов, их признаков, действий человека, корреспондирующих с реальными денотатами. Вместе с тем, на наш взгляд, следует заметить, что само по себе противопоставление физического, реального и ментально-культурного миров (по крайней мере, применительно к *архаичной* стадии зарождения цивилизации и культуры) не совсем корректно. В действительности архаичное сознание человека, как показывают результаты многих исследований (Гуревич 1972; 1989; Кацнельсон 1986, с. 28–31), синкретично и полисемантически. Поименованный древним человеком объект представлял собой некий диффузный, нечетко очерченный предметно-мыслительный конденсат, о чем убедительно говорят авторитетные этимологические данные (см.: Монич 1998, с. 97–120; Феоктистова, Лемберская 1981, с. 78–85 и др.). Данное утверждение мы проиллюстрируем при подробном этимологическом анализе номинантов эмоций русского и немецкого языков в главе 3.

Вторичные и косвенные номинации для лингвистов, лингвокультурологов и этнолингвистов служат наиболее важным информационным источником, поскольку в них знаково фиксируются ментальные операции «человека говорящего», лингвокультурологический анализ которых позволяет ученым вскрыть мотивационные основы переносов наименований с одних объектов мира на другие, увидеть корреспонденции разных концептосфер того / иного языка.

При лингвокультурологическом анализе концептосфер языка в *синхронии* и *диахронии* его обязательной исследовательской операцией являются этимологические данные слов, повествующие о способах, средствах, в целом о динамике развития оязыкования того /

инного фрагмента действительности. Адекватная интерпретация ученым системы становления той / иной концептосферы, достаточно четко выделяемой современным языконосителем, облигаторно предполагает, таким образом, использование историко-этимологических сведений, хранящих тайну формирования, эволюции человеческой мысли. Результаты толкования вербализованного (в особенности, лексическими средствами) культурного концепта могут зависеть от выбора исследователем самого подхода – синхронного или диахронического. При синхронном подходе к анализу лексически оформленного концепта наблюдаема лишь вершина айсберга; исследователем делается «срез» языкового сознания на ограниченном временными рамками когнитивном пространстве. Обращение же ученого к диахронии экзистенции интересующего его феномена позволяет увидеть сложную мыслительную деятельность человека во временной протяженности, что, безусловно, ценно не только для историка языка, этимолога, компаративиста, но и для лингвокультуролога и когнитивиста.

Хорошим языковым примером, по нашему мнению, убедительно иллюстрирующим появление возможных различий в толковании лексических концептов эмоций (в зависимости от синхронного и диахронического взгляда на них), может служить русское слово *страх*. Так, в словарной статье «Метонимия», опубликованной в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» Н.Д. Арутюновой, отмечается перенос наименования данной эмоции на причину ее возникновения – «ужасное событие» (Арутюнова 1990, с. 300). Автор, как мы можем судить, указала на вторичную номинацию (метонимию) рассматриваемой лексемы, воспользовавшись *современной* словарной дефиницией: «Страх – 1. Очень сильный испуг, сильная боязнь; 2. мн. События, предметы, вызывающие чувство боязни, ужаса; 3. в знач. сказ. и нареч. Очень, в высшей степени, очень много, ужас» (ТС 1995, с. 761, курсив мой. – Н.К.). Если исходить из предложенной здесь дефиниции, т.е. учитывать последовательность перечисления значений слова *страх*, то действительно имеет место перенос наименования чувства на провоцирующую его переживание ситуацию. Если же рассматривать данную лексему с точки зрения диахронии, т.е. обратиться, в частности, к ее этимологии, то картина будет несколько иной.

Есть три основные версии объяснения происхождения слова *страх* (см.: ЭС 1996, т. 3, с. 772). В соответствии с первой это слово вначале номинировало определенную угнетающе действующую на психику

человека ситуацию (лат. *strāgēs* – опустошение, поражение, повержение на землю). Получается, что имеет место метонимия не страха как номинанта эмоции, а наоборот, наименование конкретной неблагоприятной для человека ситуации переносится на его ощущения. Если же принять вторую версию происхождения слова *страх*, согласно которой оно первоначально коррелировало с вербальным актом угрозы одного человека другому (лтш. *struōstīt* – угрожать, строго предупреждать), то в этом случае опять же метонимизируется определенный речевой поступок, но не номинант эмоции. Если принять во внимание третью версию происхождения слова *страх* (европейская форма **trēsō* – трясти), то можно заключить, что осуществляется перенос с наименования физических действий человека на его внутреннее переживания (ЭС 1996, т. 3., с. 722). Кстати, попутно укажем на возможный культурно-языковой реликт – устойчивое выражение в русском языке – «трястись от страха». Возможно, эмоциональное значение слова *страх* не первично, поскольку многие версии этимологического анализа обнаруживают у него первичность «физического» значения.

На этимологии слов, обозначающих ЭК в немецком и русском языках, детально мы остановимся позже. Здесь же сделаем самые общие замечания о полисемии знаков, один из ЛСВ которых корреспондирует с эмоциоконцептосферой. Мышление архаичного и в значительной степени еще средневекового человека (см.: Carruthers 1994, р. 8–9) не было в состоянии четко дифференцировать понятия причины и следствия, внешнего и внутреннего. Они представлялись ему в силу недостаточности развития абстрактного мышления в форме содержательно единого, целостного, нерасчлененного процесса. Данный вывод опирается на известную научно обоснованную и, как кажется, всеми принимаемую концепцию изначальной, первичной *предметности* человеческого мышления: обозначение реальных объектов материально воспринимаемого мира, как правило, предшествует наименованиям абстрактным. Абстрактные понятия формируются по мере освоения человеком окружающего его мира, по мере социализации Homo sapiens. Иначе говоря, мышление развивается по формуле «от конкретно-предметного к общеабстрактному».

В этой связи любопытны результаты фактических наблюдений некоторых современных лингвистов-этнографов, изучавших в недавнем прошлом (середина XX столетия) язык и психологию носителей сохранившихся нецивилизованных (в сравнении с западными) культур Океании, в которых, по мнению исследовательницы К. Лутц, сло-

ва, обозначающие эмоции (в частности в языке инфалук), рассматриваются его носителями, пользователями скорее *«как сообщения о связи лица и события»* (в особенности затрагивающие другое лицо), *чем сообщение об интроспекции своих собственных состояний»* (Lutz. – Цит. по: Вежибская 1997д, с. 389–390, курсив мой. – Н.К.).

Все типы номинаций (прямая, вторичная, косвенная) представляют собой знаковые образования. Основное же различие между первым и двумя другими типами номинации сводится к тому, что при вторичных и косвенных обозначениях имеет место переосмысление выражаемых ими сущностей. Данный семантический процесс нередко приводит к приобретению вторичными и косвенными номинациями различных коннотативных, в том числе и эмотивных, признаков.

С прагматико-семасиологической точки зрения вербальные знаки вне зависимости от их отнесенности к вышеназванным типам номинаций классифицируются учеными на нейтральные и эмотивные (Бабенко 1989; Шаховский 1988), что определяется соответствующим наличием / отсутствием или же доминированием в их содержательной структуре логического / эмоционального семантического компонента. Так, В.И. Шаховский предлагает следующую типологию вербально оформленных знаков (лексем): обозначение (или номинация), описание (или дескрипция), выражение (или экспликация). Последний тип вербализации эмоций принято считать собственно эмотивами. К ним относятся, к примеру, инвективы (Шаховский 1988, с. 31).

Не нейтральная символизация эмоций имеет место не только в классическом случае их экспликации, но также и при дескрипции. Так, в качестве примера символизации конкретной эмоции, испуга, в творчестве А. Белого Л.А. Новиков приводит образ распахнутой зияющей двери. В другом же месте этого же произведения русского орнаментального прозаика «символизация испуга перед роковой неизбежностью дается <...> через осязаемый физиологический ряд, сопровождающий подобные переживания и мысли (*ощущение гадкой слизи, потекшей по позвоночнику*)...» (Новиков 1990б, с. 142). Здесь, используя терминологию В.И. Шаховского, речь идет о дескрипции эмоции.

Данный тип вербальной символизации эмоций строится на знании носителями языка человеческой физиологии, на житейском опыте наблюдения соматико-физиологических реакций организма человека и приматов. Дескрипции эмоций при этом нередко основываются на натуральных жизненных ситуациях. Это обстоятельство, на наш взгляд, объясняет межкультурные, межэтнические корреспонденции

вербального описания одних и тех же эмоций. Так, по наблюдениям исследователей (Ekman, Friesen 1981, p. 80–84), эмоция отвращения вызывается обычно физиологией запаха (smell) – канал коммуникации человека с миром – осязание. Отсюда, как мы понимаем, следует и соответствующая реакция человека – его стремление прикрыть нос и рот. Гнев – физиолого-психическая реакция человека, выражающаяся в покраснении глаз, лица и в целом – тела. Отсюда и соответствующая легко идентифицируемая нами символизация данной эмоции, в том числе и вербальная, в частности дескриптивная (покр^{ас}неть от гнева, vor Zorn, vor Wut rot werden и т.п.).

Резюмируем изложенное выше. Лексические средства языка мы считаем важнейшим инструментом формирования и развития феномена ЭК, поскольку «наличие слова (отдельной лексической единицы) служит прямым свидетельством существования понятия, а при его отсутствии имеются, в лучшем случае, лишь косвенные свидетельства» (Вежбицкая 1999, с. 294). Слово – не только базисная номинативная единица, но и, как установлено в нейролингвистике, один из способов хранения информации, смысла в человеческом мозгу. Лексические средства, оязыковляющие эмоциональную концептосферу, могут выступать как первичные, вторичные и косвенные номинанты. Как правило, на современном этапе развития языков эмоции вербализуются вторичными и косвенными способами номинации. Лексемы, оязыковляющие мир эмоций, с прагматико-семасиологической точки зрения (Шаховский 1988) могут классифицироваться на прямые номинанты (*радость, страх* и т.п.), дескрипторы (*дрожащие руки* и т.д.) и экспликанты (*подлец, козел* и т.д.).

Фразеологические эмоциональные концепты

Предложенная читателю во введении дефиниция ЭК содержит указание на средства их оязыковления – словный и сверхсловный (несколькословный) виды номинаций. Сверхсловные номинации действительности – это комплексные сложные в структурном отношении знаковые образования. Они традиционно являются объектом изучения не только лингвистов, но и их смежников, прежде всего – семиотиков, логиков и когнитивных психологов. Так, в частности, логики ведут жаркие споры о том, обозначают ли комплексные устойчивые двусоставные номинации одно или два понятия; среди когнитивистов нет единого мнения о том, обязательно ли хранится информация в человеческом мозгу в максимально свернутом виде (слове) или же ее хранение может быть и более развернутым и т.п.

В лингвистике не менее дискуссионный характер имеют многочисленные вопросы, касающиеся классификаций сверхсловных номинаций – структурной, семантической, структурно-семантической, функциональной (Виноградов 1977, с. 140–161; Чернышева 1993, с. 61–70 и др.), их моделирования (Савицкий 1993), функций, способов и причин образования и т.д. (Копыленко, Попова 1989; Телия 1996). Нет разногласий среди фразеологов, пожалуй, в одном: устойчивые словесные комплексы (фразеологические единства, сращение, т.е. идиомы, фразеологические выражения, афоризмы, клише, равно как и структурно-семантически близкие им пословично-поговорочные выражения) следует считать наиболее ценным лингвокультурологическим материалом, изучение которого необходимо не только для филологов, но и представителей всех гуманитарных наук (Добровольский, Караулов 1993, с. 5–15; Солодуб 1994, с. 55–71 и др.). Культурологическая значимость фразеологизмов, пословиц и поговорок часто отмечалась многими известными отечественными и зарубежными этнографами, историками, психологами, в целом культурантропологами (Арнольдов 1987, с. 6–8; Гуревич 1989; Клакхон 1998; Нойманн 1998, с. 36–40; Стефаненко 1999, с. 77–85). Сегодня в высшей степени актуальными в филологии признаются работы исследователей (см.: Солодуб 1990, с. 55–65; Феоктистова 1999, с. 174–179; Eismann 1999, с. 41–51), в поле зрения которых оказываются устойчивые, клишированные речевые высказывания, наиболее рельефно демонстрирующие самобытность, оригинальность языкомышления того / иного лингвокультурного сообщества. Среди них к числу наиболее перспективных в плане поиска специфических черт конкретных этносов принято относить в первую очередь фразеологизмы, пословицы и поговорки, поскольку эти комплексные номинации достаточно эксплицитно отражают саму специфику познавательного опыта того / иного социума, особенности его мировидения.

Значительное внимание, уделяемое учеными в последнее десятилетие фразеологическому виду номинации мира (Добровольский, Караулов 1993, с. 5–15; Савицкий 1993; Телия 1996 и др.), объясняется главным образом необходимостью решения многих методологически новых задач в новых парадигмах (прежде всего – в лингвистическом концептуализме и лингвокультурологии).

Фразеологические номинации по сравнению с лексемными обладают более сложной знаковой структурой; многие из них, в частности пословично-поговорочные выражения, нередко рассматриваются в лингвистике как своеобразные самостоятельные (микро)тексты. Для

них свойственны важнейшие формальные и содержательные признаки текста (Рождественский 1996, с. 27–59). В данном типе фразеологических номинаций «свернутым» оказывается достаточно большой объем информации. Причем эта информация в значительной мере является культурно-маркированной и культурно-значимой, поскольку рассматриваемый вид номинации актуализирует, как правило, социально наиболее релевантные явления на том / ином этапе развития этноса. Хорошо известно, что вербализуются действительно значимые для человека феномены человеческой цивилизации и культуры (Вебер 1990а, с. 374–375; Hudson 1991, p. 9–11).

Никак нельзя согласиться с иногда высказываемым в лингвистике мнением о языковой избыточности фразеологической номинации как таковой. «Основной единицей языка является слово, а фразеологизмы – это избыточные средства языка» (Синюк 1999, с. 164). Помимо экспрессивной фразеологизмам в той / иной степени свойственны и другие многочисленные общеязыковые функции (коммуникативная, когнитивная, кумулятивная и т.д.).

На наш взгляд, заслуживает самого пристального внимания точка зрения некоторых ученых, согласно которой информация хранится в нашем мозгу исключительно как «коммуникативные фрагменты» – «единицы, лежащие в основании мнемонического владения языком» (Гаспаров 1996, с. 118). Ими, как мы понимаем, фиксируется говорящим и распознается слушающим целостность образа той / иной ситуации. К ним относятся в том числе и сверхсловные номинации (словосочетания, речевые клише, штампы, идиомы и др., т.е. комплексные, готовые к употреблению выражения и т.п.). По Б.М. Гаспарову, рассматривающему свойства языковой памяти человека и, в частности, способы хранения информации, «именно коммуникативные фрагменты являются первичными, целостными, непосредственно узнаваемыми частицами языковой материи, составляющими основу нашего обращения с языком в процессе языкового существования, а не отдельные слова в составе этих выражений...» (Гаспаров 1996, с. 123–124, курсив мой.– Н.К.). Однако в своих дальнейших рассуждениях автор приведенной цитаты менее категоричен; полностью не отрицает мнемонические возможности у отдельных слов, распространяя свои утверждения на «огромное большинство случаев» (Гаспаров 1996, с. 124, с. 133–134). Когнитивный процесс хранения смыслов и их использование человеком в коммуникации осуществляется, судя по результатам многочисленных исследований (см. подробнее: Кубрякова, Шахнарович 1991, с. 141–220; Кубрякова 1996 б, с. 97–99),

посредством разных знаковых образований – как сверх-, так и однословных.

Поскольку в основу фразеологических комплексных обозначений, как правило, положены образы (см., например, Кожин 1980, с. 73–76), образное, оценочное переосмысление формирующих их компонентов, то указанный вид номинации представляет большой интерес и для эмотиологов, изучающих фразеосемантическое поле эмоций в разных языковых культурах. Как комплексная форма организации знакового пространства фразеологическая номинация фиксирует собой (часто оценочно) и способы мыслительной деятельности человека, и сами ее результаты.

Архитектоника фразеологически оформленного ЭК в принципе идентична архитектонике концепта лексического: она содержит три компонента – понятие, оценку и образ. И при лексической, и при фразеологической вербализации эмоций статус доминанты может приобрести любой из данных компонентов. Если, как было отмечено в предыдущем параграфе, образно-оценочный компонент в структуре внеконтекстного языкового знака – слова – оказывается ведущим, то мы имеем дело с эмотивом. Если же доминирующим является логический компонент в структуре слова, то в таком случае речь идет о нейтральном вербальном знаке.

Исследователями (Шаховский 1988) установлено, что эмотивный контекст, в котором употребляется нейтральное слово, может «наводить» эмотивные семы в его семантику. При этом логический компонент значения нейтрального слова смещается на его периферию, а оценочно-образные семантические компоненты оказываются в его центре. В отличие от лексемных фразеологические номинанты, оформляющие соответствующие концепты, в силу своей объемной структуры и семантики (фразеологизм = гиперкраткий текст) коммуникативно более самостоятельны, а иногда и самодостаточны, чем и обусловлены их успешные активные внеконтекстные лингвокультурологические штудии филологами (см.: Бабаева 1997; Дмитриева 1997; Рождественский 1996, с. 43–60). Однако большая коммуникативная значимость и относительная самостоятельность фразеологизмов, в особенности пословиц и поговорок и близких им устойчивых высказываний, не служит гарантом их внеконтекстной стерильности.

По аналогии с отмеченной выше прагматико-семасиологической классификацией эмоциональных лексем (Шаховский 1988) эмоциональные фразеологизмы могут быть: а) экспликантами (*сидеть на мели*,

im Dreck sitzen и т.п.); б) дескрипторами (*красный как рак, sich (D) die Augen rot weinen, es war ihm rot vor den Augen* и т.п.); в) собственно номинантами (*тоска берет, сгорать от стыда, der Neid frisst an j-m, vor Neid platzen* и т.п.). Эмотивными при этом являются фразеологизмы-экспликанты, в семантической структуре которых абсолютно доминируют оценочно-образные компоненты. Порождение, употребление и восприятие фразеологизмов-экспликантов обусловлены коммуникативными интенциями говорящих, принимающих во внимание в общении друг с другом «диасистематические сведения о слове – стилистические пометы, коннотации («ирон.», «пренебр.», «оскорб.», «груб.», «вульг.»)» (Schaefer 1987, S. 104, перевод мой. – Н.К.). Вхождение стилистически маркированных слов на правах облигаторных компонентов в структуру фразеологизмов-экспликантов – одна из важнейших причин эмотивности последних.

Поскольку фразеологические номинации в силу своей объемной структуры по сравнению с лексемными номинациями несут обычно большую информационную нагрузку, то можно допустить их более развернутую, более детальную образно-оценочную нагрузку. Известной нарративностью обладают в особенности пословично-поговорочные высказывания, в которых предлагается эксплицитно выраженная оценка того / иного фрагмента лингвистически объективируемого мира. Оценка как компонент фразеологического ЭК, в том числе и фразеологически оформленного, обусловлена его ярко выраженной морально-дидактической направленностью. Категория оценки, имплицитно или эксплицитно присутствующая во многих вербальных знаках, создается образностью. Оценка, как известно, может быть рациональной и эмоциональной (Вольф 1985 и др.). Использование в коммуникации того / иного типа образа – конкретного (воспринимаемого воображением), эмоционального (воспринимаемого чувством) или мертвого (воспринимаемого рассудком) (Балли 1961, с. 104–105) – предопределяет реакцию реципиента на само вербальное высказывание.

Фразеологические номинации (многие афоризмы, пословицы, поговорки и т.д.) как своеобразные (микро)тексты обладают такой семантико-прагматической характеристикой, как образность, благодаря которой тот / иной эксплицированный концепт объемно и глубоко рефлексруется его носителями, с одной стороны, и, следовательно, обладает в коммуникации большой лингвopsихологической fascinaцией -- с другой.

В качестве примера, иллюстрирующего оценочно-образные коннотации фразеологически оформленных ЭК, приведем несколько

пословиц, содержащих в качестве структурного элемента лексику *печаль*: а) День меркнет ночью, а человек печалью; б) Ржа железо ест, а печаль сердце; в) Железо ржа поедает, а сердце печаль изнушает; г) Моль одежду ест, а печаль человека; д) Что червь в орехе, то печаль в сердце.

В представленных здесь микротекстах эмоция печали метафоризуется и в том числе персонифицируется. Поскольку всякая метафора строится на сравнении, уподоблении самых различных «фактов» культуры, небезынтересно указать на ассоциативные признаки рассматриваемого концепта в русском языковом сознании. В русском этносе печаль ассоциирована с ночным временем суток, которое, как известно, противопоставляется дню, обладающему (по крайней мере, в европейской культуре) положительной образной коннотацией (см. пример а). Глагольная лексема *меркнуть* отрицательно окрашена: «Меркнуть – постепенно утрачивать яркость, блеск. Звезды меркнут. Меркнет взгляд. Меркнет слава» (ТС 1995, с. 343). Следовательно, печаль, овладевшая человеком, лишает его сил, энергии и жизнерадостности. Отрицательно характеризуется интересующий нас концепт и в других пословицах, образно осмысливших его: печали приписывается соматическая деструктивность. Человек, пребывающий в печали, морально подавлен, измучен. Употребление слова *печаль* в одном синтагматическом ряду с отрицательно коннотатируемыми в русском языковом этносе лексемами *печаль*, *ржа*, *моль* и *червь*, думается, достаточно образно раскрывает оценочную характеристику. Носители русского языка при распрямлении концепта печали ярко и экспрессивно изображают психосоматическое воздействие соответствующей эмоции на душевное и физическое состояние человека. Образы, ими при этом избираемые, нередко граничат с натурализмом (печаль – это червь, моль и т.п.). Русское языковое сознание ассоциирует печаль с «идеей пожирательства» (терминология Э. Нойманна.– Нойманн 1998, с. 42). Печаль подобно некоему мифическому существу или же существу реальному медленно поедает человека, его тело и душу.

Заметим, что во многом аналогичные (правда, далеко не всегда совпадающие) ассоциативно-образные признаки у печали (Trauer) обнаруживаются также во фразеологическом фонде и немецкого языка, например: *Kummer macht alt vor den Jahren*; *Kummer vertreibt Schlummer*; *Sorgen und Kummer rauben den Schlummer*; *Kummer verzehrt die Leute* и др.

При восприятии сверхсловных номинаций, многие из которых отражают эмоциональную ипостась жизни человека, в его языковой

памяти легко всплывают многочисленные ассоциативно-образные коннотации как результат соположения фрагментов разных понятийных сфер. Вывод ряда лингвистов (Копыленко, Попова 1989, с. 50; Мелерович, Мокиенко 1997, с. 18–19 и др.) о том, что образами обладают материальные (не абстрактные) объекты мира, положительно верифицируется фразеологическими номинациями и эмоций, о чем говорят приведенные выше языковые примеры (оценочные слова типа «червь» и т.п.). Продуктивными для рассматриваемого вида номинации при этом являются анатомические органы человека (Голованивская 1997, с. 229–230). Так, сердце, согласно наивной анатомии, – это средоточие эмоций (*сердце разрывается, сердце болит* и т.д.). Специальными лингвистическими исследованиями (Козеренко, Крейдлин 1999, с. 269–277; Черданцева 1988, с. 78–92; Lutz 1982; Sager 1995, S. 64–65) установлена достаточно высокая продуктивность символической вербализации соматизмов в паремиологическом фонде самых разных языковых культур. Фразеологические номинанты нередко приводят к формированию символов. Например, фразеологизм «сидеть сложа руки» превратился в символ безделья (Черданцева 1988, с. 87–88).

Экспериментально в физиопсихологии установлено принципиальное совпадение соматического оформления переживаемых эмоций у людей разных этносов (Пиз 1995, с. 21–22). Так, при переживании чувства счастья «у людей независимо от их этнической принадлежности появляется улыбка (smile); при страхе поднимаются брови, расширяются зрачки...» (Wiggers. – Цит. по: Buller 1996, p. 291, перевод мой. – Н.К.). В данном «физиологическом» факте, по всей видимости, кроется причина наличия в разных языках содержательно и часто структурно-эквивалентных устойчивых речевых выражений, ср., например, в немецком языке *sich die Nase zuhalten* и соответственно в русском – *зажечь нос (при дурном запахе)* и многие другие.

Интересные замечания о происхождении словосочетаний, метафорически описывающих эмоции человека, обнаруживаем в одной из работ К. Бюлера, умело сопоставившего косвенные типы номинаций с результатами экспериментальных данных психолога В. Вундта. По мнению К. Бюлера, появление в *современном* языке метафор, относящихся к восприятию, имеет «мимическое» происхождение. «“Горькое” страдание, “сладкое” счастье и “кислый” отказ являются не свободными изобретениями поэтов, а совершенно отчетливо видимыми выражениями человеческого лица. <...> Наш собственный обиходный язык в его прозаическом использовании до краев наполнен

подобного рода физиогномическими характеристиками; они составляют значительную часть “поблекших”, т. е. не привлекающих к себе внимания метафор» (Бюлер 1993, с. 319–320, курсив мой. – Н.К.).

Дескрипции, равно как и экспликации, эмоций актуальны для любого человеческого сообщества в силу выполняемых ими важных культурно-психолого-витальных функций. К числу наиболее релевантных функций процесса символизации эмоций относится психологическая самозащита индивидов. Анализ онтогенеза речи показывает раннее обращение детей к символизации эмоций (именно вербальной *экспликацией* и *дескрипцией*) с целью устрашения противника и иллюстрации собственной физической силы и бесстрашия. Вербальная символизация эмоций – «сочинение и исполнение устрашающих песен (нередко в сочетании с ее невербальным типом – татуировка на груди, публичная демонстрация шрамов, бряцание оружием и т.п.)» – с этой же целью активно и успешно использовалась, в частности, древними германцами в их походах (Sager 1995, S. 58–60, перевод мой. – Н.К.).

Характерно, что намеренная дескрипция и экспликация эмоций свойственна как человеку, так и высокоразвитым приматам. Так, обезьяна-победитель непременно взбирается на спину лежащего на земле поверженного сородича и начинает от радости прыгать и ликовать. Сам факт ее физической позиции (она *ueber*) – «над») есть уже символ победы (Sager 1995, S. 85, перевод мой. – Н.К.). Поведение человека, в том числе и символическое, и приматов вообще обусловлено, по С. Загеру, такими архаичными и продолжающими оставаться актуальными концептами, как физическая сила – *Kraft* и размер – *Groesse* (Sager 1995, S. 85, перевод мой. – Н.К.). Актуальность данных понятий наиболее отчетливо проявляется в многочисленных паремиях, многие из которых метафоричны. Это обстоятельство позволяет лингвистам выделять даже специальный класс паремий – так называемые «атавистические идиомы», например: *ueber j-n kommen* и т.п. (Sager 1995, S. 85–90), принимающих самое активное участие в формировании эмоциональной языковой картины мира.

В структуру сверхсловных номинаций эмоций в качестве их формирующего компонента помимо активно используемых соматизмов могут входить и другие многочисленные оязыковленные участки мира – флоронимы, зоонимы, астронимы и т.д. На их лингвокультурологической характеристике мы подробно остановимся в главе 3 монографии. Здесь же еще раз укажем на социально-культурную значимость фразеологического вида номинации применительно к поставленным нами исследовательским задачам, в числе которых – сопоставительное изучение ЭК в немецком и русском языках.

В заключение же этого раздела мы можем констатировать следующее. Во-первых, сверхсловные устойчивые номинации, равно как и однословные, активны, продуктивны при вербализации психических констант, в целом – мира эмоций. Как сложные структурные знаковые образования, они (нередко в образной форме) хранят богатый опыт эмоционального кодирования и декодирования человеком окружающей его действительности. Продуктивность и регулярность использования фразеологических номинаций эмоций мы объясняем их высоким экспрессивным потенциалом. Они далеко не всегда дублируют лексемно поименованные фрагменты действительности; благодаря им детально уточняются результаты эмоционального опыта человека, происходит дифференциация понятий. В-третьих, фразеологические номинации по аналогии с лексемными классифицируются в три группы: фразеологизмы-экспликанты, фразеологизмы-дескрипторы и собственно фразеологизмы-номинанты.

Выводы

В человеческом сознании ЭК, равно как и другие культурные концепты, существуют как определенным образом структурированные сложные *знаковые* образования, с одной стороны, фиксирующие результаты квалифкативно-классифицирующей эвристической деятельности Номо loquens, а с другой – сами способы ее осуществления. Всякий способ рассудочно-эмоционального освоения мира так / иначе предполагает апеллирование человеческого сознания к феномену его знаковой оформленности. Сама же знаковая оформленность мысли, т.е. способ ее экспликации, может быть формально различной.

Как всякий социальный феномен, эмоции символизируются вербально и невербально. В реальном человеческом общении вербальный и невербальный коды представляют собой в действительности единый коммуникативный процесс. Они – интегрированная форма общения людей. Интегрированность вербального и невербального кодов в процессе коммуникации детерминирована их объективными ограничениями в плане выражения мыслей, идей, интенций коммуникантов. Использование человеком того / иного кода общения находится в зависимости от абстрактности / конкретности эксплицируемого в акте коммуникации денотата / референта: ряд отвлеченных категорий трудно поддается передаче невербальными (паралингвистическими) средствами (например, понятие времени).

Эмоциональный тип коммуникации obligatorно сочетает в себе вербальные и невербальные знаки / символы. Активное применение последних вызвано спецификой указанного типа общения: а) стремлением отправителя речи к эффективному воздействию на ее реципиента с целью достижения определенных прагматических целей; б) выражением собственных эмоций – функция катарсиса в терминологии В.И. Жельвиса (см.: Жельвис 1990).

Символы классифицируются на: 1) вербальные, 2) предметные, 3) акциональные (Толстой, Толстая 1978, с. 372). Невербальное знаковое оформление эмоций как в немецкой, так и в русской лингвокультурах преимущественно акционально. Предметная символизация эмоции (например, пробитое стрелой сердце – символ неразделённой любви) не является распространенной в отличие от акциональной (символы действий). Объективно трудно предметными символами передать разнообразные человеческие эмоции, например, ревность, гнев и т.п. Абстрактный и диффузный характер эмоций осложняют процесс их предметной символизации. Высокая же продуктивность акциональной символизации эмоций (например, многочисленные жесты, мимика, сигнализирующие о переживаемых / имитируемых эмоциональных состояниях, аффектах) обусловлена, главным образом их физиогномическим происхождением. Так, например, покраснение кожи лица – запрограммированный природой в человеке признак стыда; расширенные зрачки – акциональный символ страха или удивления. Акциональная символизация эмоций подобно вербальным знакам нередко бывает полисемичной. Ее полисемия, как и в случае с вербальным типом коммуникации, снимается контекстом.

Важным представляется вопрос о произвольности vs. непроизвольности символической записи эмоций. Общеизвестна многовековая полемика ученых о том, является ли вербальный знак произвольным, т.е. случайным обозначением того / иного фрагмента мира или же, наоборот, непроизвольным, закономерным и единственно возможным для его материализации. Мы считаем, что несколько проще обстоит дело с акциональным типом символов. В своем онтогенезе акциональные символы мотивированы конкретными наблюдаемыми реальными поступками человека (поднятие бровей – символ удивления, взмах руки – символ отчаяния и т.п.). Вероятно, в большинстве своем эти символы панкультурны в силу идентичности лежащих в их основе физиогномических реакций людей, относящихся к разным этносам. Данное утверждение, естественно, не отменяет некоторых исключений, имеющих место при сравнении далеко удаленных менталь-

но и темпорально друг от друга культур (ср. культурные эмоциональные паттерны европейцев со ставшими хрестоматийными в подобных случаях паттернами японцев). На наш взгляд, мотивированность и, если так можно выразиться, известный панкultzуризм акциональных символов эмоций следует объяснять не только онтологической общностью всечеловеческой, универсальной физиогномики, но, возможно, и их сценарностью, динамизмом и продолжительностью действия, относительно легко «читаемыми» коммуникантами. Другими словами, архитектура акциональных символов по сравнению с предметными более емкая, развернутая, а значит, более понятная и менее культурно зависимая.

Предметные символы, по нашему мнению, значительно менее мотивированы в силу их культурной маркированности. Общеизвестно, что один и тот же предмет в разных этнических обществах и даже микросоциумах может обладать разными оценочными характеристиками, разными «валентностями» и коннотациями (ср. отношение к солнцу страдающих от холода и полярной ночи жителей Крайнего Севера и изнывающих от постоянной жары жителей Африки и т.п.). Это утверждение в полной мере относится и к предметной символике эмоций. Если, к примеру, флороним «ива» – символ грусти (ср. «плачущая ива» и «Trauerweide») в русском и немецком этносах, то, следовательно, сам денотат, обозначенный этим знаком, имеет или имел внешние (особенности ствола, листья и др.) или, возможно, функциональные свойства, легшие в основу его символизации.

Существуют различные классификации вербальных символов, в основу которых положены те / иные признаки (Сепир 1993б, с. 205–206; Наукава 1967, S. 26–31 и др.). Одним из важнейших при этом считается прагматический критерий, легший в основу деления словесных символов на аффективные (affective) и эпистемологические (epistemological) (Ochs 1993, p. 216–217). Мир может кодироваться и соответственно декодироваться рациональными или эмоциональными (эмотивными) средствами языка.

Средства вербальной концептуализации эмоций разноуровневы. Как правило, в реальной речи они выступают в комплексе, придавая ей образность и экспрессию. Наиболее коммуникативными являются лексический и фразеологический уровни языка. Словная (лексемная) и сверхсловная (словосочетания, устойчивые словесные комплексы) номинации при лингвокогнитивном анализе той / иной концептосферы наиболее информативны, поскольку служат способом порождения, развития, рецепции и хранения смыслов. Оба вида номина-

ции, в особенности фразеологическая, значимы также и при лингвокультурологическом анализе понятийных систем языка, поскольку являются непосредственными «свидетелями» многочисленных смысловых трансформаций, происходящих в языке и в целом – культуре. Данным обстоятельством, по нашему мнению, объясняется предпочтительность выбора учеными для когнитивного и в особенности комплексного лингвокультурологического анализа лексически и фразеологически оформленных концептов, в которых объективирован внешний и внутренний мир человека.

Любая концептосфера лингвистически объективирована различными языковыми техниками – прямыми, вторичными и косвенными типами номинаций. Эмоциональная концептосфера знаково оформлена преимущественно вторичной и косвенной номинациями (метафора, метонимия, функциональные переносы). Этот лингвистический факт мы объясняем известной распространенностью и продуктивностью указанных типов номинации в языках на их современном этапе развития (безграничность мира и смыслов и ограниченность прямых номинативных техник). Кроме того, следует помнить, что вторичные и косвенные номинации есть процесс и результат оценочного *переосмысления* языковых сущностей.

Знаки, оформляющие эмоциональные лексические концепты, архитектоника которых есть суммарный результат соотношения понятия, оценки и образа, с прагматико-семасиологической позиции классифицируются, согласно В.И. Шаховскому (Шаховский 1988, с. 31–33), на три класса – обозначения (*грусть, ужас, Freude* и т.п.), дескрипторы (*слезы на глазах, Traenen in den Augen* и т.п.) и экспликанты (*подлец, Schuft* и т.п.). Последний класс вербальных знаков принято называть эмотивами (Шаховский 1988, с. 32–33). В их семантической структуре логический компонент максимально редуцирован, а оценочно-образный соответственно максимально развернут, манифестирован.

Пользуясь правилом аналогии, мы можем фразеологические концепты (концепты, выраженные сверхсловно) классифицировать на фразеологизмы-номинанты (*ревность съедает кого-л., der Neid frisst an j-m* и т.п.), фразеологизмы-дескрипторы (*волосы дыбом встают [от страха], j-m stehen Haare zu Berge [vor Schrecken]* и т.п.) и фразеологизмы-экспликанты (*убирайся к черту!, Scher dich zum Teufel!* и т.п.).

Для лингвокультуролога анализ ЭК, оформленных сверхсловными номинациями, по сравнению с однолексемными обозначениями, оказывается максимально продуктивным в силу большей структур-

но-смысловой развернутости первых. Сверхсловные номинации (в особенности, пословично-поговорочные выражения) есть специфические микротексты, обладающие смысловой и структурной законченностью.

Вместе с тем следует заметить, что действительно всестороннее описание, глубокое лингвокультурологическое изучение концептов эмоций (независимо от типа их оязыкования) возможно посредством обращения исследователя к многочисленным контекстам их применения в той / иной языковой культуре.

Глава 3

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КУЛЬТУРАХ

3.1. Этимолого-культурологический анализ номинантов эмоций

Во введении к монографии было дано обоснование необходимости проведения основательного анализа сущности ЭК с лингвокультурологических позиций в диахронии опредметивших их языков. Изучение же проблемы формирования вербализованной концептосферы предполагает обращение исследователя к самим истокам оязыковленных понятий – их этимологии. В этом разделе работы мы бы хотели по возможности пристально рассмотреть этимологический «портрет» вербализующих ЭК (как базисные, так и вторичные) слов – номинантов эмоций.

Прежде чем затронуть вопрос этимологии номинантов эмоций, следует указать на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются ученые в своих попытках установления происхождения слов в языке. Следует подчеркнуть важность этимологических данных не только для языкознания, но и для всех гуманитарных наук. Именно результаты этимологического анализа слов, как совершенно справедливо писал в свое время А.А. Потебня, позволяют увидеть направление мысли человека, людей, говорящих на разных языках (Потебня 1997, с. 51–53).

Самой главной проблемой при установлении происхождения слов считают относительно позднее появление письменности. Звуковой язык, как известно, предшествует письменному. Вторая сложность – многочисленные ошибки при переписывании писем, хранивших первичные формы, реликты прошлой жизни языка. Словоформы и значения, которые возникли благодаря «техническим» ошибкам, часто называют специальным термином «слова-призраки». Их, по утверждению ученых, в любом языке достаточно много – см. при-

мер с номинантом эмоции в немецком языке *Eckel* в одной из работ М.М. Маковского (Маковский 1980, с. 66). Кроме того, значительную трудность представляют непосредственно сами различные конвергентные и дивергентные процессы, всегда имевшие место в корреспондирующих друг с другом языках, их формах существования, например, в социальных и территориальных диалектах.

Сопоставительный анализ этимологических данных, повествующих о прошлой жизни языка, его слов, многие из которых уже давно реликты, безусловно, сам по себе сложен, поскольку исследователь (как этимолог, так и интерпретатор этимологических фактов) всегда ограничен эмпирической базой, объектом своих изысканий – сохранившимся языковым материалом. Многие ученые предупреждают о соблазне толковать исследуемый архаичный материал с позиций исключительно современных представлений, пленниками которых мы всегда в той или иной мере являемся. Так, семасиолог Д.Н. Шмелев, дискутируя вопрос установления первичных и вторичных (переносных) значений слов, делает следующее справедливое замечание: «При освещении истории слова нельзя переносить *современное* ощущение связи между “исходным” и “метафорическим” значениями слова на его прошлое. Те изменения в значениях слов, которые определяются обычно как их метафоризация, не всегда могут быть правильно поняты без учета возможности своеобразной реметафоризации, или обратной метафоризации. Переносное употребление слова, ведущее к закреплению у данного слова нового значения, может явиться источником новой языковой метафоры, в том числе при забвении или частичном вытеснении первоначального “прямого” значения – источником обратной метафоры, как бы возвращающей слово к его прежнему (или близкому) значению» (Шмелев 1964, с. 119, курсив мой. – Н.К.). И далее для манифестации высказанной идеи автор цитаты приводит пример с русским словом *жажда*: «“Переносное” и “вторичное” с точки зрения современного языкового восприятия значение слова “жажда” – сильное желание – в историческом плане оказывается ... остатком более древнего “первичного” значения» (Там же).

Если учесть то обстоятельство, что научное изучение истории языка началось относительно недавно – в середине XIX столетия с зарождением и последующим формированием сравнительно-исторического языкознания (Ф. Бопп, В. Гумбольдт, Я. Гримм, Б. Дельбрюк,

Р. Раск, Ф. Шлегель и др.), то успехи этимологов, компаративистов можно считать впечатляющими. Особенно результативными оказались научные изыскания, берущие свое начало с середины XX в., когда были уточнены прежние и сформированы новые методики исследования языков в исторической ретроспективе (Э. Бенвенист, Дж. Бонфанте, К. Бук, Вяч. Вс. Иванов, Г.А. Климов, Е. Курилович, А. Мейе, О. Панагл, В. Пизани, Н.И. Толстой и др.).

Расширение методического инструментария (наряду с традиционной внешней лингвистической реконструкцией «изобретается» внутренняя лингвистическая реконструкция, в частности ее семантический «вариант»), позволяющего вскрывать в *диахронии* ткань языков, диалектов, языковых состояний прошлого, по утверждению ученых (см.: Климов 1990, с. 6–19), по-прежнему оказывается недостаточным для установления принципиально новых научных фактов, для верификации многочисленных версий толкования происхождения слов. «Ни суммирование известных значений, ни их праязыковая транспозиция, ни достоверные этимологические соответствия, – пишет О.Н. Трубачев, – полной гарантии реконструкции реального древнего значения не дают» (Трубачев 1988, с. 214–215). И далее он продолжает: «Полезно отдавать себе отчет в том, что мы лишь приблизительно нащупываем древнее значение или, вернее, его основные признаки. Описанное показывает не слабость этимологического метода семантической реконструкции, а трудности самой реконструкции» (Там же).

Привлечение новых лингвистических методов для исследования происхождения языков, их уровней (фонологического, лексико-семантического, морфологического, синтаксического) нередко приводит не к открытию нового знания, а к опровержению уже, казалось бы, признанных этимологических истин. Так, научные данные, полученные ученым при реконструкции фонологических систем конкретных языков в парадигматике, нередко оказываются противоположными знанию, добытому посредством применения синтагматических приемов (процедуры дистрибуционного анализа), т.е. когда во внимание принимается «фонетическое окружение», в котором могли функционировать реконструируемые фонемы» (см. подробнее: Гаджиева, Журавлев, Кумахов, Нерознак 1988, с. 8). Отсюда и изобилие версий в объяснении происхождения тех / иных слов, словоформ и т.п.

Сторонники генетического подхода к установлению этимологии слов с определенной долей скепсиса относятся к возможностям получения действительно объективных данных, если ученый при этом огра-

ничен изучением исключительно фонетических законов языка (Маковский 1992; Монич 1998, с. 97–120 и др.). В статье «Проблемы этимологии и семантика ритуализованных действий» Ю.В. Монич констатирует: «В процессе разработки и совершенствования приемов этимологического анализа содержательная сторона языковой единицы по объективным причинам играла вспомогательную роль. Однако закономерно, чем меньше оставалось претензий к формальной стороне исследовательской процедуры, тем больше становилось их по отношению к семантическим штудиям» (Монич 1998, с. 97). С нашей точки зрения, данное ценное замечание будет нами учтено и, как кажется, положительно верифицировано на конкретном материале.

Увеличению в геометрической прогрессии этих научных предположений способствует еще и то обстоятельство, что, помимо собственно лингвистических – шире филологических – методик, в последнее время в генетическом и сравнительно-типологическом языкознании и в целом в компаративистике начинают использовать также и нелингвистические (этнографические, исторические и т.п.) методы и приемы. Их применение, как мы понимаем, обусловлено необходимостью верификации степени достоверности фактов, установленных филологическим путем. На целесообразность учета научных данных, полученных этнографией, этнологией, культурологией, историей, археологией, географией, все чаще указывают сами языковеды (Расторгуева 1989, с. 16–33; Серебренников 1988а, с. 138–145 и др.).

Множество версий при толковании тех / иных языковых явлений с точки зрения их происхождения имеет место и в нашем материале. Номинантам эмоций, в особенности русского языка, иногда исследователями дается принципиально различное этимологическое объяснение. Этот факт вполне естествен, закономерен, если учесть те многочисленные объективные сложности, с которыми сталкиваются ученые при установлении хронологических параметров жизни слов, причин их появления и исчезновения, самых различных дивергенций и конвергенций, которым перманентно подвергаются любые языковые элементы и структуры.

В нашей работе мы используем наиболее авторитетные этимологические словари немецкого и русского языков – *Etymologisches Woerterbuch der deutschen Sprache* (Kluge F., – далее – EW 1999), *Etymologisches Woerterbuch des Deutschen* (Pfeifer W. EW 1989), этимологические словари русского языка (Фасмер М. – далее ЭС; Преображенский 1959, Срезневский 1989). Помимо указанных лексикографических источников, мы считаем целесообразным воспользоваться ре-

зультатами ученых, проанализировавших некоторые из интересующих нас лексемы в обоих языках (Вежбицкая 1997 а, с. 33–88; Вежбицкая 1999, с. 547–610; Ларин 1958, с. 151–162; Маковский 1980; Покровский 1959, с. 60–117; Степанов 1997а; Широкова 1999, с. 61–65; EW 1999).

Применительно к описываемому здесь материалу более полные сведения о происхождении номинирующих эмоции слов мы находим в немецких этимологических словарях. В них, и это достаточно важно для нас с учетом поставленных задач, более развернуто даны хронологические характеристики номинантов эмоций, вербализующих соответствующие концепты, в то время как в русских этимологических словарях точно не датируется время появления исследуемых нами слов.

Отсутствие прямого указания на точные датировки возникновения слов значительно затрудняет, в частности, решение вопроса о хронологической последовательности появления номинантов эмоций в русском языке. При этом могут быть использованы и косвенные данные нелингвистического характера (факты из области культурологии, этнографии, истории и т.п.), опираясь на которые, правомерно, на наш взгляд, вести речь о хронологической первичности и соответственно вторичности тех / иных языковых знаков, обозначающих ЭК.

Косвенные доказательства в пользу признания первичности (базисности) определенных концептов, по нашему мнению, весьма любопытно будет сопоставить непосредственно с лингвистическими данными.

В нашей работе мы исходим из следующего концептуального положения. Познание человеком мира непременно сопровождается возникающими в его сознании эмоциональными представлениями, ассоциациями и т.п. Само восприятие окружающей действительности ввиду биологической, физиологической и психической природы человека эмоциентрично, что уже давно доказано наукой. Весь переживаемый *Homo sapiens* мир эмоций можно представить как некий существующий в перманентном состоянии, в состоянии временной и пространственной непрерывности континуум, содержание которого, во-первых, как минимум периферийно хронологически изменчиво и, во-вторых, его составляющие обладают определенными отличительными свойствами, некоторыми специфическими характерологическими чертами. К числу важнейших мы относим релевантность того / иного фрагмента эмоционального континуума для человека.

По нашему мнению, несмотря на диффузный характер человеческих эмоций и на комплексность их феноменологического существования в нашем сознании, оправдано выделение ключевых, базисных эмоций, которые, с одной стороны, лежат в основании «деривации» онтологически близких, но вместе с тем и отличных от них эмоций (вторичных), а с другой – по сравнению с последними обладают стабильностью в любой культуре и во все времена, т.е. они универсальны.

К предлагаемым (возможно, спорным) здесь выводам пришли многие авторитетные психологи, философы, культурологи, этнологи, этнографы, которых условно можно объединить в единую так называемую генетическую школу (см. работы Б. Спинозы, В. Вундта, Н. Грота). Мы полагаем, что целесообразна верификация этих психолого-культурологических данных на конкретном лингвистическом, в том числе и этимологическом, материале.

Выше (гл. 1, разд. 1.1) мы назвали онтологические характеристики эмоций, установленные смежными с языкознанием науками (психологией, психоанализом и др.). Одной из этих характеристик является хронологическая первичность / вторичность эмоций. Можно предположить, что филологические данные о времени фиксации (появления) обозначающих их знаков могут служить *одним из аргументов* в пользу признания / непризнания статуса базисных у определенных эмоций в немецкой и русской культурах. С этой целью предпринимается попытка выяснения времени появления слов, обозначающих эмоции (в том числе и базисные), в указанных культурах, языках.

Для решения данной задачи принципиально важной является сама эмпирическая база, филологический анализ которой может позволить сделать научные выводы. Мы считаем возможным в ее качестве рассмотреть так называемые «списки эмоций», предлагаемые в психологии, психоанализе и других смежных с ними науках. При этом в поле зрения, таким образом, окажутся номинанты эмоций, которые называются большинством отечественных и зарубежных ученых и имеют этимологическое объяснение в доступных нам (наиболее известных и авторитетных) специальных лексикографических справочниках.

Отмеченные выше компаративистами, этимологами сложности установления происхождения слов в высшей степени актуальны и для исследуемого нами материала. В данном случае имеются в виду прежде всего различия в этимологических толкованиях номинантов эмоций, что связано главным образом с объективными трудностями выяв-

ления первичных форм и значений языка. Изучение вопроса происхождения интересующих нас лексико-семантических единиц, представленных в этимологических словарях немецкого и русского языков, обнаруживает, как мы понимаем, применение их составителями приемов как внешней, генетической по своей сути реконструкции, так и внутренней, преимущественно семантической. Иногда сами результаты, полученные посредством применения различающихся друг от друга методик, различны. Соблюдения принципа научности исследования требует учета всех существующих версий объяснения этимологии номинантов эмоций.

Некоторые исследователи, занимающиеся историей отдельных слов, обозначающих эмоции, сопоставляя данные этимологических и современных толковых словарей, приходят к мысли о том, что номинанты эмоций в принципе должны быть производными от слов, изначально обозначающих, как правило, реальные, физически воспринимаемые объекты внешнего мира. Так, Б.А. Ларин утверждает, что такие слова русского языка, как *ярость*, *грусть* и *стыд*, есть дериваты. «Ярость» происходит от слова «яр» – горячий, пылкий; «стыд» («студ») имело первоначальное значение «холод»; ср.: производное от «студ» – студень, студенец, простуда, остудить (Ларин 1958, с. 158. – Цит. по: Безруков 1969, с. 31–32. См. об этом также: Пропп 1999, с. 159).

Анализ этимологии современных номинантов эмоций в немецком и русском языках подтверждает высказанное Б.А. Лариным предположение о производности эмоциональных словозначений (лексико-семантических вариантов). Этот вывод становится понятным, если вспомнить сам процесс формирования человеческого мышления, сознания в целом: первичная форма (этап) мышления – предметно-действительна. Мышление, понимаемое как развиваемая человеком способность к абстрагированию от непосредственно наблюдаемой, физически данной реальности, прежде всего действительно предметно. Оно эволюционирует по мере освоения человеком мира. При этом чрезвычайно значителен удельный вес языка, фиксирующего познавательные поступки человека, более того, в определенной мере формирующего интенсивность (может быть, и успешность?) их совершения. Слово, замещающее человеку в его познавательно-конструктивной деятельности объекты вначале реального, а затем – по мере абстрагирования мышления – и виртуального мира, в истории своей жизни множество раз трансформирует свою семантику, бесконечно ком-

бинируя входящие в нее содержательные признаки. Подобного рода трансформации, вызванные в конечном счете поступательным развитием нашего сознания, приводят, с одной стороны, к языковой полисемии, а с другой – к омонимии. Последняя, как известно, часто представляет собой распад полисемии.

Таким образом, мы придерживаемся концептуального положения, согласно которому слова, обозначающие в *современных* языках своими отдельными значениями чувственную сферу человеческого бытия, первоначально номинировали факты, явления, предметы, *реально* существующие в жизни, в природе. Однако при этом принципиально важно учитывать то обстоятельство, что современные номинации эмоций в архаичной и средневековой картинах мира не были четко дифференцированы языковым сознанием их носителей далекого прошлого. Можно предположить, что на стадии своего формирования указанные номинации носили комплексный характер; ими могли обозначаться фрагменты самых различных концептосфер языка – сама эмоция, ее каузатор, в целом вся ситуация, сопряженная с эмоциональной поведенческой реакцией раннего *Homo sapiens*.

Интересны в этой связи рассуждения вышеупомянутого слависта Б.А. Ларина, рассматривающего этимологию ряда слов, обозначающих эмоции в русском языке на его современном этапе развития. Так, слово «стыд» изначально выражало понятие холода. Впоследствии им обозначается эмоция, а затем оно употребляется в социально-оценочном значении – «позор, поношение». По его мнению, существует прямая связь между отдельными значениями данного слова: холод → состояние аффекта → моральная оценка действий человека (Ларин 1958, с. 158. – Цит. по: Безруков 1969, с. 31). Перенос имен с объектов физического мира, явлений природы на физиологию человека, а затем и на его ментальный мир – один из продуктивных способов номинации фрагментов объективной и субъективной действительности.

Сами пути, способы, средства и характер формирования той / иной концептосферы современных языков в их диахронии могут обнаруживать как универсальные, так и специфические черты. В частности, можно предположить, что эмоциональные значения слов (т.е. отдельные ЛСВ современных полисемных знаков) имеют не всегда совпадающие пути своего семантического развития как внутри одного языка, так, тем более, и в разных языках, что связано, во-первых, со специфическими особенностями строя самих языков (например, морфологические отличия, возможно, большая / меньшая открытость того /

иногo языка к заимствованиям) и, во-вторых, с целым рядом экстралингвистических факторов (своеобразие исторического пути этноса, национальный характер конкретного сообщества, его традиции, нравы и т.п.).

Для лингвокультурологического (в том числе и этимолого-культурологического) анализа эмоциоконцептосферы немецкого и русского языков мы избрали синонимические ряды – структурно-семантическое объединение слов, элементы которых онтологически максимально близко связаны друг с другом.

Оязыковленные ЭК, как мы уже отмечали, корреспондируют друг с другом, функционально соотносятся друг с другом, находятся в разной степени онтологической близости друг к другу. Их когнитивная структура обнаруживает принцип иерархической организации, о чем может свидетельствовать характер семантических отношений номинирующих их слов. Важнейшим типом смысловых отношений слов является синонимия. Очевидно, что изучение синонимов (синонимичных пар и рядов) может позволить посредством использования специальных лингвистических методов (этимологический анализ, компонентный анализ) установить *время* вербализации родственных по своей природе понятий, изменения в их содержании, своеобразие семантических изменений обозначающих их слов в хронологии.

Этимология номинантов эмоций синонимических рядов

Angst – страх

Этимолого-культурологический анализ номинаций эмоций мы проводим по следующим параметрам: 1) время появления в языке самой лексемы (она, как правило, изначально не обозначает эмоцию); 2) время появления у слова значения, фиксирующего эмоцию / эмоции; 3) источник (если он установлен учеными) и причины возникновения в немецком языке слова в целом и его эмоционального словозначения в частности.

Лингвокультурологический комментарий существующих этимологических данных мы начнем с *базисных* номинаций эмоций в немецком и русском языках. Затем будут рассмотрены с этимолого-культурологических позиций все остальные составляющие синонимических рядов немецкого и русского языков.

По данным Немецко-русского синонимического словаря (Рахманов 1983), синонимический ряд Angst включает 11 слов – *die Angst* (страх), *die Scheu* (боязнь), *die Beklemmung* (стеснение), *die Furcht* (страх), *der Schreck* (ужас), *der Schrecken* (ужас), *der Schauder* (ужас),

das Grauen (ужас, страх), *das Grausen* (ужас), *das Entsetzen* (ужас), *die Panik* (паника). Доминантой в этом ряду выступает слово *Angst* (Рахманов 1983, с. 36).

Слово *Angst* начинает употребляться в древневерхненемецком языке в VIII в. В это время оно имеет в ср.-верх.-нем. и ср.-ниж.-нем. форму *angest* и образовано от германского имени прилагательного *angh*. Данное слово обозначает вначале физическую величину – «узость пространства» и употребляется в различных немецких диалектах. По В. Пфайферу, эта лексема родственна корневой морфеме в др.-инд. языке *amhas* и соответственно слову-деривату *amhah*, которое обозначает 1) стеснение, а также 2) психическое переживание страха и подавленности. Этимологи видят генетическую связь немецкого слова со словами целого ряда индоевропейских языков: с авест. *gsah* – сдавливание (горла), стеснение, узость, плен; с лат. *angustus* ← *angostus* – узкий, *anguistia* – узость, стесненность (EW 1989, S. 52); с ц.-слав. *ozos-to* – сужение (EW 1999, S. 40).

В этимологическом словаре Ф. Клуге указывается на связь слова *Angst* с др.-инд. корнем *amhas* – стеснение, удушие (EW 1999, S. 40). При этом считается, что все названные генетически родственные слова, в том числе и немецкое, корреспондируют с общим индоевропейским корнем *angh* – узкий, сдавленный, сдавливать. Возможно, что все названные здесь слова суть общей праязыковой формы (EW 1989, S. 52).

Слово-дериват *Angst*, согласно В. Пфайферу, образовано при помощи индоевропейского суффикса *-st*, служащего для обозначения абстрактных понятий (EW 1989, S. 52). Семантика этого форманта, таким образом, со временем трансформирует *качество* материального предмета (физическое свойство «быть узким, сжатым») в психологическую *субстанцию*.

При этимологическом анализе *Angst* совершенно очевидна связь между ощущением восприятия архаичным человеком физических объектов, вызывающих определенные физиологические процессы в его организме. Воспринимаемые им отдельные фрагменты физического мира в силу своих свойств, функций могли представлять угрозу для человеческого существования. Можно постулировать вероятность *переноса* наименования физиологической реакции, спровоцированной данным объектом, на само психическое ощущение человека. Следовательно, древнее слово *Angst*, первоначально обозначающее фрагмент / фрагменты физического мира, некое физическое / физиологическое измерение, расширяет свою семантику и в качестве вто-

ричного значения имеет уже непосредственно само психическое человеческое переживание. Предположительно, опираясь на знания коммуникативного поведения современных слов, можно утверждать, что лексема *Angst* на определенном этапе своего существования применялась и для номинации физиологического ощущения (реального сдавливания горла при восприятии определенных объектов), и для обозначения соответствующей отрицательной эмоции. Этимологи не могут по объективным причинам точно установить время деполисемизации анализируемого слова, но известно, что впоследствии на определенном этапе развития немецкого языка появляются два разных слова, два понятия, сегодня никак не связываемые современными носителями языка – *die Enge* (узость) и *die Angst* (страх).

Корреспонденция этих словозначений доказывается и тем обстоятельством, что в современном немецком языке на уровне синтагматики выражена изначальная «физиологичность» понятия *Angst*. Мы имеем в виду многочисленные устойчивые сверхсловные комплексы типа *aus Angst zittern*, *aus Angst erblassen*, *die Angst drueckte ihn nieder* и т.п. Страх сковывает человека в его стремлении совершать физические движения; от страха замирает сердце, от переживания страха появляется комок в горле и т.д. Более того, переживание страха может вызвать экстремальные формы физиологической реакции человека – *sich vor Angst in die Hosen machen* и т.п. В то же время страх может и активизировать скорость совершения предметных поступков – *vor Angst wie eine Rakete fliehen* и т.п. В любом случае переживание чувства страха физиологически максимально воздействует на организм человека, его рефлексные, инстинктивные реакции. Кстати, попутно укажем, несколько опережая логику изложения своих рассуждений, что сама языковая идиоматика – убедительное свидетельство сущности представлений древнего человека о переживаемых им эмоциях и в частности о данной. Эти ассоциативные представления зафиксированы в нашем лексиконе. Они сохранились на уровне устойчивых выражений и по-прежнему активно употребляются в современном языке, поскольку не теряют своей актуальной природной связи с физиолого-психическими процессами, происходящими в организме человека вне зависимости от времени его проживания и, кроме того, культурного пространства, в котором он пребывает. (Аналогичные примеры, судя по научной и художественной литературе, можно обнаружить в очень многих, возможно, даже во всех языках.)

Такое свойство переживания страха, как сковывание физических движений человека, напрямую соотносится с первичным значением

слова *Angst*. Эта связь представляется нам очевидной. В заключение заметим, что это слово в современном немецком языке моносемично.

У русского слова *страх* (др.-рус. *страхъ*) много самых различных этимологических толкований. По одной из версий, его первичным значением принято считать «оцепенение». При этом указывает на его смысловую и этимологическую общность со словами разных языков: с лит. *siregti, stregiu* – оцепенеть, превратиться в лед; лтш. *stregele* – сосулька; ср.-верх.-нем. *strac* – тугой; нов.-верх.-нем. *strecken* – растягивать; др.-верх.-нем. *stracken* – быть растянутым. В соответствии с другой версией, слово *страх* связано с лат. *strages* – опустошение, поражение, повержение на землю. Сторонники третьего варианта объяснения слова *страх* полагают, что оно генетически корреспондирует с лтш. *striðstīt* – угрожать, строго предупреждать. При этом высказывается мнение о его этимологической связи с номинантом эмоции *страсть* и глаголом *страдать* (Степанов 1997а, с. 672).

Поскольку слово *страх* имеет многочисленные аналогичные по форме и семантике слова в славянских языках (ср.: укр. *страх*, др.-рус. *страхъ*, ст.-слав. *страхъ*, болг. *страх*, сербохорв. *страх*, словен. *strah*, чеш. *strach*, словц. *strach*, польск. *strach*), то отсюда делается вывод о его славянском происхождении, с чем, правда, далеко не всегда соглашаются многие этимологи.

Эту лексему, по четвертой версии, некоторые ученые сопоставляют с европейской формой **trēsō* – трести (ЭС 1996, т. 3, с. 722).

Учитывая вышеперечисленные толкования происхождения слова *страх*, можно сделать следующие выводы. Во-первых, оно этимологически корреспондирует со многими словами других языков (главным образом, славянскими). Во-вторых, на наш взгляд, есть все основания предполагать, что данным словом первично обозначались либо природные явления (превратиться в сосульку), либо свойства предмета (тугой, быть растянутым), либо результат человеческих действий (опустошение и т.п.), либо вербальный акт угрозы, либо же физические действия человека (трясти), ср. устойчивое выражение в русском языке «трястись от страха»). По всей видимости, слово *страх* как номинант эмоции не имеет первоначального употребления в русском языке. По данным И.И. Срезневского, уже в XI–XIV вв. это слово имело два значения: для обозначения эмоционального состояния человека и для номинации вызывающего его явления, события (Срезневский 1989, т. 3, ч. 1, с. 546). Сегодня оно представляет собой полисемичную лексическую единицу, располагающую указанными выше значениями (ТС 1995, с. 760).

Употребление немецкого слова *Beklemmung* как номинанта эмоции датируется, согласно В. Пфайферу, XVII–XVIII вв. Оно производно соответственно от глагольных форм *bekommen* (XVI в.) и *beklommen* (XVI в.) – подавленный, испугавшийся. Данная лексема имеет в качестве первичного значение «судорожно вцепиться во ч.-л., схватывать, обхватывать». В ср.-верх.-нем. языке это слово употребляется в значении «схватить когтями к.-л., ущипнуть к.-л., втискивать». В др.-верх.-нем. языке (X–XI вв.) глагол *biklommen* имеет значение «закрывать, преграждать путь к.-л., отталкивать к.-л.»; в ср.-верх.-нем. и нов.-верх.-нем. глагол *beklommen* обозначает также физическое действие – сжимать, сужать (EW 1989, S. 137). В словаре Ф. Клуге этот глагол признается производным от *klimmen*, употребляемого в значении «карабкаться» (EW 1999, S. 95). Анализируемая лексема обнаружена и в других германских языках. Так, в частности, этимологами отмечается родственная, идентичная ей форма в нидерландском языке – *Beklummen* (EW 1989, S. 137), а также в др.-англ. слово *climban*, имеющее значение «стягивать, сжимать» (EW 1999, S. 450). В современном немецком языке *Beklemmung* – моносемант.

Развитие семантики анализируемого слова, судя по его этимологическому паспорту, происходило по пути от номинации им конкретных человеческих действий – активных манипуляций физическими объектами – к последующему обозначению самого их физического состояния и далее к номинации эмоционального состояния (быть сдавленным → быть подавленным).

Слово *Scheu* в немецком языке появилось приблизительно в XII–XV вв. Его первичная субстантивная морфологическая форма *schiuhe* семантически диффузна – *Schreckbild* (призрак, представление о чем-то ужасном). В др.-верх.-нем. формы *schiech*, *schieche*, *schie* имеют значения «отталкивающий, безобразный, павший духом, малодушный». Ранне-нов.-верх.-нем. форма прилагательного *schew* употребляется уже в менее размытом значении «робкий, застенчивый, боязливый». Основу данного слова, по В. Пфайферу, составляют германские формы **sceuhwa*, **scuhwa*-, **scugwa*, имевшие первоначально значение «бросать, толкать» (EW 1989, S. 1511). В словаре Ф. Клуге отмечается также генетическая связь немецкого слова *schiech* с др.-англ. *sceoh* (EW 1999, S. 718). Указанные здесь германские слова имеют, как можно видеть, в качестве первичных исключительно «физические» значения.

Этимологические данные, таким образом, иллюстрируют сужение, конкретизацию значений слова *Scheu*. Самое общее представле-

ние архаичного и средневекового человека о чем-то ужасном, выраженное в данной лексеме, приобретает как понятие в последующем более конкретные очертания. Слово начинает использоваться для обозначения конкретного психического переживания. При этом, насколько можно судить по этимологическим фактам, происходит перенос самого наименования объектов, вызывающих определенные отрицательные эмоции, непосредственно на человеческое чувство. Данная лексико-семантическая единица сегодня является полисемичной: ею обозначается как сама эмоция, так и соответствующее поведение человека и, более того, сам человек – а) *das Scheusein*; б) *scheues Wesen, Verhalten* (DWB 1989, S. 1313).

Слово *Furcht*, номинирующее в современном немецком языке эмоцию, как субстантив начинает употребляться с XIV в. (форма *forcht*). Оно – дериват др.-верх.-нем. прилагательного *fr(a)hta*, которое появилось уже в VIII в. В немецких диалектах оно представлено несколько отличающимися морфологическими структурами (метате-за) – ср. в др.-верх.-нем. *fr(a)hta*, в сакс. *forhta*. Его происхождение – общегерманское. Ср.: ср.-нидерл. *frucht*, др.-англ. *fryhto, fyrchto*, гот. *faurhte* (EW 1989, S. 480), но также и ст.-франц. *fruhtia* (EW 1999, S. 291). В этимологических справочниках, помимо эмоционального, какие-либо другие значения не зафиксированы. В современном немецком языке *Furcht* употребляется в двух значениях: 1) чувство угрозы, исходящей от чего-то *конкретного* (в отличие от *Angst*) и 2) глубокое уважение, святое почитание Бога (DWB 1992, S. 511, курсив и перевод дефиниции мой. – Н.К.). Второе значение, согласно лексикографическим источникам, имеет помету «устар.». Этот лингвистический факт мы объясняем деактуализацией имевшейся ранее связи между переживанием страха и почитанием Бога для современного человека.

Следующий номинант эмоции, входящий в соответствующий синонимический ряд, – *Schrecken*. Он образован от глагола *schrecken*. Первичное значение глагола *scricken* в др.-верх.-нем. – «прыгнуть вверх, подпрыгнуть; испугать» (VIII в.). Затем его семантика трансформируется в сторону расширения: в ср.-верх.-нем. *schricken* употребляется в значениях «прыгать, треснуть, разорваться»; в ср.-ниж.-нем. *schricken* – «быстро двигать руками или ногами, прыгать, танцевать, хлопать». Данная глагольная форма имеет генетические корреляции в следующих языках: ср.-нидерл. *scricken* – шагать, ужаснуться, испугаться; норвеж. (диалект) *skrikka* – прыгать. В. Пфайфер все эти слова выводит из общей индоевропейской формы **(s)ker(e)*– пры-

гать, прыгать вокруг (EW 1999, S. 1570). Стоит заметить, что прежняя множественность значений у данного слова более не актуальна для немецкого языка. Сегодня это слово употребляется в двух значениях – как номинант эмоции и как само событие, вызывающее соответствующие чувства у человека (DWB 1992, S. 1142–1143).

Максимально схожим с этим словом по форме, семантике и, как оказывается, по своему происхождению является номинант эмоции *Schreck*. Его этимология, по мнению В. Пфайфера, та же, что и у *Schrecken*. При этом в словарной статье, рассматривающей происхождение слова *Schreck*, помимо ссылки на происхождение *Schrecken*, указывается также на его диалектное значение, имевшее место в ср.-верх.-нем. период *schrecke* – прыжок, прыгун, кузнечик (EW 1989, S. 1571). В современном немецком языке есть небольшое отличие в значениях номинантов эмоций *Schreck* и *Schrecken*. Второй из них содержит сему «продолжительность действия».

Как можно видеть, изначально в древневерхненемецком языке указанные слова, их первичные глагольные формы, вербализуют физические действия человека (прыгать). Впоследствии их семантика расширяется. Ими номинируется более широкий спектр действий – «прыгать, треснуть, разорваться, быстро двигать руками или ногами, прыгать, танцевать, хлопать». Диффузия значения слова *Schrecken* в известной мере сохранена современным немецким языком. Оно обозначает и эмоцию, и в целом вызывающую ее ситуацию.

Немецкое слово *Grauen* имеет несколько версий этимологического толкования. Его появление как номинанта эмоции датируется XVIII в. Это слово – субстантивированный инфинитив (с XVI в.) др.-верх.-нем. глаголов *gruen* (XI в.), *ingruen* (VIII в.). В соответствии с первой версией, это слово произошло от индоевропейской формы **ghreu-*, **ghru-*, **gher-* «сильно прикасаться к ч.-л., задеть ч.-л., растирать ч.-л.». По второй версии, оно имеет очевидные родственные формы в литовском языке – *grusti* (растолочь, разбить; унылый, печальный, тосковать), а также в русском – грустить, грусть. Согласно третьей интерпретации, данное слово генетически связано с индоевропейской формой **ghers* – оцепенеть, дрожать. По своему происхождению оно связано с нидерл. *gruwen*. Родственным ему признается также латинская форма *horrere* (быть в оцепенении, ужаснуться) (EW 1989, S. 598–599).

В этимологическом словаре Ф. Клуге, кроме отмеченных версий, высказывается также предположение о связи рассматриваемого слова с *graesslich* (др.-верх.-нем. форма *grazzo* – бешеный) и с *Granne*

(др.-верх.-нем. форма *gran(a)* – борода, поднятый вверх волос (EW 1999, S. 334, S. 336). В этом случае, возможно, прослеживается связь между номинацией интенсивно переживаемой эмоции и собственно формой ее проявления – «вставшие дыбом волосы, растрепанная борода разгневанного человека».

С учетом указанных выше этимологических толкований слова *Grauen* можно заключить, что оно развивалось традиционным для современных номинаций эмоций путем – от активных конкретно-предметных действий человека (прикасаться к чему-л., разбить, растолочь и т.п.) или же его физически-психического состояния (дрожать) к фиксации собственно эмоционального состояния. Прежняя его широкозначность и известная расплывчатость для современного немецкого языка не характерны. Сегодня слово *Grauen* моносемично.

Близким ему по смыслу является слово *Grausen*. Оно также представляет собой субстантивированный инфинитив (< *grausen*). Как доминант эмоции это слово употребляется с XV в. Предшествующие ему глагольные производящие формы зафиксированы уже в др.-верх.-нем. – *irgru(w)ison* (X в.), соответственно – *grusen*, *griusen* (VIII в.). В качестве первичного значения у существительного *Grausen* отмечено следующее – «вызывающие страх события, явления». Это слово часто этимологически связывают с предшествующим ему по времени появления глаголом *grauen* (EW 1989, S. 599). На нынешнем этапе своего развития *Grausen* моносемант.

Немецкий субстантив *Entsetzen*, обозначающий в современном немецком языке соответствующую эмоцию, произошел от глагола *entsetzen*. Время его появления – XIV в. Др.-верх.-нем. форма *in(t)sezzen* имела несколько значений: покинуть, оставить к.-л.; оставить к.-л. в беде на произвол судьбы; обворовать к.-л. В ср.-верх.-нем. языке семантика этого глагола изменяется в сторону сужения: отнять что-л. у к.-л.; освободить к.-л. от чего-л. Данное слово активно употребляется в мистике со значением «вывести к.-л. из себя». В др.-верх.-нем. языке параллельно существовала также глагольная форма *in(t)sizzen*, имеющая значение «появиться, прийти из спокойного места», а затем и «испугаться». Примечательно, что в ср.-верх.-нем. языке *entsetzen* получает значение «вывести к.-л. из равновесия», что связано, вероятно, с его первоначальным пониманием и употреблением мистиками. Это слово, как можно предположить, в средние века расширяет сферу своего употребления, становится, так сказать, светским. В этимологических словарях указывается на его общегерманское происхождение (EW 1989, S. 367). По всей видимости, как и в предыдущем слу-

чае, правомерно сделать вывод о постепенной специализации употребления данного слова, первоначально номинировавшего множество реальных человеческих поступков. В современном немецком языке оно моносемично.

Слово *Panik* заимствовано немецким языком из французского в XVI в. Оно греческого происхождения. В его основе – имя мифического персонажа, бога Пана, вселяющего ужас в сердца людей (EW 1999, S. 609). Происхождение этого слова примечательно в том смысле, что оно несет в себе очевидные следы мифологической картины мира, столь актуальной для архаичного сознания. Образы мифологических существ, как будет показано ниже на материале как немецкого, так и русского языков, нередко становились мотивационной основой для переноса их наименований на вызываемые ими же чувства и эмоции людей.

Далее рассмотрим синонимический ряд «страх» в русском языке с точки зрения этимологии. Как мы отмечали выше, увидеть во всех деталях этимологический «портрет» слов, обозначающих эмоции в русском языке, достаточно сложно. Здесь прежде всего имеется в виду, с одной стороны, отсутствие более или менее точных датировок появления исследуемых слов в данном языке, а с другой – наличие большого числа версий (часто ничего общего не имеющих друг с другом, противоречащих друг другу) относительно их происхождения.

Слово *страх* – доминант соответствующего синонимического ряда – имеет в качестве синонимов в современном русском языке следующие лексико-семантические единицы: *ужас, боязнь, опасение, трепет* (ССРЯ 1970; ССРЯ 1986).

При рассмотрении русского слова *ужас* (др.-рус. форма *ужасъ, ѹжасть*) М. Фасмер указывает на трудности установления его происхождения. По его мнению, оно, вероятно, связано чередованием гласных с **gasiti* (гасить); ср. также с греч. *sbennumi* (гашу), лит. *gesti, gestu* (гаснуть, кончаться). Кроме того, высказывается суждение о его возможном родстве с лит. *issigasti* (испугаться). По данным же А. Мейе, это русское слово генетически связано с готским глаголом *usgaisjan* (пугать), *usgeisnan* (изумляться, приходить в ужас). Данное объяснение, однако, многими этимологами, например М. Фасмером, не признается правильным из-за существенных вокальных различий между сравниваемыми формами (ЭС 1996, т. 4, с. 151).

Анализируемое слово этимологически корреспондируется со многими славянскими словами: укр. *ужас, ужах* (страх, ужас), *ужахну-*

ти (напугать), блр. *ужаслівы* (страшный), ст.-слав. *ужасъ*, ц.-слав. *жасити* (пугать), *прѣжасъ* (ужас, неистовство), болг. *ужас*, чеш. *uzas* (изумление, ужас), польск. *przezasnac sie* (поразиться, ужаснуться). Является ли слово *ужас* дериватом или нет – наукой не установлено.

Если следовать версии происхождения данного слова, предложенной авторитетным этимологом М. Фасмером (**gasiti* – гасить; греч. *σβεννυμι* – гашу, лит. *gesti, gestu* – гаснуть, кончаться), то очевидна корреляция *ужаса* с архетипом огня, являющегося, по мнению многих исследователей (Белякова 1995, с. 6–7; Кайсаров 1993, с. 41–42; Касавин 1999, с. 101–102; 165–167 и др.), наиболее актуальным социально-культурным феноменом для архаичного и средневекового сознания людей.

Считаем уместным привести здесь замечание этимолога М.М. Маковского, филологически установившего в индоевропейских языках генетическую связь слов со значениями «умирать», «старый», «высокий, стремящийся ввысь», «низ, преисподняя», «судьба», «сверхъестественная сила» с понятием «гореть» (Маковский 1992, с. 89). Феномен «огонь» связан в индоевропейских языках также с понятием «дух», «душа». Ср. и.-е. **sprio* – дуть, лат. *spiritus* – дух, душа, но и.-е. **peior* – огонь; типологически ср.: и.-е. **dheg* – гореть, но рус. – дух (Там же, с. 134).

В XI–XIV вв. слово *ужас* в русском языке употребляется в следующих значениях: «*ужасть – Страхъ, ѹжасть. – Трепетъ, дрожь. – Дрожь. – Трѹсость. – Изстѹплєніє. – Изѹмленіє. – Страшное явленіє; ѹжасть – Страхъ. – Трепетъ. – Смятеніє, отчаяніє. – Изстѹплєніє*» (Срезневский 1989, т. 3, ч. 2, с. 1161). Многие из них сохранились до наших дней. В современном русском языке данное слово – полисемант. Оно обозначает само чувство; явление, его вызывающее; безвыходность положения; наконец, используется как эмоциональный интенсификатор в разговорной речи (ТС 1995, с. 816).

Номинант эмоции *боязнь* является, возможно, дериватом глагола *бояться*. Оба слова славянского происхождения. Аналогичны слову *боязнь* по морфологической структуре и семантике слова ст.-слав. *боязнь*, чеш. *bazen, bojazn*. Его глагольная форма обнаружена не только в славянских (болг. *боя се*, слов. *bojati se*, чеш. *bati se*), но и в неславянских языках – лит. *bajus* (страшный), *baaime* (страх), др.-инд. *bhaayte, bibheti*, авест. *bayente* (страшить, пугать), др.-верх.-нем. *biben* (дрожать, трепетать). Утверждается также, что это слово этимологически свя-

зано с прус. *biāsnan* (страх) (ЭС 1996, т. 1, с. 203–204; ЭС 1959, т. 1, с. 41). В современном русском языке слово *боязнь* моносемично.

Другой член рассматриваемого синонимического ряда, слово *трепет*, относится также к так называемым, в терминологии М. Фасмера, «трудным словам» с точки зрения их этимологии. С уверенностью можно только утверждать, что эмоциональное значение у этого полисеманта вторично. Изначально же им обозначались физические величины. Данное слово славянского происхождения (ср. ст.-слав. *трепетъ*; укр. *трепет*, *трепета* (осина, *Populus tremula*), болг. *трепет*), словен. *trepet*. От этого слова произошли рус. *трепетать*, ст.-слав. *трепетати*, чеш. *trepetati* (трепетать, порхать). Часто его этимологически и семантически сближают со словами *трепать*, *тронать* (ср. лит. *treptumas* – проворство, ловкость, *trepidus* – семенящий с лтш. *tripināt* – трясти (ЭС 1996, т. 4, с. 99).

Следует заметить, что отмеченные генетические и семантические связи русского полисемичного слова подтверждаются значениями, которыми оно обладает в современном языке: «Трепет – 1. Колебание, дрожание (трепет листьев); 2. Сильное волнение, напряженность чувств (трепет восторга); 3. Страх, боязнь» (ТС 1995, с. 798).

Слову же *опасение* в словарях этимологического пояснения не дается.

Этимология номинантов эмоций синонимических рядов Freude – радость

Этимологический анализ слова *Freude* обнаруживает его исконно немецкое происхождение. Так же как и *Angst*, оно датируется ранним появлением в языке (IX в.). Номинант эмоции *Freude*, производный от др.-верх.-нем. глагола *irreven*, образован при помощи абстрактного немецкого суффикса *-ida* (EW 1989, S. 474). В отличие от многих других номинаций эмоций слово *Freude* изначально, по данным В. Пфайфера, обозначает человеческое переживание: *freuen* – «sich in Hochstimmung befinden, froh sein» (EW 1989, S. 474). Во всяком случае более первичные значения этимологам не известны. Семантика анализируемого слова, как можно видеть, принципиально не меняется уже на протяжении многих столетий. Трансформации наблюдаются, по данным словаря Ф. Клуге, только в его морфологической структуре, что вполне понятно. Ср. др.-верх.-нем. *frewida*, *frouwida*; ср.-верх.-нем. формы *vroeude*, *vroeide*, *vreude* (EW 1999, S. 285).

В современном немецком языке это слово, согласно словарю Дудена, полисемично. Второе значение, указываемое в нем, метафорично: *Freuden der Liebe* – радости любви (DW 1989, S. 538. См. также DW 1992, S. 501).

Происхождение его русского эквивалента слова *радость* (← др.-рус. форма *радѣ*) имеет несколько интерпретаций. Примечательно, что при этом указывается на его генетические корреляции не только со славянскими словами (укр. *радий*, *рад*, блр. *рад*, ст.-слав. *радѣ*, болг. *рад*, сербохорв. *рад*, *рада*, *радо* – охотный, словен. *rad*, *rada* – рад, охотный, чеш. *rad* – рад), но также и со словами германских языков (англ.-сакс. *ryt* – радостный, благородный, др.-исл. *rotask* – проясняться, веселеть, англ.-сакс. *rotu* – радость). Легко заметить семантическую близость названных здесь слов.

Есть при этом и другое, не менее правдоподобное, по мнению М. Фасмера, объяснение этимологии слова *радость*. Оно – дериват слова *рад*. Последнее могло произойти из формы **arda-*, ср. со ср.-греч. *Ἀρδαγασίς* – имя славянского вождя. В таком случае следовало бы привлечь, как считает М. Фасмер, и греч. *εραυαι* – люблю, *εραῶς*, род. п. *ωισς*, ср. «любовь».

А.Г. Преображенский со ссылкой на этимолога Брюкнера склонен объяснять происхождение анализируемого слова праславянской формой **ордъ*, генетически связанной с собственным именем «Радигость» = *φτ λξερος* (Преображенский 1959, т. 1, с. 173).

Некоторые ученые считают, что анализируемое слово корреспондирует со славянским глаголом *радеть*. В др.-рус. *raditi* имело значение «заботиться». В современном русском языке оно, как известно, архаично. Этот глагол был и все еще сохраняется во многих славянских языках: болг. *радя*, *радея* – забочусь, стараюсь; сербохорв. *raditi*, *radím* – стремиться, работать; словен. *róditi*, *ródum* – заботиться, соблюдать; др.-чеш. *neroditi* – не желать. Более того, иногда проводится генетическая связь между данными словами и словами неславянскими: др.-инд. *radhyati*, *radhnyti* – совершает, осет. *rad* – порядок, ряд, гот. *garedan* – предусматривать, др.-сакс. *radan* – советовать, замышлять, а также гот. *rodjan* – говорить (ЭС 1996, т. 3, с. 430).

Ю.С. Степанов считает, что это слово производно от краткой формы прилагательного *рад*. Русское *ради* и полностью соответствующее ему др.-перс. *radity* употребляются, по мнению российского академика, как «послеслоги». – Ср. рус. «Христа ради». «Ради» означает как причину, так и цель, т.е. «целевую причину», – собственно по-

буждающий мотив, который, будучи целью, заставляет человека действовать и тем самым превращается в причину действия», – утверждает Ю.С. Степанов (Степанов 1997а, с. 304–305).

По всей видимости, первичное значение слова *радость* не было эмоциональным. Судя по результатам этимологического анализа, данное слово изначально могло обозначать определенные желания, стремления человека (в том числе и эмоциональные), или положительное отношение к людям («заботиться»). Не исключена также мифологическая версия его происхождения. По Ю.С. Степанову, у русского слова *радъ* в качестве первичного некоторыми учеными называется значение «готовый к благодеянию, его совершению или восприятию» (Степанов 1997а, с. 309).

Культурологически релевантными мы признаем примеры на употребление анализируемого слова, содержащиеся в «Словаре древнерусского языка»: а) «Печальни бадете, нъ печаль ваша въ радость бадеть»; б) «Приведоуться въ веселни и радости»; в) «Не оукори его в радости его»; г) «Оуслышимъ веселне и блага радость»; д) «Пен и яжь и веселися въ великом радости»; е) «Г радостью творити» (Срезневский 1989, т. 3, ч. 1, с. 13). Анализ данных древнерусских языковых иллюстраций позволяет сделать следующие предположения. Во-первых, номинант эмоции *радость* часто употребляется с другими обозначениями эмоций – *веселье*, *печаль* (примеры а, б, в, г, д), что является аргументом в пользу признания их общей онтологии. Психологически интересен в особенности пример (а), свидетельствующий о понимании средневековым человеком трансформаций, переходов одних эмоциональных состояний в другие. Во-вторых, в некоторых иллюстрациях (в частности, в примерах (в) и (д) выражено позитивное, лишенное всякой средневековой аскезы отношение к рассматриваемой эмоции. Данные примеры, по всей видимости, следует толковать как стремление человека вопреки церковной морали к переживанию светлой, жизнеутверждающей эмоции, эмоции радости.

Слово *радость* употребляется в настоящее время в нескольких значениях – само чувство, объект чувства, какое-либо хорошее событие (ТС 1995, с. 629).

Теперь перейдем к этимолого-культурологическому анализу членов синонимического ряда «Freude», состоящего из 13 слов – *die Freude* (радость), *der Spass* (удовольствие), *das Vergnuegen* (удовольствие), *das Gefallen* (удовольствие), *das Behagen* (удовольствие), *die Lust* (радость, удовольствие), *der Genuss* (наслаждение), *der Hochgenuss* (большое наслаждение), *das Glueck* (счастье), *das Entzuecken* (восхи-

щение), *die Wonne* (наслаждение, блаженство), *die Seligkeit* (блаженство), *die Glueckseligkeit* (блаженство, счастье). Доминантой в этом ряду выступает слово *Freude* (Рахманов 1983, с. 183).

Как и доминант этого ряда *Freude* номинант эмоции *Lust* появляется в немецком языке уже в IX в. Первоначально *Lust* употребляется в нескольких размытых, пересекающихся друг с другом значениях – «моральное излишество, необузданность, распутство». Данное слово этимологически связано с др.-инд. формой *lasati* – (воз)желать, иметь потребность; ср. с греч. *lilaiensthai* – страстно желать, тосковать, с лат. *lascivus* – необузданный, похотливый, сладострастный, рус. *ласка*. Общим при этом у всех названных слов считается индоевропейский корень **las* – жадный, жаждущий развлечений (EW 1989, S. 1038–1039). Немецким словом *Lust* первоначально выражалась эротически ориентированная идея. В современном немецком языке это слово полисемично: полностью сохранив отмеченное выше значение, оно приобрело также значение «желание, намерение вообще», не обязательно применительно только к сексуальной области человеческих отношений. Следовательно, в этом случае правомерно говорить, с одной стороны, о расширении семантики слова *Lust*, а с другой – о его более точной понятийной фиксации, меньшей расплывчатости.

Не менее любопытно с исторической точки зрения происхождение и другого номинанта эмоции – *Glueck* (XII в.) Его первичное значение – «судьба, окончание к.-л. события». Затем слово начинает употребляться в значении «благополучный исход чего-либо; хорошая судьба» и далее – непосредственно в значении «счастье». Примечательно, что в своем первичном значении оно используется преимущественно в среде рыцарской культуры в области Рейна. По В. Пфайферу, это слово было заимствовано из нидерландского языка (EW 1989, S. 581). Сегодня слово *Glueck* – полисемант, имеющий следующие значения: *guenstige Fuegung als Schicksal; der daraus erwachsende Erfolg; Gemuetszustand innerer Befriedigung und Hochstimmung bes. nach Erfuellung ersehnter Wuensche* (DW 1992, S. 572). Таким образом, помимо сохранения на протяжении нескольких веков ранее присущего ему значения «благополучная судьба», «успех», оно номинирует также, согласно приведенной дефиниции, человеческое положительное переживание. Сопоставление данных этимологических справочников и современных толковых словарей иллюстрирует очевидную историческую преемственность значений данного слова.

По данным В. Пфайфера, от *Glueck* в XII–XV вв. был образован посредством словосложения другой номинант эмоции – *Glueckseligkeit*

(EW 1989, S. 582). Схожий с ним по смыслу номинант эмоции *Seligkeit* (др.-верх.-нем. форма *saligheit*) начинает употребляться еще раньше – в X в. Он – дериват прилагательного *selig* («чрезмерно счастливый»). Оба слова относятся к церковной (христианской) терминологии и имеют значение «душевное единение с Богом после смерти» (EW 1989, S. 1614). По М. Веберу, данный концепт был в эпоху позднего Средневековья одной из доминант социального поведения человека. Единение с Богом есть «чувство субстанцииальной близости Бога, реальное проникновение Бога в душу верующего...» (Вебер 1990, с. 149). Расширив сферу своего употребления, *Glueckseligkeit* и *Seligkeit* используются сегодня фигурально в значениях «быть очень счастливым», «быть влюбленным».

Слово *Gefallen* – субстантивированный инфинитив др.-верх.-нем. глагола *gifallan* (VIII в.). Он имеет несколько значений – «выпадать на долю; падать; попадать; доставаться; подходить». В ср.-верх.-нем. этот глагол употребляется в значении «счастье»: «mir gevellet es wol» – «мне повезло». Это слово имеет индоевропейские корни. Отмечают его связь с нидерландской формой *gifallen*, которая употребляется в нем только в одном значении – «быть приятным» (EW 1989, S. 591). Данное слово сохранило свое первичное значение и, более того, в настоящее время употребляется в фигуральном смысле как «вкус» (DWB 1992, S. 527). Следовательно, можно заключить, что изначально широкая семантика этого слова трансформировалась в современном языке в полисемичную лексическую единицу.

Следующий член синонимического ряда «Freude», слово *Genuss*, в ср.-верх.-нем. языке употребляется в значении «прием пищи» (XIII–XV вв.). В ср.-ниж.-нем. *Genut* (*Genutte*) имеет другое значение – «польза, выгода». Как номинант эмоции *Genuss* употребляется с XVIII в. Предположительно это исконно немецкое слово (EW 1989, S. 541). Примечательно, что все указанные выше значения этого слова сохраняются до сих пор. От него был префиксально образован номинант эмоции *Hochgenuss*. Время появления последнего в немецком языке не установлено. Это слово моносемично.

Как номинант эмоции *Vergnuegen* начинает использоваться с середины XVII в. Оно – субстантивированный инфинитив немецкого глагола *vergnuegen* (XV–XVI вв.), имеющего первичные значения «платить», «удовлетворять». С XIX в. и по сегодняшний день оно употребляется также в значении «праздник, веселое мероприятие». Данное слово полисемично. В этимологических справочниках его какие-либо генетические корреляции с другими языками не фикси-

руются (EW 1989, S. 1894). Нетрудно заметить семантическую корреляцию его современных ЛСВ: Vergnuegen – 1. inneres Wohlbehagen, das jmdm. ein Tun, eine Beschaeftigung, ein Anblick verschafft. 2. a)(selten) etwas, woran man Vergnuegen findet, was einem Vergnuegen bereitet; b)(veraltend) [festliche Tanz]veranstaltung; Vergnuegung (DWB 1989, S. 1644); Vergnuegen – Freude, Kurzweil, Erheiterung; unterhaltsame Veranstaltung (DW 1992, S. 1360). Полисемию рассматриваемого слова следует, вероятно, толковать как результат метафорического переноса: наименование эмоции переносится на социально организованные действия человека (праздничное мероприятие).

Семантически родственное ему слово *Spass* заимствовано из итальянского языка (*spasso, spassare* – проводить (хорошо) время, веселить) в XVII в. (EW 1989, S. 1663). Оно активно используется в современном немецком языке в двух значениях: удовольствие и шутка. Как и в предыдущем случае здесь совершенно очевидна семантическая связь между ЛСВ полисеманта *Spass*, один из которых обозначает саму эмоцию, а другой – ее возможного каузатора.

Синонимичное доминанте *Freude* слово *Behagen* появилось в немецком языке в XVII в. Как и ранее приведенные номинанты эмоций, оно производно от глагольных форм *behagen* (быть приятным, нравиться); *sich behagen* (хорошо себя чувствовать). Последние же, по В. Пфайферу, произошли от др.-верх.-нем. причастия *gihagan* – быть накормленным. В ср.-верх.-нем. *behagan* употребляется в значении «свежий, радостный». Рассматриваемое слово имеет индоевропейские корни (EW 1989, S. 101). По данным Ф. Клуге, слово *Behagen* появилось в ниж.-нем. и употреблялось в значении «удобный» (EW 1999, S. 91–92). В современном немецком языке оно малоупотребительно. Заслуживает внимания то обстоятельство, что слово *Behagen*, как показывает его сегодняшнее использование, употребляется преимущественно в словосочетаниях типа *mit Behagen essen, trinken*, что свидетельствует о сохранении первичного значения рассматриваемой лексемы – «быть накормленным». Думается, что в этом случае уместно говорить о «физиологической» первооснове интересующего нас слова: изначально *Behagen* – это физическое удовольствие, получаемое человеком от поглощения пищи, и только затем у этой лексемы появляется более общее значение – «удовольствие» (не обязательно вызванное приемом пищи и питья). Это вторичное значение, таким образом, выражает не только (и возможно, уже не столько) витальное физиологическое удовольствие, но в большей степени психическое

понятие. Слово *Behagen* в современном немецком языке малоупотребительно.

Один из членов анализируемого синонимического ряда – слово *Entzuecken* – в позд.-верх.-нем. употребляется в значении «религиозный экстаз», как номинант эмоции *Entzuecken* используется с XVIII в. Это слово – субстантивированный глагол *entzuecken* (XII–XV вв.), имевший следующие первичные значения: «спешно взять ч.-л.; украсть, отобрать ч.-л. с силой у к.-л.». Затем его семантика заметно сузилась: он употребляется только в значении «тянуть, тащить что-л. прочь». Помимо своего религиозного значения, это слово активно использовалось до недавнего прошлого также и в мистике (EW 1989, S. 370). Согласно Ф. Клуге, оно затем расширяет сферу своего употребления в немецком языке и начинает использоваться в значении «земная человеческая радость, обычная земная любовь» (EW 1999, S. 225). Генетические связи данного слова со словами других языков этимологами не обнаружены. Оно – моносемант.

Слово *Entzuecken*, судя по лексикографическим данным, прошло сложный семантический путь своего развития, спецификой которого можно считать факты сужения, расширения и затем опять сужения его значений. Многочисленные семантические трансформации этой лексической единицы, равно как и рассмотренных выше *Glueckseligkeit* и *Seligkeit*, достаточно эксплицитно, как нам кажется, отражают события экстралингвистической действительности, в частности социальную роль такого важного института, как церковь.

Современный номинант эмоции *Wonne*, входящий в синонимический ряд «Freude», – достаточно древнее слово (VIII–IX вв.). Его первичная морфологическая форма *winna* генетически связана с готским глаголом **winan* (радоваться). Этимологи указывают на его связь (производность) со словом из санскрита *vanas* – миловидность, очаровательность, прелесть (EW 1989, S. 1993). Существует и иная, судя по всему, более полная (вместе с тем, возможно, и не более адекватная!) версия толкования происхождения слова *Wonne*. Согласно ей, данная лексема, по мнению профессора Ю. Трира, произошла от др.-верх.-нем. слова *winne*, обозначающего «зеленое пастбище, луг», траву которого с особым удовольствием поглощали животные; впоследствии это слово употребляется в его переносном значении – «удовольствие, желание» (Trier. – Цит. по: EW 1999, S. 897). Возможно, что оно было ранее полисемичным, хотя, по мнению В. Пфайфера, это слово признается моносемантом.

В современном немецком языке *Wonne* – моносемант.

Если же придерживаться санскритской (вероятно, более правдоподобной) версии толкования данного слова, то можно указать на связь между внешними признаками человека, способом его поведения и непосредственно испытываемой при этом эмоцией (*vanas* – милость, очаровательность, прелесть ← / → удовольствие).

Далее рассмотрим этимологию синонимической пары *радость* в русском языке. В синонимическую пару с доминантой *радость* входит малоупотребительное сегодня слово *отрада*, имеющее стилистическую помету «поэт.» (ССРЯ 1970, с. 328). Оно – дериват слова *радость*, этимологический анализ которого был дан выше. По мнению М.М. Покровского, слова *отрада* и *отрадный* раньше в русском языке означали «быть зажиточным». Он утверждает: «“Отрада” ассоциировалась с материальным благополучием человека. Словосочетание “отрадные люди” употреблялось в значении “зажиточные люди”» (Покровский 1959, с. 66).

В средние века данная лексическая единица употреблялась в следующих значениях: «Отрада – Отдых, успокоение. – Утешение, успокоение. – Прощение» (Срезневский 1989, т. 2, ч. 1, с. 760). Ряд из указанных здесь значений, на наш взгляд, коррелирует с определенными религиозными представлениями человека.

Автор Словаря древнерусского языка приводит иллюстрацию, раскрывающую семантику этого слова: «Какого отрада ты сподобившись, по средь валяясь» (Там же). В данном случае слово *отрада* употребляется в значении «прощение». Можно предположить, что русский человек, согласно приведенному примеру, переживал чувство радости в том случае, если добивался прощения. Вероятно, речь могла идти о прощении Всевышним, которого мог огорчить своими далеко не богоугодными поступками человек.

Этимология номинантов эмоций синонимических рядов

Trauer – печаль

Слово *Trauer*, обозначающее один из базисных концептов немецкой культуры, возникло, по данным ученых, примерно в X в. Оно производно от имени прилагательного *trurag*, источник появления которого не установлен. Первичное значение этой лексемы, по В. Пфайферу (EW 1989, S. 1832), – «болезненный» в медицинском смысле слова. Ср.: *schmerzlich* ← *Schmerz* ← **smēr*-*smel* – *schwelen, brennen*, т.е.

«болезненный» ← боль ← «распухать», «гореть». (EW 1999, S. 731–732). Физическая первооснова др.-верх.-нем. слова *trurag* подтверждается его генетической связью с др.-англ. *dreorig* – «кровавый, болезненный, печальный», отмечаемой этимологами (EW 1989, S. 1832).

Несколько отличное от данной версии предлагается толкование этимологии слова *Trauer* в другом справочнике – словаре Ф. Клуге. Его составители, ссылаясь на мнение этимолога У. Претцеля, считают первичной глагольную форму *trauern*. *Trauern*, в соответствии с данной версией, появляется в немецком языке в IX в. В др.-верх.-нем. слово *truren* имеет значение «die Augen niederschlagen» («опустить глаза»). В основе этого слова лежит конкретный жест скорби человека, выражаемый опусканием головы (EW 1999, S. 833).

Можно резюмировать, что, во-первых, *Trauer* – дериват (производное либо от прилагательного *trurag*, либо от глагола *truren*), во-вторых, это слово употребляется изначально либо в своем «физическом» значении (реально воспринимаемая человеком боль), либо в другом «соматическом» смысле – «опускать глаза», «опускать голову в знак скорби» и, наконец, в-третьих, оно либо результат переноса физиологического ощущения (боли), либо же скорбного жеста на человеческое психическое состояние. Из сказанного, по нашему мнению, допустимо предположение о том, что на определенном этапе своего языкового развития анализируемое слово употреблялось в двух значениях, т.е. было полисемичным. Возможно, что по истечении времени ставшее более актуальным для сознания языконосителей вторичное значение вытеснило более раннее – первичное. Сами же хронологические рамки переструктурирования отдельных словозначений у *Trauer* этимологами не установлены.

Важно заметить, что это слово в современном немецком языке имеет три значения. В толковых словарях в качестве первого (основного) дается именно обозначение эмоции; далее указывается следующее значение – «(официальное) время скорби по умершему» и затем фиксируется значение «траурная одежда» (DW 1989, S. 1552; WW 1975, S. 648).

Любопытен, на наш взгляд, сам факт указания лексикографами последовательности называемых значений рассматриваемого полисеманта. Как правило, в лексикографической практике принято первыми фиксировать то / те значение / значения, которые являются наиболее актуальными для современного языкового сознания, для современных языконосителей. Выдвижение значения эмоции в полисе-

мичном слове *Trauer* может, как кажется, интерпретироваться как знак повышения степени релевантности определенного психического феномена, с одной стороны, и как возможное снижение значимости ритуальных поступков, ритуального поведения человека в культуре – с другой. Данное предположение (возможно, дискуссионное) как будто вписывается в концепцию деритуализации, демифологизации архаичного мира, по крайней мере, в современной западной, часто называемой нетрадиционной культуре (см., например, Юдин 1999, с. 24–35).

Современное русское слово *печаль* (др.-рус. *печаль*) происходит от более ранней родственной ему формы – *печа*, употреблявшейся еще до недавнего времени в русских диалектах в значении «забота, попечение». Об этом, вероятно, свидетельствуют и некоторые слова славянских языков, имеющие аналогичную морфологическую структуру: польск. *piesza* – печаль, опека, укр. и блр. *печаль*, ст.-слав. *печаль*, болг. *печал*, словен. *pečal* – скорбь, грусть, отсюда «печалиться, печаловаться о к.-л.». М. Фасмер обращает при этом внимание на существование праславянской формы **pečalbь* (ЭС 1996, т. 3, с. 254). Происхождение данного слова исследователи связывают также с глаголом *печь* в значении «гореть» (Маковский 1980, с. 138). Какие-либо генетические корреляции этого слова со словами других (неславянских) языков не фиксируются.

И.И. Срезневский предлагает следующий этимологический ряд рассматриваемого слова: ««печа – попечение»; «печалити – огорчать, печалить»; «печалованіе – забота, попечение»; «печаловатиса – 1) быть печальным, горевать, сокрушаться; 2) заботиться»» (Срезневский 1989, т. 2, ч. 2, с. 921).

В древнерусском языке *печаль* имела несколько значений: 1) огорчение, горе – *Молеве ризы изъдають, а челоуѣка печаль*; 2) забота – *Отагоутѣтъ срдца ваша ... печальми житинскѣми; Она печаль ведеть въ мукѣ, а си печаль ведеть въ жизньъ вѣчнѣю; Житіе бес печали; Мирьскѣя печали*; 3) неприятнь – *Пожаловали поповѣ и черцовѣ и всѣхъ водѣльныхъ людеи, да правымъ срѣцемъ молятѣ за насъ Бга и за наше племѣ безъ печали*» (Там же, с. 923).

А.Г. Преображенский также указывает на употребление данного слова в древнерусском языке в значении «забота», «попечение», «хлопоты». Его дериватом была лексема *печальникъ*, т.е. покровитель, ходатай (Преображенский 1959, т. 2, с. 773).

В прошлом это слово, таким образом, было полисемичным (кроме вторичного значения чувства оно употреблялось в первичном

значении «забота»). В наше время слово *печаль* – моносемант (ТС 1995, с. 506).

Далее рассмотрим с этимолого-культурологических позиций синонимический ряд номинантов эмоций в немецком языке с доминантой *die Trauer* – *die Traurigkeit*, *der Truebsinn*, *die Truebsal*, *der Kummer*, *die Wehmut*, *die Schwermut*, *die Melancholie*, *der Gram* (Пахманов 1983, с. 474–475).

Появление слова *Trauer*, как было проиллюстрировано выше, датируется X веком. Чуть позже (приблизительно в X–XI вв.) в др.-верх.-нем. появляется и семантически, и морфологически сходное с ним слово *truragheit* (современная форма *Taurigkeit*). Скорее всего, оно производное от *Trauer*. По В. Пфайферу, слово *truragheit* уже в др.-верх.-нем. обозначает эмоцию. Его первичным значением признается значение «das Traurigsein» – «состояние тоски». Какие-либо генетические корреляции этого слова со словами других языков в этимологических справочниках не указаны (EW 1989, S. 1833). Если следовать версии В. Пфайфера, то нужно признать общегерманское происхождение данной языковой единицы. В современном немецком языке слово *Taurigkeit* моносемично.

Хронологические характеристики другого члена синонимического ряда «Trauer» – слова *Truebsal* – практически совпадают с вышерассмотренным номинантом эмоции (примерно XI в.). Это слово в др.-верх.-нем. имело морфологическую структуру *truobisal* и употреблялось вначале в значении «непрозрачность, темнота», а затем – «тяжелая, требующая усилий работа». В этимологических словарях указывается на его общегерманское происхождение (EW 1989, S. 1851). Время начала употребления этого слова в его эмоциональном значении не установлено. Моносемант *Truebsal* сегодня малоупотребителен. Его использование ограничено художественными, преимущественно глупо лирическими произведениями.

Этимологически близким данному номинанту эмоции учеными рассматривается слово *Truebsinn*, возникшее в немецком языке как номинант эмоции в XVIII в. Оно так же, как и *Truebsal*, образовано от др.-верх.-нем. слова *truobi* (EW 1989, S. 1851). Данное слово – моносемант, оно малоупотребительно.

Исходя из первичных значений производящей лексической единицы *truobi*, мы, судя по всему, вправе вести речь об определенных ассоциациях древних германцев при восприятии физического свойства мира (темноты) и возникающих при этом у них ощущениях. Здесь же хотелось бы указать на факт сопряженности понятий цвета и эмо-

ций, психических реакций человека при его толковании. Если с концептом светлости ассоциируются (по крайней мере, в европейской культуре) так называемые «положительные эмоции» (терминология психологов. – См.: Додонов 1978; Лук 1982), то с понятием темноты ассоциативно связаны отрицательные феномены, в том числе и эмоции (Lauffer 1948). Данный тезис мы подробно и, надеемся, убедительно проиллюстрируем в дальнейшем изложении материала на многочисленных метафорических примерах в обоих языках. Здесь же ограничимся примерами нескольких речевых устойчивых выражений – *темные дела, темный человек, schwarzer Mann, schwarze Gedanken, schwarze Seele, schwarze Magie*.

Немецкое слово *Kummer*, номинирующее в современном языке соответствующую эмоцию и активно употребляемое его носителями, своим происхождением обязано латинской форме *conferre*. Первоначальные значения слова *Kummer*, появившегося в немецком языке в средние века (XIII–XV вв.), следующие: мусор, сор, нечистоты. Затем слово начинает употребляться в значении «нужда, бедствие; старание, хлопоты». По В. Пфайферу, первичные значения до сих пор сохранились в некоторых северных немецких диалектах. Следует заметить, что в поздне-средн.-верх.-нем. это слово употребляется также в терминологическом значении (в юриспруденции) и означает «арест». *Kummer* генетически родственно ср.-ниж.-нем. *kumber*, ср.-нидерланд. формам *commer*, *comber* – препятствие, задержание, арест, забота, нидерланд. слову *kommer* – нужда, забота, тоска (EW 1989, S. 997). В некоторых этимологических справочниках предлагается иное толкование происхождения данного слова. Утверждается, что оно происходит от галло-романской основы *comboros* (*Zusammengetragenes* – что-л. снесенное в одно место, в кучу). Затем это слово во французском языке употребляется в отношении психической жизни человека. Так, в ст.-франц. оно применяется в значении «несчастье» (EW 1999, S. 493). В современном немецком языке это слово – моносемант.

Этимологические сведения о слове *Kummer* позволяют утверждать, что его средневековая семантика максимально диффузна (нужда, бедствие, старание, хлопоты). Обращает на себя внимание сохранение ее расплывчатости до сегодняшнего дня в территориальных диалектах немецкого языка. Примечательна родственность связи двух пар лексикализированных понятий нужды – бедствия и старания – хлопоты. В первом случае средневековым языковым сознанием фиксируется плохое экономическое состояние человека, а во втором – его усилия,

направленные на исправление положения дел, в целом – улучшение ситуации. Это во-первых. Во-вторых, в первичных значениях этого слова отражены фрагменты физического мира. Данным знаком изначально номинировались реально существующие объекты.

Слово *Wehmut* (XV в.) первоначально имело значения «боль», «гнев», а затем по прошествии определенного, точно не установленного времени оно начинает употребляться в значении «глубокая печаль». Это слово общегерманского происхождения (EW 1989, S. 1970). Сейчас оно употребляется только как номинант эмоции – «легкая печаль» (DW 1992, S. 1419). Налицо деинтенсификация его семантики. Если раньше слово *Wehmut* содержало в себе сему интенсивности (*Wehmut* – *tiefe* Trauer), то сейчас, судя по лексикографическим данным (DW 1992, S. 1418), наоборот, включает в свою смысловую структуру сему деинтенсивности (*Wehmut* – *leichte* Trauer). Возможно, этот факт можно объяснить постоянным перераспределением сем в значении многочисленных синонимичных слов, обозначающих родственные ЭК. В частности заметим, что появившаяся в XV в. лексема *Schwermut*, обозначающая максимально родственное понятие *Wehmut*, через определенное время в отличие от *Wehmut* приобретает противоположный признак – интенсивности (ср. *Schwermut* – *anhaltende tiefe Niedergeschlagenheit*) (DW 1992, S. 1157).

Современное знание этимологии слова *Schwermut* (XV в., первичная форма *swoermuetic*) неполно. В словаре В. Пфайфера в качестве единственного и первичного указано значение «подавленный, депрессивный». Данное слово, как и *Wehmut*, общегерманского происхождения (EW 1989, S. 1595). Оба, судя по их морфологической структуре, обладают внутренней формой (*Weh* + *Mut*, *schwer* + *Mut*), наглядно свидетельствующей о векторе средневековой мысли германцев – синкретизм понятия боли (*Weh*), тяжести (*schwer*) и психического состояния человека. В настоящее время слова *Wehmut* и *Schwermut* употребляются только в одном значении, что говорит о сужении их семантики.

Следующий член рассматриваемого с точки зрения этимологии синонимического ряда – слово *Gram* – как субстантив начинает употребляться с XV в. Оно образовано от германского прилагательного *gremi*, появившегося еще в др.-верх.-нем. и изначально употреблявшегося в значении «досада, огорчение, гнев, малодушие» (EW 1989, S. 593). Этимологи отмечают его генетическую связь с общегерман-

ским **grama*, а также со словами, имеющими идентичную морфологическую структуру, других германских языков, напр., с др.-англ. *gram*. По мнению З. Блума, слово *Gram* этимологически и семантически было связано с другим немецким словом – *Grimm*, которое, в свою очередь, корреспондирует с индоевропейской формой **ghrem-*, имеющей первичное значение «скрежетать, хрустеть зубами». С. Блум видит связь этого слова с греческой лексемой *chromados* – скрежет, хруст, а также с литовским глаголом *grumzdeti* – скрипеть зубами и с готской формой *grisgramon*, употребляемой в том же значении. Более того, делаются попытки найти этимолого-семантические корреляции анализируемого слова с так называемыми звукоподражательными немецкими словами *donnern* (греть) и *poltern* (падать с грохотом, гроыхать) (Blum. – Цит. по: EW 1999, S. 333).

Первичная семантика слова *Gram* диффузна. Оно лингвистически оформляет и само эмоциональное переживание человека, и такую его черту характера, как малодушие. Сегодня это слово стилистически маркировано и малоупотребительно: *Gram* – (geh.) nagender Kummer, dauernde tiefe Betrübnis ueber jmdn. od. etw. (DW 1989, S. 627).

Займствованное немецким языком в XVII в. слово *Melancholie* – латинского происхождения (EW 1989, S. 1087). В словаре Ф. Клуге, однако, утверждается, что это слово было заимствовано немецким языком из латинского уже в XIV в. Первоначально же оно возникло в греческом языке – *Melancholia* (букв. «черная желчь»). В древнегреческой гуморальной патологии считалось, что человеческие органы выделяют различного рода жидкости, которые влияют на настроение, эмоциональное самочувствие человека. Если в организме оказывалось слишком много выделенной черной желчи, то человек страдал депрессией, испытывал сильное чувство подавленности (EW 1999, S. 551). Как номинант эмоции слово *Melancholie* активно используется и в современном немецком языке, не претерпев, по сути, с тех пор никаких принципиальных семантических изменений.

С общекультурологической точки зрения этимология данного слова интересна тем, что носителями языка эксплицитно иллюстрируются знания наивной анатомии – прямая связь между функциями органов человека и его эмоциональным состоянием. Переживание эмоции физиологически обусловлено. Более того, формирование такой черты характера человека, как меланхолия, детерминировано выделением желчи в его организме.

Теперь рассмотрим этимологию слов русского языка, входящих в синонимический ряд «печаль» – *грусть*, *тоска* и *уныние*. Следует сразу указать, что в этимологических словарях последнему из них объяснения не дается.

Относительно полно в этимологических справочниках представлено происхождение слова *грусть*, которое имеет своим производным ряд славянских глаголов *грустить*, *погрустить*, рус.-ц.-слав. *съгрустити ся* (загрустить), сербохорв. стар. *грустити* (тошнить), словен. *grustiti* (делать противным), *grusti se mi* (меня тошнит) (ср. также со словен. *grûst* – отвращение). Все эти слова исследователи связывают со словом *груда*, принимая во внимание словен. *skrb me grudi* – меня гнетет забота. Сюда же относят лит. *mán širdis pa-grûdo* – я расчувствовался, *grûdziu*, *grûsti* – толочь, увещевать, *grausmē* – предостережение, *graudūs* – хрупкий, трогательный, скорбный, *graudėnti* – увещевать, *sugraudinti* – опечалить, др.-прус. *en-graudesnan* – сострадание (ЭС 1996, т. 1, с. 464–465).

Согласно А.Г. Преображенскому, это слово генетически связано с др.-верх.-нем. *in-gruen*, ср.-верх.-нем. *gruen*, *gruwen* – дрожать, бояться, а также ниж.-нем. *grusen*, *griusen*, *grausen* – бояться; лит. *grûsti*, *grûdziu* – толочь, увещевать, напоминать с угрозой. Все эти слова произошли от индоевропейского корня **ghreu-d-* «тереть, бить, толочь» (Преображенский 1959, т. 1, с. 201).

По всей видимости, правомерно утверждать, что данным словом, обозначающим в современном русском языке конкретную эмоцию, ранее выражалось, по версии М. Фасмера, общее понятие заботы, беспокойности (груда), или же, согласно точке зрения А.Г. Преображенского, понятие неопределенной боязни, какой-то угрозы. В семиотическом пространстве русской лингвокультуры его семантика сузилась, специализировалась на номинации эмоции. В современном русском языке слово *грусть* – моносемант.

Слово *тоска* (др.-рус. *тъска* – стеснение, горе, печаль, беспокойство, волнение) не имеет подробного этимологического толкования. Известно только, что оно славянского происхождения: блр. *тоскніц* – тосковать, печалиться, ц.-слав. *сътъснѣти*, чеш. *teskný* – боязливый, *tesklivý* – пугливый, тоскливый (ЭС 1996, т. 4, с. 88). Некоторыми исследователями утверждается (Широкова 1999, с. 62), что этим словом выражалось понятие пустоты (тоска → тощий). Сегодня оно употребляется в двух значениях – как обозначение эмоции и как номинация объекта, вызывающего соответствующую эмоциональную реакцию, эмоциональное отношение человека.

В синонимический ряд номинантов эмоций с доминантой *Zorn* входят следующие слова: *der Zorn* (гнев, ярость), *der Jaehzorn* (внезапный гнев), *die Wut* (ярость, бешенство), *der Grimm* (ярость, гнев), *der Ingrim* ([затаенная] ярость), *die Aufgebrachtheit* (раздражение), *die Raserei* (неистовство, бешенство), *der Furor* (бешенство, ярость) *die Entrüstung* (возмущение, негодование), *die Rage* (ярость), *der Koller* (бешенство, неистовство) (Рахманов 1983, с. 683; SWB 1975, S. 622).

Начнем с этимологической характеристики номинанта эмоции *Zorn*, вербализующего одноименный ЭК. По данным этимологических словарей, появление этого слова датируется IX в. Его морфологическая структура практически не претерпела с тех пор заметных трансформаций. Другой особенностью этого слова является его моносемичность в современном немецком языке: *Zorn – heftiger Unwille, aufwallender Aerger* (DW 1989, S. 1470). Примечательно, что изначально семантика этого слова была максимально широкой: ср. др.-верх.-нем. *zorn – Erbitterung, Wut, Entrüstung* – огорчение, бешенство, возмущение, ср.-верх.-нем. *zorn – ploetzlich entstandener Unwille, Heftigkeit, Wut, Zank, Streit* – внезапно возникшее недовольство, порывистость (горячность), бешенство, ссора, спор (EW 1989, S. 2032). Налицо размытость границ содержания слова *Zorn* в др.-верх.-нем. языке. Характерно, что диффузность его семантики еще более очевидна в ср.-верх.-нем. языке (ср., с одной стороны, номинанты эмоций *Unwille, Wut*, а с другой – эмоциональные факты, их провоцирующие, либо ими же провоцируемые, – *Zank, Streit*). Вероятно, в данном случае речь идет о недостаточно четком вербальном различении средневековым сознанием родственных явлений – самих эмоций и сопровождающих их эмоциогенных ситуаций общения. Возможно, это предположение косвенно доказывается, в частности, этимологией немецкого слова *Zank*, появившегося лишь в XIV в. Хронология употребления слова *Streit* в его современном значении (ссора) не известна (см.: EW 1999, S. 903, S. 801). Следовательно, не исключено употребление средневекового слова *zorn* в разных значениях, в том числе и в значении «ссора». Последнее же относительно поздно получает свое наименование (*Zank*).

Этимологи указывают на происхождение *Zorn*, в частности его др.-сакс. формы *torn*, из западногерманской формы **turna* (*Zorn*) (EW 1999, S. 915). Кроме того, это слово обнаруживает генетическое родство со многими словами других германских языков: др.-англ. *torn* со

значением / значениями *Grimm, Kummer, Leid, Elend* (грусть, тоска, страдание; чужбина) (EW 1989, S. 2032); др.-ирл. *drenn* в значении «Streit» (ссора) (EW 1999, S. 915).

Считается, что все приведенные выше слова происходят от общего индогерманского корня **der-*, имеющего значение «spalten» (раскалывать). Отсюда и появление в немецком языке глаголов *zerren* (рвать с силой) и *zuern* (злиться, сердиться) (EW 1999, S. 915). Обращает на себя внимание четко выраженная семантика агрессии слова *Zorn*: ср. имена прилагательные в ср.-верх.-нем. *zorn*, др.-сакс. *torn*, и др.-англ. *torn* в значении *bitter, grausam* (горький, жестокий) (EW 1999, S. 915).

Можно констатировать, таким образом, факт сужения семантики у слова *Zorn*. В современном немецком языке границы понятия, обозначенного данным словом, относительно четко очерчены, менее диффузны, нежели в ср.-верх.-нем. и др.-верх.-нем. Так, в частности, в средние века этим словом обозначались как само эмоциональное состояние человека, так и черты его характера (порывистость, горячность). Более того, им же номинировалась конфликтная ситуация – «ссора», «спор». В немецком языке на современном этапе его развития за этим словом сохранилось одно из его значений – «гнев».

Базисный номинант эмоции *гнев* в русском языке имеет значительно меньше версий объяснения его происхождения по сравнению с немецким эквивалентом. Многие этимологи считают вероятным его родство с глаголом *гнить*. Исходным же принимается значение «гниль, гной, яд». Характерно, что, по М. Фасмеру, *гнев* в одном из современных русских диалектов обозначает «гниль». Рассматриваемое слово, зафиксированное уже в др.-русс. в форме *ГНЕВЪ*, обнаруживает обширные генетические корреляции: укр. *гнів*, ст.-слав. *ГНЕВЪ*, болг. *гняв*, словен. *gněv*, чешск. *hněv*, польск. *gniew*, рус.-ц.-слав. также *ГНІЕВЪ* (гниль).

Однако, по мнению этимологов Коржинека и Гольба, *гнев* по своему происхождению связан со значением «гореть», что, по М. Фасмеру, также в принципе не исключено (ЭС 1996, т. 1, с. 420).

Независимо от принимаемой здесь версии однозначно можно утверждать, что у слова *гнев* эмоциональное значение вторично. Первичными же его значениями следует считать, судя по данным этимологов, либо конкретное физическое вещество (гниль, гной, яд), либо такое природное явление, как «огонь». Интересно в этой связи отметить, что как в русском, так и в немецком языках номинант эмоции *гнев* нередко метафоризируется глаголами «горения». На этом основании

правомерно выделение чрезвычайно продуктивного типа метафоры в концептосфере эмоций – *ruigoverbium* (подробнее см.: Красавский 1992, с. 135–140; Красавский 1998, с. 96–104). В современном русском языке слово *гнев* моносемично (ТС 1995, с. 130).

Теперь перейдем к этимологической характеристике номинантов эмоции немецкого языка, формирующих соответствующий синонимический ряд. Слово *Jaehzorn* – дериват возникшего еще в IX в. слова *Zorn*. В отличие от последнего его происхождение не установлено (EW 1999, S. 409). Очевидна морфологическая и семантическая схожесть данного слова с номинантом эмоции *Zorn*. «*Jaehzorn – ploetzlicher Wutanfall*» – «внезапный приступ гнева» (DW 1992, S. 704). Это слово в современном немецком языке моносемично.

Слово *Wut* появилось в немецком языке, согласно В. Пфайферу, также в IX в. (*wuot*). По его мнению, оно изначально употребляется в качестве номинации родственных эмоций – сильное возбуждение, волнение, сильное душевное потрясение. Генетически это слово связано со ср.-нидерл. *woet* (гнев, бешенство), нидерл. *woede* (гнев, бешенство), др.-англ. *wor* (звук, голос, поэзия). По В. Пфайферу, *wuot* обнаруживает корреляцию с существовавшим в др.-верх.-нем. прилагательным *firwuot* (X в.), имевшим значение «бессмысленный, неразумный», а также с гот. *wods* (одержимый, гневный). Более того, немецкое слово генетически связано и с некоторыми негерманскими словами, в частности с др.-инд. *vatali* (последнее – дериват формы **uat*, переводимой как «набухать, разбухать»). При этом часто указывается на первичность индоевропейского корня **uat* – быть душевно возбужденным. Нередко индоевропейский корень **wat* (дуть, веять) связывают с этимологией рассматриваемых слов. Есть предположение, что первичное значение данного корня – это «вызванное нечеловеческими силами (демонами, богами) состояние потери человеком контроля над собой, его сильное возбуждение». В некоторых древних языках отмеченный выше корень слова обозначает различные состояния человека – безумие, необузданное возбуждение, дикий гнев, бешенство. В современном немецком языке актуальны как раз последние два значения (EW 1989, S. 1999).

Слово *Wut*, по данным словаря Ф. Клуге, корреспондирует с именем бога *Wotan*, буквально – «вдохновляющий, побуждающий к действиям» (*der Inspirierte*) (EW 1999, S. 900). Здесь, как кажется, уместно указать на интересные рассуждения Ю.С. Степанова и немецкого исследователя Х. Дизнера о происхождении рассматриваемого слова. Ю.С. Степанов, анализируя в одной из своих работ этимологию

индоевропейского корня **uat*, пишет о том, что в его семантике передано состояние возбуждения, вдохновения, экстаза. Не случайно во многих языках, по мнению Ю.С. Степанова, этот индоевропейский корень породил слова со значением «пророк, поэт, прорицатель»: лат. *vates*, др.-ирл. *faith*, др.-рус. *вътии*. При этом ученый предлагает сравнить читателю данные слова с гот. *wods* (одержимый) и др.-исл. *odr*. От последнего как раз и было образовано имя одного из богов в германском пантеоне – бога магического знания и вдохновения, предводителя войска мертвых Одина – др.-исл. *Odinn*, др.-англ. *Woden*, др.-верх.-нем. *Wuotan* (Степанов 1997, с. 296, курсив мой. – Н.К.).

Согласно этнологу-лингвисту Х. Дизнеру, Один или Wot / (d)an, олицетворявший собой силы природы, в особенности силу бури и выполнявший функции хозяина небес и земли, не относился древними германцами к числу любимых и популярных божеств. Скорее всего, древние германцы его больше боялись, чем любили (Diesner. – Цит. по: Осипова 1990, с. 153). Будет уместным отметить «связь времен»: буря – это современный символ бешенства, гнева в европейской культуре (см.: Силецкий 1990, с. 439–440).

Если следовать точке зрения В. Пфайфера, то можно сделать вывод о номинации обсуждаемым словом целой серии онтологически близких друг другу эмоций – «сильное возбуждение, волнение, сильное душевное потрясение». В этом случае налицо расплывчатость его семантики в древневерхненемецком языке. Если же придерживаться объяснения данного слова Ф. Клуге, то следует констатировать мифичность его этимологии. Им первоначально обозначался германский бог Wotan.

Номинант эмоции *Grimm*, уже вышедший из активного употребления в современном немецком языке, вначале имел значение «сильный гнев, бешенство», а затем с конца XVIII в. его семантика трансформируется, теряет сему интенсивности, и он означает «подавленный, скрытый гнев». Этимология этого слова, кажется, чрезвычайно любопытна. В др.-верх.-нем. существовало выражение *zano gigrimn* – скрежетать зубами (около IX в.). В нов.-верх.-нем. его дериват *grimmi(n)* употребляется в значении «жестокость, строгость, дикость, бешенство». Сам же субстантив происходит от др.-верх.-нем. прилагательного *grim*, *grimmi* и наречия *grimmo* – дикий, жестокий. В ср.-верх.-нем. языке значение этого прилагательного несколько изменяется (расширяется). Теперь оно выражает смысл «недружественный, болезненный, дикий, гневный». Аналогичные формы слова обнаруживаются не только в других германских языках – ср.-нидерл. *grim*

(дикий, жестокий, ужасный); др.-англ. *grim* (дикий, жестокий, ужасный, гневный) (EW 1989, S. 605–606), – но и в языках романских, напр., ст.-фр. *grim*. Исследователи истории жизни слов указывают на родственность происхождения *Grimm* и *Gram* (EW 1999, S. 338).

Опираясь на этимологические данные, можно сделать заключение, что первоначально производящей основой слова *Grimm* (*zango gigrimm*) обозначалась соматическая (вероятно, агрессивно ориентированная) поведенческая реакция человека. Впоследствии его семантика расширяется. Им номинируется не только эмоция (бешенство), но и черта характера человека – жестокость, строгость. В новонемецком языке происходит очередная трансформация семантики данного слова: им обозначается только эмоциональное состояние человека.

Следующий член синонимического ряда *Zorn* – номинант эмоции *Ingrimm* – является производным от вышерассмотренного слова. Он появился в немецком языке позднее (конец XVIII в.), употребляется в значении «с трудом сдерживаемый гнев, злоба, злость». Ученые видят связь между этим словом и целым рядом негерманских слов: греч. *chrome* – грохот; ст.-слав. *grъmeti* – греметь, рус. *gremet'* – греметь, *grom* – гром. По В. Пфайферу, все приведенные здесь слова, в том числе и немецкое *Ingrimm*, восходят к индоевропейской основе **ghrem-* – сильно и глухо звучать (EW 1989, S. 606). Данное слово, по утверждению Ф. Клуге (EW 1999, S. 400), образовано от форманта *-in*, имеющего значение «inner» (внутренний), т.е. *Ingrimm* значит «внутренний (подавляемый) гнев». Нам кажется, что это слово мотивировано; имеет внутреннюю форму. Здесь же стоит указать на то, что в современном немецком языке оно – моносемант и имеет статус архаизма.

Слово *Entruistung*, появившееся в немецком языке в начале XVIII в., образовано от глагола *entruesten* (XIII в.). Первоначально сам глагол в ср.-верх.-нем. языке употребляется в значении «die Ruestung ausziehen, abnehmen», а уже затем и в метафорическом значении – «выйти из состояния спокойствия, равновесия» (EW 1989, S. 1458; EW 1999, S. 224). Эмоциональное значение этого слова, таким образом, производно. Его следует рассматривать как результат метафорического переосмысления – переноса наименования конкретной ситуации на психическое состояние человека.

Слово *Aufgebrachtheit*, обозначающее эмоцию, является дериватом глагола *aufbringen*. Последний начинает употребляться в значении «разозлить, разгневать» в рн.-верх.-нем. языке (EW 1989, S. 62).

Данная лексическая единица в современном немецком языке моносемична.

Имеющее латинскую основу (*furere* – бушевать, быть в гневе) слово *Furore* в XIX в. заимствуется из итальянского *far, furore*. Оно связано с мифическим образом Фурии (богиня мести). В современном языке словом *фурия* называют гневную, злую женщину (EW 1989, S. 547; EW 1999, S. 292). Оно так же, как и *Aufgebrachtheit*, моносемично.

Rage заимствовано из французского языка. Его появление в немецком языке датируется XVIII в. Данное слово латинского происхождения. Его первичная форма в латинском языке *rabies*. Последнее имело значение «страстное возбуждение, волнение» (EW 1999, S. 664). Слово *Rage* обозначало и по-прежнему обозначает эмоциональное человеческое состояние. Каких-либо заметных семантических трансформаций оно не претерпело. Оно – моносемично, малоупотребительно, стилистически маркировано «разг.».

Редко употребляется в современном языке и номинант эмоции *Koller* (только в разговорной речи). Однако в отличие от *Rage* в немецком языке он зафиксирован относительно рано (X в.). Его первичная морфологическая форма в др.-верх.-нем. языке – *Koloro* (боль в животе). Это слово имеет латинскую основу (*cholera*). Установлена его связь с греческим словом *chole*, что значит «желчь», «гнев». Данное слово употреблялось в средние века как медицинский термин (EW 1999, S. 463), в современном немецком языке – как терминологическое обозначение болезни в зоомедицине (бешенство).

Следующее в синонимическом ряду *Zorn* слово *Raserei* – дериват глагола *rasen*. В немецком языке оно появилось в XV в. и имело значения «быстро бежать», «быстро перемещаться»; «быть безумным»; «бушевать», «быть в гневе». Этимологи отмечают генетические корреляции немецкого глагола с другими германскими словами: ср.-нидерл. *rasen*, нидерл. *razen* (быть безумным, быть бешеным); др.-англ. *roesan* (спешить, умчаться, нападать); швед. *rasa* (быстро вбежать, ввалиться куда-л.). Указывается также на связь всех этих слов с индоевропейскими корнями **ers-*, **res* (быть возбужденным, взволнованным) и соответственно с **er-*, **or-*, **r* (двигаться, отправиться в путь, подниматься) (EW 1989, S. 2031). По Ф. Клуге, существует связь между рассматриваемым словом с греческой формой *erōēō* (я плыву) и, возможно, с латинской формой *rorarii* (легко вооруженные люди, начинающие военные действия с забрасывания противника предмета-

ми) (EW 1999, S. 668). Данное слово в современном немецком языке многозначно. Помимо своего основного (теперь уже эмоционального) значения оно имеет и значение «быстрая езда». Правда, в последнем значении это слово сегодня употребляется редко.

Наблюдения над семантическими трансформациями слова *Raserei* обнаруживают, как мы понимаем, корреспонденцию различных понятийных сфер: физическое перемещение в пространстве, психическое состояние человека.

Теперь рассмотрим русскоязычный материал в этимолого-культурологическом аспекте. В синонимический ряд с доминантой *гнев*, согласно словарям, включены следующие номинанты эмоций: *гнев*, *раздражение*, *ярость*, *бешенство*, *негодование*, *возмущение*. Следует с сожалением заметить, что в специальных источниках есть этимологические сведения только о двух из вышеназванных слов – *гнев* и *ярость*. Возможно, этот факт объясняется поздним возникновением остальных слов в русском языке.

Согласно М. Фасмеру (ЭС 1996, т. 4, с. 562), слово *ярость*, имеющее славянское происхождение и являющееся дериватом от *ярый* (ср. *ярый* – *яр*, *яра*, *яро*, *ярость*, *яриться*, укр. *ярий*, болг. *яро*ст – ярость, сербохорв. *jariti se* – горячиться, словен. *jar en* – яростный, энергичный, сильный), первоначально обозначало объекты физического мира и их качества, свойства (сербохорв. *jara* – жар от печи, др.-чеш. *jarobujný* – горячий). Считается, что славянское прилагательное *ярый* употреблялось также в значении «яркий, сверкающий» (ЭС 1996, т. 4, с. 562).

Аналогичны рассуждения А.Г. Преображенского о происхождении этого слова: «Яр – горячий, пылкий, сердитый, быстрый, одушевленный; светлый, белый, блестящий. Ярость – неукротимый гнев, лютость, неистовство; яростный, лютый, бешеный от гнева и т.п.; яриться – гневаться, сердиться, чувствовать похоть. Ярко – блестящий. Сюда же Яро – в собственных именах: Ярослав, Ярополк и т.п. Сюда же название божества Ярило» (Преображенский 1959, т. 2, с. 1278).

Некоторые этимологи первичной формой рассматриваемых слов называют праславянскую форму **jarъ*, которая родственна греч. *ζωρος* – огненный, сильный, несмешанный (о вине). По версии же И. Шмидта, которую разделяют далеко не все ученые, праславянская форма **jarъ* родственна лат. *īra* (гнев), а также др.-инд. *irasyáti* (гневаться) (ЭС 1996, т. 4, с. 562).

Приведенные здесь лингвистические факты позволяют заключить, что, во-первых, слово *ярость* – дериват, во-вторых, оно славянского происхождения и, в-третьих, первоначально данной лексической единицей номинируются конкретные физически воспринимаемые свойства (жар от печи, огонь, сверкание, блеск). Заметим, что в современном русском языке оно – моносемант.

Выводы

Выше мы высказали предположение о возможном подтверждении базисности выделяемых психологами определенных эмоций (страх, радость, печаль, гнев) лингвистическими данными. Психологи, психоаналитики, экзистенциалисты-философы, ряд этнографов и культурологов, как было указано ранее, считают, что базисность эмоций определяется их релевантностью для человеческой жизнедеятельности, их биопсихическими функциями, которые оказываются вне времени и культуры всегда актуальными для организма, в целом – бытия человека. При этом делается утверждение о хронологической последовательности осознания архаичным человеком разных эмоций (Нойманн 1998; Риман 1998 и др.), что объясняется все большим абстрагированием человеческого мышления. Напомним читателю, что одной из задач, решаемых нами, является лингвистическая верификация данного умозаключения. Одним из необходимых условий ее реализации, по нашему мнению, является обращение исследователя к происхождению слов, корреспондирующих с эмоциональной концептосферой языка. Резюмируем вкратце результаты ее этимологических штудий.

Во-первых, следует указать на принципиальную возможность установления хронологической последовательности появления тех / иных слов, номинирующих ЭК в сравниваемых языках на современном этапе их развития. Выделение базисных из общего множества ЭК с точки зрения этимологии номинирующих их слов оказалось в значительной мере правомерно. Знаки, лингвистически оформляющие, в частности в немецком языке так называемые базисные номинанты эмоций (*Angst, Freude, Trauer, Zorn*), имеют место уже в *древневерхне-немецком* языке (VIII–IX вв.). Так называемые небазисные номинанты эмоций (37 единиц), как правило, значительно позже появляются на семиотической карте немецкого языка и как слова вообще, и как слова, коррелирующие с психическим миром древнего человека (11

в ср.-верх.-нем., т.е. XII–XV вв.; 15 – в ново-верх.-нем., т.е. XVI в.). Исключение здесь составляют такие слова, как *Furcht*, *Lust*, *Wonne*, которые появились в немецком языке до XII в. Происхождение 8 слов учеными не установлено.

Русскоязычный материал на предмет продуктивности его этимологического анализа оказался менее репрезентативным. В нем по сравнению с немецкоязычным было проанализировано меньшее количество лексических единиц, обозначающих ЭК (11, в т. ч. 4 из них базисные), что связано с отсутствием в словарях соответствующих этимологических данных. Оказалось, что слова, вторичные значения которых связаны с эмоциями, появились уже в древнерусском языке. Они хронологически опередили своим образованием слова, коррелирующие впоследствии с человеческими ощущениями, чувствами, т.е. небазисные номинанты эмоций (*боязнь*, *трепет*, *отрада*, *ярость*, *грусть*). Исключением здесь является слово *тоска*, зафиксированное так же, как 4 базисных номинанта эмоций, уже в древнерусском языке. У слова *радость* по одной из существующих версий первичным было эмоциональное значение «охота», «желание», «забота».

Во-вторых, необходимо отметить, что часть базисных номинантов эмоций в обоих языках является производными лексико-семантическими единицами (*Angst*, *Freude*, *Trauer*, *радость*), а часть – непроизводными (*Zorn*, *страх*, по одной из версий – и *гнев*, *печаль*). Это правило оказывается еще более актуальным для небазисных номинантов эмоций, которые представляют собой дериваты от существительных (в некоторых случаях – от базисных номинантов эмоций *Traurigkeit*, *Jaehzorn*, *отрада*), прилагательных (*Furcht*, *Gram* и др., *ярость*) и глаголов (*Freude*, *Grauen*, *Grausen*, *Wonne* и др., *радость*, *ужас*, *боязнь*). В этой связи важно указать на лексико-деривационные, словообразовательные возможности субстантивных базисных номинантов эмоций (но не наоборот!). – Ср. *Traurigkeit* ← *Trauer*, *Jaehzorn* ← *Zorn*, *отрада* ← *радость*. Можно констатировать, что от имен существительных в немецком языке, как свидетельствуют данные этимологических словарей, было образовано 11 номинантов эмоций (*Schreck*, *Hochgenuss*, *Traurigkeit*, *Truebsal*, *Truebsinn*, *Kummer*, *Wehmut*, *Jaehzorn*, *Ingrimm*, *Koller*, а также *Wonne* – по одной из версий) и соответственно 2 номинанта эмоций в русском языке (*отрада* и *грусть*). От имен прилагательных в немецком языке образовано 5 лексических единиц, номинирующих эмоции (*Angst*, *Trauer*, *Furcht*, *Gram*, *Wut*), и в русском соответственно всего лишь одна лексическая

единица (*ярость*). И, наконец, укажем, что глагольными дериватами являются 12 номинантов эмоций в немецком языке (*Freude, Beklemmung, Schrecken, Grauen, Grausen, Gefallen, Vergnuegen, Behagen, Entzuecken, Wonne, Entruestung, Raserei*) и 3 – в русском (*радость, ужас, боязнь*).

Мы считаем вопрос деривации номинантов эмоций существенным применительно к решаемым в данной книге задачам, поскольку, на наш взгляд, установление семантической эволюции слов позволяет выявить сам характер мыслительной деятельности человека в диахронии, его лингвокогнитивные усилия, направленные *vollens non vollens* на установление *определенности* денотатов окружающего мира (как внешнего, так и внутреннего). Субстантивация глаголов, прилагательных – это результат «приписывания» древним человеческим языковым сознанием *постоянных* смысловых признаков данным частям речи. Будучи субстантивированными, глаголы и прилагательные дополнительно как бы обретают большую «предметность», становятся более конкретными, определенными. Давно установленный компаративистами, этимологами регулярный высокочастотный переход в индоевропейских языках разных частей речи, в особенности имен прилагательных, в субстантивы, как нам кажется, можно толковать как необходимость создания более «предметных» оязыковленных субстанций в языке, наличие которых расширяет горизонты человеческого мировосприятия в силу «предметности», большей «субстанциональности» последних.

Общеизвестна недифференцированность, выражаясь современной лингвистической формулировкой, частеречная принадлежность слов в языках, «бытовавших» в далеком прошлом. При этом, как указывает авторитет мировой лингвистики французский исследователь А. Мейе, в древности между именами существительными, употребляемыми в генитиве, и прилагательными было значительно больше общих семантических и формальных черт, свойств, чем в современных индоевропейских языках (Мейе. – Цит. по: Осипова 1990, с. 161). Более того, субстантивы и прилагательные многие ученые рассматривают как полноценные языковые варианты, как взаимозаменяемые лингвокогнитивные элементы (см.: Мейе 1938, с. 353–354; Иванов 1963, с. 133. – Цит. по: Осипова 1990, с. 161).

В-третьих, следует отметить принципиальную релевантность вопроса первичности значений слов, обозначающих эмоции, точнее говоря, сам характер тех значений, которые были свойственны изначально в высшей степени размытым языковым единицам, имеющим

в том числе и отношение к чувственной сфере человека. Этимологические данные показывают, что «эмоциональные» лексико-семантические варианты, как правило, вторичны по своим хронологическим параметрам в значении анализируемых слов. Иначе говоря, слова, номинирующие эмоции в немецком и русском языках, первоначально обозначали фрагменты преимущественно физического мира (или реже – физиологического). Обычно данные слова, семантика которых на раннем этапе их существования была диффузна, номинировали следующие физические измерения: а) совершение физических действий, в том числе и человеком (*Beklemmung*, *Entsetzen*, *Entruistung*, *Gefallen*, *Gram*, *Scheu*, *Schreck*, *Schrecken*, *Raserei*, по одной из версий также *Grauen*, *Entzuecken*, *Kummer*, *страх*, *ужас* и др.); б) физические свойства предметов (*Truebsal*, *гнев*, *ярость*); в) узость пространства (*Angst*).

Данной лексикой обозначались и физиолого-витальные процессы: а) состояние человека (*Angst* в значении «удушие», *Trauer*, *Ingrimm* – болезненное самочувствие; б) *Genuss* – прием, поглощение пищи, *Behagen* – сытость, *Wehmut*, *Koller* – боль в животе). Исследуемые слова в прошлом также иногда обозначали факты, события, вызывающие соответствующее психическое состояние (*Grausen* – ужасное событие, *Vergnuegen* – веселое мероприятие, праздник, *Behagen* – хорошее самочувствие). Этимологическими словарями зафиксировано одно немецкое слово, обозначающее область утилитарной ценности, – *Genuss* – выгода, польза, по одной из версий. Эти факты подтверждают правомерность вывода некоторых исследователей, полагающих, что человеческий лексикон «располагает малым количеством слов, которые с самого начала обозначали феномены психики» (Ортега-и-Гассет 1990, с. 76).

Вышеизложенный материал позволяет, следовательно, утверждать, что часто реальные события, явления, предметы, вызывающие определенные эмоциональные реакции у древнего человека, ни на уровне мышления, ни, тем более, на уровне языка не дифференцированы. Они представляли собой некий единый комплекс общих представлений человека о самом реальном объекте физического мира и соответствующем эмоциональном отношении к нему.

Известный скандинавовед-этимолог М.И. Стеблин-Каменский пишет: «Весьма вероятно, что в более отдаленную эпоху многие отвлеченные обозначения явлений («война», «битва») или переживаний («ненависть», «ужас» и т.п.) были обозначениями более или менее человекообразных существ» (Стеблин-Каменский 1978, с. 35–36).

Можно предположить, что в древности человек относился к переживаемым эмоциям как к чему-то вполне реальному, существующему в действительности. Эмоции, являющиеся в нашем современном понимании некими лингвокогнитивными абстракциями, отождествлялись в древности с объектами предметного мира. Интересными в этой связи представляются рассуждения лингвиста-этнолога К. Остхеерена, рассматривающего семантику и этимологию понятийного поля «радость» в древнеанглийском языке. Он связывает осмысление человеком чувств с таким экстралингвистическим фактором, как христианство, сменившее язычество. В язычестве, по его мнению, первоначальное понятие радости корреспондировало с культовыми, обрядовыми действиями: играми, танцами, пением. Радость – это было нечто обязательное, воспринимаемое зрительно и на слух; представление об этом чувстве имело очень мало общего с тем, что является внутренним состоянием современного человека (Ostheeren. – Цит. по: Феоктистова 1984, с. 45).

Приведенные здесь собственные лингвистические факты, а также языковой материал, описанный другими исследователями, со всей очевидностью подтверждает правомерность мнения ученых о том, что человеческое мышление действительно движется от более конкретного к более абстрактному. Считаем также важным указать на сам характер подобного рода мыслительного движения. Первичные значения слов покрывают собой преимущественно физически воспринимаемые объекты действительности, а также физиолого-витальные процессы. Их наречения переносятся на ментальный, внутренний, психический мир человека. Эти переносы (см., например, классические примеры с метафорой, метонимией) основаны на уподоблении феноменов, принадлежащих к разным формам действительности, разным сферам бытия.

В-четвертых, представляется важным рассмотреть исследуемые слова на предмет выявления трансформаций (в том числе, специализации, сужения и расширения) их семантики в диахронической плоскости немецкого и русского языков и установления первичных и вторичных значений. Решение этой исследовательской задачи предполагает максимально тщательное использование этимологической эмпирической базы, учета всей богатой палитры версий о первичности и соответственно вторичности того / иного значения слова. Совершенно естественны и очевидны возникающие при этом некоторые сложности, связанные как с самой многовариантностью толкований происхождения интересующих нас слов (см., например, *Behagen*,

Gefallen, Grauen, радость, страх), так и их семантической диффузностью. Здесь же следует указать и на приблизительность, неполноту этимологических данных в отношении ряда слов (*отрада, гнев, тоска, Furcht*).

Этимологические данные, которыми мы располагаем, говорят о том, что большинство проанализированных языковых единиц, как правило, за счет конкретизации *сужают* свои синкретичные значения. Последние приобретают со временем свойства точности, все большей определенности, что детерминировано общим развитием человеческого мышления, его все возрастающими эвристическими возможностями освоения мира. Наиболее очевидно наблюдаем данный гносеолого-семантический процесс в словах *Beklemmung, Grauen, Scheu, Truebsal, Kummer, Wehmut, Grimm, Ingrim, Zorn, боязнь, ярость*. Вместе с тем следует отметить некоторые немногочисленные случаи (3) расширения значений слов, номинирующих эмоции в немецком языке (*Freude, Lust, Trauer*). Так, например, слово *Lust* первоначально в древневерхненемецком языке номинировало исключительно конкретный тип поведения человека – «распутство». В современном же немецком языке оно, сохранив с небольшой трансформацией данное значение, приобрело и другой смысл – обозначение всякого желания, не обязательно сексуального удовлетворения. Примечательно, что четко выраженного расширения значения среди исследуемых слов русского языка нами не обнаружено, что, вероятно, объясняется меньшим объемом проанализированного русскоязычного материала и, кроме того, его менее качественным этимологическим описанием.

Зафиксированные нами противоположные по своей сути семантические процессы, характерные для ряда в современных сопоставляемых языках номинантов эмоций, – сужение и расширение – иллюстрируют лингвокогнитивную дифференциацию человеческим языковым сознанием объектов различных форм действительности, в том числе и языковой. Причины, лежащие в основе отмеченных семантических процессов, различны – собственно языковые, исторические, этнографические, социальные, психологические. На них мы остановимся в следующих разделах работы при анализе парадигматических и синтагматических связей номинантов эмоций в немецком и русском языках, что, на наш взгляд, соответствует самой логике изложения материала. Здесь же ограничимся несколькими самыми общим замечаниями.

Психологизм значений слов, большинство которых изначально не обозначает человеческие эмоции, выводится из присущей любо-

му, в том числе и архаичному человеческому сообществу, общей антропоморфности. Последняя, в свою очередь, есть результат постепенной социализации человека. Языковой материал показывает, что слова, обладающие первичными «физическими» значениями, со временем (и до, и во время Средневековья) все более интенсивно обрастают эмоциональными смысловыми оттенками, эмоциональным «налетом», который впоследствии вытесняет «физические» семы либо совсем из структуры значения определенного слова, либо на его периферию. Само же переструктурирование «мельчайших элементов мысли» – сем – в рамках значения / значений слов можно квалифицировать, по нашему мнению, как результат такой человеческой ментальной операции, как перенос наименований, главным образом с физических объектов мира, а также (правда, в меньшей степени) и с физиологических состояний человека, на фрагменты психического, в целом – духовного мира. Данный перенос, имеющий гносеолого-лингвистический характер, основан на элементарном сравнении фрагментов мира в целом и обнаружении в них *Homo sapiens* разнообразных аналогий, сходств (например, функциональных, формальных и т.п.).

Трансформации значений слов происходят во многом благодаря расширению контекста их употреблений. Чем более актуальными для сознания человека оказываются *еще не вербализованные, но уже интуитивно осознаваемые* им эмоциональные смыслы, тем более интенсивно проявляют себя различного рода метафорические переносы (в самом широком смысле данного слова).

Симптоматичным в этой связи является происхождение ряда немецких и русских номинантов эмоций от мифических образов (*Wut* ← *Wotan*, *Furor(e)* и *фурор* ← Фурия, *Panik* и *паника* ← Пан). Здесь налицо перенос наименований фрагментов древней (в прошлом чрезвычайно релевантной) мифологической картины мира на ткань эмоциональной языковой картины мира. Не менее любопытно также и происхождение русского слова *радость*, которое, по одной из этимологических версий, якобы произошло от формы **arda* – имени одного из славянских вождей.

Заслуживающим нашего внимания следует признать и факт терминологического использования слов *Entzuecken*, *Entsetzen*, *Seligkeit* в немецком языке первоначально в мистике и религии. При этом следует указать на значительное место мистики в жизни человека в эпоху раннего европейского средневековья. Благодаря ей в это время, по мнению ряда ученых, наиболее активно реализуются креативные

тенденции, которые привели к созданию новых языковых форм и структур, особенно в сфере номинации, включая словообразование. «В поздней мистике 17 века и в опиравшемся на нее пиетизме также происходит существенное обновление вокабуляра, призванного обозначить *внутренний мир* человека. <...> Словарь, передающий этот внутренний мир, первоначально развивается именно в этих видах *религиозной литературы* и лишь затем проникает в художественную литературу 18–19 столетий» (Семенюк 1990, с. 41, курсив мой.– Н.К.).

В-пятых, укажем на такой достаточно банальный факт, как наличие генетических связей номинантов в немецком и русском языках со словами целого ряда других языков (обычно германскими и соответственно славянскими, а также санскритом, древнегреческим, латинским).

И в заключение следует отметить небольшое количество номинантов эмоций, непосредственно заимствованных как обозначения сферы человеческих чувств в немецком (3 единицы – *Panik*, *Furor(e)*, *Spass*) и русском языках (2 единицы – *паника*, *фурор*) на их позднем этапе развития.

3.2. Лингвокультурологическая характеристика эмоциональных концептов в лексикографии

В лингвистике, как, впрочем, и в любой другой научной дисциплине, можно выделить ряд проблем, принципиально не теряющих своей актуальности несмотря на их постоянное обсуждение учеными, объективную смену приоритетов в рамках той / иной отрасли научного знания. Лучшим аргументом здесь может служить анализ самого характера, направленности серьезных публикаций как отечественных, так и зарубежных ученых. К такого рода вечным научным лингвистическим, точнее – лингвофилософским, проблемам следует отнести, на наш взгляд, «лексикографический вопрос». Его можно назвать излюбленным объектом многочисленных филологических исследований как в прошлом, так и в наши дни. «Возраст» актуальности лексикографической проблематики обусловлен самыми различными факторами, причем не только и, мы бы сказали, не столько интралингвистическими, сколько экстралингвистическими.

При этом имеется в виду, в первую очередь, не только практическая польза словарного дела, но и его безусловная теоретическая цен-

ность, в частности важность создания специального метаязыка, позволяющего объяснять языковые значения, а значит, и сам мир. Думается, что в хорошо известном лингвистической общественности афоризме, приписываемом великому философу Декарту, «научитесь правильно определять значения слов, и вы избавите мир от половины его заблуждений», нет ни следа гиперболы. В самом деле, актуальность лексикографических изысканий в значительной степени связана с такой фундаментальной, центральной для всякой гуманитарной науки проблемой, как «язык и мышление». Пожалуй, трудно найти, в частности в лингвистике, другой вопрос, которому бы уделялось столько внимания и который не становился бы постоянным предметом многочисленных жарких дискуссий.

Можно с уверенностью прогнозировать сохранение актуальности «лексикографического вопроса» в филологии в обозримом будущем, что объясняется перманентно протекающим процессом освоения человеком мира, постоянно увеличивающегося (на определенных этапах развития цивилизации в геометрической прогрессии) багажа его теоретических и практических знаний.

Лексикография успешно и интенсивно развивалась в XX столетии, особенно в его второй половине, объяснение чему видится во все более существенном углублении человеческого знания, в расширении его границ. Процесс активного распредмечивания человеком действительности объективно предполагает появление новых понятий, их признаков, которые «обречены» на свою вербализацию, прежде всего на уровне лексемной номинации. Их оязыковление является одним из условий человеческой коммуникации, обеспечивающей полноценную жизнедеятельность *Homo sapiens*. Эффективность человеческого общения посредством вербальных знаков во многом зависит от адекватности, степени полноты определения существующих представлений, понятий, концептов, в целом – любых других наших ментальных поступков. Вербализация и соответствующее определение последних – это безусловная прерогатива естественного и семантического языка (т.е. языка описания семантики, метаязыка).

Результаты дефинирования ментальных операций, совершаемых человеческим сознанием при освоении им как реального, так и виртуального мира, фиксируются специальным объяснительным текстом, представляющим собой, согласно лексикографической терминологии, словарную статью. Словарная статья – ключевое понятие лексикографии. По своему функциональному предназначению она несет в себе информацию, содержащуюся на всех уровнях языка – фонологическом,

лексическом (лексико-семантическом), фразеологическом, грамматическом. Словарная статья, по сути, вербально фиксирует собой «алфавит идей», биографические данные того / иного понятия, мыслительных образований, и, следовательно, в целом и историю развития человеческой цивилизации.

Лексикографы (см., например, Kuehn, 1978; Schaefer, 1987) словарную статью квалифицируют как самостоятельный тип текста, обладающий соответственно специфической архитектурой и содержанием. Германист П. Виганд пишет: «Словарная статья – это упорядоченная совокупность лексикографических текстовых элементов и / или лексикографических текстовых блоков – Textbausteine» (Wiegand P. – Цит. по: Schaefer, 1987, S. 104, перевод мой. – Н.К.).

На нынешнем этапе развития лексикографии (в особенности зарубежной) основательно разработаны требования к структуре и содержанию словарной статьи, выполнение которых, правда, нередко проблематично в силу самых разных причин (ограниченный объем данного типа текста, дискуссионность и, более того, нерешенность ряда концептуальных теоретических вопросов, в частности семасиологического свойства и др.). Несмотря на указанные сложности, созданы толковые словари, в целом удовлетворяющие предъявляемым к ним основным требованиям: указание леммы; сведения об орфографии, орфоэпии леммы, ее морфологический и синтаксический «паспорт»; диасистематические сведения – стилистические пометы, указание источников заимствования, индекс частотности, коннотации («ирон.», «пренебр.», «оскорб.»), нормативные данные («спорно», «некорректно», «неправильно»); толкование (объяснение) лексического значения слова (дефиниции) (подробнее см.: Schaefer, 1987, S. 104–106).

Некоторые исследователи аргументированно высказывают суждение об *инструктивном* характере словарных статей (Instruktionstexte), которые указывают их пользователям «правильное, нормативное и наиболее *регулярное употребление* (Gebrauch) лексических единиц», что в обязательном порядке предполагает их *речевые иллюстрации* в самой структуре данного типа текста (Textsorte) (Schaefer, 1987, S. 105, перевод и курсив мой. – Н.К.). В своей монографии выше цитируемый немецкий лексикограф напоминает читателю давно уже ставшее крылатым изречение Л. Витгенштейна: «Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache».– «Значение слова есть его употребление в языке», методологическую значимость и актуальность которого, по Б. Шедеру, следует учитывать прежде всего составителям языковых словарей (Schaefer, 1987, S. 106, перевод мой. – Н.К.).

Словарная статья, таким образом, в действительности является достаточно надежным способом получения как обширной лингвистической, так и общекультурной (пусть и в миниатюре) информации для ее пользователя. Еще раз хотим акцентировать наше и читательское внимание на лингвокультурологической релевантности примеров, иллюстрирующих не только правила, нормы употребления лексических единиц, обозначающих определенные, в частности и в особенности, культурные концепты, но и место последних в социальной системе ценностей их продуцента и носителя. Словарная статья в сжатом, концентрированном виде представляет результаты освоения носителями того / иного этноса объективного и субъективного мира.

Как текст словарная статья имеет специфическую структуру, определенные «правила игры», которые, в свою очередь, зависят от среды ее лингвокультурного обитания – типа лексикографического источника. По традиции существующие словари обычно классифицируют на филологические и энциклопедические. Первые призваны фиксировать фрагменты так называемой наивной картины мира, включающей в себя все те знания, которыми обладает среднестатистическая языковая личность; вторые же олицетворяют собой носителя огромной, веками накопленной человеком суммы четко сформулированных, иерархически выстроенных *научных* знаний, иначе говоря, фиксируют фрагменты научной картины мира. Следовательно, объем и уровень притязаний у словарных филологических и энциклопедических статей различны.

К числу дискуссионных относится вопрос о том, *что* определяет-ся в словарной статье, в частности в словарной дефиниции, – само явление экстралингвистической действительности или обозначающее его слово. Некоторые исследователи (мы бы их условно отнесли к классу номиналистов), рассматривая дефиницию «как концептуальный механизм контроля над функциями слова», утверждают, что нами всегда «определяются “слова”, а не “вещи”» (Кафанья 1997, с. 96), с чем, по нашему мнению, можно согласиться в том случае, если речь вести о филологических словарях. «Слова» определяются филологом-лексикографом, а «вещи» дефинируются энциклопедистом, специалистом той / иной отрасли знания. Последний имеет дело исключительно с толкованием «вещей».

Мы солидарны с мнением З.И. Комаровой, которая при характеристике задач разнотипных словарей пишет следующее: «Задачи энциклопедии – связно и более или менее *пространно* (насколько позволяют рамки всего издания и отдельных статей) рассказать о том

явлении, которое обозначено вокабулой (заглавным словом или словосочетанием). Предмет объяснений энциклопедии – *сама действительность*, жанр энциклопедических объяснений – статья, хотя бы очень сжатая <...> Иные задачи толкового словаря. Это *лаконичное* систематическое описание каждого слова или словосочетания, данного вокабулой. Предмет объяснения – *не действительность*, а отображающее ее *слово*. Жанр объяснения – определение, фиксирующее существенные признаки, исходя из определенной системы» (Комарова 1991, с. 43, курсив мой. – Н.К.).

В словарной статье представлена непосредственно сама картина мира, составляющими которой являются человеческий опыт, знания в различных областях, сферах деятельности Homo sapiens. Иначе говоря, словари репрезентируют всю совокупность знаний человека о мире; в словарных дефинициях представлены вербализованные человеческие представления, понятия, составляющие саму сущность картины мира.

Степень информативности филологических и энциклопедических словарей различна. Безусловно, более информативными являются словарные статьи, содержащиеся в энциклопедических (специальных, например, медицинских, технических и т.п.) словарях, что определяется непосредственно их адресностью.

Соглашаясь в принципе с вышеприведенным мнением З.И. Комаровой, следует вместе с тем указать на все более серьезные претензии филологических словарей к полноте иллюстраций сущности фрагментов действительности. Многие из составителей современных, в особенности западно-язычных (в частности англоязычных) филологических словарей не ограничиваются исключительно отображением «вторичной» действительности, т.е. раскрытием семантических и других свойств слова, а пытаются посредством минимального набора «техник» дать более / менее полное представление описываемого феномена (см.: последние издания англоязычных словарей Webster, Roge, немецкоязычного словаря Wahrig). Гипотетически можно утверждать, что фундаментальные филологические словари *будущего* могут все в большей мере «энциклопедизироваться», «терминологизироваться» в смысле полноты представляемой в них пользователю информации.

Попытки полноты фиксации сведений о языке (его семантике, структуре, даже функционировании) и, следовательно, отображаемых им феноменах, приводят ученых к мысли о необходимости создания тезаурусов. Под ними понимаются словари, в которых: 1) максималь-

но полно представлены все слова языка с исчерпывающим перечнем примеров их употребления в текстах; 2) показаны семантические отношения между лексическими единицами определенного языка (Шайкевич 1990, с. 506). Заметим, что при обсуждении вопроса о составлении тезаурусов многими лексикографами отмечаются объективные сложности (см.: Апресян 1995; Апресян 1995 а; Морковкин 1988, с. 131–136; Jaeger, Plum 1989, S. 849–855), главной из которых считается реализация формулы «от знака к концепту, от концепта к знаку», т.е. наличие в подобного рода словаре «более чем одного входа» (Караулов 1981, с. 148–149). Можно утверждать, что глубина интерпретации языкового (преимущественно лексического) материала находится при этом в известном, вполне объяснимом противоречии с его унификацией, оптимизацией лингвистической подачи.

Естественно, при создании тезауруса имеют место и другие трудности, общие для составления любого толкового словаря, что нередко связано с определением объема и существенных характеристик дефинируемого понятия, его недостаточным освоением человеческим языковым сознанием. Всякое понятие (или концепт), как было ранее нами проиллюстрировано, – это, прежде всего, знание человеком исследуемого объекта. Из этого утверждения следует, что толкование лексикографом ментальных феноменов значительно определяется самим *знанием* человека непосредственно денотата. Если понятие недостаточно распрямлено, если его содержание не имеет четко установленных границ, то и семантика номинирующего его знака в высшей степени будет расплывчата, диффузна. Другими словами, чем неопределеннее сущность обозначаемого, тем менее полна его лексикографическая репрезентация.

При составлении словарной статьи, раскрывающей в свернутом виде содержание понятия, лексикограф, опираясь на собственную лингвистическую и общую компетенцию, с одной стороны, и на имеющиеся энциклопедические данные, с другой, пытается дать максимально доступное по уровню вербальной сложности и минимально достаточное по называемым признакам словарное определение. Самым важным при этом является умение составителя словаря отобрать наиболее релевантные признаки, характеризующие то / иное понятие. Их вербальная фиксация в словарной дефиниции должна быть, с одной стороны, достаточной в смысле «узнавания» читателем дефинируемого явления, а с другой – минимальной по объему, что определяется требованиями, предъявляемыми к филологическим словарям.

Словарная статья состоит из двух узловых частей – собственно дефиниционной и иллюстративной. В первой из них раскрывается сущность понятия. В ее дефиниционной части должны быть определены объем и содержание понятия. Иллюстративная часть словарной статьи, предлагающая читателю контексты употребления языковой единицы, выражающей понятия, раскрывает тем самым сущность концепта (концепт = понятийный + ценностный + образный компоненты). Следовательно, в словарной статье как специфическом типе текста свернута информация как о самом понятии, так и о его оценке, понимании носителями языка. Попутно заметим, что иллюстративная часть статьи имеет особую культурную значимость в учебном типе словаря. От того, насколько она полно и глубоко раскрывает содержание определяемого концепта, во многом зависит его освоение изучающими иностранный язык и в целом чужую культуру. Вполне естественно, что далеко не каждая словарная статья удовлетворительно описывает то / иное явление. Качество его лексикографической репрезентации зависит от множества факторов: цели, задач, типа, объема словаря, исследовательского таланта его составителя и т.п. Важно отметить, что успешность, адекватность лексикографирования языковых единиц, обозначающих понятия, во многом детерминируется не только инструментом толкования, удачным набором компонентов так называемой правой части словаря, но и специфическими (семантическими, структурными, функциональными) чертами определяемого слова. Из лексикографической практики хорошо известна простота дефинирования одних слов и сложности определения сущности других. Наиболее трудно дефинируемы оказываются языковые единицы, номинирующие недостаточно удовлетворительно изученные понятия той / иной области человеческого знания. Лексику абстрактного характера, как правило, бывает чрезвычайно сложно эксплицировать на уровне метаязыка, поскольку она часто обозначает *fuzzy sets* (т.е. нечеткие множества).

Хорошо известна констатация факта учеными диффузности лексико-семантических и грамматических категорий нашего языка, их неясности, некоторой размытости. Отсюда многочисленные жалобы наших смежников (культурных антропологов, этнологов, культурологов), уличающих язык как инструмент коммуникации и познания в его несовершенстве. Ярким примером могут служить рассуждения американского культурантрополога А.К. Кафанья о неясности такого явления, как, например, покров волос человека. Он пишет: «Пример неясного слова – слово “лысый”. Сколько волос должен поте-

рять человек, чтобы мы могли назвать его лысым?» (Кафанья 1997, с. 93).

Этот симптоматичный и, с нашей точки зрения, на редкость удачный в силу своей экспрессивности и известной натуральности пример иллюстрирует идею определенной «парадигматической» неясности человеческого языка. Взяв на себя функцию его адвоката, заметим, что диффузность языковых категорий, имеющая место в любом «важнейшем средстве коммуникации», как правило, снимается контекстом, самой ситуацией общения. Языковые знаки принципиально не могут быть раз и навсегда застывшими, окаменевшими содержательными структурами. Их пластичность психологически и коммуникативно необходима, поскольку, во-первых, возможности нашей памяти ограничены (количество слов, лексем не может расти пропорционально количеству возникающих понятий – закон А. Мартине), а, во-вторых, расплывчатость знака позволяет *контекстуально* вербализовать устанавливаемые человеком глубокие смыслы, идеи, количественность которых не фиксируема. Здесь же можно указать на колоссальные, выразительные возможности принципиально полисемичного устройства языкового механизма, успешно эксплуатируемые Номо loquens в риторических целях – каламбурь и т.п.

При этом, безусловно, мы отдаем себе отчет в том, что ученые, в особенности лексикографы, составители энциклопедических справочников, опираясь на фундаментальные накопленные человеком знания, обязаны совершать всевозможные интеллектуальные попытки с целью поиска оптимальных моделей, филологических способов, способных наиболее четко, определенно фиксировать признаки понятий, концептов, в частности тех, которые являются наиболее релевантными для той / иной культуры, того / иного страта.

К языковым единицам, имеющим диффузную семантику, относятся слова, обозначающие эмоции (Апресян 1995а, с. 453–465; Вежбицкая 1997г, с. 328–330; Красавский 1999, с. 134–141; Красавский 1999 а, с. 162–172; Телия 1987, с. 65–74; Jaeger, Plum 1989, S. 849–855; Kuehn 1987, S. 267–278), что объясняется природной сложностью соответствующих денотатов. Природную сложность номинантов эмоций более чем убедительно иллюстрируют многочисленные работы вышеупоминавшихся психологов (см. гл. I), в которых предлагаются различные определения таким важнейшим психическим понятиям, как «эмоция», «чувство», «состояние» и т.п. Отсутствие единого понимания учеными феноменов психической деятельности человека часто приводит к *различным толкованиям* анализируемых понятий в пси-

хологических словарях, данными которых пользуется составитель филологических словарей. Вероятно, лексикограф в подобной ситуации должен придерживаться наиболее известной и устоявшейся психологической концепции и, следовательно, пользоваться наиболее авторитетными академическими энциклопедическими источниками.

Исходя из результатов ранее проведенных собственных лингвистических наблюдений, следует, однако, отметить некоторые недостатки при семантической репрезентации как базисных, так и вторичных обозначений эмоций современными филологами-лексикографами. Критические замечания в их адрес делаются нами, как представляется, с полным пониманием самой специфики задач, которые решаются авторами разных типов словарей (см., например, процитированное ранее высказывание З.И. Комаровой). В данном разделе монографии мы не ограничиваемся критикой лексикографов, далеко не всегда удачно интерпретирующих ЭК на уровне словарной дефиниции филологических источников, а предлагаем некоторые собственные, как мы надеемся, конструктивные соображения по улучшению самих техник лексикографической интерпретации слов, называющих эмоции. Думается, что предлагаемые рекомендации вполне технологичны и, следовательно, могут быть успешно применены в практической лексикографии, особенно при толковании значения номинантов эмоций как в немецком, так и в русском языках.

Лексикографам, семасиологам хорошо известны предложения по поиску метаязыка, позволяющего компактно и глубоко объяснять значения слов, в том числе и значения номинантов эмоций (см.: Апресян 1995, с. 107–119, Апресян 1995а, с. 453–465; Воркачев 1995, с. 125–132). Общеизвестно и мнение ряда ученых, скептически отзывающихся о самой возможности нахождения адекватных способов толкования человеческих знаний, культуры. В одной из своих работ А. Вежицкая, обосновывая собственную попытку дать полную характеристику русскому языку как семантическому и культурному универсуму, с одной стороны, соглашается с тезисом о невыработанности на сегодняшний день адекватных исследовательских приемов и методов в культурологической лингвистике в целом и в лексикографии, в частности, с другой стороны, не теряет при этом научного оптимизма, призывает коллег к активизации работы в когнитивно-культурологической парадигме гуманитарных дисциплин. Она пишет: «Еще не выработаны адекватные исследовательские приемы в этой области. <...> О чем нельзя говорить, о том следует молчать, что нельзя ис-

следовать, то не может стать объектом научного анализа. Но границы области, открытой для серьезного изучения, могут распространяться *значительно дальше* тех мест, которые, как принято считать, под воздействием авторитетов современной лингвистики, являются *предельными*» (Вежицкая 1997а, с. 85, курсив мой. – Н.К.).

А. Вежицкая предлагает концепцию «семантических примитивов», сущность которой заключается в составлении ограниченного списка метаязыковых средств, репертуар которых должен быть значительно уже собственно естественного (не семантического) человеческого языка. Ею назван следующий список примитивов: 1) «субстантивы»: я, ты, кто-то, что-то, люди; 2) «детерминаторы и квантификаторы»: этот, тот же самый, другой, один, два, много, все / весь; 3) «ментальные предикаты»: думать о, говорить, знать, чувствовать, хотеть; 4) «действия и события»: делать, происходить / случаться; 5) «оценки»: хороший, плохой; 6) «дескрипторы»: большой, маленький; 7) «время и место»: когда, где, после / до, под / над; 8) «метапредикаты»: не / нет / отрицание, потому что / из-за, если, мочь; 9) «интенсификатор»: очень; 10) «таксономия и партономия»: вид / разновидность, часть (Вежицкая 1997г, с. 331). Данный список примитивов актуализируется А. Вежицкой применительно и к толкованию слов, называющих ЭК.

Рассуждая о технологиях толкования ЭК, А. Вежицкая считает возможным сочетание классических, традиционных и прототипных способов их лексикографической репрезентации. Уместно привести ее же пример со словом *зависть*. Пользуясь терминами прототипической ситуации, она обращается к следующей схеме: «Х испытывает зависть. = Иногда человек думает что-то вроде этого: “что-то хорошее происходит с другим человеком, это не происходит со мной, я хочу, чтобы вещи вроде этого происходили со мной”, из-за этого этот человек испытывает какие-то плохие чувства. Х чувствует что-то вроде этого» (Вежицкая 1997б, с. 216).

Аналогичные рассуждения, между прочим, были высказаны значительно раньше отечественным семасиологом, лексикографом Ю.Д. Апресяном, предложившим в своей книге «Лексическая семантика» (1970) универсальные «образцы толкований», которые актуальны и для ЭК. Уместно привести анализ двух слов, в том числе одного из вышеописанных, в лексикографической интерпретации Ю.Д. Апресяна, для того чтобы проиллюстрировать принципиальное сходство научных подходов этих ученых в толковании номинан-

тов эмоций: «Х завидует Z-у Y-а= 'Х не имеет Z-а, и Y имеет Z, и X испытывает отрицательную эмоцию, каузируемую желанием, чтобы Y не имел Z'. Любовь X-а к Y-у (например, любовь к книгам, к природе, к искусству, к детям, к родителям, к родине) = 'Чувство, испытываемое X-м по отношению к Y-у', который приятен X-у и вызывает у X-а желание быть в контакте с Y-м или каузировать Y-у добро» (Апресян 1995, с. 107). Налицо принципиальное совпадение способов толкования ЭК *зависть*, предлагаемых польским и российским учеными. При этом, как кажется, более естественным, формульным, компактным и, вместе с тем, более удобным (насколько это вообще возможно) в практическом использовании является их семантическая запись в варианте Ю.Д. Апресяна.

Характеризуя состояние вопроса лексикографической репрезентации лексики эмоций, Ю.Д. Апресян отмечает два возможных подхода – смысловой, сторонниками которого являются А. Вежбицкая, Л.Н. Иорданская, и метафорический, предлагаемый Дж. Лакоффом и М. Джонсоном. Каждая из названных методик определения содержания эмоциональных понятий имеет ряд недостатков; и та, и другая не позволяют лексикографически полно и адекватно представить наши знания об эмоциях (см. подробнее: Апресян 1995а, с. 454–457).

Теперь, соблюдая логику изложения собственного конкретного немецко- и русскоязычного материала, следует проанализировать способы толкования номинантов эмоций. Их определения, как показывают результаты нашего лексикографического анализа, по своей сути традиционны, классичны. Известные прототипные модели (суть смыслового подхода), предлагаемые, в частности, Ю.Д. Апресяном и А. Вежбицкой, составителями филологических (толковых) словарей не используются, что, на наш взгляд, объясняется следующей причиной. Прототипные модели недостаточно технологичны в смысле своей адресности. Наивный среднестатистический носитель языка объективно стремится к толкованиям, даваемым на естественном, а не на «особом» языке (языке семантических примитивов). Язык семантических примитивов, несмотря на свою дискретность и как будто бы исчерпывающую объяснительную силу, не совсем удобен в его практическом использовании. Он, на наш взгляд, слишком формален, формульно сложен, что затрудняет его осмысление носителем языка.

Более живыми, не столь формализованными и на первый взгляд более понятными, когнитивно доступными для обычных носителей языка можно было бы считать метафорические модели толкования номинантов эмоций (см.: Лакофф, Джонсон 1990, с. 396–404, 410–415).

В основу метафорической модели толкований американские исследователи кладут ряд принципов: 1) фундаментальные человеческие понятия организуются в терминах одной или нескольких ориентационных метафор; 2) метафора служит средством осмысления того или иного понятия (концепт) только благодаря ее эмпирическому основанию; 3) в основе метафоры лежат разные физические и социальные явления (Лакофф, Джонсон 1990, с. 400–401).

В качестве иллюстрации данных положений приведем пример дефинирования концептов *счастье* и *грусть* из цитировавшейся работы: «Happy is up; sadness is down (счастье – верх; грусть – низ). I 'm feeling up. – 'Я в приподнятом настроении'. That boosted my spirits. – 'Это подняло мое настроение'. My spirits rose. – 'У меня поднялось настроение'. You are in high spirits. – 'Вы в хорошем (букв. высоком) настроении'. Thinking about her always gives me a lift. – 'Мысли о ней всегда одушевляют (букв. приподнимают) меня'. I 'm feeling down. – 'Я пал духом' (букв. чувствую себя внизу)'. I 'm depressed. – 'Я подавлен (букв. опущен)'. He 's really low these days. – 'В последнее время он в самом деле в упадочном настроении'. I fell into depression. – 'Я впал в уныние (букв. в понижение)'. My spirits sank. – 'Я упал духом' (букв. Мое настроение понизилось)» (Лакофф, Джонсон 1990, с. 396–397).

Комментируя применение метафорического подхода к толкованию номинантов эмоций, Ю. Д. Апресян указывает как на его достоинства, так и на недостатки. К первым, на взгляд ученого, относится его возможность «отразить внутреннюю семантическую компаративность слов, обозначающих эмоции, и ввести в описание, помимо самих этих слов, большие группы связанных с ними метафорических выражений» <...> и соответственно ко вторым – то обстоятельство, что «метафора принимается за конечный продукт лингвистического анализа, и собственно семантическая мотивация того, почему та или иная метафора ассоциируется с определенной эмоцией, отсутствует; между физической мотивацией и самой метафорой отсутствует языковое, семантическое звено» (Апресян 1995а, с. 456).

Использование метафоры как метаязыкового средства экспликации содержания ЭК при всей своей, на первый взгляд, нерациональности, нетехнологичности (громоздкость семантической записи, возможная двусмысленность толкования, базирующаяся на определенных объективно существующих различиях в лингвокультурном фонде каждой языковой личности и т.п.) вместе с тем удобна в том смысле, что позволяет обнажить тончайшие, труднопередаваемые (более того, нередко трудноуловимые для самого говорящего / пишущего)

на логическом уровне оттенки выражаемой мысли. Данное замечание, как кажется, особенно актуально применительно к экспликации такого структурно-сложного, пестрого, мозаикоподобно оформленного полотна, как эмоциональная картина мира.

Метафора, принципиально построенная на образном сравнении, апеллирует прежде всего к *чувственному* языковому опыту читателя (слушателя), вызывая тем самым у него определенные ассоциации, помогающие его языковому сознанию рефлексировать принимаемое сообщение (текст). Общеизвестна в человеческой культуре (по крайней мере, европейской) распространенная традиция (норма) оформлять аффекты (т.е. внутренние переживания) посредством реальных действий (т.е. внешне эксплицируемых поступков). Так, анализируя европейские языки художественного дискурса в диахронической плоскости, А.Н. Веселовский указывает на совершенно четкое исключительно внешнее оформление человеческих переживаний: «Человек печалится – падает, клонится долу; сидит, пригорюнившись. *Сиденье*, и именно *на камне*, стало формулой грустного, тихо-вдумчивого настроения. <...> Любить значит склоняться, виться...» (Веселовский 1997, с. 96–97). Вне всяких сомнений, эти культурные поведенческие образцы (cultural patterns) устойчиво закреплены в языковой памяти их носителей, что и позволяет, с одной стороны, активно продуцировать образно оформленные тексты, а с другой – успешно их десемантизировать в человеческой коммуникации.

В практической же деятельности смысловой подход к толкованию номинантов эмоций традиционен; он оказывается более приемлемым для лексикографов, что при этом не обязательно исключает применение и метафорических моделей, способных в отдельных случаях дополнять словарные дефиниции, базирующиеся на традиционных, классических моделях. Заметим, что только *эпизодически* метафора используется при объяснении значений слов, называющих эмоции. Она не применяется в «чистом» виде, но выступает иногда, так сказать, в качестве дополнительной дистрибуции, как необходимая иллюстрация употребления, отражающая собой семантическую валентность той / иной лексической единицы, а значит, и содержание концепта (см.: *seine Liebe war erkaeltet, erloschen* (DW 1992, S. 835); *ненависть душист кого-л.* (ТС 1995, с. 399). При этом следует помнить, что в толкование концепта возможно включение исключительно постоянных, неслучайных метафор. В противном случае понимание дефинируемого понятия будет объективно затруднено, не говоря о его более громоздкой семантической записи, что, как известно, является недостатком филологического определения.

Применение метафор в лексикографии, по нашему мнению, действительно целесообразно при описании сущности ЭК. Метафорический способ толкования последних, однако, никак не заменяет непосредственно самой словарной *дефиниции*, эксплицирующей на уровне логики то / иное понятие. Метафорические же описания того / иного социального и в особенности культурного феномена, его национальной специфики могут и должны использоваться в *иллюстративной* части словарной статьи.

Типы словарных определений номинантов эмоций

Анализ словарных дефиниций, даваемых номинантам эмоций в немецких и русских толковых словарях, позволяет выявить следующие способы лексикографической репрезентации исследуемых языковых единиц: 1) родовидовые определения; 2) релятивные определения; 3) отсылочные определения; 4) комбинированные определения.

Сущность родовидовых определений заключается в принципе гипергипонимической организации лексической языковой системы. Логической категории рода соответствует лингвистический эквивалент – термин «гипероним», а категории вида – термин «гипоним». Считается, что «в правильной логической дефиниции предикат состоит из родового признака и видовой характеристики» (Карасик 1990, с. 62). Таким образом, одним из требований к словарной дефиниции является интродуктивность самого определения, т.е. наличие в нем родового и видового признаков. Последний из них вскрывает различия между родственными понятиями, а первый позволяет установить принадлежность толкуемого понятия к тому / иному фрагменту действительности.

Родовидовое определение – это классический способ толкования, традиционно и успешно используемый при интерпретации лексико-семантических парадигм, в особенности тех из них, которые относительно дискретны, имеют четко очерченные сознанием человека границы в общей языковой картине мира (например, лексико-семантическая группа / поле цвета, родства и т.п.). Данный способ интерпретации слов особенно успешно используется при описании значений терминологических единиц, терминологических систем.

Релятивные определения – это такой вид толкования, в котором нет прямого раскрытия содержания понятия, выраженного толкуемым словом, нет непосредственной характеристики значения денотата, а значения слов толкуются через отношения к другим словам,

преимущественно через синонимические отношения (Комарова 1991, с. 55).

Данный лексикографический способ толкования слов часто критикуется лексикографами (Шелов 1990, с. 29–30; Abel 2000, S. 166–167) прежде всего в силу его редуцированного характера. Вместе с тем он достаточно продуктивен в лексикографической практике, поскольку представляет собой компактную семантическую запись дефинируемого слова. В «чистом» виде в объемных лексикографических источниках он используется редко. Данный способ толкования чаще применяется в современных словарях как дополнительное мета-языковое средство.

Сходным по своей сути является третий способ объяснения значения лексических единиц – отсылочный. Он представляет собой, как правило, ссылку на синонимичные или иногда на антонимичные единицы. В отличие от релятивного данный способ толкования слов менее информативен, поскольку ограничивается всего лишь ссылкой на другое, обычно синонимичное дефинируемому понятию слово. По своей сути, он представляет собой «логический круг». При этом не дается удовлетворительная характеристика значению определяемого слова. Его использование лексикографами обусловлено исключительно компактностью семантической записи содержания дефинируемого феномена.

Указанные лексикографические техники на практике нередко используются в комплексе, что обусловлено стремлением составителей словарей найти оптимальные средства описания значений слов.

Теперь подробно остановимся на квалификативной и количественной характеристиках отмеченных способов толкования применительно к эмоциональной концептосфере сопоставляемых языков.

Родовидовые определения номинантов эмоций

При помощи родовидовых определений в немецком языке дефинируются три из четырех базисных номинанта эмоций – *Angst*, *Freude* и *Trauer*. В качестве родовых сем при этом выступают слова, обладающие самой широкой семантикой – *Gemueitszustand*, *Gefuehl*, (*seelischer*) *Schmerz*, *Sorge*, *Unruhe*. Следует, однако, отметить, что родовидовой способ не используется в «чистом» виде. Он, как правило, дополняется другим, а именно – релятивным способом, выполняющим уточняющую функцию. При релятивном способе значения слов толкуются, как мы уже указывали, через отношения к другим словам, преимущественно через синонимические отношения. Данным

способом в немецком языке определяются значения вторичных номинантов эмоций. Он, как будет показано ниже, способен выступать *самостоятельно* при дефинировании только вторичных (небазисных!) обозначений эмоций. Приведем словарные дефиниции базисных номинаций эмоций немецкого языка, которые сочетают родовидовой и релятивный способы: «Angst – mit *Beklemmung*, *Bedrueckung*, *Erregung* einhergehender Gemuetszustand angesichts einer Gefahr; undeutliches Gefuehl des *Bedrohseins*» (DWB 1989, S. 111); «Angst – grosse Sorge, Unruhe; unbestimmtes, oft grundloses Gefuehl des *Bedrohtseins*» (DW 1992, S. 166); «Freude – hochgestimmter Gemuetszustand; das *Froh-* und *Begluецtsein*» (DWB 1989, S. 538); «Freude – *Begluецkung*, (innere) *Befriedigung*; Gefuehl des *Frohseins*, *Froehlichkeit*» (DW 1992, S. 501); «Trauer – tiefer seelischer Schmerz ueber einen Verlust od. ein *Ungluецk*» (DW 1989, S. 1552); «Trauer – Schmerz um etwas Verlorenes, tiefe *Betruebnis*» (DW 1992, S. 1291). (Здесь и далее сплошной линией выделены родовидовые, а курсивом – релятивные семы.)

В данном случае речь скорее всего идет о комбинированном способе толкования рассматриваемых лексико-семантических единиц. Исключение составляет дефиниция базисного номинанта эмоции *Zorn*. Он определяется через релятивный способ толкования: «*Zorn* – heftiger *Unwille* ueber etw, was man als Unrecht empfindet od. was den eigenen Wuenschen zuwiderlaeuft» (DW 1989, S. 1787); «*Zorn* – heftiger *Unwille*, aufwallender *Aerger*» (DW 1992, S. 1470).

В русском языке так же, как и в немецком, базисные номинанты эмоций лексикографируются посредством использования родовидовых определений. При этом отметим тот факт, что в нем все они определяются через указание на родовидовую иерархию. (Следует, правда, заметить, что в ТС (ТС 1995) в отличие от БАС (БАС 1963, т. 14, с. 1007–1008) и ТС (1940, т. 4, с. 549) слово *страх* определяется релятивным способом: «страх – очень сильный испуг, большая боязнь» (ТС 1995, с. 761).

Дадим со ссылкой на соответствующие лексикографические источники дефиниции базисных номинантов эмоций русского языка, в которых сочетаются два вышеназванных способа: «страх – состояние сильной *тревоги*, *беспокойства*, душевное волнение от грозящей или ожидаемой опасности; *боязнь*» (БАС 1963, т. 14, с. 1007–1008); «страх – состояние крайней *тревоги* и *беспокойства* от испуга, от грозящей или ожидаемой опасности, *боязнь*, *ужас*» (ТС 1940, т. 4, с. 549); «радость – веселое чувство, ощущение большого душевного *удовлетворения*» (ТС 1995, с. 629); «радость – чувство большого *удоволь-*

ствия, удовлетворения» (БАС 1961, т. 12, с. 78); «радость – чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения, веселое настроение; внешнее проявление чувства» (ТС 1939, т. 3, с. 1110); «гнев – чувство сильного возмущения, негодования» (ТС 1995, с. 130); «гнев – чувство сильного возмущения, негодования; состояние раздражения, озлобления» (БАС 1954, т. 3, с. 179–180); «гнев – чувство сильного негодования, возмущения, раздражения» (ТС 1938, т. 1, с. 577); «печаль – чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи» (ТС 1995, с. 506); «печаль – скорбно-озабоченное, нерадостное, невеселое настроение, чувство» (ТС 1939, т. 3, с. 248).

Функцию родовых сем здесь выполняют такие метаязыковые элементы, как «чувство», «ощущение», «состояние», «настроение». В естественном языке эти слова широкозначны. Релятивные семы представляют собой видовую характеристику толкуемых слов; уточняют их содержание, позволяют отличить одни вербализованные понятия от других.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что базисные номинанты эмоций в обоих языках дефинируются преимущественно родовидовыми определениями. Использование данного лексикографического способа толкования фрагментов эмоционального мира представляется абсолютно обоснованным с точки зрения логики: определение менее объемных оязыковленных ментальных образований дается через более объемные вербализованные ментальные образования (отношение гипонимии и гиперонимии). Применение в филологических словарях при толковании обозначений базисных эмоций комбинированных дефиниций (т.е. родовидовых определений с релятивными) повышает полноту, уровень качества их лексикографической интерпретации.

Ответить на вопрос, насколько актуальным оказывается данный способ толкования для вторичных номинантов эмоций, нам поможет анализ словарных дефиниций последних в немецком и русском языках.

Из 40 вторичных номинантов эмоций 20 дается родовидовое определение: *Beklemmung, Schauder, Schreck, Schrecken, Scheu, Behagen, Gefallen, Glueck, Glueckseligkeit, Lust, Seligkeit, Spass, Wonne, Grimm; Kummer, Schwermut, Traurigkeit, Truebsal, Truebsinn, Wehmut*. При этом следует заметить, что этот способ дефинирования, как правило, сочетается с релятивными определениями приведенных здесь номинантов эмоций. Содержание остальных же 20 номинантов эмоций раскрывается либо отсылочным, либо релятивным способами.

В русском языке из 13 вторичных номинантов эмоций 10 дефинируется родовидовым способом: *боязнь, опасение, трепет, ужас; отрада; бешенство, раздражение, ярость; грусть, уныние*. Так же, как и в практике дефинирования немецких вторичных обозначений эмоций, здесь используется комбинированный способ: определения даются через родовидовой и релятивный или родовидовой и отсылочный способы.

И в русском, и в немецком языках с целью раскрытия содержания вторичных номинантов эмоций нередко в качестве метаязыка используются непосредственно либо сами базисные обозначения эмоций, либо же широкозначные слова типа *чувство, состояние, настроение, Zustand, Gefuehl, Stimmung* и т.п. Другим, с нашей точки зрения, не менее важным фактом следует признать высокий индекс применения родовидового и релятивного (по существу вспомогательного, уточняющего) способов дефинирования номинантов эмоций (в особенности базисных) в обоих языках. Стоит также отметить то обстоятельство, что в русском языке родовидовой способ в процентном соотношении чаще используется, чем в немецком при лексикографировании вторичных номинаций эмоций.

Далее рассмотрим другие способы толкования слов, номинирующих вторичные эмоции в сравниваемых языках. К ним относятся релятивные и отсылочные определения. Вначале остановимся на более распространенном и эффективном типе дефиниции – релятивном способе экспликации значения номинантов эмоций.

Релятивные определения номинантов эмоций

В чистом виде, как показывают результаты анализа, данный тип дефиниции не используется при лингвистической подаче *базисных* номинаций эмоций ни в немецком, ни в русском языках (исключение составляет *Zorn*). Составители филологических словарей обращаются к нему при толковании вторичных номинантов эмоций. Релятивный способ не указывает на родовую сему, и в этом состоит, по нашему мнению, его главный лексикографический недостаток. В релятивных определениях эксплицитно не фиксируется денотативная принадлежность толкуемого понятия, что может затруднять его «узнавание» читателем. Установленный факт корреспондирует с семасиологическим положением, согласно которому семантика слов-гипонимов (в нашем случае – базисных номинантов эмоций) в отличие от семантики слов-гиперонимов (небазисных номинантов эмоций)

более абстрактна, т.е. в ней обычно содержатся самые общие, неконкретные семантические компоненты (семы), в то время как в семантике гиперонимов наличествуют видовые характеристики дефинируемой единицы. Зато достаточно полную фиксацию получают видовые семы. Например, «Entsetzen – mit Grauen u. panikartiger Reaktion verbundener Schrecken» (DW 1989, S. 439); «бешенство – крайняя степень раздражения» (ТС 1990, с. 44). В данном случае слову *Entsetzen* в правой части словаря даются синонимы *Grauen*, *Schrecken* и соответственно слову *бешенство* – синоним *раздражение*. Релятивный способ толкования (в его чистом виде) актуален для 9 номинантов эмоций немецкого языка – *Entsetzen*, *Grauen*, *Hochgenuss*, *Vergnuegen*, *Rage*, *Gram*, *Kummer* (по версии DW 1989), *Melancholie*, *Truebsinn* (по версии DW 1992), и для 4 номинантов эмоций русского языка – *ужас*, *бешенство*, *возмущение* (по версии ТС 1995), *тоска* (ТС 1940).

Релятивный способ толкования номинантов эмоций менее продуктивен по сравнению с родовидовым (точнее с комбинированным, т.е. родовидовой + релятивный). Использование релятивного способа объясняется, на наш взгляд, главным образом его технологичностью – возможностью в сокращенном виде описать семантику дефинируемых языковых единиц, вербализующих те / иные понятия. Существенным же недостатком, как было отмечено выше, является то обстоятельство, что содержание толкуемого понятия эксплицируется далеко не всегда достаточно полно. Словарная дефиниция, основывающаяся на релятивном способе толкования понятия, включает в себя минимальное количество семантических *дифференциальных* признаков, которые далеко не всегда позволяют различать родственные эмоциональные феномены (на уровне языка – идеографические синонимы). В целом же релятивный способ репрезентации семантики номинантов эмоций имеет достаточно высокий индекс применения.

Здесь же хотелось бы указать на его чрезвычайно активное использование при дефинировании номинаций эмоций составителями первых толковых словарей. Так, в частности, автором «Словаря древнерусского языка» И.И. Срезневским предлагаются следующие максимально усеченные определения номинантам эмоций: «**Печаль – Огорчение, горе**» (Срезневский 1989, т. 2, ч. 2, с. 921); «**Отрада – Утешение, успокоение, прощение**» (Срезневский 1989, т. 2, ч. 1, с. 760). С позиций современного состояния лексикографии признать их удовлетворительными, естественно, нельзя.

Отсылочные определения номинантов эмоций

Данным способом в немецком языке определяется 14 вторичных номинантов эмоций – *Entsetzen, Grauen, Schauder, Schreck* (по версии DW 1992), *Grausen, Schrecken, Behagen* (DW 1989), *Entzuecken, Gefallen, Spass* (DW 1992), *Furor, Ingrim, Jaehzorn* (DW 1989), *Rage* (DW 1992) и соответственно всего лишь 2 номинанта в русском языке – *отпада* (ТС 1995), *негодование* (ТС 1995).

Коэффициент использования данного лексикографического способа в русских филологических словарях крайне низок, в то время как в немецком языке он несколько выше. При этом укажем на факт использования разных способов при дефинировании вторичных номинаций эмоций в словарях Варига и Дудена. Нередко отсылочное определение понятия, предлагаемое в одном из них, имеет иной вариант (как правило, релятивный) в другом немецкоязычном филологическом словаре, что, вероятно, лишний раз подтверждает мнение психологов о сложности и недостаточной изученности дефинируемого явления.

Каждый из вышеперечисленных способов (родовидовой, релятивный и, особенно, отсылочный) толкования номинантов эмоций имеет лексикографические недостатки, заключающиеся в недостаточно точной, корректной экспликации на уровне специального объяснительного текста – словарной статьи – содержания определяемого понятия. Предлагаемые составителями филологических словарей дефиниции нередко содержат минимум информации, не позволяющий читателю увидеть различия между толкуемыми родственными понятиями. Это происходит потому, что в семном наборе той / иной лексемы не указываются дифференциальные семы, которые могли бы позволить отличить одно понятие от другого.

Наиболее оптимальным с точки зрения лингвистической передачи глубины, полноты содержания, объема толкуемых понятий следует признать комбинированный способ толкования. Комбинированное определение как способ лексикографической репрезентации номинантов эмоций представляет собой использование лексикографом сочетаний различных типов толкования (родовидового и релятивного). Эти два способа интерпретации мира эмоций находятся в отношении дополнительной дистрибуции. Безусловно, подобного рода лексикографический симбиоз можно только приветствовать. Однако комбинированный способ толкования номинаций эмоций, как показывают результаты анализа словарных дефиниций, используется не так часто, как следовало бы, что является, по нашему мнению,

значительным недостатком немецко- и русскоязычной лексикографической практики применительно к рассматриваемому материалу.

Изложенное выше приводит к мысли о необходимости внесения коррекции в практику лексикографирования слов, обозначающих эмоции (в особенности вторичные). Как можно, на самом деле, улучшить технику описания их содержания? Мы считаем, что для этого как минимум необходимо выполнить следующую работу. Во-первых, на основании анализа словарных дефиниций, предлагаемых в *самых разных* филологических словарях, вывести общий список семантических компонентов, представляющих суммарно метаязык эмоций. Во-вторых, при всем понимании и учете *адресатности филологических словарей* мы считаем целесообразной попытку минимизированного, фрагментарного использования информации, содержащейся в словарях психологических, более удовлетворительно раскрывающих содержательные характеристики эмоций. Другими словами, мы считаем лексикографически оправданным использование не только перечня семантических компонентов, эксплицируемых в филологических, но и в энциклопедических (психологических) определениях. Возможно, подобного рода операция приведет к более глубокой репрезентации семантики номинантов эмоций на уровне филологических словарей. При этом целесообразно учесть хотя бы некоторые из предлагаемых учеными рекомендаций в отношении требований к определению *терминологических* единиц языка. Эти требования, на наш взгляд, могут быть взяты на вооружение также и лексикографами при формулировке определений, раскрывающих, в частности, содержание психических феноменов. Их суть сводится, если быть кратким, к следующим правилам, предлагаемым, в частности, терминоведом А.С. Гердом (Герд 1996, с. 298–299) и в незначительной степени модифицированным автором настоящей монографии: 1) слово и его определение должны быть соразмерны; 2) признаки, используемые в определении слов, должны быть наиболее релевантными для эмоциональной номинативной системы языка; 3) определения слов не должны быть отсылочными; 4) определения слов должны быть системными, т.е. должны отражать место понятия, эксплицируемого соответствующей лексемой, во всей эмоциональной номинативной системе. Мы намерены предложить читателю образцы толкований ряда номинантов эмоций.

Выше мы высказали мысль о возможности применения данных, заключенных в словарных дефинициях специальных, т.е. психологических, словарей, что, на наш взгляд, могло бы привести к некоторо-

му необходимому углублению филологической репрезентации когнитивной структуры как базисных, так и, в особенности, вторичных обозначений ЭК. Использование психологических объяснительных текстов, как можно предположить, расширит семный набор дефинируемых понятий.

Изучение предлагаемых немецкоязычными психологическими словарями дефиниций эмоций позволяет констатировать факт их ограниченной количественной представленности на уровне энциклопедических толкований. Это обстоятельство мы объясняем разным лингвистическим статусом лексических единиц, номинирующих эмоции. В психологических словарях даются дефиниции *терминов*. Очевидно, что функцию терминов могут выполнять не все слова, обозначающие (в нашем случае) эмоции. Так, например, целый ряд стилистически маркированных слов (ср.: *omпада* и *Entzuecken*, с одной стороны, и термины *радость* и *Freude* и т.п.) объективно не может использоваться в терминологической функции. Это – во-первых. И, во-вторых, необходимо отметить непригодность применения в качестве метаязыка многих сем, представленных в соответствующих словарных дефинициях. В данном случае элементы языка могут выступать как исключительно терминологические, функционально ограниченные лексические единицы естественного языка (напр., *endogene*, *frustrieren*, *konstitutionell [bedingt]*), которые семантически пусты для *обычного* языконосителя.

Считаем, что филологические словари принципиально могут «заимствовать» некоторые семы из определений, предлагаемых специальными словарями. Сравним, к примеру, дефиниции номинанта базисной эмоции *Angst* в разных типах словарей. В филологических словарях читателю предлагаются следующие определения: «Angst – mit Beklemmung, Bedrueckung, Erregung einhergehender Gemuetszustand angesichts einer Gefahr; undeutliches Gefuehl des Bedrohtseins» (DW 1989, S. 111); «Angst – grosse Sorge, Unruhe; unbestimmtes, oft grundloses Gefuehl des Bedrohtseins» (DW 1992, S. 166). В психологических же словарях ему даются следующие дефиниции: «Angst – ein in der Regel mit physiologischen Erscheinungen wie schnelle Atmung, Schwitzen, Zittern, Herzklopfen, einhergehender unangenehmer emotionaler Zustand, der vor allem auftritt, wenn Meidungsmotivationen frustriert werden» (WBP 1976, S. 24); «Angst – die bei Wahrnehmung oder Vorstellung einer Gefahr auftretende natuerliche Affektreaktion; seelische Symptome – Schmerzvolles Beklemmungsgefuehl, Aufregungszustand»

(KPL 1949, S. 12); «Angst – Elementare, unangefasste, affektive, nicht objektbezogene Reaktion, die, verbunden mit teilweisem oder totalem Kontrollverlust ueber die innere oder aeuessere Realitaet, als ein die Existenz bedrohender, ueberwaeltigender und aeußerst schmerzhafter Agressionszustand empfunden wird; die Angst aeußerst sich individuell (z.B. Depression) und kollektiv (Panik)» (WBP 1974, S. 20).

В семный набор *Angst* входят разностатусные семантические компоненты: с одной стороны, родовые «Gemuetszustand» (эмоциональное состояние), «Gefuehl» (чувство), эксплицирующие самые общие представления об эмоциях и соответственно являющиеся своеобразным сигналом принадлежности номинирующих их слово к эмоциональной денотативной сфере, а с другой – видовые семы. К последним следует причислить семы-номинанты эмоций (неосновные, например, Beklemmung, Erregung), каузативную сему (angesichts einer Gefahr), сему «беспричинность» (grundlos), сему «неопределенность» (unbestimmt), семы «интенсивность переживания эмоции» (gross) и «масштабность переживания эмоции» (einhergehender). Они по своей сути видовые, конкретизируют значение толкуемого слова, которое дефинируется немецкими словарями сравнительно удовлетворительно. Немаловажным мы признаем само указание составителей словарей на денотативную отнесенность *Angst* посредством родовых сем (или архисем) – «Gemuetszustand», «Gefuehl».

Теперь рассмотрим состав словарной дефиниции, предлагаемой составителями психологических словарей. Здесь также, что вполне естественно, указана родовая сема (emotionaler Zustand, Beklemmungsgefuehl, Aufregungszustand, Agressionszustand, Affektreaktion). Дополнительными являются следующие семы: «физиологическое проявление испытываемой эмоции» (schnelle Atmung, Schwitzen, Zittern, Herzklopfen), «внутреннее протекание эмоции» (seelische Symptome, schmerzvolles), «отрицательная знаковость эмоции» (unangenehmer), «частичная контролируемость или неконтролируемость эмоции» (mit teilweisem oder totalem Kontrollverlust), «естественность переживания эмоции» (natuerliche). Совпадающими можно считать каузативную сему (wenn Meidungsmotivationen frustriert werden, nicht objektbezogen), сему «масштабность переживания эмоции» (einhergehender) и сему «интенсивность переживания эмоции» (aeußerst). Представленные в филологическом варианте семы-номинанты эмоций (Beklemmung, Erregung) составителями психологических словарей квалифицируются, по всей видимости, как

информативно избыточные. Сема «неопределенность» в психологической дефиниции не указывается, что, очевидно, обусловлено ее нерелевантностью для профессионального читателя (преимущественно психолога).

Сопоставительный анализ дефиниций слова *Angst*, лексикографируемого разнотипными словарями, позволяет говорить о его удовлетворительной когнитивной репрезентации в филологическом источнике, что, однако, не исключает использования в нем также и дополнительных, уточняющих сем – «физиологическое проявление испытываемой эмоции», «отрицательная знаковость эмоции». Следовательно, слово *Angst* в толковом словаре можно дефинировать в его расширительном варианте следующим образом: *Angst – mit Beklemmung, Bedrueckung, Erregung einhergehender unangenehmer schmerzvoller emotionaler (Gemuets)zustand (angesichts einer Gefahr), der sich in schneller Atmung, Schwitzen u. ae. aeusserst und mit teilweisem oder totalem Kontrollverlust ueber die innere oder aeussere Realitaet verbunden ist.* (Здесь и далее сплошной линией подчеркнуты дополнительные, заимствованные из психологических дефиниций семы.)

Созданную симбиозную дефиницию, по нашему мнению, можно рассматривать и соответственно оценивать как минимум по следующим важнейшим параметрам: 1) научность; 2) структурная простота, компактность семантической записи; 3) доступность метаязыка, описывающего толкуемое слово; 4) семантическая достаточность и 5) информативная неизбыточность предлагаемого определения.

Располагая ограниченным количеством психологических дефиниций, предлагаемых специальными словарями, рассмотрим теперь лексикографическую репрезентацию номинанта вторичной эмоции *Panik*. «*Panik – durch eine ploetzliche Bedrohung, Gefahr hervorgerufene uebermaechtige Angst, die das Denken laehmt u. [bei groesseren Menschenansammlungen] zu kopflosen [Massen]reaktionen fuehrt*» (DW 1989, S. 1115); «*Panik – allgemeine Verwirrung, ploetzlich ausbrechende, sinnlose Angst (bes. bei Massenansammlungen)*» (DW 1992, S. 967). Анализ дефиниции этого слова в филологических словарях, как и в предыдущем случае, выявил наличие многочисленных, в том числе и разностатусных, сем, что подтверждает удовлетворительное состояние его семантической записи. Здесь имеют место как родовые (*Angst, Verwirrung*), так и видовые семы: «качественные внутренние свойства» (*ploetzliche, ausbrechende, sinnlose*), «интенсивность переживания эмоций» (*uebermaechtige*), «причинность» (*durch Bedrohung, Gefahr*

hervorgerufen), «форма физиолого-психологического проявления эмоции» (das Denken laehmt), «последствия переживания эмоции» (zu kopflosen [Massen]reaktionen fuehren), «масштабность и условия появления эмоции» (bei groesseren Menschenansammlungen).

С целью сопоставительного анализа филологического и психологического толкований приведем теперь дефиниции из специального словаря: «Panik – eine durch ploetzlich hereinbrechende ueberstarke Reize, besonders in Massensituationen (Erdbeben) ausgeloester Angst; und Erregungszustand, der die Faehigkeit zur ruhigen Ueberlegung lahmgelegt und sich in plan- und daher meist sinnlosen Furchtreaktionen entlaedt» (KPL 1949, S. 33); «Panik – voruebergehende > hyponoische und > hypobulische Reaktion auf Schreck und Angst» (WBP 1974, S. 87); «Panik – auf den Schreckenerregungen griechischen Hirtengott Pan zurueckgehende Bezeichnung fuer ein planloses, affektgesteuertes Fluchverhalten in Situationen ausserordentlich grosser tatsaechlicher oder eingebildeter Gefahr» (WBP 1976, S. 94).

Состав этих словарных дефиниций обнаруживает несколько родовых сем (Reiz, Angst, Erregungszustand, (Furcht)reaktion). Такие видовые семы, как «качественные внутренние свойства» (ploetzliche, hereinbrechend, sinnlose, planloses, affektgesteuertes и др.), сема интенсивности (uebermaechtige, ueberstarke, ausserordentlich grosser), каузативная сема (durch Bedrohung, Gefahr hervorgerufen, ausgeloest, Reaktion auf Schreck und Angst), сема «форма физиолого-психологического проявления эмоции» (das Denken laehmt, die Faehigkeit zur ruhigen Ueberlegung lahmgelegt), сема «последствия переживания эмоции» (zu kopflosen [Massen]reaktionen fuehren, sich in plan- und daher meist sinnlosen Furchtreaktionen entladen, Fluchverhalten), семы «масштабность переживания эмоции» и «условия появления эмоции» (bei groesseren Menschenansammlungen, Massensituationen) в разнотипных словарях дублируются. Статус же дополнительных имеют следующие семы: сема реальности и виртуальности (tatsaechlicher oder eingebildeter Gefahr), а также коннотативная (этимолого-историческая) – griechischer Hirtengott Pan.

В данном случае легко наблюдается более высокая степень корреспонденции семных наборов разнословарных дефиниций. На наш взгляд, филологический вариант лексикографирования слова *Panik* можно считать образцовым в силу его содержательной полноты. Здесь имеется в виду дефиниция, предложенная в DW 1989, но никак не в DW 1992, что свидетельствует о разной степени энциклопедично-

сти разных толковых словарей. Возможно, включение сем «реальность» и «виртуальность» могло бы оказаться семантически избыточным в филологических определениях.

Предварительно, опираясь на приведенные выше данные, можно сделать вывод о том, что не все филологические дефиниции слов, обозначающие эмоции в немецком языке, нуждаются в коррекции на предмет усиления их лексикографических репрезентаций за счет энциклопедических, строго научных определений. Правильность этого вывода проиллюстрируем на дефинициях слов *Melancholie* и *Schwermut*. Приведем вначале их энциклопедические определения из двух психологических словарей: «*Melancholie ist eine konstitutionell bedingte (endogene) Verstimmung*» (KPL 1949, S. 28); «*Melancholie (mela – Schwarz, cholie – gelb) – traurige, endogene Verstimmung*» (WBP 1974, S. 70). «*Schwermut – Sinnverlust des Daseins, eine Form des «Nicht-Koennens» und Folge angehaltener Entscheidung. > Depression, Melancholie*» (WBP 1974, S. 130). В словарной дефиниции слова-термина *Melancholie*, представленного в обоих психологических словарях, есть четкое указание на его денотативную отнесенность посредством названия родовой семы (*Verstimmung*). Видовые семы, характеризующие дефинируемый психологический феномен, максимально редуцированы. Одна из них служит своеобразным сигналом отрицательной знаковой направленности выражаемой эмоции (*traurig*), другая же может быть квалифицирована как «условие проявления эмоции» (*konstitutionell bedingte, endogene*). В WBP 1974, кроме того, дана этимология толкуемого слова.

Анализ определения этого слова в немецкоязычных толковых словарях обнаруживает в его содержательной структуре следующие семы: одна родовая (*Gemuetszustand*) и 5 видовых – сема интенсивности (*grosser*), семы-номинанты эмоций (*Niedergeschlagenheit, Traurigkeit*), сема беспричинности (*grundlose*), семы масштабности (*welt-*) и знаковости (*schmerzlich*). Заметим, что данный семный набор установлен посредством анализа дефиниций из двух филологических источников: «*Melancholie – von grosser Niedergeschlagenheit, Traurigkeit od. Depressivitaet gekennzeichneter Gemuetszustand*» (DWB 1989, S. 1005); «*Melancholie – Schwermut, Truebsinn, grundlose oder weltschmerzliche Traurigkeit*» (DW 1992, S. 877).

Достаточная репрезентативность набора сем в данном случае очевидна. Правда, об удовлетворительности лексикографической экспликации этого слова можно говорить применительно к его «симбиозному» варианту толкования, т.е. в случае слияния сем, указывае-

мых в двух словарных источниках. Здесь, как кажется, целесообразно более глубокое толкование *Melancholie* в филологическом словаре. При этом не обязательно извлечение сем из психологических словарных дефиниций. В этом конкретном случае достаточно «механического слияния» двух филологических определений. Подобного рода операция позволяет более точно эксплицировать содержание рассматриваемого слова: *Melancholie* – von grosser, grundloser, weltschmerzlicher Niedergeschlagenheit od. Depressivitaet gekennzeichnete Gemuetszustand.

В значении слова *Schwermut*, согласно психологическим дефинициям, можно выделить следующие семантические признаки: «Sinnverlust des Daseins», «Form des «Nicht-Koennens», «Folge angehaltener Entscheidung», «Depression», «Melancholie». Данные семы можно квалифицировать исключительно как видовые, что свидетельствует о недостатке дефинируемого слова в его психологической интерпретации. (Мы исходим из того положения, что при правильном полном логическом определении понятия следует в обязательном порядке указывать на его родовую категорию.) Это – во-первых. Во-вторых, обращает на себя внимание использование сем-номинантов эмоций, указание на которые традиционно в толковых словарях при экспликации значения слов, обозначающих психические переживания (*Depression*, *Melancholie*). Набор признаков, объясняющих сущность этого термина в психологических словарях, максимально редуцирован. Помимо уже отмеченных сем-номинантов, в его структуре репрезентированы такие семы, как «бессмысленность (человеческого) существования», «пассивность в поступках», «каузативность эмоции».

В филологических же определениях при лексикографической интерпретации интересующего нас слова указывается его денотативная отнесенность (родовая сема *Gemuetszustand*). Кроме того, имеют место такие семы, как «номинанты-эмоции» (*Traurigkeit*, *Mutlosigkeit*, *Niedergeschlagenheit*, *Melancholie*), «интенсивность переживания эмоции» (*tiefe*), «продолжительность протекания эмоции» (*anhaltende*), «последствия переживания эмоции» (*laehmender*). Ниже даются их полные филологические определения: «*Schwermut* – durch *Traurigkeit*, *Mutlosigkeit*, *innere Leere* u. a. gekennzeichnete *laehmender Gemuetszustand*» (DWB 1989, S. 1372); «*Schwermut* – *anhaltende tiefe Niedergeschlagenheit*, *Melancholie*» (DW 1992, S. 1157).

Как и в предыдущем случае, здесь целесообразна интеграция дефиниций, предлагаемых в разных толковых немецкоязычных слова-

пях: Schwermut – durch Traurigkeit, Mutlosigkeit, innere Leere gekennzeichnete laehmender Gemuetszustand, der tief und anhaltend verlaeuft. Расширение приведенной дефиниции за счет семного набора, представленного в психологических словарях, было бы, на наш взгляд, избыточным. Нецелесообразность обращения составителей филологических определений к дефинициям психологическим заключается, помимо всего прочего, и в терминологичности компонентов последних (Sinnverlust des Daseins, Form des «Nicht-Koennens»), понимание которых его наивными носителями в естественном языке может оказаться проблематичным.

Далее рассмотрим психологические и филологические толкования номинаций эмоций в русском языке. При этом, к сожалению, мы вынуждены довольствоваться анализом других, непараллельных немецким лексемам, номинирующим фрагменты эмоционального мира в русском языке, что объясняется отсутствием их фиксации в естественных психологических словарях.

Начнем с определения базисного номинанта эмоции *страх* в психологических словарях. Его когнитивную структуру формируют следующие содержательные признаки: родовая сема (эмоция); видовые семы – «условия возникновения» (эмоция, возникающая в ситуациях угрозы...), «объект угрозы» (индивид, источник опасности), «характер опасности» (действительный, воображаемый). Приведем полностью психологическую дефиницию данного слова: «Страх – эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности» (ПС 1990, с. 386). Как можно видеть из вышеприведенной дефиниции, термин *страх* в психологическом типе словаря описан достаточно полно. Названные в ней признаки позволяют читателю легко распознать эту эмоцию, по крайней мере, без труда отличить ее от других базисных номинаций эмоций.

Далее постараемся ответить на вопрос, насколько глубоко, полно лексикографируется данная эмоция в толковых словарях. Приведем ее определения из наиболее авторитетных лексикографических источников: «Страх – очень сильный испуг, большая боязнь» (ТС 1995, с. 761); «страх – состояние сильной тревоги, беспокойства, душевное волнение от грозящей или ожидаемой опасности; боязнь» (БАС 1963, т. 14, с. 1007–1008); «страх – состояние крайней тревоги и беспокойства от испуга, от грозящей или ожидаемой опасности, боязнь, ужас» (ТС 1940, т. 4, с. 549). В филологических дефинициях анализируемого слова, во-первых, указывается его денотативная сфера (родовая сема

«состояние»), во-вторых, отмечены некоторые видовые характеристики – сема интенсивности (очень, большой, крайний), сема «условия возникновения эмоции» (от ... опасности...), максимальная релевантность которой здесь безусловна, а также семантически избыточное перечисление многочисленных сем-номинантов эмоций (испуг, боязнь, тревога, беспокойство, волнение, ужас). Следует констатировать факт различной степени полноты содержательной представленности *страха* в разных лексикографических источниках. Очевидно, что лексикографически наиболее удачной, семантически наиболее полной является дефиниция БАС. Данное определение на метаязыковом уровне содержит минимальный набор сем, позволяющих идентифицировать эту эмоцию, по крайней мере, из числа базисных.

Отмечая в целом удовлетворительное описание слова *страх* в БАС, необходимо указать на отсутствие в нем таких, по нашему мнению, достаточно важных семантических признаков, как «объект угрозы» и «характер исходящей для человека опасности». Удовлетворяя требованию компактности семантической записи описываемого феномена, нетерминологичности (или невысокой степени терминологичности) его лексикографической репрезентации в толковых словарях, а значит и легкости чтения, узнавания наивным читателем, дадим, используя компоненты психологического варианта дефиниции, этому слову свое определение: страх – сильно переживаемая эмоция, возникающая в случае действительной или воображаемой угрозы благополучному состоянию, иногда даже жизни человека.

Другая базисная номинация эмоции *радость*, согласно психологической дефиниции, в отличие от слова *страх* интерпретируется менее удачно: «Радость – чувство удовлетворения, удовольствия, приподнятости, обычно связанное с успехами в деятельности и т.п.» (ПС 1965, с. 193). Содержание слова *радость* сводится к ограниченному набору сем. Это – родовая сема «чувство», указывающая профессионально ориентированному читателю денотативную принадлежность дефинируемого понятия, а также несколько видовых сем – «сем-номинантов эмоций» (удовлетворение, удовольствие), «состояние» (приподнятость) и «причинность» (связанное с...). Как видим, в анализируемой дефиниции названо действительно минимальное количество признаков, не позволяющих, как думается, однозначно отличить толкуемый эмоциональный феномен от других явлений психической жизни человека (например, от слова *удовольствие*). Сама по себе структура объяснительного психологического (точнее сказать – квазипсихологического) текста, т.е. дефиниции, в высшей степени «фило-

логична»; она никак не может быть отнесена к классу строгих научных определений в силу не только своей редуцированности, но и неудачного метаязыка, выбранного ее составителем. Этот вывод легко подтверждается при сравнении вышеуказанной дефиниции с *филологическим* определением рассматриваемого номинанта эмоции: «Радость – веселое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения» (ТС 1995, с. 629); «радость – чувство большого удовольствия, удовлетворения» (БАС 1961, т. 12, с. 78); «радость – чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения, веселое настроение; внешнее проявление чувства» (ТС 1939, т. 3, с. 1110). Как ни парадоксально, но в этом случае определения, даваемые в толковых словарях, оказываются если не более полными, то, по крайней мере, вполне конкурентно способными с точки зрения фиксации признаков, а значит, объема, содержания дефинируемого понятия. Филологами-лексикографами не только указывается родовая сема (чувство, настроение, ощущение), но, более того, предлагается более широкий ассортимент содержательных характеристик *радости*. Это семы «знаковая (положительная) направленность эмоции» (веселый), «интенсивность переживания эмоции» (большой), «форма переживания эмоции» (внешний, внутренний) и «номинанты эмоций» (удовольствие, удовлетворение). Единственным очевидным преимуществом психологического варианта интерпретации *радости* является, пожалуй, только наличие в нем каузативной семы, целесообразность использования которой в филологическом словаре также несомненна. Сказанное выше позволяет дать следующее филологическое определение рассматриваемому слову: радость – веселое чувство, ощущение большого душевного внутреннего удовлетворения, вызванное успехами в деятельности человека.

Слово (термин) *гнев* имеет в психологическом словаре следующую дефиницию: «Гнев – одна из эмоций; сильное негодование, возмущение, состояние раздражения, озлобления» (ПС 1965, с. 55). Здесь, как и в случае с термином *радость*, налицо усеченная модель психологической интерпретации конкретной эмоции. Согласно ей в традициях психологических объяснительных текстов на уровне метаязыка фиксируется родовая сема (эмоция, состояние); далее указывается ряд (неполный) видовых сем – «интенсивность» (сильное), «номинанты эмоций» (негодование, возмущение, раздражение, озлобление). Такие важнейшие для психологических дефиниций содержательные признаки, как каузативность, форма и условия протекания эмоций, не указаны, что, вне всяких сомнений, говорит о неудовлетворительном толковании *гнева*.

Филологический характер приведенной выше дефиниции в явной форме проявляется при ее сравнении с определением, предлагаемым в толковых словарях: «Гнев – чувство сильного возмущения, негодования» (ТС 1995, с. 130); «гнев – чувство сильного возмущения, негодования; состояние раздражения, озлобления» (БАС 1954, т. 3, с. 179–180); «гнев – чувство сильного негодования, возмущения, раздражения» (ТС 1938, т. 1, с. 577). Здесь также указаны как родовая (чувство, состояние), так и видовые семы – «интенсивность» (сильный) и избыточно многочисленные семы-номинанты эмоций (возмущение, негодование, раздражение, озлобление). Элементарное сопоставление филологических и психологических дефиниций слова *гнев* обнаруживает в них идентичность его содержания, что позволяет критически оценивать толкование данной эмоции в специальном словаре. Следует при этом обратить внимание на сам тип дефинируемой эмоции. Речь здесь идет о *базисной* эмоции, содержательная характеристика которой по законам жанра должна быть достаточно полной. Считаем возможным дать комбинированное определение этому номинанту: гнев – отрицательная эмоция (состояние), переживаемая человеком в физически ярко выраженной неконтролируемой им форме, вызванная осознаваемым или неосознаваемым недовольством человека чем-либо. Есть смысл, на наш взгляд, при определении родового признака дефинируемого феномена указать именно на эмоцию (не чувство), если вслед за сторонниками некоторых психологических школ считать чувство интеллектуальным ментальным образованием (в отличие от эмоции).

Далее охарактеризуем лексикографирование номинации вторичной эмоции *ужас*, имеющей, кстати, неудовлетворительное определение в психологическом словаре. Ее описание здесь можно с полным правом назвать исключительно филологическим, но никак не энциклопедическим: «ужас – чувство сильного страха» (ПС 1965, с. 250). Неэнциклопедичность этой дефиниции очевидна. Авторы словарного определения при ее составлении ограничиваются самым минимальным и далеко недостаточным набором сем: родовая (чувство), интенсивности (большой), сема-номинант (базисный) эмоции (страх). Неудовлетворительность экспликации значения *ужаса* в данной психологической дефиниции становится еще более очевидной, если ее сравнить с соответствующими филологическими определениями, которым она *содержательно* несколько уступает: «ужас – чувство сильного страха, доходящее до подавленности, оцепенения» (ТС 1995, с. 816); «ужас – чувство состояния очень сильного испуга, страх» (БАС 1964,

т. 16, с. 375); «ужас – чувство сильного страха, испуга, приводящее в состояние подавленности, оцепенения, трепета» (ТС 1938, т. 4, с. 904).

Как можно видеть, семные наборы филологических и психологической дефиниций практически совпадают. Более того, парадокс, но факт: определения, даваемые в толковых словарях, даже несколько более полны с точки зрения фиксации признаков, а значит объема, содержания дефинируемого понятия (сема «последствия переживания эмоции» – «приводящее»). Иначе говоря, филологи-лексикографы предлагают несколько более широкий ассортимент содержательных характеристик *ужаса* как лексической единицы.

Следует и можно ли улучшить ее филологическое определение? Если мы даем положительный ответ на этот вопрос, то возникает проблема выбора дополнительных признаков характеристик, в действительности актуальных для данного слова. Считаем, что в этом конкретном случае целесообразно привлечение фрагментов из семного набора базисного, максимально родственного ему номинанта *страх*. В частности, как минимум, можно использовать каузативную сему, выступающую метаязыковым средством раскрытия содержания *страха*. Следовательно, ужас – это чувство сильного страха, вызванное реально грозящей или же ожидаемой опасностью для человека, приводящее его в состояние подавленности, оцепенения.

К сожалению, количество психологических дефиниций номинантов эмоций оказалось ограниченным, по крайней мере, среди доступных автору этих строк. Отсюда невозможность дать более полный сопоставительный анализ филологических и энциклопедических определений базисных и вторичных обозначений эмоций в немецком и русском языках. Однако это обстоятельство не должно служить непреодолимым препятствием в попытке корректирования существующих в немецко- и русскоязычной лексикографической практике филологических дефиниций интересующих нас лингвокультурных феноменов, что мы и попытались на конкретном (пусть и ограниченном) материале здесь сделать.

Подведем некоторые итоги проведенного в данной части работы исследования. Номинанты эмоций, в которых закодированы ЭК, дефинируются такими лексикографическими способами, как родовидовой, релятивный, отсылочный и комбинированный. Наиболее часто используемыми являются первые два способа – родовидовой и релятивный.

Родовидовые филологические определения номинантов эмоций могут иметь различную степень точности экспликации их содержа-

ния. В семном наборе обозначающих их слов далеко не всегда фиксируются столь необходимые семы уточнения, в то время как психологические словари *в ряде случаев* значительно чаще указывают на видовые характеристики номинантов эмоций, что позволяет более легко идентифицировать толкуемые феномены. Здесь же следует отметить неудовлетворительную репрезентацию некоторых номинантов эмоций (терминов) и в психологических словарях. Совершенно оправданной была бы фиксация в филологических дефинициях большего количества семантических признаков при родовидовых определениях (более развернутая видовая характеристика), с одной стороны, и указание родовых сем при релятивных определениях – с другой.

Отсылочные определения применительно к нашему материалу являются непродуктивными в толковых словарях обоих языков, что вполне понятно с учетом ограниченных возможностей данного типа толкования при описании значения слов.

Родственные отсылочным релятивные определения более продуктивны как в немецком, так и в русском языках. Заметим, что большинство номинантов эмоций, дефинируемых релятивным способом, имеет в своей содержательной структуре уточняющие семантические признаки, необходимые для идентификации читателем. Мы считаем лексикографическим недостатком отсутствие в словарных дефинициях номинантов эмоций указания на родовую сему (например, чувство, состояние, эмоция, аффект). Достаточно часто психологические словари содержат указание на отнесение того / иного эмоционального переживания к классу чувств, эмоций и т.п. По всей видимости, есть смысл использовать такие данные в филологической лексикографической практике.

Следующий тип дефинирования – комбинированные определения – является, как показывают результаты наблюдений, относительно продуктивным. Данный тип лексикографического толкования можно, по нашему мнению, считать наиболее оптимальным при описании значения слов, кодирующих ЭК, поскольку он сочетает в себе преимущества родовидовых и релятивных определений. Комбинированные определения позволяют более полно, более точно передать содержание психических феноменов. С помощью комбинированных определений лексикографу удастся более успешно провести демаркационную линию между толкуемыми словами, которые нередко бывают семантически максимально близки друг другу (идеографические синонимы). Отсюда следует вывод о необходимости более частого их применения в толковании слов, обозначающих эмоции, что позво-

лит достичь высокой степени точности семантической репрезентации анализируемых психических феноменов.

Важным для лексикографической практики (по крайней мере, применительно к обсуждаемому в данной работе материалу) является определение самой *системы семантических параметров*, использование которых могло бы упорядочить, систематизировать и, следовательно, повысить качество смысловой репрезентации номинаций эмоций. Мы сочли возможным и необходимым составление списка сем (семантических признаков) на основе анализа научных определений, даваемых терминам эмоций в психологических словарях. Энциклопедические словари, как известно, в силу специфики выполняемых ими задач имеют более развернутые словарные дефиниции. Некоторые наиболее существенные признаки, составляющие объем того / иного понятия, могут быть включены и в дефиниции филологических словарей. Естественно, дефиниции филологических словарей должны быть более свернутыми текстами, поскольку преследуют несколько иные задачи, чем словари специальные (терминологические).

Опираясь на данные психологических и филологических словарей, можно предложить использование следующих семантических параметров (признаков) при дефинировании номинаций эмоций: 1) родовая категория (*Zustand, Gemuetszustand, Gemuetserschuetterung, Gemuetsverfassung, Gefuehl, aengstliche Zurueckhaltung, Verwirrung, Empfindung*, чувство, эмоция, состояние, ощущение, настроение); 2) многочисленные видовые категории (например, интенсивность, каузативность и др.). Последние мы классифицируем на следующие группы сем: 1) «эмоции, чувства» (*Melancholie, Depression, Grauen, Schrecken, Vergnuegen*, страх, робость, грусть, уныние и др.); 2) «каузативность переживания эмоции» (*angesichts einer Bedrohung oder Gefahr, durch Gefahr hervorgerufen, etw. hervorrufende Wirkung, grundlos*, вызываемый ожиданием опасности, вызванное реально грозящей или ожидаемой опасностью для человека); 3) «условия появления чувства» (*verbunden mit ..., auf etw. gerichtetes Verlangen*, возникающая в ситуациях угрозы...); 4) «последствия переживания эмоции» (*laehmender, kopflos*, приводящий к ...); 5) «объект эмоции» (*der Mensch, vor etw. Unheimlichem, Drohendem*, человек, индивид и т.п.); 6) «характер опасности» (*realer, eingebildeter*, действительный, воображаемый); 7) «форма проявления эмоций» (*Zustand, in dem sich die Emotionen entladen*, в физически ярко выраженной форме и др.); 8) «длительность переживания эмоций» (*verhaltener, anhaltender, dauernder*, продолжительный, долго и др.); 9) «качественные свойства эмоций» --

«внезапность появления, внутренний характер протекания» и т.п. (ploetzlich, aufwallender, innerer, sinnlicher, sexueller, panikartig, still, allgemein, внутренний, внешний, душевный, нервный); 10) «осознанность и контролируемость или неконтролируемость эмоций» (bewusst, unbewusst, unterdruecker, осознанно, неосознанно, контролируемый, необузданный и т.п.); 11) «интенсивность или деинтенсивность (градация) переживания эмоции» (gross, hoher, heftig, uebermaechtig, gesteigerter, tief, leichter, сильный, большой, крайний, острый, чрезмерный, легкий и т.д.); 12) «положительная / отрицательная знаковая направленность эмоций» (freudig, angenehm, trauriger, веселый, озлобленный, тоскливый, мрачный и т.п.).

Данные семантические параметры могут быть учтены при толковании слов, обозначающих эмоции в филологических словарях. При этом, естественно, различными окажутся их лексикографические возможности. Совершенно очевидно, что такие параметры интерпретации исследуемых слов, как «род», «характер протекания эмоции», «градация переживания эмоций», окажутся более востребованными, чем, к примеру, семантические параметры «последствия переживания эмоций», «осознанность и контролируемость или неконтролируемость эмоций». Выбор семантических признаков для лексикографического описания значения слов в толковом словаре зависит от самой онтологической направленности дефинируемого фрагмента мира, от того, к какой «зонной группе» он относится (к страху, радости, гневу или печали). Отсюда становится понятной необходимость обращения лексикографа к дефинициям, представленным в специальных словарях, справочниках. Здесь же мы хотели бы указать на желательность использования при раскрытии содержания номинантов эмоций однотипных языковых конструкций и в целом по возможности ограниченного набора моделей.

Языковые иллюстрации эмоциональных концептов в словарных филологических статьях

Эмоциональные концепты группы «Angst – страх»

Как текст словарная статья имеет специфическую структуру. Помимо определения, содержащего признаки того / иного понятия и, следовательно, указывающего на границы его существования в концептосфере языка, она содержит иллюстративную (экспликативную) часть. Последняя в филологических толковых словарях выполняет функцию описания дефинируемого феномена как языковой единицы.

Иллюстративная часть словарной статьи представляет собой примеры употребления слов, обозначающих понятия. По мнению лексикографов (Abel 2000, S. 163–165), в нее включены дескриптивный и нормативный компоненты. Первый из них есть лексикографические примеры употребления слова, которые либо составлены автором словаря самостоятельно, либо приводятся им как цитаты, как правило, из текстов классической литературы. Нормативный компонент словарной статьи есть свод языковых, преимущественно грамматических, правил употребления той / иной лексической единицы.

Словарные статьи, описывающие номинации эмоции в немецком и русском языках, имеют следующую структуру: 1) грамматическая характеристика (форма родительного падежа, множественное число, род); 2) дефиниция (определение); 3) диасистематические сведения (стилистические пометы – «устар.», «поэт.», «разг.»); 4) иллюстрации (экспликации) употребления (примеры составителя словаря, приводимые им цитаты из других, как правило, наиболее известных в культуре литературных источников, пословицы и поговорки, устойчивые выражения).

Для лингвокультуролога наиболее ценной является иллюстративная часть словарной статьи, сформированная элитарной языковой личностью – составителем словаря. В ней приводятся наиболее типичные употребления соответствующих лексических единиц в определенных контекстах, часть из которых прецедентна. Здесь же заметим, что некоторыми исследователями небезосновательно отмечается коллокативный характер такого типа текста, как словарная статья. Последняя может рассматриваться как «совокупность коллокаций» (Опарина, 1999, с. 137), что, как мы понимаем, объясняется ассоциативностью человеческого языкомышления (термин Г.В. Колшанского). Лексические коллокации (т.е. фразеологические сочетания) представляют собой уже готовые (значит, отрефлексированные идеи) к употреблению языковые комбинации знаков, фиксирующие наиболее ценностные для того / иного социума мысли, его мироощущение, в целом – менталитет. Отсюда, следовательно, с определенной степенью уверенности можно постулировать достоверность результатов, получаемых в ходе анализа тех / иных концептов, как правило, образно осмысленных устойчивыми, зафиксированными в толковых словарях фразеосочетаниями, клише, штампами и т.п.

Мы считаем, что именно языковые иллюстрации употребления слов являются действительно культурологически наиболее релевантными. Их анализ может пролить свет на особенности языкового ос-

мысления социальных феноменов (в нашем случае эмоций) в разных этнических сообществах. Интерпретация лексикографических примеров словарных статей может позволить обнаружить само «сопряжение понятий» (термин Лакоффа. – См.: Лакофф 1990, с. 388), которым мыслится то / иное явление.

Лингвокультурологический анализ примеров, зафиксированных в описывающих номинанты эмоций словарных статьях, мы проводим посредством применения методики интерпретации, интроспекции и компонентного анализа. Применение данных исследовательских методик позволяет классифицировать интересующие нас микротексты на соответствующие семантические группы. К исследованию при этом привлекались наиболее авторитетные, изданные в Германии и России лексикографические источники – Duden Deutsches Universal Woerterbuch (DW 1989), Wahrig Deutsches Woerterbuch (DW 1992), Немецко-русский электронный словарь «МультиЛекс» (МЛ), Немецко-русский синонимический словарь под редакцией И.В. Рахманова (Рахманов 1983), Словарь современного русского литературного языка (БАС 1950–1965), Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (ТС 1995), Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова (ТС 1935–1940).

Лингвокультурологический анализ лексикографических примеров, иллюстрирующих характеристики ЭК, начнем с синонимического ряда *Angst*. Употребление формирующих его слов позволяет выделить следующие семантические группы: 1. «Страх – это борьба» (*Angst bekaempfen, unterdruecken; den Schreck ueberwinden; seine Scheu ablegen*). 2. «Страх – это смерть» (*vor Angst vergehen, wuergende Angst, toedliches Grauen*). 3. «Страх – каузатор действия» (*vor Angst nicht schlafen koennen; vor Schreck aufschreien, davonlaufen*). 4. «Ощущение страха с указанием / без указания его продуцента» (*Furcht empfinden; Aengste erleiden; Angst vor j-m, vor etw. haben; j-n in Angst und Schrecken halten; jnd in Schrecken halten; einen Schreck, einen Schrecken bekommen, einen Schrecken kriegen (umg.); ein Grausen kommt [vor jmdm., etw.]; j-m die Angst einjagen, machen; j-n in Angst versetzen; j-n. in Furcht (ver)setzen; j-n in Furcht und Schrecken (ver)setzen; in Angst, Furcht geraten; er bekam es mit der Angst zu tun; jmdn. in Schrecken versetzen; etw. erfuehlt jmdn mit Schrecken (geh.); jmdm. einen Schrecken bereiten, einjagen, setzen; die Furcht, Scheu einfloessen; ihn ueberkam, befiel Angst; ein Schrecken ueberkam sie*). 5. «Мотивация / отсутствие мотивации появления страха» (*Furcht vor dem Tode; aus Furcht vor Strafe; bodenlose Angst; unerklaerliche Scheu*). 6. «Активное (агрессивное) чело-

векоподобное действие страха» (Furcht ergreift, packt j-n; von Furcht ergriffen, gepackt werden; der Schreck ist ihm in die Glieder gefahren; der Schreck fuhr ihm in die Knochen; ein heftiger Schreck ergreift, laehmt jndn; sie war vor Schreck wie gelaehmt; mich durchlaeuft, erfasst, ergreift, ueberfaellt, ueberlaeuft ein Schauder; ein Schauder fuhr, lief mir ueber den Ruecken; von einem frommen Schauder erfasst; ein Grauen erfasst, ueberlaeuft jmdn.; mich erfasste, ergiff, ueberkam, ueberlief ein Grausen; das Grausen packte ihn; von Entsetzen gepackt; die Menschen wurden von Entsetzen erfasst, gepackt, geschuettelt; Entsetzen ergriff die Menge; da packte mich Grausen; Panik erfasste, ergriff die Reisenden; Angst befaellt j-n., jdn. befaellt ein Grausen; laehmendes Entsetzen befiel sie; «Sie wurde von der Panik ergriffen...» [Kellermann]). 7. «Соматическое выражение страха» (Angst schwitzen; vor Furcht erbleichen, beben, zittern; vor Schreck zittern, beben, bleich sein; sie war vor Schreck bleich; starr vor Schreck; sie erroetete in freudigem Schreck; bleich vor Entsetzen sein; «Auf den Zuegen des Pressevertreter malten sich ausserster Schrecken und tiefste Anteilnahme» [Kellermann]; «Auf ihrem Gesicht lag ein Anflug von Furcht» [A. Seghers]). 8. «Длительное пребывание в состоянии страха» (in tausend Aengsten schweben; der Schreck sitzt ihm in den Gliedern; der Schreck sass, lag ihr noch in den Gliedern; der Schrecken fuhr mir durch in die Glieder, Knochen (umg.); der Schrecken lag mir noch in den Gliedern, in den Knochen (umg.), «Ewige, nie abreissende Angst» [Fallada]). 9. «Гра-дация (интенсивность) переживания страха» (ein heftiger Schreck; tierische Angst; wachsende Angst; in grosser Angst sein; laehmende Furcht; ein grosser, maechtiger, ungeheurer, hoellischer, jaehher, panischer, toedlicher Schreck; ein eisiger, jaehher, tiefer Schrecken; laehmendes Grauen; ein leises Grauen, mit Furcht und Zittern; Furcht hat tausend Augen [посл.]; «Sie hat masslose Angst hinunterzufahren, aber sie muss es tun» [Feuchtwanger]). 10. «Полнота, объем страха» (voller Scheu [vor jmdm. od. etw.] sein). 11. «Знаковость страха» (die Angst quaelt j-n). 12. «Скрытая форма переживания страха» (geheime Scheu). 13. «Инстинктивная характеристика страха» (eine instinktive Scheu). 14. «Температурная характеристика страха» (kaltes Grausen). 15. «Божественность страха» (eine fromme, ehrfuerchtige Scheu; mit frommem Schauder). 16. «Суетерность» (eine aberglaeubische Scheu).

В русскоязычном синонимическом ряду *страх* обнаруживаются следующие семантические группы: 1. «Страх – это смерть» (Под страхом смерти; «Она мертва со страху» [Грибоедов]). 2. «Страх – каузатор действия» («Лешка со страху вскочил ...» [Саянович]). 3. «Переживание страха с указанием / без указания его продуцента» (Испы-

тивать боязнь; (разг.) страху набраться, натерпеться и т.п.; держать кого-н. в страхе; приходить в ужас от чего-либо; навести страх на кого-н.; (разг.) нагнать страху (напугать); (ритор.) ужас охватил (объял) его; приводить, повергать кого-либо в ужас; «Но страх наказания никого не удержал...» [Мамин-Сибиряк]. 4. «Непонимание человеком причин появления страха» («Ужас у меня безотчетный...» [Чехов]; «В нем есть всегда неопределенный, смутный страх...» [Добролюбов]). 5. «Активное (агрессивное) человекоподобное действие страха» (страх нападает, забирает и т.п.) (разг.); «...На мельника напал настоящий страх» [Короленко]; «Ужас нечеловеческий – чудовищный ужас сковал мое тело, сжал ледяной рукой мое горло, сдвинул к затылку кожу на моем черепе» [Куприн]; «Страх обнял души насильников» [Горький]; «Набоб попятился даже назад от охватившего его чувства ужаса...» [Мамин-Сибиряк]; «Ночь ненастная настала, на него боязнь напала» [Ершов]). 6. «Соматическое выражение страха» (Задражать от страха (со страху); «...У него затряслись коленки, застучали зубы, волосы поднялись дыбом от страха...» [Короленко]; «Григорий бежал на шум возни, в расширенных, освоившихся с темнотой глазах его белел страх» [Шолохов]; «Лицо его исказила гримаса ужаса» [Борисов]). 7. «Интенсивность переживания страха» (панический страх; панический ужас; У страха глаза велики [посл.]). 8. «Знаковость страха» (смертельный ужас). 9. «Инстинктивность переживания страха» (инстинктивный страх, животный страх). 10. «Температурная характеристика страха» («Что же это такое? – подумала Ольга Иванова, холодея от ужаса» [Чехов]; «Ужас леденит наши сердца» [Тургенев]; «Холод ужаса пробежал по спине...» [Л. Толстой]). 11. «Суеверность страха» (суеверный ужас).

Эмоции страха имеют во многом принципиально идентичные ассоциативно-образные представления в сопоставляемых лингвокультурах. Обозначающие анализируемые эмоции слова активно метафоризируются, образно уподобляясь действиям реальных живых существ, например, действиям человека (*ergreifen*, *packen*, *befallen*, сковать, обнять, нападать, охватить и т.п.), и ассоциируясь с такими явлениями, как смерть (*toedliches Grauen*, мертвый со страху), холод (*kalt* *Grausen*, леденить, холодеть), дрожь (*beben*, *zittern*, задрожать). Преодоление страха, сковывающего человека в его поступках, стóбит определенных волевых усилий (*ueberwinden*, неодолимый страх и т.д.); с ним нужно бороться (*bekaempfen*); он мучает человека, болезненно им переживается (*quaelen*); приводит к соматическим изменениям в его организме (*bleich werden*, задрожать от страха); при этом пере-

живающему эту эмоцию не всегда понятны причины ее появления (bodenlos, unerklärlich, безотчетный). Кроме того, страху приписываются такие характеристики, как отрицательная знаковость (wuergend, смертельный ужас), интенсивность (heftiger, tierisch, животный), природная инстинктивность (instinktiv, инстинктивный).

В русскоязычных словарных статьях по сравнению с немецкоязычными не указываются такие признаки страха, как скрытая форма переживания, его божественность и длительность переживания, полнота, объем. В то же время в немецкоязычном лексикографическом материале количественно и качественно (т.е. менее образно) не столь ярко выражена соматика эмоций страха по сравнению с русскоязычными словарными примерами.

Эмоциональные концепты группы «Freude – радость»

Словарные иллюстрации концептов *Freude* позволяют выделить в ней следующие семантические группы: 1. «Препыбывание в состоянии положительных переживаний с указанием / без указания его каузатора» (grosse Freude an seinen Kindern haben, erleben; Spass, Vergnuegen, Gefallen an etw. finden, haben; die Darbietungen erregten unser Entzuecken; ein kindliches Vergnuegen bei etw. empfinden; Lust empfinden, verspueuen; die Kinder kreischen vor Wonne; j-m Freude machen, bereiten, bringen; j-m Genuss bereiten; j-m Vergnuegen machen, bereiten; Freude spenden durch, mit etw.; Gefallen erregen; das macht mir Spass; «Ihm machte es Spass ...» [Seghers]; «Er hatte an seinem beruflichen Erfolg naive Freude» [Feuchtwanger]; «Es wurde ihm direkt Vergnuegen machen, einmal tuechtig in der Sonne zu schwitzen» [Kellermann]; «Er habe nie gehant, welches Behagen ein solches Leben einem schaffe...» [Feuchtwanger]; «Er empfand ein sonderbares Behagen...» [Kellermann]). 2. «Проявление эмоции в (активных) действиях человека» (ich koennte vor Freude an die Decke springen; vor Vergnuegen in die Hoehe springen; er ist ausser sich vor Freude, vor Entzuecken; Sie jubelte, tanzte vor Glueckseligkeit). 3. «Временная потеря человеком рассудка от переживаемой эмоции» (er kann sich vor Freude kaum, nicht fassen, halten). 4. «Противопоставление данной эмоции другим (негативным) переживаниям» (Freude und Leid mit j-m teilen, in Freude und Leid zusammenhalten, j-m in Freude und Leid zur Seite stehen). 5. «Нежелательность лишения человека переживания приятных эмоций» (j-m die Freude verderben, versalzen, nehmen, rauben, stoeren, trueben, j-m den Spass verderben). 6. «Положительная знаковость эмоций» (die Freuden

der Liebe; die Wonnen der Liebe, des Glueckes; ihm lacht, laechelt, winkt das Glueck; das Glueck ist ihm hold, gnaedig, gewogen; das Glueck beguenstigte ihn; das Glueck hat ihn verlassen [im Stich gelassen], das Glueck hat ihm den Ruecken gekehrt; j-s Glueck im Wege stehen; in Glueckseligkeit schwelgen; «Alle Wonnen des Himmels schenken» [Fallada]. 7. «Градация эмоций» (eine grosse, tiefe, riesige Freude; grosses Glueck, das hoechste Glueck; Ihre Seligkeit war gross; geringes, groesstes Behagen; grosser, hoher Genuss, grosse, kleine Lust, viel, wenig Lust). 8. «Полнота, объем переживания эмоций» (voller Behagen; voller Wonne sein; in Seligkeit schwimmen). 9. «Вкусное наслаждение» (der Genuss eines Glases Wein; den Wein mit Behagen schluerfen; Dieser Wein ist ein Hochgenuss). 10. «Стремление к переживанию эмоции, ее поиск» (die Jagd nach Glueck; die ewige Seligkeit erlangen, gewinnen; jeder ist seines Glueckes Schmied [посл.]). 11. «Временность и хрупкость положительного эмоционального состояния» (Glueck und Glas, wie leicht [bald] bricht das! [посл.]). 12. «Продолжительность переживания эмоции» (die ewige Seligkeit).

Анализ употреблений синонимичных номинантов эмоций *радость* и *отрада* в словарных статьях позволяет выделить следующие семантические группы: 1. «Пребывание в состоянии положительных переживаний с указанием / без указания их каузатора» (испытывать, доставить радость; дети – ее отрада). 2. «Проявление эмоции в действиях человека» (вне себя от радости; «Другая бы на моем месте кричала бы от радости» [А. Островский]). 3. «Активное человекоподобное действие радости» («Острая захватывающая радость вдруг овладела им» [Чехов]). 4. «Противопоставление радости негативным переживаниям» (радости и горести жизни). 5. «Положительная знаковость эмоций» (отрада для души; «И я любовь узнал душой| С ее небесною отрадой...» [Пушкин]; «Весна! весна! души отрада!» [Никитин]). 6. «Градация эмоций радости» («Воспоминание об этом времени разливало тихую радость в душе моей» [Аксаков]). 7. «Соматическое выражение эмоций» (глаза, лицо сверкают, светятся радостью; радость освещает, озаряет лицо, глаза; «И светлая горит в очах их радость» [Жуковский]; «На всех лицах сияла радость...» [Соллогуб]; «Сердце мое испытало много радостей и много горестей» [Тургенев]; «Пирует Владимир со светлым лицом,| В груди богатырской отрада» [А.К. Толстой]). 8. «Временность переживания радости» («Когда улеглась радость... » [Герцен]).

Радость в обоих языках мыслится их носителями как позитивное эмоциональное состояние, переживание которого психологически

важно, жизненно необходимо человеку. Ее позитивность четко эксплицирована многочисленными примерами, конкретно указывающими ее каузатора (например, дети, Kinder). Не случайны положительные дистрибуции номинаций эмоций в русском и немецком языках – «сиять», «озарять», «светлый», «herrlich», – обладающих позитивной семантикой. Положительность образа радости доказывается также ее противопоставлением отрицательно оценочным понятиям. – Ср. «радости и *горести*», «Freud und Leid».

В одной из своих работ В.А. Успенский следующим образом характеризует русскую радость: «Радость – внутри человека. Это легкая светлая жидкость. Иногда она *тихо разливается* в человеке, а иногда *бурлит, играет, искрится, переполняет* человека, *переплескивается через край*. По-видимому, она легче воздуха: человек от радости испытывает легкость, идет, не чуя земли под ногами, парит и, наконец, улетает на седьмое небо» (Успенский 1997, с. 151).

Сравнение русскоязычного и немецкоязычного словарного материала обнаруживает в первом из них, с одной стороны, такие специфические признаки, как «активное человекоподобное действие эмоции радости», «смешанность эмоций», «соматическое выражение эмоции радости», а с другой – отсутствие ряда признаков, как-то: «временная потеря человеком рассудка от переживаемой эмоции»; «полнота, объем переживания радости», «продолжительность переживания радости», «стремление к радости, ее поиск», приписываемых данной эмоции составителями немецких словарей.

Культурологически релевантным мы рассматриваем речевое употребление в одних и тех же контекстах лексем радости с национально-специфическими для русского этноса понятиями – «сердце» и «душа» (сердце испытало много радостей, тихая радость в душе, отрада души и т.п.).

Эмоциональные концепты группы «Trauer – печаль»

В языковые лексикографические иллюстрации синонимического ряда *Trauer* включены следующие семантические группы: 1. «Печаль – это смерть» (vor Kummer sterben; aus Gram ueber j-n, ueber etw. sterben; vor/aus Gram ueber einen Verlust sterben; Sein Tod erfuelle alle mit tiefer Trauer). 2. «Печаль – каузатор действия» (vor Kummer nicht schlafen koennen). 3. «Переживание эмоции с указанием / без указания его продуцента» (j-n in Trauer versetzen; Trauer erfuelle ihn, ueberkam ihn; jmn befaellt tiefe Trauer; Kummer haben; Melancholie befiele ihn; Sie hat ihm

grossen Kummer zugefuegt; sich in Wehmut auflösen; etw. erfüllte jdn mit Melancholie; sich seinem Gram hingeben; seinem Gram (zu sehr) nachhaengen; sie ueberlaesst sich ganz ihrem Gram; von Gram erfüllt, gebeugt, niedergedrueckt sein; «Eine vage Truebsal fuellte Toinette...» [Feuchtwanger]. 4.«Мотивация / отсутствие мотивации появления эмоции» (Trauer um jds. Tod empfinden; in Truebsinn verfallen; Der Kummer um ihren Sohn hat sie ueberwaeltigt). 5.«Соматическое выражение эмоции» (eine von Gram gefurchte Stirn; das Gesicht ist von Trauer ueberschattet). 6.«Градация переживания эмоции» (grosse Traurigkeit, grosser Kummer; in tiefer Trauer, tiefste Trauer; tiefer Gram; viel Kummer haben; ein Hauch von Gram). 7.«Полнота, объем переживания эмоции» (vollvoller Trauer [ueber etw.] sein; sie waren voller Truebsal). 8.«Знаковость эмоции» (in seiner Trubsal troesten). 9.«Скрытая форма переживания эмоции» (einen geheimen Kummer haben; stiller Gram). 10.«Желание избавиться от переживания эмоций» (den Kummer vertreiben; Man muss allein mit seinem Kummer fertig werden). 11.«Способ избавления от отрицательной эмоции» (seinen Kummer im Alkohol ertraenken, ersaeufen; seinen Kummer bei j-m abladen). 12.«Поглощение человека эмоцией» (ein Kummer zehrte an ihm; Gram nagt, frisst, zehrt an ihm; sich vor Gram verzehren; verzehrender Gram; nagender Gram; er vergraebt sich ganz in seinen Kummer; er versank, verfiel in Melancholie).

Синонимический ряд *печаль* в русском языке в лексикографических источниках связан со следующими понятиями: 1. «Печаль – это смерть» (смертная, предсмертная, смертельная тоска; с тоски, от тоски пропасть, умереть; «Я удавилась бы с тоски, Когда бы на нее хоть чуть была похожа...» [Крылов]; «В смертельной тоске возвращался я к себе домой вечером» [Достоевский]; «И вдруг Захар почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску...» [Бунин]; «Перед утром стала она чувствовать тоску смерти...» [Лермонтов]; «Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть?» [Шолохов]. 2.«Печаль – каузатор действия человека» (тоска любви, отчаяния, одиночества и т.п.; «Тоска любви Татьяну гонит, И в сад идет она грустить» [Пушкин]. 3.«Переживание эмоции с указанием / без указания ее продуцента» (предаваться грусти, унынию; наводить, нагонять тоску, уныние на кого-н.; приводить, повергать в уныние кого-л.; разогнать, развеять, рассеять и т.п. тоску; «Гляжу, как безумный, на черную шаль, И хладную душу терзает печаль» [Пушкин]; «Им овладела невыносимая тоска» [Гончаров]; «Меня охватило чув-

ство одиночества, тоски и ужаса» [Чехов]; «Он впал в уныние, стал опять терзаться тупой и бесплодной скукой» [Гончаров]; «Аркадий ... начал предаваться тихому унынию» [Тургенев]; «На Пьера опять нашла та тоска, которой он так боялся» [Л. Толстой]; «Ветер осенний наводит печаль» [Некрасов]). 4. «Причины появления эмоции» (грусть о доме, о родных; тоска по родине). 5. «Соматическое выражение эмоции» (тоска в глазах, во взгляде у кого-н.; тоска сжимает, давит, теснит сердце, душу, грудь; «На сердце легла печаль-тоска» [Неверов]; «Дома мне мучительно тяжело! Как только прячется солнце, душу мою начинает давить тоска» [Чехов]; «На сердце гнетущая тоска» [Чехов]; «Вообще, спокойная грусть, не похожая ни на бесплодную тоску наших романтических героев, ни на горькое отчаянье, заливаемое часто разгулом, но, тем не менее, тяжелая и сжимающая сердце, составляет постоянный элемент стихотворений Шевченко» [Добролюбов]; «Ее черты дышали той старческой грустью, от которой так мучительно сжимается сердце...» [Тургенев]; «В минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть» [Лермонтов]; «И странная тоска теснит уж грудь мою» [Лермонтов]; «Стеснилась грудь ее тоской» [Пушкин]; «Словно какая-то затаенная грусть, какая-то скрытая сердечная боль сурово оттеняли прекрасные черты ее» [Достоевский]). 6. «Градация переживания эмоции» (глубокая, тихая печаль). 7. «Отрицательная / положительная знаковость эмоции» («Вместо веселья и смеха к нам приходила грусть. Плохая гостья» [Горбатов]; «В унынье, с пасмурным челом...» [Пушкин]; сладкая тоска; «И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска» [Бунин]; «...И странной, сладкою тоской! Опять моя заныла грудь» [Лермонтов]). 8. «Скрытая форма переживания эмоции» (затаенная грусть). 9. «Поглощение человека эмоцией» («Князь печально отвечает: "Грусть-тоска меня съедает"» [Пушкин]; «...И тоска неотступно грызла его» [Коптяева]). 10. «Цветовая характеристика эмоции» (тоска зеленая, «темное уныние» [Горький]). 11. «Человекоподобное действие эмоции» (тоска берет, грызет, одолевает, нападает, находит; уныние охватывает, овладевает кем-л.; «Временами меня охватывало темное уныние» [Горький]). 12. «Тяжесть эмоции» («Пала грусть-тоска тяжелая на кручинную головушку» [Кольцов]; «С тяжелым чувством уныния и даже отвращения...» [Л. Толстой]). 13. «Безысходность» (грусть безысходная, безнадежная).

Как видно из приведенных примеров, для понятий печали и Тгауст характерно множество общих ассоциативно-образных признаков (градация эмоций, их психологическая отрицательная знаковость и

т.д.). Вместе с тем сопоставление эмоций печали в словарном русско- и немецкоязычном материале позволяет заметить приписывание ей в первом из них таких признаков, как «человекоподобное действие эмоции», «безысходность эмоции», «тяжесть эмоции», «цвет эмоции». Эти ассоциативно-образные признаки в немецких словарных статьях не указаны, равно как не выражены в русских статьях «полнота, объем переживания эмоции», «желание избавиться от переживания эмоции», «способ избавления от отрицательной эмоции». Последние четко эксплицированы в немецкоязычном материале.

Культурологически важным является, по нашему мнению, указание в лексикографическом материале на такие каузаторы рассматриваемых эмоций, как «грусть о доме, о родных; тоска по родине». Заметим, что, например, в немецких лексикографических источниках эти каузаторы не представлены. Понятия «дом», «родные», «родина», как известно, в высшей степени ценностны для русского этноса. Другим характерным признаком образного осмысления русской печали (грусти и т.п.), судя по лексикографическому материалу, является ее сопряжение с понятием цвета в русской культуре (например, тоска зеленая, темное уныние). Не менее культурологически значимым мы признаем сопряженность эмоций печали с понятием вкуса (сладкая тоска; ср. с горю горькое). Примечательны в этой связи наблюдения болгарского исследователя Г.Д. Гачева, установившего на богатом разноязычном материале релевантность вкусовых ощущений для русских в познавательном процессе, в том числе и при освоении ими мира эмоций. В частности, он отмечает активное использование в русском языке оценочного предиката «горький»: «В России “горько”, даже когда целуются, и водка – горькая, и слезы – горькие, и человек – горемыка, и писатель – Горький. Даже в любви – “отрава слез и горечь поцелуя”» (Гачев 1988, с. 133).

Важным лингвокультурологическим фактом мы считаем сопоставление эмоций печали, пользуясь терминологией психоаналитика Э. Нойманна, с «идеей пожирательства» (Нойманн 1998, с. 41–42). Эмоции способны физиологически поглощать человека (например, «Грусть-тоска меня съедает» [Пушкин]). По его мнению, «идея пожирательства» легла в основу многочисленных фигуральных, метафорических описаний самых различных фрагментов мира, в том числе и эмоциональных (Нойманн 1998, с. 42).

Необходимо указать на национально-специфические номинации эмоций в русском языке: *грусть-тоска*, *печаль-тоска*. С семантической точки зрения они представляют собой обозначения-дубликаты.

Их перевод на другие языки возможен, по всей видимости, только описательными средствами. Указанные русские номинации эмоций относятся к классу безэквивалентной лексики. Этот лингвистический факт культурно симптоматичен. Он – свидетельство глубокой, детальной специфической «проработанности» *русским* сознанием данной группы эмоций.

Наш анализ лексикографического материала подтверждает интересное суждение В.П. Нерознака о том, что понятия «грусть-тоска», «тоска-печаль», «тоска-кручина» национально маркированы (Нерознак 1998, с. 82–83).

Эмоциональные концепты группы «Zorn – гнев»

Языковые иллюстрации синонимического ряда *Zorn* классифицируемы в следующие семантические группы: 1. «Соматическое выражение эмоции» (vor Zorn quollen ihm fast die Augen aus dem Kopfe, vor Zorn schwoll ihm die Stirnader an, er war rot vor Zorn, vor Wut blau anlaufen; er wurde dunkel vor Zorn; die Zaehne vor Wut fletschen; vor Wut mit den Zaehnen knirschen; sein Gesicht wurde scheckig vor Wut; er ballte die Faeuste in ohnmaechtiger Wut). 2. «Гнев – это огонь» (vor Zorn rauchen, er schaeumt vor Zorn, ihre Augen spruehten vor Zorn, von Zorn entbrannt, j-s. Zorn entflammen, sein Zorn ist verraucht). 3. «Гнев – это жидкость» (sein Zorn ergoss sich ueber unser Haupt, seinen Zorn an j-m auslassen; vor Wut sieden; aufgestaute Wut). 4. «Гнев – это взрывчатое вещество» (vor Wut hat er fast explodiert). 5. «Гнев – это горящая жидкость» (sie kochte vor Zorn, vor Wut, der Zorn brachte das Blut in Wallung). 6. «Гнев – это контейнер, накопитель, склад» (der Zorn hat sich in ihm aufgespeichert, von Zorn auf, gegen j-n erfuehlt sein). 7. «Активное (агрессивное) человекоподобное действие гнева» (j-n packt der Zorn, die Wut; jmdn. erfasst Wut; von Entruestung ergriffen; «Als er allein war, fasste ihn unbaendige Wut» [Feuchtwanger]; «Grimm fasste ihn» [Feuchtwanger]). 8. «Потеря человеком контроля над собой» (sich vor Zorn nicht mehr kennen, sein Zorn ist nicht zu beschwichtigen). 9. «Контроль / преодоление человеком переживания эмоции» (den Zorn daemmen, den Zorn maessigen, er sucht ein Ventil fuer seinen Zorn). 10. «Способ избавления от эмоции» (seine Wut in den Strassen auslaufen; sich seinen Zorn herunterreden). 11. «Исчезновение эмоции» (Ihr Zorn hat sich gelegt). 12. «Борьба» (der Zorn uebermannte ihn; von seinem Jaehzorn uebermannt werden). 13. «Возникновение эмоции с указанием / без указания ее продуцента / каузатора» (in Wut, in Zorn, in Rage geraten; er fuehlte Zorn hochkommen, in Wut kommen; in Raserei geraten,

verfallen; j-n in Zorn bringen, j-ds. Zorn erregen, sein Zorn richtete sich gegen j-n; seine Wut an j-m abreagieren; von Zorn (auf, gegen jmdn) erfüllt sein; seinen Grimm an j-m auslassen; eine wilde Wut stieg in ihm auf, erfüllte ihn). 14.«Градация эмоции» (maechtigen Zorn auf jmdn haben; in wildem Jaehzorn; helle Wut; masslose Wut; ein Sturm der Entrüstung). 15.«Полнота, объем переживания эмоции» (voller Wut). 16.«Эмоция как каузатор действия человека» (sie weinte vor Zorn und Enttäuschung; in wildem Jaehzorn zuschlagen; Er schlug vor Wut mit der Faust auf den Tisch). 17.«Боязнь эмоции» (jds. Zorn fuerchten). 18.«Непазучность переживания эмоции» (besinnungslose, sinnlose, fassungslose Wut; in blinder Wut).

Гнев по сравнению со всеми другими эмоциями, как видим, описывается максимально разнообразно и образно распределенным в немецкой культуре, что, на наш взгляд, объясняется в первую очередь его импульсивным и агрессивным характером.

Анализ русскоязычных лексикографических источников позволяет выделить в синонимическом ряду «гнев» следующие семантические группы: 1. «Соматическое выражение эмоции» (слезы ярости; «Полный ярости, скрипя зубами ... он открыл огонь» [Павленко]; «Вздурился Лев ... в ярости скрежет зубами....» [Крылов]. 2.«Гнев – это огонь» (вспышка гнева; «А что такое Багратионов гнев знали все – он вспыхивал, как молния» (Голубов); «Этот добрый человек омрачался такими вспышками гнева, которые искажали в нем образ человеческий...» [С. Аксаков]). 3. «Гнев – это взрывчатое вещество» («Малюта ... приготовился к взрыву царского гнева» [Костылев]). 4. «Потеря человеком контроля над собой» (вне себя от ярости). 5.«Возникновение эмоции с указанием / без указания ее продуцента» (быть в гневе; войти, впасть в гнев; вводить кого-либо в гнев; входить, приходить в ярость, в бешенство, в негодование; довести до бешенства). 6.«Градация эмоции» (быть в крайнем возмущении; не помнить себя в гневе; «На Богдановича ... находили припадочки настоящей, не знающей границ ярости» [Куприн]; «Сердитый граф пришел еще в большую ярость...» [Лесков]. 7.«Полнота, объем переживания эмоции» (полный ярости). 8. «Эмоция как каузатор действия человека» («Вне себя от ярости Дмитрий размахнулся и ударил ... Григория» [Достоевский]; «Его ярости не было границ. Он с бешенством толкнул ногой бак...» [Н. Островский]. 9.«Боязнь эмоции» («Князь Курбский от царского гнева бежал» [А. Толстой]). 10.«Непазучность переживания эмоции» (Гнев – плохой советчик [посл.]).

Указанные семантические группы имеют место также и в немецкоязычном материале. Эмоции гнева, как можно видеть из приведен-

ных здесь и выше примеров, более полно и разнообразно описаны в немецких словарных статьях. В русскоязычных словарных статьях по сравнению с немецкоязычными отсутствуют следующие семантические группы: 1. «Гнев – это жидкость». 2. «Гнев – это контейнер, накопитель, склад». 3. «Активное (агрессивное) человекоподобное действие гнева». 4. «Контроль / преодоление человеком переживания эмоции». 5. «Способ избавления от эмоции». 6. «Исчезновение эмоции». 7. «Борьба». Следовательно, можно сделать вывод о более детальном описании отмеченной группы эмоций на уровне словарной статьи в современном немецком языке по сравнению с русским. В немецкоязычной словарной статье она отрефлексирована более разнообразно и образно.

Выводы

Словарную филологическую статью мы квалифицируем как важный специфический тип вербального текста, в котором раскрыты структура и содержание концепта. Она состоит из собственно дефиниционной и иллюстративной частей. В первой раскрываются с точки зрения логики наиболее важные признаки определяемого понятия; во второй же содержатся его образы и оценки. В словарной дефиниции указаны границы определяемого понятия, в то время как в иллюстративной части словарной статьи эксплицированы его ценностные и образно-ассоциативные компоненты. Понятие, образно и ценностно распрямеченное *Nomo loquens*, есть концепт.

Номинанты эмоций дефинируются в немецком и русском языках родовидовым, релятивным, отсылочным и комбинированным способами. Самыми регулярными в обоих языках являются первые два. Мы считаем целесообразным фиксацию в филологических дефинициях большего количества семантических признаков при родовидовых определениях (более развернутая видовая характеристика), с одной стороны, и указание родовых сем при релятивных определениях – с другой. Релятивные и особенно отсылочные определения малопродуктивны как в немецком, так и в русском языках из-за их ограниченных возможностей при описании значения слов, лексически оформляющих концепты.

Наиболее оптимальными, но, к сожалению, не в достаточной мере регулярно используемыми при описании значения слов, кодирующих ЭК, являются комбинированные, по своей сути симбиозные опреде-

ления. Данный тип лексикографического толкования номинаций эмоций сочетает в себе преимущества родовидовых и релятивных определений. Он более полно и точно эксплицирует содержание рассматриваемых психических понятий, многие из которых онтологически близки друг другу. Мы считаем целесообразным и, более того, технологически возможным использование именно этого типа дефиниции в описании семантики слов, обозначающих эмоциональные феномены, что, по нашему мнению, предполагает составление набора определенных *семантических параметров*, применение которых должно упорядочить, систематизировать и, следовательно, повысить качество смысловой репрезентации ЭК. С этой целью необходимо обращение к энциклопедическим (психологическим) дефинициям, более полно раскрывающим содержание психических явлений. Ряд наиболее существенных признаков, составляющих объем того / иного понятия, может быть включен и в дефиниции филологических словарей. Сопоставительный анализ разнотипных дефиниций эмоций позволяет вычленивать такие базисные семантические признаки, как «род», «вид», «каузативность», «градация». Они могут быть использованы лексикографами как метаязык в практике описания фрагментов эмоциональной концептосферы.

Поскольку эмоции представляют собой мозаичную картину, элементы которой плавно переходят друг в друга, постольку и обозначающие их вербальные знаки в высшей мере диффузны. Отсюда реальные лексикографические трудности описания семантики последних, что, как мы полагаем, привело многих исследователей к выводу о предпочтительности использования метафоры как метаязыка при дескрипции обсуждаемого феномена (см.: Лакофф 1990, с. 396–404; 410–415). Мы считаем, что метафорические описания семантики номинантов эмоций действительно необходимы, но не в самом определении, а в иллюстративной части словарной статьи. В отличие от нее словарная дефиниция в силу ее редуцированного объема определяет понятие – ядро концепта. Сам же концепт на лексикографическом уровне раскрывается в языковых иллюстрациях, анализ которых позволяет увидеть его оценочное и образно-ассоциативное осмысление носителями того / иного языка.

В ходе интерпретационного анализа номинаций эмоций в рамках одной лингвокультуры установлены как некоторая общность, так и принципиальная отличительность образов, оценочно рефлекслирующих эмоциональные явления мира. Ассоциативно и образно более близкими друг другу оказались концепты *Angst* – *страх* и *Zorn* – *гнев*,

что объясняется их во многом совпадающей психологической (отрицательной) направленностью (см.: Витт 1983, с. 28–29; Изард 1999, с. 31–32). Общими по своему характеру являются для них такие ассоциации, как «борьба», «соматическое выражение эмоций», «возникновение эмоции с указанием / без указания их продуцента / каузатора» и уподобление аффектов агрессивному живому существу. Образный компонент концепта *Freude* – *радость* во многом оценочно отличен от образности *Angst* – *страх* и *Zorn* – *гнев*, причиной чему служит, по всей видимости, их психологическая знаковая разнонаправленность: радость – положительная эмоция. Она ассоциируема, судя по нашему материалу, с чем-то приятным, позитивным. Человек стремится к переживанию этой эмоции (*hell, herrlich*). Данная эмоция персонифицирована; она подобна некоему предмету, который кто-то у человека может отобрать (*nehmen*, лишить), украсть (*rauben*) и т.п. Концепту *Freude* – *радость* противопоставлен в обоих лингвокультурах концепт *Trauer* – *печаль*. Его ассоциативно-образными признаками являются «негативность», «нежелательность переживания», «интенсивность».

Интерпретационный сопоставительный анализ контекстов употребления номинаций эмоций, составленных или отобранных из классической художественной литературы авторами толковых словарей, обнаруживает в немецком и русском языках как общие, так и отличительные образы, оценки, представления «говорящего человека» о данном социально-психологическом явлении. В ходе лингвистического анализа разноязыкового лексикографического материала зафиксировано множество пересечений сопряженных с эмоциями идей. Представителями двух лингвистических сообществ эмоции «сопрягаются», как правило, с одними и теми же понятийными сферами: «действия человека / примата», «архетипы огня, воды», «оценка (хорошо / плохо)», «борьба» и т.д. Высокочастотное совпадение понятийных сфер, раскрывающих понимание немцами и русскими сущности эмоций, свидетельствует о «психологическом единстве людей» (термин Ф. Боаса), относящихся к разным этносам. Принципиально важной мы считаем необходимость указать на совпадение понятийных сфер, используемых для осмысления эквивалентных эмоций, т.е. эмоций из одних и тех же «зонных групп» (термин Н.В. Витт). Так, к примеру, и *Angst*, и *страх* корреспондируют с понятиями борьбы, смерти, соматического оформления и т.п. *Freude* и *радость*, напротив, коррелируют с понятиями светлости, легкости, положительной оценки и т.д. Это, однако, не значит, что образное мышление носите-

лей, пользователи двух языков, представителей разных лингвокультур во всем имеет идентичную ассоциативную направленность. Совпадение понятийных сфер, к которым прибегают немцы и русские при освоении и толковании эмоций, отнюдь не исключает значительного своеобразия используемых ими при этом ассоциативно-образных и оценочных представлений.

Проанализированный лексикографический материал показывает, что концепты эмоций национально специфичны. Национально-культурная специфика концептов эмоций в русском языке по сравнению с немецким наиболее ярко иллюстрируется их: а) «цветовым» осмыслением (тоска зеленая, уныние темное); б) корреспонденцией с понятиями «душа» и «сердце»; в) связью с понятием тяжести; г) гипер-активным соматическим оформлением. ЭК в немецком языке, если судить по словарным статьям, обнаруживают в первую очередь следующие специфические свойства: а) поиск (положительных) эмоций, стремление их пережить; б) желание и способы избавления от (отрицательных) эмоций.

Здесь же хотелось бы отметить, что сопоставление параллельных ЭК в немецкой и русской культурах фиксирует большую ассоциативно-образную «проработанность» русской печали и немецкого гнева. Мы имеем в виду как количество понятийных сфер, с которыми корреспондируются эмоциональные феномены, так и множественность самих образов, которыми они мыслятся. Уместно в этой связи упомянуть целый ряд экспрессивных композит в русском языке – *грусть-тоска, тоска-печаль, тоска-кручина*. Этот лингвистический факт, на наш взгляд, симптоматичен. Он может свидетельствовать о глубокой, детальной «проработанности» русским сознанием обсуждаемого концепта, о чем, кстати, нередко пишут современные лингвисты (см., например: Вежицкая 1997а, с. 34–37).

Вышеизложенные соображения и выводы, сделанные на основании анализа словарных статей, безусловно, требуют дальнейшей серьезной верификации на более обширной эмпирической базе. В следующем разделе будут рассмотрены употребления номинаций эмоций в многочисленных немецко- и русскоязычных художественных и пословично-поговорочных текстах с лингвокультурологических позиций.

В заключение укажем на лингвистический факт высокочастотного употребления всех номинаций эмоций с *глагольным* классом слов, что объясняется известным динамизмом данной части речи (подробнее см.: Красавский 1992, с. 134–139). При этом номинанты эмоций

выступают, как правило, в функции агенса. Они метафоризируются, часто персонифицируются, что говорит об активности обозначаемых ими денотатов. Поскольку всякая метафора строится на сравнении, уподоблении самых различных «фактов» культуры, для нас представляло интерес выявить в немецком и русском языковом сознании характер корреспонденций психического, внутреннего мира (мира эмоций) с фрагментами как реального, так и виртуального мира. Иными словами, было важно выяснить на материале словарных статей, что за мотивации и образы стоят за метафоризируемой эмоцией в изучаемой лингвокультуре.

3.3. Парадигматические связи номинантов эмоций в немецком и русском языках

Благодаря появившимся в начале прошлого века новаторским работам швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра традиционным стало рассмотрение языка в его двух ипостасях – язык как ассоциативные отношения и язык как отношения синтагматические. Впоследствии первый тип отношений был назван Л. Ельмслевым «парадигматическим». В современной лингвистике парадигматические отношения понимаются как «соотношения между элементами языка, объединяемыми в сознании или памяти говорящего некими ассоциациями; они связывают эти элементы в силу общности либо их формы (например, акустических образов), либо содержания, либо на основе сходства того и другого одновременно» (Кубрякова 1990, с. 366).

Несмотря на существующие сегодня самые различные подходы к изучению языка, выделение в нем как предмете научных изысканий разнообразных аспектов и отсюда появление новых направлений в лингвистике, «парадигматическая» ось языка оставалась и остается одним из традиционных, принципиально полностью неисчерпаемых исследовательских объектов, что обусловлено самой ее сущностью: на ней фиксируются сложные, постоянно трансформирующиеся отношения между языковыми элементами. Последние «обречены» на регулярные изменения, внутренние семантические перераспределения в силу внеязыковых трансформаций (освоение человеком окружающего его мира, классификационно-квалификативная деятельность нашего мышления и т.п.). Иначе говоря, семантические изменения в языке определяются поступательным развитием, эволюцией челове-

ческого сознания. Большое значение при этом имеют и собственно лингвистические закономерности, тенденции развития языка, его элементов. Функции языка нельзя редуцировать исключительно к отражению действительности. Общеизвестно, что язык не только отражает фрагменты мира, но и, более того, способен в определенной степени сам детерминировать характер, темпы своего развития, своей семантики и т.п. Языковые категории, таким образом, могут сами по себе в известной мере изменять угол зрения членения объективной действительности. При этом их влияние на квалификацию и соответствующую классификацию фрагментов объективной и субъективной действительности ограничено первичностью материи. Установление степени такого влияния языка на категоризацию внеязыковой действительности – сложная исследовательская задача, попытки решения которой привели ученых к созданию диаметрально противоположных концепций (ср.: Э. Сепир, Б. Уорф, М. Коул, С. Скрибнер, Р. Барт, Г.В. Колшанский, Г.А. Брутян и др.).

Семантические трансформации языка определяются и самими внутрилингвистическими законами – «закон дифференциации синонимов», «закон метафорического употребления слова», «закон антропоморфизма и зооморфизма» и т.п., степень действительности которых может быть различной прежде всего в зависимости от времени функционирования и эпохи развития языка, его «возраста», «открытости» vs. «закрытости», в целом – самой его структуры и т.д.

Языковые изменения, происходящие в «важнейшем средстве человеческого общения», следует рассматривать с точки зрения их системности, поскольку язык как социальный феномен структурно-системен. Структурно-системная организация языка детерминирована причинно-следственной связью отражаемых и классифицируемых им фрагментов мира. Отражательная и классификационно-оценочная природа языка находит свое выражение в смысловых корреляциях его элементов – синонимии, градации, антонимии, полисемии и омонимии. Данные типы семантических отношений базируются на соответствующих логических категориях – иерархии, инклюзии, эквивалентности, противопоставлении, симметрии и асимметрии вербального знака.

ЭК как всякие носители смысла можно рассматривать с точки зрения названных здесь логико-философских категорий. Их когнитивные структуры, вербально эксплицированные на уровне парадигматики, хорошо поддаются семантическому анализу. При этом основным исследовательским инструментом является метод компонент-

ного анализа, на целесообразность использования которого указывают многие ученые. Его сущность заключается в последовательном разложении значения слова на все более элементарные компоненты. С помощью последних, по утверждению семасиологов (см., например, Апресян 1995, с. 24–25), возможно описание типологически разных языков. Следует однако помнить о том, что многоаспектное изучение концептов (в нашем случае эмоциональных) не может редуцироваться только парадигматическим уровнем языка. Вербализованные ЭК в полной мере «раскрываются» на его синтагматической оси. Таким образом, в своей работе мы намерены установить качественные характеристики ЭК не только на основе анализа языка в статике, но и в его динамике, т.е. в речи.

Ниже предлагается сопоставительное рассмотрение ЭК немецкого и русского языков в парадигматическом аспекте. При этом мы исходим из положения, согласно которому *понятийная* (собственно когнитивная) часть концепта как сложного смыслового структурного образования отражена в самом *лексическом значении* оязыковляющего его слова. Лингвистическая категория «лексическое значение» имеет своим коррелятом на уровне логики категорию «понятие», являющееся, как было отмечено ранее, ядерной частью концепта. Изучение значения слов, обозначающих ЭК, позволяет прежде всего увидеть очертания понятийного компонента (или части) интересующего нас феномена. Два других компонента ЭК – образный и ценностный – более четко выражены в синтагматике, что было, в частности, показано в предыдущем разделе монографии. Таким образом, мы предполагаем, во-первых, проведение сравнительного анализа семантической структуры номинаций эмоций в каждом из языков и, во-вторых, – сопоставление лингвистических характеристик ЭК, выраженных параллельными лексемами в немецком и русском языках.

Заметим, что такой тип семантических отношений, как полисемия, в данной работе при характеристике ЭК нами во внимание браться не будет, поскольку мы вслед за Д.С. Лихачевым считаем, что отдельный концепт может выражаться только одним словозначением (см. подробнее: Лихачев 1997, с. 281–282).

Синонимия и градация номинантов эмоций

В этом параграфе будет дан анализ одного из важнейших семантических типов языка – синонимии и градации, отражающих логическую категорию тождественности, идентичности когнитивно связанных друг с другом вербализованных ЭК. Важно установление се-

мантических трансформаций номинаций эмоций в динамике (количественные и качественные изменения внутри синонимических рядов, характер, темп, причины их развития).

Здесь же мы считаем уместным указать на различное понимание семасиологами феномена градации, который одними учеными рассматривается в рамках таких важнейших типов семантических отношений, как синонимия или антонимия (Кириян 1981; Шрамм 1979), а другими выделяется в отдельный, самостоятельный тип смысловых отношений (Девкин 1978, с. 31–40; Шейгал 1990; Шехтман 1981, с. 11–16 и др.). Градация – это, по Н.А. Шехтману, «соотнесение значений слов или словосочетаний, различающихся *степенью интенсивности* называемого признака или качества (Шехтман 1981, с. 14, курсив мой. – Н.К.).

Человеческое сознание, воспринимая объекты действительности, фиксирует их признаки, свойства и при этом часто отмечает различную манифестацию того / иного качества предмета мира, различную степень проявления того / иного признака. Язык, дающий наречения объектам мира, «учитывает» разную степень интенсивности проявления свойств предметов (в широком смысле слова) действительности и имеет в своем арсенале соответствующие разноуровневые средства для ее отображения.

Одним из необходимых и важных свойств природы ЭК является их структурно-смысловая организация. При этом «плотность» корреспонденции ЭК друг с другом может быть различной. Так, смысловая близость базисных концептов, коррелирующих друг с другом в рамках единого когнитивно-эмоционального поля, не столь очевидна (ср.: *гнев* и *радость*, *страх* и *печаль*), в то время как вторичные ЭК, входящие в тот / иной класс отмеченных выше концептов, обнаруживают значительно больше общих семантических сходств. Этот лингвистический факт мы интерпретируем как закономерное явление в силу «зонного стягивания эмоций» (Витт 1984). ЭК, следовательно, можно квалифицировать как интегрированные в определенный класс, группу смысловые единицы. Если концепты рассматривать не как чисто условные когнитивные единицы, а как единицы когнитивно-языковые, то у них следует констатировать определенный лингвистический статус – статус синонимов.

Проблема синонимии (особенно лексической) – одна из старейших, самых традиционных в семасиологии и в целом в лингвистике. «Возраст» данной проблемы, долго дискутируемой языковедами (и не только ими), можно объяснить, в частности, недостаточной изучен-

ностью «параллельных» синонимии логико-философских понятий – идентичность, тождество. Отсюда отсутствие в лингвистической литературе единого общепринятого определения синонимов, единого подхода к установлению критериев синонимичности.

Анализ многочисленных работ по синонимике показывает, что синонимам даются метаязыковые характеристики, включающие комбинации определенных признаков. При этом исследователями называются в качестве доминирующих соответственно их разные признаки. Синонимами считаются слова: а) с равным значением; б) со сходным значением; в) обозначающие одно и то же понятие или понятия, очень близкие между собой; г) с единым или очень близким предметно-логическим содержанием; д) одинаковые по номинативной отнесенности, но, как правило, различающиеся стилистически; е) способные в том же контексте или в контекстах, близких по смыслу, заменять друг друга (подробнее см.: Рахманов 1983, с. 6). Классическим, судя по многочисленным публикациям, является определение синонимов как слов с единым или близким предметно-логическим содержанием. Правда, и такая их дефиниция иногда подвергается достаточно острой критике (см.: Апресян 1995, с. 218–219).

Из предлагаемых семасиологами критериев определения синонимов (конструктивная общность, совпадение сочетаемости, взаимозаменяемость слов) общепризнанным считается близость предметно-логического содержания разных языковых единиц (лексических и фразеологических), что не должно исключать использования всех вышеотмеченных критериев в практической деятельности исследователей, в частности лексикографов. Данные критерии определения синонимов могут взаимно дополнять друг друга. Их применение имеет своим результатом классификацию синонимов на так называемые равнозначные и неравнозначные. Первые могут быть полными, если совпадают их значение и употребление, и неполными, если они отличаются друг от друга по своему употреблению. В свою очередь неравнозначные синонимы «различаются по оттенкам значения и, как правило, по употреблению» (Рахманов 1983, с. 10). Такие синонимы, являющиеся наиболее многочисленными в языке, принято называть идеографическими. Кроме них выделяют так называемые стилистические синонимы, в основу классификации которых кладется принцип употребления слова в той / иной сфере человеческой коммуникации (функциональные стили). Подобного рода синонимы имеют обычно специальные словарные маркеры (например, разг., вульг., поэт. и т. п.).

Известный семасиолог, лексикограф Ю.Д. Апресян (1995, с. 218) предлагает классифицировать все синонимы на точные («толкование слов полностью совпадает») и неточные или квазисинонимы («они имеют большую общую часть»).

Ю.С. Степанов предлагает классифицировать синонимы на две группы – синонимы по денотату и синонимы по сигнификату. Первые – денотативные синонимы – называют один и тот же предмет, но по-разному, и, следовательно, выражают разные понятия об обозначаемом; вторые же – сигнификативные синонимы, наоборот, имеют одно и то же понятие, но обозначают различные предметы. По мнению Ю.С. Степанова, сигнификативные синонимы «стремятся выразить *разные оттенки одного понятия сходным способом* или назвать разные предметы одинаково» (Степанов 1975, с. 30–31). В действительности, как замечает сам исследователь, в языке существуют всегда многочисленные, так называемые «промежуточные» случаи, когда бывает достаточно трудно отнести те / иные слова в тот / иной класс синонимов, что объясняется неопределенностью их значений. При этом он предлагает использовать обобщенный термин «сигнификативные синонимы» (Там же, с. 32).

При сопоставительной, в особенности семантико-стилистической характеристике синонимов как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике принято оперировать таким достаточно размытым термином, как «оттенок значения» (*naunces, Nebensinn* и т.п.). Попутно заметим, что нередко ученые ведут речь не только об «оттенках» значения слова, но и об «оттенках» понятия (Там же). Несмотря на возражения против употребления термина «оттенок значения» в семасиологии и лексикографии (см. например, Апресян 1995), он по-прежнему часто используется в работах лингвистов, что, по всей видимости, обусловлено спецификой языкового знака, а именно – нечеткостью, неопределенностью его значения / значений. Последние же не могут быть абсолютно четкими, застывшими раз и навсегда когнитивными множествами уже в силу своей функциональной природы. Языковые знаки, за небольшим исключением, несут не индивидуальный, а обобщающий характер, что связано с их отражательной, классификационной и квалифицирующей функциями. Другими словами, необходимая для полноценной человеческой коммуникации лабильность, подвижность слова обуславливает диффузность его семантики.

Сами исследователи (семасиологи, лексикографы), равно как и наивные носители языка, интуитивно чувствуя наличие «оттеночных

смыслов» в структуре тех / иных слов, нередко сталкиваются с существенными трудностями при их метаязыковом описании, что связано, с одной стороны, с объективно сложным содержанием многих языковых единиц (к ним принадлежат и номинанты эмоций), а с другой – с неразработанностью самого понятийно-терминологического аппарата *lingua mentalis*. На отсутствие специальных «описательных техник» постоянно указывают многие ученые, профессионально занимающиеся проблемами метаязыка (Апресян 1995; Jaeger, Plum 1989, S. 849–855 и др.). При этом высказывается предложение о необходимости составления «сводного каталога семантических компонентов («словаря компонентов»), выделенных на материале разных языков и разных групп лексики» (Караулов 1976, с. 89). Хорошо известны попытки ряда исследователей создать фрагменты подобного каталога, состоящего из количественно ограниченного перечня так называемых «семантических примитивов» (см. например, работы А. Вежбицкой).

Вопрос о том, выражают синонимы одно и то же понятие или разные, корреспондирующие с одной и той же денотативной сферой, решается учеными по-разному. Одни из них считают, что синонимичные слова могут обозначать одно и то же понятие и в этом случае речь идет о тождестве их значений; другие, напротив, полагают, что синонимы не могут полностью, «во всем и вся» номинировать абсолютно одно и то же понятие, мотивируя свои суждения известным, открытым еще А. Мартине законом «языковой экономии». Если же два слова действительно обозначают одно и то же понятие, то нередко говорят о так называемых «лексических дублетах».

Исследователи, признающие статус абсолютных синонимов, т.е. тех слов, которые полностью удовлетворяют выше названным С.И. Рахмановым требованиям, критериям синонимичности, высказывают мнение о том, что в языке их количество всегда ограничено (Шмелев 1964, с. 65; Goerner, Kempcke 1975, S. 5–6). «Только ничтожная часть слов, – пишет в одной из своих работ Г.В. Колшанский, – может быть обозначена как абсолютная синонимия» (Колшанский 1980, с. 108).

Существующие сложности при обсуждении вопроса соотношения синонимов и обозначенных ими (различных / тождественных) понятий не столь актуальны при рассмотрении онтологически близких последнему феномену – концептам. Концепты – более сложные структурно-смысловые образования; в отличие от понятий, они характеризуются не только когнитивной основой, но и конкретными челове-

ческими оценочными представлениями, знаниями о них. Когнитивная база вербально оформленных концептов obligatorно включает в себя не только зафиксированные нашим сознанием обобщенные смысловые признаки, но и их потенциальные семантические свойства, в принципе «свернутые» в языковом мышлении, но постоянно «раскрывающиеся» в реальном употреблении номинирующих их слов, в целом языковых знаков.

Отношение синонимии, будучи разновидностью эквивалентности, дает, по мысли Ю.Д. Апресяна, «разбиение всего словаря на непересекающиеся классы лексических единиц – так называемые синонимические ряды» (Апресян 1995, с. 248). Синонимические ряды представляют собой, в нашем понимании, определенные семантические (микро)системы, построенные на отношении иерархии и воплощающие принцип языковой инвариантности. Внутренняя структура синонимического ряда образуется, таким образом, за счет иерархии составляющих ее элементов. Его базисным компонентом является *близость* и / или *тождество* (выбор последнего зависит от самой трактовки синонимии той / иной научной школы) значения нескольких слов, называющих определенное понятие. Синонимические слова, имеющие либо один и тот же денотат, либо онтологически близкие денотаты, «высвечивают» соответственно или различные смысловые оттенки, содержащиеся в их семантической структуре, или же новые смыслы, которые характерны только для значения конкретной лексемы синонимического ряда / пары.

Следует указать, что, согласно наблюдениям семасиологов (Кирьян 1981; Шехтман 1981, с. 11–16), для многих синонимических рядов характерна градация, выражающая как семантическая категория отношения максимальной близости (но не тождественности) понятий. При составлении лексикографами синонимических рядов непременно учитывается степень интенсивности эксплицируемых признаков, которыми обладают формирующие их языковые элементы. Это утверждение в полной мере подтверждается анализом нашего материала.

Синонимические ряды обладают иерархической структурой; в них имеет место отношение подчинения. Всякий синонимический ряд имеет доминанту, т.е. лексему, удовлетворяющую определенным требованиям (высокая частотность, общеупотребляемость, стилистическая нейтральность и др.). Синонимические ряды, номинирующие определенный участок действительности, располагают различной длиной (протяженностью). Ее сопоставление на материале параллельных лексем разных языков само по себе ценно, поскольку в той / иной

степени позволяет установить релевантность определенного фрагмента мира для носителей того / иного языка, той / иной культуры. При этом не следует абсолютизировать количественные характеристики синонимических рядов в сравниваемых языках.

Учеными установлена разная глубина и определенность смысловой дифференциации вариантных и синонимических средств в разных языках. Так, выбор того / иного синонима в ряде славянских языков – белорусском, словенском, сербском – не связан с ощутимыми семантическими и / или стилистическими различиями, в то время как в некоторых других славянских, германских и романских языках – русском, английском, французском – он оказывается семантически и стилистически релевантным (Мечковская 1996, с. 41). Более важным представляется изучение качественных характеристик слова, формирующих синонимические ряды в разных языках.

При сопоставительном лингвокультурологическом описании концептов эмоций нами будет использоваться в целом оправдавший себя в силу своей технологичности, давно ставший традиционным метод компонентного анализа на основе словарных дефиниций.

Базисный номинант эмоции *Angst* в толковых словарях немецкого языка дефинируется следующим образом: «Angst – mit Beklemmung, Bedrueckung, Erregung einhergehender Gemuetszustand angesichts einer Gefahr; undeutliches Gefuehl des Bedrohtseins» (DWB 1989, S. 111); «Angst – grosse Sorge, Unruhe; unbestimmtes, oft grundloses Gefuehl des Bedrohtseins» (DW 1992, S. 166). Его семантическая структура описывается при помощи ряда разностатусных метаязыковых элементов. Важнейшими из них являются семы «Gemuetszustand» (эмоциональное состояние) и «Gefuehl» (чувство), сигнализирующие о принадлежности слова *Angst* к эмоциональной денотативной сфере. Слова же *Gemuetszustand* и *Gefuehl*, выполняющие роль метаязыка, в немецком языке широкозначны; их семантика отличается максимальной расплывчатостью: «Gefuehl – Tastempfindung, Tastsinn, Empfindungsvernuen, Empfindlichkeit, innere Regung, seelische Empfindung, innere Anteilnahme; Mitleid» (DW 1992, S. 5280; «Gemuetszustand – Gemuetsverfassung» (DW 1992, S. 541), ср: «Gemuetsverfassung – Verfassung, Zustand des Gemuets im Hinblick auf seine Gesundheit oder Krankheit bzw. Ruhe oder Erregtheit» (DW 1992, S. 541). С семасиологической точки зрения, их можно квалифицировать как архисемы (*родовые семы*). Помимо них в семный набор слова *Angst* входит целый ряд видовых сем. К их числу относятся, с одной стороны, сами «семь-номинанты эмоций», например, *Beklemmung*, *Erregung*, а с другой –

такие семы, как «причинность» (*angesichts einer Gefahr*) и «беспричинность» (*grundlos*), «неопределенность грозящей опасности» (*unbestimmt*), «интенсивность» и «масштабность» переживания (*gross* и соответственно *einhergehender*). Видовые семы конкретизируют толкуемое слово, которое, по нашему мнению, дефинируется немецкими словарями сравнительно удовлетворительно. Важным мы считаем указание их составителей на денотативную отнесенность *Angst* посредством сем «*Gemuetszustand*», «*Gefuehl*».

Семантическая структура другого базисного номинанта эмоций *Freude* имеет менее развернутую дескрипцию: «*Freude* – 1) *hochgestimmter Gemuetszustand*; das Froh- und Begluecktsein; 2) *etw., was jmdn. erfreut*: die Freuden der Liebe» (DW 1989, S. 538); «*Freude* – *Beglueckung*, (*innere*) *Befriedigung*; *Gefuehl* des Frohseins, *Froehlichkeit*» (DW 1992, S. 501). Примечательно, что в словаре Дудена у данной лексемы приводятся два максимально связанных друг с другом словозначения (ЛСВ). В качестве второго отдельного самостоятельного ЛСВ называется объект, вызывающий соответствующую эмоцию (*etw., was jmdn. erfreut*). На данном этапе изложения материала нас будут интересовать исключительно «эмоциональные» значения исследуемых лексем.

Как и в случае со словом *Angst*, номинант эмоции *Freude* дефинируется через архисемы «*Gemuetszustand*» и «*Gefuehl*». Помимо них в семном наборе отмечаются немногочисленные видовые семы – «номинанты эмоций» (*Befriedigung*, *Froehlichkeit*), «эмоциональное состояние» (*Frohsein*, *Begluecksein*), «конкретизатор» (*hochgestimmter* и *innere* – признак положительного настроения человека и соответственно признак исключительно внутреннего, не выраженного внешне переживания эмоции). Отсутствие необходимого количества видовых сем в словарной дефиниции не позволяет четко идентифицировать данную лексему, номинирующую базисный ЭК. Так, в частности, в значительной степени набор ее видовых сем совпадает с одним из значений (эмоциональных) другого номинанта эмоции – *Glueck*. Ср.: «*Glueck* – *Gemuetszustand innerer Befriedigung und Hochstimmung* bes. nach Erfuellung ersehnter Wuensche» (DW 1992, S. 572). Этот факт, безусловно, свидетельствует о максимальной смысловой близости данных номинантов эмоций, с одной стороны, и, вероятно, о недостаточной точности их филологического дефинирования – с другой.

Когнитивно не в полной мере развернутым представляется также определение семантики номинанта эмоции *Zorn*: «*Zorn* – *heftiger Unwille ueber etw, was man als Unrecht empfindet od. was den eigenen*

Wuenschen zuwiderlaeuft» (DW 1989, S. 1787); «Zorn – heftiger Unwille, aufwallender Aerger» (DW 1992, S. 1470). В отличие от предыдущих случаев здесь архисемой является не широкозначная, диффузная, а менее генерализованная лексема *Unwille* (недовольство), которая сама является номинантом эмоции. В качестве же видовых семантических характеристик выступают «интенсивность переживания эмоции» (*heftiger*), «субъективно воспринимаемая причина» (*als Unrecht empfindet, den eigenen Wuenschen zuwiderlaeuft*).

Эмоциональное значение многозначного слова *Trauer* также максимально «свернуто»: «Trauer – tiefer seelischer Schmerz ueber einen Verlust od. ein Unglueck» (DWB 1989, S. 1552); «Trauer – Schmerz um etwas Verlorenes, tiefe Betruebnis» (DW 1992, S. 1291). Здесь же следует заметить, что в словаре под редакцией Г. Варига указано только эмоциональное значение данного слова, которое, по данным составителей других словарей, полисемично. Во всех современных словарях «психологизм» этого многозначного слова фиксируется как первое номинативное значение. Это говорит, на наш взгляд, об актуальности данного ЛСВ в немецком языке на нынешнем этапе его развития.

Номинант эмоции *Trauer* дефинируется через широкозначное слово (*seelischer*) *Schmerz* (душевная боль), выступающее в правой части словаря на правах архисемы. Количество видовых сем ограничено: «интенсивность» (*tiefer*), «причина» (*ueber einen Verlust oder ein Unglueck, um etwas Verlorenes*), «номинанты эмоций» (*Unglueck, Betruebnis*).

Теперь перейдем к анализу словарных дефиниций базисных номинантов эмоций русского языка. Традиционно первым рассмотрим когнитивную репрезентацию номинанта эмоции *страх* в толковых словарях (БАС 1963, ТС 1940, ТС 1995). Данное слово полисемично. Здесь читателю будет предложен семантический анализ его эмоционального значения, которое, как и в случае с *Trauer*, является первым номинативным значением. «Страх – очень сильный испуг, большая боязнь» (ТС 1995, с. 761); «страх – состояние сильной тревоги, беспокойства, душевное волнение от грозящей или ожидаемой опасности; боязнь» (БАС 1963, т. 14, с. 1007–1008); «страх – состояние крайней тревоги и беспокойства от испуга, от грозящей или ожидаемой опасности, боязнь, ужас» (ТС 1940, т. 4, с. 549). В двух из трех словарей определение данному слову дается через широкозначное слово *состояние*, выполняющее как компонент их правой части функцию архисемы. Наличие целого ряда видовых сем в дефиниции анализируемого номинанта эмоции может быть расценено как факт образцового

распредмечивания этого фрагмента чувственной сферы человека. К их числу относятся: «семы-номинанты эмоций» (испуг, боязнь, тревога, волнение, беспокойство, ужас), «интенсивные семы» (сильный, большой, крайний), «каузативные семы» (грозящая опасность, ожидаемая опасность).

Сопоставление семного набора данной лексемы и параллельной ей лексемы в немецком языке обнаруживает наличие многих совпадающих, общих для них сем, формирующих когнитивные структуры соответствующих понятий. Эти признаки сводятся в значительной мере к развернутой модели синонимического способа толкования номинантов эмоций.

Эмоциональное значение полисемичного слова *радость* является также основным номинативным ЛСВ в современном русском языке. Данный ЛСВ имеет в толковых словарях следующие определения: «радость – веселое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения» (ТС 1995, с. 629); «радость – чувство большого удовольствия, удовлетворения» (БАС 1961, т. 12, с. 78); «радость – чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения, веселое настроение; внешнее проявление чувства» (ТС 1939, т. 3, с. 1110). Этому ЛСВ, как и рассмотренному выше параллельному ему в немецком языке ЛСВ *Freude*, дается также определение через широкозначное, обладающее диффузной семантикой слово *чувство* (*Gefühl*). Видовые семы, количество которых в обоих языках ограничено, здесь во многом совпадают: «(положительная) знаковость эмоции» (*веселое – hochgestimmt*), «внутреннее переживание» (*внутреннее – innere*), «номинанты эмоций» (*удовлетворение – Befriedigung*). Следует при этом отметить наличие интенсивной семы в смысловой структуре номинанта эмоции *радость*, которая не фиксируется в немецких определениях. Однако дефиниция *Freude* содержит некоторые другие, придающие ей определенную развернутость семы – «номинанты эмоций» (ср. кроме общей для сопоставляемых значений семы «удовлетворение» – «*Befriedigung*», в немецком языке указывается на *Froehlichkeit* и соответственно сему «эмоциональное состояние» – *Frohsein, Begluecktheit*).

В отличие от данной пары номинантов эмоций менее сходными являются семные наборы проанализированного ранее номинанта эмоции *Zorn* и его русского эквивалента *гнев*, дефинируемого как «чувство сильного возмущения, негодования» (ТС 1995, с. 130); «чувство сильного возмущения, негодования; состояние раздражения, озлобления» (БАС 1954, т. 3, с. 179–180); «чувство сильного негодо-

вания, возмущения, раздражения» (ТС 1938, т. 1, с. 577). Основные различия заключаются в том, что, во-первых, *gnevu* дается определение через широкозначные слова *чувство* и *состояние*, имеющие метаязыковой статус архисем и, во-вторых, в русском варианте более развернутым оказался такой тип видовой содержательной характеристики, как «семы-номинанты эмоций» (ср.: *возмущение, негодование, раздражение, озлобление* против *Unwille, Aerger*). Возмущение, негодование и т.п. в своем не метаязыковом, а естественном варианте выступают по отношению друг к другу как синонимы. Еще одним отличием, компенсирующим недостаточную развернутость дефиниции эмоции в немецком языке сравнительно с ее русским вариантом, можно считать наличие в смысловой структуре слова *Zorn* каузативной семы (*als Unrecht empfindet*).

Сходства же в когнитивной репрезентации параллельных слово-значений со всей очевидностью иллюстрируются наличием интенсем (*сильный* и *heftiger, aufwallender*), с одной стороны, и указанием на принадлежность к эмоциональному миру – с другой. При этом данное указание в русском языке эксплицитно (*чувство, состояние*), в то время как в немецком оно носит явно имплицитный характер (скрыто в семантике номинанта эмоции *Unwille*).

Номинант эмоции *печаль* имеет следующую словарную дефиницию: «печаль – чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи» (ТС 1995, с. 506); «печаль – скорбно-озабоченное, нерадостное, невеселое настроение, чувство» (ТС 1939, т. 3, с. 248). Его значение раскрывается через генерализованные метаязыковые элементы – архисемы (*чувство, состояние, настроение*), а также посредством группы сем-номинантов эмоций (*грусть, скорбь, горечь, скорбно-озабоченный*). Как и номинант эмоции *Trauer, печаль* определяется ограниченным количеством видовых сем. Кроме того, в семантике русского слова в отличие от ее немецкого эквивалента отсутствует какое-либо указание на причину возникновения этого чувства, а также на степень его переживания. По сути, видовая характеристика номинанта эмоции сводится к перечню сем-номинантов эмоций. Исходя из семантического описания *печали*, можно заключить, что его когнитивная структура максимально редуцирована, в частности по сравнению со структурой параллельной ему лексемы в немецком языке и по сравнению с такими базисными номинантами эмоций, как *страх* и *радость* в русском языке.

Подводя итоги семантического анализа номинаций базисных эмоций, можно уже сделать некоторые предварительные выводы.

Во-первых, номинанты эмоций определяются через более общие, более широкозначные, достаточно диффузные слова, указывающие на принадлежность *definiendum* к эмоциональной сфере человека (*Gefuehl, Gemuetszustand, (seelischer) Schmerz, чувство, ощущение, состояние, настроение*) и выполняющие на уровне метаязыка функцию архисем. Кроме них статус архисем в содержательной структуре описываемых слов имеют также некоторые семы-номинанты эмоций (*Sorge, Unruhe, Beghueckung, Froehlichkeit, Unwille, Aerger, испуг, боязнь*). Последние нередко являются синонимами-эквонимами по отношению друг к другу и синонимами-гипонимами к самим дефинируемым лексемам. Базисные номинанты эмоций при этом часто могут выступать в качестве гиперонимов.

Во-вторых, следует отметить различную степень глубины лексикографического развертывания ядерной части анализируемых базисных концептов эмоций. Так, в частности, опираясь на их метаязыковые характеристики, было зафиксировано более «свернутое» определение номинантов эмоций *Zorn, Trauer* в немецком и соответственно *гнев, печаль* в русском языке. Количество видовых сем, посредством которых эксплицировано знание человека сущности этих номинантов эмоций, их когнитивной структуры, минимально. Не подвергая сомнению авторитетное утверждение лексикографов о необходимости использования 6–7 семантических признаков для удовлетворительного описания содержания понятия в филологическом словаре (см.: Караулов 1981, с. 222), мы полагаем, опираясь на собственный материал, что отмеченное количество метаязыковых элементов при репрезентации значения номинантов эмоций должно быть несколько больше в силу онтологической близости исследуемых в данной работе концептов.

Недостаточное использование количества видовых сем при экспликации содержания ядерной части ЭК вряд ли можно объяснить только недочетами лексикографической практики, особенно если учесть наличие более развернутых дефиниций у других базисных концептов – *Angst, Freude, смрак, радость*. Общеизвестно мнение о том, что количество видовых характеристик дефинируемого понятия во многом зависит от его абстрактности vs. конкретности: чем более отвлеченным является толкуемое понятие, тем более редуцирована его словарная дефиниция и соответственно наоборот: чем оно более конкретно, тем более развернуто на метаязыковом уровне. Это утверждение, по всей видимости, нельзя признать актуальным применительно к рассматриваемому материалу, поскольку по уровню

абстрактности базисные ЭК вряд ли принципиально отличны друг от друга. Думается, что интерпретация установленного лингвистического факта лежит главным образом в плоскости экстралингвистики. При этом мы не исключаем высокую степень вероятности связи между первичностью происхождения базисных эмоций (см. суждения ранее цитировавшихся Э. Нойманна (1998) и Ф. Римана (1998), их постоянный психической актуальностью для человека и когнитивной «проработанностью» человеческим мышлением именно данных вербализованных фрагментов эмоционального мира.

И, наконец, отметим редуцированность модели толкования номинаций базисных ЭК (особенно в русском языке), что выражается в ограниченном перечне видовых сем, входящих в их когнитивную структуру. К их числу относятся: 1) «интенсивность переживания эмоции» (*grosser, heftiger, tiefer, сильный, большой*); 2) «причина / беспричинность переживания эмоции» (*angesichts einer Gefahr, durch Erkennen einer Gefahr ausgelöst werden, grundlos, зроящая, ожидаемая опасность*); 3) «условия возникновения эмоции» (*verbunden mit dem Wunsch...*); 4) «нечеткость, расплывчатость переживаний» (*undeutlich, unbestimmt*); 5) «качественные свойства эмоций» (*innerer, внутренний, внешний*); 6) «положительная / отрицательная знаковая направленность эмоций» (*das Frohsein, das Begluecktein, веселый, счастливый, скорбный, нерадостный*).

Более развернутыми, как и ожидалось, оказались видовые характеристики *небазисных* номинантов эмоций как в немецком, так и в русском языках, что обусловлено разным статусом сопоставляемых лингвистических единиц. Семасиологами, логиками давно установлено, что менее общие понятия содержат большее количество смысловых признаков, их объем всегда шире.

Небазисные номинанты эмоций представляют собой определенные синонимические ряды / пары, обозначающие фрагменты единой языковой эмоциональной картины мира. Элементы, формирующие эти семантически родственные группировки слов, состоят в отношении эквонимии. Базисные номинанты эмоций, как было отмечено выше, можно квалифицировать как их гиперонимы. Они имеют статус доминанты в своих синонимических рядах / парах. Сопоставительный анализ разностатусных ЭК, вербализованных соответствующими лексемами, позволяет установить специфические свойства их когнитивных структур.

Применение метода компонентного анализа выявляет метаязыковые характеристики слов, обозначающих небазисные ЭК. К ним в

немецком языке относятся следующие группы сем: 1) «эмоциональное состояние» (*Zustand, Gemuetszustand, Gemuetterschuetterung, Gemuetsverfassung, aengstliche Zurueckhaltung, Gefuehl, Verwirrung*); 2) «эмоциональная реакция, восприятие в целом» (*Reaktion, Empfindungen, empfinden*); 3) «эмоциональное настроение» (*Stimmung*); 4) «эмоции, чувства» (*Grauen, Schrecken, Angst, Zufriedenheit, Vergnuegen* и многие другие); 5) «причина / беспричинность переживания эмоции» (*angesichts einer Bedrohung oder Gefahr, durch Gefahr hervorgerufene Angst, Angst hervorrufoende Wirkung von etw., grundlos*); 6) «условия появления эмоции» (*verbunden mit dem Wunsch, nach Erfuellung ersehnter Wuensche beim Geniessen, auf etw. gerichtetes Verlangen, aus der Befriedigung entstehendes Gefuehl, Erfuellung einer Begierde, bei der Erinnerung an etw. Vergangenes, Unwiederbringliches*); 7) «объект эмоции» (*vor etw. Unheimlichem, Drohendem*); 8) «длительность переживания эмоции» (*furchterregender Vorgang, verhaltener, anhaltender, dauernder*); 9) «нечеткость, расплывчатость переживания эмоций» (*undeutlich, unbestimmt*); 10) «качественные свойства эмоций», например, внезапность появления, внутренний характер протекания и т.п. (*plotzlich, aufwallender, innerer, sinnlicher, sexueller, laehmend, panikartig, kopflos, still, sinnlos, allgemein*); 11) «контролируемость / неконтролируемость эмоций» (*unbeherrschter, unterdrueckter*); 12) «осознанность переживания эмоций» (*bewusst*); 13) «интенсивность переживания эмоции» (*gross, hoher, heftig, uebermaechtig, gesteigert, tief, leichter*); 14) «положительная / отрицательная знаковая направленность эмоций» (*freudig, lustig, angenehm, himmlisch, strahlend, trauriger, truebe, truebseelig, duesterer, schwerer*).

Семантическая запись небазисных номинантов эмоций в русском языке имеет значительно более «свернутый» вид. Здесь зафиксированы следующие группы сем: 1) «эмоциональное состояние» (*чувство, состояние*); 2) «эмоциональная реакция, восприятие в целом» (*ощущение*); 3) «эмоциональное настроение» (*настроение*); 4) «эмоции, чувства» (*беспокойство, страх, робость, грусть, уныние* и др.); 5) «причина / беспричинность переживания эмоции» (*ожидание опасности*); 6) «качественные свойства эмоций», например, внезапность появления, внутренний характер протекания и т.п. (*внутренний, внешний, душевный, нервный*); 7) «неконтролируемость эмоций» (*необузданный*); 8) «интенсивность переживания эмоции» (*сильный, большой, крайний, острый, чрезмерный, легкий*); 9) «положительная / отрицательная знаковая направленность эмоций» (*веселый, озлобленный, тоскливый, скучный, гнетущий, безнадежный, мрачный, подавленный*).

Мы считаем вполне корректным, обоснованным сопоставление выявленных групп сем в содержательной структуре небазисных номинантов эмоций немецкого и русского языков. Целесообразность сравнения их семных наборов, на наш взгляд, позволяет увидеть исследователю (не только лексикографу, семасиологу, но и когнитивисту), с одной стороны, специфику когнитивных структур ЭК, вербализованных на уровне параллельных лексем в разных языках, а с другой, что более очевидно, лексикографические недостатки в самих семантических записях анализируемых слов.

Для удобства *сопоставительного* чтения перечислим еще раз перечень составленных нами групп сем, актуальных для содержания ЭК немецкого и русского языков:

1) «эмоциональное состояние» (*Zustand, Gemuetszustand, Gemuetserschuetterung, Gemuetsverfassung, Gefuehl, aengstliche Zurueckhaltung, Verwirrung* – чувство, состояние);

2) «эмоциональная реакция, настроение, восприятие в целом» (*Reaktion, Empfindungen, empfinden, Stimmung* – ощущение, настроение);

3) «эмоции, чувства» (*Grauen, Schrecken, Angst, Zufriedenheit, Vergnuegen* и многие другие – беспокойство, страх, грусть, уныние и многие другие);

4) «причина / беспричинность переживания эмоции» (*angesichts einer Bedrohung oder Gefahr, durch Gefahr hervorgerufene Angst, die Angst hervorrufende Wirkung von etw., grundlos* – вызываемый ожиданием опасностью);

5) «условия появления эмоций» (*verbunden mit dem Wunsch, nach Erfuellung ersehnter Wuensche, bei der Erinnerung an etw. Vergangenes, Unwiederbringliches* и др. – отсутствие соответствующих сем в содержании номинантов эмоций русского языка);

6) «форма проявления эмоций» (*Zustand, in dem sich die Emotionen entladen* – отсутствие соответствующих сем в содержании номинантов эмоций русского языка);

7) «объект эмоции» (*vor etw. Unheimlichem, Drohendem* – отсутствие соответствующих сем в содержании номинантов эмоций русского языка);

8) «процессуальность, длительность переживания эмоции» (*furchterregender Vorgang, verhaltener, anhaltender, dauernder* – отсутствие соответствующих сем в содержании номинантов эмоций русского языка);

9) «нечеткость, расплывчатость переживаний» (*undeutlich, unbestimmt* – отсутствие соответствующих сем в содержании номинантов эмоций русского языка);

10) «качественные свойства эмоций», например, внезапность появления, внутренний характер протекания и т.п. (*plötzlich, aufwallender, innerer, sinnlicher, sexueller, laehmend, panikartig, kopflos, still, sinnlos, allgemein* – внутренний, внеинный, душевный, нервный);

11) «осознанность эмоций» (*bewusst* – отсутствие соответствующих сем в содержании номинантов эмоций русского языка);

12) «контролируемость / неконтролируемость эмоций» (*unterdrueckter* – необузданный);

13) «интенсивность переживания эмоции» (*gross, hoher, heftig, uebermaechtig, gesteigerter, tief, leichter* – сильный, большой, крайний, острый, чрезмерный, легкий);

14) «положительная / отрицательная знаковая направленность эмоций» (*freudig, lustig, angenehm, himmlisch, strahlend, trauriger, trueber, truebseliger, duesterer, schwerer* – веселый, озлобленный, тоскливый, скучный, гнетущий, безнадежный, мрачный, подавленный).

Как видно из приведенных выше лексикографических данных, количество групп сем в содержательной структуре немецких номинантов превосходит количество групп сем в содержательной структуре русских номинантов эмоций. Такие группы видовых сем, как «условия появления эмоций», «объект эмоции», «длительность переживания эмоции», «нечеткость переживания эмоций», «осознанность эмоций», отсутствуют в содержательной структуре номинантов эмоций русского языка. Каких-либо сем, актуальных для значения русских, но не актуальных для значения немецких номинантов эмоций, не отмечено.

Теперь рассмотрим более детально в сопоставительном плане семантику формирующих синонимические ряды / пары номинантов эмоций немецкого и русского языков. При этом предполагается не только сравнение данных лексических групп друг с другом внутри одного языка (например, семантическая характеристика *Angst* и *Trauer*, *радость* и *печаль* и т.п.), но также и в разных (например, синонимические ряды *Angst* и *страх*). Подобного рода одно- и двуязычные сопоставления могут позволить установить сходства и различия в когнитивных структурах разных (с точки зрения статуса и языка) ЭК.

Синонимический ряд *Angst* включает в себя следующие лексемы: *Angst, Beklemmung, Entsetzen, Furcht, Grauen, Grausen, Panik, Schauder, Scheu, Schreck, Schrecken* (Пахманов 1984, с. 36). Доминантой в этом

ряду, согласно НРСС, выступает слово *Angst*, что подтверждается также нашими данными, полученными посредством применения метода компонентного анализа. Все входящие в отмеченный выше ряд слова являются идеографическими синонимами.

Анализ словарных дефиниций показывает, что слово *Angst* используется не только в качестве элемента метаязыка, т.е. семантического компонента (семы), входящего в семный набор целого ряда названных выше номинантов эмоций, – *Beklemmung*, *Furcht*, *Panik*, *Schauder*, *Scheu*, *Schrecken*, но и, более того, сами определения этим эмоциям могут приводиться через родовое слово *Angst*, выступающее в функции архисемы (см. дефиниции *Furcht*, *Grauen*, *Scheu*). При этом следует заметить, что в качестве родового слова-определения выступают также другие самые общие широкозначные слова, номинирующие генерализованные образы чувственной сферы – *Gemuetszustand*, *Reaktion*, *Verwirrung*, *Zurueckhaltung*, *Gemuetserschuetterung*. Данный лингвистический факт вкупе с наблюдениями многих психологов (Изард 1980, с. 41; Лук 1972, с. 22 и др.), классифицирующих все эмоциональные переживания человека на базальные (основные) и вторичные, позволяет сделать предположение о гиперонимическом статусе конкретного номинанта эмоции *Angst*, с одной стороны, и целого ряда более общих, генерализованных обозначений психических констант *Gemuetszustand*, *Reaktion*, *Verwirrung* и т.п. – с другой.

Все слова из анализируемого синонимического ряда являются гипонимами по отношению к доминанте *Angst* и соответственно эквонимами по отношению друг к другу. Изучение лексикографических дефиниций данных слов обнаруживает ограниченное количество семантических компонентов в их структуре, в особенности дифференциальных, что обусловлено, на наш взгляд, их известной расплывчатостью. Редуцированный набор сем, по нашему мнению, следует расценивать как дефицит знания человеком конкретной предметной области – мира эмоций, элементы которого, выражаясь метафорой, напоминают замысловатую мозаику, плавно переходят друг в друга. К числу семантических признаков, характерных для составляющих данный синонимический ряд, относятся:

1) «эмоциональное состояние» (*Beklemmung* = *Gefuehl*; *Scheu* = *aengstliche Zurueckhaltung*; *Schreck* = *Gemuetserschuetterung*; *Schrecken* = *Gemuetserschuetterung*);

2) «номинанты эмоций» (*Beklemmung* = *Angst*, *Bangnis*; *Entsetzen* = *Erschrecken*, *Schrecken*, *Furcht*, *Grauen*; *Grauen* = *Furcht*, *Entsetzen*; *Grausen* = *Schauder*, *Entsetzen*; *Schauder* = *Grauen*, *Abscheu*, *Angst*; *Scheu* = *Angst*, *Furcht*, *Bangigkeit*; *Schreck* = *Schrecken*; *Schrecken* = *Schreck*);

3) «эмоциональная реакция» (*Entsetzen* = *panikartige Reaktion*);

4) «причины переживания эмоций» (*Furcht* = *angesichts einer Bedrohung oder Gefahr*; *Panik* = *durch Gefahr hervorgerufene Angst*, *Schrecken* = *die Angst hervorrufoende Wirkung von etw.*);

5) «условие появления эмоций» (*Furcht* = *verbunden mit dem Wunsch*);

6) «объект эмоции» (*Grauen* = *vor etw. Unheimlichem, Drohendem*);

7) «процессуальность, продолжительность действия эмоции» (*Schrecken* = *furchterregender Vorgang*);

8) «интенсивность переживания эмоции» (*Schauer* = *heftig*; *Schreck* = *heftig*);

9) «качественные характеристики, свойства эмоций», «внутренний характер протекания» и т.п. (*Grausen* = *laehmend*; *Panik* = *kopflös, allgemein, ploetzlich, sinnlos*; *Schreck* = *ploetzlich*; *Schrecken* = *ploetzlich*).

Из 14 групп сем, свойственных семантике членам 4 синонимических рядов в немецком языке, для синонимического ряда *Angst* актуальны 9, а для синонимического ряда *страх* в русском языке соответственно из 9 групп сем 4 семантические группы. Ниже предлагается их полный список:

1) «эмоциональное состояние» (*опасение, ужас* = *чувство*);

2) «номинанты эмоций» (*боязнь* = *беспокойство, страх, робость; опасение* = *тревога, беспокойство, страх, боязнь; трепет* = *волнение, страх, боязнь; ужас* = *страх, несчастье, отвращение, трепет, подавленность, негодование, испуг*);

3) «объект эмоции» (*боязнь* = *вызываемая ожиданием опасностью*);

4) «интенсивность переживания эмоции» (*трепет, ужас, возмущение, ярость* = *сильный; ужас* = *крайний*).

Сопоставление семного набора двух разноязычных синонимических рядов показывает, что для семантической структуры небазисных русских номинантов эмоций не свойственны такие семные группы, как «эмоциональная реакция», «причины переживания эмоций», «условие появления эмоций»; «продолжительность действия эмоции». Последние, как было проиллюстрировано выше, характерны для небазисных номинантов эмоций синонимического ряда *Angst* в немецком языке.

Синонимический ряд *Freude* состоит из 13 слов – *Freude, Spass, Vergnuegen, Gefallen, Behagen, Lust, Genuss, Hochgenuss, Glueck, Entzuecken, Wonne, Seligkeit, Glueckseligkeit*. Статус доминанты в нем лексемы *Freude* подтверждается, как и в предыдущем случае, методом компонентного анализа. Входящие в отмеченный выше ряд слова (за

исключением слова *Behagen*) являются идеографическими синонимами. Лексема *Behagen* относится, как показывают лексикографические источники (Рахманов 1983, с. 183), к классу стилистических синонимов.

Слово *Freude* часто используется как метаязыковое средство при толковании значения находящихся с ним в гипергипонимических отношениях лексем. Оно входит в семный набор целого ряда номинантов эмоций (*Vergnuegen, Gefallen, Lust, Entzuecken, Wonne, Seligkeit*), что говорит в пользу признания за ним гиперонимического статуса.

Изучение смысловой структуры формирующих этот синонимический ряд слов обнаруживает следующие семы:

1) «эмоциональное состояние» (*Behagen, Lust = Gefuehl; Glueck = Gemuetsverfassung; Glueck = Gemuetszustand; Glueckseligkeit = Zustand*);

2) «эмоциональная реакция, восприятие в целом» (*Lust = Empfindung*);

3) «эмоциональное настроение» (*Entzueckung = Zustimmung; Glueck = Hochstimmung*);

4) «эмоции, чувства» (*Behagen = Zufriedenheit, Vergnuegen, Wohlgefallen, Entzuecken = Begeisterung, Freude; Gefallen = Freude, Wohlgefallen; Genuss = Freude, Vergnuegen, Behagen* и др.);

5) «условия появления эмоции» (*Glueck = nach Erfuellung ersehnter Wuensche; Lust = auf etw. gerichtetes Verlangen; Lust = aus der Befriedigung entstehendes Gefuehl; Glueck = Gemuetsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etw. kommt, was man sich gewuenscht hat; Lust = Erfuellung einer Begierde; Vergnuegen = etw., woran man Vergnuegen findet; Seligkeit = Freude nach dem Tod*);

6) «качественные свойства эмоций», например, «внутренний характер протекания» и т.п. (*Lust, Wonne = innerer, inniger; Lust = sinnlicher, sexueller; Behagen = stiller*);

7) «осознанность переживания эмоций» (*Genuss = bewusst*);

8) «интенсивность переживания эмоций» (*Wonne = hoher; Wonne, Seligkeit = tief; Lust = leichter, heftiger, gesteigerter*);

9) «положительная знаковая направленность эмоций» (*Glueck = angenehm; Behagen = wohlilig; Entzuecken = freudig; Spass = lustig; Gefallen = angenehm; Wonne, Genuss = beglueckend; Seligkeit = rauschhaft, himmlisch, strahlend*).

В русском языке синонимическая пара *радость* в силу своей протяженности имеет самый минимальный семный набор, который мы традиционно классифицируем на соответствующие группы:

1) «эмоциональное состояние» (*отрада = чувство*);

2) «эмоции, чувства» (*отрада* = удовольствие, радость, удовлетворение).

Анализ синонимического ряда *Zorn* – 11 слов – *Zorn, Jaehzorn, Wut, Grimm, Ingrim, Aufgebrachtheit, Raserei, Furor, Entruestung, Rage, Koller* (Рахманов 1983, с. 683; SWB 1975, S. 622) выявил следующие характерные для него группы сем:

1) «эмоциональное состояние» (*Koller* = Zustand);

2) «эмоции, чувства» (*Aufgebrachtheit* = *Wut*; *Entruestung* = *Empoerung, Zorn*; *Furor* = *Wut, Raserei*; *Grimm* = *Zorn, Wut* и др.);

3) «причина переживания эмоций» (*Wut* = *durch Aerger o.ae. hervorgerufener Gefuehlsausbruch*);

4) «форма проявления эмоции» (*Koller* = Zustand, in dem sich die Emotionen entladen);

5) «качественные свойства эмоций», например, «внутренний характер протекания» и т.п. (*Grimm* = *verbissener, verhaltener*; *Ingrim* = *verbissener*; *Jaehzorn* = *ploetzlich*; *Koller* = *anfallartiger*);

6) «контролируемость / неконтролируемость эмоций» (*Grimm, Ingrim* = *unterdruecker*; *Wut* = *unbeherrscht*);

7) «интенсивность переживания эмоций» (*Grimm* = *heftiger, tiefer*; *Wut* = *heftiger, uebersteigter*).

В синонимическом ряду *гнев* (6 слов – *гнев, раздражение, ярость, бешенство, негодование, возмущение*) отмечены следующие группы сем:

1) «эмоциональное состояние» (*раздражение* = *чувство, состояние*);

2) «эмоции, чувства» (*бешенство* = *раздражение, неистовство, ярость, гнев; возмущение* = *раздражение, негодование, недовольство; негодование* = *возмущение, недовольство; раздражение* = *досада, недовольство, возбуждение, взволнованность, гнев, досада, озлобление; ярость* = *гнев, озлобление, бешенство*);

3) «качественные свойства эмоций», например, «внутренний характер протекания» и т.п. (*раздражение* = *озлобленный*);

4) «неконтролируемость эмоций» (*бешенство* = *необузданный*);

5) «интенсивность переживания эмоций» (*бешенство, ярость, возмущение* = *сильный*; *возмущение, негодование, ярость* = *крайний*; *раздражение* = *острый*);

6) «отрицательная знаковая направленность эмоций» (*раздражение* = *озлобленный*).

Синонимический ряд *Trauer*, состоящий из 9 слов – *Trauer, Gram, Kummer, Melancholie, Schwermut, Traurigkeit, Truebsal, Truebsinn, Wehmut* (Рахманов 1983, с. 474–475), имеет следующую семантическую запись:

1) «эмоциональное состояние» (*Schwermut* = *Gemuetszustand*; *Truebsinn* = *Gemuetsverfassung*; *Gemuetserschuetterung*, *Gefuehl*, *aengstliche Zurueckhaltung*, *Verwirrung*);

2) «эмоциональное настроение» (*Traurigkeit*, *Truebsinn* = *Stimmung*);

3) «эмоции, чувства» (*Gram* = *Kummer*, *Betruebnis*, *Traurigkeit*; *Kummer* = *Betruebnis*, *Leid*, *Gram*; *Melancholie* – *Traurigkeit*, *Truebsinn*, *Schwermut* и др.);

4) «причина / беспричинность переживания эмоции» (*Melancholie* = *grundlos*; *Wehmut* = *Schmerz um etw. Verlorenes*);

5) «условия появления эмоции» (*Wehmut* = *bei der Erinnerung an etw. Vergangenes, Unwiederbringliches*);

6) «длительность переживания эмоции» (*Gram* = *dauernd*; *Schwermut* = *anhaltend*; *Truebsinn* = *anhaltender*; *Wut* = *verhaltener*);

7) «качественные свойства эмоций», например, «внутренний характер протекания» и т.п. (*Gram* = *nagender*; *Kummer* = *seelischer*; *Melancholie* = *weltschmerzlich*; *Schwermut* = *innerer, laehmend*; *Truebsal* = *seelischer*);

8) «интенсивность переживания эмоции» (*Gram*, *Schwermut*, *Truebsinn* = *tief*, *Melancholie* = *gross*; *Wehmut* = *stiller, leichter*);

9) «отрицательная знаковая направленность эмоций» (*Kummer* = *schwerer*, *Schmerz*; *Melancholie* = *weltschmerzlich*; *Schwermut* = *die Leere*; *Truebsal* = *Leiden*, *Schmerz*; *Truebsinn* = *trueber, duesterer*; *Wehmut* = *Schmerz*).

И, наконец, рассмотрим семный набор членов последнего синонимического ряда *печаль* (4 слова – *печаль*, *грусть*, *тоска*, *уныние*). Его можно свести к следующим группам сем:

1) «эмоциональное состояние» (*грусть* = *чувство*; *уныние* = *чувство, состояние*);

2) «эмоции, чувства» (*грусть*, *уныние*, *печаль*, *тоска*, *скука*, *тревога*, *томление*);

3) «качественные свойства эмоций» (*грусть* = *томный*, *тоска* = *душевный*; *уныние* = *гнетущий*, *мрачный*, *безнадежный*; *подавленный*);

4) «интенсивность переживания эмоций» (*тоска* = *сильный*; *грусть* = *легкий*);

5) «отрицательная знаковая направленность эмоций» (*грусть* = *тоскливый*; *уныние* = *гнетущий*, *безнадежный*, *мрачный*, *подавленный*).

Итак, сопоставительный анализ смысловых структур базисных номинантов эмоций в немецком и русском языках обнаруживает, с одной стороны, их онтологическую общность, выражающуюся в совпадении семных наборов данных структур, а с другой – некоторые со-

держательные отличия, эксплицируемые несовпадением их смысловых признаков.

Общность разноязычных базисных номинаций эмоций (следовательно, понятийной основы соответствующих концептов) заключается, во-первых, в том, что и те, и другие содержат в своих когнитивных структурах идентичные метаязыковые характеристики (родовые семы или архисемы – «*Gemuetszustand*», «*Gefuehl*», «эмоциональное состояние», «чувство»; видовые семы – «интенсивность переживания эмоции», «причина / беспричинность переживания эмоции», «качественные свойства эмоций» и «положительная / отрицательная знаковая направленность эмоций»). При этом в качестве архисем выступают диффузные широкозначные лексемы, указывающие в принципе на денотативную принадлежность толкуемых слов. В обоих языках когнитивная структура базисных ЭК представлена посредством ссылок на небазисные номинанты эмоций, выступающие как видовые семы правой части словаря. Их комбинации с вышеназванными родовыми семами раскрывают с той / иной степенью полноты содержание базисных ЭК.

Во-вторых, общей чертой базисных ЭК в немецком и русском языках является большая степень распредмеченности параллельных концептов *Angst* и *страх* по сравнению со всеми другими. Эти базисные концепты имеют наиболее полную, детальную семантическую запись, что, по всей видимости, говорит о более глубоком их знании человеком (семы «каузация», «интенсивность», «ожидание опасности»). Значительно менее полными оказались знания человека природы таких концептов, как *Zorn*, *Trauer*, *гнев*, *печаль*. Их когнитивные структуры выражены минимальным набором сем.

В-третьих, для когнитивной структуры базисных ЭК как немецкого, так и русского языка характерна в целом диффузность по сравнению с аналогичной структурой не основных ЭК.

В-четвертых, общим для базисных ЭК в обоих языках является их гиперонимический статус по отношению к небазисным ЭК. Обнаружено, что толкование неосновных концептов нередко осуществляется через ссылку на слово, обозначающее базисный концепт. Установленный факт закономерен, если учесть обстоятельство более широкой диффузной семантики гиперонимических единиц в языке вообще: чем более широк объем значения того / иного слова, чем более диффузна его семантика, тем более вероятен его гиперонимический статус.

Помимо общности в когнитивной структуре базисных ЭК немецкого и русского языков были установлены также и некоторые содер-

жательные отличия, выраженные на уровне их метаязыковых характеристик. К ним относится указание на условия возникновения эмоций в немецком языке (например, *verbunden mit dem Wunsch*). Данная сема не отмечена в семном наборе базисных концептов русского языка, равно как и сема «нечеткость, расплывчатость переживания» (*undeutlich, unbestimmt*), характерная для *Angst*. Это обусловлено тем, что в содержании максимально родственного ему концепта *Furcht* есть сема «определенность», фиксирующая отличия их друг от друга. В русском языке семный набор этих двух немецких слов «рассеян» в значении одной лексемы – *страх*. Этим обстоятельством, вероятно, объясняется отсутствие семы «неопределенность» в структуре русского ЭК.

Сравнение семных наборов разноязычных базисных номинантов эмоций обнаруживает большую представленность в них квалификативных сем в русском языке: «веселый», «невеселый», «счастливый», «радостный», «нерадостный», «скорбный», «тоскливый», в то время как в немецком языке имеют место лишь две оценочные семы – «das Begluecktsein» и «das Frohsein». В данном случае, судя по лексикографическим данным, проявляется большая склонность русской языковой личности к оценочным речевым поступкам, что, кажется, вписывается в лингвокультурологические концепции некоторых авторитетных исследователей, отмечающих релевантность четко и однозначно выраженных оценочных бинарных характеристик (либо «хорошо», либо «плохо») для русской культуры (см.: Вежицкая 1997). В целом же следует указать на более *редуцированную* лексикографическую репрезентацию человеческого знания природы *базисных* ЭК в русском языке.

Сравнительный анализ когнитивных структур базисных ЭК следует далее расширить посредством сопоставления семных наборов уже непараллельных лексем не в обоих языках, а внутри одного языка. Считаем недостаточным установление факта более развернутой семантической записи одних базисных ЭК (*Angst, страх*) сравнительно с другими. Необходимо, по нашему мнению, сопоставление когнитивных структур *разных* ЭК в рамках одного языка, одной культуры, что позволит обнаружить различия в характере их природы (знаковости, градуированности и т.п.).

Сравнение когнитивной структуры *Angst* с когнитивной структурой других базисных ЭК обнаруживает следующие отличительные семы: 1) «беспричинность появления эмоции»; 2) «неопределенность переживания эмоции»; 3) «видовые характеристики эмоции» (номинанты эмоций *Beklemmung, Bedrueckung, Erregung, Sorge, Unruhe*).

Общими же семами для *Angst* и других обозначений базисных эмоций являются: 1) архисема «*Gemuetszustand*» (ср. с *Freude*); 2) «интенсивность переживания эмоции» (ср. с *Zorn* и *Trauer*); 3) «причинность возникновения эмоции» (ср. с *Zorn*).

В значении номинанта эмоции *Freude* обнаружены следующие специфические семы: 1) «четко выраженная знаковая (положительная) направленность эмоции»; 2) «качественное внутреннее свойство эмоции» (*innere*); 3) «видовые характеристики эмоции» (номинанты эмоций *Beglueckung*, *Befriedigung*; *Frohsein*, *Froehlichkeit*). К числу же общих сем, характерных для *Freude* и других номинантов эмоций, можно отнести такие, как: 1) архисема «*Gefuehl*» (ср. с *Angst*); 2) «интенсивность» (ср. с *Angst*, *Zorn*, *Trauer*).

Базисный ЭК *Zorn*, на максимально свернутую словарную запись которого мы уже указывали, специфическими отличительными семами имеет только номинанты эмоций (*Unwille*, *Aerger*). Общими для его когнитивной структуры и структуры других базисных ЭК являются семы: 1) «причинность появления эмоции» (ср. с *Angst*); 2) «интенсивность переживания эмоции» (ср. с *Angst*, *Trauer*).

Также минимально количество специфических сем в когнитивной структуре концепта *Trauer* – *Unglueck* и *Betruebnis*. Последние в естественном языке, как известно, выступают как номинанты небазисных эмоций. Содержание этого концепта тоже представлено редуцированной моделью его семантического описания. Общими же семами для его структуры и структуры других базисных концептов являются: 1) «причинность возникновения эмоции» (ср. с *Angst*, *Zorn*); 2) «интенсивность переживания эмоции» (ср. с *Angst*, *Zorn*, *Freude*).

Сопоставление выраженной в лексикографическом определении когнитивной структуры *страха* со структурами других базисных ЭК в русском языке обнаруживает в ней следующие отличительные семы: 1) «причинность появления эмоции»; 2) «видовые характеристики эмоции» (*испуг*, *боязнь*, *тревога*, *беспокойство*, *волнение*, *ужас*). Общими с когнитивными структурами сравниваемых базисных концептов у концепта *страх* являются следующие семы: 1) «состояние» (ср. с *гнев* и *печаль*); 2) «интенсивность переживания эмоции» (ср. с *радость* и *гнев*).

Специфическими семами когнитивной структуры *радости* следует признать 1) «ощущение» (архисема); 2) «(внутренний) характер протекания эмоции»; 3) «внешнее проявление эмоции»; 4) «положительная знаковая направленность эмоции»; 5) «видовые характеристики эмоции» (*удовлетворение*, *удовольствие*). К числу сем, эксплициру-

ющих понятийную часть как этого ЭК, так и других базисных концептов, относятся: 1) «чувство» (ср. с *гнев*, *печаль*); 2) «настроение» (ср. с *печаль*); 3) «интенсивность переживания эмоции» (ср.: *страх*, *гнев*).

Для когнитивной структуры другого базисного ЭК русского языка *гнев* характерна (как и в немецком языке для *Zorn*) лишь одна группа особых сем – «видовые характеристики» (*возмущение*, *негодование*, *раздражение*, *озлобление*). Общими же с другими концептами, судя по словарным дефинициям, можно считать следующие семы: 1) «чувство» (ср. с *печаль*, *радость*); 2) «интенсивность переживания эмоций» (ср. *страх*, *радость*).

Семантическая запись понятийной части базисного русского ЭК *печаль* так же, как и в немецком языке, представлена максимально усеченной. Специфическими семами номинанта этой эмоции можно признать такие видовые характеристики, как «грусть», «скорбь», «горе-речь». Такие семы, как 1) «чувство» (ср. с *радость*, *гнев*); 2) «состояние» (ср. со *страх*); 3) «знаковая направленность эмоций» (ср. с *радость*), являются общими для данного и остальных базисных номинантов эмоций.

Сопоставительный анализ семантики слов, вербализующих базисные и небазисные ЭК, позволяет, на наш взгляд, сделать следующие выводы относительно когнитивных структур последних.

Базисные номинанты эмоций имеют, как правило, лингвистический статус гиперонимов. Их семантика значительно более диффузна сравнительно семантики небазисных номинантов эмоций в обоих языках. Небазисные номинанты эмоций внутри синонимических рядов выступают по отношению друг к другу как эквонимы или как эквонимы-градуанты. Можно предположить с большой степенью вероятности, что одним из критериев лингвистической классификации ЭК на базисные и вторичные может быть такой тип семантических отношений, как гипер-гипонимия. Иначе говоря, лингвистический статус гиперонима у определенного слова может служить основанием для его отнесения к классу базисных концептов.

Подвергшиеся семасиологическому анализу синонимические ряды, коррелирующие с соответствующими логическими категориями инклюзии и идентичности, обнаруживают следующие типы синонимов – идеографические и стилистические. Идеографические синонимы являются доминирующим типом синонимии в данных рядах / парах. Количество стилистических синонимов минимально. Этот языковой факт свидетельствует о том, что, несмотря на большую размытость семантики номинантов эмоций, языковое сознание фиксирует

некоторые (нередко совсем незначительные) смысловые отличия в содержании понятийной части ЭК (например, функциональные).

Протяженность синонимических рядов с доминантами *Angst* (11) – *страх* (5), *Freude* (13) – *радость* (2), *Zorn* (11) – *гнев* (6), *Trauer* (9) – *печаль* (4) в немецком и русском языках различна. Количественные различия между наполняемостью синонимических рядов в немецком и русском языках вряд ли можно толковать как большую релевантность эмоционального феномена для немецкого этноса, поскольку, помимо номинации, в языке существуют и другие (кстати, более экспрессивные) типы вербализации чувственной сферы человека – дескрипции и экспликации. Следует также указать на такую морфологическую особенность немецкого языка, как субстантивность. Он, как известно из типологических исследований, значительно более «субстантивен», чем русский.

В ходе семасиологического анализа установлен факт различной степени глубины лексикографического развертывания базисных номинантов эмоций в обоих языках. Более свернутыми являются определения *базисных* номинантов эмоций, в особенности *Zorn*, *Trauer* в немецком и соответственно *гнев*, *печаль* в русском языке. Перечень видовых сем, посредством которых эксплицировано знание человеком сущности этих эмоций, их когнитивной структуры, минимален, что, по нашему мнению, вряд ли можно отнести исключительно к недочетам лексикографов. В противном случае нельзя объяснить значительно более развернутые дефиниции, предлагаемые номинациям других базисных концептов – *Angst*, *Freude*, *страх*, *радость*. Количество видовых характеристик дефинируемого понятия во многом зависит от его абстрактности vs. конкретности: чем более отвлеченным является толкуемое понятие, тем более редуцирована его словарная дефиниция и соответственно наоборот: чем оно более конкретно, тем более развернуто на метаязыковом уровне. Это утверждение, по всей видимости, нельзя признать в полной мере актуальным применительно к рассматриваемому материалу, поскольку ЭК находятся на одном и том же уровне абстрактности. Думается, что более детальное лексикографическое описание концептов *Angst*, *Freude*, *страх* и *радость* связано с их более глубокой «разработанностью» языковым сознанием, чем в случае с освоением других базисных ЭК. Уместно вспомнить первичность происхождения эмоций *Angst*, *Freude* (см.: Нойманн 1998; Риман 1998), их постоянную психическую актуальность для человека и, следовательно, более высокую степень рефлексии человеческим мышлением именно данных вербализованных фрагментов эмоционального мира.

У слов, обозначающих так называемые небазисные ЭК в обоих языках, есть значительно больший набор сем, чем у слов, номинирующих базисные ЭК, что вполне закономерно: гипонимы, в отличие от своих гиперонимов, имеют более подробные, детальные семантические характеристики.

Заслуживающим внимания считаем факт более редуцированной лексикографической репрезентации человеческого знания природы ЭК в русском языке по сравнению с немецким. Количество групп сем в содержательной структуре немецких номинантов превосходит количество групп сем в содержательной структуре русских номинантов эмоций. Для синонимических рядов немецкого языка актуальными оказались 14 групп сем, в то время как для аналогичных рядов русского – только 9. Такие группы видовых сем, как «условия появления чувства», «объект эмоции», «процессуальность, длительность переживания эмоции», «нечеткость, неясность, расплывчатость психических переживаний», «осознанность переживания эмоций», отсутствуют в содержательной структуре номинантов эмоций русского языка. Каких-либо сем, актуальных для значения русских, но не актуальных для значения немецких номинаций эмоций, не отмечено. При этом хотелось бы заметить, что сравнение содержательных элементов когнитивных структур разноязычных базисных ЭК обнаруживает значительно большую представленность их *знаковой оценочности* в русском языке. В этом, думается, проявляется большая склонность представителей русского этноса к оценочным речевым поступкам, к жанру «моралите», что, кажется, соответствует наблюдениям целого ряда культурологов, этнографов, философов, историков, отмечающих релевантность четко и однозначно выраженных оценочных бинарных характеристик (либо «хорошо», либо «плохо») для русской культуры.

Зафиксированную на уровне метаязыковой характеристики интенсифицирующую сему во всех синонимических рядах мы интерпретируем как высокую степень градуируемости ЭК, в целом всей эмоциоконцептосферы немецкого и русского языков. В семантике слов, номинирующих один и тот же синонимический ряд, обычно отсутствуют резкие переходы от одного качества понятия к другому.

Антонимия номинантов эмоций

Как и синонимия, антонимия относится к одному из важнейших типов семантических отношений в языке. В языковой антонимии отражается двойственность мира, параллелизм его устройства. «Мир

двойствен для человека в силу двойственности его соотношения с ним. Соотнесенность человека двойственна в силу двойственности *основных слов*, которые он может сказать. Основные слова суть *не отдельные слова, но пары слов*», – утверждал философ М. Бубер (1995, с. 16). Справедлива мысль другого ученого – русского семасиолога М.М. Покровского, указывавшего еще в конце 90-х годов XIX столетия на объективное существование антонимии в языке: «Слова и их значения живут не изолированно друг от друга, а соединяются в различные группы. Одним из оснований для группировки может служить прямая противоположность по основному значению» (Покровский 1959, с. 89).

Антонимия и синонимия – родственные явления. По мнению исследователей, для них характерно отношение смысловой эквивалентности (см.: Арнольд 1976, с. 12; Москвин 1993, с. 5–6). Главное же различие, как хорошо известно, заключается в том, что синонимия основана на сходстве понятий, а антонимия, наоборот, базируется на их противоположности.

Традиционно антонимии принято характеризовать с двух точек зрения – парадигматики и синтагматики языка. При парадигматическом подходе к анализу данного типа семантических отношений лексические антонимы определяются как лингвистические единицы, имеющие противоположные или обратные, но не противоречащие значения. Они обнаруживают семантическую общность, друг с другом проявляющуюся в соотносительности значений или же в их отнесенности к одной лексико-семантической парадигме. Ряд исследователей полагают, что антонимы выражают одно и то же родовое понятие. Ими эксплицируются противоположные понятия, и они, следовательно, располагают полярными значениями (Апресян 1995, с. 285). При этом в специальной научной литературе, как правило, указывается на облигаторность их качественных характеристик. Последние предполагают отношение градуирования (Апресян 1995, с. 285–286; Новиков 1990, с. 36).

Что касается синтагматических свойств антонимов, то в качестве обязательного признака, по замечанию Ю.Д. Апресяна, следует признать «хотя бы частичное совпадение сочетаемости или, что то же самое, возможность хотя бы частичной взаимозамены в одном и том же контексте» (Апресян 1995, с. 285–286). В данной части монографии мы остановимся на парадигматических характеристиках номинантов эмоций, выступающих в немецком и русском языках как антонимы.

Антонимами (лексическими) признаются слова с противоположными, но соотносительными значениями. Иначе говоря, антонимические лексические единицы содержат в своей семантической структуре противоположные семы, но при этом непременно имеют и общие семы (или, по крайней мере, одну общую). Антонимия – это противоположность внутри одной сущности.

Антонимическую проблематику можно считать одной из самых традиционных и достаточно удовлетворительно разработанных в современной лингвистике. При этом, однако, следует указать на различные подходы в определении, классификациях, функциях данного языкового явления (подробно см.: Алефиренко 1998, с. 268–276; Апресян 1995, с. 284–316; Новиков 1990, с. 36–37).

Исследователями признается факт системности мира и противоположности формирующих его фрагментов. Человеческое сознание, осваивая действительность, отмечает не только сходства, но и различия внутри одной и той же сущности. Языковленную логическую категорию «противоположность» можно назвать антонимией. Этот феномен, признаваемый языковой универсалией, обычно классифицируют на два типа: контрарный и комплиментарный. При первом из них, согласно Л.А. Новикову, речь идет о противоположности, выражаемой видовыми понятиями, между которыми существует промежуточный член (в терминологии некоторых семасиологов – мезоним. – Прим. мое. – Н.К.); для второго же характерна противоположность, образуемая видовыми понятиями, которые дополняют друг друга до родового и являются предельными по своему характеру. Какой-либо промежуточный, средний член здесь отсутствует (Новиков 1990, с. 36).

Общезвестно, что антонимия, как и синонимия, присуща в большей степени лексике абстрактного характера, что связано с когнитивной деятельностью человека, с заложенным в него самой природой стремлением, способностью классифицировать, сопоставлять и *противопоставлять* разные явления.

Учеными неоднократно отмечался факт полярности эмоций (Изард 1999, с. 57 и др.). Многими психологами эмоции классифицируются с точки зрения их «знаковости» – выделяют положительные и отрицательные эмоции (Изард 1980, Витт 1983 и др.). Данная психологическая «знаковость» эмоциональной жизни человека находит отражение в самом языке, что устанавливается посредством применения специальных семасиологических, психолингвистических и некоторых других методов, фиксируется, в частности, специальными

словарями. С учетом психологических данных в настоящем параграфе нашего исследования предпринимается попытка установления отношения противоположности в концептосфере эмоций. Уместна постановка следующего вопроса: всякий ли базисный номинант эмоций вовлечен в отношения антонимии?

Как и при анализе синонимичности номинантов эмоций, здесь будут использованы наиболее авторитетные лексикографические источники – антонимические и синонимо-антонимические словари немецкого языка и словари антонимов русского языка (LdA 1989, WBSA 1983, WgW 1979, CA 1971, CA 1978, CA 1985). Изучение этих источников на предмет обнаружения в них антонимических номинаций эмоций позволяет заключить, что для них типична так называемая «перекрестная антонимия». Под ней понимают вхождение одной и той же лексемы в разные антонимические ряды / пары. Это замечание особенно наглядно иллюстрируется при обращении к немецким лексикографическим источникам – синонимо-антонимическому словарю (WBSA 1983).

Номинант эмоции *Angst*, по данным указанного словаря, противопоставляется вторичным обозначениям эмоций – *Furchtlosigkeit*, *Achtung*, *Hochachtung*, *Respekt*, *Ehrfurcht*, *Bewunderung*, *Pietaet* (WBSA 1983, S. 65). Сопоставление словарной дефиниции номинанта вышеотмеченной эмоции с дефинициями номинаций вторичных эмоций обнаруживает как интегральные, так и дифференциальные семы. К первым относятся «Gefahr» (*Furchtlosigkeit*), «gross» (*Hochachtung*, *Bewunderung*) и соответственно ко вторым – «Beklemmung», «Bedrueckung», «Erregung», «Sorge», «Unruhe», «Gemuetszustand», «einhergehender», «undeutlich», «unbestimmt», «grundlos» (*Angst*); «Mut», «Unerschrockenheit» (*Furchtlosigkeit*); «Wertschaetzung» (*Achtung*, *Hochachtung*); «heiliger» (*Respekt*); «Anerkennung», «Verehrung», «aner kennendes Staunen» (*Bewunderung*); «religioses Empfinden» (*Pietaet*).

Мы можем заключить, что число общих для лексемы *Angst* и ее словарных антонимов сем минимально (интенсема «gross», сема «Gefahr»), в то время как количество сем, различающих семантику анализируемых слов, наоборот, достаточно репрезентативно. Дифференциальные семы можно классифицировать на следующие группы: 1) «эмоциональное состояние» (*Gemuetszustand*); 2) «причинность или беспричинность переживания эмоции» (*grundlos*); 3) «нечеткость переживания эмоции» (*unbestimmt*, *undeutlich*); 4) «номинации эмоции» (например, *Beklemmung*, *Bedrueckung*, *Erregung*, *Sorge*, *Unruhe*, *Achtung*,

Hochachtung и др.); 5) «оценка» (*heiliger*); 6) «сфера функционирования» (*religios*). Здесь же укажем на комплиментарный характер отношений, в которых состоят рассматриваемые номинации: *Angst – Achtung, Hochachtung, Respekt, Ehrfurcht, Bewunderung, Pietät – Furchtlosigkeit*. Расположенные в центре антонимо-синонимического блока номинации суть мезонимы.

Другой базисный номинант эмоции – *Freude* – в соответствии с лексикографическими данными (WBSA 1983, S. 292) противопоставляется в отличие от *Angst* не только номинациям вторичных эмоций (*Leid, Qual, Pein, Traurigkeit, Kummer, Bedruecktheit, Freudlosigkeit, Bekuemmernis, Gedruecktheit, Betruebtheit, Truebsinn, Truebsinnigkeit, Truebsal, Niedergeschlagenheit, Schwermut, Verzagtheit, Schwermut, Wehmüt, Groll, Gereiztheit, Veraergerung, Wut, Entsetzen, Grauen, Grausen, Schauder, Schreck, Schrecken, Horror*), но и обозначениям базисных номинаций (*Zorn, Trauer*).

Применение метода компонентного анализа на основе словарных дефиниций позволяет установить для них как некоторые интегральные, так и многочисленные дифференциальные семы. Общими являются 3 – «*Gemuetszustand*» (*Freude, Schwermut*), «*hochgestimmt = Stimmung*» (*Freude, Gedruecktheit, Truebsinn, Niedergeschlagenheit*), «*innere*» (*Freude, Schwermut*). Различительными же оказались следующие семы: «*tief*», «*grosser*», «*uebersteigerte*», «*stiller*», «*leichte*», «*seelisch*», «*quaelender*», «*freudlose*», «*betruebt*», «*traurig*», «*truebselige*», «*duistere*», «*truebe*», «*niedergeschlagene*», «*laehmender*», «*anhaltende*», «*verhaltene*», «*unterdrueckter*», «*gereizt*», «*unbeherrschter*», «*panikartig*», «*ploetzlich*», «*zugleich*», «*Frohsein*», «*Begluecktheit*», «*Beglueckung*», «*Befriedigung*», «*Schmerz*», «*Verlust*», «*Unglueck*», «*Uebel*», «*Schaden*», «*koerperlicher*», «*Gemuetsverfassung*», «*(innere) Leere*», «*Mangel*», «*Zuversicht*», «*Trauer*», «*Erinnerung*», «*Vergangenes*», «*Unwiederbringliches*», «*Verlorenes*», «*Sehnsucht*», «*Wesen*», «*hervorgerufen*», «*Gefuehlsausbruch*», «*Reaktion*», «*Unheimliches*», «*Drohendes*», «*Empfindung*», «*befallen*», «*Gemuetserschuetterung*», «*das Erkennen einer Gefahr*», «*Bedrohung*», «*Ausloesung*», «*hervorrufen*», «*Wirkung*». Указанные семы классифицируются на следующие группы: 1) «эмоциональное состояние» (*Gemuetszustand*); 2) «настроение» (*Stimmung*); 3) «внутренний характер протекания эмоции» (*innere*); 4) «эмоции, чувства» (*Frohsein, Begluecktheit, Beglueckung, Befriedigung* и др.); 5) «градация эмоций» (*tief, grosser, uebersteigerte, leicht*); 6) «знаковость эмоций» (*freudlose, betruebt, traurig, truebselige, duistere, truebe, niedergeschlagene*); 7) «длительность переживания эмоции» (*anhaltende, verhaltene*);

8) «неконтролируемость эмоции» (*unbeherrschter*); 9) «внезапность появления эмоции» (*Gefuehlsausbruch, befallen, ploetzlich*); 10) «объект эмоции» (*vor etw. Unheimlichem, Drohendem*); 11) «внешнее протекание эмоции» (*panikartig, Reaktion, koerperlicher*); 12) «причинность переживания эмоции» (*hervorrufen, Ausloesung, das Erkennen einer Gefahr, Bedrohung*); 13) «условия появления эмоции» (*Erinnerung an etw. Vergangenes, Unwiederbringliches, Verlorenes; Wirkung*); 14) «общие качественные свойства эмоций» (*Uebel, Schaden, Leere, still, seelisch* и др.). Семы, отмеченные под № 1–3, общие; все остальные 11 групп – различительные.

Номины эмоций *Freude* и *Trauer*, обладающие семой противоположности, – комплиментарные антонимы. Мезонимами в данном случае выступают *Leid, Traurigkeit, Kummer, Freudlosigkeit, Bekuemernis, Niedergeschlagenheit, Schwermut, Verzagtheit, Schwermut, Wehmut, Veraergerung*.

Номины эмоции *Zorn* противопоставлен также многим словам, обозначающим психические переживания. Как и в предыдущем случае, он называется в словарях как антоним к слову *Freude* и, кроме того, к таким словам, как *Glueck, Wonne, Froehlichkeit, Frohsinn, Frohmut, Lustigkeit, Vergnuegtheit, Gleichmut, Ruhe* (WBSA 1983, S. 777). Здесь в качестве интегральных сем выступают интенсемы «heftiger», «hoher» (*Glueck*), «tiefer» (*Wonne*). Дифференциальными же являются семы «Ergebnis», «besonders», «guenstiger», «Umstand», «Zufall», «Schicksal», «angenehm», «freudig», «Gemuetsverfassung», «Wunsch», «gluecklich», «Situation», «Erlebnis», «Erfolg», «Gemuetszustand», «innere», «Befriedigung», «Hochstimmung», «Beglueckung», «Vergnuegen», «Freude», «Genuss», «inniges», «vergnuegt», «Stimmung», «Heiterkeit», «Frohsinn», «Ausgeglichenheit», «Frohmut», «frohe», «Lustigkeit», «Beschaffenheit», «Gleichmut», «Gelassenheit», «Beherrschtheit», «Leidenschaftslosigkeit», «Unerschuetterlichkeit», «Ruhe», «Kaltbluetigkeit». Названные семы проклассифицируем на соответствующие группы: 1) «эмоциональное состояние» (*Gemuetszustand, Gemuetsverfassung*); 2) «настроение» (*Hochstimmung*); 3) «внутренний характер протекания эмоции» (*innere, inniges*); 4) «эмоции, чувства» (*Befriedigung, Beglueckung, Vergnuegen, Freude, Genuss* и др.); 5) «интенсивность переживания эмоции» (*heftiger, hoher, tiefer*); 6) «знаковость эмоции» (*angenehm, freudig, gluecklich, guenstig*); 7) «условия появления эмоций» (*Wunsch, Umstand, Zufall, Situation, Schicksal*).

Для антонимической пары *Zorn* – *Freude* так же, как и в предыдущих случаях, характерна комплиментарность (ср.: *Froehlichkeit, Frohsinn, Frohmut, Lustigkeit, Vergnuegtheit*).

Базисный номинант эмоции *Trauer*, согласно лексикографическим источникам (WBSA 1983, S. 611), противопоставляется, с одной стороны, иной базисной номинации (*Freude*), а с другой – целому ряду вторичных обозначений эмоций, выступающих на языковом уровне по отношению друг к другу как синонимичные слова (*Heiterkeit, Glueck, Froehlichkeit, Frohsinn, Lustigkeit, Vergnuegtheit, Wonne*). Интегральной при этом является всего лишь одна сема – «tief» (*Trauer, Wonne*). К дифференциальным относятся семы «seelisch», «Schmerz», «Verlust», «Unglueck», «etwas Verlorenes», «Betruerbnis» (*Trauer*); «Froehlichkeit», «Zufriedenheit», «Ausgeglichenheit», «Ergebnis», «Umstaende», «Zufall», «Fuegung des Schicksals», «Gemuetsverfassung», «Situation», «Ereignis», «Erlebnis», «Gemuetszustand», «Befriedigung», «Hochstimmung», «Erfuellung ersehnter Wuensche», «Froehlichkeit», «Lustigkeit», «Stimmung», «Heiterkeit», «Frohsinn», «Lustigkeit», «Beschaffenheit», «Beglueckung», «Vergnuegen», «Wonne», «Genuss», «guenstig», «froh», «angenehme», «freudige», «gluecklich», «vergnuegt», «stete», «innerer», «inniges», «tief». Классифицируем их так: 1) «эмоциональное состояние» (*Gemuetszustand, Gemuetsverfassung*); 2) «настроение» (*Stimmung*); 3) «внутренний характер протекания эмоции» (*innere, inniges*); 4) «эмоции, чувства» (*Froehlichkeit, Zufriedenheit, Frohsinn, Beglueckung, Befriedigung* и многие другие); 5) «интенсивность переживания эмоции» (*tief*); 6) «(положительная) знакность эмоции» (*froh, angenehme, freudige, gluecklich, vergnuegt* и др.); 7) «длительность переживания эмоции» (*stete*); 8) «причинность появления эмоции» (*Erfuellung ersehnter Wuensche, Schmerz um etw. Verlorenes*), 9) «условия появления эмоции» (*Umstaende, Situation, Zufall, Fuegung des Schicksals*).

При рассмотрении антонимического ряда *Trauer – Freude* укажем на комплиментарный характер их отношений. Лексемы *Heiterkeit, Froehlichkeit, Frohsinn, Lustigkeit, Vergnuegtheit* выступают в функции мезонимов.

Таким образом, установлено, что номинантам базисных эмоций немецкого языка свойственно отношение противопоставления как друг другу (*Freude, Zorn, Trauer*), так и небазисным номинациям эмоций. Антонимия слов, обозначающих ЭК, проявляется в наличии в их когнитивной структуре интегральных сем, количество которых, правда, максимально ограничено. Так, *Angst* имеет 2 интегральные семы и соответственно *Freude – 3, Zorn* и *Trauer – по 1*. В семантике слова *Freude* и антонимических ему слова общими являются семы «эмоциональное состояние», «настроение», «внутренняя форма про-

тканения эмоции». Для семантики слова *Angst*, номинирующего базисный концепт, общими с противопоставляемыми ему словами оказались семы «опасность», «угроза» и «интенсивность». Последняя является единственной интегральной семой как для *Zorn* и его антонимов, так и для номинанта *Trauer* и противоположных ему небазисных номинаций.

Все многочисленные дифференциальные семы, обнаруженные в понятийной части концептов, классифицируются на следующие группы: 1) «эмоциональное состояние и настроение»; 2) «причинность или беспричинность переживания эмоции»; 3) «условия появления эмоции»; 4) «нечеткость переживания эмоции»; 5) «эмоции»; 6) «знаковость эмоций»; 7) «градация переживания эмоций»; 8) «внутренний характер протекания эмоции»; 9) «внешняя форма протекания эмоции»; 10) «длительность переживания эмоций»; 11) «неконтролируемость эмоций»; 12) «внезапность появления эмоций»; 13) «объект эмоций»; 14) «оценка эмоций»; 15) «сфера функционирования номинаций эмоций»; 16) «общие качественные свойства эмоций».

Данные группы сем, выступающие в функции метаязыковых характеристик ЭК, актуализируются в последних в разной степени. Общее количество сем (как интегральных, так и дифференциальных), свойственных понятийной структуре концепта *Angst*, равно 8, *Freude* – 14, *Zorn* – 7 и *Trauer* – 9. Очевидно, что отмеченные различия в приведенных здесь количественных показателях во многом объясняются длиной того / иного синонимического ряда, выступающего смысловым противопоставлением соответствующего концепта. Чем более развернут этот ряд, тем большее количество сем он противопоставляет слову, номинирующему тот / иной антонимический ему концепт. Так, слову *Angst* противопоставлен синонимический ряд из 7 антонимических ему слов и соответственно *Freude* противопоставляется 31 слово, *Zorn* – 10 и *Trauer* – 7.

Перечисленные выше интегральные и дифференциальные семы имеют разный индекс актуальности в семантической структуре слов, обозначающих базисные эмоции. Своего рода универсальными можно считать такие семы, как «градация», «эмоциональное состояние», «номинанты эмоций». Несколько ниже (но все же высок) индекс актуальности у сем «характер протекания эмоции», «причина возникновения эмоций», «условия появления эмоции» и «знаковость эмоций».

Изучение базисных номинаций эмоций *русского языка* затруднено тем обстоятельством, что антонимо-синонимических словарей нет. В этой связи мы считаем целесообразным обращение к синонимиче-

ским рядам, элементы которых выступают как языковые синонимы к тому / иному базисному номинанту эмоции. Их анализ может позволить получить новые данные о семантике номинантов эмоций русского языка, уточнить семные наборы структур противопоставляемых слов. С этой целью будет применен метод компонентного анализа на основе словарных дефиниций синонимичных номинантов эмоций, являющихся антонимами по отношению к определенной базисной номинации эмоции. Использование данного семасиологического метода, думается, может служить своего рода компенсирующим средством лексикографических недостатков в описании интересующего нас феномена.

Из четырех базисных номинантов эмоций русского языка, согласно антонимическим словарям, только два антонимичны – *печаль* и *радость*. Номинации *страх* и *гнев* не противопоставлены в русском языке ни базисным, ни вторичным обозначениям психических переживаний.

Номинант *радость*, согласно данным антонимических словарей (СА 1985, СА 1972), противопоставляется слову *горе*. Примечательно, что в словарной дефиниции последнего содержится метаязыковое указание на противоположность этих слов: «горе – душевное страдание, огорчение, печаль, скорбь (*противопологается радости*)» (БАС 1954, т. 3, с. 279, курсив мой. – Н.К.). Применение метода компонентного анализа позволяет установить для них как интегральные, так и многочисленные дифференциальные семы. Общими являются семы «интенсивность» (*большой, глубокий*) и «душевный» и соответственно различительные семы «настроение», «чувство», «ощущение», «удовлетворение», «удовольствие», «скорбь», «печаль», «страдание», «огорчение», «веселый», «радостный», «счастливый», «внутренний», «внешний», «событие / предмет, возбуждающие чувство». Следовательно, можно сделать вывод о том, что число общих сем для лексики *радость* и ее словарного антонима минимально, в то время как количество сем, различающих семантику анализируемых слов, наоборот, достаточно репрезентативно, несмотря на усеченный вариант их толкования. Перечисленные семы классифицируются на следующие группы: 1) «эмоциональное состояние» (*чувство, ощущение*); 2) «настроение» (*настроение*); 3) «внутренний характер протекания эмоций» (*внутренний*); 4) «эмоции, чувства» (*удовлетворение, удовольствие, печаль и др.*); 5) «интенсивность переживания эмоции» (*большой, глубокий*); 6) «знаковость эмоции» (*веселый, радостный, счастливый*);

7) «внешнее протекание эмоции» (*внешний*); 8) «общие качественные свойства эмоций» (*душевный*).

Анализ словарных дефиниций синонимичных номинантов эмоций (*горе, печаль, грусть, скорбь, страдание, огорчение, тоска, уныние, скука*), являющихся, согласно лексикографическим источникам, косвенным доказательством их антонимии к слову *радость*, не приводит к расширению групп интегральных и дифференциальных сем. В этом случае имеет место незначительное увеличение уже отмеченных выше сем («знаковость эмоций» – *безнадежный*, «интенсивность эмоций» – *крайний*). Принципиально новых сем при этом нами не зафиксировано. Следовательно, базисный номинант эмоции *радость* противопоставляется напрямую номинации *горе* и косвенно словам *печаль, грусть, скорбь, страдание, огорчение, тоска, уныние, скука*, содержательная структура которых включает в себя максимально родственные, нередко дублирующие себя семы.

Базисный номинант эмоции *печаль* напрямую противопоставлен небазисному номинанту эмоции *веселье*, синонимичному слову *радость*. Сопоставление словарных дефиниций *печали* и *веселья* обнаруживает одну интегральную и ряд дифференциальных сем. Общей для обоих слов является сема «настроение», а различительными следующие семы: «чувство», «состояние», «грусть», «горечь», «скорбь», «душевный», «скорбно-озабоченный», «нерадостный», «невеселый», «беззаботно-радостный», «оживленный», «радостный», «жизнерадостность». Ниже предлагается их классификация по группам: 1) «чувство, эмоциональное состояние» (*чувство, состояние*); 2) «настроение» (*настроение*); 3) «номинанты эмоций» (*грусть, горечь, скорбь*); 4) «знаковость эмоций» (*жизнерадостность, скорбно-озабоченный, нерадостный, невеселый, беззаботно-радостный, радостный*); 5) «активность эмоций» (*оживленный*); 6) «общие качественные свойства эмоций» (*душевный*).

Обращение к анализу словарных дефиниций синонимичных номинантов эмоций (*радость, отрада*) расширяет количество сем, и, более того, в отличие от предыдущего случая обнаруживает наличие некоторых новых семных групп: 1) «интенсивность эмоций» (*большой*); 2) «форма протекания эмоций» (*внутренний, внешний*).

Как и в немецком, в русском языке антонимическая пара *радость – печаль* включает в себя мезонимы – *грусть, страдание, огорчение*.

Сопоставление семных наборов номинантов базисных эмоций, репрезентируемых на лексемном уровне как антонимы в немецком и

русском языке, обнаруживает количественное преобладание в первом из них. В немецком языке суммарный набор семных групп, характерных для номинантов эмоций, находящихся друг к другу в отношении противопоставления, сводится к следующим смысловым объединениям: 1) «эмоциональное состояние» (*Gemuetszustand, Gemuetsverfassung*); 2) «настроение» (*Stimmung, Hochstimmung*); 3) «эмоции, чувства» (*Beklennung, Bedrueckung, Frohsein, Beglueckteisein, Beglueckung, Befriedigung, Vergnuegen, Freude* и др.); 4) «градация эмоций» (*tief, grosser, leicht* и др.); 5) «причинность / беспричинность переживания эмоций» (*hervorrufen, Ausloesung, das Erkennen einer Gefahr, Bedrohung, grundlos*); 6) «знаковость эмоции» (*freudlose, traurig, truebselige, duistere, angenehm, freudig*); 7) «форма протекания эмоции» (*innerer, inniger, panikartig, Reaktion*); 8) «нечеткость, неясность переживания эмоции» (*unbestimmt, undeutlich*); 9) «условия появления эмоции» (*Wunsch, Umstand, Situation, Erinnerung an etw. Vergangenes, Unwiederbringliches, Verlorenes; Wirkung*); 10) «длительность переживания эмоции» (*anhaltende, verhaltene, stete*); 11) «неконтролируемость эмоции» (*unbeherrschter*); 12) «внезапность возникновения эмоции» (*befallen, ploetzlich*); 13) «объект эмоции» (*vor etw. Unheimlichem, Drohendem*); 14) «общие качественные свойства эмоции» (*Leere, still, seelisch* и др.); 15) «оценка эмоции» (*heiliger*); 16) «сфера функционирования обозначений эмоции» (*religios*).

В русском языке для структуры номинантов эмоций характерно значительно меньшее количество семных групп: 1) «эмоциональное состояние» (*состояние, чувство, ощущение*); 2) «настроение» (*настроение*); 3) «форма протекания эмоции» (*внутренний, внешний*); 4) «эмоции, чувства» (*удовлетворение, удовольствие, печаль, грусть, горечь, скорбь* и др.); 5) «интенсивность переживания эмоции» (*большой, глубокий*); 6) «знаковость эмоции» (*веселый, радостный, счастливый, жизнерадостный, скорбно-озабоченный, нерадостный, невеселый, беззаботно-радостный*); 7) «активность эмоции» (*оживленный*); 8) «общие качественные свойства эмоции» (*душевный*).

Изучение базисных номинаций эмоций на предмет их включения в отношение противоположности позволяет утверждать, что для всех них в немецком языке характерна языковая антонимия. Этот вывод делается на основании лексикографических данных – синонимо-антонимических словарей. При этом, однако, вызывает сомнение решение составителей словарей называть к слову *Zorn* в качестве антонимов *Glueck, Wonne, Froehlichkeit, Frohsinn, Frohmut, Lustigkeit, Vermuegtheit* (WBSA 1983, S. 777). В значении этих лексем не содержатся противоположные *Zorn* семы. В то же время следует признать

правомерным отнесение в класс антонимов к слову *Zorn* слов *Gleichmut* и *Ruhe*.

Лексикографические источники русского языка противопоставляют два из четырех базисных номинанта эмоций – *радость* и *печаль*. Лексические единицы *гнев* и *страх* не имеют антонимов. Данный факт, скорее всего, объясним недостатками лексикографической русскоязычной практики. Совершенно очевидно, что *гневу* на логическом уровне противостоят *спокойствие* и *покой* (ср. с немецкой антонимической парой *Zorn – Gleichmut* и *Ruhe*).

Полученные лингвистические данные подтверждают правильность мнения тех психологов, которые классифицируют эмоции с точки зрения их «знаковости», т.е. выделяют положительные и отрицательные эмоции.

Для номинаций эмоций как в немецком, так и русском языках характерна контрарная антонимия. Слова, вербализующие концепты эмоций, как правило, противопоставляются друг другу через мезонимы, т.е. опосредованно, что говорит в пользу признания плавного перехода одних эмоций в другие. Границы между последними неустойчивы, зыбки.

Интегральные и дифференциальные семы, зафиксированные в значениях слов, номинирующих эмоции в немецком и русском языках, имеют разный индекс актуальности. Универсальными являются такие семы, как «градация (интенсивность) эмоции», «эмоциональное состояние», «номинанты эмоций». Менее высок индекс актуальности у сем «характер протекания эмоции», «причина возникновения эмоции», «знаковость эмоции».

Семы, характерные для номинантов эмоций обоих языков, можно проклассифицировать на соответствующие группы. Примечательно, что в русском языке для структуры номинантов эмоций характерно значительно меньшее количество семных групп. Неактуальными (на лексикографическом уровне!) для структуры русских обозначений эмоций оказались следующие характерные для структуры немецких номинантов семные группы: «причинность появления эмоций», «условия возникновения эмоций и формы их протекания», «нечеткость, расплывчатость эмоций», «процессуальность, длительность протекания эмоций», «неконтролируемость эмоций», «внезапность появления эмоций», «оценка эмоций» и «сфера функционирования обозначающих их слов». Для немецких номинантов эмоций неактуальной оказалась только одна семная группа – «активность эмоций» (оживленный), характерная для смысловой структуры обозначений эмоций в русском языке.

Гипонимия является одним из типов парадигматических отношений семантики языка. Она представляет собой иерархическую организацию его элементов, основанную на родовидовых отношениях (Новиков 1990а, с. 104). Гипонимия определяется как языковое выражение концептуальной организации мира, основанного на инклюзивных отношениях, при котором видовые понятия включены в более общие – родовые. Первые из них отражают меньший круг предметов / явлений действительности по сравнению со вторыми.

В отличие от родственного ей явления – синонимии – гипонимия «базируется на отношении *несовместимости* – свойстве семантически однородных языковых единиц, соотносящихся с понятиями, объемы которых не пересекаются» (Гам же).

Отношение инклюзивности в языке предполагает наличие слов (гиперонимов и гипонимов), обладающих разными объемами содержания, разным количеством смысловых признаков. В семасиологии под гиперонимом принято понимать слово или словосочетание с родовым, более обобщенным значением по отношению к словам / словосочетаниям видового, менее обобщенного значения. Гипоним же соответственно представляет собой слово или словосочетание с более специальным, менее обобщенным значением по отношению к гиперониму.

Применительно к рассматриваемому материалу логично, по нашему мнению, предположить наличие статуса гиперонима у базисных номинаций эмоций, что в самом общем виде мы отмечали при характеристике способов их лексикографического определения. Для того чтобы подтвердить или же опровергнуть высказанную гипотезу, необходимо изучение метаязыка, с помощью которого дается объяснение значениям слов, номинирующих эмоции. Здесь имеется в виду обращение к лексикографическим источникам немецкого и русского языков, в частности к толковым словарям, интерпретирующим понятийный компонент ЭК. Располагая синонимическими рядами / парами номинантов эмоций, «стянутых», пользуясь формулировкой психолога Н.В. Витт (1983, с. 29–31; 1984, с. 56), в определенные «эмоциональные зоны», попытаемся верифицировать предположение о гиперонимическом статусе базисных и соответственно гипонимическом статусе вторичных ЭК.

Общезвестно и, кажется, общепризнанно в логике и лексикографии утверждение о том, что при определении сущности того / иного понятия следует использовать в качестве его толкования понятие,

имеющее более общее, более широкое значение и соответственно меньший объем. Данное требование, как показывает проведение специального анализа, в целом выполняется при толковании базисных номинаций эмоций в филологических словарях. Они дефинируются посредством широкозначных слов – *Gemuetszustand*, *Gefuehl* (*Angst*, *Freude*), *seelischer Schmerz* (*Trauer*); чувство (*радость*, *гнев*, *печаль*), ощущение (*радость*), состояние (*страх*, *гнев*, *печаль*), настроение (*печаль*). Исключение составляет всего лишь один концепт *Zorn*, дефинируемый иным способом – через синонимы *Unwille* и *Aerger* (DW 1989, S. 1787; DW 1992, S. 1470). Значения слов, выступающих здесь в качестве метаязыковых характеристик базисных концептов слов, максимально обобщены, недостаточно конкретны. По отношению к указанным выше широкозначным лексемам слова, номинирующие базисные эмоции, являются гипонимами. Для иллюстрации этого утверждения приведем словарные дефиниции отмеченных гиперонимов: «*Gemuetszustand* – jeweiliger emotionaler Zustand eines Menschen» (HWB 1984, Bd. 1, S. 464); «*Gefuehl* – Tastempfindung, Tastsinn; Empfindungsvermoegen, Empfindlichkeit, seelische Empfindung, innere Anteaufnahme» (DW 1986, S. 528); «*Schmerz* – peinigende seelische Empfindung» (DW 1992, S. 1131); «чувство – способность ощущать, испытывать, воспринимать внешние воздействия, а также само такое ощущение» (ТС 1995, с. 876); «состояние – физическое самочувствие, а также расположение духа, настроение» (ТС 1995, с. 740); «настроение – внутреннее душевное состояние» (ТС 1995, с. 387).

При сопоставлении семных наборов номинаций базисных концептов и слов, посредством которых они дефинируются, обнаруживаются количественные различия в самих определяемых лексемах и метаязыковых средствах. Количество сем, представленных в словах *Gemuetszustand*, *Gefuehl*, *Schmerz*, *чувство*, *состояние*, *настроение*, значительно меньше набора сем, содержащихся в словах, номинирующих базисные эмоции.

Далее проанализируем словарные дефиниции базисных и небазисных номинантов эмоций на предмет выявления в них гиперонимического и соответственно гипонимического статуса. С этой целью необходимо, как минимум, рассмотреть метаязыковые средства тех номинаций небазисных эмоций, которые входят в синонимические ряды базисных обозначений эмоций.

Начнем наш краткий анализ с номинанта эмоции *Angst*. Из синонимичных ему 10 слов 6 дается определение через *Angst*. К их числу относятся *Scheu*, *Beklemmung*, *Furcht*, *Schrecken*, *Schauder*, *Panik*. Ис-

ключение составляют *Schreck, Grauen, Grausen, Entsetzen*, дефинируемые, как правило, через широкозначные слова *Gemuetserschuetterung (Schreck), Reaktion (Entsetzen)* либо же через синонимию – *Grauen = Furcht, Entsetzen; Grausen = Entsetzen, Furcht*.

Слово *Freude* выступает в качестве метаязыкового средства при определении 8 лексем (из 12) – *Entzuecken, Gefallen, Genuss, Lust, Seligkeit, Spass, Vergnuegen, Wonne*. Исключение составляют *Behagen, Glueck, Glueckseligkeit, Hochgenuss*, значение которых раскрывается главным образом через широкозначные слова *Gefuehl (Behagen), Gemuetsverfassung (Glueck), Zustand (Glueckseligkeit)*. В одном случае значение номинанта эмоции описывается лексикографами через синонимию: *Hochgenuss = Genuss*.

Через номинант эмоции *Zorn* дается определение 6 синонимичным ему словам (из 10) – *Entruestung, Grimm, Ingrim, Jaehzorn, Koller, Wut*. При дефинировании номинантов эмоций *Aufgebrachtheit, Furor, Rage, Raserei* используются иные метаязыковые средства – слово *Wut*.

Слово *Trauer* выполняет функцию описания семантики всего 2 слов, обозначающих вторичные эмоции, входящие в одноименный синонимический ряд, – *Truebsal* и *Wehmut*. Большинству же лексем (6) из данного ряда даются дефиниции либо через широкозначные слова *Gemuetszustand (Melancholie, Schwermut), Stimmung (Traurigkeit), Schmerz (Kummer, Truebsal), Gemuetsverfassung (Truebsinn)*, либо через синонимы (*Gram*).

Четырем членам синонимического ряда *страх* лексикографическое определение в двух случаях дается через одноименный базисный номинант эмоции (*боязнь, ужас*). Два других вторичных номинанта эмоций дефинируются посредством широкозначного слова *чувство (опасение, трепет)*. Слово *отрада*, входящее в синонимическую пару *радость*, толкуется через соответствующий базисный номинант эмоции (*отрада = радость*).

Синонимический ряд *гнев* в русском языке имеет следующие толкования. Через базисный номинант *гнев* определяется значение 4 слов, обозначающих эмоции (*бешенство, возмущение, раздражение, ярость*). Лексема *негодование* дефинируется через синонимию (*возмущение, недовольство*).

И, наконец, рассмотрим способы лексикографической интерпретации слов, формирующих синонимический ряд с доминантой *печаль*. Она выступает метаязыковым средством описания семантики вторичных номинантов эмоций – *уныние, грусть*. Значение же слова *тоска* определяется через синонимию (*тревога, уныние*).

Проведенный анализ дефиниций слов, лингвистически оформляющих базисные и вторичные ЭК, подтверждает гипотезу о гиперонимическом лингвистическом статусе первых и соответственно гипонимическом статусе вторых. Слова, обозначающие базисные ЭК в обоих языках, дефинируются с помощью более широкозначных слов, являющихся по сути их гиперонимами. Объем их содержания минимален, что выражается в семном наборе, которым они располагают. Слова, вербализующие базисные концепты, правомерно при этом рассматривать как гипонимы по отношению к дефинируемым их словам (*Genueitszustand, Gefuehl, Schmerz, чувство, состояние, настроение*). Здесь следует указать на установленный факт их использования в качестве метаязыковых средств описания семантики некоторых слов, номинирующих также и *вторичные ЭК*, в особенности в немецком языке (*Schreck, Grauen, Grausen, Entsetzen, Hochgenuss, Melancholie, Schwermut, Traurigkeit, Kummer, Truebsal, Truebsinn, onасение, mpenem*). Большинство же номинаций вторичных эмоций определяется лексикографами через слова, обозначающие базисные эмоции как в немецком, так в особенности и в русском языках. Здесь мы считаем уместным привести некоторые статистические данные, подтверждающие сделанный вывод о гиперонимическом лингвистическом статусе слов, вербализующих базисные ЭК. В немецком языке из 38 (т.е. общего числа всех анализируемых слов, называющих вторичные эмоции) 22 слова дефинируются через базисные номинанты эмоций. Соответственно, в русском языке из 13 слов, обозначающих вторичные эмоции, 9 определяются через базисные номинанты эмоций.

Через синонимию даются дефиниции 8 номинантам вторичных эмоций в немецком языке и 2 – в русском. При этом следует отметить, что нередко синонимия как способ лексикографической репрезентации семантики анализируемых слов выступает совместно с широкозначными лексемами (*Stimmung, Gefuehl* и т.п.) и с лексемами, обозначающими базисные эмоции (см. *Beklemmung, Entsetzen* и др.).

Следовательно, использование метода компонентного анализа на основе словарных дефиниций, фиксирующих семантические признаки номинантов эмоций немецкого и русского языков, позволяет сделать утверждение о гиперонимическом статусе базисных номинаций (а значит, и соответствующих концептов) и гипонимическом статусе вторичных обозначений эмоций (и, следовательно, концептов). Полученные в ходе исследования когнитивной структуры ЭК данные, на наш взгляд, иллюстрируют иерархический принцип смысловой

организации такого фрагмента языковой картины мира, как человеческие эмоции.

Выводы

Для немецкой и русской концептосфер, представляющих собой сложное структурно-смысловое лексическое объединение, характерны все основные типы семантических отношений языка – синонимия, градация, антонимия и гипергипонимия.

Сопоставительный семантический анализ ядерной части ЭК – значений номинаций эмоций – позволяет сделать вывод об их строгой иерархической структурно-смысловой организации в эмоционально-когнитивном поле двух лингвокультур. Базисные номинации эмоций, судя по результатам компонентного дефиниционного анализа, выступают в функции метаязыка: с их помощью даются определения так называемым вторичным номинантам эмоций. Базисные обозначения эмоций имеют статус гиперонима по отношению к небазисным номинациям эмоций. Базисные номинанты эмоций сами выступают в функции гипонимов по отношению к ряду широкозначных языковых единиц (*Zustand, состояние, настроение* и т.п.), через которые им даются лексикографические определения. Номинации вторичных эмоций состоят в отношениях эквонимии или эквонимии-градации друг к другу внутри соответствующих синонимических рядов.

Одним из критериев лингвистической классификации ЭК на базисные и вторичные может быть такой тип семантических отношений, как гипергипонимия. Лингвистический статус гиперонима у определенного слова может служить основанием для его отнесения к классу базисных концептов.

Семный набор базисных номинаций эмоций в обоих языках по сравнению с семным набором вторичных номинаций более редуцирован, что объясняется их гиперонимическим статусом. Для значения номинантов вторичных эмоций свойственны многочисленные видовые семные характеристики, конкретизирующие означаемое.

Применение метода компонентного дефиниционного анализа показывает, что небазисные номинанты эмоций в русском языке по сравнению с немецким имеют значительно более свернутую семантическую запись. Для первого из них актуальны 9 семных групп, в то время как для второго – 14. Видовые семы «условия появления чувства, эмоции», «объект эмоции», «процессуальность, длительность переживания эмоции», «нечеткость психических переживаний», «осознан-

ность эмоций» не указаны в содержательной структуре номинантов эмоций русского языка. Сем, актуальных для значения русских, но не актуальных для значения немецких обозначений эмоций, не зафиксировано, что, вероятно, не в последнюю очередь может быть объяснено в целом более высоким уровнем толковых немецкоязычных словарей. Специфической особенностью содержательной структуры номинаций эмоций русского языка следует признать высокий индекс использования в качестве метаязыкового средства знаково-оценочной семы (*скорбно-озабоченное, нерадостное, счастливый* и т.п.), что, по всей видимости, объясняется психолого-культурной склонностью русского этноса, в частности такими его элитарными представителями, как лексикографы, к жанру «моралите».

Относительно высокая плотность синонимичности (идеографической) вербальной эмоциоконцептосферы обоих языков свидетельствует, на наш взгляд, о психологической, культурной ценности эмоций для немецкого и русского этносов. Количественное превосходство субстантивных синонимичных слов, обозначающих эмоции в немецком языке, обусловлено, по нашему мнению, его субстантивным строем.

Контрарная антонимичность рассматриваемой концептосферы немецкого и русского языков – ее не менее важное системное свойство. Слова, оязыковляющие концепты эмоций, как правило, противопоставляются друг другу опосредованно, через мезонимы, что говорит о плавности перехода одного означаемого в другое. Границы между ними, как показывают наши наблюдения, не непродолимы, а прозрачны.

3.4. Синтагматические связи базисных номинантов эмоций в немецком и русском языках

При определении и описании природы ЭК мы уже отмечали, что они не обязательно и не всегда существуют в четко выраженной языковой форме. Скрытость его существования обусловлена факторами разнопорядкового свойства – лингвистическими и экстралингвистическими. Научные исследования, например, в области уже ставшей традиционной контрастивной лингвистики, да и в целом многочисленные успешные кросскультурные изыскания ученых иллюстрируют своеобразие когнитивно-вербальной деятельности говорящих

разноэтностных языковых личностей. Примечателен и вполне объясним тот факт, что чаще при этом исследователями акцентировались и акцентируются ментальные различия носителей разных языков и культур, сделанные на основе описания *парадигматических* свойств материально эксплицированных смыслов. Приоритет в недавнем прошлом парадигматически ориентированных исследований, преследующих помимо всего прочего и задачу выявления специфических черт устройства языка vs. культуры, определенно обусловлен ранее существовавшими и во многом сохраняющимися по сегодняшний день исследовательскими методами, необходимым инструментарием в руках всякого ученого. Вероятно, в данном случае имела место гипертрофия сакральности, неприкосновенности уже апробированных методик, достаточно высокая степень технологичности которых, с одной стороны, несомненна, но с другой – объективно ограничена с позиций нынешних научных воззрений однополюсностью способов получения и анализа самого исследовательского материала. В качестве примера, иллюстрирующего этот тезис, можно привести чрезвычайно популярный, особенно в 50–70-е годы прошлого века, метод компонентного анализа, использование которого, безусловно, позволило установить семантические отношения внутри языка. Вместе с тем в последние 15–20 лет исследователи все чаще указывают на ограниченные возможности применения данного метода, предлагая параллельное использование других – синтагматически ориентированных – методик. Общеизвестен вывод ученых о том, что сами по себе употребления слов приводят к трансформации их семантики, к появлению у них новых значений и т.п.

Объективно обусловленное законами логики развития науки торжествующее шествие на протяжении десятилетий парадигматического подхода к объяснительному описанию феномена языка было «приостановлено» зародившейся в чреве психологии идеи его интерпретации в деятельностном, коммуникативном аспекте. Даже самый беглый ретроспективный взгляд на историю развития языковедческой отечественной и зарубежной мысли позволяет заметить в разное время (в особенности, начиная с начала XX столетия) то мерцающие искры, то все более разгорающиеся огни интеллектуального пристрастия, симпатии ряда ученых (А.А. Потебня, Ф. де Соссюр, поздний Г. Пауль) к нетрадиционному подходу (в отличие от «обычного», структурно-формального) в толковании «важнейшего средства человеческого общения». Формализм, свойственный целой эпохе разви-

тия человеческого знания, в том числе и гуманитарного (например, литературоведение, искусство и т.п.), при всех своих достоинствах «спрятал» подлинный объект собственного же изучения, подменил живые, пластичные, постоянно находящиеся в динамике развития фрагменты мира на своеобразные их эрзацы. Формальная технология интерпретации мира, способствующая созданию строгих логических классификаций ослепленной действительности и, безусловно, обогатившая инвентарь методологий, вместе с тем и омертвила живую ткань человеческой мысли, что вполне естественно в силу диалектичного характера законов, управляющих бытием. Изобретенные ею структурные методики, первоначально обещавшие вскрыть «черный ящик», во многом исчерпали, в частности в языковедении, свои возможности, ограничившись преимущественно констатацией лингвистических фактов, но никак не фундаментальным их толкованием. Несостоятельность изначально прогнозирующегося высокого коэффициента полезного действия потенций структурной, имманентной лингвистики объяснима прежде всего ее технологической невозможностью *функционального* изучения социальных феноменов. Действительно же серьезные исследования последних предполагают установление посредством применения *иных* – *динамичных* – технологий «деятельностных» качеств субстанций мира.

В лингвистике сегодняшнего дня, «уставшей» от традиционного парадигматического анализа языковых единиц, все более актуализируется осмысление их «релятивного» аспекта, т.е. тех отношений, в которые они вступают в *речи*. Для современного языковедения, в особенности таких его самостоятельных направлений, как культурологическая, этнографическая, социальная и психологическая лингвистика, теоретически ценными оказываются результаты анализа *речевых употреблений* языковых единиц в текстах, в особенности продуцируемых разноэтностными языковыми личностями; культурно релевантны сами синтагматические отношения, свойственные номинациям разных фрагментов мира. Выяснение интра- и экстралингвистических законов, управляющих употреблением различных языковых единиц в определенном (микро)тексте (в таких, например, пропозициях, как словосочетание, предложение), – достаточно сложная исследовательская задача, успешное решение которой может обнаружить устройство сцепления вербально оформленных смыслов в когнитивно-языковой деятельности человека, увидеть особенности ценностных ориентаций *Homo loquens* в диахронической плоскости его культуры.

Заметим, что основные идеи, кажется, достаточно четко сформулированные современными исследователями, приверженцами функ-

ционального, в целом коммуникативного подхода к изучению языка, на самом деле можно назвать своеобразным «вторичным текстом», первоначальный вариант которого был рожден задолго до признания за динамической лингвистикой статуса доминанты. Достаточно вспомнить глубокие, подчас эмпирически не доказуемые в силу отсутствия в то время конкретных исследовательских «техник», но удивительно интуитивно верно подмеченные, позже успешно верифицированные, имевшие впоследствии свое реальное воплощение идеи В. фон Гумбольдта, Х. Штейнталя, их многочисленных учеников, чтобы ясно представить извилистые закоулки человеческой мысли, проложившие путь к вершинам человеческого знания, облаченного в языковые формы, более того, как правило, обреченного на вербализацию.

Описание смены приоритетов в лингвистике не совсем строгим кодифицированным научным языком – метафорой – в данной части книги не случайно, поскольку автор этих строк готовит, если так можно выразиться, читателя к совершению экскурсии в царство речевых тропов (вторичных, косвенных обозначений), применение которых чрезвычайно актуально для номинации фрагментов, особенно эмоционального мира ЭК, являющихся объектом нашего исследования. Кроме того, думается, активное использование метафор простительно, особенно в тех случаях, когда речь идет об анализе трудно иллюстрируемых, скрытых от невооруженного глаза социальных явлений. К ним мы вправе причислить абстрактные, визуально и тактильно не воспринимаемые человеком эмоциональные субстанции.

В ходе дальнейшего лингвокультурологического рассмотрения ЭК мы считаем необходимым анализ коммуникативного поведения слов, их номинирующих. Бурно развивающаяся в последние два десятилетия коммуникативная лингвистика со всей очевидностью иллюстрирует преимущества исследования слова в его употреблении. Именно в речи, в текстах раскрывается сущность языковых единиц, за которыми скрыты определенные смыслы. В данной части работы мы сосредоточим внимание на валентностных (сочетательных) возможностях слов, обозначающих интересующие нас концепты. Изучение валентностных способностей номинантов эмоций, в особенности их лексико-семантической сочетаемости, может позволить, по нашему мнению, более глубоко осмыслить, «расшифровать» сущность ЭК, средой обитания которых являются их речепотребления, т.е. тексты. При этом к приоритетным мы относим, во-первых, классические ху-

дожественные тексты, авторами которых являются элитарные языковые личности, наиболее ясно видящие внутренние связи между различными понятийными сферами, и, во-вторых, пословично-поговорочные высказывания, наиболее ярко и очевидно иллюстрирующие народное понимание сущности эмоционального феномена.

Синтаксическая и лексико-семантическая валентность номинантов эмоций

Под валентностью в лингвистике принято понимать способность слов вступать в синтаксические связи с другими элементами языка. В западноевропейском языкознании валентность нередко толкуют в узком понимании – как сочетательные способности *глагола*. В таком понимании валентность представляет собой число актантов, которые может присоединить к себе данная часть речи. Однако в современной лингвистике валентность имеет более широкую интерпретацию. Под ней понимают общие сочетательные способности слов (см.: Королев 1990, с. 79). С.М. Панкратова предлагает следующую дефиницию этому феномену: «Под валентностью понимается способность номинативных единиц языка, содержащих в семантической структуре своего значения релятивные семы, прогнозировать свое семантическое и синтаксическое окружение, т.е. способность ряда номинативных единиц на основе специфики своего значения предопределять семантические и синтаксические структуры зависимых от них единиц» (Панкратова 1991, с. 73. – Цит. по: Буйленко 1993, с. 3).

Классификация валентности на синтаксическую (внешнюю) и лексико-семантическую (внутреннюю) в известном смысле условна, поскольку в несмоделированном виде обе представляют единую сущность одного и того же языкового явления. Отсюда и предложение некоторых ученых более активно использовать термин «семантико-синтаксические свойства слов» (Караулов 1981, с. 128). Здесь можно также вспомнить различного типа лингвистические поля, например, лексико-синтаксические, дистрибутивно-лексические и др., существование которых подчеркивает условность выделения синтаксической и лексико-семантической сочетаемостей в автономные виды.

Рассматривая одно из центральных понятий семасиологии и лексикографии – семантическую связь, Ю.Н. Караулов (1981, с. 234) понимает ее как *синтагматическую* совместимость слов. Тесная связь синтаксической и лексико-семантической валентностей отмечается также и во многих других работах (см.: Апресян 1995).

Считается, что синтаксическая сочетаемость – это грамматически правильное употребление слова, «выбор падежной или предложно-падежной формы при том или ином слове» (Москвин 1993, с. 3).

Лексико-семантическая сочетаемость слов (термин был введен еще Л.В. Щербой) понимается как содержательное наполнение языковых форм, могущих употребляться друг с другом в речи. Общеизвестно, что определенное слово не может сочетаться со всяким другим словом; есть некоторые ограничения в его валентностных возможностях. Данные ограничения могут быть как языковыми, так и неязыковыми. Первые из них есть правила синтаксиса конкретного языка; вторые же вытекают из самой природы обозначаемых денотатов.

Выявление сущности ЭК, как указывалось выше, предполагает установление сочетательных возможностей обозначающих их слов. Отсюда следует необходимость анализа употребления номинантов эмоций в немецкой и русской (преимущественно художественной) речи. Материалом для лингвокультурологического анализа послужили прозаические и поэтические произведения наиболее известных 30 немецких и 22 русских авторов XVIII–XX вв.

Мы выявили, с одной стороны, синтаксические, а с другой – лексико-семантические валентности номинантов эмоций. Остановимся вначале на синтаксической валентности интересующих нас лексем. Номинанты эмоций, как показывают наблюдения над их употреблением в речи (высказываниях), выступают как в немецком, так и русском языках преимущественно в функции объекта действия, т.е. прямого или косвенного дополнения (*die Angst ausstehen, die Trauer spueren*, переживать радость, познать тоску, *den Zorn gegen j-n. empfinden, vor Angst weinen*, обезуметь от радости, заплакать от страха и т.д.). Номинанты эмоций при этом управляемы глаголами в обоих языках, что связано со статусом детерминанты последних в предложении. Синтаксическое отношение предикативности формально *всегда* выражено в немецком языке, что, как известно, составляет специфику его грамматики и, как правило, оно достаточно четко эксплицировано и в русском языке.

Номинанты эмоций нередко выступают в функции субъекта действия. В этом случае они, как правило, имеют метафорическое употребление: а) олицетворение или б) овеществление эмоций, например: а) «*Entsetzen packt mich*» [C. Brentano], «*Und immer tiefer frass sich das Entsetzen neben meiner Krankheit in mir fest*» [H. Boell], «Страх берет меня за руку и ведет...» [О. Мандельштам], «Грусть, которая душит меня...» [К. Чуковский]; б) «*Panisches Entsetzen flackerte in seinen*

Augen auf» [P. Evertier], «Только легкая грусть, словно дымкой, обволакивала его сердце...» [М. Шолохов] и т.п.

Глаголы, сочетающиеся с номинантами эмоций, обычно либо двухвалентны (packen, laehmen, steigern, treiben, vermindern, erfassen, охватить, терзать, душить, сковать и др.), либо одновалентны (sich steigern, wachsen, sein, ruhen, abfallen, aufflackern, кончиться, уйти, войти, исчезнуть, поселиться и др.). Сочетания номинантов эмоций с глаголами представляют собой определенные микротексты. В них можно выделить *облигаторные* актанты – номинанты эмоций и сочетающиеся с ними глагольные лексемы, например: die Scheu waechst, радость исчезла.

Пользуясь терминологией Ч. Филмора, можно указать на других пассивных «участников» данных микротекстов – объект, инструмент, средство, место совершения действия и т.п. Так, транзитивные глаголы как в немецком, так и в русском языке требуют не только названия субъекта, продуцента действия, но и объекта, на которого оно направлено. В этом случае объект как «участник» ситуации имеет также статус облигаторного актанта. Облигаторными актантами в глагольных сочетаниях номинантов эмоций, таким образом, выступают субъект действия (номинант эмоции) и объект, на который направлено само действие: der Schrecken ergriff Paul; ужас охватил Павла и т.п.

Наряду с облигаторными легко обнаруживаются и факультативные актанты; их наличие определяется валентностной ступенчатостью глаголов. В качестве факультативных могут выступать, например, локальные и темпоральные актанты: «Und *in ihren Augen* war eine furchtbare Angst» [H. Boell]; «И грусть на *дне старинной раны* зашевелилась, как змей» [Ю. Лермонтов]; «Der Mann hatte *staeendig* Angst» [E.M. Remarque]; «Er stand *immer* in seiner Furcht» [R.M. Rilke]; «С тех пор она *постоянно* испытывала чувство страха» [М. Горький] и т.п.

В отношении синтаксической валентности номинанты эмоций не обязательно грамматически управляемы; они сами могут быть детерминантами в сочетании с другими частями речи, например, с прилагательными и причастиями, выступающими в предложении в атрибутивной функции: toedliche Melancholie, erhabene Wonne, ueberstandene Angst, durchdringende Trauer, большой страх, чистая радость, страшный гнев, зеленая тоска, возрастающее бешенство и т.п.); местоимениями (в частности, притяжательными – meine Trauer, его гнев и т.п.), именами существительными, употребляемыми в гени-

тивной конструкции (die Schrecken der Freude, ужасы любви), а также, как выше отмечалось, в сочетании с глаголами (Die Wut machte ihn blind; ужас сковал его движения и т.п.).

Наиболее распространены в немецком языке следующие синтаксические модели, главными элементами которых являются номинанты эмоций, глаголы и нередко прилагательные:

1. N(E)2, N(E)2+V. (z. B.: «Neid und Zorn fuehlen» [R.M. Rilke]).
2. Sub.1+V.+Pr.+N(E)2+Sub.2 (z.B.: «Die Freundin hatte vor Angst keine Sprache mehr» [L. Tieck]).
3. Sub.2+V.+Pr.+Sub.2+Sub.1+N(E)2 (z.B.: «Eine Stunde lag in dem Pfarrzimmer eine Wolke von Traurigkeit» [R. Musil]).
4. V.+N(E)2 (z. B.: «Gab 's wenig Lust, ist auch der Gram gering» [B. Brecht]).
5. V.+Sub.1+Pr.+N(E)2 («Es war keine Spur von Genuss oder Genugtuung dabei» [R.M. Rilke]).
6. V.+Pron.1+N(E)2+Sub.2 (z. B.: «Aber alles in allem fuehlte er das Behagen des Lichts» [R. Musil]).
7. V.+Pron.2+N(E)2 (z. B.: «Und es machte ihm Angst» [R. Musil]).
8. Ad.1+Sub.1+Sub.2+N(E)2+V.+Adv. (z. B. «Die letzte Spur jenes Glueckes der Trauer war nun verschwunden» [H. Boell]).
9. Adv.+V.+Pron.1+Pr.+N(E)2 (z. B.: «Und dann war ich immer in Angst» [L. Tieck]).
10. Sub.1+Pr.+N(E)2+V.+Pron.2+Sub.2 (z. B.: «...Und eine Woge von Freude hob ihr das Herz» [M. Bruns]).
11. Pron.1+V.+Pr.+N(E)2+Part. (z. B.: «Ach, ich bin mit Angst umfassen» [C. Brentano]).
12. N(E)1+V. (z. B.: «Die Angst wuchs» [R.M. Rilke]).
13. N(E)1+V.+Adv.+Pr.+Pron.2 (z. B.: «Die Wut glomm langsam in ihm hoch» [Voelkner B.]).
14. Ad.1+N(E)1+V.+Pr.+Pron.2+Sub.2 (z. B.: «Panisches Entsetzen flackerte in seinen Augen auf» [P. Evertier]).
15. Ad.1+N(E)1+Pr.+Sub.2+V.+Pron.2 (z. B.: «Eine rasende Wut gegen den Bengel Rader fasst sie...» [H. Fallada]).
16. N(E)1+Pr.+Pron.2+V. (z. B.: «O wie die Wut in mir tobt!» [L. Tieck]).
17. Adv.+V.+Pron.2+N(E)1 (z. B.: «Dann packte mich die Wut» [R.M. Rilke]).
18. Pron.2+V.+Ad.1+Ad.1+Part.+N(E)1 (z. B.: «Sie packt ploetzlich feige, zahneklappernde Angst...» [H. Fallada]).
19. Pr.+Sub.2+V.+N(E)1 (z. B.: «In den Augen war Angst» [H. Boell]).

В немецком языке модели под №1–11 можно квалифицировать с синтаксической точки зрения как «пассивные», поскольку в них слова, обозначающие эмоции, не выступают непосредственно в функции субъекта действия. При этом очевидно, что в ряде случаев (№10, 11) номинанты эмоций, несмотря на их употребление в синтаксической функции подчинения, являются семантически доминирующими в соответствующих предложениях. Статус семантической доминанты номинантов эмоций в данном случае детерминирован *психологически* (ср.: «Ach, ich bin mit Angst umfassen» [C. Brentano], с одной стороны, и «Neid und Zorn fuehlen» [R.M. Rilke] – с другой). Психологическим субъектом здесь выступают номинанты эмоций. Следовательно, мы можем заключить, что в ряде случаев в немецком языке номинанты эмоций могут занимать промежуточное положение между формально достаточно четко выраженной их объектностью (психологической пассивностью) и «скрытой» субъектностью (психологической активностью).

В следующую группу синтаксических моделей (№12–19) входят употребления обозначений эмоций в качестве субъектов действий. Они как формально (синтаксически), так и семантически (психологически) оказываются доминантами в соответствующих предложениях (например, Dann packte mich die Wut).

В русском языке к числу наиболее регулярных относятся следующие синтаксические модели:

1. V.+N(E)2 («Самое трудное, наверное, – научиться подавлять свой страх» [П. Проскурин]).
2. Pron.1+V.+N(E)2 («Я люблю страх» [О. Мандельштам]).
3. Adv.+V.+Sub.1+N(E)2 («...Может быть, там хранятся наши запасы доброты, радости?» [Д. Гранин]).
4. Pr.+Sub.2+V.+Sub.1+N(E)2 («Массивная нижняя челюсть его мелко задрожала, на глазах вскипели слезы ярости...» [М. Шолохов]).
5. Pron.1+V.+Pr.+N(E)2, N(E)2 («Он весь дрожал в гневе и бешенстве...» [В. Быков]).
6. V.+Pron.1+N(E)2 (*«...И загоралась она радостью...» [А. Блок]).
7. Sub.1+V.+Pr.+N(E)2 («Юрий Андреевич обезумел от радости» [Б. Пастернак]).
8. N(E)1+V («Сомнения и страхи кончились» [П. Проскурин]).
9. N(E)1+V.+Pron.2 («Страх сковал его...» [Д. Гранин]).
10. N(E)1+Pron.2+V.+Sub.2 («А тоска мою выпила кровь» [А. Ахматова]).

11. Ad.1+N(E)1+V.+Pr.+Pron.2 (*«Злая печаль поселилась во мне» [Н. Никитин]).

12. Adv.+V.+N(E)1 («Высоко пылает ярость, даль кровавая пуста...» [А. Блок]).

13. Pr.+Ad.2+Ad.2+Sub.2+V.+N(E)1 («...И в огромных, расширенных зрачках его плеснулось бешенство, на углах губ вскипела пена» [М. Шолохов]).

Примечание 1. Здесь и далее знаком * отмечены примеры, приведенные В.П. Москвиным в книге «Семантика и синтаксис русского глагола».

Примечание 2. Для удобства изложения материала и его чтения мы используем следующие сокращения: N(E)1 – номинант эмоции в именительном падеже; N(E)2 – номинант эмоции в косвенном падеже; Sub.1 – существительное в именительном падеже; Sub.2 – существительное в косвенном падеже; V. – глагол; Ad.1 – прилагательное в именительном падеже; Ad.2 – прилагательное в косвенном падеже; Pron.1 – местоимение в именительном падеже; Pron.2 – местоимение в косвенном падеже; Adv. – наречие; Part. – причастие, деепричастие; Pr. – предлог.

В русском языке так же, как и в немецком, мы можем выделить три группы синтаксических моделей, в основу классификации которых положены (преимущественно) формальный (т.е. синтаксический) и семантический (психологический) принципы.

«Пассивными» являются модели под № 1–4 («Я люблю страх» [О. Мандельштам]), «активными» – модели № 8–13 («А тоска мою выпила кровь...» [А. Ахматова]); промежуточный статус имеют так называемые «активоидные» модели № 5–7 (*«...И загоралась она радостью» [А. Блок]; «Юрий Андреевич обезумел от радости» [Б. Пастернак]).

Указанные выше синтаксические модели, как видим, в обоих языках принципиально совпадают. Данный факт объясняется типологическими сходствами строения немецкого и русского языков – представителями индоевропейской языковой семьи. Помимо отмеченных здесь моделей, фиксирующих синтаксические отношения номинантов эмоций в речи, есть также и менее регулярно встречаемые более частные модели (нередко субмодели).

При классификации синтаксических моделей, компонентами которых являются выступающие в разных синтаксических функциях обозначения эмоций, ее автором volens nonvolens использовались помимо формальных также и семантические критерии, что обусловлено содержательным единством языкового феномена «валентность».

Ее типология, как мы уже ранее отмечали, в известном смысле условна; она создана и применяется учеными при решении конкретных локальных лингвистических задач с целью более строгого разграничения сторон / аспектов одной и той же сущности.

Для наших исследовательских задач, несомненно, более ценна лексико-семантическая наполняемость выявленных синтаксических моделей. Анализ лексико-семантических валентностей слов, обозначающих ЭК, обещает пролить свет на сущностные характеристики последних. Содержание пребывающих в культурно-языковой среде концептов, в частности (и, может быть, в особенности!) ЭК, принципиально не исчерпывается их самими строгими полными научными дефинициями, фиксирующими, как правило, лишь *основные* признаки, смысловой объем рассматриваемого явления. Это обусловлено многомерностью, максимальной смысловой нагруженностью, высокой степенью ассоциативности, онтологической диффузностью такого лингвосоциального феномена, как концепт. ЭК представляют собой *динамичные* (не застывшие, а напротив, находящиеся в постоянном развитии!) когнитивные образования; каждый из них имеет свою разноформатную «этнобиографию» – время и место рождения, среду пребывания (культура, социум, микросоциум). Лингвокультурная среда формирует концепты, подвергает их во временном пространстве многочисленным структурно-содержательным трансформациям, поиск причин которых принципиально возможен в рамках языковедческих и смежных с ними наук.

Фундаментальное изучение ЭК, как отмечалось ранее, чрезвычайно сложно в силу целого ряда обстоятельств. Во-первых, концепты как результат и условие деятельности языкомышления могут иметь разные формы своей вербальной экспликации (разноуровневые языковые способы их выражения). Во-вторых, концепты «живут» в *реальной речи*; могут быть «рассеяны» в конкретных речевых произведениях, созданных Ното loquens, что затрудняет их исследование. Концепты в нашем понимании – *дискурсные* единицы и как сложные смысловые образования *ситуативно* обусловлены. Отсюда следует необходимость анализа номинирующих их слов в *речевых (собственно неязыковых) высказываниях*, продуцируемых разными языковыми личностями в разное время. Таким образом, принципиально важным является выяснение вопроса соупотребления номинантов эмоций с другими лексемами языка, установление лексико-семантических валентностей, потенциальных способностей исследуемых слов.

Во многих работах, посвященных проблеме анализа синтактико-семантических правил сочетаний слов друг с другом, указывается, что регулярную встречаемость языковых единиц в речи следует интерпретировать как факт их определенной смысловой близости. Иначе говоря, употребление разных лексических единиц в свободных и связанных словосочетаниях свидетельствует об их семантической совместимости, в другой семасиологической терминологии – согласовании или конгруэнтности (Шехтман 1988). Обращение же к анализу семных наборов (словарным дефинициям) номинантов эмоций и слов, сочетающихся с ними, далеко не всегда обнаруживает *регулярное* повторение одних и тех же семантических признаков. Этот факт мы объясняем высокой степенью абстрактности лексем, обозначающих ЭК.

Анализ многочисленных употреблений обозначений эмоций в речи позволяет заметить их активное использование в качестве *метафор* (в расширительном толковании термина) в художественном и обиходном дискурсах.

В филологических словарях, предлагающих, в частности, толкование глагольных лексем, достаточно часто сочетающихся с интересующими нас лексемами, указывается на их не прямое (метафорическое) использование в речи, например, *durchrieseln* (von *Gemuetsbewegungen* o.ae.) – j-n. befallen, ploetzlich erfuehlen (DW 1992, S. 378). Нередко как глагольные, так и субстантивные лексемы при этом сопровождаются специальными лексикографическими маркерами, например, fig., перен.; «*kochen* – (fig.) er kochte vor *Zorn*» (DW 1992, S. 759); «*aufwallen* – *aufkochen*, (fig.) ploetzlich aufsteigen (von *Gefuehlen*); *der Zorn* wallte in ihm auf; (fig.) in einer Aufwallung von Freude, von Zorn» (DW 1992, S. 167); «*кипеть* (перен. о сильном волнении): 1) кровь кипит; 2) проявлять к.-л. чувство, волнение; кипеть возмущением, злобой» (ТС 1995, с. 268).

Сказанное выше делает необходимым исследование проблемы метафоризации номинаций эмоций в немецком и русском языках. В следующем подразделе мы проведем сопоставительное изучение метафорического употребления «параллельных» номинантов эмоций в немецком и русском языках. Исследование вопроса метафоризации номинаций эмоций в высшей степени актуально, поскольку, во-первых, в этом случае становится возможным установление определенных лингвистических фактов на материале разных языков и, во-вторых, что, по нашему мнению, еще более важно применительно к задачам этой книги, становится вполне реальным на основании конкретного филологического (в том числе и метафорического) материа-

ла культурологический анализ ЭК, существующих в немецкой и русской культурах.

Номинанты эмоций в художественном тексте

Рассмотрим вышеобозначенную проблему с самой общей характеристики метафоры. Следует указать, что в современной филологии существует труднообозримая научная литература, посвященная данному лингвистическому феномену. Уже с античных времен (Древняя Греция, Древняя Индия) метафора являлась излюбленным объектом научных изысканий ученых. Традиционно повышенный интерес к изучению метафоры, не угасающий и в современной науке, причем не только в филологии, но и философии, культурологии, этнографии, психологии, социологии, объясняется ее культурной релевантностью для любого этноса. Культурная релевантность метафоры как лингвокогнитивного феномена заключается в ее полифункциональной природе.

Сущность метафоры как всякого социального явления следует раскрыть через ее определение, а затем функциональные характеристики. Под метафорой (от греч. *metaphora* – перенос) понимают «троп или механизм речи, обозначающий некоторый класс предметов, явлений и т.п., для характеристики или наименования объекта, входящего в другой класс, либо наименования другого класса объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении» (Арутюнова 1990а, с. 296).

В ее основе лежит всегда какое-либо сравнение, определенное формальное или функциональное сходство между различными фрагментами действительности. Человеческое сознание, фиксируя подобного рода сходства, как бы уподобляет один предмет, его признаки, в целом одно явление другому предмету, явлению. На основании такой предметно-ментальной операции, как сопоставление по аналогии, человек переносит наименование одного предмета на другой. Плененное сплошными ассоциациями, человеческое языкомышление в силу его знаковости *ad hoc* спровоцировано поиском аналогий между фрагментами внутри «предметного» мира, с одной стороны, и фрагментами мира абстракций – с другой. Появлению в нашем языке лексики абстрактно предшествует наречение объектов реального, перцептивного (т.е. визуально, тактильно воспринимаемого человеком) мира. Общеизвестно, что предметные представления примитивного человека первичны; абстрактное же мышление, оязыковленное соответствующими знаками, – вторично. Рождение абстракций, опе-

рирование ими как вербализованными категориями человеческим языковым сознанием по своей сути в основе имеет «мир предметов», эволюционное осмысление которых приводит Homo sapiens к открытию в нем многочисленных общих черт, сходств. Первичностью наречения предметного мира как раз и объясняется факт экстраполяции уже «готовых» языковых единиц на абстрактные явления человеческого бытия. Следовательно, можно утверждать, что наименования абстракций представляют собой свершившиеся (нередко в глубокой древности и потому забытые нами, стерты со временем в нашей коллективной семантической памяти) переносы с фрагментов «ословленного» мира.

Важнейшими функциями метафоры, этого сложного *лингвокогнитивного* феномена, является, по общему признанию современных ученых, *номинативная* и *эвристическая* (познавательная) функции (см.: Арутюнова 1990б, с. 5–7; Барт 1994, с. 462–518; Серл 1990, с. 310–312; Bergmann 1991, р. 485–488; Bayer 1994, S. 119–122; Martinich 1991, р. 509–511 и др.). Уместно в этой связи привести на редкость удачное образное сравнение рассматриваемого явления испанского философа Х. Ортега-и-Гассета (1990, с. 72): «...Метафора удлинняет “руку” интеллекта; ее роль ... может быть уподоблена удочке или винтовке».

Суммарное выражение смысла многих суждений современных ученых и исследователей прошлого о функциональной природе метафоры, в основе которой всегда лежит сопоставление человеческим сознанием объектов мира, можно свести к ставшей крылатой фразе А.А. Потебни (1997, с. 76): «Самый процесс познания есть процесс сравнения».

Следует, однако, заметить, что в лингвистике иногда высказывается в той / иной модальности (нередко даже императивно) мнение, ставящее под сомнение когнитивные и номинативные возможности *сегодняшней* метафоры, т.е. метафоры, используемой в *современной* лингвокультурной среде. Наиболее радикально эта позиция высказана в одной из работ Д. Дэвидсона, редуцирующей функции метафоры исключительно к декоративной образности, отказывающего ей в номинативных и, как мы понимаем, эвристических возможностях. По его мнению, метафора не имеет специального значения (*special meaning*), ранее не выраженного обычным (*usual*) словом (Davidson 1991, р. 496). Получается, что метафора дублирует собой уже существующие в языке номинации (прямые) и, следовательно, не открывает какого-либо нового знания. Мнение о функциональной избы-

точности метафоры как вербального знака мы не можем признать верным, достаточно научно обоснованным по следующим соображениям.

Метафорические описания фрагментов мира, в нашем понимании, несут в себе дополнительные смыслы, не обязательно идентичные значениям, содержащимся в уже существующих в языке прямых номинациях. Согласно закону А. Мартине, язык есть *экономная* семиотическая система. Следовательно, трудно предположить, чтобы он изобиловал огромнейшим числом не прямых обозначений (уместно вспомнить известный афоризм: «Язык – это кладбище метафор»), к которым относится сама метафора. Метафорические описания функционально необходимы для коммуникативной и эвристической деятельности людей в силу их эстетических и познавательных возможностей. Освоение мира строится на вычленении в его содержании (объектах) формальных и функциональных сходств, обнаружение и соответствующее оязыковление которых позволяет человеческому мышлению рефлексировать бытие. Освоенный, в том числе и метафорой, мир сам по себе являет собой некую автономную, довлеющую над нашим языковым сознанием субстанцию, психологически воспринимаемую его носителями как нечто оторвавшееся от предметной действительности. Метафора, сумевшая «схватить» рассеянные в культуре смыслы, фиксирует собой нелегко вычленимые и трудно номинируемые обычными языковыми техниками (прямые обозначения) *отношения* между фрагментами мира. Метафора порождает, таким образом, определенные, вероятно, не всегда изначально четко рефлекслируемые, смыслы, которые при определенных социокультурных обстоятельствах (например, их релевантность для этноса на том / ином его историческом этапе развития) могут номинироваться отдельными лексемами.

Рассуждения в стиле *a la Davidson* можно считать, как нам кажется, методологически не совсем корректными, неадекватно интерпретирующими лингвокультурное бытие, представляющее собой в реальности функциональную целостность. Его исследование должно учитывать различные способы освоения мира, фрагменты которого системно обусловлены, целостны. Помимо «кодифицированного» научного способа распредмечивания действительности, использующего жестко очерченные категории, определенный, четко дефинируемый терминологический аппарат, окружающий нас и живущий в нас мир познается не менее глубоко и другим способом – искусством, в частности словесным искусством. Последнее нередко характеризуется «как

средство *интуитивно-художественного* познания мира» (см.: Новиков 1990 б, с. 22–23, курсив мой. – Н.К.), но оно принципиально не менее эффективно в открытии новых смыслов культуры. Результативность освоения действительности, в частности через словесное искусство, кажущееся как способ ее распределения исключительно субъективным методом, более интуитивно всматривающимся в мир по сравнению с «чистой» наукой, утилитарная значимость которой из-за высокой технологичности (естественные и точные научные дисциплины) психологически более заметна, объективно ускользает из поля зрения человека в наш технократический век, что и приводит в конечном счете к иллюзии могущества строгой науки как единственного способа понимания и толкования социальных фактов.

Попутно заметим, что в современной социальной лингвистике некоторыми учеными обсуждается вопрос будущего языка – языка послеписьменной эры, содержание которой в значительной степени принципиально составят технолекты, появившиеся в недавнем прошлом как результат бурного развития компьютерных технологий. По мнению социолингвиста В.И. Карасика, интернационализация технолектов – четко выраженная тенденция сегодняшнего развития языка, в частности функционального стиля науки и технологии (Карасик 1997а, с. 153). Однако данный процесс, если мы правильно понимаем суждения В.И. Карасика, не лишит язык его художественной функции: «По-видимому, тексты на родном языке будут преимущественно представлять эстетическую ценность» (Там же). При этом авторитетно указывается, что язык претерпит определенные изменения. Так, наряду с возможным упрощением языковых средств общения, возможно расширение способов выражения эмоциональности и т.д. (Там же).

Размышления автора приведенной цитаты косвенно говорят о сохранении языком будущего – языком постписьменной эры – функций, которые ему присущи сегодня. Номинативная, экспрессивная, познавательная функции – сущность вербального языка. Со временем могут изменяться средства, способы их реализации; более того, можно даже прогнозировать редуцирование *традиционных языковых* средств, способов, эстетически и художественно оформляющих речь по причине ее технологизации. При этом с большой долей смелости можно предположить использование в ней компенсирующих дефицит экспрессии иных, возможно, нетрадиционных художественных и эстетических средств и способов в языке будущего. Выразительность, образность языка могут видоизменяться в своем оформлении, но

непременно сохранятся в нем, поскольку «говорящий человек» – это прежде всего «человек психический». Цивилизацию, культуру «держит» не только *ratio* человека, но и его *emotio*. Тем самым мы хотим сказать, что, несмотря на самые различные культурные изменения, язык, функционирующий в различных сферах и средах коммуникации, сохранит свою образную основу. Языковая экспрессия будет эксплицироваться наряду с новыми компьютерными, биоэлектронными семиотиками, также и *традиционными*, т.е. символическими и метафорическими, способами. Его образные средства могут быть во многом специфичны, вероятно, значительно отличны от существовавших в прошлом и существующих ныне.

Следует согласиться с прогнозом В.И. Карасика о все более усиливающейся (уже имеющей место и сегодня) дифференциации сред, сфер использования языка и все более дискурсно «привязанном» употреблении языковых единиц, в том числе и образных. Данный лингвокультурный процесс мы квалифицируем как следствие усложнения жизненной практики, самих реалий, в которых оказывается и которые созидает человек.

Исследование языка на разных этапах его развития обнаруживает, с одной стороны, постоянное использование давно существующих метафор, а с другой – появление новых. Рождение в языке свежих метафор обусловлено культурными трансформациями, происходящими во времени в определенном социально-историческом пространстве. Как следствие технократических тенденций развития современной цивилизации должны рассматриваться установленные учеными лингвистические факты, фиксирующие изменения в *мотивации* метафорических описаний. Так, в работе В.П. Москвина, предложившего различные классификации описываемого феномена, одной из групп метафор является так называемая «машинная» метафора (Москвин 1997, с. 23). Вероятно, появление и активное использование этого типа метафоры в современном языке вряд ли можно объяснить только ее «декоративными» свойствами. Изобретение «машинной» метафоры – плод когнитивных действий человека, результат его пребывания в ярко выраженной технически ориентированной лингвокультурной среде.

Результаты познавательной деятельности человека, осуществляемой с помощью такой семиотической системы, как язык, знаково фиксируемы. При этом, как известно, сама знаковая фиксация может быть различной. Принято, в частности, структурное выделение лексемных, несколькословных и пропозициональных (предложных) ти-

пов номинации. Метафорой как несколькословным типом номинации, обладающим в силу своих структурных свойств рядом номинативных преимуществ перед лексемными обозначениями (по крайней мере, в европейских языках), нередко эксплицируются смыслы, оязыковление которых в том / ином языке затруднительно обычными лексическими единицами в силу его ограничительных номинативных техник. Предназначение номинативной деятельности языка состоит в том, чтобы «материально» зафиксировать тот / иной смысл, пополнить вокабуляр, которым пользуется человек, в том числе и непрямые номинации. Последние часто оказываются более подходящими языковыми средствами по сравнению с прямыми обозначениями, что объясняется, по мнению А.А. Уфимцевой, их большей гибкостью в речевом использовании. *«Аппарат косвенной номинации – наиболее гибкий и универсальный инструмент номинативной деятельности, посредством которого человек может не только обозначать новые стороны или новые аспекты рассмотрения фрагментов действительности, но и выражать тонкие и мельчайшие их подробности»* (Уфимцева 1977, с. 92, курсив мой. – Н.К.).

Помимо номинативной и эвристической функций метафора художественно (эстетически) оформляет нашу речь. Художественная функция метафоры всегда признавалась и признается абсолютно всеми ее исследователями. Использование метафоры как художественного средства объясняется психологией рождения и восприятия смыслов. «Предмет», показанный говорящим / пишущим в необычной вербальной форме, в необычном ракурсе – нетрадиционным способом, fasciniрует слушающего / читающего в силу «открытой» при этом продуцентом речи новизны взгляда на саму номинируемую «вещь» в системе ее отношений, связей с другими «вещами».

Ученый-универсал – французский лингвист, литературовед, культуролог и семиолог – Р. Барт, анализирующий в статье «Удовольствие от текста» средства речевой экспрессивизации, ведущие к эстетическим переживаниям вербального знака, и борющийся против непростительно активного использования языка стереотипов в человеческой коммуникации, образно и, думается, убедительно высказал свое мнение о психологической релевантности применения такого важнейшего типа косвенной номинации, как метафора: «Стереотип – это повторяющееся слово, чуждое всякой магии, всякому энтузиазму, слово, воображающее себя чем-то природным, так, словно в силу неведомого чуда оно при всех обстоятельствах равно самому себе, словно имитация уже не считается имитацией; это беззастенчивое

слово, претендующее на нерушимость и не подозревающее о своей назойливости. <...> Недоверие к стереотипу (позволяющее получать наслаждение от любого необычного слова, любого дикийинного дискурса) есть не что иное, как принцип абсолютной неустойчивости, ни к чему (ни к какому содержанию, ни к какому выбору) не ведающий почтения. Тошнота подступает всякий раз, когда *связь между двумя значимыми словами оказывается само собой разумеющейся*. А как только явление становится само собой разумеющимся, *я теряю к нему всякий интерес*» (Барт 1994, с. 496–497, курсив мой. – Н.К.).

Метафора как художественно-эстетическое средство языка несет в себе чрезвычайно большой прагматический потенциал, заложенный в ее природе: она самым неожиданным образом обнажает неизвестные нам ранее *отношения* между предметами мира. Метафорические описания номинируют «увиденные» человеком новые смыслы.

Ассоциативность нашего языкомышления ведет к установлению формальных и функциональных сходств, связывающих предметы мира, к выявлению новых связей между ними. Обнаружение подобного рода ассоциативных отношений всегда культурно обусловлено: в этносе в разное время его существования легко обнаруживаются предпочтения в выборе объектов метафоры. Ими оказываются наиболее психологически, в целом культурно релевантные феномены с точки зрения того / иного человеческого сообщества на конкретном историческом временном промежутке его развития. Отсюда совершенно очевидна важность лингвокультурологического анализа *косвенных номинаций* (в особенности метафорических) для изучения прежде всего духовной жизни того / иного этноса, социума и / или микро-социума. Серьезные, базирующиеся на соответствующих исследовательских методиках лингвокультурологические студии метафоры – одно из надежных средств выявления системы приоритетных ценностей как в синхронии, так и в диахронии человеческой культуры.

Эти соображения приводят к осознанию необходимости лингвокультурологического анализа метафорических описаний эмоций в немецком и русском языках в сопоставительном аспекте.

Раньше мы называли формальные модели, фиксирующие синтагматические связи слов, обозначающих ЭК в немецком и русском языках. В основу этих моделей положены структурные критерии. Выше мы отмечали, что содержание предложенных синтаксических моделей формируют главным образом метафорические использования номинантов эмоций. Это замечание в особенности касается так называемых активных моделей. Именно в них в силу специфики психологии человеческого восприятия метафоры, как правило, кажутся пользо-

вателям языка более действенными, в особенности, если речь идет об удачных не прямых номинациях, тонко чувствующих едва уловимые связи между предметами мира. Разумеется, что часть из них со временем теряет свою fasciniрующую, волшебную силу. Психологический процесс стирания метафоры находится в зависимости от множества лингвокультурных факторов, например, частотности ее эксплуатации в речевом употреблении, культурной значимости метафоризуемого фрагмента мира и т.п.

Эффективность использования метафоры в определенной степени детерминирована также и сугубо лингвистическим фактором, в частности ее структурой. Значимым, по нашему мнению, может быть такой смысловой компонент метафоры, как динамизм. Особая роль при этом принадлежит, следовательно, самой динамичной части речи – глаголу. Глагольные метафоры в соответствии с результатами наших наблюдений являются самым распространенным структурным типом (классом) метафоры.

Структурная классификация метафор, одним из критериев которой может быть частеречная принадлежность формирующих их слов, включает в себя помимо глагольных также ее субстантивные и адъективные типы (см. подробнее: Москвин 1997, с. 35–37). Субстантивные метафоры могут классифицироваться на собственно субстантивные и генитивные.

Указанный выше высокочастотный индекс употребления глагольной метафоры как на словосочетательном уровне, так и на уровне предложения объясняется, как мы отмечали, высоким динамизмом данной части речи. Любопытны рассуждения в этой связи Дж. Лайонза, сопоставившего разные части речи на предмет их «активности» и «пассивности». Он, в частности, пишет: «Быть статичным нормально для класса прилагательных, но необычно для глаголов; быть *активным нормально для глаголов*, но необычно для прилагательных» (Лайонз 1978, с. 224, курсив мой. – Н.К.).

Интранзитивные глаголы, метафоризирующие номинанты эмоций в обоих языках, согласно предложенной нами структурной (формальной) классификации соответствующих словосочетаний, входят в *активные* модели: «Das Grauen packte Gerda» [B. Voelkner]; «Die Schwermut hat hindurchgeweht» [C. Brentano]; «И подлинно во мне печаль поет» [О. Мандельштам]; «Свернулась на сердце жалость...» [М. Шолохов] и многие другие.

В некоторых случаях формально не столь очевидно метафоризируются номинанты эмоций транзитивными глаголами: «Welches Grauen ich vor diesem Leben empfinde...» [L. Tieck]; «Sie litt Angst» [R. Musil];

*«Ну, и набрался я страху!» [А. Толстой]; «Только б радость перенести!» [А. Блок] и т.п. Примечательно, что в эмоциогенных текстах номинанты эмоций иногда могут выступать в одном и том же предложении и как субъекты, и как объекты действия, например: «Die Angst steigerte die Freude» [F. Weiskopf], ужас только усилил радость и т.п.

Адъективные метафоры, выраженные именами прилагательными (несмотря на их известную статичность) и выступающие в атрибутивной функции (со стилистической точки зрения как эпитеты), также достаточно распространены в немецких и русских словосочетаниях, одним из компонентов которых является номинант эмоции. Этот факт мы объясняем характеризующими, нередко оценочно квалифицирующими предмет свойствами данной части речи. Приведем некоторые примеры: «tiefe Angst» [C. Brentano]; «schwerer Kummer» [H. Fallada]; «ploetzliche Melancholie» [G. Trottmann] и т.п.; «роковая отрада» [А. Блок]; «злобная радость», «одинокая печаль» [М. Лермонтов]; «холодное бешенство» [М. Шолохов]; «брезгливая грусть» [М. Цветаева] и др.

При выявлении продуктивности субстантивной метафоры, структурными компонентами которой являются, как правило, два имени существительных, было обнаружено, что данный ее тип наименее распространен в проанализированных русскоязычных художественных (поэтических и прозаических) текстах. Количество зафиксированных субстантивных метафор не представляет собой релевантной величины: *«прилив страха», *«отлив ужаса» [А. Белый], *«кипарис печали», *«облако печали» [К. Батюшков], «запасы радости» [Д. Гранин], «слезы ярости» [М. Шолохов], «змея печали» [К. Бальмонт], «город гнева и печали» [А. Ахматова], *«складки грусти» [А. Солженицын]. В немецком языке индекс данного типа метафоры выше: «Spuren eines tiefen Grames» [L. Tieck], «Schatten der Schwermut», «mit einem Schauer von Lust und Ekel» [F. Weiskopf], «ein Schauer des Entzueckens» [St. Zweig], «der Traenenkelch der Wehmuth», «unterm Dunkel eines Zornes», «Hoellenflammen tiefen Zornes», «ein Strahl geheimer Wonne», «in der Reue frommer Lust» [C. Brentano], «eine Spur der Wehmuth», «ein Laecheln der Freude», «keine Spur von Genuss» [R. M. Rilke], «die letzte Spur jenes Glueckes der Trauer», «der Krampf des Schreckens» [H. Boell], «ein Gefuehl tiefer Trauer» [H. Fallada], «eine neue Welle der Angst», «eine Wolke von Traurigkeit» [R. Musil], «eine allmaechliche Steigerung der Angst» [F. Duerrenmatt], «eine Woge von Freude» [M. Bruns].

Приведенные здесь иллюстрации использования номинантов эмоций в качестве субстантивной метафоры позволяют заметить факт

преимущественного преобладания ее генитивного типа в немецком языке. В русском же субстантивная метафора только им и представлена. Данный лингвистический факт, равно как и некоторые другие наблюдения, ранее нами установленные при рассмотрении метафоризации номинантов эмоций со структурных позиций, мы попытаемся объяснить несколько позже – при ее семантической характеристике.

В.П. Москвин предлагает выделять следующие семантические типы метафоры: а) (по вспомогательному субъекту сравнения) антропоморфную, зооморфную, «машинную», флористическую, пространственную; б) (по основному субъекту сравнения) в частности: цветовую, количественную (Москвин 1997, с. 21–25). Придерживаясь в целом этой классификации, мы предполагаем «примерить» ее на метафорические описания эмоций в немецком и русском языках.

Семантический анализ данных дескрипций обнаруживает максимально высокую степень распространенности *антропоморфной* метафоры в обоих языках. В ее основе лежат, по мнению Н.Д. Арутюновой, такие явления, как персонификация, олицетворение (Арутюнова 1976, с. 95). Значительная продуктивность этого типа метафоры связана с антропоморфным характером человеческого познания. Немецкий культуролог К. Байер справедливо замечает: «Теоретические сложности (*erkenntnistheoretische Schwierigkeit*) познания мира возникают потому, что всякое человеческое познание антропоморфно (*anthropomorph*); это значит, что оно несет на себе следы структуры наших мыслей и работы нашего мозга, определяется ими» (Bayer 1994, S. 14, перевод наш. – Н.К.).

Антропоморфные метафоры обладают разными структурами. Их компонентами являются различные знаменательные части речи. К самым распространенным относятся метафоры, структуру которых формируют номинанты эмоций и *глаголы*. Обозначения эмоций при этом выступают, пользуясь терминологией В.П. Москвина, в функции слова-параметра (или агента, термина сравнения), а глагольные лексемы соответственно – в функции аргумента (Москвин 1996, с. 104–105). Иначе говоря, номинант эмоции – это метафоризируемый компонент, а глагол – метафоризирующий. В данном случае актуальна синтаксическая формула $N(E)1+V$ («Eine Wut treibt sie...» [H. Fallada]; «Страх и стыд вошли и в кровь, и в плоть» [Б. Слуцкий] и т.п.).

Считаем небезынтересным дать семантическую характеристику указанных словосочетаний, которая поможет нам при культурологическом описании ЭК.

Если рассматривать словосочетания N(E)1+V, в которых номинанты эмоций выполняют функцию субъекта действия, то на основе анализа глагольной семантики можно выделить следующие классы антропоморфной метафоры:

1) *motusverbum* (глаголы движения) – «Die Angst hatte ihn gefasst» [D. Noll]; «Страх сковал его» [Д. Гранин];

2) *emotioverbum* (глаголы эмоций) – «Er war trunken von Wonne» [L. Tieck]; «Печали улаждаются вином» [В. Муковский];

3) *localverbum* (глаголы места) – «In den Augen war Angst» [H. Boell]; «Das Entsetzen war in den weitaufgerissenen Augen» [F. Duerrenmatt]; *«Злая печаль поселилась во мне» [Н. Никитин];

4) *dicendiverbum* (глаголы говорения) – «Und dennoch fluesterte in ihm eine Trauer» [H. Mann]; «Die Furcht von Tausenden schreit nach ihnen...» [R.M. Rilke]; «И подлинно во мне печаль поет» [О. Мандельштам];

5) *morbusverbum* (глаголы, выражающие понятие болезни) – «... Entsetzen, das mich bis ins Herz hinein laehme» [R. M. Rilke].

Данная семантическая классификация антропоморфной глагольной метафоры соотносится с так называемыми активными моделями словосочетаний. В одном из ее классов (*motusverbum*) можно, в свою очередь, выделить субклассы.

В немецком языке к их числу в классе *motusverbum* относятся глаголы со значениями: а) перемещения человека в пространстве – «Eine Wut treibt sie» [H. Fallada]; б) уменьшения – «So wuerde die Furcht diese abgeschmackte Sitte bald vermindern» [L. Tieck]; в) увеличения – «Meine Angst steigerte sich» [R. M. Rilke]; г) интенсивности – «Da brach ein wilder Zorn aus den zitternden Worten...» [R. M. Rilke]; д) начала действия – «Ich fuehlte, dass ein wenig Angst in mir anfang» [R. M. Rilke]; е) окончания действия – «Und es ging sein Zorn verloren» [C. Brentano].

В русском языке в *motusverbum* мы выделяем следующие семантические субклассы глаголов со значением: а) удаления – «Утек страх» [Д. Гранин]; б) исчезновения – «Страшный гнев вдруг бесследно исчез» [М. Шолохов]; в) начала действия – «Страх начинается издали...» [П. Проскурин]; г) окончания действия – «...Страхи кончились» [П. Проскурин]; д) расширения, увеличения физического тела – «Радость распирала грудь Хопрова» [М. Шолохов]; е) приостановления, замедления совершения физических действий человека – «Страх сковал его» [Д. Гранин].

Как видим, классы антропоморфной метафоры в немецком и русском языках совпадают. В основном совпадающими можно считать

также и выделяемые на основе семантического анализа глаголов суб-классы класса *motusverbum*.

Далее рассмотрим сочетания глаголов и номинантов эмоций, которые в них выступают в функции несубъекта (преимущественно объекта действия). В так называемых пассивных синтаксических моделях можно выделить следующие классы антропоморфной метафоры:

1) *motusverbum* – «Sie schleppten die Angst hinter sich wie einen schweren Schatten» [H. Boell]; «Die Massen beugen sich unter den Schrecken» [H. Mann]; *«Я потащу с собой всюду свою тоску...» [Ю. Нагибин]; «Я печаль ... в сердце медленно несую» [О. Мандельштам];

2) *emotioverbum* – «Weil das Herz in Aengsten bricht» [C. Brentano]; «Lasse seinen Zorn sich stillen» [C. Brentano]; «Er war ausser sich vor Wut» [R.M. Rilke]; «Юрий Андреевич обезумел от радости» [Б. Пастернак]; «Прогневался гневом...» [М. Лермонтов]; «И благодарные сердца томились тайною тоской» [М. Лермонтов];

3) *dicendiverbum* – «Die Dichterin schrie so laut vor Entsetzen auf...» [L. Tieck]; «Armer Irrer! – Zischt vor Aerger und Wut weiss gewordener glatzkoeppiger Kommissar» [W. Bredel];

4) *mentalverbum* (глаголы, связанные с понятием размышления, познания) – «Sie konnte mir diese ploetzliche Melancholie nicht deuten» [G. Trottman]; «Der junge Mann verstand nicht die weisse Angst auf dem Gesicht der Frau» [H. Fallada]; *«Познай же грусть и слезы» [А. Пушкин];

5) *morbusverbum* (глаголы, связанные с понятием болезни) – *«Болеть тоской» [B. Вересаев];

6) *possideoverbum* (глаголы обладания) – «Sie hat wirklich ihren schweren Kummer» [H. Fallada].

Среди пассивных моделей в немецком языке в классе *motusverbum* мы выделяем глаголы со значениями:

а) преодоления переживания – «Jede Angst ueberwinden» [M. Frisch], «Ich konnte der Lust nicht widerstehen» [L. Tieck]; б) достижения переживания – «Die Lust erreichen» [C. Brentano]; в) активного принудительного действия – «Pagel bezwingt den aufsteigenden Zorn» [H. Fallada]; г) результативности – «Seine Erziehung erzeugt ihm die Truebsal» [L. Tieck]; д) исчезновения – «Ich warf ... Ekel, Furcht und Trostlosigkeit von mir ab» [H. Boell]; е) физического проявления переживания (соматические глаголы) – «Er zitterte vor sinnloser Wut am ganzen Leibe» [H. Fallada].

В русском языке в классе *motusverbum* обнаружены глаголы со значениями:

а) пассивного созерцания действительности – «Ксения сидела со страхом ...» [А. Платонов]; б) активного принудительного действия – «Самое трудное, наверное, – научиться подавлять в себе страх» [П. Проскурин]; в) исчезновения, избавления – *«Весь гнев с души красавец мой согнал...» [Н. Некрасов]; г) физического проявления переживания – «Он весь дрожал в гнев и бешенстве ...» [В. Быков]; д) масштабности действия – *«Облако печали покрыло очи их...» [К. Батюшков]; е) результативности – «Ее слова привели его в бешенство» [В. Быков].

В других классах антропоморфной глагольной метафоры (*mentalverbum*, *emotioverbum*, *dicendiverbum*) выделение субклассов затруднительно ввиду их незначительной продуктивности и однотипности в обоих языках.

Антропоморфная метафора может быть и субстантивной (в нашем случае, как ранее отмечалось, выраженной преимущественно генитивной синтаксической конструкцией). В немецком языке количество ее употреблений ограничено – *Spuren eines tiefen Grames* [L. Tieck]; *eine Spur der Wehmut, ein Laecheln der Freude, keine Spur von Genuss* [R.M. Rilke]; *die letzte Spur jenes Glueckes der Trauer, in der Reue frommer Lust* [C. Brentano]; *ein Gefuehl tiefer Trauer* [H. Fallada]; *eine allmaehliche Steigerung der Angst* [F. Duerrenmatt]. В русском языке нами установлен всего лишь *один случай генитивной антропоморфной метафоры* – «слезы ярости» [М. Шолохов]. Данные количественные различия в употреблении генитивной метафоры в немецком и русском языках объясняются известной субстантивностью первого из них. Факт непродуктивности антропоморфной субстантивной метафоры в обоих языках имеет «частеречное» объяснение: имена существительные значительно уступают глаголам в возможностях отражения динамики эмоций.

Адъективная антропоморфная метафора по сравнению с субстантивной более распространена как в немецком, так и в русском языках. Номинанты эмоций употребляются с грамматически зависимыми от них адъективами в равной степени как в активных, так и в пассивных моделях, фиксирующих синтагматические свойства соответствующих лексем. В высказываниях (предложениях) они выполняют функцию атрибута и нередко являются яркими эпитетами, способными оценочно квалифицировать предмет речи, т.е. фрагмент действительности. Оценивающими, по нашим данным, оказываются значительно чаще не антропоморфные, а так называемые натуральные (или в иной терминологии – натурморфные) метафоры, т.е. метафо-

ры, основанные на установлении нашим сознанием определенной связи между эмоцией и фактами *овеществленной* культуры (например, *schwerer Kummer*, *tiefe Angst*, золотая радость, холодное бешенство). Следует здесь же указать на объективную сложность четкого разграничения антропоморфной и натуральной (натурморфной) метафоры.

Семантический анализ адъективных словосочетаний, известных читателю из предыдущего параграфа в формульной записи $Ad.1+N(E)1$; $Ad.2=N(E)2$, позволяет установить следующие их смысловые классы:

1) «неконтролируемость переживаемой эмоции» – «eine unbezaehmbare Schwermut» [A. Seghers]; «ein wilder Zorn» [R.M. Rilke]; «ein wild Entzuecken» [C. Brentano]; «mit wildem Grimme» [C. Brentano];

2) а) «эмоционально выраженная (т.е. через *сами номинанты эмоций*) оценочность переживания» – «boeser Zorn» [C. Brentano]; «eine rasende Wut» [H. Fallada]; «eine schreckliche Angst» [L. Tieck]; «eine furchtbare Angst»; «grauenvolle Angst» [H. Boell]; «grimmer Zorn» [C. Brentano]; «entsetzliche Furcht», «schreckliche Angst» [B. Kellermann]; «freudiger Schrecken» [St. Zweig]; «aengstliche Freude» [Th. Mann]; «eine grimmige Freude» [H. Fallada]; «die glueckseligste Freude» [L. Tieck]; «schreckliche Angst» [H. Boell]; «entsetzliche Furcht» [B. Kellermann]; «furchterlicher Zorn» [R.M. Rilke]; «in furchterlicher Angst» [R. Musil]; «mit bekuemmertem Zorn» [L. Tieck]; б) «эмоционально выраженная (т.е. *не* через номинации *эмоций*) оценочность переживания» – «sinnloser Zorn» [H. Fallada]; «sinnlose Wut» [H. Fallada]; «blinde Furcht»; «blinde Angst» [L. Tieck], «blinde Wut» [C. Brentano];

3) «градация эмоций»: (интенсивность) «tiefe Schwermut» [H. Boell]; «tiefer Zorn» [C. Brentano]; «eine tiefe Freude» [H. Fallada]; «ein heftiger Schreck» [B. Kellermann]; «panische Angst» [H. Fallada]; «panisches Entsetzen» [P. Evertier]; (деинтенсивность) «kleiner Schreck» [L. Tieck]; «in stiller Wonne» [C. Brentano]; «ein leises Grauen» [H. Fallada]; «der leichte Genuss» [R.M. Rilke]; «mit gemildertem Grausen» [J. Federspiel];

4) «глубина переживания эмоции» – «eine grosse Wut» [P. Bichsel]; «sein groesstes Entsetzen» [R.M. Rilke]; «eine maechtige Freude» [B. Kellermann];

5) «продолжительность переживания эмоции» – «ewige Wonne» [C. Brentano]; «die grenzenlose Traurigkeit» [H. Fallada];

6) «внутренний характер протекания эмоции» – «innere Angst» [C. Brentano]; «in einsamer Angst» [R. Musil];

7) «внешнее проявление эмоции» – «angreifender Zorn» [St. Zweig];

8) «внезапность появления эмоции» – «ploetzliche Melancholie» [G. Trottman].

В русском языке антропоморфную адъективную метафору можно классифицировать на следующие принципиально во многом повторяющиеся выделенные выше семантические субклассы:

1) «неконтролируемость переживаемой эмоции» – «безотчетный страх» [А. Белый];

2) «неизбежность переживания эмоции» – «роковая отрада» [А. Блок];

3) «эмоционально выраженная (через сами *номинанты эмоций*) оценочность переживания» – «злая радость» [М. Лермонтов]; «страшный гнев» [М. Шолохов]; «брезгливая грусть» [М. Цветаева]; *«злая печаль» [Н. Никитин]; «нежная грусть» [А. Блок];

4) «внутренний характер протекания эмоции» – «одинокая скорбь», «одинокая печаль» [М. Лермонтов];

5) «интенсивность переживания эмоции» – «возрастающая тоска» [Д. Гранин];

6) «глубина переживания эмоции» – «тяжелый страх» [П. Проскурин];

7) «скрытость эмоции» – «тайная грусть» [А. Блок]; «тайная тоска» [М. Лермонтов]; «тайная тоска» [М. Цветаева].

Некоторое установленное количественное преимущество смысловых классов в немецком языке в адъективной антропоморфной метафоре, по всей видимости, предварительно можно объяснить меньшей выборкой примеров в русском языке. Тем интереснее, возможно, будет количественное (и, естественно, качественное) сопоставление смысловых классов в других типах метафоры – натурморфной, зооморфной, флористической, выделяемых по вспомогательному субъекту сравнения, а также в метафорах, вычленяемых соответственно по основному субъекту сравнения, – цветовой, вкусовой, температурной, синтетической. На основании филологического анализа косвенных номинаций ЭК мы надеемся провести такую методически сложную исследовательскую процедуру, как культурологическое объяснение установленных лингвистических фактов в немецком и русском языках.

Зооморфная метафора является достаточно продуктивным средством непрямого номинации во многих языках (см., например, Маслова 1997). Это утверждение относится в первую очередь к языкам, обслуживающим человеческие сообщества, для которых мир фауны релевантен в силу географических, социально-исторических, хозяйственно-экономических причин. Носителям европейских языков, в особенности в прошлом, хорошо известны многочисленные устойчи-

вые высказывания (пословицы, поговорки, афоризмы, фразеологизмы-компаративизмы и т.д.), структурными компонентами которых являются зоонимы. Данное обстоятельство, свидетельствующее об их высокой номинативной плотности, следует рассматривать как социально-психологическую релевантность конкретного феномена мира – мира животных.

Провести демаркационную линию между зооморфной и антропоморфной метафорами объективно достаточно сложно, поскольку множество предикатов в действительности оказываются актуальными и в отношении обозначения актов человеческого поведения, и в отношении наименования поведенческих реакций животных (например, глаголы со значениями «пространственное удаление» – *verschwinden, weggehen, исчезнуть*; «поглощение пищи и жидкости» – *nagen, austrinken, грызть, выпить*; «физических агрессивных действий» – *angreifender Zorn, терзать* и т.п.). Это обстоятельство при анализе некоторых примеров метафорического употребления номинантов эмоций учитывается нами в работе и в необходимых случаях специально комментируется.

Зооморфная метафора в немецком языке со структурной точки зрения наиболее частотно представлена ее *глагольной* разновидностью. Такие глаголы, как *nagen, fressen, zischen, hinschleichen*, применяются, согласно специальным словарным пометам (DW 1992), для обозначения действий, поведенческих реакций животных. Приведем примеры: «Und peinigend nagt an ihm die Angst» [H. Fallada]; «Und immer tiefer frass sich das Entsetzen neben meiner Krankheit in mir fest» [H. Boell]; «Armer Irrer, – zischt vor Aerger und Wut weiss gewordene glatzkoepfige Kommissar» [W. Bredel]; «Wenn der Mitternacht heiliges Grauen bang durch die dunklen Waelder hinschleicht» [C. Brentano].

В русском языке употребление зооморфной метафоры проиллюстрируем следующими наиболее яркими примерами: *«Ни змия Вас не ужалит, ни печаль...» [В. Ходасевич]; «Свернулась на сердце жалость...» [М. Шолохов]; «Убить змею печали...» [К. Бальмонт]; «И грусть на дне старинной раны зашевелилася, как змей» [М. Лермонтов].

Эмоции в подобных контекстах уподобляются действиям животных, создающих в художественном тексте определенные образы, экспрессию в целом.

В ряде случаев действительно трудно разграничить зооморфную и антропоморфную метафоры, поскольку глаголы, метафоризирующие эмоции, активно применяются при номинации как действий челове-

ка, так и реакций животных. Иначе говоря, они актуальны для обозначения реальных «поступков» любых живых существ в целом. Приведем наиболее типичные примеры в обоих языках: «Warum muss in diesem tiefen Gefuehl die Angst verborgen sitzen...» [F. Weiskopf]; «Kalter Schreck sass ihr in allen Gliedern» [B. Voelkner]; «Er erstickte fast vor sinnlosem Zorn» [H. Fallada]; «Eine rasende Wut gegen den Bengel Rader fasst sie...» [H. Fallada]; «Dann kam ein wilder Zorn ueber ihn» [H. Fallada]; «А тоска мою выпила кровь» [А. Ахматова]; «И подлинно во мне печаль поет» [О. Мандельштам] и др.

Глаголами *sitzen, ersticken, fassen, numь, nemь* номинируются изначально определенные реальные физические и физиологические фрагменты мира. Перенос же их наименований на объекты мира психического обусловлен, как можно предположить, недостаточным инвентарем специальных образных обозначений для культурных фактов. Последние обозначаются уже существующей предметной лексикой. Ее предметность «размывается» «говорящей языковой личностью» в силу обнаруживаемых ассоциаций между фрагментами разных миров. Известно, что образность может создаваться в речи в том числе и благодаря различным нарушениям норм употребления слов. При этом актуализируется их ассоциативный потенциал. Ассоциативность вербального знака позволяет «сцеплять», казалось бы, дистанцированные друг от друга в семиотическом пространстве на лингвокогнитивной карте смыслы. В этом состоит сущность непрямых номинаций, применяемых в особенности в отношении обозначения предметов психической (эмоциональной) действительности.

С точки зрения своей структуры зооморфная метафора не всегда выражена глаголом. Иногда она может эксплицироваться через субстантивы (ср.: «змея печали» [К. Бальмонт]), через адъективы («eine viehische Angst» [W. Vogt], причастия («suchende Angst» [R.M. Rilke], «durchdringende Trauer» [H. Fallada], «zaehneklappernde Angst» [H. Fallada])).

Более активное употребление в экспрессивной немецкой и русской речи глагольного типа зооморфной метафоры мы видим в динамизме данной части речи. При этом следует заметить, что достаточно часто имеет место применение в одном и том же высказывании ее разных структурных типов.

Зооморфной метафоре максимально близка по своей сущности метафора флористическая. Однако последняя, судя по полученным данным, не продуктивна в исследуемом здесь материале. Обнаружен всего лишь один пример ее использования в русском языке («Презре-

ные созревает гневом...» [А. Блок]); в немецком же – факта использования флористической метафоры не установлено. Можно предположить, что данный лингвистический факт объясняется прежде всего более заметной для человеческого языкового сознания активностью *живых существ*, действия которых нередко аналогичны поступкам человеческим, т.е. они зооцентричны, и, следовательно, если так можно сказать, более антропоцентричны.

В этой связи можно привести убедительное звучащее мнение английского антрополога, этнографа А. Радклиф-Брауна, на большом эмпирическом материале исследовавшего примитивные культуры и сделавшего важные выводы о тотемизме и мифах, рожденных в нашей цивилизации: «В примитивных обществах любые предметы, оказывающие важное влияние на социальную жизнь, неизбежно становятся объектами ритуальных обрядов (*негативных* или *позитивных*), и функция таких ритуалов заключается в том, чтобы выражать, а тем самым закреплять и увековечивать признание социальной ценности тех объектов, к которым они обращены. Следовательно, в обществе, выживание которого полностью или в значительной степени зависит от охоты и собирательства, различные виды животных и растений, в особенности те из них, которые употребляются в пищу, становятся объектом ритуальных обрядов» (Радклиф-Браун 1997, с. 617, курсив мой. – *Н.К.*).

Наблюдения над сочетательными способностями номинантов эмоций в немецком и русском языках иллюстрируют чрезвычайно продуктивное использование в качестве объекта сравнения во вторичных номинациях предметов физического мира. Здесь речь идет об «овеществлении» значений словосочетаний, фиксирующих на вербальном уровне уподобление эмоций конкретно существующим реалиям физического мира. Эти реалии, обладающие самыми разнообразными физическими свойствами, способны активно действовать на психологию человеческого восприятия в силу их утилитарной значимости для *Homo sapiens*. Продуктивность косвенных наименований эмоциональных фрагментов мира, в основу которых кладется животворящий предметный, т.е. аудитивно, визуально, тактильно ощущаемый (в целом перцептивный) образ, обосновывает необходимость выделения в существующих семантических классификациях метафоры ее автономного типа – натуральной или натурморфной метафоры (от лат. слов *natura* – «природа» и *morphe* – «форма»). Под ней понимается перенос наименований реально существующих предметов на культурные психические факты внутреннего мира человека.

Данный языковой перенос осуществляется благодаря обнаруженным, тонко схваченным человеческим сознанием формальных и функциональных связей между фрагментами *разных* (физического и психического) миров. В основе этих связей всегда лежит ассоциация. Реально воспринимаемый человеком физический предмет вызывает определенные ассоциации, что и позволяет соответствующим образом аранжировать, организовывать на пропозициональном уровне языка сами смыслы – результат нашей лингвокогнитивной деятельности.

Натурморфная метафора имеет разную структурную (частеречную) оформленность. Ее компонентами могут быть такие знаменательные части речи, как глаголы, адъективы и субстантивы. Традиционно начнем анализ натурморфной метафоры с ее глагольного типа.

В одной из своих работ (Красавский 1998, с. 96–104) мы предложили специальные термины при исследовании данного типа метафоры. Поскольку в роли метафоризирующего элемента активно выступает глагол, целесообразно семантически классифицировать глагольную натурморфную метафору на несколько субтипов. Нами они обозначены специальными терминами латинско-греческого происхождения с целью компактности и мотивированности наименования, в чем мы видим одно из требований к терминотворчеству исследователя. Ниже предлагается семантическая классификация натурморфной глагольной метафоры: первый ее субтип – *aquaverbum* (лат. *aqua* – вода) и, соответственно, второй – *pyroverbum* (лат. *pyro* – огонь), третий – *ruoquaverbum*, четвертый – *aeroverbum* (лат. *aero* – воздух).

К числу наиболее распространенных в немецком языке относится семантический класс *aquaverbum*. В нем мы обнаружили следующие высказывания, в которых имеет место сопоставление понятий «вода» и «эмоция», уподобление психического переживания жидкому веществу: «Aber nicht Furcht, ein anderer Schauer durchlauft diese Volksmasse» [H. Mann]; «Welche Wonne stroemte durch alle meine Adern» [L. Tieck]; «Eine maechtige Freude durchstroemte ihn» [B. Kellermann]; «Eine tiefe Freude erfuellte mich» [H. Boell]; «Es versinkt dein grimmer Zorn» [C. Brentano]; «Kalte Schrecken fliessen um ihn...» [C. Brentano]; «In seinem vom Alkohol umnebelten Gehirn brodelte die Wut wie siedenes Wasser» [B. Voelkner]. В русском языке семантический субтип *aquaverbum* представлен всего лишь двумя примерами: «А тоска мою выпила кровь» [А. Ахматова]; «И в огромных, расширенных зрачках его плеснулось бешенство...» [М. Шолохов].

Второй семантический класс глагольной натурморфной метафоры *ruyoverbum* в немецком языке оказался менее распространенным, чем ранее рассмотренный ее вариант: «Die Wut glom langsam in ihm hoch» [M. Bruns]; «Panisches Entsetzen flackerte in seinen Augen auf» [P. Evertier]; «Sein Zorn ueber Uta war laengst veraucht» [D. Noll]. В русском языке этот семантический класс более представлен: «Страшный гнев, полымем охвативший Макара, исчез» [М. Шолохов]; «Высоко пылает ярость...» [А. Блок]; «Только легкая грусть, словно дымкой, обволакивала его сердце...» [М. Шолохов]; «Пылая гневом, она разоблачала Уварова...» [Д. Гранин]; «И загоралась она радостью...» [А. Блок].

Данные немецко- и русскоязычные примеры иллюстрируют уподобление эмоций огню, дыму. Любопытен факт установления сочетающихся с номинантами эмоций в обоих языках глаголов, в семантику которых входит комплексный компонент «огонь» и «жидкость» (группа *ruyoaquaverbum*): «Er kochte innerlich vor Empoerung» [B. Kellermann]; «Er kochte vor Wut» [D. Noll]; «И на глазах вскипели слезы ярости и восторга...» [М. Шолохов].

Четвертый семантический субтип (*aeroverbum*) глагольной натурморфной метафоры в немецком языке достаточно распространен: «Die Angst, die mich von hinten anwehte...» [H. Boell]; «Die Schwermut hat hindurchgeweht...» [C. Brentano]; «Ich fuehlte mich mit Weh und Lust durchdrungen» [C. Brentano]; «Und so ganz von Angst durchdrungen» [C. Brentano]; «Um so mehr auch blaehrte sich in mir die Angst wie eine scheussliche Wehe» [H. Boell]; «Und in seinem Herzen reget sich ein Strahl geheimer Wonne» [C. Brentano]; «Und in seinem Herzen wehen Hoellenflammen tiefen Zornes» [C. Brentano]. В русском языке субтип *aeroverbum* в нашем материале не обнаружен.

По своей частеречной принадлежности натурморфная метафора может быть не только глагольной, но и субстантивной. В немецком языке субстантивная натурморфная метафора представлена рядом семантических классов / субтипов. Эмоции уподобляются часто таким природным явлениям, как вода («Und eine Woge von Freude» [M. Bruns]; «Es kam eine Welle der Angst» [R. Musil]; «hingetuepft von der Trauer um einen bereits genossenen Genuss» [F. Weiskopf]; «der Traenenkelch der Wehmut» [C. Brentano]; как огонь («ein Strahl geheimer Wonne» [C. Brentano]; «Hoellenflammen tiefen Zornes» [C. Brentano]); как воздух («eine Wolke von Traurigkeit» [R. Musil]. Иногда эмоции «сопряжены» с таким чувством, как обоняние («in der Dufte Schwermut» [C. Brentano]). В немецком языке они нередко имеют количественные

параметры – «eine Spur Wehmut» [R. M. Rilke]; «keine Spur von Genuss» [R. M. Rilke]; «Steigerung der Angst» [F. Duerrenmatt].

В русском языке эмоции, являющиеся компонентом натурморфной субстантивной метафоры, сравниваются так же, как и в немецком, с водой (*«Прилив страха» [А. Белый]; *«Отлив ужаса» [А. Белый]) и др. Они могут иметь количественное измерение («запасы радости» [Д. Гранин]). В отличие от немецкого языка эмоции в субстантивной натурморфной метафоре «сопряжены» с выражением лица человека (*«складки грусти» [А. Солженицын]).

Адъективная натурморфная метафора, количественно уступающая ее субстантивному варианту, семантически классифицируется на следующие субтипы: 1) температурная метафора («das kalte Grauen», «kalter Schreck» [B. Voelkner], «kalter Schreck» [C. Brentano], «eine kalte Wut» [F. Weiskopf]); 2) цветовая метафора («heller Zorn» [H. Fallada], «helle Wut» [Voelkner B.], «die weisse Angst» [H. Fallada], «mit bunter Lust betrogen» [C. Brentano]); 3) вкусовая метафора («eine bittere Wut» [F. Weiskopf], «suesse Freude» [Th. Mann]); 4) качественная метафора («schwerer Kummer» [H. Fallada], «dumpfe Angst» [A. Seghers], «die dichte Traurigkeit» [R. M. Rilke], «mit seichtem Spass» [L. Tieck]).

Адъективная натурморфная метафора в исследуемом русском языке материале в количественном отношении по сравнению с субстантивной оказалась более распространенной. Однако при этом ее семантическая классификация не отличается каким-либо разнообразием. Установлены всего лишь две семантические группы (или два субтипа) натурморфной метафоры: 1) цветовая метафора («черный гнев» [А. Блок], «белое бешенство» [М. Цветаева], «седая печаль» [К. Бальмонт]); 2) температурная метафора («холодное бешенство» [М. Шолохов], «горячий страх» [П. Проскурин]).

В речи, особенно художественной, адъективные метафоры выступают в функции эпитета, оценочно характеризующего ее содержание, создающего нередко, например, в случае применения необычных, нетрадиционных метафорических описаний, в высшей степени экспрессивные образы. Номинанты эмоций, сопровождаемые эпитетами, воспринимаются читателем / слушателем в речи как некие активные самодовлеющие величины, обладающие способностью эффективного воздействия на реципиента информации.

В отдельных случаях в структуру развернутых метафорических дескрипций входит вербально выраженный компонент сравнения: «die Angst wie eine scheussliche Wehe» [H. Boell]; «die Wut wie siedendes Wasser» [B. Voelkner]; «die Angst ... wie ein Gift» [H. Boell]; «die Angst wie einen

schweren Schatten schleppen» [H. Boell]; «Только легкая грусть *словно* дымкой...» [М. Шолохов]; «Печаль *как* птица серая...» [О. Мандельштам]. Здесь номинанты эмоций выступают в функции субъекта сравнения. Иногда они могут использоваться и как объекты сравнения (например, «*die Ueberraschung war so gross wie das Entsetzen*» [H. Boell]. Любопытны сами по себе случаи употребления обозначений эмоций в качестве такого стилистического приема, как оксюморон – «*freudiger Schreck*» [H. Fallada], «*Glueck der Trauer*» [H. Boell]. Применение данного стилистического средства направлено на создание экспрессии в речи.

Опираясь на вышеприведенный материал, мы можем заключить, что номинанты эмоций активно метафоризируются в немецком и русском языках. Многочисленные примеры их метафоризации позволяют утверждать, что такой социально релевантный фрагмент мира, как эмоции, активно и продуктивно эксплицируется в нашей речи средствами вторичной номинации. Этот языковой факт становится понятным, если иметь в виду относительную бедность, скудость прямых номинаций для выражения общих абстрактных понятий, в особенности *эмоциональных*. Следует помнить, что исторически, т.е. с точки зрения эволюции, человеческое мышление изначально предметно. Наречения реально существующих предметов мира первичны; они предшествуют обозначениям абстракций. Поскольку наше мышление ассоциативно, поскольку оно способно обнаруживать основывающиеся на формальных, функциональных общих сходствах определенные корреляции, то отсюда следуют многочисленные переносы наименований с одних феноменов на другие с целью их соответствующего обозначения. Сущность этого вербально-психологического процесса заключается в том, что человек посредством сравнения уподобляет одни явления другим.

Подобного рода уподобления, сопоставления разных феноменов приводят к непрерывному рождению в языке образных (непрямых) номинаций, лингвокультурологический анализ которых позволяет установить ученому особенности деятельности человеческого сознания на разных этапах его развития в том / ином этносе. Наблюдения над языком вторичных номинаций обнаруживают этнокультурную специфику ассоциаций языковой личности, перманентно создающей речепроизведения (тексты), с одной стороны, и обитающей в них как в лингвокультурной среде – с другой.

Действительно полный научный анализ ЭК, составляющих один из фрагментов картины мира, не может быть редуцирован до уровня

их дефиниционного (пусть даже самого детального, виртуозно и филигранно исполненного) описания, поскольку всякий концепт как многомерное смысловое образование на самом деле «встроен» в общий механизм культуры. Концепт принципиально вычленим, «видим» нашим сознанием только в случае его деятельностного рассмотрения, квалификации его как *результата взаимодействия различных связей и отношений* между самыми разнообразными фактами человеческой культуры и цивилизации. Деятельностный подход к анализу ЭК предполагает, по нашему мнению, изучение их вербализованных форм в речевой практике коммуницирующих языковых личностей. Иначе говоря, содержание ЭК раскрывается не только на уровне анализа их дефиниций, но непременно и на уровне употреблений вербализующих их средств, способов (номинантов эмоций).

Структурно-семантический анализ словосочетаний, одним из компонентов которых является номинант эмоции, позволил установить, что последний достаточно легко и часто метафоризируется в немецкой и русской речи. Мы выделяем следующие типы метафор: антропоморфную, натурморфную, зооморфную и флористическую. Наиболее продуктивными, согласно результатам проведенного исследования, оказались первые ее два типа. Высокий индекс употребления антропоморфной метафоры, которая, вероятно, наиболее распространена в любом языке (по крайней мере, в языках, обслуживающих европейские культуры), мы объясняем социально-психологической релевантностью для человека его же реальных поступков, его преобразующей действительностью деятельности. Homo loquens суть homo agens (человек действующий). Интроспективность человека, его психологическая склонность, природная, фатальная предрасположенность измерять, а значит, и оценивать «вещи» сквозь призму собственного Его есть причина активного употребления в языке антропоморфной метафоры.

Со структурной точки зрения (частеречной принадлежности) особенно продуктивен *глагольный* тип антропоморфной метафоры. Как самый динамичный класс слов именно глагол позволяет более эффективно, более адекватно передать эмоциональное содержание, интенции продуцента речи, эмоциогенные ситуации, которыми изобилует лингвокультурная среда нашего обитания.

Высокую распространенность натурморфной метафоры, сущность которой заключается в уподоблении психических переживаний человека конкретно, реально воспринимаемым предметам действительности, мы объясняем их традиционно непреходящей утилитарной (ви-

тальной) ценностью для нашей жизни. Наиболее часто эмоции уподобляются таким явлениям материальной культуры, как «огонь», «дым», «вода». Последним, по утверждению многих ученых, изучающих мировые мифологии, приписывались самые различные магические, целебные и т.п. свойства (см. Уилрайт 1990, с. 105–106; Степанов 1997, с. 200; Серл 1990, с. 324).

Натурморфная метафора часто эксплицируется в немецком и русском языках не только через глагольные имена, но и адъективы. Последние, с точки зрения их семантики, обычно выражают значения температуры и цвета, приписываемые в качестве свойств ЭК (иногда значение вкуса). Здесь, как и ранее, очевидна ярко выраженная символизация психических переживаний человека.

Зооморфная метафора, построенная на приписывании эмоциям черт поведенческих реакций животных, не отличается высокой продуктивностью при вторичной номинации эмоций как в немецком, так и в русском языках. Однако следует указать на сложность разграничения слов, номинирующих поступки человека и поведенческие реакции животных. Часто анализ семантики лексем, сочетающихся с обозначениями эмоций, не позволяет точно установить границы между употреблением тех / иных слов в отношении обозначения действий людей и животных. Антропо- и зооморфная метафоры по своей сути близки друг другу, поскольку описывают реальные, во многом внешне схожие поступки живых существ в целом.

Флористический тип метафоры, оказавшийся применительно к нашему материалу непродуктивным, по своей природе максимально близок широко распространенной натурморфной метафоре. Флористическую метафору можно бы отнести к классу более «широкой» метафоры – натурморфной. Неактивное использование флоронимов в качестве метафоризирующего эмоции средства мы объясняем прежде всего их пассивностью, «созерцательностью». Эмоции более легко метафоризируются «деятельностными» субъектами / объектами мира. Эмоциям человеческое сознание приписывает известную «человекоподобную» активность, в основе которой лежит сила их мотивационной деятельности.

В заключение укажем, что метафорические описания эмоций оценочны. Если провести их анализ в немецком и русском языках по таким основным типам оценки, как гедоническая, сенсорная и утилитарная, то можно обнаружить различную степень их распространенности в исследуемом материале. Наиболее продуктивным для метафорических описаний эмоций в обоих языках, судя по художествен-

ным примерам, является сенсорный тип оценки (*sanfte Freude*, *сладкая радость*, *горькая печаль*, *горькое горе*, *холодное бешенство* и т.п.), характерный как для позитивных, так и для негативных эмоций, обозначаемых в немецком и русском языках. Этот тип оценки более продуктивен в русскоязычной метафоре. Данный лингвистический факт объясним предпочтением разноязычных этносов в выборе способа освоения мира, в том числе мира эмоций.

С культурологической точки зрения любопытен установленный лингвистический факт продуктивности утилитарного типа оценки в немецкоязычной метафоре (*sinnlose Wut*, *sinnloser Zorn* и т.п.). Судя по собранному языковедческому материалу (метафорические дескрипции эмоций), утилитарная оценка не столь свойственна русскому мироощущению, эксплицируемому в таком типе косвенной номинации, как метафора. В данном случае мы не склонны делать категоричных суждений из-за ограниченного объема языкового материала. Думается, что это соображение требует дальнейшей, более эмпирически насыщенной верификации. Ее базой может послужить лингвокультурологический анализ иного типа текста – пословично-поговорочных высказываний.

Номинанты эмоций в пословично-поговорочном тексте

Для лингвокультурологического анализа концептосфер наиболее релевантными признаются фразеологические и паремиологические речевые единицы (Маслова 1997; Телия 1996 и др.), поскольку в них эксплицитно отражена сама специфика познавательного и эмоционального опыта того / иного этноса, особенности распрямления человеком мира. Освоение человеком объективной и субъективной действительности происходит на основе образов, являющихся, как правило, необходимым компонентом фразеологизмов и паремий, фиксирующих собой как особой формой организации знаков и способности мыслительной деятельности, и сами ее результаты.

Наш выбор для сопоставительного лингвокультурологического анализа немецких и русских пословично-поговорочных текстов, прочно и успешно освоивших эмоциональную ипостась жизнедеятельности «говорящего человека», обусловлен, во-первых, их морально-дидактической направленностью, принадлежностью к жанру «моралите», их оценочностью; во-вторых, известной древностью их происхождения, что принципиально важно для синхронно-диахронического исследования языка; в-третьих, их квалитативно ограниченной реп-

резентацией в языке, позволяющей охватить все фразеологически оформленное поле, «проработавшее» интересующий нас феномен.

Задача данного параграфа монографии состоит в попытке автора дать лингвокультурологическое описание немецкой и русской эмоциокультурной сферы, образно распрямленных в пословицах и поговорках. Лингвокультурологический анализ пословиц и поговорок, оценивающих эмоции, проводится посредством применения методик интерпретации, интроспекции, компонентного (дефиниционного) анализа, а также путем использования имеющих прямое отношение к рефлексии психических переживаний данных, почерпнутых из области культурологии, этнографии, этнопсихологии и психоанализа.

Концепты эмоций *Angst* в количественном отношении достаточно широко представлены в немецком пословично-поговорочном фонде (29 единиц). Пословично-поговорочные высказывания мы классифицируем на соответствующие семантические группы, которые будут названы и описаны в зависимости от степени их репрезентативности в анализируемом материале.

Наиболее продуктивна в пословично-поговорочных высказываниях, квалифицирующих концепты эмоций *Angst*, семантическая группа «психическая действенность страха» (*die Furcht hat tausend Augen; die Furcht hat grosse Augen; Furcht macht Beine; Furcht macht lange Schritte; Furcht kennt kein Gesetz; Furcht laehmt; Schrecken jagt den Hasen aus dem Busch; Mit Schrecken jagt man die Leute auch; Furcht hat keine Ruhe; Zuviel Furcht zerbricht das Glas*).

Относительно репрезентативными являются также семантические группы «сила, могущество страха» (*Man kann wohl Waffen gegen die Feinde, aber nicht gegen die Furcht schmieden; Schrecken macht verzagt; Schreck wirft auch starke Leute in den Dreck*) и «способ избегания переживания страха» (*Ein gutes Gewissen kennt keine Furcht; Keine Strafe, keine Furcht; Wer recht tut, kennt keine Furcht; Ohne Geld, ohne Furcht*).

Семантическая группа «преувеличение значимости эмоции страха» в немецком паремиологическом фонде представлена 4 высказываниями – *Die Furcht ist oft groesser als die Gefahr; Der Schrecken ist oft groesser als die Gefahr; Furcht sieht ueberall Gespenster; Furcht vergroessert die Gefahr*. Переживание эмоций страха имеет в немецком этносе этическую негативную оценку, фиксируемую следующими выражениями: *Furcht bessert nicht; Furcht macht Abgoetterei; Wer vor Schreck stirbt, wird mit Fuerzen begraben*. Страх, согласно языковому материалу, квалифицируется также с точки зрения практиче-

ской нецелесообразности его переживания – Wer Angst hat, ist leicht zu fangen; Wer keine Angst hat, dem tun die Hunde auch nichts.

Известное утверждение психологов об амбивалентности эмоций (Изард 1980; Витт 1984 и др.) подтверждается пословично-поговорочным материалом. Так, немецкой пословицей «Furcht huetet das Haus» иллюстрируется идея практической целесообразности рассматриваемой эмоции. Моральная позитивная оценка страха выражена пословицей «Wo Furcht ist, da ist auch Ehre, wo Ehre ist, da ist auch Scham». В целом же, однако, эмоции группы *Angst* оцениваются отрицательно, не случайно они противопоставляются позитивным эмоциям: «Zur Furcht kann man die Leute zwingen, ihre Liebe muss man gewinnen».

В пословично-поговорочном и фразеологическом фондах русского языка концепты эмоций *страха* представлены всего лишь 4 единицами, которые выражают идею его психической действительности – «у страха глаза велики», «у страха глаза, что плошки, а не видят ни крошки», «со страху дух захватило», «со страху умер».

Концепты группы эмоций *Freude* в немецком пословично-поговорочном фонде представлены 37 единицами, которые могут быть разбиты на следующие семантические группы: «причины появления эмоции» (Ohne Frauen keine Freude; Neue Ehe, neue Freud'; Wiedersehen macht Freude; Wo Freude wachsen soll, da muss man Liebe saen; Wie die Gabe, so die Freude; Trunkene Freud', nuechternes Leid); «сменяемость эмоции радости другими (негативными) эмоциями» (Auf Weh und Ach folgt Freude nach; Auf Freud folgt Leid; Auf Leid folgt Freud; Freud und Leid kommt nie allein; Nach dem Regen kommt der Segen, nach dem Leide kommt die Freude; Nach dem Jammer kommt die Freude; Kommt Freude, kommt Schmerz); «общая позитивность эмоции» (Auch das Alter hat seine Freuden; Arme Leute haben wenig Freude; Freude schwaetzt gern; Wer einen Taler findet, hat fuer zwei Taler Freude; Wer sich an Seifen blasen ergoetzt, hat kurze Freude; Wer 's haben kann, hat Freude dran); «противопоставление радости негативным эмоциям» (Auswendig Freud', inwendig Leid; Grosse Freude, grosses Leid; Sorgen behalte fuer dich, Freuden genieesse mit andern; Des einen Freud', des anderen Leid; Des Trunkenen Freude ist des Nuechternen Aerger); «переживание радости благотворно для здоровья» (Wo Freude ist, da ist Gesundheit / Leben; Freude, Maessigkeit und Ruh schliesst dem Arzt die Tuere zu; Drei Dinge schliessen dem Arzt die Tuere zu: Freude, Maessigkeit und Ruh; Freude im Herzen macht schoene Farbe); «соматическое выражение эмоции» (Wem 's gelingt, vor Freude springt; Die einen singen vor Freude, und den andern bricht das Herz); «несовершенство эмоции»

(In jeder Freude ist ein Tropfen Wermut; Keine Freude ist vollkommen); «причины исчезновения эмоции» (Viel Sorgen und Wachen vertreibt Freude und Lachen); «кратковременность эмоции» (Kurze Freud', langes Leid); «настоящая радость долговременна» (Wahre Freud waehrt allezeit); «изменяемость источников радости во времени» (Andre Jahre, andre Haare; andre Zeit, andre Freud'); «пути поиска радости» (Wer die Freude auf Bergen sucht, verliert sie im Tal).

В пословично-поговорочном фонде русского языка обнаружено значительно меньшее количество выражений (11), характеризующих эмоции *радости*. Их мы классифицируем в следующие группы: «сменяемость эмоции радости другими (негативными) эмоциями» («Ни радости вечной, ни печали бесконечной»; «Где радость, там и горе; где горе, там и радость»); «радость – редчайшая эмоция, ее много не бывает» («В один день по две радости не живет»; «Горе семерых завалило, а радость одному досталась»); «переживание радости благотворно для здоровья человека» («Радость прямит, а кручина крючит»; «От радости и старики со старухами помолодели»); «соматическое выражение эмоции» («От радости земли под собой не взвидел»); «общая положительность радости» («От радости кудри вьются, а в печали секутся»; «Старость не радость, а смерть не корысть»; «Живем не на радость, и пришибить некому»); «противопоставление радости негативным эмоциям» («Не выдав горя, не узнаешь и радости»).

Группа эмоций *радости* в немецких пословицах и поговорках оказывается значительно более подробно описанной (источники возникновения и причины исчезновения, их кратковременность и т.п.). Лингвистический факт пересечения ряда семантических групп в обоих языках свидетельствует о совпадении толкования немцами и русскими обсуждаемых культурных концептов. Национально-специфическим, судя по пословично-поговорочным высказываниям, можно признать представление русских о радости как редкой гостье («В один день по две радости не живет»).

Лингвокультурологический сопоставительный анализ концептов эмоций *Trauer* и *pechаль* может оказаться особенно интересным, если учесть известный стереотип, согласно которому отличительными чертами русского народа считаются его природная склонность к пассивности, фатализму, пессимизму, глубокому унынию, беспричинной тоске и грусти, повышенной эмоциональности. Содержание понятия «русская душа», по всей видимости, составляют в том числе и указанные выше черты национального характера, (само)приписываемые русским. В качестве иллюстрации сказанному приведем цитату из

работы известной исследовательницы А. Вежицкой (1997 а, с. 33): «В русском языке необычайно *подробно* разработано *семантическое поле эмоций*, особенно таких, которые не имеют определенного каузатора, типа *тоска*». Отмеченный выше стереотип небезынтересно, по нашему мнению, лингвистически верифицировать в пословицах и поговорках – достаточно древнем языковом материале, продуценты которого «проработали» соответствующие концепты.

В связи с вышесказанным и из-за большого количества пословично-поговорочных выражений в русском языке (в отличие от предыдущих случаев) начнем наш анализ не традиционно – не с немецко-, а с русскоязычного материала.

В пословично-поговорочном фонде русского языка обнаружено 21 высказывание, в высшей степени образно квалифицирующее группу эмоций *печали*, что, как будет показано ниже, позволяет говорить о глубокой степени отрефлексированности в сознании носителей русской культуры. Очевидность образности и оценочности языковых средств, описывающих *печаль*, иллюстрируется соответствующими пословицами и поговорками. Все метафорические дескрипции группы эмоций *печали* классифицируемы на соответствующие семантические группы.

Первую семантическую группу метафоризируемой *печали* в русском этносе можно обозначить как «активная психосоматическая деструктивность эмоции». Ей приписывается ярко выраженная, разрушающая тело и дух человека сила: «Печаль не уморит, а с ног соьет»; «Беды да печали с ног качали»; «С печали не мрут, а сохнут»; «С печали засушенкой стали». Человек, пребывающий в печали, морально подавлен, не функционален. Печаль, хотя непосредственно и не приводит к смерти, тем не менее быстро приближает человека к ней. Примечательно, как кажется, употребление в одном синтагматическом (линейном) ряду номинаций концептов *печали* и *беды*, свидетельствующее, согласно представлениям русских, об их природном экзистенциональном родстве. Здесь хотелось бы обратить внимание читателя на вневременную актуальность отрицательно коннотируемой пары *печаль – беда / болезнь*, репрезентируемой сегодня не только в русских произведениях высокого стиля, но и в «поверхностных» текстах, например, в шлягере (ср. с метафорой из песни Т. Овсиенко «*черная* печали хуже страшной *болезни*»), что само по себе, кажется, уже симптоматично (ср. также с прецедентным высказыванием: «*черная* роза – эмблема *печали*...»). Общеизвестно, что черный цвет в европейской культуре отрицательно оценочен.

Следующая семантическая группа, репрезентирующая русскую печаль, максимально близка вышеназванной. Условно ее можно назвать «пассивная соматическая деструктивность эмоции»: “С печали шея равна с плечами”; “Знать по очам, какова печаль: слеза в три ручья”; “Видна печаль по ясным очам”; “От радости кудри вьются, а в печали секутся”. В отличие от первой, входящие в эту группу пословицы и поговорки демонстрируют либо ярко выраженные физиологические изменения в человеческом теле (его неестественная худоба, т.е. печаль не дает покоя, лишает аппетита человека), либо менее эксплицитованные временные соматические изменения («слеза в три ручья»).

Третью семантическую группу русских пословиц и поговорок, образно представляющих *печаль*, можно назвать «локативной». Здесь указывается на локацию, т.е. на конкретное место обитания эмоции – сердце: “Ржа железо ест, а печаль сердце”; “Железо ржа поедает, а сердце печаль изнурует”; “Что червь в орехе, то печаль в сердце”. Сердце признается, согласно русской «наивной анатомии», самым важным органом человека. Тем самым продуцентами приведенных выше высказываний актуализируется психологическая корреляция печали и сердца, что говорит о большой психологической релевантности для русского этноса анализируемой эмоции. Кстати, думается, уместно, в качестве примера, демонстрирующего важность сердца как органа, аккумулирующего в себе разнообразную гамму эмоций, в том числе и печаль, привести метафору из современного шлягера – «*черная птица печали вьет в моем сердце гнездо*» (из репертуара певицы Т. Овсиенко). Подобного рода употребления в разножанровых и (что более важно) межпоколенных текстах метафор, столь экспрессивно осмысливших сущность русской печали, мы рассматриваем как устойчивый образ, закрепившийся в национальном языковом сознании русских.

В русских пословицах в основу метафорического описания печали положено ее уподобление конкретному артефакту – рже, располагающей в языке отрицательной оценочностью в силу причинения порчи традиционно полезному для практической жизнедеятельности человека веществу – металлу. Кроме того, «поведение» печали сопоставимо с действием некоторых представителей фауны (моль и червь), также приносящих вред человеку и поэтому отрицательно коннотированных в русской культуре. Приведенные языковые иллюстрации позволяют заметить сам способ действия данной персонифицируемой эмоции – печаль физиологически поглощает (глагольные лексемы *поедать*, *ест*) человека, подобно страшному мифическому су-

шеству, либо же, возможно, реальному животному. Наличие в содержательной структуре сочетающегося со словом *печаль* глагола *поедать* семы «без остатка» («Поедать – съесть без остатка») можно оценить как безжалостность, агрессивность продуцента действия, которое направлено на разрушение тела и души человека.

В этой связи нельзя не упомянуть вывод немецкого психоаналитика Э. Нойманна о высокой степени продуктивности «идеи пожирательства», легшей в основу многочисленных метафорических описаний самых различных фрагментов мира. По его авторитетному мнению, сочетание таких слов в языке, как *пожирание*, *голод*, *смерть*, *пасть*, психологически не случайно. «Мы до сих пор говорим, как и первобытные, о “пасти смерти”, о “пожирающей войне”, о “поедающей болезни”; “быть проглоченным и съеденным” является архетипом, который встречается не только во всех средневековых картинах ада и дьявола; мы сами выражаем проглатывание чего-то маленького чем-то большим теми же образами, когда говорим, что человек «поглощен» своей работой, движением или мыслью, или что его “*съедает*” *ревность*» (Нойманн 1998, с. 42).

Четвертая семантическая группа, в которой манифестируется образное освоение русскими концепта *печали*, может быть названа «способом избавления от эмоции»: “От всякой печали бог избавляет”; “Унеси ты мое горе, раскачай мою печаль”. Надежным способом, зафиксированным народной мудростью, судя по собранному материалу, является религия (“От всякой печали бог избавляет”), что, как нам кажется, корреспондирует с утверждением многих ученых, например, философов (Н.А. Бердяев, В.В. Розанов и др), об особой набожности русских людей. Пословицу «Унеси ты мое горе, раскачай мою печаль», по нашему мнению, также правомерно отнести в данную группу: отсутствие указания на адресата следует, по-видимому, толковать как взывание русского человека к Всевышнему о помощи.

Остальные пословично-поговорочные высказывания, с точки зрения выражаемого ими смысла, в русском языке представлены единичными примерами. Остановимся на их краткой интерпретации.

В примере «Не было печали, черти накачали» выражена идея *продуцента* печали: мифологическое / теологическое существо, олицетворяющее зло, – черт. Переживание отрицательной эмоции, согласно этой пословице, спровоцировано не самими людьми, а неземным существом. Этот пример корреспондируется с вышеприведенными, где русский человек в поиске психической самозащиты апеллирует (прямо или косвенно) к потусторонним силам.

В примере «День меркнет ночью, а человек печалью» рассматриваемая эмоция образно, экспрессивно сопоставляется с *ночным* временем суток, противопоставляемым дню, обладающему в европейской культуре положительной коннотацией. Глагольная лексема *меркнуть* отрицательно окрашена: «Меркнуть – постепенно утрачивать яркость, блеск. Звезды меркнут. Меркнет взгляд. Меркнет слава» (ТС 1995, с. 343). Печаль, овладевшая человеком, лишает его сил, энергии и жизнерадостности.

Единичным пословичным экземпляром представлена *эстетическая* оценка печали: «Печаль человека не украсит». В ней русским этносом осуждается переживание этой эмоции. Каких-либо доказательств, свидетельствующих, как мы понимаем, о легком порицании печали, при этом не приводится.

Лишена каких-либо аргументов и пословица «Ни радости вечной, ни печали бесконечной», в которой русские пытаются утешить себя и, возможно, других, постулируя временность негативного печального состояния человека, впрочем, равно как и радостного расположения духа.

Как общефилософскую, диалектическую можно квалифицировать пословицу «Печали без радости, ни радости без печали не бывает»: положительные эмоции всегда в жизни соседствуют с отрицательными и наоборот.

Общая отрицательная оценка «деривата» печали, тоски, выражена в примерах: «В тоске вольного свету не видим», «Спи в тосках на голых досках». В них эксплицируется идея силы воздействия данной эмоции на психическое состояние человека; счастливая, свободная жизнь максимально удалена от переживающих тоску людей: «В тоске вольного свету не видим». Примером же «Спи в тосках на голых досках» лингвистически оформлено, мягко говоря, неудобное психофизическое состояние человека. Его тоскливое состояние ассоциировано с неустроенностью быта, возможно, с бедностью в целом.

Можно заключить, что в русских пословицах и поговорках достаточно четко выражены следующие *основные*, судя по количественным показателям, образные представления о печали ее носителей: она в большей или меньшей степени деструктивна, т.е. причиняет переживающему ее человеку моральный и физический ущерб, парализует его в действиях, лишает активности, в явном виде находит свое соматическое оформление. Указывается место ее пребывания – сердце; печаль коннотатирована с образами конкретных, согласно русскому сознанию, отрицательных существ (червь, моль). Кроме того (прав-

да, реже), печаль образно связана со следующими понятиями: а) «способ избавления от эмоции» (при этом наиболее верным методом ее преодоления является апеллирование к Богу); б) «продуcentом печали» является черт; в) русская печаль получает как эстетическую (не хорошо быть печальным), так и общефилософскую оценку (печаль не бесконечна); г) тоскливое состояние человека может иногда ассоциироваться у русских с неустроенностью их быта.

Теперь рассмотрим образные представления немцев о группе эмоций *Trauer* (*Traurigkeit*, *Kummer*, *Gram*, *Schwermut*). Общее количество немецких пословиц и поговорок, оценивающих указанные культурные концепты, составляет 15 единиц. Обращают на себя внимание полное отсутствие использования слова *Trauer* в пословично-поговорочном фонде немецкого языка и минимальная репрезентативность в нем его деривата *Traurigkeit* (1 пример). Принципиально важным считаем указать на активное использование третьего члена микропарадигмы *Trauer* в текстах пословиц и поговорок – слова *Kummer* (10 употреблений).

На основании интерпретации метафорических описаний членов синонимического ряда *Trauer* мы предлагаем их семантическую классификацию на соответствующие группы. Сразу же заметим: анализ немецких пословиц и поговорок обнаруживает, что, во-первых, концепты *Traurigkeit*, *Kummer*, *Gram* и *Schwermut* оцениваются в целом как нежелательные психические переживания и, во-вторых, рассматриваемые в сопоставляемых лингвокультурах ЭК по глубине и ассоциативной направленности в целом «опредметивших» их образов «проработаны» немцами и русскими несколько различно.

Семантическая группа «активная психосоматическая деструктивность эмоций», наиболее квантитативно представленная в русском языке, обнаружена и в немецком: *Kummer verzehrt die Leute*; *Gram zehrt im stillen*; *Heimlicher Kummer tut weh*; *Gram bricht auch ein starkes Herz*. Согласно представлениям немцев, *Kummer* и *Gram* способны физиологически поглощать человека. При этом столь богатой и разнообразной экспрессии в немецких пословицах и поговорках по сравнению с русскими не наблюдается. В принципе во многом аналогичная ассоциативная направленность немцев оказывается значительно скуднее русского образного понимания обсуждаемых концептов. Сознание немецкого этноса в отличие от русского фокусирует свое внимание на возможной скрытной форме переживания *Gram* и *Kummer* (*im stillen*, *heimlicher*), что отрицательно действует на психическое

самочувствие человека. В примере «Gram bricht auch ein starkes Herz» подчеркивается мысль о силе, интенсивности эмоции *Gram*.

Вторая семантическая группа «пассивная соматическая деструктивность эмоций», представленная в русских пословицах и поговорках 4 высказываниями, в немецком языке репрезентирована следующими примерами: *Kummer macht alt vor den Jahren*; *Kummer vertreibt Schlummer*; *Sorgen und Kummer rauben den Schlummer*. Их интерпретация обнаруживает психолого-культурологическую корреляцию эмоции *Kummer* с понятиями сна (*Schlummer*) и преждевременного старения переживающего ее человека (*macht alt*). Данные языковые иллюстрации оказываются еще менее образными и экспрессивными, чем примеры вышеобсужденной семантической группы. В группе «пассивная соматическая деструктивность эмоций» немцами предлагается констатация житейского факта, который, несмотря на его ритмически оформленную вербализацию, недостаточно образен в силу отсутствия указания в нем эмоциогенной денотативной сферы (ср., с русским образом «червь» и т.п.). Любопытен, кстати, сам факт употребления в одном синтагматическом ряду лексем *Kummer* и *Sorgen* в одном из пословичных микротекстов (ср. с вышеприведенной парой русских лексем *печали* и *беды*). Данный языковой пример, кажется, подчеркивает преимущественно утилитарную ориентацию продуцентов устойчивого немецкого выражения.

Так называемая «локативная» семантическая группа, достаточно подробно описанная при рассмотрении русского концепта *печаль*, в немецком языке представлена всего лишь одним, возможно, сомнительным примером, входящим по своей семантике, в первую очередь, в группу № 1 – *Gram bricht auch ein starkes Herz*. В данном случае в немецкой пословице, как мы ранее упоминали, акцентируется внимание скорее на интенсивности переживания эмоции *Gram*, нежели на месте ее обитания, хотя и сам орган средоточия человеческих эмоций – сердце – формально обозначен. Следует заключить, что обсуждаемые эмоции в целом не ассоциированы с областью «наивной анатомии», столь актуальной при их образном освоении для русского языкового сознания.

Интерпретативный анализ пословично-поговорочного фонда немецкого языка позволяет сделать, по нашему мнению, важный в лингвокультурологическом плане вывод: у немцев максимально отрелексированными оказываются *способы избавления* от переживания отрицательных эмоций (семантическая группа № 4), в то время как в русском этносе преобладающим является чрезвычайно образная, бо-

гатая коннотациями иллюстрация *форм их протекания*. Если русское языковое сознание сосредоточено на фиксации соматических проявлений активно персонифицируемой печали, свидетельствующих о ее сильном разрушительном воздействии на тело и душу человека, то немецкое сознание предпочитает искать средства преодоления переживания деструктивных эмоций – *Geduld und Zeit lindern alle Traurigkeit*; *Mit einem Pfenning Frohsinn vertreibt man ein Pfund Kummer (Sorge)*; *Beim Trinken und Essen wird der Kummer vergessen*; *Der Kummer schwindet, wenn er keine Naehrung findet*. Характерно, что к этим средствам немцы в отличие от русских не относят Всевышнего; ими указываются преимущественно совершенно конкретные земные способы преодоления переживания печали и профилактики ее появления. Немецкое языковое сознание охотно оперирует такими понятиями, как «пища» (*Trinken und Essen, Naehrung*) и «терпение» (*Geduld*). Употребление пищи и сам фактор времени представляются немцам одним из средств противления депрессии. К ним относится, выражаясь психологическим термином, также и аутотренинг. Утверждается легкость преодоления гнетущего состояния – *Mit einem Pfenning Frohsinn vertreibt man ein Pfund Kummer (Sorge)*. Достаточно попытаться ввести себя в жизнерадостное состояние (*Frohsinn*), чтобы избавиться от негативной эмоции, одолевшей человека. Косвенно этой пословицей поощряется переживание человеком положительных эмоций и соответственно порицается переживание им отрицательных аффектов.

Пятая семантическая группа, обнаруженная нами в немецком языке и условно обозначенная как «утилитарная», отсутствует в русском пословично-поговорочном фонде. В нее входят пословицы, считающие переживание эмоций *Gram* и *Kummer* нецелесообразным с точки зрения жизненных, бытовых интересов человека: *Gram zahlt keine Schulden*; *Hundert Stunden Kummer bezahlt keinen Heller Schulden*. Любопытна, на наш взгляд, в психолого-культурологическом плане вторая из приведенных пословиц. Согласно представлениям немцев, переживание данной эмоции бессмысленно, совершенно непрактично. Можно сколько угодно (гипербола *hundert Stunden*) озабоченно думать, например, о денежном долге, но его погашение предполагает активную работу, а не пустые, созерцательно-грустные размышления. Следует действовать, а не предаваться печали и унынию. В данном случае хотелось бы акцентировать внимание на факте частого апеллирования немецким социумом при оценке *Kummer* к понятию денег, включенного в анализируемые метафоры (*Hundert Stunden*

Kummer bezahlt keinen Heller Schulden; ср. также с *Mit einem Pfennig Frohsinn vertreibt man ein Pfund Kummer / Sorge*). Не составляет большого труда заметить релевантность феномена «деньги» для немцев, ассоциируемого с рассматриваемой эмоцией.

Далее кратко проанализируем оставшиеся пословицы и поговорки, объединение которых в какие-либо семантические группы невозможно, поскольку в них в единичном экземпляре эксплицируются различные смыслы. В пословично-поговорочных фондах немецкого языка четко не названа причина появления печали. Русским представляется, что эта эмоция может возникнуть в результате действий существ, олицетворяющих зло, – чертей. В немецком этносе ее возникновение иногда может ассоциироваться с алкоголем (*Wermut macht Schwermut*). В пословице «*Wer seinen Kummer klagt, dem fehlt 's an Worten nicht*» выражено самое общее соображение об отрицательной направленности эмоции *Kummer* (*klagen – Schmerz oder Trauer aeussern*).

Интерпретация в сопоставительном плане пословично-поговорочных русско- и немецкоязычных текстов, описывающих концепты печали в двух культурах, позволяет резюмировать следующее:

1. В пословично-поговорочных фондах обоих языков, метафорически описывающих группу эмоций *Trauer*-печаль, обнаружены две совпадающие семантические группы, которые, судя по количественным показателям, являются базисными. К ним относятся «активная психосоматическая деструктивность эмоций» и «пассивная психосоматическая деструктивность эмоций». Несмотря на сходство указанных семантических групп, пересекающихся в сопоставляемых языках, есть заметные различия в самих образах, изображающих концепты *печали* и *Trauer*. Русская печаль связана с такими понятиями, как «физическое недомогание», «отсутствие аппетита», «депрессия», «беда», «слезы» и даже «смерть». Данная эмоция коннотативирована с конкретными живыми существами (червь, моль), отрицательно оцениваемыми русскими. В русском этносе персонифицируемой эмоции приписываются активные, если так можно выразиться, каннибальские признаки: она уподобляется либо страшному мифическому, либо же реальному существу, физически поглощающему человека (глаголы *поедать, есть*). «Идея пожирательства», более активно и значительно образнее эксплуатируемая русским этносом по сравнению с немецким, по сути являет собой результат и способ воздействия рассматриваемой эмоции на тело и душу человека. Метафорические дескрипции печали в русских пословицах и поговорках граничат с нату-

рализмом. В немецкоязычном пословично-поговорочном фонде «идея пожирательства» выражена не столь ярко и образно. Две пословицы, ее эксплицирующие, фиксируют конкретный житейский факт – *Kummer verzehrt die Leute*; *Gram zehrt im stillen*. Немцы соотносят переживание печали с понятиями сна и преждевременного старения человека. Принципиально важно отметить высокий индекс метафорического употребления широкозначного немецкого слова *Kummer*, актуализирующего в пословицах и поговорках преимущественно семантический признак «забота».

Анализ указанных базисных семантических групп позволяет заключить, что немцы распредмечивают соответствующие концепты менее чувственно, менее образно. У слов группы *Trauer*, судя по собранному материалу, не столь разнообразны по сравнению с русской печалью ассоциативно-коннотативные ряды.

2. Психологически и культурологически не менее важным мы признаем наличие в русском пословично-поговорочном фонде «локативной» семантической группы. Русскими, в отличие от немцев, активно эксплуатируется «знание» места пребывания этой эмоции (русская печаль живет в сердце). Это наблюдение, как кажется, вписывается в концепцию русской «наивной анатомии эмоций» (см.: Головановская 1997, с. 229–230).

3. В немецких пословицах и поговорках нами выявлена семантическая группа «способы избавления от эмоций». Идея поиска средств и способов профилактики и преодоления отрицательных эмоций в немецком этносе (в отличие от русского) находит достаточно четкое выражение. Время, терпение и самовнушение, по мнению немцев, могут избавить человека от подавленного состояния. Согласно лингвистическому материалу, немцы не склонны горевать по поводу каких-либо неудач. Они призывают не печалиться, а активно действовать с целью изменения сложившегося положения дел. Нет смысла, учат нас немецкие пословицы и поговорки, предаваться унынию, поскольку это *не практично*. Немецким этносом актуализируется релевантность утилитарного типа оценки эмоций. Немецкие пословицы считают переживание *Gram* и *Kummer* нецелесообразными с точки зрения жизненных, бытовых интересов человека.

Для русского же языкового сознания, если верить пословицам и поговоркам, характерны некая грустная созерцательность и пассивность. Русскими, сфокусировавшими свое внимание на формах проявления эмоций, каких-либо рецептов по избавлению от этой негативной эмоции принципиально не предлагается. Единственным, с

точки зрения здравой логики, немотивированным утешением русскими признается конечность переживания всякой эмоции: «Ни радости вечной, ни печали бесконечной». Средством противления печали может быть обращение за помощью к Всевышнему: «От всякой печали Бог избавляет». Имплицитно в этом высказывании выражена идея божьего всемогущества, ничтожность и слабость самого человека.

Интерпретация русских и немецких пословиц и поговорок в сопоставительном аспекте фиксирует любопытный, прежде всего с точки зрения психологии, этнографии и культурологии, языковой факт: для немецкого народа релевантным представляется поиск конкретных (не виртуальных) *способов избавления* от переживания печали, что не свойственно русским.

4. Следует указать на репрезентацию эстетической оценки в одной из русских пословиц, отсутствующую в немецком пословично-поговорочном фонде. Единичным примером представлена в русском языке причина появления печали (черт). В немецком языке причина возникновения этой эмоции не названа.

Теперь перейдем к характеристике группы эмоций *Zorn – гнев*. Данные эмоции имеют в пословично-поговорочном фонде немецкого языка значительно более детальное качественное и количественное описание (соотношение 45 к 3). Интерпретативный анализ соответствующих немецких пословиц и поговорок обнаруживает, что *Zorn* и *Wut* оцениваются как крайне нежелательные для человека психические переживания. Аргументами при этом, согласно представлениям немцев, служат следующие вербализованные суждения, классифицируемые на соответствующие семантические группы.

Количественно наиболее представлена (16 примеров) идея осуждения немецким этносом переживания гнева. Семантическая группа «гнев – это не разумно» иллюстрируется следующими выражениями: *Wo der Zorn einkehrt, muss der Verstand ausziehen*; *Es ist selten gut, was einer aus Zorn tut*; *In der Wut tut niemand gut*; *Zorn und Uebermut tun selten gut*; *Wer im Zorn handelt, geht im Sturm unter Segel*; *Der Zorn ist blind*; *Der Zorn ist ein schlechter Ratgeber*; *Zorn und Liebe geben schlechten Rat*; *Im Zorn erkennt man den Toren*; *Beim Zorn kennt man den Toren*; *Der Zorn ist ein Narr*; *Zorn bringt den Narren um*; *Zorn beginnt mit Torheit und endet mit Reue*; *Auf grossen Zorn folgt grosse Reue*; *Geht der Zorn, so kommt die Reue*; *Dem Zorn geht die Reue auf den Socken nach*; *Im Zorn ist Zaudern das beste*. Нетрудно заметить, что гнев четко противопоставлен такому понятию, как «разум» (*Verstand*); эта эмоция в немецком этносе ассоциируется с иррациональным пове-

дением пребывающего в состоянии гнева человека – *ein schlechter Ratgeber, selten gut, niemand tut gut* (плохой советчик, ничего хорошего не выйдет), *der Tor, der Narr* (глупец), *die Torheit* (глупость), *im Sturm unter Segel* (неоправданный риск для жизни). Утверждается, что после совершения «гневных» действий человек, успокоившись, непременно впоследствии раскаивается (*Reue*), что говорит о негативном характере эмоций *Wut* и *Zorn*.

Накопленный немецким народом жизненный опыт, соответственно нашедший свою лингвистическую объективацию в пословицах и поговорках, коррелируется с анкетными данными, полученными психологом К. Изардом, поставившим перед собой, в частности, задачу узнать мнение американских студентов о последствиях переживания данных эмоций. Одним из наиболее распространенных было указание испытуемых на импульсивность, иррациональность действий человека, переживающего гнев, а также на необходимость сохранить или восстановить контроль над собой в провоцирующих эту эмоцию ситуациях (Изард 1999, с. 247). Корреспонденция оценочных характеристик гнева, вербализованного в кладезе народной мудрости, и экспериментальных данных, полученных в результате проведения анкеты, на наш взгляд, очевидна. Тем более убедительным оказывается мнение представителей разных народов о нежелательности, еще точнее, о практической нецелесообразности переживания аффекта гнева, поскольку в данном случае речь идет о двух во многом культурно различающихся этносах – немецком и американском.

Вторую семантическую группу, квалифицирующую гнев на уровне пословично-поговорочного фонда немецкого языка, можно обозначить как «способы избавления от гнева»: *Gute Antwort bricht den Zorn; Nachgeben stillt viel Zorn; Wohltat stillt den Zorn; Sanfte Rede stillt den Zorn; Ein sanftes Wort stillt grossen Zorn; Sanftmut stillt den Zorn; Uebersehen stillt viel Zorn*. К ним, как можно видеть, относятся в том числе и вербальные средства (*Antwort, Rede, Wort*).

В семантической группе «гнев – это вред здоровью, его переживание нежелательно» (*Nimm den Zorn nicht mit ins Bett; Stiller Zorn, schlimmer Zorn; Zorn schadet dem Zornigen; Hass und Zorn altern langsam*) немецким народом отмечена психологическая связь эмоции с физическим состоянием человека (*schaden, altern*). Согласно пословицам и поговоркам, переживание гнева наносит вред здоровью человека, лишает его сна, функционально ему необходимого, и, следовательно, от этой эмоции следует избавляться.

Четвертая семантическая группа «переживание гнева есть признак слабого характера» представлена 3 пословицами (Wer einen Zorn bezwingt, hat einen Feind besiegt; Der Zorn beherrscht nur schwache Leute; Wer seinen Zorn beherrschen kann, das ist ein starker Mann). В немецком этносе порицается переживание и выражение данной эмоции. Одобрительно оценивается поведение человека, сумевшего совладать с ней, что само по себе нелегко, требует определенных волевых усилий, борьбы (*besiegen*).

«Переживание гнева ведет к разрыву социальных контактов», – так можно обозначить пятую семантическую группу, квалифицирующую гневные эмоции (Im Zorn geht Freundschaft verloren; Zorn verjagt die Leute).

Следующая идея, выраженная в пословично-поговорочном фонде немецкого языка и сопряженная с концептом *Zorn*, может быть сформулирована так: «гнев мешает достижению успеха в жизни, он может принести хозяйственные (экономические) убытки человеку» (Mit Zorn richtet man wenig aus; Wer im Zorn aufsteht, setzt sich mit Schaden nieder). Ее вербальная фиксация в культурной системе немецкого народа на уровне «готового» к употреблению текста кажется вполне закономерной, если вспомнить, например, труды социолога религии М. Вебера, согласно которым *немецкий* социум традиционно был нацелен на создание материальных благ. Стремление к ним активно и небезуспешно поощрялось, в частности, протестантской церковью (см.: Вебер 1990). В этой связи, на наш взгляд, представляется уместным указать на исследования лингвистов, установивших высокую степень релевантности концепта *богатство* именно для немецкой культуры (Бабаева 1997). Здесь же отметим выявленный нами факт более плотной корреляции между ЭК *Trauer* и концептом богатства для немецкого этноса по сравнению с русским (ср.: Hundert Stunden Kummer bezahlt keinen Heller Schulden; Mit einem Pfennig Frohsinn vertreibt man ein Pfund Kummer и многие другие).

Немецким этносом психологически верно замечен факт использования переживающим гнев человеком *любых* средств, по всей видимости, и аморальных (вспомним *der Zorn ist blind*): Im Zorn wird alles zur Waffe; Zorn leiht Waffe. Примечательно, что, согласно пословицам, быть в гневе позволительно сильным, владеющим властью людям: Zorn ohne Macht wird ausgelacht; Der Zorn des Schwachen ist zum Verlachen.

Эмоция гнева, как показывает эмпирический материал, в немецкой культуре ассоциативно корреспондируется с мужским типом

поведения: *Zorn ist ein Mann, Sanftmut eine Frau*. В данном случае гнев противопоставлен эмоции, вернее черте характера – кротости (*Sanftmut*). Указанный лингвистический факт, так сказать, психологически верифицируем. Гнев, входящий согласно теории дифференциальных эмоций в триаду враждебности (Изард 1999, с. 240), непосредственно коррелирует с агрессивным типом поведения человека. По утверждению американского психолога, «агрессивность часто ассоциируется с сексуальной потенцией, но эта взаимосвязь обусловлена, по-видимому, не только биологическими, но и культуральными факторами. Очень многие люди рассматривают агрессивность как признак *мужественности* (Изард 1999, с. 264, курсив мой. – Н.К.).

Девятая семантическая группа, распроектировавшая обсуждаемый концепт, обозначается как «общая отрицательная оценка гнева» (*Jaehes Zorn stiftet viel Boeses; Auf den Zorn ist nicht gut trinken*).

Интерпретативный анализ пословиц и поговорок, описывающих данную группу эмоций в немецком языке, позволяет также зафиксировать наряду с их вышеотмеченными отрицательными и положительными характеристиками. Если гнев «дозирован», то может благоприятно сказываться на человеческих интимных отношениях. Если гнева немного – это хорошо, поскольку он «разбавляет» серые будни, вызывает переживание положительных эмоций, в частности чувство любви (прежде всего, в ее эротическом «варианте»): *ein kleiner Zorn staerkt die Liebe* (букв. «Маленький гнев укрепляет любовь») (ср. с русской пословицей «Милые бранятся только тешатся»). Рекомендация немецкой пословицы переживать гнев «дозированно» основывается на человеческом знании сущности таких родственных концептов, как *любовь* и *ревность*. Гнев – это своего рода катарсис; он может привести к былым острым ощущениям плотской любви, очистить ее от хлама прозы. Переживание эмоций группы гнева временно (ср. с *verliebter Zorn ist bald verlorn*).

Две другие пословицы (*Zorn ist der Stachel zu grossen Taten; Zorn macht stark*) квалифицируют рассматриваемую эмоцию исключительно позитивно: гнев стимулирует активность деятельности человека. Определенная деятельностная позитивность данной эмоции отмечена также и психологами, считающими, что гнев способен, в частности, ослабить страх; он придает человеку решимость, а значит, и способность к поступкам (Изард 1999, с. 245).

В пословично-поговорочном фонде русского языка мы обнаружили всего лишь 3 выражения, оценивающих эмоцию гнева: «Гнев –

плохой советчик”; “Покорное слово гнев укрощает”; “Царский гнев и милость в руке Божьей”. Таким образом, в русском языке, как и в немецком, выражены идеи неразумности переживания гнева, способность его укрощения. Национально-специфической, согласно русскоязычным пословично-поговорочным высказываниям, является идея источника гнева (царь).

Итак, во-первых, эмоции гнева, входящие в качестве структурного компонента в эмоцию враждебности, обнаруживают высокую степень лингвистической объективации в пословицах и поговорках немецкого языка. В пословично-поговорочном фонде русского языка они лингвистически объективированы минимально.

Во-вторых, данные эмоции оцениваются либо отрицательно, либо амбивалентно (редко) в пословицах и поговорках сопоставляемых языков, либо же положительно (редко).

Гневу и русский, и немецкий этносы приписывают ярко выраженную *отрицательную* оценку. Ее мотивами, судя по количественным показателям, является обычно неразумность, иррациональность реальных и вербальных поступков, совершаемых человеком, пребывающим в соответствующем эмоциональном состоянии. Гнев считается отрицательной эмоцией, поскольку он имеет нежелательные последствия для практической деятельности человека. Можно заключить, что немецкое общество неодобрительно относится к неумению его членов оформлять отрицательные аффекты. Негативная оценка данной эмоции определяется последствиями «гневного» человеческого поведения (неуспех в работе, в целом – в жизни). Сильные духом люди всегда в состоянии держать себя в руках, что само по себе хорошо. Более того, выразив эмоцию гнева, ее носитель попадает в ситуацию самонаказания (например, лишается сна). Гнев – это нанесение вреда здоровью. Отсюда следует пословицная рекомендация о целесообразности избавления человека от данной эмоции.

Оценочно амбивалентна пословица, выражающая мысль о связи данной эмоции с мужским агрессивным типом поведения (*Zorn ist ein Mann, Sanftmut eine Frau*), который, по мнению психологов (см.: Изард 1999, с. 264), может квалифицироваться в обществе как способность к решительным и мужественным поступкам. Русскую пословицу «Царский гнев и милость в руке Божьей» с точки зрения ее знаковости следует квалифицировать как амбивалентную.

Лингвопсихологический «портрет» эмоций гнева в немецком этносе был бы неполным, если бы мы не указали на установленную нами

положительную оценку данного аффекта. Гнев «в меру» немецким социумом допускается в интимной сфере человеческих отношений. Всплеск «дозированного» гнева провоцирует появление положительных эмоций (преимущественно эротически направленных). Кроме того, он способен стимулировать в целом активность человека.

В-третьих, богатый немецкоязычный материал позволяет нам выявить типы оценки, положенные в основу метафорических дескрипций *Zorn* и *Wut* (подробно о типологии оценок см.: Арутюнова 1999а, с. 130–132). Рассматриваемые эмоции оцениваются как утилитарно (*Wer im Zorn aufsteht, setzt sich mit Schaden nieder*), так и эстетически (*Zorn ist ein Mann, Sanftmut eine Frau; Ein kleiner Zorn staerkt die Liebe.*) Четко выраженной приоритетности того / иного типа оценки концепта гнева в немецком этносе на проанализированном материале не установлено.

Выводы

С целью синхронно-диахронического исследования ЭК в немецкой и русской лингвокультурах мы обратились к их вербализации в двух типах текстов – художественном и пословично-поговорочном. Первый содержит преимущественно *современное* (в том числе и образное) представление носителей языка об эмоциях, в то время как второй главным образом фиксирует представления о них более «раннего» человека. И в том, и в другом случаях номинации эмоций метафоризируются. Поскольку всякая метафора строится на сравнении, уподоблении самых различных явлений материальной и духовной культуры друг другу, представляет интерес выявление в немецком и русском языковом сознании характера корреспонденций психического, внутреннего мира (мира эмоций) как с реальным, так и с виртуальным миром. Иными словами, для нас было важно выяснить, что за мотивации и образы стоят за метафорическим использованием номинантов эмоций в разных лингвокультурах.

Анализ многочисленных употреблений номинантов эмоций в прозаических и поэтических немецко- и русскоязычных текстах (XVIII–XX вв.) выявил их синтактико-семантические возможности. С формальной, синтаксической точки зрения номинанты эмоций можно представить тремя моделями: пассивной (обозначения эмоций выступают преимущественно в функции объекта), активной (они – субъекты действия) и, наконец, активоидной (обозначения эмоций являются «психологическим» субъектом и «лингвистическим» объек-

том действия). При этом, как показывает языковой материал, номинанты эмоций выступают как структурный элемент многочисленных *метафорических описаний* тех / иных эксплицируемых в речи эмоциональных смыслов. Метафоризация номинаций эмоций как вторичный тип их обозначения представляет наибольший интерес для лингвиста-культуролога, поскольку именно ее анализ обнажает сам лингвокогнитивный механизм деятельности человеческого сознания. Наблюдения над метафорическими описаниями обнаруживают существование скрытых связей между различными феноменами мира, открывают для человека новые знания об окружающей его действительности, его внутреннем мире. Ассоциативный характер нашего языкомышления своим результатом имеет вербальное установление формальных и функциональных сходств, связывающих предметы объективной и субъективной действительности. Обнаружение ассоциативных отношений всегда культурно обусловлено: в этносе в разное время его существования вербально эксплицирована система ценностных предпочтений в выборе «участников» метафоры.

Проведенный анализ употребления номинатов эмоций как компонента метафорических дескрипций в художественных произведениях показывает принципиальное сходство множества образов, используемых носителями немецкого и русского языков в понимании исследуемого социально-психологического феномена, что обусловлено универсализмом базисных архетипов (огонь, вода, воздух), лежащих в основе толкования человеком мира. Архетипический характер ословления психической действительности не исключает, естественно, самобытности языкового национального и индивидуального человеческого мышления, выбора ценностных предпочтений, мотивов и самих речевых образов при интерпретации мира разными этносами.

Художественное и бытовое толкование ЭК осуществляется элитарными и рядовыми языковыми личностями посредством обращения к таким понятийным сферам, как «человек» (антропоморфные метафоры), «неживая природа» (натурморфные метафоры), «животный и растительный мир» (зооморфные и флористические метафоры). Как в немецком, так и в русском языках наиболее продуктивными являются антропо- и натурморфные типы метафор. Высокий индекс употребления антропоморфной метафоры мы понимаем как интроспективность их продуцента и носителя – человека, стремящегося измерять, значит, и оценивать «вещи» сквозь призму Еgo. Эмоциям человеческое сознание приписывает известную «человекоподобную» активность, в основе которой лежит их мотивационная сила. Причи-

на же активного применения натурморфной метафоры (в особенности, глагольной – *aquaverbum*, *rugoverbum*, *rugoaquaverbum*, *aerogverbum*), уподобляющей психические переживания человека реально воспринимаемым предметам действительности, кроется в традиционной витальной и утилитарной ценностях для нашей жизни. Установлено, что часто эмоции немцами и русскими мыслятся как образы огня, дыма, жидкости, которым, согласно мнению специалистов по мифологии (Малиновский 1998, с. 45–46; Уилрайт 1990, с. 105–106), приписывались различные магические свойства: огонь – символ очищения, вода – символ рождения, жизни и т.п.

Самое активное использование в сопоставляемых языках *глагольных* метафорических описаний эмоций мы объясняем динамизмом данной части речи. Глаголы в силу динамизма их семантики способны более эффективно, более адекватно кодировать эмоциогенные ситуации. С семантической точки зрения глаголы, сочетающиеся с номинантами эмоций, относятся к следующим основным группам: *motusverbum* (глаголы движения), *emotioverbum* (глаголы, выражающие эмоции), *localverbum* (глаголы места), *dicendiverbum* (глаголы говорения), *morbusverbum* (глаголы, выражающие понятие болезни).

Рассматривая метафорические описания эмоций с точки зрения экспликации в них типов оценки (гедоническая, сенсорная, утилитарная), мы пришли к выводу о том, что для них в немецком языке характерны сенсорный (*sanfte Freude* и т.п.) и утилитарный типы оценки (*sinnlose Wut*, *sinnloser Zorn* и т.п.), а в русском языке – преимущественно сенсорный (*сладкая радость*, *горькая печаль* и т.п.). Этот лингвистический факт объясняется различием в системе культурных предпочтений разноязычных этносов: выбор способа освоения эмоционального мира этноспецифичен. Утилитарность оценки в немецком языке по сравнению с русским более актуальна и для другого типа текста – пословично-поговорочных высказываний.

По сравнению с художественными пословично-поговорочные тексты, описывающие эмоции с точки зрения их эмоциональной оценочности, менее экспрессивны и образны, что обусловлено различиями интенций их продуцентов. Вместе с тем пословично-поговорочный материал мы признаем культурологически релевантным в силу четко выраженной в нем рационально-эмоциональной квалификации исследуемого нами явления. Следует заметить, что именно в данном типе текста наиболее эксплицитно «высвечиваются» национально-специфические особенности представителей двух этносов в оценке эмоций.

В немецком пословично-поговорочном фонде номинации эмоций представлены значительно большим количеством, чем в русском (соотношение 126 к 39), что и обуславливает различную степень разнообразия их описания в данном типе текста. Примечательно, что единственной эмоцией, более детально распредмеченной в пословицах и поговорках русского языка, является *печаль*. Судя по количественным показателям, в русских пословицах и поговорках четко эксплицированы следующие *основные* образные представления о ней ее носителей: печаль психологически в высшей степени деструктивна; русскими она ассоциируется с сердцем; она связана с образами конкретных, согласно русскому сознанию, отрицательных существ (червь, моль). Русская печаль в целом имеет негативную общепсихологическую и эстетическую оценку. Согласно представлениям русских, ее продуцент – черт, а единственный способ избавиться от нее – обращение к Всевышнему.

Эквивалент русской печали *Trauer* в немецких пословицах и поговорках описан менее образно, более однообразно. Немецкий этнос, судя по проанализированному паремнологическому материалу, сосредоточен на поисках конкретных способов избавления / профилактики появления данной эмоции в отличие от русского этноса, фиксирующего свое внимание преимущественно на формах ее протекания. Фактор времени, терпение и самовнушение, согласно представлениям немцев, избавляют человека от подавленного состояния, не следует горевать по поводу каких-либо неудач: не следует печалиться, нужно действовать с целью изменения сложившегося положения дел. Немецким этносом актуализируется релевантность утилитарного типа оценки эмоций. Немецкие пословицы считают переживание эмоций *Gram* и *Kummer* нецелесообразным с точки зрения жизненных, бытовых интересов человека, в то время как для русского языкового сознания характерны некая грустная созерцательность, пассивность. В целом же, правомерно указать на относительную бедность метафорического описания группы эмоций *Trauer* в немецких пословично-поговорочных выражениях по сравнению с русскими.

В пословично-поговорочном фонде немецкого и русского языков эмоция *Angst-schmerz* корреспондируется с идеей ее психической действительности. Данная негативная эмоция управляет поведением человека. В немецких пословицах и поговорках она имеет этическую негативную оценку.

Общими характеристиками эмоций *Freude* – *радость* являются следующие: «сменяемость эмоции радости другими (негативными) эмо-

циями», «переживание радости благотворно для здоровья человека»; «соматическое выражение радости»; «положительность эмоции радости»; «противопоставление радости негативным эмоциям». В русскоязычном материале выражена специфическая идея раритетности радости. В немецких пословицах и поговорках указаны такие специфические характеристики *Freude*, как причины появления и исчезновения радости, ее кратковременность и пути поиска.

Номинации эмоций группы *Zorn-gnev* имеют более детальную дескрипцию в немецких пословицах и поговорках. В обоих языках переживание отрицательной эмоции гнева сопряжено с идеей иррационализма. В немецком языке при этом дается обоснование нецелесообразности гневного поведения: неумение оформлять аффекты ведет к неуспеху в жизни, умение подавлять гнев положительно санкционируется обществом, переживание данной эмоции наносит вред здоровью ее носителю. Утверждается, что с гневом может справиться только сильный духом человек. Как в немецком, так и в русском языках предлагаются способы избавления / профилактики появления эмоции гнева (соответствующее вербальное поведение человека).

Примечательно, что гнев, согласно немецким пословицам, может оцениваться и положительно в том случае, если данная эмоция является стимулом к деятельности человека. В немецкоязычном материале указывается, что «дозированное» переживание гнева в личном общении людей служит катарсисом их отношений (в особенности интимных).

3.5. Концептуализация эмоций в мифологической, мифолого-религиозной и современной наивной и научной картинах мира

Лингвокультурологическое описание в динамике оязыковленных социальных феноменов, в том числе и эмоциональных, непременно предполагает их *синхронно-диахроническое* изучение. Собственно лингвистическое исследование знаков, вербализовавших человеческую культуру, во многом способно вскрыть механизм формирования мысли, становление системы понятий и в целом – самой культуры. Так, в частности, при этимологическом анализе русско- и немецкоязычных номинантов эмоций были показаны их многочисленные семантические преобразования (расширение, сужение, специализация соответствующих знаков) в конкретные исторические периоды развития язы-

ков. Однако толкование человеческих культур и цивилизаций посредством исключительно филологического исследования опредметивших их словесных знаков имеет эвристические ограничения. Лингвистические данные есть необходимое, но еще не достаточное условие максимально полного описания общественных культурных явлений. Объяснение культурных феноменов не может быть ограничено только лингвистическими сведениями, добытыми филологом. Обязательным условием описания того / иного факта социальной действительности мы признаем его комплексное, разноаспектное, многопрофильное изучение, предполагающее учет данных из разных областей знания, накопленного человечеством. Иными словами, собственно лингвистический анализ ЭК, являющихся предметом нашей исследовательской практики, вкупе с многочисленными экстралингвистическими фактами, предоставляемыми общегуманитарными дисциплинами (прежде всего этнографией, историей, психологией, социологией, культурной антропологией, культурологией), должен способствовать действительно глубокому осмыслению интересующего нас лингвокультурологического феномена.

Концепты, в особенности культурные, как ранее мы уже указывали, есть продукт лингвомыслительной человеческой деятельности, которая всегда «привязана» к конкретному времени и пространству и, следовательно, обладает определенными специфическими культурно-временными особенностями. И вербальные, и невербальные поступки (языковая и реальная деятельность) одновременно человека детерминированы его различными психокультурными установками, представляющими собой модели объяснения мира.

Толкование же действительности изменяется во времени, что обусловлено практическим опытом освоения ее человеком. В зависимости от характера толкования мира, его понимания и объяснения, самой системы аргументации человеческое мышление и сознание условно классифицируют на разные типы – архаичное (примитивное), дологическое, мифологическое, мифолого-религиозное, современное наивное, художественное, научное (см.: Бюлер 1993, с. 199–202; Гуревич 1972; Маковский 1996, с. 14, 26; Малиновский 1998, с. 95–100; Мечковская 1998; Нойманн 1998; Риман 1998; Фрейд 1992а, с. 135–256). Таким образом, подобно исторической классификации цивилизации на определенные этапы ее развития, человеческое мышление и сознание также условно типологизируются.

Известная стадийность становления нашего сознания – объективный процесс, управляемый определенными общественными за-

конами человеческого бытия. По своему характеру он принципиально социален и эволюционен. Указанные здесь этапы формирования сознания, условно выделяемые исследователями, суть его типы, онтологически «сросшиеся» друг с другом, в той / иной мере свойственные тем / иным эпохам цивилизации. На той / иной стадии развития цивилизации доминирующим является определенный тип сознания. Конкретная историческая эпоха может принципиально сочетать и сочетает в себе различные типы сознания, например, мифологическое и религиозное, религиозное и научное и т.п., что вполне объяснимо, если учитывать их генетико-психологическую или, шире, культурную преемственность. Условно выделяемые типы сознания есть на самом деле разные стороны единого целостного культурно-исторического феномена. Они в действительности представляют собой некое культурно-психологическое единство, обеспечивающее возможность существования, развития человеческой духовной и материальной культуры. В качестве примера, иллюстрирующего жесткую корреляцию разных типов сознания, можно привести его художественный и мифологический «варианты». Хорошо известно, что словесное искусство, например, содержательно изобилует мифологемами. Многие произведения, особенно в прошлом, вплоть до XVIII в. (см., напр.: Михайлов 1997, с. 509–511), опираются на мифологические сюжеты. Отмеченные выше типы человеческого сознания, таким образом, можно понимать как определенные *хронологически выстроенные* этапы распредмечивания им самого бытия.

В данной части исследования мы задаемся целью исследовать эмоциональный феномен в динамической плоскости его культурного формирования.

Мифологические архетипы и представления-эмоции

Освоение, объяснение человеком окружающего мира представляет собой эволюционный *лингвopsихолого-когнитивный* процесс, подчиненный определенным внутренним законам самой природы познания. Распредмечивание мира осуществляется посредством сформировавшихся в ходе развития цивилизации способов общения человека с самой действительностью. По своему характеру они могут быть непосредственными (по аналогии контакта приматов с природой) и опосредованными, отстраненными, не предполагающими прямой «корреспонденции» человека с физическими объектами. Первый способ общения архаичного человека хронологически первичен; он строится на человеческих *впечатлениях, эмоциональных реакциях*, возник-

кающих при контакте человека с миром. Формирование же второго способа общения человека с действительностью – хронологически вторично. Оно свидетельствует о приобретении примитивным человеком способности к абстрактным понятиям, способности непредметного, т.е. более развитого, в перспективе понятийного мышления, мышления, все более отягощенного первоначально размытыми, не устоявшимися символами и языковыми формами.

Древний человек, выделившийся в ходе эволюции из мира фауны, столкнувшийся с самыми разнообразными явлениями природы, унаследовавший генетическую программу действий, свойственную наиболее высокоразвитым приматам и оказавшийся в ситуации необходимости витального и биологического выживания, был объективно вынужден *осваивать* действительность доступными ему изначально примитивными способами и формами. Его постепенное обогащение практическим опытом, результатом взаимодействия с природой и себе подобными приводит к появлению первичных естественных символов (ритуал, магия, вербальные заклинания перед или после совершения определенного реального действия и т.д.), «записывающих» наиболее жизненно важные фрагменты мира, тем самым творящие «вторую» или «вторичную» действительность. Эта «вторая» или «вторичная» действительность по своей сути примитивно символична, в том числе и вербальна (в широком понимании термина), следовательно, в известной степени уже *абстрактна*. Появление *знака* изначально в форме психологического символа можно рассматривать как первую серьезную интеллектуальную попытку толкования мира архаичным человеком.

По К.Г. Юнгу, психологическому символу как таковому свойствен двойной характер – он сочетает в себе реальное и ирреальное. В этом, по мысли К.Г. Юнга, причина его рождения и само предназначение, вневременное функционирование в сообществе людей. Известный психоаналитик утверждает: «Будь он только реален, он не был бы символом, а был бы он реальным явлением, он не мог бы быть символическим. Символическим же может быть лишь то, что, обладая одним, включает в него и другое. Если бы символ был ирреален, он был бы ничем иным, как пустым продуктом воображения, ни к чему реальному не относящимся, т.е. опять-таки он не был бы символом» (Юнг 1996, с. 151).

Концептуально близок юнгианскому пониманию символа Э. Кассирер, плодотворно занимавшийся в динамике проблемой становления человеческого сознания. Он пишет: «В символической функции

сознания, деятельность которой мы видим в языке, в искусстве, в мифе, из потока сознания извлекаются сначала определенные устойчивые основные образы (Grundgestalten), частью понятийной, частью наглядной природы; вместо текущего содержания появляется замкнутое в себе застывшее единство формы» (Кассирер 1996, с. 204, курсив мой. – Н.К.).

На самой ранней стадии зачатия сознания архаичный человек, по мнению ученых, никак не различал действительность реальную, тактильно, зрительно, аудитивно им воспринимаемую, и действительность субъективную, живущую в нем в форме неких диффузных, нечетко осознаваемых (эмоциональных) образов (см.: Нойманн 1998). Более того, некоторые исследователи полагают, что данное неразличение внешнего и внутреннего миров оставалось во многом актуальным еще и в средние века (Гуревич 1981; 1989; Касавин 1999).

Многие авторитетные ученые считают, что уже первые шаги примитивного человека, направленные на освоение действительности, были сопряжены с его переживаниями *элементарных, инстинктивных эмоций* – страха, опасности (Нойманн 1998; Римап 1998), генетически запрограммированных в наиболее высокоразвитые живые существа. Поскольку первичные реакции древнего человека, оформляющие его отношения с миром, эмоциональны, постольку и хронологически вторичные его ощущения, смутные, размытые *представления* о предметах окружающей действительности также эмоционально окрашены. В данном случае речь идет именно об *инстинктивных представлениях-эмоциях*, являющихся своеобразной реакцией архаичного человека с его неразвитой психикой на внешние стимулы.

В основе диффузных ощущений, представлений-эмоций лежат определенные архетипы, которые становятся психолого-вербальной базой для активного означивания и, в частности, ословления мира, участки которого ассоциативно расположены в формирующемся языковом сознании уже архаичного человека. К ним, как показывают результаты специальных философских, психологических, культурологических и лингвистических исследований (Гачев 1988, с. 80, 194–197, 269; Лосев 1993, с. 103–105; Маковский 1992, с. 7; 22; 46; Пропп 1999, с. 86; Юдин 1999, с. 37–39), относятся, прежде всего, физически воспринимаемые объекты мира – огонь, вода, воздух, земля, а также их «производные» – физические действия: действовать, быть, гореть, блеснуть, двигаться, бить, гнуть (Маковский 1992, с. 22; 55–56, 64–66; Монич 1998, с. 115–119). Указанным архетипам, в особенности первоэлементам мира (четырем стихиям) – огню, воде, воздуху, земле –

древним человеком приписывались всевозможные (в нашем современном понимании) сверхъестественные, магические свойства, трансформировавшиеся в многочисленные божества, характерные для продолжительной эпохи существования цивилизации.

Эти психологические архетипы в качестве основы человеческого мироздания отмечены, в частности, древнегреческими и древнекитайскими философами. Так, в понимании древних китайцев вселенское начало регулирует некий абсолют (Великий Предел). В даосском памятнике «Чжуан-цзы» утверждается: «В крайнем пределе холод замораживает, в крайнем пределе жар сжигает. Холод уходит в небо, жар движется на землю. Обе (силы), взаимно проникая друг в друга, соединяются, и все вещи рождаются. Нечто создало (этот) порядок, но (никто) не видел (его телесной) формы <...> Уменьшение и увеличение, наполнение и опустошение, жар и холод, изменения солнца и луны – каждый день что-то совершается, но результаты этого незаметны. В жизни существует зарождение, в смерти существует возвращение» (Атеисты... 1967, с. 267, курсив мой. – Н.К.).

Древняя китайская цивилизация создала учение «инь – янь», своеобразную интерпретацию устройства мира. В его структуру входят всепроникающие силы инь и янь, которые управляют жизнью во вселенной: чередованием ночи – дня, холода – тепла, инерции – энергии, расширения – сжатия. «Инь – покой, вода, инерция, растения, женское начало; янь – движение, огонь, энергия, животные, мужское начало» (Григорьева 1987, с. 266).

Для мифологического мышления диадно свойственны бинарные отношения. К их числу относятся «верхний – нижний»; «сухой – мокрый»; «вареный – сырой»; «мужской – женский»; «светлый (дневной) – темный (ночной)»; «правый – левый» (Юдин 1999, с. 37). Указанные диады, корреспондирующие с физическим и ментальным миром человека, универсальны и достаточны для мифологического толкования объективной и субъективной действительности. Их комбинации позволяли формировать «отрицательные» и «положительные» смыслы, строящиеся на ассоциативно-образной основе и представляющие собой определенную ценностную категориальную сетку-систему, набрасываемую древним человеком на окружающий его мир. Данные ценностные смыслы сохраняют свою культурно-психологическую актуальность и для современного цивилизованного человека, лучшим подтверждением чему служат многочисленные языковые факты. Ср. «подняться по служебной лестнице» (идея верха) и нравственно «опуститься» (идея низа), *hochkommen* (идея верха) и

'*runtergehen*' (идея низа); «*светлой* памяти...» и «*темные* делишки» и многие другие.

Сакрализация таких природных феноменов, как огонь, вода, воздух, земля, объясняется реальным положением архаичного, мифологического человека, сознание которого являло собой в те далекие времена *tabula rasa*. Иными словами, отсутствие знания о мире и необходимость реально и психологически себя защитить от природных явлений необходимо приводят человека времен седой старины к непроизвольному созданию мифов, совокупность которых образует общую мифологическую модель / картину мира. Одним из истоков ее формирования, причинами ее медленной трансформации в более четкоотрефлексированную мифолого-религиозную модель / картину мира можно считать базисные, «самые главные» эмоции, в первую очередь – эмоции страха и радости. К ним же, как уже выше отмечалось, относятся также эмоции гнева и печали.

В главе I мы приводили, на наш взгляд, убедительные аргументы психоаналитиков (Э. Нойманн, Ф. Риман и др.) и философов (Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Т. Гоббс, Ф. Ницше, К. Беме и др.) в пользу признания страха «эмоцией всех эмоций». Суть данной точки зрения заключается в том, что древний человек, брошенный в хаос мира, пытающийся сохранить себя в нем и от него же защититься, первоначально переживал именно эмоцию страха, страха инстинктивного, ему неподвластного, непонятного и необъяснимого, заложенного самой природой. Последующая интеллектуализация бытия отнюдь не избавила человека от этого активного переживания. Все более рационализировавшийся человек может лишь объяснить появление страха, но никак не избавиться от него.

Всякие попытки архаичного человека, все более приобретающего статус *Homo agens*, хоть как-то интерпретировать окружающий его мир и те инстинктивные, нечеткие, размытые, изначально принципиально отрицательно окрашенные в силу природной угрозы последнего *представления-эмоции*, которые возникали при соприкосновении потенциального *Homo sapiens* с действительностью, были обречены на фиксацию конкретно воспринимаемых «натуральных» объектов – воды, огня и т.п. Эти объекты действительности имели для формирующегося «человека разумного» первоначально витальную ценность. Впоследствии они, сохраняя свою утилитарность, приобретают для него и некую психологическую значимость, актуальность которой возрастала пропорционально социализации человека.

Многочисленные этнографические материалы свидетельствуют о том, как витально важные фрагменты мира сакрализуются человеком. Они становятся действительно релевантным культурным феноменом, необходимым для объяснения явлений мира. Известно, что культурная релевантность того / иного объекта мира во многом зависит от его практической ценности для жизни человеческого сообщества. Этнолог Б. Малиновский, проанализировавший в прошлом веке менталитет, систему ценностей носителей примитивной культуры, живших на Тробрианских островах, определил витально-психологическую значимость такого феномена, как пища. Вся процедура ее употребления связана с определенным магическим ритуалом, исполнение которого в представлении островитян есть необходимый атрибут. Пренебрежение последним принципиально недопустимо (Малиновский 1998, с. 44).

Изучение истории мифологий мира обнаруживает поразительное сходство их сюжетов, что говорит о некоем действительно «культурном и психологическом единстве человечества» (автор терминосочетания антрополог Ф. Боас 1997, с. 510), об универсальных путях распредмечивания мира, психологически опосредованно «подсказанных» человеку самими свойствами фрагментов «первой», «натуральной» действительности, данной ему в тактильных, визуальных и аудитивных формах.

К. Клакхон указывает на наличие определенных институтов, функционирующих во всех известных обществах, что свидетельствует о «глубинном сходстве всех людей» (Клакхон 1998, с. 41). Созданная картотека «общекультурного обозрения» в Йельском университете, по его мнению, «построена в соответствии с такими категориями, как “брачные церемонии”, “кризисные обряды”, “запреты инцеста”. Не менее семидесяти пяти этих категорий представлены в каждой из сотен проанализированных культур. Это и неудивительно. Члены любой группы обладают сходными биологическими характеристиками. Все люди проходят одни и те же мучительные жизненные ситуации, такие как рождение, беспомощность, болезнь, старость и смерть» (Клакхон 1998, с. 41).

«Культурное и психологическое единство человечества», схожесть магистральных дорог, ведущих человека к освоению действительности, убедительно доказываются не только в работах мифологов, но и в научных трудах историков, филологов, специализирующихся на толковании не мифологической, а более поздней – мифолого-религиозной – модели мира.

Чрезвычайно интересны, с нашей точки зрения, замечания упомянутого Ф. Боаса, продуктивно исследовавшего в начале XX в. культуры примитивных народов. В статье «Границы сравнительного метода в антропологии» он указывает на поразительное сходство представлений разных племен, местом обитания которых являются различные континенты (Африка, Австралия, Северная Америка), о загробной жизни, шаманизме, свойствах огня и т.п. «Представления человека исчерпываются несколькими повсеместно распространенными типами; то же можно сказать о социальных формах, изобретениях и открытиях» (Боас 1997, с. 510).

В таком же духе высказывался и немецкий историк О. Ранк: «Почти все народы с раннего времени в поэмах и сказаниях возвеличивали своих героев, сказочных царей и вождей, религиозных основоположников, основателей династий, государств и городов, короче, своих национальных героев <...> И прежде всего история рождения и юности этих личностей наделялась фантастическими чертами, чья обескураживающая *сходность*, а отчасти и *буквальная одинаковость* у разных, очень удаленных друг от друга и совершенно *самостоятельных народов* давно известна и отмечалась множеством исследователей» (Rank. – Цит. по: Фрейд 1992а, с. 139, курсив мой. – Н.К.). Так, российский ученый В.Я. Пропп, фундаментально исследовавший вопросы героического эпоса, указывает на схожесть поступков и судьбы русского Святогора и мифического египетского персонажа Осириса (Пропп 1999, с. 84–85).

Уже давно обнаруженная учеными схожесть сюжетов в мифологиях самых различных народов привела в XIX в. к формированию научных школ, по-разному интерпретирующих данный культурный факт (ср. «немецкую романтическую мифологическую школу» в лице Я. Гримма, В. Гримма, А. Куна и «школу эмиграционной теории» в лице Т. Бенфея, А.Н. Веселовского и др.).

Содержание мифологии – это результаты самых первых познавательных шагов древнего человека, зафиксировавшие его представления о судьбе, природе и ее законах, дохристианских божествах и т.п.

Мифология – феномен языческий. Под язычеством понимают не только простую совокупность мифов, преданий и т.п., но и их жизнь в истории человечества. Главная идея язычества выросла, по словам Г.С. Беляковой (1995, с. 4), «из самой жизни, а потому оно охватывало мировоззрение и “жизневоззрение” людей древнего мира».

Само же понятие мифа трактуется как «особый тип мышления, хронологически и по существу противостоящий историческому и

естественнонаучному типу мышления» (Топоров 1988, с. 11). Миф наряду с искусством, религией и языком считается «символическим выражением творческого духа человека; в них этот дух принимает объективную, ощутимую форму, осознавая себя через осознание его человеком» (Нойманн 1998, с. 380).

Чрезвычайно распространенным является исключительно психоаналитическое толкование данного феномена. «Персонафицированным желанием группы людей» назвал миф Э. Кассирер (Кассирер 1996, с. 205).

На мифах зиждилось все дорелигиозное знание древнего человека; дорелигиозная картина мира «рисовалась» именно мифом. Так, в исследовании «Античность как идеал и культурная реальность XVIII–XIX веков» известный отечественный культуролог, филолог А.В. Михайлов справедливо замечает, что христианство «переработало» языческие мифы, «мифы совместились с фондом христианских верований, христианство систематизировало мифологию» (Михайлов 1997, с. 513). Данный культурный феномен имеет в науке, в частности в отечественной, специальное терминологическое обозначение – «православно-языческий синкретизм» (см.: Георгиева 1998, с. 27).

Все религии принципиально питались и питаются мифологией – первичной интерпретацией Космоса. Мифологическое знание, мифологическое толкование действительности предшествовало всякой другой форме человеческого сознания. В основе же самого мифологического знания лежат определенные архетипы, посредством которых архаичный человек пытался осмыслить, объяснить себе окружающий его мир. Миф – это символическая «запись» человеком результатов его мыслительной (пусть даже и примитивной) деятельности, само понимание мира.

Французский культуролог К. Леви-Стросс суть мифа выразил как образцовый диалектик: «Мифы означают разум, который разрабатывает их с помощью мира, часть коего – он сам. Могут быть одновременно порождены сами мифы разумом, который их создает, а мифами – образ мира, уже начертанный в построении разума» (Levi-Strauss. – Цит. по: Лич 1997, с. 602).

В многочисленных культурологически ориентированных работах со всей определенностью высказывается теоретическое положение, согласно которому миф есть не только универсальный феномен, т.е. явление, характерное для самых разных культур, но и темпорально не имеющий границ феномен (Барт 1994; Кассирер 1996; Юнг 1996 а, с. 210–211 и др.). Этот тезис, на наш взгляд, убедительно показан в

статье Э. Кассирера «Техника современных политических мифов». Ее основной пафос заключается в том, что созданные тысячелетия тому назад мифы постоянно, всегда и везде сопровождают человека. Люди нередко ими с успехом пользуются в общественной практике, особенно в политической сфере. «Они (мифы) никогда и не были по-настоящему подавлены, подчинены и лишь ждали своего часа, чтобы появиться из тени на свет...» (Кассирер 1996, с. 205). При этом, как полагают некоторые ученые, мифы со временем, по мере социализации человека могут трансформироваться в другие смысловые образования. Они не исчезают из нашего сознания, но присутствуют в нем в иных формах. Так, по мнению исследователей (Касавин 1999, с. 99; Стеблин-Каменский 1976, с. 6–8), если люди перестают верить в миф, то он становится сказкой, живущей в культуре как определенное объяснение мира.

Со времен существования древних цивилизаций (например, древнегреческой, древнекитайской) природное явление огня безоговорочно относилось учеными той эпохи к числу первоэлементов создания Вселенной. Его мифологизация, особенно во времена язычества, и последующая культурная релевантность для «продвинутых» во времени к нам картин мира – религиозной, современной наивной – объясняются как витальной, так и впоследствии психолого-моральной ценностью этого феномена для жизни человека.

Огонь как архетип, первичный образ, «увиденный» человеком по ходу исторического осмысления действительности, ассоциативно направляет само развитие его мысли. Чтобы понять релевантность огня как архетипа для практической и культурной жизни людей, необходимо обратиться к мифологической картине мира, запечатлевшей первичные, лишенные широты и глубины человеческого взгляда знания, как-то: наивные представления о сверхсуществах, управляющих судьбой человека, зачатки неких потенциальных социальных норм, впоследствии ставших регуляторами общественной жизни сообществ людей и т.п.

Так, в славянском язычестве мифический образ Бог Купала (или Купало) символизировал плодородие. Ему, как и всякому другому божеству, было принято приносить жертвы. На полях древние славяне разжигали костры, вокруг которых юноши и девушки совершали ритуальный танец. Затем они прыгали через костры (т.е. огонь) и гнали через них стада животных, желая обезопасить их от злых духов. Обряд очищения огнем, окуриванием – важнейший тип магического действия (см.: Белякова 1995, с. 6; Кайсаров 1993, с. 41–42).

Этимологами установлено, что слово *купало* родственно русским глаголам *купать* и *кипеть*. Их происхождение возводится учеными к индоевропейскому корню *kup-* – «кипеть, вскипать, страстно желать». В древней лексеме, таким образом, легко заметить корреспонденцию таких смыслов, как огонь, вода и чувство (страсть, любовь). Культуролог А.В. Юдин отмечает, что при исполнении купальского обряда использовались колеса, выступающие в функции символа «огня небесного», т.е. солнца (Юдин 1999, с. 69).

В древности огонь символизировал душевную чистоту человека. Наши предки считали, что правда на земле (правое дело) имеет естество огня. «Не случайно до сих пор, – пишет Г.С. Белякова, – в русском языке «искренностью» (*искрой*) называют правдивое проявление душевного движения, порыва, а «искренним» – человека, чьи речь и поступки дают образ подлинной сущности и подлинной жизни его души» (Белякова 1995, с. 53, курсив мой. – Н.К.).

Не менее известен также славянский языческий обычай сжигать умерших на кострах. Их прах, согласно славянским поверьям, уносился в рай. Душа человеческая у наших предков, славян, непременно ассоциировалась с огнем, дымом. Аналогичный ритуал был и у древних германцев: при погребении воина вместе с ним сжигали его доспехи и коня.

Считаем уместным привести здесь замечание этимолога М.М. Маковского, филологически установившего в индоевропейских языках генетическую связь слов со значениями «умирать», «старый», «высокий, стремящийся ввысь», «низ», «преисподняя», «судьба», «сверхъестественная сила» с понятием огня, выраженным лексемой *гореть* (Маковский 1992, с. 89). Понятие «огонь» коррелирует в индоевропейских языках также с понятием «дух», «душа». Ср. и.-е. **sprio* «дуть», лат. *spiritus* «дух, душа», но и.-е. **reuog-* «огонь»; типологически ср.: и.-е. **dheg-* «гореть», но русское «дух» (Маковский 1992, с. 134).

Огню приписывались божественные свойства. В понимании древнего сознания он как бы соединял человека и божества, им управляющие. Д.Н. Овсянко-Куликовский следующим образом описывал это природно-магическое явление: «Огонь выходит из дерева: стихия подвижная, эфирная, неустойчивая возникает из твердого плотного тела, горячее выходит из холодного. Очевидно, в дереве скрыт огонь, и процесс трения только вызывает его наружу. Это, стало быть, не более как магическая манипуляция, принуждающая скрытое в дереве божество выйти из своего убежища. Но вот он вышел, он появился, с треском и блеском: сперва он неровен, угловат и безобразен; его

кормят, – он пожирает щепки, ветви, листья – пожирает и растет, и по мере возрастания незаметно превращается из неуклюжего в стройного и сильного, – вот он уже превратился в яркое и мощное пламя, он уже далеко не безобразен, он красив и величествен, – он великолепен, – в особенности когда угостят его растопленным маслом (он любит эту пищу); пожирая масло и щепки, все растет и растет он; его огненные языки тянутся к небу; он мечет искры и в клубах дыма уносится в небеса. Если в этот дым бросить крылатое слово молитвы, оно улетит вместе с ним в небеса, к богам. Здесь все полно тайны, здесь все чудесно» (Овсяннико-Куликовский 1989, с. 23–24).

По мнению И.Т. Касавина, сакрализация огня есть универсальный мифический сюжет. Познание его сущности «наполнялось антропоморфными аналогиями: огонь *рождался* в результате сакрального акта (молнии), *перебегал* с места на место, *жил* в костре или примитивной плетенке, *питаясь* сушняком и остатками пищи, как бы приносимыми в жертву, *умирал* под дождем и т.п. <...> Огонь был понят как искра потерянного рая (Касавин 1999, с. 165).

Примечательно, что только тот огонь, который добывался человеком от трения дерева, считался настоящим. Его называли «живым», «лесным», иногда даже «лекарственным». По утверждению мифолога А.И. Баженовой, огонь символизировал разгоравшееся тепло самой природы. Так, у славян богиня любви Лада ассоциировалась с красным цветом, с огнем, жаром, приходом весны, времени года, когда молодые люди начинали играть в *горелки*. *Гореть* значит страстно *любить* (Баженова 1993, с. 14, курсив мой. – Н.К.).

Во многих специальных работах указывается на психолого-культурологическую релевантность добычи огня древним человеком – трение дерева о дерево. Это действие отождествлялось, по мнению И.Т. Касавина (1999, с. 165), с сакральным рождением существа, подтверждением чего служат сами инструменты для добычи огня, используемые, к примеру, североамериканскими индейцами. «Два основных инструмента – заостренная палочка из твердого дерева и дощечка из мягкого дерева с круглым отверстием посередине – символизируют собой мужское и женское начало. Тяжелая процедура же, в результате которой палочка осуществляет вращательно-поступательные движения в отверстии дощечки до появления дыма и тления, образующихся при трении стружек, истолковывается как магический акт слияния мужской и женской субстанции, разрождающейся огнем. И здесь налицо не только символическое истолкование, но прежде всего реальное воспроизводство полового акта, оплодотворения и

рождения, вознесенных до магической мистерии: где же еще мог первобытный человек позаимствовать подобные образы, как не в одной из наиболее естественных и распространенных функций собственного организма?» (Касавин 1999, с. 165–166).

Как показывает теоретический анализ мифологической литературы, имена языческих богов обнаруживают достаточно высокий коэффициент языковой номинативной продуктивности. Так, в частности, маленький славянский божок Леля (Лель), сын красоты, пламенен; он рассыпает и мечет из рук искры, воспламеняя сердца людей. Отсюда и происхождение русского глагола *лелеять* (Глинка 1993, с. 113–114). Не менее любопытен также факт этимолого-семантической связи номинанта эмоции *ярость* и имени славянского божества Яровита (см. подробнее: Иванов, Топоров 1965, с. 120–123). Утилитарная и психолого-моральная значимость рассматриваемого архетипа со всей очевидностью обнаруживает себя и в других мифологиях, например, германской, скандинавской и т.п.

Древнейший архетип «огонь» (как, впрочем, и другие важнейшие психологические первичные символы) по своей сущности многофункционален. Он способен не только духовно спасти, очистить человека, но также и сгубить его. Огонь, таким образом, может представлять собой иногда даже некое уничтожающее начало. Так, согласно этимологическим данным М.М. Маковского, значение «болезнь» в индоевропейских языках нередко соотносится со значением «гореть» (Маковский 1992, с. 69). Симптоматично, как нам кажется, употребление в современном русском языке глагола *угасать* в контексте наименований болезней.

Приведенные здесь мифологические и лингвистические факты свидетельствуют о значительной витальной, утилитарной и психологической значимости архетипа «огонь» для мифологического сознания древнего человека. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что понятие огня с аксиологической точки зрения у индоевропейцев было в общем и целом амбивалентным: огонь – это и благо (преимущество), и иногда опасность. Онтологическая амбивалентность данного понятия эксплицирована в языке, причем наиболее ярко в актах косвенной (метафорической) номинации, что было показано в предыдущем разделе. В современных языках, как известно, лексика, выражающая рассматриваемое понятие, контекстуально может быть как позитивно («сгорать от любви», *vor Freude glaenzen*, *vor Glueck strahlen* и т.п.), так и негативно окрашенной («пылая гневом», «ненависть разгоралась», *die Wut glomm, glimmerte, funkelte in j-ds. Augen* и т.п.).

Другим важнейшим психологическим архетипом, согласно древним учениям, считается вода, один из первоэлементов мироздания. Гидроцентрическая модель мира – один из важных способов объяснения его происхождения (см.: Маслова 1997, с. 100). Воде, как и огню, приписывались свойства морального очищения (древний культ омоложения). Она считалась символом плодородия и оплодотворения. В славянской мифологии этот символ был представлен в виде женского божества. Интересно замечание М.М. Маковского, этимологически установившего, что «...вода в языческом мышлении отождествлялась с женщиной, огонь – с мужчиной» (Маковский 1996, с. 44; см. об этом также: Гачев 1988, с. 269–270). Она всячески почиталась древним индоевропейским человеком. У славян, к примеру, был обряд ладувания (или, в иной терминологии, «Дай-Лада»): в святую воду девушки бросали перстни и цветы (Рыбаков 1993, с. 208). Не только обряды, но и многие гадания были связаны с данным природным явлением, столь важным для древнего человека витально и психологически. Известны случаи гадания, например, по течению реки и т.п.

Славянские племена обожествляли реки, в излучинах которых они селились, ибо воды рек служили и естественной преградой от нападения, и местом ловли рыбы и купания. В этой связи любопытно замечание русского мифолога XVIII в. А.С. Кайсарова: «Чаще всего в названиях рек встречаются корни “рус – рос”, а коренные звуки “рс” входят в корень слова, общего для всех индоевропейских языков и обозначающего воду» (Кайсаров 1993, с. 66). Аналогичную мысль высказал филолог А.А. Потебня, проанализировавший этимологию множества слов, связанных с понятием воды: «Корень -рус- содержит в себе идею культа природы, мистерии жизни. Древние племена вкладывали в эти звуки значение святости. Поэтому звуки “рус” и “рос” стали звучать в названиях славянских вод, которым они поклонялись, и в добавлениях, обозначающих святость. Имя “Русь”, “Рось” возродилось в истории славян как имя воды и земли. Оно стало именем народным» (Потебня 1989. – Цит. по: Кайсаров 1993, с. 66).

Не только древние славяне, но и все индоевропейские народы считали воду культовым явлением. Они различали, в частности, воду мертвую и живую, т.е. воду, обладающую целебными, исцеляющими свойствами, что, как хорошо всем известно, нашло впоследствии выражение в сказках, песнях, в фольклоре в целом.

Такая важнейшая стихия, как вода, обнаруживает свою культурную релевантность не только для жизнедеятельности индоевропейцев; не менее актуальна она и для многих туземцев образца начала минувшего столетия (см. Радклиф-Браун 1997, с. 638–639).

Универсальная витально-культурная значимость феномена воды отмечается Б. Малиновским, изучавшим в первой половине прошлого века традиции, обычаи и мифологии нескольких племен, населявших Тробрианские острова (Новая Гвинея). Известный этнограф с изумлением обнаружил у тробрианцев полное непонимание физиологического процесса зачатия и деторождения. В представлении дикарей сексуальные отношения между полами не имеют ничего общего с беременностью женщины. В сознании туземцев есть устойчивая связь между морской водой и зачатием ребенка. Чтобы забеременеть, женщине достаточно было, по их мнению, искупаться в определенном месте побережья моря. Жители упомянутых островов считали, что потенциальные дети в форме *жидкости* (ваивайа) обитают исключительно в море (Малиновский 1998, с. 205–207).

Архетип «вода», как и ранее рассмотренный архетип «огонь», ассоциативно связан с целым рядом языковых единиц, выражающих наиболее важные для мифологического человека первичные понятия, что доказывается, в частности, этимологом-индоевропеистом М.М. Маковским. Согласно результатам проведенного им этимологического анализа, слово *вода* коррелирует с такими понятиями, как «жить» (и.-е. *guei-), «сакральное возлияние» (лат. *libatio* и нем. *leben* – жить), «активные действия» (др.-инд. *jala* – вода с осет. *koelyn* – делать, действовать), «чудо» (ср. и.-е. *ueter – вода, но англ. *wonder* – чудо), «душа, дыхание» (ср. и.-е. *ond – дышать, но и.-е. *uet(er) – вода, типологически ср. др.-инд. *sincati* «pours out, sprinkles», но арм. *sunç* – дыхание, *snçel* – дышать; и.-е. *uet(er)* – вода, но осет. *udd* – душа), «фаллос» (дождь – семя Богов, ср. др.-англ. *sweota* «Hodensack», *sweot* «Schar, Heer»), с одной стороны, если речь идет о живой воде; с другой, если вода мертвая, уже использованная, так сказать отслужившая, – с понятиями «болезнь», «смерть» (рус. лит. – неживая вода, ср. рус. диал. *ляда*, *леда* – болезнь; лат. *letum* – смерть, англ. диал. *led* – внешний, лишний; лат. *aqua* соотносится с хет. *ak-* «смерть» – Маковский 1996, с. 274–276).

Если основываться на этимологических фактах, приведенных в работе М.М. Маковского, то следует сделать вывод об амбивалентном характере рассматриваемого мифологического архетипа. Он, как и огонь, в силу своей витально-магической ценности для примитивного человека был двойственным: с одной стороны, обладал целебными, исцеляющими свойствами, символизировал плодородие, саму жизнь (живая вода), а с другой – мог олицетворять собой болезнь и смерть (мертвая вода).

Амбивалентность мифологических архетипов – явление вполне естественное уже для архаичного сознания человека, мыслящего синтетически. Данный тип сознания по своей природе не был аналитическим (поэтому его часто называют «дологическим»). Ему был в целом свойствен синтетический взгляд на мир с трудом осваиваемых вещей. Поэтому, на наш взгляд, не случайны те лингвистические факты, которые иллюстрируют синтез разных явлений. Так, в монографии «Лингвистическая генетика» М.М. Маковский пишет о восприятии огня как «божественного напитка (*reg – жечь, но др.-англ. drigkan – пить; греч. hlios – солнце, но и.-е. *ghela «Wein» (Маковский 1992, с. 81).

Во многих современных работах по истории, этнографии, этнологии, теории культуры указывается на особенности восприятия архаичным человеком окружающей его природы. Древнее сознание не мыслило его носителя вне природы; человек не видел в себе автономную субстанцию, он был зависим и защищен. Однако по мере эволюционного освоения природы, приближения к ней он начинает наделять ее человекообразными чертами, что позволяет ему входить в контакт с ней. По З. Фрейду, «человек делает силы природы ... человекообразными существами, с которыми он может общаться как с равными <...>, придает им характер отца, превращает их в богов, следуя при этом не только инфантильному, но и ... *филогенетическому* прообразу» (Фрейд 1992, с. 29, курсив мой. – Н.К.).

Если профессиональный лингвист решит подвергнуть анализу многочисленные современные метафорические описания, то ему не составит большого труда увидеть многочисленные «филогенетические» следы на «онтологическом» теле языка, ярко и образно свидетельствующие об антропоморфном, антропоцентрическом принципе устройства и соответствующем функционировании первобытного мышления в далеком прошлом человеческой цивилизации. Можно приводить сколько угодно лингвистических примеров *даже* из *современного*, удаленного на почтительное расстояние от своих истоков языка. В качестве примера, кажется, успевшего уже стать в филологии хрестоматийным, приведем такие метафоры, как «*Fuss des Berges*» в немецком языке, соответственно в русском – «*подножие горы*». Подобного рода речевые высказывания, которыми насквозь пропитан наш язык, мы, его современные носители, можем квалифицировать как стертые (или, быть может, как уже мертвые) метафоры, но ранее, много веков тому назад, они генерировались человеком и воспринимались как нечто совершенно естественное, натуральное.

Заметим, что проза, поэзия и словесное творчество в целом, в том числе и современное, умело пользуются, казалось бы, навсегда почившими метафорами, с удивительной легкостью их реанимируют. Не менее легкое узнавание и художественное признание этих метафор современным читателем объясняется их архетипностью.

Согласно археологическим и историческим данным, древний человек представлял себе все мироздание в виде мирового дерева (дендроцентрическая модель мира). Мировое дерево – это универсальный концепт, предопределивший траекторию полета изначально мифологической, а затем и религиозной мысли. Можно вспомнить мифические, точнее, божественные образы Одина и Иисуса Христа, распятых соответственно на ясене и осине. Сама структура разветвленного дерева мыслилась примитивным сознанием несколькими ярусами, на которых были расположены по ранжиру фрагменты природы. Последние противопоставлялись друг другу: земля – небо, огонь – влага (вода), земля – преисподняя и т.п. Мир мыслился диадами.

Самый нижний уровень мирового дерева (его корни) уходил в землю. Земля, равно как и огонь, вода, также важный мифологический архетип. Она удерживает на себе леса, горы, камни и т.п., которые были жизненно необходимы человеку и соответственно ценились им. Эти сверхъестественные силы в представлении примитивного человека воспринимались амбивалентно: они могли быть не только добрыми, полезными, но и злыми, способными наказать. Отсюда и те многочисленные обряды, ритуалы, магические действия древнего человека, пытавшегося их умиротворить. Таким образом, архаичное, зарождающееся сознание в силу необходимости психологической самозащиты было вынуждено либо одухотворять, либо олицетворять природу. В первом случае речь идет о ее анимизме, во втором – о ее фетишизме.

Крестный отец теории культуры, один из ее столпов, английский ученый Э. Тайлор определил степень культурной важности указанных выше явлений для человеческой жизнедеятельности. Автором революционно-сенсационной в свое время работы «Первобытная культура» аргументированно иллюстрируется тезис, в соответствии с которым анимизм лежит в основе всякой религии (Тайлор 1996, с. 126–127) – феномена, в столь значительной мере детерминировавшего развитие нашей цивилизации, определившего на целые столетия, эпохи ее лик.

Генезис анимизма и фетишизма хорошо объяснил К.Г. Юнг, взявший на вооружение термин, предложенный в свое время французским

культурологом К. Леви-Брюлем, – «participation mystique» (мистическое соучастие): «Это понятие формулирует первоначальную отнесенность первобытного человека к своему объекту. Дело в том, что его объекты динамически оживлены, заряжены душевным веществом или душевной силой, и потому они имеют непосредственное психическое воздействие на человека, которое слагается благодаря тому, что человек является как бы динамически тождественным со своим объектом. В некоторых примитивных языках предметы обихода имеют даже род, отличающий живые существа (суффикс оживления)» (Юнг 1996, с. 494).

Анимизм и фетишизм природы действительно нашли свое продуктивное отражение в человеческом языке. Более того, во всех *современных* языках, которые, казалось, должны или могли бы «забыть» мифические, с точки зрения нынешнего цивилизованного знания неразумные представления, пленившие в далекие времена зарождающееся сознание пещерного человека, они продолжают активно употребляться как различного рода метафоры, имеющие в своем составе древние мифологемы.

Следовательно, сам язык – живой, говорящий свидетель всех историко-культурных событий – убедительно иллюстрирует действительно наиболее релевантные факты человеческой цивилизации – мифологические архетипы, феноменологическое значение, вербально-культурную актуальность которых для когнитивной и практической деятельности человека следует на самом деле расценивать как непреходящую. Данное утверждение, по всей видимости, не вызывающее у современных ученых принципиальных возражений, мы попытаемся верифицировать в ходе дальнейшего изложения собранных нами языковых фактов. Жизнь названных архетипов, следы мышления древнего, средневекового и ныне живущего человека мы проследим, по нашему мнению, на более чем подходящем для этого случая материале – знаках ЭК – в мифолого-религиозной, а затем и в современной наивной и научной картинах мира.

Концептуализация эмоций в мифолого-религиозной картине мира

Эмоциональный концепт «Angst – страх»

Эмоция страха, как показывает объемный анализ научной литературы, относится к первичным эмоциональным реакциям, аффектам, доступным как высоко развитым приматам, так, естественно, и человеку. Данная эмоция постоянно и активно переживалась не толь-

ко древним, не умеющим себя защитить от природы человеком, пребывающим в перманентном состоянии ожидания опасности, но стабильно сопровождает и нас, современных цивилизованных людей, освоивших окружающий мир, познавших его замысловатые причинно-следственные связи. Страх – это стабильный эмоционально-мыслительный конструкт, некий эмоциональный образ, генетически «прописанный» в нашей памяти. Его переживание человеком психологически и витально необходимо; он есть форма защиты и способ сохранения человеческой популяции.

Всякий из нас, думается, как минимум на иррационально-бытовом уровне согласится со ставшим сегодня тривиальным утверждением немецкого историка-этнографа К. Беме о том, что «...вряд ли есть чувство, которое в большей мере управляло бы нашей жизнью, чем чувство (*неопределенного*) страха (Angst), соответственно (*конкретного, определенного*) страха (Furcht)» (перевод и курсив мой. – Н.К.). В немецком языке в отличие от русского понятие «страх» передается двумя лексемами – Angst – неопределенный, диффузный страх и Furcht – страх конкретный, определенный; источники его переживания известны человеку (прим. мое. – Н.К.) (Boehme 1993, S. 274).

В античные времена примитивному сознанию архаичного человека было в целом чуждо четкое осознание действительных причин, вызывающих страх. Происхождение страха связано с неизвестностью, непониманием, человеческим неумением объяснить происходящие вокруг него события, к которым он имел определенное отношение. Неспособность наших предков видеть причинно-следственные отношения в мире детерминировала сам характер страха.

Наиболее тесные отношения человека с природой были характерны, как известно, для эпохи варварства (Гуревич 1989). Зависимость людей того времени от природных явлений четко проявляется в ее культуре, в тех образах, которые создавались народным примитивным творчеством. Ряд лингвистов и культурологов (Веселовский 1997, с. 85–112; Гуревич 1972 и др.), подвергнув филологическому анализу древнюю поэзию, отмечают, что в ней было традиционным уподобление частей человеческого тела феноменам неживой природы и, наоборот: органический и неорганический мир обозначался через части тела. Так, голову обозначали «небом», пальцы – «ветвями», воду – «кровью земли», траву и лес – «волосами земли». «Прежде чем стать условными метафорами, эти уподобления отражали такое понимание мира, при котором отсутствовала четкая противоположность между человеческим телом и остальным миром и переходы от одного

к другому представлялись текучими и неопределенными», — пишет А.Я. Гуревич (1972, с. 40–41).

Средневековое творчество (как вербальное — поэзия, например, так и невербальное — доступные нам, сохранившиеся, к примеру, фрески) изображало природу как живую, активно действующую силу. Она либо анимировалась, либо фетишировалась: солнце, луна, горы, реки, звери, птицы, боги, злые духи и добрые ангелы виделись в то время человеку как некий единый, целостный мир. Он же, человек, — обычный его представитель — стремился выжить в этом мире, не нарушать его законов, установленных, разумеется, не им, а свыше. Природные стихии, в которых оказывался как архаичный, так впоследствии и средневековый человек, постоянно несли в себе угрозу для его жизни. Историкам хорошо известны сохранившиеся в рукописях описания страха, вызванного действием сверхъестественных сил. Во времена язычества люди свято верили в то, что все беды, их постигающие, были непременно ниспосланы сверху тем / иным божеством. Реальное и вербальное поведение мифологического и особенно религиозного средневекового человека определялось *страхом наказания*.

Сама логика этих рассуждений позволяет предположить, что эта базисная, первичная эмоция онтологически коррелировала с чувством вины. Однако чувство вины хронологически возникает несколько позже, поскольку, в отличие от первородного страха как элементарной, инстинктивной человеческой реакции на внешние события, переживание вины представляет собой результат рефлексии. Не случайно в языке, как правило, мы употребляем двухкомпонентную номинацию «чувство вины» (не эмоция вины) в русском языке и соответственно в немецком — *Schuldgefuehl*.

По мнению многих ученых, действия человека детерминировались его страхом перед богом (Вебер 1990, с. 61–272; Кьеркегор 1993 и др.). Данная эмоция — важнейшая (если не сказать главная) составляющая религиозного сознания. Такое воззрение считается в социальной психологии (да и в целом в теории культуры) общепринятым. Как аксиому сегодня следует принять мнение о паническом страхе человека в прошлом, в особенности в средние века, перед господним судом, который, по представлениям людей того времени, непременно должен был состояться. Его прихода средневековый человек ждал со страхом.

Характеризуя средневекового человека, современный историк, философ И.Т. Касавин пишет: «Недавно и частично христианизированный германец, отброшенный в племенные политические структуры и натуральное хозяйство крахом Римской империи, мыслил себя

как порочное, обреченное на грех и страдание, осаждаемое силами зла и соблазна существо, гонимое и бегущее от мира» (Касавин 1999, с. 100–101).

А.Я. Гуревич, фундаментально исследовавший европейскую средневековую культуру на материале так называемых *exempla*, т.е. на документальных примерах (жанр коротких рассказов), повествующих о быте, традициях средневековья, утверждает, что страх перед загробным судом постоянно владел сознанием верующих и последовательно культивировался проповедниками. Российский историк указывает при этом на специфику содержания *средневекового* страха: «Он (человек) не столько боится физического конца – во всяком случае, не об этом страхе идет речь в “примерах”, – сколько им овладевает страх божьего проклятья. Христос выступает в проповеди в двух ипостасях – сурового Судии, руководствующегося исключительно сознанием высшей справедливости, и любящего Отца, который принес себя в крестную жертву ради спасения душ своих заблуждающихся грешных чад и неустанно о них печется» (Гуревич 1989, с. 161).

Исторической науке хорошо известны многочисленные примеры реагирования людей средних веков на различного рода природные катаклизмы. Так, после крупного землетрясения 1348 г. итальянские купцы вернули свои процентные задолженности ростовщикам, поскольку полагали, что Бог наказал их за неугодное ему дело. Исторические факты подобного содержания свидетельствуют о большой, тотальной религиозности средневекового человека, его паническом страхе совершить поступок, за который Господь всегда наказывает.

П. Динцельбахер, исследовавший средневековые нравы, обычаи Европы, пришел к выводу, что *особенно* для этой эпохи было характерно массовое, коллективное переживание страха (фобии) попасть после физической смерти в ад. Примечателен в этой связи текст баллады, приводимый немецким этнографом в качестве иллюстрации высказанной выше им мысли: «Я бедная и старая женщина, которая ничего не знает и не умеет читать. <...> Я вижу прекрасный рай, где звучат арфы; я вижу ад, где варятся грешники. Вид ада наводит на меня *страх*, а вид рая – *радость* и *экстаз*» (Dinzelsbacher 1993a, S. 286, перевод и курсив мой. – Н.К.). Именно во времена средневековья активно распространяется церковью идея конца света. Называются даже конкретные даты апокалипсиса – вначале 1000 г., затем 1033 г. и т.д.

Рассматривая сюжеты и структуру рассказов о священных событиях (архэ), И.Т. Касавин обнаруживает в них «неординарную реаль-

ность, придающую им образ священного, мифического свойства внушать *страх и трепет*, ощущения восторженного ужаса и ошеломленного поклонения» (Касавин 1999, с. 164, курсив мой. – Н.К.).

В своем историческом трактате «Феодальное общество» М. Блок констатирует: «Страх перед адом был одним из великих социальных фактов того времени» (Bloch. – Цит. по: Гуревич 1989, с. 346).

В специальных современных научных работах (см., например: Гуревич 1972; 1989; Boehme 1993, S. 275–285), предметом изучения которых явилось историко-этнографическое сопоставление древнего и средневекового человека, указывается на эволюционное приобретение нашей цивилизацией, культурой *ценностного* компонента. Появление и дальнейшее успешное функционирование этого важного культурного процесса было обусловлено многочисленными факторами, в том числе деятельностью такого специального социального института, как церковь, все более узурпировавшей власть толкования мира, ставшей монополистом истины.

Сложившаяся в ту далекую эпоху социально-историческую ситуацию А.Я. Гуревич комментирует следующим образом: «Поскольку регулятивный принцип средневекового мира – Бог, мыслимый как высшее благо и совершенство, то мир и все его части получают нравственную окраску. В “средневековой модели мира” нет этически нейтральных сил и вещей: все они соотносены с космическим конфликтом добра и зла и вовлечены во всемирную историю спасения» (Гуревич 1972, с. 262).

Исследовав богатый историко-этнографический материал, К.Г. Юнг заключает: «*Античный мир* отличался, если так можно выразиться, почти исключительно *биологической оценкой* человека; это ярче всего выступает в античных привычках жизни и в античных правовых отношениях. В *средние же века* – поскольку тогда вообще говорили о ценности человека – человеку давалась *метафизическая оценка*, которая возникла вместе с мыслью о вечной *ценности человеческой души*» (Юнг 1996, с. 35).

Страх ощущался архаичным человеком как некий «предусмотренный» природой (Всевышним) инстинкт, служащий сохранению популяции. Страх генетически заложен в человеке. Все более глубокое понимание причин его возникновения – результат общей эволюции человечества. Мифические толкования мира, характерные для архаичного сознания, сменились затем на более «научные» интерпретации объективной и субъективной действительности – религию. Религия как социальный институт, претендующий на объяснение смысла

человеческой жизни, ее предназначения, как всякое культурное явление была, как известно, подвержена эволюции. Заметим еще раз, что религия как способ толкования мира строилась на мифологиях, давших ему *свое* объяснение. Множественность культов, характерная для мифического сознания человека на заре цивилизации, сменилась единым культом, эпоха язычества постепенно трансформировалась в эпоху единого бога.

Этот эпохальный процесс происходил далеко не безболезненно. По мнению ряда историков, введение христианства как государственной религии в Древнем Риме было сопряжено с жестким, активным противостоянием язычников: Аналогичные факты имели место во всех странах и в более поздние времена, когда искоренялись языческие представления человека о мире и боге (Юдин 1999, с. 55–59; Sonnabend 1993, S. 104–105). Так, в частности, в средние века, по образному выражению А.Я. Гуревича, «под покровом христианских догм продолжалась жизнь архаических верований и представлений» (Гуревич 1972, с. 20–21).

Одним из краеугольных камней религии, особенно в средние века, была идея греховности человека, его вины перед всевышним. Чувство же вины, как установлено психологической наукой, непосредственно коррелировало с эмоцией страха. Поэтому не случайно использование государственной религией данного симбиозного концепта (страх-вина или вина-страх) с целью сохранения определенных моральных устоев, необходимых для существования государства, в целом – общества. Основную «тему» жизни рассматриваемого исторического времени можно сформулировать известным всем древним латинским афоризмом «*momento mori*».

В работе «Магия. Наука. Религия» Б. Малиновский называет *контрольную* функцию религии важнейшей. По его мнению, религия – это «постоянный проводник морального контроля; меняя сферы своего влияния, она остается неизменно бдительной и потому вынуждена обратить свое внимание на прежние языческие представления архаичного человека об окружающем его мире» (Малиновский 1998, с. 43). Данные представления, не имевшие под собой логичной исчерпывающей объяснительной почвы, непременно включали в себя фобии.

Примечательно, что психологическая релевантность страха для общественной жизни людей была хорошо известна уже в глубокой древности. Ее более чем убедительно иллюстрирует анализ содержания публичных выступлений античных афинских политиков. Уже тогда в рекомендациях по красноречию указывалось на необходи-

мость обращения докладчика, ратора к этому значимому аффекту. Этнограф К. Беме пишет: «Считалось искусством умело апеллировать к страху слушателей, чтобы достичь определенных политических целей» (Boehme 1993, S. 275, перевод мой. – Н.К.).

По мнению многих историков (Гуревич 1989; Dinzelsbacher 1993a, S. 285–294), феномен страха был наиболее актуален для средневекового сознания человека. Оно питалось тремя идеями: «жить, умереть и быть судимым» (Гуревич 1989, с. 69). Более того, при характеристике средних веков учеными высказывается мнение о многочисленных, константно существующих фобиях, охватывающих души людей тех времен, что было связано с соответствующей активной политикой священнослужителей. Проповедники умело использовали невежество народных масс и успешно культивировали чувство страха и вины человека. А.Я. Гуревич, изучивший архивный материал, приводит многочисленные примеры самоубийства людей, мотивацией которых был страх наказания, чувство греха. «Страх быть проклятым приводил к тому, что человек, раздав свое имущество, спешил сделаться монахом, уходил в крестовый поход или в паломничество, подвергал себя изнурительным постам и бдениям и делался жертвой горячечных фантазий и видений» (Гуревич 1989, с. 69).

Психологическая значимость страха, как следует из многочисленных научных исследований, неоднократно ранее упомянутых в ходе предыдущего изложения материала, считается сегодня аксиомой. Представленные в подразд. 3.1 этимологические данные, как нам кажется, корреспондируют с этим установленным учеными (прежде всего психологами) фактом. Появление немецкого слова *Angst* (← *angui*), как мы уже отмечали, датируется VIII в. В своем эмоциональном значении оно употребляется уже в это время, параллельно обозначая также физическую величину – «узость пространства» (EW 1989, S. 52) и физиологическое состояние человека – «стеснение, удушье» (EW 1999, S. 40). Этимологические факты позволяют вести речь о диффузности значения слова *Angst*. Признаки понятия, им обозначенного, расплывчаты, неустойчивы, что объясняется слабой степенью развитости человеческой рефлексии того времени.

Размытость значений языка, обслуживающего архаичную, примитивную, начинающую формироваться культуру, – явление абсолютно закономерное. Безусловно, правы ученые, настаивающие на признании полисемии как фундаментального свойства древнего со-

стояния любого языка. Более того, некоторые исследователи (см. например: Гуревич 1972) убедительно доказывают тезис о сохранении языковой многозначности и в средние века.

Анализ значений немецкого слова *Angst* обнаруживает корреляцию физического, физиологического и формируемого ментального мира человека (ср. формы современных лексем *die Enge* – узорь – и *die Angst* – страх). Мифологическое сознание концептуально не различает причину возникновения эмоции и формы ее переживания.

Диффузность значения характерна также и для древнерусского слова *страх* (др.-рус. страхъ). Это слово, по данным этимологического словаря (ЭС 1996, т. 3, с. 722), первоначально могло обозначать: 1) эмоциональное состояние, аффект «ощепение»; 2) физическое состояние предмета («быть растянутым»); 3) физические действия живого существа или, возможно, природного явления (европейская форма **tressq* – «трясти»); 4) результат действий человека или природы (опустошение); 5) поведенческую реакцию человека (угроза). Изобилие нередко противоречащих друг другу версий происхождения слова затрудняет естественным образом адекватное толкование конкретного языкового факта. Примечательно то обстоятельство, что проведенный в синхронии и диахронии анализ может обнаруживать «возвращение» временно ушедших значений полисемичному слову (см. умершую глагольную форму **tressq* и современное выражение «трястись от страха»).

Этимологическая наука в силу объективных причин далеко не всегда может точно установить первичность значений у того / иного слова. Более того, нередко попытки однозначного выявления первичных языковых форм и их первичных значений оказываются тщетными, что объясняется диффузным характером последних.

Если человеческий язык понимать как определенную знаково-культурную систему, эволюционно, перманентно развивающуюся в обществе, для которого принципиально свойственны преемственность «духа» (в гумбольдтианском понимании) и соответственно формы его существования, то следует обратиться к современному состоянию языка, прежде всего – его коммуникативному поведению. Здесь имеется в виду необходимость лингвистического анализа применения языка (изучение его синтагматического уровня) с целью обнаружения в нем следов первичного «духа», т.е. определенных ранее сформировавшихся темпорально постоянных смыслов.

Мы разделяем научное кредо ученых-эволюционистов – «онтогенез повторяет филогенез» (см.: Коул, Скрибнер 1977, с. 28; Маков-

ский 1996, с. 12). Иными словами, развитие всякой социальной системы (культуры, в том числе и ее важнейшей смыслообразующей компоненты – языка) принципиально *эволюционно*. Многочисленные человеческие смыслы, «рассеянные» в разных цивилизациях и разных культурах, постоянно сопровождают человечество, культурно «держат» его. Их исчезновение есть псевдоисчезновение; они постоянно в тех / иных формах, в том числе и вербальных, возвращаются к нам. Важнейшие культурные смыслы (концепты), выработанные *Homo sapiens*, сохраняются на протяжении столетий и тысячелетий в разных цивилизациях, о чем свидетельствует язык, вся история его развития.

Критик традиционных компаративистов, сторонник генетического подхода к языку М.М. Маковский дает, как нам представляется, исчерпывающую «эволюционную» характеристику слову. Трудно удержаться от соблазна, чтобы не привести его глубокие рассуждения в полном объеме о роли слова в культурной жизни человека, с одной стороны, и о самой жизни слова, законов его развития, функционирования в обществе. В монографии «Генетическая лингвистика» он пишет: «Каждое слово содержит своеобразную тайнопись своей жизни: в закодированном виде в слове воплощается не только его родословная, но и потенциальные возможности его дальнейших *воспроизводительных возможностей* как с точки зрения формы, так и с точки зрения значения, т.е. информации о продолжительности его жизни. Отметим, что ни одно слово в языке не является имманентной, замкнутой вещью в себе. Любая лексема – это своеобразный микромир языка, вобравший *весь комплекс сложных и многомерных генетических преобразований, предшествовавших его становлению*. Она тысячами незримых нитей и переходов соотнесена с макромиром языка, с определенной *комбинаторно-генетической средой*» (Маковский 1992, с. 105, курсив мой. – Н.К.).

Анализ языка – способа существования, развития, сохранения концептов – обнаруживает в нем мифолого-религиозную окраску. Во многих работах отмечается большое влияние такого социального феномена, как христианизация, на язык (Мечковская 1998; Феоктистова, Лемберская 1981, с. 78–85). Авторитетно утверждается, что следствием этого общественно-культурного процесса является трансформация значений многих слов в европейских языках. При этом речь идет о приобретении словами идеологической компоненты, что объясняется оценочным толкованием мира человеком. Представление о божестве, оценка его деятельности, содержание завета, в целом нравствен-

ные нормы религии, понятия о культе – все эти фрагменты мифолого-религиозной картины мира, по определению, *оценочны*.

Хорошей иллюстрацией вышеизложенного могут служить, например, полученные Н.В. Феоктистовой и А.А. Лемберской результаты этимологического анализа древнеанглийского слова *ag*, активно употребляемого в религиозных текстах. В их работе указывается на изменение семантики данного слова под влиянием религии, на христианизацию слова: «Представление о помощи в семантике *ag* соединяется уже не столько с представлением о чести, сколько с представлением о милости, поскольку речь идет, как правило, о помощи Создателя человеку, т.е. это помощь уже не равных по положению, а правителя подданным» (Там же, с. 80). Многие из исследуемых слов объединены идеей представления о помощи, защите и покровительстве, и «в этом находит отражение нормативность социального поведения человека англосаксонского общества, его суверенно-вассальные отношения» (Там же, с. 81).

Здесь же следует указать на происхождение синонимичного *Angst* понятия *Entsetzen*. Последнее, согласно одной из версий, предлагаемых этимологическими словарями, начиная с XIV в. употребляется в качестве мистико-религиозного термина в значении «ввести кого-либо в состояние транса». Заметим, что анализ словарных дефиниций, толкующих номинации эмоций *древнерусского* периода, обнаруживает также их корреляции со всевышними силами. Так, при интерпретации значения древнерусского слова *страх* в определении приводятся религиозно окрашенные словосочетания: «**Б**страхъ – **с**страхъ, **в**оязнь. **Б**страхъ и **т**репетъ. **Б**страхъ **Б**ожий = **с**страхъ **г**оспѣднь» (Срезневский 1989, т. 3, ч. 1, с. 546).

Религиозная компонента обнаруживается в семантике и других многочисленных словосочетаний, в особенности адъективных, одной из составляющих которых является номинант эмоции: *hoellische Angst, heiliges Grauen, eine himmlische Freude, wunderbare Wonne, heiliger Zorn Gottes, Hoellenflammen tiefen Zornes*; *черный гнев, роковая любовь, святая любовь, святой гнев, Божий гнев* и т.п. Легко заметить идеологическую окраску названных здесь словосочетаний. С одной стороны, мы видим позитивно оцениваемые с точки зрения религиозной морали смыслы, заключенные в данном случае в таких предикатах, как *heilig, himmlisch, wunderbar, святая*, а с другой – налицо негативно квалифицируемые верующим человеком смыслы – *Hoelle, hoellisch, черный, роковая*.

Любопытно то обстоятельство, что семантика сочетающихся в приведенных примерах слов может в одних случаях оценочно корреспондировать (*hoellische Angst*, *Hoellenflammen tiefen Zornes, eine himmlische Freude, wunderbare Wonne*; *черный гнев, святая любовь*), а в других, наоборот, оценочно контрастировать (*heiliges Grauen, heiliger Zorn Gottes*; *святой гнев*). Обращают на себя внимание сочетания слов, одно из которых номинирует Всевышнего, наделенного правом карать и прощать человека-грешника – *heiliger Zorn Gottes*. Достаточно четко вербально выражена основополагающая христианская идея о загробной жизни, судьбе человека после перехода из одного мира в другой – *Hoelle* (ад), дериват *himmlisch* (← *Himmel* – небо) служит противопоставлением аду.

В этой связи нельзя не вспомнить психолого-культурную релевантность упомянутых в предыдущем подразделе архетипов, функционирование которых очевидно на вербальном уровне культуры. Неземная, потусторонняя жизнь человека в аду или соответственно в чистилище изображается средневековым сознанием как идея мучения «телесным огнем» (Гуревич 1989, с. 132). Отсюда следует объяснение высокой номинативной плотности метафорических дескрипций эмоций, в том числе и эмоций страха, отмеченных в подразд. 3.4. При этом мы акцентируем внимание читателя не на переносном, а прямом, буквальном понимании отмеченных языковых фактов. «Управляемые» архетипом косвенные номинации, в том числе и выражающие идею огня, мифологическим человеком в отличие от современного их продуцента воспринимались исключительно как *реальный* факт.

Проиллюстрированная выше высокая степень языковой активности другого первичного эмоционального образа – архетипа воды – как и в предыдущем случае, имеет свое мифолого-религиозное толкование. Здесь можно вспомнить христианскую идею потопы, сущность которой заключается в каре человека за его грехи. Архетип «вода» по своей сути, равно как и архетип «огонь», амбивалентен. Уместно вспомнить ранее отмеченные нами оценочные представления архаичного человека о «живой» и «мертвой» воде и т.п.

Такой первоэлемент Вселенной, как воздух, концептуально, ассоциативно близок идее небесной, т.е. райской жизни человека после его ухода в мир иной (ср. *am siebenten Himmel sein*, быть на седьмом небе). В сознании мифологического и в особенности религиозного человека, мыслящего диадами, существовала идея противопоставления низа (чистилища, ада) и верха (рая). Укажем на давно уже уста-

новленный психологической и лингвистической науками факт наличия положительной коннотации у понятия «верх» и соответственно отрицательной коннотации у понятия «низ» в самых разных культурах (см.: Гачев 1988, с. 285–286; Нойманн 1998, с. 130; Пропп 1999, с. 36; Юдин 1999, с. 36–37). Уместно отметить интересный психолингвистический факт, описанный М. Коулом и С. Скрибнер: экспериментально было установлено, что состояние счастья в самых разных этносах (представители племени навахо, мексиканские испанцы, англичане, японцы) графически представляется стрелкой, направленной непременно *вверх* (Коул, Скрибнер 1977, с. 74, курсив мой. – Н.К.).

Психологическая значимость архетипа «земля» иллюстрируется многочисленными языковыми фактами. Объекты реального, физического мира познаются человеком, как известно, определенными перцептивными способами – через осязание, вкус, обоняние, зрение и слух. Физические предметы земли обладают свойствами, вызывающими соответствующее оценочное отношение человека. Этим обстоятельством объясняется метафорическое использование в современном языке номинантов эмоций со словами, обозначающими, в частности, температурные, вкусовые и некоторые другие свойства фрагментов физического мира.

Интересные замечания о появлении метафорических описаний эмоционального состояния человека обнаруживаем в одной из работ К. Бюлера, умело сопоставившего косвенные типы номинаций с результатами экспериментальных данных психолога В. Вундта. По мнению К. Бюлера, появление в *современном* языке метафор, относящихся к восприятию, имеет “мимическое” происхождение. “Горькое” страдание, “сладкое” счастье и “кислый” отказ являются не свободными изобретениями поэтов, а совершенно отчетливо видимыми выражениями человеческого лица. <...> Наш собственный обиходный язык в его прозаическом использовании до краев наполнен подобного рода физиогномическими характеристиками; они составляют значительную часть “поблекших”, т. е. не привлекающих к себе внимания, метафор» (Бюлер 1993, с. 319–320).

Общеизвестна психологическая и в целом культурная значимость цвета для жизни общества. Особой релевантностью цвета обладают в эпоху средневековья. Им приписываются самые различные символично-мистические значения. Любопытный пример на символизм основных цветов (белого и черного) приводится в книге А.Я. Гуревича

ча «Культура и общество средневековой Европы глазами современников». Один польский проповедник по имени Перегрин (XIV в.) был свидетелем истории попытки беса войти в церковь, чтобы в ней, подобно человеку, очиститься от грехов. «Видя, как люди, которые входили в церковь на исповедь *черными*, выходят из нее *белыми*, бес тоже пожелал очиститься с помощью исповеди» (Гуревич 1989, с. 36, курсив мой. – Н.К.). Здесь же укажем на тот факт, что отрицательные мифологические персонажи, в частности славянские (леший, водяной, домовый и др.), средневековому человеку представлялись черными. Заметим, что оценочные предикаты *черный* и *белый* активно используются и сегодня во многих языках, культурах, ассоциируя первый цвет с отрицательными смыслами, явлениями, а второй, напротив, с положительными (см.: Брагина 1972, с. 83–85; Красавский 1994, с. 53–60; Морозова 1999, с. 300–304).

Культурно-значимыми представляются этимологические данные И.И. Срезневского, предлагающего словарные дефиниции русскому эмоциональному полю с доминантой *страх*. Так, древнерусское слово *трепет*, синонимичное слову *страх*, имело в далеком прошлом также значения «ропот», «недовольство». В словарном определении приводится иллюстрация его содержания следующим образом: «*благоговѣйный трепетъ*». Его дериват «*трепетати – дрожать, вояться*. Трепетать, испытывать благоговейный трепетъ. Трепетивѣй – трусливый. *Трепетица – осина*» (Срезневский 1989, т. 3, ч. 2, с. 987, курсив мой. – Н.К.). Нетрудно заметить проявление филогенеза в онтогенезе, если вспомнить современное русское выражение «дрожать, трепетать как осиновый лист».

Пользуясь данными, предложенными И.И. Срезневским в «Словаре древнерусского языка», рассмотрим, с одной стороны, определения номинаций эмоций, а с другой – сами их употребления.

Базисный номинант эмоции *страх* в древнерусском языке (равно как и в современном русском) используется И.И. Срезневским в качестве метаязыкового средства. Через него даются определения таким словам, как *трепет* (Там же) и *ужас* (Там же, с. 1161). Само же словогипероним *страх*, согласно используемому нами словарю, дефиницией не располагает.

Чрезвычайно важны словарные древнерусские контексты употребления данного слова, служащие иллюстрациями его семантики. Приведем их с последующим комментарием: а) «*Страхомъ и трепетомъ вѣськѣпать*»; б) «*Аще кто и не любовью, но страхомъ повель-*

вшаго кращахуся»; в) «Тѣгда же страхъ и трепетъ обиатъ ма»; г) «Повергша оружія и устремившася на вѣгъ, страхомъ грозы храборства Домонтова и мѹжъ его Псковичъ»; д) «Се же въ конецъ всемѹ: страхъ Бжии имѣите вѣше всего» (Там же, ч. 1, с. 546).

Во-первых, в данном случае обращает на себя внимание высоко-частотное использование слова *страх* с синонимичным ему словом (*трепет*), что, по нашему мнению, можно расценивать как факт онтологической близости соответствующих понятий. Во-вторых, очевидна ассоциация эмоции страха с архетипом «огонь-вода» (пример а), что имеет место, как было отмечено выше, и в современной наивной языковой картине мира. В-третьих, налицо человекоподобная активность анализируемой эмоции (примеры б, в). В-четвертых, укажем на корреспонденцию страха с таким фрагментом физического мира, как «быстрое передвижение человека ввиду угрозы» (пример г). И, наконец, нельзя не отметить представления древнерусского человека о связи между этой эмоцией и ее продуцентом – Господом Богом (пример д).

Номинация эмоции *боязнь* имеет словарную фиксацию в древнерусском языке. Она, правда, представлена в максимально редуцированной форме. И.И. Срезневский приводит лишь употребление этого слова; сама дефиниция отсутствует: а) «Боязнь и трепетъ приде»; б) «Без боязни оуже творимъ»; в) «Боязнь въ любви нѣ съвершеная во любовь вѣнъ измещаетъ боязнь» (Срезневский 1989, т. 1, ч. 1, с. 159). Примечательно, что и в данном случае номинант эмоции *боязнь* употребляется в одном контексте с другими обозначениями эмоций (примеры а, в). Интересно высказывание «Боязнь и трепетъ приде», которое современный лингвист оценит, скорее всего, как метафору (пусть даже стертую). Думается, что древнерусское сознание мыслило приведенное предложение отнюдь не как метафору. Учитывая мифологическую окрашенность архаичного мышления, можно предположить буквальное понимание нашими предками физического прихода этой эмоции.

Древнерусское слово *трепет* дефинируется через слово *страх* (Срезневский 1989, т. 3, ч. 2, с. 987). Оно имеет следующие употребления: а) «Имѣше же я трепетъ и оужасъ»; б) «И страхъ и трепетъ вашъ да бѹде на всѣ звѣре земны и на всѣ скотѣхъ земны»; в) «Страхомъ и трепетомъ вѣскъпать»; г) «Страхъ и трепетъ обиатъ ма, а ко же хотѣти ми бѣжати отъ мѣста того»; д) «И Бѣ великѣи вложи оужастъ великѹ в Половцѣ, и страхъ нападе не на и трепетъ в

лица Рускъ вон, и дръмаху сами, и коне ихъ не въ спъха в нога»; е) «Азъ посю на на ... недоумънїе и грозоу, и страхъ, и трепетъ» (Там же).

Дадим краткий комментарий приведенным выше словарным иллюстрациям. Во-первых, это слово используется во всех предложенных И.И. Срезневским контекстах с другими номинантами эмоций (*ужас, страх*), что само по себе говорит об отнесенности конкретных слов к единому понятийному полю. Во-вторых, очевидно представление носителей древнерусского языка о трепете как о бурлящей, кипящей воде (пример в). Этот лингвистический факт мы интерпретируем как корреляцию фрагментов физической и ментальной (психической, эмоциональной) действительности. В-третьих, эмоция трепета, овладевшая человеком, способна активизировать его действия, даже обратить в бегство (пример г).

Во многом сходными оказываются, судя по лингвистическому материалу, представления древнерусского человека и об ужасе. Его обозначение определяется через слово *страх* (Там же, с. 1161). По И.И. Срезневскому, слово *ужас* максимально широкозначно. Его семантика расплывчата, о чём свидетельствуют словарные данные: а) «Оужастъ нападе на Авраама»; б) «Оужастъ велика паде на нихъ»; в) «Онъ же въ оужасти бывъ, паде ниць»; г) «Исполнь оужасти и молвъ»; д) «Безъ боязни и безъ оужасти»; е) «И быша во ўжасти велицѣи вси мѹжи вилѣяне»; ж) «Отъшъдъша, въжавша отъ гроба, имъше трепетъ и оужастъ»; з) «Посю на ва страхъ и оужастъ, повъгнеть...» (Там же).

Чувство ужаса, как и ранее проанализированные эмоции, овладевает человеком, нападает на него (примеры а, г, е). Оно, так сказать, по своей сути агрессивно. Это – во-первых. Во-вторых, слово *ужас* маркировано признаком интенсивности (см. «во ўжасти велицѣи», пример е), что соответствует, как было показано в подразд. 3.4, представлениям об этой эмоции носителей современного русского языка. В-третьих, подобно трепету, ужас способен не только активизировать человеческие действия (пример з), но и, более того, парализовать их совершение (пример в).

В словарной статье, предложенной составителем «Словаря древнерусского языка», в качестве отдельных отмечены и другие значения, максимально корреспондирующие друг с другом. Ужас толкуется И.И. Срезневским посредством релятивного способа: называются родственные этому номинанту эмоции слова – *трепет, смятение, отчаяние, испуг, дрожь, трусость, изумление* (Там же).

Рассмотрим контексты употребления этого слова. Ужас определяется и как смятение, отчаяние («**Азъ же рѣхъ въ оужасѣ моемъ**») и как иступление («**Молащѹ ми са въ цркви, быти ми въ ѹжасѣ**») (Там же). Здесь передается содержание «бытийной» ситуации («**быти въ оужасѣ**»). Ужас корреспондирует также с понятиями «дрожь» («**Оужастъ тѣмѹ творитъ и матежь възводитъ**»), «трусость» («**На сладость женьска полѹ, и страсти, и оужасти**»), «изумление» («**Отъ оужасти на чюдо и отъ чюда на диво дѹшею преводимъ**») и «страшное явление» («**Бывахѹ ѹ мечти нѣци многы чакы и оужасти нѣкотрыа**») (Там же).

Легко заметить некоторые семантические совпадения в современной дефиниции полисемичного слова *ужас* и в ее древнерусском варианте (использование слова как номинации эмоции и явления, ее вызывающего). Примечателен также факт корреляции наименований самой эмоции и определенной черты характера человека (трусость). Этот реликт сохранен и в современной языковой картине мира (см., например: Воркачев 1992, с. 79–86).

Слово *ужас* толкуется так же, как слово *трепет*: а) «**Оужастъ бо одръжааше**»; б) «**Оужастъ бѣ видѣти небоѹ и земли творьца въ рѣчѣ обнатышаса, хръщение отъ раба за наше спасение примѣша**» (Срезневский 1989, т. 3, ч. 2, с. 1161). В данном случае мы имеем дело с выражением идеи сильного отрицательного переживания эмоции, вызываемой религиозными представлениями человека о жизни, его грехопадении.

Таким образом, мы можем заключить, что как в немецком, так и в русском языках современные номинации эмоций представляли собой достаточно диффузные психологические феномены, свидетельством чего является их широкозначность. Следует также указать на корреляцию русской и немецкой языковых картин мира в плане употребления слов, обозначающих эмоции. Важно отметить, что мифолого-религиозные представления наших предков в обоих языках имеют четкую фиксацию как на уровне примитивных определений, так в особенности на уровне своих употреблений. Мифологизм сознания человека совершенно очевидно эксплицируется в языке средневековой эпохи. Более того, следы мифолого-религиозной картины мира сохранены и в современном языке. Сегодняшний лингвист оценивает их как метафоры (иногда как стертые косвенные номинации). В действительности же дошедшие до наших дней многочисленные выражения (т.е. современные метафоры), вероятно, не воспринимались их

продуцентами как таковые. Они, по всей видимости, употреблялись в их буквальном смысле.

Следуя принципу разностороннего лингвокультурологического анализа ЭК, рассмотрим коррелятивную пару *страх – вина* с религиозно-экономической позиции, приверженцем которой был немецкий социолог христианства М. Вебер. Сущность его концепции, изложенной в работе «Протестантская этика и дух капитализма», заключается в том, что имевшие место в Европе образца XIX в. экономические и политические события в значительной степени были результатом влияния культуры протестантизма, сформировавшейся благодаря эпохе великой Реформации Лютера (16-е столетие). Именно это судьбоносное событие способствовало, по мысли М. Вебера, рождению «капиталистического духа» в Европе, определившего, начиная с XVI в., дальнейшее общественно-экономическое и духовное развитие Старого света.

Европейская, в частности, немецкая модель развития капитализма, была обусловлена протестантской этикой, выбравшей путь спасения человека не через мистическую созерцательность (аскезу), а через активный труд, ведущий человека к созданию и приумножению богатств, угодных, согласно этому направлению христианского учению, Богу.

Протестантизм, по М. Веберу, представляет собой своеобразную религиозную этику, являющуюся по своему содержанию дидактичной и, что более важно, умеющую исповедовать, в отличие, например, от католицизма, идею высокой морали и утилитаризма. «Честность *полезна*, ибо она приносит кредит, так же обстоит дело с пунктуальностью, прилежанием, умеренностью – все эти качества именно *поэтому и являются* добродетелями (Вебер 1990, с. 74). Суть «новой» нравственности, отстаиваемой протестантами, состояла в том, что ими сознательно нарушался средневековый принцип, согласно которому труд необходим лишь для поддержания жизни.

«Прежде всего труд издавна считался испытанным аскетическим средством: в качестве такового он с давних пор высоко ценился *церковью Запада в отличие не только от Востока*, но и от большинства монашеских уставов всего мира. Именно труд служит специфической превентивной мерой против всех тех – достаточно серьезных – искушений ...» (Там же, с. 187, курсив мой. – Н. К.). Таким образом, религиозный человек мог избежать переживания чувства вины и страха только в том случае, если он много и честно трудился.

Эмоциональный концепт «Freude – радость»

Базовая эмоция *радость* так же, как и *страх*, генетически детерминирована (Изард 1999, с. 168). Она, по мнению психологов, первична с точки зрения филогенеза и обладает вневременной психолого-культурной актуальностью для жизни людей любого сообщества. Согласно концептуальным положениям теории дифференциальных эмоций, радость, как и страх, переживается человеком в силу витальных и психологических причин. Принципиально она онтологически связана с познавательной деятельностью как древнего, так, разумеется, и современного человека. Как и страх, эта эмоция представляет собой способ сохранения психического здоровья, форму психической самозащиты и важнейший мотив деятельности человека.

Психологическая значимость рассматриваемого культурного феномена для всех эпох и народов была бесспорной. Данная эмоция, равно как и ей родственная эмоция счастья, понималась античностью главным образом утилитарно: радостен и счастлив тот, кто богат и обладает властью. Не случайно синонимичные друг другу в древнегреческом языке слова *eudaimonia* (счастье, радость), *olbos* (богатство), *eutychia* (удача) выражали понятия радости и счастья.

Считалось, что радость дается человеку свыше. Ее переживание в представлении язычников обусловлено преимущественно благосклонностью всевышних сил, которую человек должен заслужить своими поступками. Правильный, богоугодный образ жизни человека, как полагали, например, эпикурейцы и стоики, поощрялся богами. Мифолого-религиозным сознанием радость мыслилась персонифицированно. То или иное божество ведало «распределением» радости, счастья, горя.

Исторические факты ранних цивилизаций (например, римской) свидетельствуют о том, что античные люди часто устраивали такое социальное действо, как религиозные праздники, с целью умилистить богов, выпросить у них благополучие и радость. Массовые празднества в те далекие времена при этом не обходились без жертвоприношений, понимаемых как необходимая плата за получение в будущем счастливых дней (см.: Boehme 1993a, S. 302–306).

Средневековые традиционно считается наиболее мрачной, лишенной всякой человеческой радости, преисполненной болезнями, разнообразными фобиями и бедами эпохой, не самым интеллектуально насыщенным историческим временем. Во многом подобная характеристика Средневековью справедлива. Вместе с тем некоторые ученые (Гуревич 1972, с. 5–7; Kuesters 1993, S. 307–317), по всей видимости,

не без оснований полагают, что данное стереотипное представление о том периоде в силу разных обстоятельств не совсем верно.

Данный исторический отрезок времени в высшей степени амбивалентен. Удивительным и парадоксальным образом он сочетает в себе как эмоциональные настроения страха, тоски, аскетизма и т.п., характерные преимущественно для *раннего* Средневековья, так и более жизнерадостно утверждающие формы человеческого бытия (главным образом – *позднее* Средневековье). Указанная амбивалентность преимущественно чувственно-оценочной средневековой культуры объясняется имевшим в то время место синтезом варварских, христианских и античных отношений.

Мифолого-религиозная компонента общественной жизни того времени являлась культурной доминантой. «Христианизация, глубоко изменившая мироотношение человека, не вытравила до конца те представления, которые господствовали в эпоху варварства» (Гуревич 1972, с. 195–196), что, как мы понимаем, и составляло культурно-историческую специфику Средневековья. *Теоцентризм*, во многом концептуально опиравшийся на мифологические, языческие представления человека о действительности, – важнейшая отличительная черта обсуждаемого исторического отрезка времени.

Средневековое восприятие мира, все более подчиняемое социально-этическим идеалам христианства, характеризовалось высокой степенью универсальной нормативности поведения и мышления людей, живших в ту эпоху. Все большее укрепление роли церкви как социального института – исторический факт средних веков.

Раннему Средневековью, как утверждают многие ученые (Клакхон 1998, с. 131–132; Kuesters 1993, S. 308–309 и др.), было присуще порицание, неодобрение уже самого стремления к переживанию мирской радости, не говоря о ее публичном выражении в открытой форме. Известны исторические факты запрета, например во времена правления германцами Каролингов (IX в.), праздников, карнавалов, исполнения мирских песен и танцев, проведения всяких увеселительных мероприятий. Это строгое церковное предписание в особенности касалось женщин, ненавистных, согласно архивным записям, многим проповедникам. Так, по Жаку де Витри, «хоровод есть круг, центром коего является дьявол; все движутся в нем влево, направляясь к вечной гибели. Когда нога прижимается к ноге или рука женщины касается руки мужчины, вспыхивает дьявольский огонь» (*Anecdotes historiques*. – Цит. по: Гуревич 1989, с. 309).

Проповеди раннесредневековой церкви настойчиво призывают прихожан к аскезе. Ее суть – отказ от любых мирских наслаждений, приверженность к постоянной молитве, покаянию, умеренности во всем и вся. Наибольшим грехом считается плотская любовь, оцениваемая священнослужителями как ненормальное, не угодное Господу желание. Есть много исторических *exempla*, однозначно подчеркивающих греховность, недопустимость, преступность деяний человека, пытающегося наслаждаться радостью плотской любви. Человеческое либидо следует подавлять, противиться ему молитвой, ибо оно унижает людей, портит и ведет в ад. Радость следует искать в общении с Богом, но никак не с *prigoi* духовно падшей женщиной – слугой дьявола.

В книге А.Я. Гуревича (Гуревич 1989, с. 241) приводится следующий пример, как кажется, весьма красочно обнажающий суть концепции церкви. На капители французского собора в Везеле изображено искушение святого Бенедикта. К сидящему с книгой святому бес подводит женщину. Святой поднял руку, защищаясь от нечистого. Надпись «*diabolus*» (дьявол) читается как под фигурой беса, так и под фигурой женщины.

Блеклые, монотонные краски эпохи образца раннего Средневековья «разбавляются» более веселой мозаикой в XIII—XVI вв., о чем красноречиво говорят многочисленные культурные примеры. Клерикальной литературой, изобразительным искусством предлагаются несколько иные, хотя по-прежнему религиозно ориентированные, паттерны. Тема радости и человеческого счастья, их поиск и более гуманное, «приземленное» толкование – новое направление в культуре позднего европейского Средневековья, с которой, несмотря на самую ожесточенную борьбу, была вынуждена мириться церковь. Эти важнейшие культурные темы, безусловно, исторически не были новыми. По своему происхождению они античны.

Э. Нойманн высказывает следующие соображения: «Любой более глубокий анализ обнаруживает личность <...> в направлении, определенном в самом начале: к освобождению человека от природы и сознания от бессознательного. *Культурный канон средневекового человека* тоже входит в этот континуум, и не только в связи с акцентированием этим каноном индивидуальной души и ее спасения, но также вследствие духовного наследия, полученного им от классической *античности*» (Нойманн 1998, с. 390, курсив мой. – Н.К.).

Именно на позднее Средневековье приходится интенсивная реализация указанных культурных тем в лице миннезанга, лирики труба-

дуrow и т.п., значительно расширивших само *понятийное поле* (Begriffsfeld) радости и наслаждения, однако при этом тема тоски (Diskursthema der Trauer) по-прежнему остается культурно-релевантной (Kuesters 1993, S. 309–310).

Параллелизм существования культурно конкурирующих друг с другом, диаметрально противоположных концептов – свойство всякой социальной системы, проявляющейся с различной степенью яркости и силы на разных этапах человеческой цивилизации, что является аргументом в пользу признания за духовной культурой принципов преемственности, динамизма и эволюционизма. Конечно же, в целом сознание «среднестатистического» средневекового, а значит – мифолого-религиозного человека остается в плену множества архаичных верований и предубеждений. Мир воспринимается им как некая статичная система; трансформации социальной действительности происходят на самом деле крайне медленно, равно как и ментальные изменения ее носителей.

Несмотря на невысокий, с современной точки зрения, темп общественного развития, в историко-этнографическом материале обнаруживаются многочисленные иллюстрации, свидетельствующие об изменениях в религиозных установках позднего Средневековья. Для этого времени, как пишет А.Я. Гуревич, характерно уже не пассивное восприятие таинств и присутствие при сакральном ритуале мессы, как в раннее Средневековье, но более непосредственное отношение к Богу, личная связь между ним и верующим (Гуревич 1989, с. 59).

Этнограф Л. Уайт, одним из многочисленных объектов культурологически ориентированных научных изысканий которого являлась в том числе и проблема «государство и церковь», указывает на значительную роль социального контроля последней. «Если у первобытных народов Боги практически не вмешиваются в домашнюю жизнь, то в гражданском обществе их влияние на поведение масс чрезвычайно велико» (Уайт 1997, с. 307). Этому культурному факту он дает следующее историческое объяснение: «Чтобы примирить низшие слои с существующим порядком и насадить в их сознании идеал послушания, жрецы используют специфическую теологию и культ. Нужда в такого рода “церковных” ресурсах ощущалась тем сильнее, что военный аппарат не в состоянии был справиться с хронической угрозой восстаний, гражданской войны и анархии» (Там же).

Несколько позже, на рубеже позднего Средневековья и начале Нового времени (XVI–XVII вв.), появляется важный оценочный кон-

цепт – «мистическое соединение» человека с Богом. Оно являлось, по М. Веберу, высшим религиозным переживанием XVII в. «Мистическое соединение» с Богом есть «чувство субстанциональной близости Бога, реальное проникновение Бога в душу верующего» (Вебер 1990, с. 149).

Сделаем попытку своеобразной верификации вышеприведенных рассуждений историков и социологов религии на лингвистическом материале. Нашли ли свое отражение трансформации культуры средних веков в языке, который, по образному выражению М.М. Маковского (Маковский 1980, с. 3), является «тончайшим барометром социальной жизни любого человеческого коллектива, реагирующего на малейшие колебания и изменения общественной структуры»? Какими же культурными (в широком смысле слова) свойствами обладает лексико-семантическая система языка конкретного исторического времени? Решение поставленных вопросов предполагает в первую очередь непосредственное обращение к этимологии соответствующих номинантов эмоций (их прямым обозначениям), а также к косвенным (в особенности метафорическим) типам наречения психического мира.

В одной из ранее опубликованных работ (Красавский 1997, с. 81–83) мы уже отмечали факт относительно слабой продуктивности эмоционального лексемного ряда в немецком языке в период с XI по XIV в. (включительно). Мы установили, что номинационный бум эмоций в немецком языке пришелся на XVI–XVIII вв. Оказалось, что появившиеся в Новое время (т.е. начиная примерно с XVII в.) лексемные обозначения психических переживаний человека, судя по их семантике, носят главным образом *уточняющий* характер. Этот вывод эксплицируется, в частности, так называемыми градуальными семантическими компонентами (т.е. семы интенсивности и соответственно деинтенсивности) в содержательной структуре «новых» номинантов эмоций. Иными словами, эпоха Средневековья была не самым продуктивным временем для появления в языке специальных знаков – прямых номинаций эмоций. Этот вывод как будто бы в целом согласуется с названными выше фактами культурологического характера.

Что же касается русскоязычного эмоционального материала, то, как было замечено ранее, есть в действительности некоторые трудности при установлении времени появления соответствующих лексем. Проблема состоит в частом отсутствии точной датировки их «рождения». Это обстоятельство, естественно, несколько усложняет

решение поставленных в монографии лингвокультурологических задач применительно к обсуждаемому материалу.

Появление немецкого слова *Freude* (← *frewida* ← др.-верх.нем. *ītteven*) датируется IX в. Изначально оно употребляется как обозначение эмоционального состояния человека. Каких-либо принципиальных семантических трансформаций в его содержании, судя по словарным данным, не было. Не исключено, что происходившие в средние века культурные изменения фиксировались в семантике синонимичных ему слов. Известно, что «открытые» человеком смыслы нередко вербализуются благодаря появлению новых слов. Возможно, что слово *Lust* (индоевропейская форма **las-* «жаждущий развлечений») семантически зафиксировало идею «получение радости от интимного человеческого общения». Заметим, что в современном немецком языке у этого слова есть значение «сексуальное желание».

В отличие от приведенного выше примера, слово *Seligkeit* (др.-верх. нем. *saligheit*, X в.) имеет религиозное происхождение. Оно обозначает состояние чрезмерной радости, чрезмерного счастья человека от общения с божественными силами. Рассмотренная лексема своим дериватом имеет слово *Glueckseligkeit* (XII в.), используемое также в религиозно-мистическом значении – «единение человека с Богом после физической смерти».

Аналогична судьба номинанта эмоции *Entzuecken* (*entzuecken* XII–XV вв.), первоначально активно употреблявшегося, по данным этимологических словарей, в мистике и религии, обозначавшего состояние глубокой радости при общении со Всевышним. В настоящее время эта лексема применяется в светском значении. Данные примеры, как представляется, можно квалифицировать как результат отражения культурных изменений в языке эпохи Средневековья.

Этимология русских слов, употребляемых сегодня как номинации эмоций, позволяет также обнаружить мифолого-религиозные представления человека в его языке. Так, по одной из версий, слово *радость* произошло от имени славянского вождя **arda*. В данном случае речь идет об использовании обозначений фрагментов культурно значимой мифологической картины мира в качестве наименования эмоций.

Обратимся теперь к словоупотреблениям данного слова, зафиксированного в «Словаре древнерусского языка». И.И. Срезневский приводит следующие его иллюстрации: а) «Печальни вадете, нъ печаль ваша въ радость вадеть»; б) «Приведоуться въ веселии и ра-

дости»; в) «Иє оукори его въ радости его»; г) «Оуслышимъ веселіе и блага радость»; д) «Пен и яжь и веселіся въ великон радости»; е) «С радостью творити» (Срезневский 1989, т. 3, ч. 1, с. 13).

Анализ данных высказываний позволяет заключить, что, во-первых, номинант эмоции *радость* часто употребляется с другими обозначениями эмоций – *веселье*, *печаль* (примеры а, б, г и д), что является аргументом в пользу признания общности их содержания. Психологически интересен пример а), свидетельствующий о понимании средневековым человеком трансформаций, переходов одних эмоциональных состояний в другие. Во-вторых, в некоторых иллюстрациях (в частности, в примерах в и д) выражено позитивное, лишенное всякой средневековой аскезы отношение к рассматриваемой эмоции. Данные примеры, по всей видимости, следует толковать как стремление человека вопреки церковной морали к переживанию светлой, жизнеутверждающей эмоции, эмоции радости.

Проанализированное выше слово своим субстантивным дериватом имеет устаревшее сегодня слово *отрада*. Последнее в древнерусском языке было многозначным: «Отрада – 1) отдых, успокоение; 2) утешение, успокоение; 3) прощение» (Срезневский 1989, т. 2, ч. 1, с. 760). Указанные здесь значения корреспондируют с соответствующими религиозными представлениями человека. Автором «Словаря древнерусского языка» приводятся две иллюстрации, раскрывающие семантику слова *отрада*. «Отрада» в значении “отдых”: «Понѣ глаголю отърадоу имать», XI в., пример а) и в значении “прощение”: «Какого отрада ты сподобишися, по средѣ валяся», пример б) (Там же, т. 2, ч. 1, с. 760).

Данные контексты подтверждают правомерность нашего основывающегося на этимологическом анализе вывода о связи различных фрагментов мира. Быть радостным, в представлении наших предков, означало время отдыха; отдых – это радость. Древнерусский человек, согласно приведенным примерам, переживал чувство радости и в том случае, если добивался прощения. Вероятно, в этом случае речь идет о прощении Всевышним, которого мог огорчить своими далеко не богоугодными поступками человек.

Далее кратко рассмотрим контексты употребления номинаций эмоций в их переносном смысле. Продуктивно изучавший в XIX в. особенности средневековой метафоры, в целом поэзии, лингвист и литературовед А. Н. Веселовский указывал на социальное значение христианства для культуры, в том числе и языка, образов, им используемых на конкретном историческом отрезке времени. Язык той эпо-

хи, с одной стороны, наполнялся новыми, «навеянными христианством символами», а с другой – «сохранял в то же время старые, народные символы, изменяя их содержание» (Веселовский 1997, с. 96). В его статье отмечается частое использование в поэзии и народных песнях в качестве ярких эпитетов цветовой символики, характеризующей «предмет с какой-либо определенной его стороны, например: “белая” лебедь, “синие” волны океана, <...> “зеленеть” – “молодеть”» и т.п. Они находят выражение в народных песнях (Там же, с. 95).

В ранее изданной работе (Красавский 1994, с. 53–60) мы установили, что слова, называющие эмоции, в том числе эмоцию радости и содержательно близкие ей номинации психических переживаний человека, употребляются как в немецкой, так и в русской речи с цветообозначениями: *светлая радость, светлое счастье, helle Freude* и т.п. На наш взгляд, компоненты названных здесь словосочетаний ассоциативно, значит – содержательно (в данном случае речь идет об их положительной знаковой семантической корреляции), близки друг другу. Их совместное контекстуальное употребление в речи, как можно предположить, изначально не воспринималось, в отличие от современных носителей языка, как метафора.

Примечательно, что понятия «радость» и «светлый» в культуре, по крайней мере европейской, позитивно оценочны. Учеными эмоция радости отнесена к классу положительных переживаний (Додонов 1978; Лук 1982), а понятие «светлость» – к группе «приятных» цветов (Брагина 1972, с. 83–85; Миронов 1989, с. 13–14; Lauffer 1948). Г.Д. Гачев, анализирувавший на примере речевых образов особенности менталитета русских, отмечает психологическую важность для их культуры объектов физического мира, имеющих белый цвет: «Высшими русскими символами является <...> то, что *светится* и летуче» (Гачев 1988, с. 286, курсив мой. – Н.К.).

Употребляемые сегодня на уровне клише анализируемые сочетания слов есть результат когнитивной деятельности мифолого-религиозной языковой личности. Устойчивые фразы типа *светлое воскресение, светлые дни* интерпретируются в нашей христианской культуре как нечто святое, благородное, чистое. Здесь же можно вспомнить символическое значение данного слова применительно к концепту «небо» (место рая) и соматическому концепту «голова» (седалище интеллекта) – *светлый ум, светлая голова, heller Kopf* и др., с одной стороны, а с другой – символику противоположного обсуждаемой лексеме понятия темного, черного (*темные дела, schwarzer Mann, schwarze Gedanken, schwarze Seele* и т.п.).

С культурологической точки зрения не менее любопытен факт положительной коннотации белого цвета и соответственно отрицательной – черного в других этносах. Так, белый цвет в арабском языке, как установила В.С. Морозова, связан с понятиями доброты, благодати: *Qualb abyad* – доброе (белое) сердце; *habar'abyard* – благая весть, добрая, хорошая новость; *al-yad al-bayda* – благодеяние (букв. «белая рука»); в то время как черный цвет используется для обозначения понятий «темный», «мрачный» (*aswad al-wajh* – мрачный лицом), а также крайней степени отрицательных эмоций и состояний: *haqd aswad* – жгучая ненависть; *aswad al-qalb* – злой (букв. «черный сердцем») (Морозова 1999, с. 300–301).

Обнаружение семантической корреспонденции в содержании понятий радости и светлости на уровне использования их в речи представляет собой результат ассоциативной деятельности человека. Экспериментальным путем наукой установлено, что цвета, относящиеся к светломu спектру, оказывают исключительно положительное психолого-физиологическое воздействие на человеческий организм. Заметим, что ассоциативность есть онтологическое свойство любого типа мышления, в том числе и архаичного. Возникает вопрос: как можно исследовать человеческое мышление, сознание прежних эпох, цивилизаций, культуру?

В этой связи необходимо вспомнить заслуживающие внимания некоторые полученные экспериментальным путем научные данные. Ряд исследователей, в основном экспериментальных психологов, ставящих перед собой задачу сопоставительного изучения сознания в диахронии, высказывают мнение о необходимости исследования его на разновозрастных «объектах». Исходя из концепции эволюции культуры, предполагается, что сознание современного ребенка по своей сути есть сознание взрослого примитивного человека. Следовательно, экспериментальное изучение мыслительных действий детей может предоставить нам информацию об особенностях «взрослого» мышления примитивного человека.

Так, в результате проведенных многочисленных экспериментов, направленных на определение у американских детей в возрасте до 4 лет системы предпочтений при классификации объектов действительности, выяснилось, что цвет является самым важным селекционным критерием. Функциональные свойства предметов, равно как и их форма, оказываются нерелевантными, в то время как для взрослых современных людей цвет при классификации физических фрагментов мира оказывается незначимым. Более того, экспериментально

было выявлено, что в африканской (нигерийской и замбийской) культуре, уступающей европейской в плане ее «рационализации» и «интеллектуализации» (в веберовском понимании), предпочтение цвета форме и функции предмета актуально и для значительной части взрослого населения (см. подробнее: Коул, Скрибнер 1977, с. 115–116).

Вербальное поведение средневекового (мистикорелигиозного) человека, концептуально стоящего на плечах своего предка, человека мифологического, идеологично. Его глубоко религиозные представления и понятия по своему характеру архетипические. Отсюда берут свое начало многочисленные устойчивые высказывания, воспринимаемые сегодня как метафоры, оценивающие те / иные фрагменты мира. Радость характеризуется такими архетипическими свойствами, как стремление подняться вверх, возвыситься (ср.: *vor Freude hochspringen*, прыгать от радости, от счастья, *himmlische Freude*, *himmlisches Glueck*; быть от радости, от счастья на седьмом небе и т.п.). Психолого-культурная значимость архетипа «огонь» эксплицируется соответствующими употреблениями слова *радость* – *brennende*, *gluehende Freude*, *vor Freude strahlen*, *die Freude flackert auf*; *загореться радостью*, сиять от радости, луч радости и т.п. Релевантен в этом отношении также и архетип воды – *Woge von Freude*, *die Freude durchstroemte j-n*; море радости и т.д.

Безусловно, оценочные характеристики эмоциональных состояний не сводятся, как показывает лингвистический материал, к феномену цвета: помимо визуального способа освоения мира существуют и другие «методы» его квалификации, например, вкусовые. Давно закрепившимися словосочетаниями можно считать *сладкую радость*, *suesse Freude*, *горькое горе*, *bittere Trauer* и т.п. На их лингвокультурологическом анализе мы подробно остановимся при обсуждении концептуализации эмоций, более хронологически «продвинутой» к современности наивной картины мира, что объясняется спецификой собранного филологического материала.

В заключение отметим, что важнейшей компонентой средневековой, наивной по своей сути мифолого-религиозной картины мира являлся теоцентризм. Условно мифолого-религиозное сознание можно классифицировать на два его основных типа: ранне- и соответственно позднесредневековое. Для раннесредневекового сознания доминирующими были различного рода многочисленные фобии, а для его «позднего» варианта, как показывают результаты работ историков (Гуревич 1972; Гуревич 1989; Kuesters 1993, S. 307–317 и др.), при сохранении эмоциональных настроений страха, тоски, аскетизма была

в определенной степени свойственна более жизнеутверждающая форма человеческого бытия.

Для эпохи Средневековья была актуальной теоцентрическая модель мира, содержательно опиравшаяся на мир мифов, языческих представлений человека того времени. Ее признают важнейшей отличительной чертой Средневековья. Прежний наивный миф все более адаптируется таким социальным институтом, как церковь, подчиняющая средневековое сознание определенным жестким этическим нормам поведения. Сущность религиозной этики той далекой эпохи заключается в привитии человеку чувства смирения, аскетического образа жизни, понимания необходимости отказа от мирских удовольствий и радостей в силу их греховности.

Трансплантируемые церковью культурные паттерны в сознание средневекового человека нельзя рассматривать как единственно реально существующие модели поведения и мышления, свойственные той эпохе. Исторический материал (см.: Гуревич 1989; Boehme 1993, S. 275–285; Boehme 1993a, S. 302–306; Kuesters 1993, S. 307–317) позволяет думать, что рассматриваемый исторический отрезок времени не был на самом деле окрашен исключительно в темные, мрачные краски. Эмоция радости, в том числе и мирской (не только религиозной), – актуальный позитивный концепт, имевший, несмотря на его подавление и приглушение, «свое» место в культуре средних веков.

Эмоциональный концепт «Trauer – печаль»

Базисная негативная эмоция печали по своей природе наиболее тесно связана с такими эмоциями, как разочарование, горе, стыд, страх. Как и другие вышеобсужденные эмоции, она универсальна. Ее переживание свойственно любому человеку вне зависимости от его этнической принадлежности, религии, в целом – места и времени проживания (Изард 1999, с. 197–209). Это, естественно, не дает основания думать, что печаль константна. Причины, вызывающие ее переживание, как вербальное, так и невербальное оформление, характеристики этой эмоции могут различаться на разных исторических отрезках времени. Печаль может быть этноспецифической. В качестве иллюстрации высказанного утверждения можно привести различия в поведении европейцев и японцев при речевом и мимическом оформлении эмоции печали. Во многих восточных и восточно-азиатских культурах, в отличие от культуры европейской, эту эмоцию на публике принято скрывать, дабы своим поведением не расстраивать окружающих.

К. Изард, ссылаясь на результаты проведенного психологом Дж. Блоком исследования, целью которого было установление связи между печалью (горем) и чувством вины, пишет о том, что «в американской выборке эти два феномена коррелируют между собой, тогда как в норвежской выборке они ортогональны» (Изард 1999, с. 214). Таким образом, можно сделать вывод об определенной социокультурной детерминации эмоций, в данном случае эмоции печали.

Древний человек, как явствует из мифологии, противопоставлял эмоции печали и радости, исходя при этом из их «знаковости». Радость положительна, желательна для переживания, а печаль, наоборот, отрицательна. Древне- и средневековое сознание, истолковывающее мир с позиции потусторонних сил, приписывало роль «распределителя» этих эмоций богу. Так, у Зевса было два сосуда, две бочки с печалью и радостью. Зевс мог конкретному человеку ниспослать либо положительную, либо отрицательную эмоцию в зависимости от его поведения. Примечательно, что этот мифический сюжет, как утверждают ученые, находил многократное отражение и в средневековой литературе (см.: Boehme 1993a, S. 303–304).

В средние века эмоция печали в устах церкви имела яркую оценочную характеристику. Так, немецкий историк У. Кюстерс считает, что данное понятие именно в раннее Средневековье входит в «список пороков» человека. Часто и продолжительно предаваться печали, горю, согласно церковным канонам, было грешным делом. Человек печалится в том случае, если с ним нет Бога, если он удален от Всевышнего (*Gottesferne*). Избавиться от печали (*Trauerbewältigung*) можно только с помощью Бога (Kuesters 1993, S. 308–309).

В научной литературе отмечается, что экспрессивное проявление средневековым человеком печали, равно как и радости, церковью не одобрялось (Kuesters 1993, S. 308). Этот факт говорит, по нашему мнению, о негативном оценочном отношении священнослужителей того времени ко всякому яркому выражению, оформлению человеком сильных аффектов.

Согласно историческим источникам, в частности сохранившимся античным и арабским рукописям, эта эмоция связывалась с болезнью человека, понималась «как важный медицинский феномен» – als *vordringlich medizinisches Phaenomen* (Kuesters 1993, S. 308). Этот факт согласуется с одной из версий толкования происхождения эмоции печали в немецком языке. Ее появление датируется X веком (← *trurag*). По мнению этимолога В. Пфайфера (EW 1989, S. 1832), хронологически первичным у данного слова является значение «болезненный»

(ср.: *schmerzlich* ← *Schmerz* ← **smer-√smel* – «schwelen», «brennen»). Физическая же первооснова древневерхненемецкого слова *trurag*, по данным В. Пфайфера, подтверждается его генетической связью с древнеанглийской формой *dreorig* – «кровавый, болезненный, печальный» (EW 1989, S. 1832). Следует, правда, указать на существование у слова *Trauer* и второй версии толкования его происхождения. По Ф. Клуге и У. Претцелю (EW 1999, S. 833), его первичным значением (*Trauer* < *truren*, IX в.) нужно рассматривать «die Augen niederschlagen» (опустить глаза). Следовательно, в этом случае речь идет о мимически выражаемом жесте скорби человека.

Анализируя в подразд. 3.1 этимологические факты, в частности происхождение *Trauer*, мы, опираясь на теоретическое положение о высокой степени диффузности ранних языковых состояний, сделали предположение о том, что на определенном этапе своего языкового развития это слово не имело четко оформленного средневековым сознанием смысла. Оно было содержательно расплывчато. Мы хотели бы сопоставить первые шаги жизни слова *Trauer* с его современными значениями, которые, как кажется, обнаруживают вполне четко фиксируемую преемственность. Сегодня это слово употребляется в трех значениях. В толковых словарях в качестве первого (основного) дается обозначение эмоции; далее указывается значение «(официальное) время скорби по умершему» и затем фиксируется значение «траурная одежда» (DW 1989, S. 1552; WW 1975, S. 648).

Следует упомянуть релевантность такого лексикографического факта, как указание последовательности значений у того / иного слова. Первым называется наиболее актуальное для современного состояния языка значение. Ранее мы уже говорили о том, что первичность эмоционального значения у слова *Trauer* связана с двумя обстоятельствами. Во-первых, по мере социализации человека повышается роль значимости его внутреннего, психического мира и, во-вторых, снижается значимость ритуальных поступков, ритуального поведения в культуре в целом. Современный мир по сравнению с его средневековым и мифологическим «вариантами» в значительной степени деритуализован, демифологизован.

Поступательное освоение человеком мира, его когнитивно-языковая деятельность психологически строится на архетипах. Наиболее явным свидетельством архетипности ЭК из группы эмоций *Trauer* служит слово *Truebsal* (← *truobisal*, XI в.), связанное с архетипом света. Из этимологических справочников известно, что это средневековое слово употреблялось вначале в значении «непрозрачность, тем-

нота» (EW 1989, S. 1851). Время же начала его употребления в собственно эмоциональном значении, к сожалению, не установлено.

В лингвокультурологическом смысле не менее интересна этимология слова *Wehmut* (XV в.), имевшего первоначально значение «боль», «гнев», а затем по происшествии определенного времени употреблявшегося в значении «глубокая печаль» (EW 1989, S. 1243). Данный лингвистический факт вне всяких сомнений согласуется с выводом психологов о содержательной связи гнева с печалью (Изард 1999, с. 252–254). В современном немецком языке *Wehmut* употребляется только как номинант эмоции «легкая печаль» (DW 1992, S. 1419, курсив мой. – Н.К.). Лингвистический факт наличия в современной семантике слова семы интенсивности свидетельствует, по нашему мнению, об известной языковой комбинаторике смыслов, о перераспределении сем в значениях синонимичных слов, обозначающих родственные концепты. Появление же в языке все новых номинирующих их слов (в нашем случае номинативная активность психических переживаний) следует понимать как результат экстралингвистической необходимости в обозначении новых эмоциональных смыслов именно на уровне лексемной номинации, отражающей, как известно, наиболее релевантные для человека конкретные исторического времени понятия, психолого-культурные смыслы.

Хорошей иллюстрацией высказанного соображения может служить также история жизни немецкого слова *Schwermut* (первичная форма *swoermuetic*, XV в.), по своему содержанию максимально близкого *Wehmut*. Однако в отличие от последнего слово *Schwermut* приобретает дополнительный, противоположный признак, а именно признак *интенсивности* (ср. «Schwermut – anhaltende tiefe Niedergeschlagenheit» (DW 1992, S. 1157). Уместным здесь будет замечание о самом характере морфологии обсуждаемого слова, т.е. о его внутренней форме, мотивированности – *schwer* + *Mut*. Согласно этимологическим словарям (EW 1999, S. 833), первый компонент названной композиты *schwer* (первичная форма *swari*, VIII в.) имел в древневерхненемецком языке «физическое» значение; этой лексемой обозначались физические признаки предмета, а впоследствии они были перенесены на пространство психического мира (Blosen. – Цит. по: EW 1999, S. 833). Второй компонент композиты – *Mut* (← *muot*, ← общегерм. *motai*, VIII в.), по мнению германистов-этимологов (Wandruszka. – См.: EW 1999, S. 577), генетически связан не с физическими, а с духовными понятиями желания, душевного стремления. Эти лингвистические данные позволяют заключить, что осознаваемые чело-

веком определенные желания, исполнение которых могло встречать объективные препятствия, вербализовались со временем структурно-сложной лексемой *Schwermut*, имеющей, в нашем понимании, важное «психологическое» значение – «переживание *тяжести* (*schwer*) на душе человека». Этот частный вывод как будто бы положительно верифицируется средневековым значением слова *Mut* – *Geist*, *Seele* («дух», «душа»).

Происхождение в настоящее время стилистически маркированного (*veralt.* – устар.) номинанта эмоции *Gram* (XV в.) представляет собой также культурологический интерес. Его первоначальная форма *gremi* употребляется в нескольких диффузных значениях: «досада, огорчение, гнев, малодушие» (EW 1989, S. 593). Этимологи указывают на его генетическую связь с общегерманским **grama*, а также со словами, имеющими идентичную морфологическую структуру, других германских языков, например, с древнеанглийским *gram*. С точки зрения этимологии и семантики, оно было связано с другим немецким словом – *Grimm*, которое, как мы уже несколько выше отмечали, соотносится с индоевропейской формой **ghrem-*, имеющей первичное значение «скрежетать, хрустеть зубами». По З. Блуму, здесь можно говорить о его генетической связи с греческой лексемой *chromados* (скрежет, хруст), а также с литовским глаголом *grumzdeti* (скрипеть зубами) и готской формой *grisgramon*, употребляемой в том же значении. Известны также попытки некоторых ученых найти этимолого-семантические корреляции анализируемого слова с так называемыми звукоподражательными немецкими словами *donnern* (греть) и *poltern* (падать с грохотом, гроыхать) (Blum. – Цит. по: EW 1999, S. 333). В данном случае, как нам представляется, опять же актуально и справедливо замечание К. Изарда об онтологической соотнесенности эмоций печали и гнева (Изард 1999, с. 252–254). Умозаключение, к которому пришел видный американский исследователь в результате проведения *экспериментальной* работы, оказывается не только психологически, но и вербально (этимолого-исторически) состоятельным.

Не столь полные этимологические данные, предлагаемые соответствующими русскоязычными словарными источниками, несколько затрудняют проведение опирающегося на лингвистические факты культурологического анализа ЭК русского языка. В нем относительно удовлетворительно представлена этимология печали, грусти и тоски.

Слово *печаль* (др.-русс. *печаль*), по М. Фасмеру (ЭС 1996, т. 3, с. 254), – дериват слова *печа*. Последнее имело употребление еще до

недавнего времени в некоторых русских диалектах в значении «забота, попечение». Слово *печа*, согласно И.И. Срезневскому, применялось в значении «попечение». «Печалити – огорчать, печалить»; «печалование – забота, попечение»; «печаловатися – 1) быть печальным, горевать, сокрушаться; 2) заботиться» (Срезневский 1989, т. 2, ч. 2, с. 921). В древнерусском языке, таким образом, данное слово имело несколько значений: 1) огорчение; 2) горе; 3) забота; 4) неприятнь (Там же, с. 923). Эти значения, выраженные аналогичной морфологической структурой, обнаруживаются и в других славянских языках, например, польск. *piesza* – печаль, опека; укр. и блр. *печаль*, ст.-слав. *печаль*, болг. *печал* – скорбь, грусть и т. д. (ЭС 1996, т. 3, с. 254).

Из приведенной здесь этимологической справки можно заключить, что современный номинант эмоции *печаль* генетически связан с понятиями попечения, заботы, что, как можно предположить, свидетельствует об их причинно-следственных отношениях. Не исключено, что проявление заботы о другом человеке психологически сопряжено с переживанием определенной эмоции. В пользу подобного рода трудно верифицируемых рассуждений говорит, вероятно, сохранившийся в русском языке глагол «печалиться, печаловаться о ком-либо», т.е. «заботиться о ком-либо» (ЭС 1996, т. 3, с. 254).

Происхождение слова *печаль* некоторые этимологи связывают с глаголом *печь* в значении «гореть» (Маковский 1980, с. 138). В данном случае актуальной становится корреспонденция обсуждаемой эмоции с архетипом огня.

Однако наиболее ценными с культурологической точки зрения нам представляются данные, зафиксированные И.И. Срезневским в «Словаре древнерусского языка». Примечательно, что он не только предлагает полный список значений этого слова, но и приводит многочисленные примеры его употребления. Рассмотрим соответствующие иллюстрации использования данного слова в его эмоциональном значении: а) «Печаль ваша в радость вадеть»; б) «Аште ли да ослабѣтъ мѣсла отъ м т въ, абие начнѣтъ печаль поядати срѣце чакотъ»; в) «И яко оузырьста попинъ его и отрок, (и) же слѣжаше ему, а своего драхла и печалню облнана сѣща, зѣло расплакастася»; г) «Что еси пожилъ бес печали на свѣтътъ семь, многъ напасти примѣтъ»; д) «Много печаль въ срѣци своемъ вижю» (Срезневский 1989, т. 2, ч. 2, с. 923).

Анализ употреблений слова *печаль* в эмоциональном значении позволяет сделать вывод о том, что, во-первых, эта эмоция мыслится

как противопоставление радости (пример а); во-вторых, четко выражено «место обитания» печали – сердце (примеры б, в); в-третьих, указывается на сильное психологическое воздействие данной эмоции на человека; печаль угнетает, сжирает его сердце (примеры б, в); в-четвертых, в одном из приведенных высказываний эксплицируется соматическая реакция человека на переживание печали – «расплакатаса» (пример в). Рассматриваемое слово, согласно И.И. Срезневскому, употреблялось также и в другом эмоциональном значении – печаль как неприятнь: «Пожаловали поповъ и черцовъ и всѣхъ водѣльныхъ людей, да правымъ срцемъ молятъ за насъ Бга и за наше племя безъ печали» (Там же).

Диапазон значений слова *печали* не ограничен собственно эмоциями. Это слово в русском языке употреблялось в значении «забота»: а) «Отаготѣжтъ срдца ваша <...> печальми житинскѣми»; б) «Она печаль ведеть въ мѣкѣ, а си печаль ведеть въ жизнь вѣчнѣю»; в) «Житие вес печали»; г) «Мирьскѣя печали» (Там же).

Слово *грусть* – славянского происхождения. С точки зрения деривационных возможностей, оно чрезвычайно продуктивно во многих славянских языках: рус.-ц.-слав. – *съгрустити ся* – загрустить, сербохорв. стар. *grustiti* – тошнить, словен. *grustiti* – делать противным, *grusti se mi* – меня тошнит (ср. также со словен. *grust* – отвращение). По М. Фасмеру (ЭС 1996, т. 1, с. 464), эти слова генетически связаны с древним словом *груда*. По нашему мнению, культурологически небезынтересен приводимый автором этимологического словаря пример из словенского языка «*skrb me grudi*» (меня *гнетет* забота). Если следовать установленному психологической наукой закону ассоциаций, то можно, кажется, увидеть связь между физическими объектами (груда) и фрагментом психологического мира (забота) – «забота = печаль давит тяжелым грузом на человека».

В «Этимологическом словаре русского языка» (ЭС 1996, т. 1, с. 464) указывается на соотнесенность русского слова *грусть* со словами литовского (*man sirdis pa-grudo* – я расчувствовался, *grausme* – предостережение, *graudus* – хрупкий; трогательный, скорбный, *supragrudenti* – опечалить) и древне-прусского происхождения (*en-graudesnan* – страдание). Совершенно очевидна трудность культурологического комментирования представленных здесь этимологических фактов. Вероятно, ЭК грусти становится фактом вербальной культуры благодаря его первичной «физической» объективации, из реально существующих предметов, обладающих и соответствующим образом по-

знаваемых (например, тактильно) определенными свойствами. Ср.: семантико-этимологический ряд «хрупкий» – «трогательный» – «скорбный».

Анализ этимологии слова *тоска* (др.-русс. *тъска* – стеснение; горе, печаль; беспокойство, волнение) позволяет вести речь о его генетической корреляции со словами некоторых славянских языков (ср.: блр. *tosknić* – тосковать, печалиться, ц.-слав. *сътъснѣти*, чеш. *teskný* – боязливый, *tesklivý* – пугливый, тоскливый) (ЭС 1996, т. 4, с. 88). При этом нельзя не обратить внимания на значение чешского слова *teskný* – боязливый, что можно рассматривать как вербальную иллюстрацию отмечаемой психологами (см.: Tomkins 1963) тесной природной связи между печалью и страхом.

Эмоциональный концепт «Zorn – гнев»

С точки зрения генезиса, как показывает анализ специальных работ (например, Изард 1999), гнев признается врожденным свойством человеческого организма. Он жизненно необходим человеку. Так, при его феноменологической характеристике известный американский психолог, сторонник теории дифференциальных эмоций К. Изард пишет: «Эмоция гнева сыграла безусловно важную роль в преодолении жизненных препятствий <...>, она имела важное значение для *выживания человека как вида*» (Изард 1999, с. 254, курсив мой. – Н.К.). Действительно любому из нас хорошо знакомы жизненные агрессивные ситуации, когда мы благодаря переживанию данной эмоции справляемся со страхом, сковывающим наши реальные и вербальные поступки, когда мы способны себя морально и физически защитить от исходящей / мнимой угрозы.

Психологическая наука утверждает, что эмоция гнева является одним из главных компонентов структурно и содержательно более сложного психического феномена – так называемой «триады враждебности». В эту триаду входят также презрение и отвращение (Там же, с. 265–266). «Правильность» предложенной учеными триады подтверждают, как кажется, и слова поэта, интуитивно чувствующего генетическую и функциональную связь ее слагаемых: «Презренье созревает гневом...» (А. Блок). Эмоция гнева структурно сложна; она – *комплекс переживаний человека*.

Признавая за гневом такое его функциональное свойство, как врожденность, не следует думать, что эта эмоция есть исключительно константный феномен. Как и всякая из анализируемых базовых

эмоций, гнев концептуализируется культурой этноса, в котором он «живет». Эта эмоция в силу своей ярко выраженной соматики наиболее подвержена влиянию культуры, эволюционно развивающейся и вырабатывающей определенные этические нормы поведения того / иного сообщества, предписывающей его члену алгоритм реальных и вербальных поступков. Известно, что в современных культурах, в частности европейских, социум порицает как речевую, так и соматическую экспликацию гнева человеком. «Эмоции, в особенности отрицательные, следует скрывать», «стыдно не уметь себя публично сдерживать» – такова суть нынешнего этикета. Понятно, что такие правила хорошего тона есть продукт развития культуры, результат социализации человека. Среднестатистический средневековый человек, не говоря уж о человеке примитивном, поступки которого во многом напоминали поведенческие реакции животных, не был отягощен этическими правилами.

В средние века проявление эмоции гнева свидетельствовало о физической силе, мужестве человека, его способности совершать отважные, граничащие с риском для жизни действия. Психологи высказывают мнение о том (Изард 1999, с. 263–264), что исходящая от человека, особенно мужчины, агрессия, важнейшей компонентой которой является гнев, мотивирована его сексуальными потребностями. Сексуальная агрессивность мыслилась примитивным и средневековым человеком как мужество. Вероятно, эта «идея-реликт» сохраняется и в современных культурах, если судить по многочисленным нынешним жизненным сюжетам.

Выражение человеком гнева, по данным экспериментальной психологии и медицины, есть необходимое условие сохранения его психического здоровья. Постоянное, тотальное подавление данной эмоции, генетически заложенной в человеке, а значит ему биологически необходимой, чревато саморазрушением здоровья. В данном случае мы имеем дело с общественной ситуацией конфликтного характера – несоответствием результатов культурного эволюционизма и эволюционизма биологического.

Анализ культурных фактов, относящихся ко времени мифологического толкования мира, позволяет увидеть рождение и дальнейшее функционирование эмоции гнева.

Одной из прямых номинаций этой эмоции в немецком языке является слово *Wut*. Согласно этимологическим данным (EW 1989, S. 1999), это слово (IX в.) изначально употреблялось не только в немецком, но и во многих индоевропейских языках в значении «вы-

званное *нечеловеческими* силами (демонами, богами) состояние потери человеком контроля над собой, его сильное эмоциональное возбуждение; безумие, необузданное возбуждение». Следовательно, можно заключить, что неуравновешенное состояние, поведение человека (средневекового) в целом объяснялось действиями сверхъестественных сил. Интересно, что само слово *Wut*, как мы отмечали в начале главы 3, этимологически корреспондировало с именем всемогущего бога Wotan (букв. «вдохновляющий, побуждающий к действиям») (EW 1999, S. 900). Древний бог Wot / (d)an олицетворял собой природные силы, силы такого стихийного явления, как буря. Здесь следует указать на связь хронологии развития мира: буря – это *современный* символ бешенства, гнева в европейской культуре. Этот вербализованный факт культуры можно толковать как реликтовый феномен, явление, пронесшее через толщу эпох релевантный для человеческой природы психолого-социальный смысл. Его первичные мифолого-религиозные свойства по-прежнему живы в семантике современного языка.

Слово *Grimm* (IX в.), выражающее концепт, родственный рассмотренному выше *Wut*, в современном немецком языке стилистически маркировано. Оно вышло из активного речевого употребления. Несмотря на то, что его происхождение, в отличие от вышерассмотренного слова, непосредственно не коррелирует с мифолого-религиозными фактами, мы считаем необходимым указать на некоторые особенные черты его этимологического «портрета». Здесь, безусловно, достойны пристального внимания два обстоятельства зарождения знака, оязыковляющего этот ЭК. Во-первых, эксплицируемое им слово, имеющее в IX в. форму *zano gigrim* («скрежетать зубами»), обнаруживает поразительно очевидную вербальную связь соматики и психики в мифолого-религиозной картине мира, фрагменты которой, как можно заметить, «перекочевали» в Новое время, расположившись на карте и *современной* языковой картины мира. Общеизвестно, что гнев в любой культуре выражается оскалом и часто стискиванием или даже скрежетом зубов. Во-вторых, не менее интересный факт для культуролога может представлять трансформация (если быть точнее – расширение) семантики слова *Grimm* в нововерхненемецком языке. Это слово (форма *grimmi*) теперь начинает употребляться в значении «жестокость, дикость, бешенство». Налицо диффузность семантики данного слова и, что в нашем случае культурологически ценно, смешивание свойств человеческого характера («жестокость») и эмоционального состояния, эмоциональной реакции.

Этимологический анализ позволяет заметить сходство в развитии базисного концепта *Zorn* (IX в.) и концепта *Grimm*. Изначально слово *Zorn* было широкозначным: древневерхненемецкая форма *zorn* (*Erbitterung, Wut, Entruistung*) – огорчение, бешенство, возмущение, средневерхненемецкая форма *zorn* (*plötzlich entstandener Unwille, Heftigkeit, Wut, Zank, Streit*) – внезапно возникшее недовольство, порывистость (горячность), бешенство, ссора, спор (EW 1989, S. 2032). Как мы уже отмечали, диффузность его семантики еще более очевидна в средневерхненемецком языке (ср., с одной стороны, номинанты эмоций *Unwille, Wut*, а с другой – «эмоциональные» факты, их провоцирующие, либо ими же провоцируемые, – *Zank, Streit* – ссора). Представляется, что здесь речь идет о недостаточно четкой вербализации средневековым языковым сознанием родственных явлений – самих эмоций и сопровождающих их эмоциональных ситуаций общения. В пользу подобного предположения, возможно, говорит и тот факт, что время появления в немецком языке слова *Zank* («ссора») – XIV в. По всей видимости, в средние века слово *Zorn* употреблялось в разных значениях, в том числе и в значении «ссора». Понятие же «ссоры» выражается впоследствии лексемой *Zank* в относительно позднее время.

Слово *Zorn*, согласно этимологическим данным, генетически родственно многим словам других германских языков: др.-англ. *torn* со значениями «грусть», «тоска», «страдание», «чужбина» (EW 1989, S. 2032); др.-ирл. *drenn* в значении «ссора» (EW 1999, S. 915). Установлено, что все приведенные здесь слова происходят от общего индогерманского корня **der-*, употребляемого в значении «раскалывать». Ср. немецкий глагол *zerren* – рвать с силой и *zuernen* – злиться, сердиться (EW 1999, S. 915). Следует также отметить четко выраженную семантику агрессии у слова *Zorn*: ср. имена прилагательные в ср.-верх.-нем. *zorn*, др.-сакс. *torn*, имеющие значения «горький, жестокий» (EW 1999, S. 915).

Этимологии немецких слов *Zorn* и *Grimm* обнаруживают ценный культурологический факт, суть которого заключается в следующем. По своему происхождению номинанты эмоций *Grimm* (гнев) и *Gram* (печаль) родственны (EW 1999, S. 338). Слово *Zorn* имело, в свою очередь, употребление в значении «Grimm, Kummer, Leid, Elend» (EW 1989, S. 2032). Происхождение всех этих слов, определенная общность их первичной семантики корреспондируют с мнением психолога К. Изарда, высказывавшегося за признание онтологической родственности понятий гнева и печали (Изард 1999, с. 252-254).

Менее информативным для предпринимаемого комплексного лингвокультурологического анализа оказывается русскоязычный материал. У слова *гнев* (др.-русс. *гнѣвъ*), имеющего общеславянское происхождение, есть 2 версии толкования. В соответствии с первой из них оно происходит от слов *гнѣль*, *гной*, а согласно второй – от слова *гореть* (ЭС 1996, т. 1, с. 420). Если исходить из тезиса «онтогенез повторяет филогенез», то более правдоподобна вторая версия объяснения этимологии слова *гнев*. В качестве аргументов здесь выступают многочисленные «огненные» метафоры, описывающие свойства указанного ЭК (см. Красавский 1998, с. 96–104).

И.И. Срезневский предлагает следующие (вероятно, наиболее типичные для того времени) употребления данного слова: а) «Къто съказа вамъ бѣжати отъ граждѣаго гнева»; б) «гнѣвъ и ярость»; в) «Гнѣвъ Бжии бѣи: придоша Половци»; г) «Аже боудѣтъ вадѣцъ или мастерови ...гнѣвъ (если владыка будетъ гневаться)» (Срезневский 1989, т. 1, ч. 1, с. 527).

Дадим краткий комментарий этим, с нашей точки зрения, культурологически нагруженным высказываниям. Во-первых, для них характерна религиозная окрашенность (примеры в и г); во-вторых, здесь, как и в ранее рассмотренных случаях (например, концепт *страх*), типичным оказывается соупотребление слов, обозначающих родственные эмоции гнева и ярости (пример б); в-третьих, в одной из словарных иллюстраций ярко выражена поведенческая реакция человека, пытавшегося укрыться от гнева бегством (пример а).

Теперь рассмотрим номинант эмоции *негодование*. Согласно И.И. Срезневскому, это слово изначально употреблялось в двух значениях: как «непристойность» (а) «Стая оскверниѣ вси негодованьи») и как «неудовольствие» (б) «Велим негодованіемъ начнѣтъ негодовати» (Срезневский 1989, т. 2, ч. 2, с. 372). В данном случае налицо связь объектов собственно эмоционального и более широкого психологического («негодование» = «осквернение»). Легко заметить типичную ситуацию переноса наименования с человеческого поступка, оцениваемого как нарушение моральных, религиозных установок общества, на переживание соответствующей эмоции (пример а). Не менее интересен, на наш взгляд, пример б), показывающий тавтологию, применение которой, возможно, объясняется, выражаясь терминологией коммуникативной лингвистики, исключительно прагматикой эмоциональными интенциями говорящих («негодованіемъ начнѣтъ негодовати»). Следует заметить, что аналогичные языковые употребления имеют место и в современном языке – «любить пламенной любо-

вью», «ненавидеть лютой ненавистью» и т.п. Причина их прежнего использования вопреки риторическим нормам лежит скорее всего в плоскости психологического знания: коммуникативное намерение продуцента речи максимально выразить свои переживания и / или соответствующим образом воздействовать на собеседника / читателя.

Другой родственный рассмотренным здесь словам номинант *ярость* также славянского происхождения: ← *ярый*; *jariti se* – горючися, словен. *jarēn* – яростный, энергичный, сильный (ЭС 1996, т. 4, с. 562). Поскольку этим словом первоначально обозначались объекты физического мира и их качества, свойства (ср. сербохор. *jara* – жар от печи, др.-чеш. *jarobjuny* – горячий; славянское прилагательное «ярый», употребляемое в значении «яркий, сверкающий») (ЭС 1996, т. 4, с. 562, курсив мой. – Н.К.), то можно предположить, как и в случае с «гневом», его корреспонденцию с таким архетипом, как «огонь» и его производными – «сверкание», «блеск» (например, *Hoellenflammen tiefen Zornes, der Zorn flackerte auf, гнев разгорался в нем* и т.п.).

По данным В.В. Иванова и В.Н. Топорова, русское слово *ярость* (← праславян. корень *яр-*) связано с именем балто-славянского бога Яровита (или Ярила), символизирующего собой весну, плодородие, хороший урожай (Иванов, Топоров 1965, с. 120–123. – Цит. по: Юдин 1999, с. 68).

Мифические и религиозные представления человека о его наказании за грехи высшим судом в лице Бога отражены в языке – *Gotteszorn, Божий гнев*. Характерно, что гнев, исходящий от Всевышнего, всегда справедливый, правильный. Об этом свидетельствуют оценочные предикаты языка – *im heiligen Zorne Gottes, святой гнев* и др.

Данная эмоция, переживание которой человеком влечет за собой негативные соматические и психические последствия, коррелирует часто на вербальном уровне с отрицательными цветообозначениями (*unterm Dunkel des Zornes, черный*). Такая его характеристика, как интенсивность переживания, может нередко выражаться дериватами самих же номинантов эмоций – *страшный гнев, schrecklicher Zorn* и т.д.

Выводы

Применение комплексных методик при изучении вопроса концептуализации эмоций в немецкой и русской культурах, на наш взгляд, себя оправдывает. Удовлетворительное описание культурных концептов, в нашем случае – эмоциональных, необходимо предполагает

использование как экстралингвистических данных (психология, философия, этнография, этнология, социология, история, культуроведение; см.: Гуревич 1972, 1989; Изард 1999; Юнг 1996, Boehme 1993, S. 275–285; Dinzelbacher 1993a, S. 285–294; Kuester 1993, S. 307–317; Tomkins 1963), так и собственно филологических фактов (этимология, словарные дефиниции, языковые употребления соответствующих слов; см.: Веселовский 1997, с. 85–112; Маковский 1980, 1992; Мечковская 1998; Морозова 1999, с. 300–304; Феоктистова, Лемберская 1981, с. 78–85).

Для эпохи Средневековья характерен ярко выраженный теоцентрический подход к толкованию мира, о чем свидетельствуют как многочисленные исторические, так и не менее репрезентативные лингвистические факты. В ходе исследования мы обнаружили наличие религиозной компоненты в семантике целого ряда слов и словосочетаний. Христианская идеологизация языка образца средних веков – важнейшее культурно-историческое событие нашей цивилизации, предопределившее ее магистральные пути развития в дальнейшем. Язык – главная компонента культуры – все более и более идеологизируется в средние века. Нам, носителям современной культуры, пользователям современного, во многом лишенного изначальной образности и «чистоты» языка, языка, утратившего первичные эмоциональные образы, «забывшего» свое первозданное состояние, нелегко понять средневековое отношение человека к данному феномену.

Язык есть символ, и для мифолого-религиозного человека он – не простая условность. В средние века язык «...обладает огромным значением и исполнен глубочайшего смысла; <...> символичны не отдельные акты или предметы: весь посюсторонний мир есть не что иное, как символ мира потустороннего; поэтому любая вещь обладает двойным или множественным смыслом; наряду с практическим применением она имеет применение символическое» (Гуревич 1972, с. 265–266).

Существующие в сознании понятия преломляются через христианские догмы и при этом непременно приобретают оценочные характеристики. Средневековая культура есть прежде всего социальная, оценочно квалифицирующая факты мира система. Она – чувственно-эмоциональна. Средневековое мироощущение подчинено социально-этическим идеалам христианства, эмоциональное влияние которых на человека той эпохи трудно переоценить. Оно выражается в универсальной нормативности поведения и мышления средневековых людей. При этом следует указать на все возрастающую роль церкви как социального института.

Роль религии трудно переоценить для становления человеческой культуры. Сопоставляя древний мир с миром христианским, многие исследователи указывают, что подлинная *коллективная* культура в действительности возникла благодаря христианству. *«Античный мир покровительствовал одному высшему классу, поощряя в нем индивидуальное развитие ценою подавления большинства простого народа (илотов, рабов): последующая же христианская среда достигла коллективной культуры благодаря тому же процессу, но по возможности перемещая его в психологическую сферу самого индивида»* (Юнг 1996, с. 108).

Формируемая церковью «средневековая модель мира» естественным образом опиралась на ранее возникшие языческие представления человека того времени. При этом наивное мифическое сознание «разбавляется» новыми культурными смыслами, исходящими от церкви. Сущность же религиозной этики той далекой эпохи кратко можно сформулировать следующим образом: жесткое привитие человеку чувства смирения, вины; распространение и популяризация ведения аскетического образа жизни; объяснение необходимости отказа от мирских удовольствий и радостей в силу их греховности, неугодности Всевышнему.

Представленный здесь в общих чертах средневековый «портрет» человека содержит определенным образом иерархически выстроенные культурные смыслы. Последние выражены в моделях человеческого поведения и языкового мышления. Знаковость культуры, в том числе и, возможно, преимущественно, ее вербальная форма, вербальный способ существования, – благодатная почва для исследователя.

ЭК страха, радости, гнева и печали мы рассматриваем в силу их физиолого-психологической релевантности для человека как главные культурные паттерны, выступающие в регуляторной функции. Данные концепты есть динамический феномен. Его трансформации в ходе культурно-исторического процесса безусловны, подтверждением чего может служить этнографический, исторический и лингвистический материал. Факторы, определяющие сам вектор движения культурных эмоциональных смыслов, различны как по своему происхождению и характеру, так и по степени своей значимости. Релевантность культурных факторов зависит в том числе и от особенностей исторической эпохи их существования.

Так, для Средневековья, как показывает историческая наука, чрезвычайно актуальными были «фобиокультурные» смыслы. Их психо-

лого-культурная релевантность для средневекового сознания объясняется главным образом двумя взаимосвязанными факторами: с одной стороны, «нерасколдованностью мира» (термин М. Вебера – *Nichtentzauberung der Welt*), мучительными попытками его толкования, а с другой – фобии-ориентированной деятельностью церкви, призывающей человека к смирению, аскезе и т.п. Эмоции страха пронизывают средневековую культуру. Генетически заложенный в человеке, страх активно и успешно культивируется данным социальным институтом. Доказательством такого тезиса служат многочисленные языковые факты: «**Страхъ Божий = страхъ госпѣднѣ**», «**страхъ Бжинимъ тѣ въше всего**», «**Молащѣ ми са въ цркви, быти ми въ ѹжасъ**», *Gottesferne* и т.п. Эмоциям, входящим в понятийное поле страха, средневековым сознанием приписывались такие свойства, как активизация, либо, наоборот, блокирование человеческих действий, уподобление эмоций кипящей воде и т.п. Вероятно, в данном случае речь идет о прямом, буквальном понимании средневековым человеком действий эмоций, сохранившихся и по сей день в современных языках, но уже интерпретируемых их носителями как метафоры (ср. «**Боязнь и трепетъ приде**»).

Семантика членов синонимического ряда *страх* (см., напр., *ужас*) диффузна и широкозначна, что определяется, по нашему мнению, дефицитом слов и недостаточно глубокими эвристическими возможностями средневекового человека.

Эмоции, по мнению психологов (Додонов 1978; Изард 1999; Лук 1982 и др.), классифицируются на положительные и отрицательные. Критерием их «знаковости» служит психосоматика. Это положение, верифицируемое на примере речевого употребления обозначений эмоций, подтверждается лингвистически. Так, номинации эмоции *страха* и его «дериватов» (*Schrecken*, *Scheue*, *ужас*, *боязнь* и др.) соотносятся со словами, семантика / ассоциативный потенциал которых отрицательно окрашен (например, *hoellische Angst*, *heiliger Zorn*, *светлая радость*, *райское наслаждение* и др.). Оценочные предикаты – очевидное свидетельство христианизации языка чувственно-эмоционального Средневековья.

Эмоция печали, как известно из медицинской и психологической наук, болезненно переживаемая человеком на психосоматическом уровне, обнаруживает свою отрицательную направленность. Согласно древним рукописям, ее ощущение связывалось с физиологической болезнью человека. Об этом говорит и приведенная выше этимология немецкого слова *Trauer* (см. EW 1989, S. 1832). Переживание этой

отрицательной, наносящей вред здоровью человека эмоции в средние века объясняется церковью как наказание людей за их удаленность от Бога (ср. *Gottesferne – beglueckende Gottesnaehe*).

Анализ употреблений печали как номинанта эмоции (в особенности в русском языке) иллюстрирует знание мифолого-религиозным человеком как «места обитания» (сердце), так и высокой степени ее психологического воздействия на его состояние.

Эмоция гнева, являющаяся важнейшим мотивом человеческих поступков, как и выше отмеченные базисные эмоции, универсальна, т.е. внетемпоральна и внелокальна. Для системы моральных ценностей средневекового человека было свойственно понимание Божьего гнева (*Zorn des Gottes*): Всевышний гневен, если человек совершает не угодный ему поступок. В то же время священнослужителями порицалось гневное поведение мирян, равно как и их вербальные и невербальные экспликации радости, счастья и печали (Kuesters 1993, S. 308–309). Божий гнев выражался в природных стихиях. Такое, например, явление, как буря, считалось формой экспликации недовольства, гнева Бога. Не случайно поэтому, что в современной культуре она – символ бешенства. Этот пример иллюстрирует мифолого-религиозные средневековые представления человека в сегодняшней символике.

Известное философское положение о дуализме мышления, в том числе и оценочного, в высшей степени актуально и для средних веков. Эмоция радости все более концептуализируется во времена *позднего* Средневековья, несмотря на сохранение актуальности человеческих фобинастроений (см.: Гуревич 1989; Boehme 1993, S. 275–285; Kuesters 1993, S. 307–317).

Анализ соответствующего языкового материала позволяет нам говорить о сформировавшемся понимании средневековым человеком легкости переходов одних эмоциональных состояний в другие. Здесь же заметим, что, несмотря на строгость моральных предписаний церкви, ратующей за аскетический образ жизни, идея стремления человека к переживанию этой эмоции была актуальной.

Этимология и древние употребления слов *радость* и в особенности *отрада* иллюстрируют наличие в них четко оформленной идеологической (религиозной) компоненты («отрада» – это прощение человека Господом). Этот лингвистический факт, равно как и некоторые другие вышеназванные, позволяет увидеть корреспонденции между самыми различными фрагментами мира – физического и психологического (или эмоционального) и др.

Составляющие синонимической пары радости по своей характеристике положительно окрашены. Позитивность семантики / ас-

социативного потенциала слова, обозначающего, в частности, сам базисный концепт, видна в сочетаемостных возможностях соответствующего языкового знака. Радость ассоциируется с понятиями светлости, святости, чистоты, о чем свидетельствуют многочисленные лингвистические факты. Этот ЭК противопоставляется по своей оценочной характеристике концепту печали, обладающему, как следует из лингвистического материала, иными аксиологическими свойствами.

Ассоциативно-образную основу наивной концептуализации мира, являющейся способом его освоения, формируют архетипы. Архетипы как первичные эмоциональные образы, живущие в нашем языковом сознании, создают языковую картину мира. Языковая картина мира – продукт распределечивания действительности, суть иерархически ценностно выстроенной вербализованной понятийной системы, базирующейся на человеческих представлениях (гештальтах) о мире. Формированию понятия, концепта предшествует эмоционально-когнитивная деятельность «наивного» человека, принципиально опирающегося при этом на «первичную» природу, на физические объекты мира.

Лингвокультурологический анализ вербализованных эмоций, ЭК легко «вписывается» в архетипическую концепцию К.Г. Юнга и его учеников (Юнг 1996; Jaffe 1971 и др.). Языковые знаки, обозначающие эмоции, подчинены архетипическим законам. Смена картин мира, вызванная в целом общественным развитием, и в частности социализация эмоций, иллюстрирует их архетипический характер, что доказывается соответствующим анализом ЭК в *современной* языковой картине мира.

Концептуализация эмоций в современной наивной и научной картинах мира

Определение понятий наивной и научной картин мира

Всякому исследователю известны трудности диахронического членения «жизни» объекта его изучения. Последний представляет собой определенный фрагмент глобальной социально-культурной системы, которая развивается принципиально исторически – в конкретное время и в конкретном пространстве. Аксиоматично, более того, сегодня, кажется, даже тривиально утверждение о том, что глубокое научное исследование той / иной проблемы предполагает обращение ученого к филогенетическому этапу формирования того /

иного «кусочка» распредемечаваемой человеком объективной / субъективной действительности, иными словами – к истории становления формирующих ее компонентов. Качественное, продуктивное описание социальных феноменов в динамической плоскости необходимо предполагает создание периодизации их «биографии», без которой становится проблематичным всякое диахронически сопоставительное и сравнительное изучение объектов мира. Кажется, хорошим примером здесь могли бы служить (служат ли в действительности?) такие общественные науки, как история и историография. Вместе с тем, однако, мы знаем самые различные подходы к периодизации истории человечества (ср., к примеру, традиционную периодизацию учеными, в особенности советской эпохи, отечественной истории с ее социологически ориентированной периодизацией В.О. Ключевского). Многовариантность периодизации одних и тех же исторических фактов объясняется сложным характером их природы. Если есть значительные трудности при периодизации *гражданской* истории, то легко себе представить танталовы муки ученого при классификации самого *культурно-исторического* процесса, которому присущи собственные, более сложные онтологические характеристики.

Примером периодизации собственно исторического процесса и серьезными, связанными с ним исследовательскими трудностями, мы хотели акцентировать наше внимание на слитности, «спаянности», преемственности различных существующих в синхронно-диахронической плоскости картин мира.

Картина мира представляет собой определенным образом выстроенную по законам динамической иерархии систему ценностей, состоящую из представлений, понятий, концептов, вобравших в себя в знаковых (в том числе и вербальных) формах впечатления, ощущения, знания, весь чувственный и рациональный опыт освоения человеком мира. Картина мира есть мыслительный конструкт нашего сознания. Она не просто слепок материального мира. Картина мира – исключительно креативный феномен. Картина мира доступна человеческой рефлексии в том случае, если она в целом семиотична, знаково оформлена, и, в частности, особенно оформлена вербально. Обязательное условие существования, социального функционирования картины мира есть ее ословление – *das Worden des Weltbildes* (здесь мы предпочли бы употребление именно данного мотивированного терминосочетания, кальки с немецкого языка. Ср. с традицией его применения в духе М. Хайдеггера *gewortetes Weltbild*). Слово, как известно, не только означает, обозначает, но и генерирует человеческую мысль, указывает ей пути дальнейшего развития.

Поскольку картина мира являет собой лингвокультурный продукт перманентно осуществляемой предметно-когнитивной деятельности человека, постольку, в частности, и ее историко-культурная классификация в известной степени условна. Естественно, что выделение учеными в отдельные классы картин мира по аналогии с типологией исторического феномена мышления или сознания (древнее, примитивное, дологическое, мистико-мифологическое, мифолого-религиозное, религиозное, наивное, научное, современное и т.п.) опирается на определенные формальные и содержательные критерии. Считается, например, что примитивное мышление «до-логично» (Леви-Брюль; Леви-Стросс; Miller. – Цит по: Вежицкая 1997в, с. 291); религиозное собственно не научно (в строгом смысле слова) и т.п. При этом, как можно заметить, нередко типология мышления строится по принципу глубины его объяснительных, научно-рациональных с *современных* позиций возможностей. Для так называемого цивилизованного человека в отличие от его предшественника, живущего в иной системе социокультурных координат, свойственно логическое, опирающееся на причинно-следственные отношения фрагментов мира мышление. Мистико-мифологическое мышление индифферентно к очевидным для нас противоречиям при толковании мира. Отсюда наше непонимание жизни примитивных культур, содержание которых составляет отношение «партиципации» (термин Л. Леви-Брюля), т.е. эмоциональной мистической сопричастности «всего и вся» друг к другу.

По аналогии с социально-исторической типологией сознания и мышления человека часто предлагаются соответствующие классификации картин мира – древняя, мифологическая, религиозная, современная и т.п. В данной работе, автор которой в силу указанных причин призывает определенную условность использования данных терминов, не случайно предпочтение отдается употреблению специальных «синтетических» по сути обозначений, например, «мифолого-религиозная картина мира». Естественно, что употребление термино-сочетания «современная картина мира» также во многом условно. Под ним подразумевается определенный исторический отрезок времени – конец XVII – начало XVIII в. – сегодняшний день. Обращение к подобному рода периодизации обусловлено технологически: в работах по истории, этнографии, этнологии (Гуревич 1989; Beutin 1993, S. 137–153; Lundt 1993, S. 317–325; Vocolka 1993, S. 295–301 и др.), так / иначе рассматривающих интересующие нас концепты, имеются соответствующие хронологические указания. Это обстоятельство для

нас важно, поскольку мы помимо использования экстралингвистических данных обращаемся и к собственно лингвистическим фактам, преимущественно к этимологии номинантов эмоций и их метафорическим употреблением.

Условно определив хронологические параметры функционирования ЭК (*современная картина мира*), следует пояснить наше понимание понятий, выраженных терминами «наивная» и «научная» картина мира.

Формирование так называемой наивной картины мира хронологически предшествует оформлению научной картины мира. Ее изначальное «древнее» содержание представляет собой результаты «нелогического» объяснения устройства мира. Наивная картина мира формируется на основании мифолого-мистико-архетипических представлений человека об окружающей его действительности. Ее примитивный носитель не обнаруживает еще глубоких причинно-следственных отношений в явлениях мира. Сама по себе действительность оценивается в иной системе координат, которая не ориентирована на различение причины и вызываемого ею следствия.

Противопоставление наивной и научной картин мира во многом условно (см. Касавин 1999, с. 26–28; Кубрякова 1999, с. 9–10). Так, И.Т. Касавин, сторонник неклассической теории познания, утверждает следующее: «По-видимому, главная трудность, стоящая сегодня перед философским анализом знания, состоит в том, чтобы расстаться с *демаркационным подходом*, т.е. взглядом на знание как на то, что предполагает жесткое противопоставление науки и иных форм познавательной деятельности» (Касавин 1999, с. 27). Выделяемые им такие основные типы знания, как практическое, духовно-практическое и теоретическое (Там же, с. 37), с определенной долей условности, на наш взгляд, можно спроецировать на понятия наивной и научной картин мира.

Практическое знание, по И.Т. Касавину, представляет собой прежде всего реальный опыт, его накопление, обработку, распространение главным образом в орудиях труда, навыках их производства и использования, в системах общения и социальных институтах. «Языковые и вообще рефлексивные средства представления не свойственны практическому знанию самому по себе, хотя и могут сопровождать его по мере его “интеллектуализации”. включения в него рефлексивных типов знания» (Там же).

Второй тип знания – духовно-практический, – более абстрактен, поскольку являет собой представления человека «о нормах общежи-

тия», мифах, религии, культах. В отличие от практического знания, говорящего о том, «как действовать в ходе преобразования природного и социального окружения, духовно-практическое знание, давая образ мира сквозь призму человеческих потребностей и интересов, учит тому, как *следует относиться* к этому миру и самому себе. <...> Его основной задачей является формулировка и предъявление обобщенных образцов поведения и мышления, для чего избираются не абстрактно-понятийные средства, но наглядно-образные – легенда, притча, культовое изображение, ритуальное действие» (Касавин 1999, с. 47).

Третий же тип знания – теоретический – И.Т. Касавиным определяется как «синтез двух предшествующих типов знания». «Теоретическое знание возникает из деятельности, называемой нами “исследованием”. Деятельность исследования имеет специфическую структуру, основанную на определенной картине мира и человека» (Там же, с. 51–52). «Органической частью этой картины мира, – продолжает свои рассуждения философ, – является рефлексивно формируемый объект деятельности, по поводу свойств которого выдвигается набор предположений, или “гипотез” (Там же).

Человеческое знание, т.е. результат освоения Homo sapiens окружающего его мира, развивается по хорошо известной модели «конкретное – абстрактное», «индивидуальное – общее / обобщенное». Здесь же укажем на диалектический характер самого знания (вне зависимости от его типа): оно постоянно совершенствуется, уточняется человеком.

Наивная картина мира не есть константная единица; она – динамичный социальный феномен. Распредмечивание человеком действительности приводит к формированию новых представлений о ней, к образованию самих понятий, к ее все более глубокому и соответственно адекватному толкованию. Освоение мира – эволюционный практико-гносеологический процесс. Опыт общения человека с фрагментами мира ведет к постепенному формированию абстрактного мышления, основывающегося на мышлении предметном. Способность обобщать факты мира, фиксировать в сознании отраженные объекты реальной действительности как некие идеальные субстанции, т.е. понятия, – есть отличительная черта Homo sapiens.

Наивная картина мира вне зависимости от исторического места и времени ее существования вербальна; она отражена в языковом сознании человека. Языку принадлежит функция объективации человеческого опыта и сознания. Человеческие представления и понятия,

знания о мире фиксируются языком. Важно отметить, что само по себе знание человека может быть в действительности ложным, неадекватным реалиям бытия. Следы заблуждений мыслительной деятельности человека оязыковляются и, более того, прочно оседают в нашей семантической памяти, несмотря на все более глубокое освоение мира и соответствующее научное оформление результатов когнитивных процессов. Можно привести множество языковых «ошибок», сохранивших в реликтовой форме прежние толкования и объяснения причинно-следственных связей мира, например, устойчивые выражения типа *восход и заход солнца, солнце село, der Sonnenaufgang, der Sonnenuntergang* и т.п. Аналогичные речевые высказывания, несмотря на то, что они противоречат давно открытым, хорошо известным каждому из нас со школьной скамьи астрономическим и физическим законам, активно используются в языке его наивными носителями. Получается, что *даже современный* наивный языкопользователь неосознанно живет прежними мифологическими, с сегодняшних позиций знаний, представлениями и понятиями, как и ранее находится в плену противоречивой, ассоциативно-образной, т.е. по сути ненаучной логики. Мифологизм человеческого сознания, в том числе и современного, остается в его актуальной зоне. Это объясняется архетипическим мироощущением человека. Сами же человеческие мировосприятия могут быть различными. Они в значительной степени детерминированы принадлежностью человека к тому / иному этносу, к той / иной культуре, более того, часто – к тому / иному микросоциуму, к той / иной субкультуре. Мироощущения, мировосприятия, интерпретации фрагментов действительности – суть наивной картины мира. Последняя принципиально этнолингвоспецифична.

Ю.Д. Апресян, сопоставляя различные картины мира, этнически окрашенную наивную и лишенную этноокраски научную картину мира, справедливо отмечает, что первая из них в отличие от второй находится в определенной зависимости от языка, которым пользуется тот / иной носитель культуры. «Наивные картины мира, извлекаемые путем анализа из значений слов разных языков, могут *в деталях отличаться* друг от друга, в то время как научная картина мира не зависит от языка, на котором она описывается» (Апресян 1995а, с. 57–59, курсив мой. – Н.К.).

В отличие от наивной научная картина мира создается по законам строгой логики. Познаваемые, анализируемые человеком объекты мира подвергаются жесткой классификации, находят свое место

на «карте» предметных и абстрактных понятий, оязыковленных специальными знаками (терминами). «Наука вырабатывает абстрактные представления и понятия, очищая их от первичных образов и смутных созерцаний...» (Гачев 1987, с. 198).

Носители современной научной картины мира обнаруживают причинно-следственные отношения в явлениях объективной и субъективной действительности. Результатом собственно научного освоения мира является создание специального понятийно-терминологического аппарата, оперирование которым позволяет углублять человеческие знания осваиваемой действительности.

Собственно научная картина мира (в строгом современном смысле этого терминологического сочетания) *интенсивно* формируется на достаточно позднем этапе существования цивилизации, в так называемое Новое время (т.е. начиная с рубежа XVII–XVIII вв.). Одной из специфических особенностей Нового времени, выделяемого учеными, в том числе и культурологами, в автономный исторический период развития цивилизации, является беспрецедентная по своим темпам социализация человека, гуманизация всех сфер человеческого общежития, формирование нового антропоцентрического подхода к пониманию личности, бурный экономический рост и т.п.

Многочисленные инновации, свойственные культурному процессу XVIII в. и следующих за ним столетий, дух этого времени есть формирование «самости» человеческой личности. А.В. Михайлов, блестящий знаток античности и Нового времени, в одной из своих работ об этом процессе пишет следующее: «Человеческое “я” *впервые* начинает осознавать себя в эту эпоху в своей полнейшей конкретности и *уже не растворяется в формах общего*, а потому, как внутреннее наполнение и богатство (именно “моей”) души, впервые может становиться совершенно особым, сокровенным достоянием человека, отличаемого и отделяемого от любого иного “я” и с подозрением, если не враждебно, относящегося к любой отвлеченной мере человеческого достоинства, человеческой ценности. С глубинами процесса, в котором человеческое “я” приходит к себе, неразрывно связано “мелкое” – “я”, которое в своей осознанной неповторимости начинает ощущать себя *центральной* “точкой мира”, чувствует себя и собственником всего мира; весь мир и все культурные богатства – его владения» (Михайлов 1997, с. 534–535, курсив мой. – Н.К.).

В Новое время мир трансформируется значительно быстрее, чем в средние века, особенно на европейском континенте, пережившем за

короткий временной промежуток эпохи Ренессанса, Просвещения множество социально-экономических реформ и т.д. Многочисленные эпохальные изменения, свойственные социальной системе, вне всяких сомнений, детерминированы самыми различными факторами (ср., к примеру, основные положения теории марксистского экономического детерминизма, веберовской концепции протестантизма и т.п.). Кстати, сам факт появления альтернативных философских толкований мира – лучшее свидетельство углубляющейся интеллектуализации и все более распространяемой рационализации форм и способов существования человечества.

Многие исследователи указывают, что вторая половина XVIII в. пережила действительный «культурный перелом». А.В. Михайлов отмечает, что прежняя «мифориторическая система культуры», формирование которой начиналось еще в век Аристотеля и утвердилось в эллинизме, существовала вплоть до XVIII в.; она была «культурой готового слова – слова, черпающего из фонда культуры, из фонда значимых мифов» (Михайлов 1997, с. 512). «Культура готового слова» до этого времени была самовоспроизводящей; «она, по авторитетному мнению автора цитаты, консервировала и воспроизводила свои содержания в форме мифа, замыкала их в своем слове и, переводя их в междущарствие между самой истиной и самой ложью, реальностью и вымыслом, уберегала их <...>; эта культура отрицает непосредственное как таковое, не имеет с ним дела, все в ней перерабатывается готовым словом-мифом...» (Там же). Прежняя культура, «культура готового слова», таким образом, была самодостаточной системой, удовлетворяющей на протяжении веков, тысячелетий духовные потребности человека.

В данной части работы будут рассмотрены немецкие и русские ЭК в так называемое Новое время. При этом, с одной стороны, будет предпринята попытка их этнокультурного сопоставления, а с другой – мы постараемся на доступных историко-этнографических и лингвистических источниках дать диахронический анализ концептов эмоций. Для удобства же описания материала мы условно поставим знак равенства между историческим понятием «новое время» и культурологическим понятием «современная наивная картина мира». При этом следует помнить, что и мифологическая, и мифолого-религиозная картины мира не менее «наивны», нежели *современная* картина мира, хронологическое место которой мы по терминологическим соображениям определили в Новом времени.

Эмоциональные концепты «Angst – страх»,
«Freude – радость», «Trauer – печаль»,
«Zorn – гнев» в наивной картине мира
немецкого и русского этносов

Процесс социализации человека предполагает его некоторые ценностные переориентации. Теоцентрическая модель мира постепенно, особенно интенсивно в XX в., сменяется антропоцентрической. Человек становится «мерой всех вещей». Ученые указывают на избавление современного человека от мифолого-религиозных представлений, пленником которых на протяжении столетий был его предшественник. Антропоцентрическое оценочное отношение современного человека к миру – феномен эволюционный. Он наиболее продуктивно развивается начиная с XVIII в. Прежние понятия, представления человека психологически «держат» его, что особенно ярко иллюстрируется и нашим языком, в той / иной степени сохраняющим мысли, ассоциации, образы «старой» эпохи. Эволюция ценностной понятийной системы, складывающейся в течение продолжительного времени, обусловлена многочисленными социокультурными факторами (изменение уклада экономической жизни, изменения в идеологии, в религиозной политике, трансформации в психологии людей и т.п.).

Важнейшее место в ценностной системе человека занимают собственно эмоциональные понятия, психолого-культурная актуальность которых для человеческого бытия на разных этапах его существования не ограничивается временными и этническими рамками.

Предыдущее изложение историко-этнографического и языковедческого материала, относящегося до момента «наступления» Нового времени, показывает важнейшие онтологические характеристики базисных эмоций. Претерпели ли какие-либо трансформации человеческие представления об эмоциях в Новое время? Проводимый с целью ответа на поставленный вопрос культуролого-лингвистический анализ мы начнем с «эмоции эмоций» – страха.

Эмоция страха в Новое время остается, как и прежде, важнейшим мотивом наших поступков. Она сохраняет свою актуальность и для психологии современного человека. Люди не способны, например, преодолевать (*bewaeltigen*) страх смерти, но они теперь уже в состоянии вытеснить (*verdraengen*) его на периферию своего сознания (Vocelka 1993, S. 295). Прежние, характерные для древности и Средневековья источники страха несколько изменяются. Если для фобии насыщенных средних веков был свойствен страх человека перед на-

казанием и гневом всевышних сил, то сегодня, в век социализации человека, актуальными становятся, главным образом, социальные страхи (Vocelka 1993, S. 295). Антропоцентризм, присущий Новому времени, имеет своим результатом новый культурный концепт – антропофобию. Он типичен особенно для раннего Нового времени. Примерами могут служить многие исторические факты – преследование инакомыслящих, еретиков, ведьм, носителей других культур и языков, представителей других этнических сообществ и т.п.

Переломным моментом в европейской культуре, как считают историки, стала эпоха Просвещения, когда интеллектуально и духовно выросший «род человеческий шагнул уверенной поступью по улице истины, добродетели и счастья, освобожденный от цепей» (Dinzelbacher 1993b, S. 33, перевод мой. – Н.К.). В это время все чаще и настойчивее раздаются призывы преодоления страха, веры человека в его собственные силы, в его дух. Девизом Нового времени становится кантовский афоризм «*Have Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!*» – «Имей мужество обходиться *собственным разумом!*» (Kant. – Цит. по: Vocelka 1993, S. 297, перевод и курсив мой. – Н.К.).

Антропоцентрическая тенденция в развитии мысли новой эпохи достаточно четко выражена в искусстве в целом и в художественной литературе в частности (см.: Михайлов 1997). Для Нового времени, по мнению исследователей, характерны новые герои, не знающие страха (Vocelka 1993, S. 298–299); для него типично культивирование нового концепта «самоотверженность», «уверенность в своих духовных и физических силах – человека». Все более культурно релевантными становятся концепты надежды и веры в лучшее в *этом*, а не в потустороннем мире.

Свойственное для «нового» человека стремление преодолеть в себе страх перед природными стихиями, болезнями в лице Бога имело под собой социально-экономическое обоснование. Бурное развитие науки, в том числе и медицины, реально помогающей человеку Нового времени обустроить свое бытие, сохранить свое здоровье, защитить себя собственными силами, все интенсивнее и результативнее стимулировало его освобождение от различного рода предрассудков. Все большая социализация человека Нового времени привела к устранению многочисленных, как правило, массово переживаемых в относительно недалеком прошлом фобий.

Лингвистическая верификация данного культурного факта, на который указывают многие современные исследователи (не филоло-

ги), подтверждает его правомерность. В Новое время, судя по этимологическим данным, количество новых имен эмоций и их дериватов, оязыковляющих концепт страха, незначительно. Последними являются как в немецком, так и в русском языках такие номинации эмоций, как *Panik*, *паника*, заимствованные в XVI в. из французского языка. Сюда же, по всей видимости, следует отнести немецкие слова *Beklemmung* (XVII–XVIII вв.) и *Grauen* (XVIII в.), точное время употребления которых в значении номинации эмоций установить трудно. Первое из них образовано, согласно этимологическим справочникам (EW 1989, S. 137; EW 1999, S. 450), от глагольной формы *beklunnen / beklommen* («схватить, вцепиться во что-л.»), второе – от глагола *gruen*, имеющего множество версий толкования: 1) контакт с телом; 2) дрожать; 3) поднятые вверх волосы; 4) оцепенение (EW 1999, S. 334–336).

Выше, ссылаясь на авторитетное мнение известных ученых-эволюционистов (Коул, Скрибнер 1977, с. 28; Маковский 1996, с. 12), мы априори приняли их тезис о повторении филогенеза в онтогенезе. Существует ряд важнейших человеческих идей, психолого-культурная релевантность которых внетемпоральна и внеэтнична, свидетельством чего является в том числе и анализ языка, обслуживающего культуры и цивилизации. К постоянно сопровождающим культуру идеям, к ее стержневым компонентам относятся такие «темы», как «происхождение мира и человека», «жизнь», «смерть», «борьба», «мир / примирение», «герой», «чувства» и некоторые другие (см.: Малиновский 1999; Элиаде 1998). Признание их актуальности ввиду культурной значимости вряд ли может вызвать у кого-либо сомнение: любая цивилизация, любое общество людей всегда пытается осмыслить, объяснить вопросы сотворения, предназначения мира и в нем живущего человека, оценить с моральной точки зрения человеческие поступки, помыслы и, конечно же, чувства, эмоции.

Одной из возможностей установления оценочного отношения человека к реальному и виртуальному миру является изучение его языка, особенно такого типа номинации, как косвенная. Здесь имеются в виду, главным образом, используемые «говорящей языковой личностью» различные метафорические описания социальных, в том числе и эмоциональных, феноменов. Продуктивность анализа метафоризации эмоций, как можно было видеть из предыдущего изложения материала, несомненна. Не случайны поэтому попытки установления лингвистами психологических, в целом – культурных причин, лежащих в основе сравнения человеческих эмоций с определенными фактами культуры и природы.

Так, филолог В.А. Успенский в ходе изучения употреблений имен эмоций в русском языке пришел к выводу о том, что за «эмоциональными» словосочетаниями стоят определенные «мотивирующие образы». По его мнению, «страх можно мыслить в виде некоторого враждебного существа, подобного гигантскому членистоногому или спруту, снабженному жалом с парализующим веществом; <...> горе – это тяжелая жидкость, заполняющая некоторый бассейн, на дне которого находится человек, а такое позитивное переживание, как радость, ассоциируется с легкой светлой жидкостью, которая, “по-видимому, легче воздуха”» (Успенский 1997, с. 150–151).

Высказанное здесь соображение о мотивирующих образах концепта страха заслуживает, безусловно, нашего внимания и соответствующего комментария. При этом следует указать, во-первых, на недостаточность его онтологического описания (думается, что страх не только *парализующе* действует на человека) и, во-вторых, очевидна индивидуальная ассоциативность рассматриваемого концепта (по всей видимости, страх – это далеко не всегда спрут и не обязательно существо с жалом).

Мы считаем, что с целью определения содержательных характеристик концепта страха (как и всякого другого!) необходим анализ его вербализующих многочисленных контекстов (преимущественно художественных), а также обращение к данным ассоциативных словарей. Поскольку у нас нет доступа к ассоциативным немецким словарям, мы будем использовать словари валентностей (VF 1986; WV 1977; VW 1986), которые, по нашему мнению, в какой-то степени компенсируют отсутствие указанного лингвопсихологического источника. Русскоязычный материал будет рассматриваться с использованием ассоциативного словаря (АС 1994, 1996, 1998) и психолингвистических данных, обнаруженных в специальных работах.

Содержательные характеристики страха в Новое время манифестируются, разумеется, и посредством предлагаемых данной эмоции словарных дефиниций. Таким образом, наши современные наивные представления об этом чрезвычайно релевантном психолого-культурном феномене отражены: а) в словарных (филологических) определениях; б) в словарях валентностей; в) в ассоциативных словарях; г) в художественных контекстах.

При рассмотрении вопроса словарной (филологической) интерпретации номинантов эмоций нами были указаны способы их репрезентации. В содержательную структуру номинанта эмоции *Angst*, согласно «наивным» представлениям составителей филологических сло-

варей, входят такие семы, как «диффузность эмоций» (*Beklemmung, Bedrueckung, Erregung, undeutlich*), «эмоциональное, психическое состояние» и его «качественные характеристики» (*einhergehender Gemuetszustand, gross*), «причина переживания эмоции» (*angesichts einer Gefahr*), «неопределенность эмоции» (*unbestimmt*), «непонимание возникновения эмоции» (*oft grundloses Gefuehl*). Приведем предлагаемую наиболее авторитетными немецкими словарями филологической дефиницию данной эмоции: «*Angst – mit Beklemmung, Bedrueckung, Erregung einhergehender Gemuetszustand angesichts einer Gefahr; undeutliches Gefuehl des Bedrohtseins*» (DW 1989, S. 111); «*Angst – grosse Sorge, Unruhe; unbestimmtes, oft grundloses Gefuehl des Bedrohtseins*» (DW 1992, S. 166). Данное словарное определение трудно признать исчерпывающим. Содержательные признаки, характеризующие *Angst*, не позволяют отличить его от других, онтологически родственных ему эмоций, например, от *Furcht*. Этот лексикографический факт мы ранее уже объясняли сложностью природы эмоций, расплывчатостью данного социального феномена.

Названные выше характеристики *Angst* позволяют сделать предположение о своеобразной лингвокогнитивной парадигме обсуждаемой эмоции. Эта парадигма представляет собой набор человеческих наивных представлений о таком переживании, как страх. Данная эмоция ассоциируется с определенными, онтологически близкими ей феноменами. Сами ассоциативно-образные характеристики предопределяют речевые употребления соответствующего знака, обозначающего ту / иную эмоцию. Это – с одной стороны; с другой же – живущие в нашей семантической памяти, в нашем языковом сознании речупотребления убеждают нас в «правильности» сопоставления переживаемой эмоции, навязывают нам как готовые к применению языковые знаки, определенные возникшие ранее в нашей культуре ассоциации.

Из-за отсутствия возможности использовать немецкоязычные ассоциативные словари целесообразно обращение к лингвистическим данным, предлагаемым составителями толковых словарей и валентностных справочников. Согласно лексикографическим источникам (DW 1989; DW 1992; VF 1986), немецкое слово *Angst* обнаруживает сочетаемостные способности с такими глагольными лексемами, как *bekommen, kriegen, haben, unterdruecken, bekaempfen, einjagen, machen, geraten, schweben, ausloesen, hervorrufen, vermeiden, dauern, auftauchen, sich steigern, erhoehen* и др. Семантическая и синтаксическая валентность этих лексем позволяет обнаружить представления современно-

го «наивного» немца об эмоциях группы Angst (Scheu, Schrecken и т.д.). В чем же их сущность?

Во-первых, данный номинант эмоции, равно как и другие обозначения психических переживаний, выступает обычно в предлагаемых составителями различных словарях в функции объекта действия (*bekommen, kriegen, haben, unterdruecken, bekaempfen, einjagen, machen, ausloesen, hervorrufen, vermeiden* и т.п.). Эмоции в данном случае являются психологическими объектами; они продуцируются кем-либо или чем-либо. С психологической точки зрения здесь эмоции пассивны.

Во-вторых, номинанты эмоций, в том числе и *Angst*, выступают и в функции субъекта действия (например, *die Angst packt j.-n.*). Они употребляются как метафора (овеществление или олицетворение эмоций). В некоторых случаях в лексикографических справочниках фиксируются метафорические описания рассматриваемого явления (например, *auftauchen, sich steigern* и т.п.). Именно метафорическое использование в речи номинантов эмоций наиболее культурологически интересно.

Метафора – самый важный источник информации об эмоциях, поскольку в ее основу кладется, как известно, признак сопоставления, сравнения человеческих переживаний с различными объектами мира. Поэтому, кстати, не случайно упомянутое выше предложение некоторых исследователей давать лексикографическое толкование эмоциям посредством использования метафоры (см.: Лакофф, Джонсон 1990, с. 396–404; 410–415). Мы полагаем, что метафора действительно способна «обнажить» сущность ЭК; она позволяет осуществить сложный когнитивный процесс «узнавания» природы последнего носителем языка в силу своей ассоциативной архитектоники. Другое дело, насколько она технологична при словарных дефинициях эмоций.

Наблюдения над употреблением в речи номинантов эмоций группы *Angst* (*Furcht, Schrecken, Scheu* и др.) позволяют заключить, что немецким языковым сознанием им приписываются антропо-, зоо- и натурморфные свойства – *packen, laehmen, steigern, treiben, vermindern, erfassen, sich steigern, wachsen, abfallen, aufflackern, ueberstehen, toben* и т.д. Подобно действиям человека, страх сковывает, парализует наши реальные (*packen, ergreifen, laehmen* и др.) и речевые поступки (например, «Die Freundin hatte vor Angst keine Sprache mehr» [L. Tieck] и др.). Эта эмоция часто мыслится немцами человекоподобно (например, «Und dennoch fluesterte in ihm eine Furcht...» [Th. Mann], «Die Furcht von Tausenden schreit nach ihnen» [R.M. Rilke]). Более того (и это чрезвычайно важно!), она представляется «наивным» носителям немецкого языка как сжирающее человека существо (ср. удачный, с нашей

точки зрения, речевой образ Г. Белля: «Und immer tiefer frass sich das Entsetzen neben meiner Krankheit in mir fest»). Психологическое восприятие человеком процесса медленного мучительного физиологического «поедания», «облаживания» его души также характерно для целого ряда речепотреблений – «Und peinigend nagt an ihm die Angst» [H. Fallada]. В данном примере наиболее эксплицитно иллюстрируется отрицательное оценочное восприятие страха человеком – *peinigend* (мучительно).

Эмоции страха могут, подобно человеку или животному, как постепенно «физически» присутствовать («Hinter seiner Stimme hatte die Angst gestanden» [O. Walter]), исчезать, уходить («Die Angst faellt ab...» [H. Fallada]), так и внезапно появляться (см. «Sie packt ploetzlich Angst» [H. Fallada]). Гиперактивность страха («Ihre Angst vor Nadeln beherrschte sie damals schon voellig» [R.M. Rilke], «Eine Angst ueberkam sie» [R.M. Rilke]) нередко граничит с агрессивностью («Wenn sie die Angst des Untergangs ergriffen hat...» [H. Boell], «Die Angst hatte ihn gefasst» [D. Noll], «Und der Schrecken reisst ihn nieder» [C. Brentano]).

Многочисленные продуктивные, ставшие по сути клишированными высказывания типа *aus / vor Angst, Schrecken etw. machen, tun* в явном виде обнаруживают каузативную функцию эмоций. Эмоции в данном случае рассматриваются человеком как каузаторы его действий, поступков (например, «aus Angst weinen» [R.M. Rilke] и многие другие).

Приведенные здесь художественные иллюстрации жизни соответствующих ЭК в современном немецком языке позволяют заметить их очевидные антропозооморфные признаки. Помимо них страх, согласно представлениям современных «наивных» немцев, обладает также многими ярко выраженными натурморфными свойствами. Он может количественно изменяться, как правило, расти (*sich steigern, wachsen* и др.), воспламеняться (*aufflackern*). Переживание эмоции Angst часто эксплицитруется соматически, например, «zahneklappernde Angst» [H. Fallada] (т.е. *vor Angst mit Zaehnen klappern*), «Der Alte zitterte vor Verdruss und Schreck» [L. Tieck], «Der Schreck und die Angst liessen sie erzittern» [B. Voelkner], «...in innerer Angst erbebt» [C. Brentano], «Und Entsetzen straubt sein Haar» [C. Brentano], что подчеркивает ее силу, интенсивность и, по нашему мнению, отрицательную психологическую направленность (ср. адъективные словосочетания «feige Angst» [H. Fallada] и «furchtbare Angst» [H. Boell]).

Номинации группы эмоций Angst активно употребляются с адъективами (иногда также с причастиями). Последние выступают в

предложении в атрибутивной функции – *toedliche, ueberstandene, tiefe, heftige, unsaegliche, suchende Angst, unaussprechliche Furcht, panisches Entsetzen* и т.п. Рассматриваемые эмоции, судя по приведенным примерам, ассоциативно связаны со смертью, паникой, интенсивностью психических переживаний.

Пропозициональное оязыковление эмоций группы *Angst* может иногда основываться на зрительных образах, например, «*von blinder Angst ergriffen*» [L. Tieck]. Семантика приведенного художественного экспрессивного выражения позволяет говорить о непонимании человеком, испытывающим данную эмоцию, причин ее появления и о его неадекватной оценке реальной ситуации.

Номинации страха могут сопоставляться и в более открытой форме посредством использования слова *wie* («*Um so mehr auch blaehrte sich in mir die Angst wie eine scheussliche Wehe*» [H. Boell]; «*Sie schleppen die Angst hinter sich wie einen schweren Schatten*» [H. Boell], «*...Schwand mir fast das Bewusstsein vor einer grauenvollen Angst, die aus dem wachsenden, immer mehr wachsenden Buendel in mich ueberging wie ein Gift*» (H. Boell)). При этом следует указать на сопоставление *Angst* с отрицательно окрашенными фактами немецкой культуры – *scheussliche Wehe, das Gift*. Эмоция *Angst* может выступать вместе с тем и объектом сравнения («*Die Ueberraschung war ebenso gross wie das Entsetzen*» [H. Boell]).

Страх часто ассоциативно соотносится с физиологическими ощущениями человека: *kalter Schrecken, kalte Angst* (ср. «*Wir warteten, erfuehlt von Angst und Hoffnung, frierend und doch warm von dem Schrecken, der uns in die Glieder fuhr*» [H. Boell]) и др. Следовательно, он, согласно представлениям «наивных» немцев, обладает очевидными натурморфными признаками.

Мотивирующие образы, фиксирующие на вербальном уровне человеческие ассоциации, скрытые связи между фрагментами мира, манифестируют саму систему культурных предпочтений, свойственную тому / иному этносу. При этом признаки, лежащие в основе оязыковленных понятий, употребляемые в одном контексте, оценочно коррелируют друг с другом. Поэтому психологически не случайно использование в нашем языке словосочетаний типа *kalter Schrecken, холодный ужас, heisse Liebe, горячая любовь* и т.п. Примечательно, что «температурные» признаки (см. подробно: Красавский 1998, с. 96–104) продуктивно используются при характеристике эмоций как в немецком, так и в русском языках.

Ранее мы выявили факт приписывания многим номинантам эмоций свойств цветообозначений (см. подробно: Красавский 1994, с. 53–60).

Так, номинанты эмоций *Hass* (ненависть), *Melancholie* (меланхолия), *Bitternis* (горе), *Neid* (зависть), *Eifersucht* (ревность), *Freude* (радость), *Glueck* (счастье), *Begeisterung* (восхищение), *Zorn* (гнев) активно сочетаются на уровне как устойчивых речевых оборотов, так и свободных языковых выражений с многочисленными цветообозначениями (*schwarz, weiss, gelb, hell, зеленый, светлый, черный, белый*).

Заслуживает внимания, вероятно, прежде всего культуролога, то обстоятельство, что номинанты эмоций, формирующие номинативную группу *эмоций страха*, судя по результатам проведенной выборки, крайне редко оцениваются немецким этносом посредством цветообозначений. В понимании современных носителей немецкого языка страх, как следует из лингвистического материала, не столь часто ассоциируется с цветом, в отличие от некоторых других эмоций. «Бесцветность» страха, по нашему мнению, следует объяснять с соматической точки зрения в духе интерпретации цветовой символики К. Бюлером и В. Вундтом. Уместно вспомнить вышеприведенное мнение К. Бюлера о «физиогномических характеристиках» психических переживаний человека (см. Бюлер 1993, с. 319–321). С данным утверждением трудно спорить, поскольку каждому из нас из опыта хорошо известны реакции человеческого организма на переживание той / иной эмоции. Эти психические реакции активно оформляются языком (ср. *vor Scham rot werden, schamrot sein, покраснеть от стыда* и мн. др.). Переживание аффекта страха имеет безусловное соматическое выражение, которое крайне редко бывает лингвистически оформлено цветом. Можно вспомнить зафиксированные на уровне словаря устойчивые выражения типа *blass werden, blass sein* (ср. «Der Konsul war blass vor Schrecken» [Th. Mann]), которые, однако, в отличие, например, от переживания чувства стыда не сопровождаются такой ярко выраженной физиологической реакцией, как временное изменение цвета кожи (ее покраснение). Своего рода исключением можно считать обнаруженный нами пример на употребление эмоции *Angst* со словом *weiss* – «Der junge Mann verstand nicht die weisse Angst auf dem Gesicht der Frau» [H. Fallada]. Здесь имя прилагательное *weiss* художником слова используется как риторический прием усиления экспликации интенсивно переживаемой конкретным персонажем эмоции. Право сделать такой вывод дают лексикографические источники, указывающие, в частности при интерпретации словосочетания *heller Zorn*, на фигуральное употребление слова *hell* (DW 1992, S. 626).

К вопросу употребления цветообозначений с именами эмоций в немецком и русском языках мы вернемся позже, при характеристике

других номинаций эмоций, а здесь еще раз укажем на «бесцветность» страха в целом в сопоставляемых культурах. Этот лингвистический факт подтверждается также и данными «Русского ассоциативного словаря» (АС 1994; АС 1996; АС 1998).

Проанализированный лингвистический материал позволяет утверждать, что в современном немецком языке активно используются адекватные выражения, семантика которых содержит христианские представления немцев о мире эмоций: «heiliges Grauen» [C. Brentano], «hoellische Angst» [H. Fallada], и т.п. (Символичен в этой связи «субстантивный» пример на употребление номинанта эмоции *ужас* у романиста К. Брентано – «Der Antichrist erfuellet mich mit Schrecken»).

Лингвопсихологически любопытны употребления в немецкой речи номинанта эмоции *Angst* с прилагательными, являющимися производными синонимичных ему понятий (*schreckliche, furchtbare, grauenvolle Angst*; ср. «Und in ihren Augen war eine furchtbare Angst» [H. Boell]). Здесь имеет место своеобразный лексический плеоназм, использование которого в речи определяется интенциями говорящего / пишущего максимально воздействовать на собеседника / читателя либо избавиться от нахлынувших на него эмоций.

Не менее примечательно то обстоятельство, что иногда обозначения эмоций могут сочетаться со словами (как правило, прилагательными), семантика которых им знаково противоположна – «ein wunderbar Entsetzen» [C. Brentano], «freudiger Schreck» [H. Fallada]. Здесь мы имеем дело со специальным стилистическим приемом – оксюмороном, применение которого (особенно в художественной речи) обусловлено самой прагматикой коммуникации (ср. также с часто употребляемой, «неавторской» метафорой *die Schrecken der Freude*).

В группе эмоций *Angst* обнаружены также употребления субстантивных метафор, например, «eine neue Welle der Angst und Entsetzen» [R. Musil], «der Krampf des Schreckens» [H. Boell] и др., семантический анализ которых иллюстрирует корреспонденцию их составляющих, прежде всего с такими архетипами, как «огонь» и «вода».

Считаем необходимым в заключении лингвокультурологического анализа группы номинаций эмоций *Angst* обратить внимание на их употребление в пословицах и поговорках. Заметим, что интерпретация пословично-поговорочного фонда языка очень важна, поскольку его активное формирование датируется, по мнению ряда немецких ученых (Beyer 1989; Graf 1958), главным образом рубежом позднего Средневековья и Нового времени (XV–XVII вв.). Пословицы и поговорки, подробный анализ которых был дан в подразд. 3.4, как

правило, отрицательно квалифицируют эмоции страха. Их переживание ведет либо к необъективности оценки событий, фактов, ситуаций жизни, либо к совершению ошибок ввиду деструктивности данных эмоций. Страх не только приносит ощущение эмоционального дискомфорта, но и значительно мешает человеку в его деятельности, психологически блокирует или, по крайней мере, замедляет ее результативность.

Теперь перейдем к лингвокультурологической характеристике эмоций страха, распределенной русским наивным сознанием. Вначале обратимся к словарному определению базисного номинанта указанной группы эмоций: «страх – состояние сильной тревоги, беспокойства, душевное волнение от грозящей или ожидаемой опасности; боязнь» (БАС 1963, т. 14, с. 1007–1008); «страх – состояние крайней тревоги и беспокойства от испуга, от грозящей или ожидаемой опасности, боязнь, ужас» (ТС 1940, т. 4, с. 549). Значимыми следует признать семантические признаки «отнесенность к миру эмоций» (состояние тревоги, беспокойства, волнение), «интенсивность переживания эмоций», «причина появления эмоции» (грозящая или ожидаемая опасность). Заметим, что указанные составителями словарей семы будут обнаружены при анализе употреблений дефинируемых слов.

Как показывают употребления в речи этого базисного номинанта эмоции и его «производных» (*ужас, боязнь* и др.), русское языковое сознание ассоциирует элементы данного ряда с антропо-, зоо- и натурморфизмом. Как и немцы, русские видят сходство между переживанием страха (и ужаса) и человеческими физическими поступками. Наиболее ярко антропоморфизм эмоций эксплицирован в следующих примерах: а) «Страх берет меня за руку и ведет» [О. Мандельштам]; б) «Утек страх» [Д. Гранин]; в) «Страх сковал его...» [Д. Гранин]; г) *«Умерли страхи» [А. Белый]; д) «Тут и пришел тяжкий горячий страх...» [П. Проскурин]; е) «Петрок едва не заплакал от обиды, горя и страха, который вдруг охватил его» [В. Быков]; ж) «От ужаса, а не от страха, от срама, а не от стыда, насквозь взмокала вдруг рубашка, шло пятнами лицо тогда» [Б. Слуцкий]; з) «...И в ужасе несвязно шепчет...» [А. Блок]; и) «Я люблю, я уважаю страх» [О. Мандельштам]; к) «Самое трудное, наверное, – научиться подавлять свой страх» [П. Проскурин].

Как правило, употребляемое в метафорическом значении слово *страх* в речи выступает субъектом действия. Русскими, как и немцами, эта эмоция мыслится так: 1) сковывание движений человека (ср. при-

мер в) с ранее приведенной немецкой иллюстрацией «Die Freundin hatte vor Angst keine Sprache mehr» [L. Tieck]); 2) совершение реальных поступков в физическом пространстве (примеры а, д); 3) психологическое блокирование продуцирования разумной речи (пример з). Кроме того, страх может каузировать определенное соматическое состояние человека (примеры е, ж). Подобно людям, он может умирать (пример г). Укажем, что персонификация страха на языковом уровне не обязательно оформлена предположной субъектностью (примеры и, к).

Помимо антропоморфных, «наивными» современными носителями русского языка данной эмоции приписываются некоторые (правда, немногочисленные) натурморфные признаки (пример д). При этом, как следует из данного примера, страх ассоциируется с чем-то тяжелым и с высокой (в данном контексте – неприятной) температурой.

В некоторых случаях в явной форме страх ассоциирован с архетипами воды (*«Отлив ужаса» [А. Белый]; *«Прилив безотчетного страха» [А. Белый]); воды-огня («Со смешанным чувством страха, восхищения и отвращения она уже не ощущала всего того, что *кипело* в ней» [П. Проскурин]; воздуха (*«Едим страхом будет отравлено все мое существование» [Ю. Нагибин]).

Приведенные здесь и выше примеры на употребление интересующих нас номинаций иллюстрируют отрицательную заряженность последних (ср.: «С таким ужасом и смерти не ждут, как я ждала этого дня» [П. Проскурин]). Этот лингвистический факт подтверждается результатами интерпретативного анализа русского пословично-поговорочного фонда, фиксирующего силу страха, его действенность: а) Казенное добро страхом огорожено; б) У страха глаза велики; в) У страха глаза, что плошки, а не видят ни крошки; г) Со страху умер; д) Со страху дух захватило.

Согласно данным АС, слово-стимул *страх* имеет следующие наиболее высокочастотные ассоциации: страх, ужас – 7, Божий, смерти – 5, животный, испуг – 4, большой – 3 (АС 1994, с. 171) (цифрами указано количество слов-реакций, названных респондентами). Реакцией же слово *страх* выступает к следующим словам-стимулам: испуг – 35 (АС 1998, с. 68), бояться – 30 (АС 1994а, с. 19), дрожать, от страха – 21 (АС 1998, с. 54), смерть – 16 (АС 1994а, с. 152), дрожать, страх – 9 (АС 1998, с. 54); тревога – 6 (АС 1998, с. 174), сильный – 6 (АС 1998, с. 68), гнев – 5 (АС 1994а, с. 303), голод – 5 (АС 1994а, с. 306), бледнеть, от страха – 5 (АС 1998, с. 24), умереть – 4 (АС 1994а, с. 176), дрожь, страх – 6 (АС 1998, с. 54); неожиданность – 3 (АС 1998, с. 68), ужас – 3

(АС 1998, с. 68); отчаяние – 3 (АС 1998, с. 114); позор – 2 (АС 1998, с. 124).

Русским наивным сознанием страху приписываются такие качества, как наказание Всевышним, интенсивность, смерть, внезапность; им четко выражено соматическое проявление переживания данного аффекта (дрожать, бледнеть). Легко заметить ассоциативные корреспонденции этой эмоции с их определенным речевым (художественным) употреблением. При этом следует отметить, что для ассоциативного ряда страха не характерны, в отличие от его оязыковленного художественного употребления, натурморфные признаки. Страх, согласно данным АС, мыслится русским сознанием преимущественно как импульсивная эмоция, как каузатор сильной, ярко выраженной физиологической реакции.

Его «производные» (на языковом уровне – синонимичные слова) имеют значительно более низкий ассоциативный коэффициент. Так, слову *ужас* респондентами даны следующие реакции: страх – 12, какой, фильм – 7, дикий – 6, в глазах – 4, кошмар, ночь – 3 (АС 1996, с. 184). Оно выступает в качестве слова-реакции к следующим стимулам: позор – 17 (АС 1998, с. 124), смерть – 12 (АС 1994, с. 152), кошмар – 8 (АС 1996, с. 79), сон – 7 (АС 1996, с. 79), страх – 7 (АС 1996, с. 171), жуть – 6 (АС 1996а, с. 289), гнев – 4 (АС 1994, с. 35), ярость – 3 (АС 1994, с. 189), жуткий, мрак, приведение – 3 (АС 1996а, с. 289), испуг – 3 (АС 1998, с. 68), бешенство – 2 (АС 1994, с. 17), страдание – 2 (АС 1994, с. 164), бояться – 2 (АС 1996, с. 25), ад – 2 (АС 1998, с. 16), умереть – 1 (АС 1994, с. 176), божий – 1 (АС 1996а, с. 17).

Слово *боязнь* является реакцией на слово *тревога*: тревога – боязнь – 3 (АС 1998, с. 174). Слова же *опасение*, *трепет*, согласно АС, ассоциатами не выступают.

Таким образом, можно заключить, что эмоция ужаса ассоциативно мыслится аналогично страху. При этом обращает на себя внимание, с одной стороны, большое количество интенсивных ассоциатов у слова *ужас*, что объясняется импульсивностью этой эмоции (например, по сравнению со страхом), а с другой – его четко эксплицированная негативная характеристика – позор, кошмар, ад, сон, приведение и т.п.

Далее в лингвокультурологическом плане рассмотрим группу эмоций *Freude*. Базисный номинант *Freude* имеет следующее словарное определение: «Freude – hochgestimmter Gemuetszustand; das Froh- und Beglueckteisein» (DW 1989, S. 538); «Freude – Beglueckung, (innere) Befriedigung; Gefuehl des Frohseins, Froehlichkeit» (DW 1992, S. 501). Приведенная филологическая (значит, «наивная») дефиниция ил-

люстрирует такие немногочисленные представления немцев о радости, как позитивность и внутренность ее переживания. В отличие от Angst анализируемый концепт на уровне его словарного определения имеет, как можно заметить, редуцированную (неудовлетворительную, по нашему мнению) модель толкования, что уже отмечалось ранее (более подробно см.: разд. 3, подразд. 3.2). Указанные в ней содержательные признаки коррелируют с контекстами употребления номинации данного концепта и его «вариантов» (*Wonne, Spass* и др.).

Формально, с точки зрения синтаксической валентности, *Freude*, как и *Angst*, могут быть в предложении как объектом (*erleben, empfinden, bekommen, haben, bereiten, machen, stoeren, verderben, nehmen, rauben* и т.п.), так и субъектом действия (*stroehmen, durchstroemen* и т.п.), что нами уже отмечалось. Во втором случае слово *Freude* и его дериваты употребляются как активная метафора.

Что же касается лексико-семантических валентностей слов *Freude* и *Angst* (VF 1986; WV 1977), то здесь есть различия, которые мы объясняем прежде всего разнополюсностью их природы. Употребление слова *Freude* и синонимичных ему номинаций с глаголами *stoeren, verderben, rauben* (DW 1989, S. 538; DW 1992, S. 501) свидетельствует о позитивности их семантики. Вряд ли можно себе представить сочетания типа **Angst stoeren, verderben, rauben* или же **Freude leiden, unterdruecken, bekaempfen, einjagen, ueberwinden*. – С радостью в отличие от страха не борются и т.п.

Как и *Angst*, номинанту эмоции *Freude* немецким языковым сознанием приписываются определенные а) антропо-, б) зоо- и в) натурморфные свойства: а) *heben, sich mischen, brechen, erreichen, geniessen, fuehlen, widerstehen, geheim* и др.; б) *sich regen, erhoehen* и др.; в) *stroemen, durchstroemen, funkelnd, strahlend, maechtig, tief, suess, himmlisch* и др. Нередко, особенно в случае с употреблением глагольной метафоры в художественных произведениях, эмоция *Freude* наделяется человекоподобными возможностями (ср. применение модального глагола *lassen* у Б. Брехта – «*Erst liess Freude mich nicht schlafen...*»).

Мотивирующими образами в современной «наивной» немецкой речи при использовании обозначений эмоций группы радости выступают преимущественно архетипы воды, влаги, жидкости («*Und eine Woge von Freude hob ihr das Herz*» [M. Bruns], «*Eine maechtige Freude durchstroemte ihn*» [B. Kellermann], «*Welche Wonne stroemte durch alle meine Adern*» [L. Tieck], «*aufwallende Freude*» [L. Tieck], «*Er war trinken von Wonne*» [L. Tieck] и воздуха («*Welche himmlische Freude*» [L. Tieck],

«Alle Wonnen des Himmels» [H. Fallada], «Und in seinem Herzen reget sich ein Strahl geheimer Wonne» [C. Brentano], «In der Freude strahlen» [R. Musil], «vor Vernuegen strahlen» [R.M. Rilke], «funkelnd vor Freude» [A. Seghers]).

Зафиксированные здесь в качестве иллюстративного материала употребления номинации эмоции радости согласуются с вышеприведенным выводом В.А. Успенского, установившего ассоциации этого психического переживания с легкой светлой жидкостью в русском языке (Успенский 1997, с. 150–151).

Некоторые из номинантов эмоций анализируемой группы (*Glueck, Freude*) немецкое сознание ассоциирует с положительно коннотативными цветообозначениями (*hell*). Этот лингвистический факт, равно как и обнаруженные немногочисленные примеры «вкусового» способа освоения мира эмоций (например, «*suesse Freude*» [Th. Mann]), свидетельствует о наличии позитивной компоненты в содержательной структуре и в ассоциативном потенциале обозначенных данными словами понятий.

Установленный факт низкочастотной метафоризации рассматриваемых эмоций на основе *вкусовых* образов лингвистически подтверждает умозаключение Т. Цигена о физиолого-психологической ограниченности вкуса как способа освоения мира (Циген 1998, с. 358).

Идея желательности переживания немцами рассматриваемых эмоций четко выражена во многих их метафорических употреблениях: «*Das Laecheln der Nachfreude*» [F. Weisskopf], «*der genossene Genuss*» [F. Weisskopf], «*suesse Freude*» [Th. Mann], «*sanfte Freude*» [H. Boell], «*wunderbare Wonne*» [C. Brentano], «*vor Freude singen*» [R. Musil], «*jauchzend vor Freude*» [L. Tieck]. Совершенно очевидна позитивная оценка лексем (*das Laecheln, genossene, suesse, wunderbare, jauchzend* и др.), метафоризирующих номинации эмоции. Следует заметить, что художниками слова с целью экспрессивизации речи могут иногда использоваться такие риторические приемы, как лексический плеоназм номинантов эмоций *Freude* («*der genossene Genuss*» [F. Weisskopf]) и оксюморон («*Eine grimmige Freude erfuehlt ihn*» [H. Fallada]).

Положительная оценочность анализируемых эмоций ярко выражена в пословично-поговорочном фонде языка. В немецком этносе утверждается, что: 1) переживания радости, счастья, удовольствия психологически, нравственно и физиологически необходимы человеку; без них его жизнь теряет эмоциональную привлекательность; 2) наслаждаться жизнью необходимо в меру; 3) своими поступками (трудом, например) следует заслужить право на получение радости;

4) радость, счастье, удовольствие часто соседствуют с отрицательными эмоциями.

Лингвокультурологический анализ номинаций эмоций группы радости начнем со словарной дефиниции их доминанты: «радость – веселое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения» (ТС 1995, с. 629); «радость – чувство большого удовольствия, удовлетворения» (БАС 1961, т. 12, с. 78); «радость – чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения, веселое настроение; внешнее проявление чувства» (ТС 1939, т. 3, с. 1110).

В филологическом определении слова *радость* названы семантические признаки: «отнесенность к миру эмоций» (чувство, ощущение, душевный), «интенсивность переживания эмоции» (большое). В отличие от толкования слова *страх* в данном случае не указана сема «причинности». Как мы уже отмечали, содержание понятийного компонента концепта *радость* в русских лексикографических источниках представлено в редуцированном виде, что позволяет говорить о его неудовлетворительной лексикографической репрезентации.

Анализ метафорического употребления слова *радость* показывает, что обозначенный им концепт позитивно оценивается русским языковым сознанием: «В песнях матери оставленной | золотая радость есть» [А. Блок]; «...Может быть, там хранятся наши запасы доброты, радости?» [Д. Гранин]. Достаточно отчетливо в русском языке выражено противопоставление радости негативным, нежелательным для переживания человеком эмоциям: «Он познал столько забот, страха и горя, а может, немного и радости» [В. Быков]. Здесь же укажем на понимание русскими смешанности эмоций: «Радость совершенства смешана с тоской...» [К. Бальмонт]; «Есть сумерки души во цвете лет, | меж радостью и горем полусвет» [М. Лермонтов].

Глубина переживания данной эмоции человеком роднит ее с деструктивно действующими на его психическое самочувствие эмоциями: «Только бы радость перенести!» [А. Блок]. Глагольная лексема *перенести* употребляется «в норме» применительно к отрицательным номинациям эмоций – «не в силах перенести горе» и т.п. С целью максимальной экспрессивизации текста поэтом может использоваться не совсем обычное употребление слов, т.е. слова сочетаются вопреки их лексическим валентностям.

Интенсивность переживания радости (опять же подобно отрицательным эмоциям), согласно представлениям русских, может лишить человека рассудка: «Юрий Андреевич обезумел от радости» [Б. Пастернак]. Слова *радость* и *отрада* в художественных текстах могут ис-

пользоваться как оксюморон («И злобной радости волнение...» [М. Лермонтов], «И была роковая отрада | в попираньи заветных святынь» [А. Блок]).

Признаки натурморфности рассматриваемой эмоции выражены в следующих художественных примерах: «Радость распирала грудь Хопрова...» [М. Шолохов]; *«...И загоралась она радостью...» [А. Блок].

Положительная знаковость обсуждаемых эмоций выражена во многих пословицах и поговорках русского языка: переживание радости тонизирует человека; ее ощущение, однако, равно как и переживание всякой другой эмоции, временно. Кроме того, «наивными» носителями хорошо понимается невозможность переживания радости в «чистом» виде; она часто смешана с другими эмоциями; радость приходит к человеку не так часто, как ему хотелось бы; нет смысла в жизни, если нет радости; если человек стар, он не радостен.

Обратимся теперь к данным «Русского ассоциативного словаря». Переживание этой эмоции связано со следующими ассоциациями (далее называются слова-реакции): большая – 8, горе, счастье – 5, встречи, моя, улыбка – 3, горе – 3 (АС 1996а, с. 56), грусть, жизни, неожиданная – 1 (АС 1996, с. 147), бурная – 1 (АС 1996а, с. 21), восторг – 1 (АС 1996а, с. 43). Легко заметить относительно невысокий ассоциативный коэффициент радости в русском языке. Значительно чаще радость выступает словом-реакцией: успех – 21 (АС 1994а, с. 259), гость, удовольствие – 20 (АС 1994а, с. 259), гнев – 16 (АС 1994, с. 35), чувствовать – 16 (АС 1994, с. 185), наслаждение – 11 (АС 1994, с. 174), восторг – 7 (АС 1996, с. 39), слезы – 6 (АС 1996, с. 162), восхищение – 5 (АС 1998, с. 36), жалость – 3 (АС 1994, с. 50), светлый – 3 (АС 1994, с. 146), удивление – 3 (АС 1996, с. 184), отчаяние – 3 (АС 1998, с. 114), страдание – 2 (АС 1994, с. 164), печаль – 2 (АС 1996, с. 125), грусть – 1 (АС 1996, с. 48).

Наиболее часто радость ассоциируется с успехом и приемом гостей. Ее переживание связывается с целым рядом положительных эмоций (удовольствие, наслаждение, восторг, восхищение) и иногда с некоторыми отрицательными эмоциями (гнев, отчаяние). Некоторыми респондентами отмечается ассоциация радости с соматической экспликацией противоположного ей чувства – словом *слезы* (ср. с известным выражением *слезы радости*). В отличие от эмоции страха радость корреспондирует с цветом (*светлая радость*), что подчеркивает ее ранее уже отмеченную позитивность.

Лингвокультурологическое рассмотрение группы эмоций Trauer начнем с его филологического определения: «Trauer – tiefer seelischer Schmerz ueber einen Verlust od. ein Unglueck» (DW 1989, S. 1552);

«Trauer – Schmerz um etwas Verlorenes, tiefe Betruebnis» (DW 1992, S. 1291). Согласно данным дефинициям, в структуру немецкого слова *Trauer* входят семантические признаки «душевная боль», «интенсивность переживания эмоции», «причина возникновения эмоции» (потеря, огорчение, несчастье). Филологическая дефиниция, таким образом, содержит в себе указание на отнесенность толкуемого понятия к конкретному фрагменту мира; называется, кроме того, причина возникновения и степень активности эмоции.

Анализ употреблений номинантов эмоций группы *Trauer* обнаруживает в ряде случаев четко выраженный архетипический характер данных психических явлений. Последние ассоциируются немецким языковым сознанием с водой («ein Schatten Schwermut – hingetuepft von der Trauer um einen bereits genossenen Genuss» [F. Weiskopf]; «Und langsam ging sie, versunken in die erste Traurigkeit ihres Lebens» [R.M. Rilke]) и воздухом («Eine Stunde lag in dem Pfarrzimmer eine Wolke von Traurigkeit» [R. Musil]; «Die Schwermut hat hindurchgeweht...» [C. Brentano]).

Рассматриваемые эмоции уподобляются человеческому поведению: «Eine unbezähmbare Schwermut erfasste ihn» [A. Seghers]; «Die grenzenlose Traurigkeit hat ihn von neuem erfasst» [H. Fallada]; «Ihre tiefe Traurigkeit konnte sich ueber seine Haende legen» [R.M. Rilke]; «Dann hielt Kummer nachts die Wacht» [B. Brecht]; «Wie die Hoffnung schwand und an ihre Stelle Trauer trat...» [Ch. Wolf]; «Es ist keine Melancholie, die ihn von der Gesellschaft absondert» [L. Tieck]; «Seine Erziehung erzeugt ihm die Truebsal» [L. Tieck]. При этом номинанты эмоций выступают в качестве психологического субъекта действия.

Эмоциям группы *Trauer* нередко приписываются натурморфные признаки: а) «Seine tiefe Trauer raget» [C. Brentano]; б) «Sie laechelte, ohne dass sich ein Anflug von Trauer aus ihrem Gesicht verlor» [A. Seghers]; в) «Dabei stieg ein Gefuehl tiefer Trauer in ihm auf, gestaltloser, alles durchdringender Trauer» [H. Fallada]; г) «die dichte Traurigkeit» [R.M. Rilke]; д) «Spuren eines tiefen Grams» [L. Tieck]; е) «Eine Spur Wehmut» [R.M. Rilke]; ж) «Sie hat ihren schweren Kummer» [H. Fallada]. Эмоции группы *Trauer* ассоциативно корреспондируют с такими свойствами предметного мира, как «тяжесть» (примеры г, ж); «глубина» (примеры а, в, д).

Наивным сознанием немцев вербально опредмечена легкость трансформаций эмоций: «Ihre Trauer wuchs fast bis zur Verzweiflung» [L. Tieck]; «Und dein Kummer wird zur Freude» [C. Brentano]; «Aerger, mit ein wenig Trauer vermischt, stieg in Wolfgang auf» [H. Fallada] и др.

Иногда номинации эмоций анализируемого ряда могут использоваться в художественных произведениях как плеоназм («triste Schwermut» [W. Trampe]) и оксюморон («Die letzte Spur jenes Gluckes der Trauer war nun verschwunden» [H. Boell]).

Очевидна отрицательная направленность группы эмоции Trauer: ср. «schaurige Trauer» [H. Boell]; «toedliche Melancholie» [L. Tieck]; «vor Gram sterben» [L. Tieck]; «Und der Traenenkelch der Wehmut sinkt in ihr verwirrtes Herz» [C. Brentano]. Эмоции Trauer, Melancholie, Wehmut и Gram связаны с понятиями ужаса, душевной боли и смерти. Отрицательная оценочность указанных эмоций находит свое выражение также в пословицах и поговорках немецкого языка: Trauer, Traurigkeit, Kummer квалифицируются как нежелательное для человека психическое переживание. Немецким этносом предлагается всячески препятствовать возникновению данных эмоций, избавляться от них (подробнее см.: разд. 3, подразд. 3.4).

Русский эквивалент Trauer, *печаль*, в филологических словарях определяется как «чувство грусти, скорби, состояние душевной горечи» (ТС 1995, с. 506); «скорбно-озабоченное, нерадостное, невеселое настроение, чувство» (ТС 1939, т. 3, с. 248). С аксиологической точки зрения дефинируемое явление имеет отрицательную направленность (скорбно-озабоченное, нерадостное, невеселое). Данный тип дефинирования (родовидовой), как мы указывали ранее, трудно назвать исчерпывающим описанием анализируемого феномена.

Анализ многочисленных употреблений слов, формирующих синонимический ряд печали, позволяет зафиксировать соответствующие корреляции его элементов с архетипами воды или жидкости (*«Печали улаждаются вином» [В. Муковский]; «А тоска мою выпила кровь» [А. Ахматова] и воздуха («Только легкая грусть, словно дымкой, обволакивала его сердце, и почему-то трудно было дышать» [М. Шолохов]; *«Облако печали покрыло очи их» [К. Батюшков]). Примечательно отсутствие корреспонденции элементов рассматриваемого ряда с архетипом огня, являющимся ассоциативной базой при распредмечивании русским языковым сознанием такой, например, эмоции, как гнев.

Русская печаль и ее «дериваты» чрезвычайно часто уподобляются человеческим поступкам. Группа эмоций печали в высшей степени антропоморфна, если ее даже сравнивать с таким импульсивным рядом, как гнев в русском этносе. Русская печаль и ее «производные» активны; они зримы, значительно более деятельностны (!), чем немецкая Trauer. Считаю уместным привести многочисленные, наибо-

лее экспрессивные примеры, служащие подтверждением сделанному выводу: а) *«Грусть ... душит меня» [К. Чуковский]; б) *«Злая печаль поселилась во мне» [Н. Никитин]; в) «Любил я когда-то, но смех и печаль ушли без возврата...» [К. Бальмонт]; г) «И грусть на дне старинной раны | зашевелилась, как змей» [М. Лермонтов]; д) «Хорошо, что в дремотные звуки | не вступают восторг и тоска» [А. Блок]; е) «И подлинно во мне печаль поет» [О. Мандельштам]; ж) *«Ни змея Вас не ужалит, ни печаль...» [В. Ходасевич]; з) *«И хладную душу терзает печаль» [А. Пушкин]; и) *«Болезнь тоской» [В. Вересаев]; к) «Свернулась на сердце жалость, холодит тоской и скукой» [М. Шолохов]; л) *«Страдать тоской» [А. Пушкин]; м) *«Я потащу с собой всюду свою тоску...» [Ю. Нагибин]; н) «И все же они не поддались унынию» [Д. Гранин]; о) *«На лица слушающих падали тени, преображая лица, выдвигая складки грусти...» [А. Солженицын]; п) «Тоской и трепетом полна, | Тамара часто у окна сидит | в раздумье одиноком» [М. Лермонтов]; р) «И благодарные сердца томились тайною тоской» [М. Лермонтов]; с) *«Снедает грусть» [К. Батюшков].

Ниже читателю предлагаются результаты интерпретативного анализа приведенных художественных иллюстраций. Антропоморфный характер концепта печали (может быть, правильнее было бы сказать «тоски»?; ср. с этноидеологемой «русская тоска») не сводится, как в случае с Trauer, к ассоциациям, примитивно «выхватившим» из мира определенный эмоциональный смысл. Русская печаль не просто уходит или приходит (ср. с нем. «Wie die Hoffnung schwand und an ihre Stelle Trauer trat...» [Ch. Wolf]); она «поселяется» (пример б). Для нее свойственно не просто пассивно пребывать в человеческом сердце (im Herzen sein), но она подобно змею шевелится на «дне душевной раны» (пример г), жалит человека (пример ж), терзает его душу (пример з).

Печаль и родственные ей эмоции ассоциируются русским языковым сознанием с негативными оценками, основывающимися на соматике соответствующих психических явлений (*«Познай же грусть и слезы» [А. Пушкин]), цвете («седая печаль» [К. Бальмонт], «Я печаль, как птицу серую, | в сердце медленно несу» [О. Мандельштам]), обонянии («брезгливая грусть» [М. Цветаева]). Данная эмоция может иметь зооморфное метафорическое описание («Убить змею печаль...» [К. Бальмонт]).

Причины переживания эмоций печали и тоски трудно объяснить. Их сущность не совсем понятна русскому человеку, она как бы не рефлексивируется четко его сознанием (ср.: «В большом и радостном Париже | все та же тайная тоска» [М. Цветаева], «И с тайной грустью...» [А. Блок]).

По сравнению с Траугер концепт *печаль* значительно более «разработан» и в пословично-поговорочном фонде русского языка, о чем было сказано ранее (разд. 3, подразд. 3.4). Очевидна его ярко выраженная отрицательная оценочность. Печаль оказывает негативное психолого-физиологическое воздействие на человека; отсюда следует его желание избавиться от нее. Русскими не поощряется переживание печали и предлагается религиозный способ избавления от нее.

Слово *печаль* имеет следующий ассоциативный ряд: моя – 11, грусть, тоска – 9, глубокая, любовь, светлая – 3, горькая, грустна, огромная, пришла, прошла, радость, светлая, сильная, человеческая – 2 (АС 1996, с. 125). Она выступает реакцией на следующие стимулы: сожаление – 11 (АС 1994а, с. 223), грусть – 10 (АС 1996а, с. 203), скорбь – 4 (АС 1996а, с. 203), гнев – 3 (АС 1994, с. 35), горе – 3 (АС 1996, с. 46), грустно – 3 (АС 1996а, с. 203), любовь – 3 (АС 1996а, с. 132), жалость, сочувствие – 2 (АС 1994а, с. 223), плохое чувство – 1 (АС 1996, с. 203).

Слово *тоска* ассоциативно связано со следующими понятиями: зеленая – 18, по дому – 12, по Родине – 8, грусть – 5, скука, черная – 3, берет, печаль, смертная, ужасная – 2 (АС 1996, с. 178). В качестве реакции она выступает по отношению к словам: зеленая – 18 (АС 1996а, с. 92), грусть – 15 (АС 1996а, с. 59), печаль, скука – 9, одиночество – 6, разлука – 5 (АС 1996, с. 48), мука – 5, жалость, мучение, сожаление – 3 (АС 1994а, с. 314).

Синонимичное печали слово *грусть* имеет ассоциации: тоска – 15, печаль – 10, дождь – 4, большая, легкая, налетела, напала, одиночество, одолела, осень, пришла, радость – 2 (АС 1996, с. 48). Реакцией оно является в следующих случаях: тоска – 15 (АС 1996а, с. 282), печаль – 9, молчи – 6 (АС 1996а, с. 59), жалость – 6 (АС 1994а, с. 314), расставание, тоска – 5, обида, слезы – 3 (АС 1996а, с. 59).

Слова *печаль*, *тоска*, *грусть*, входящие в единый синонимический ряд, как можно видеть из приведенного тезаурусного материала, ассоциативно связаны друг с другом. В «наивном» представлении русских они обнаруживают корреляции с другими эмоциями (скорбь, скука, сожаление, жалость, обида, сочувствие, гнев, радость, любовь), что вполне естественно: все эти эмоции принадлежат единой концептосфере. Русская печаль имеет вкусовые (горькая) и цветовые характеристики (светлая). В русском сознании ее переживание связано с четко выраженной негативной оценкой (плохое чувство). Печаль, как и ее «дериваты», обладает признаком интенсивности (сильная, большая, глубокая, огромная). Примечательно то обстоятельство, что ощущение печали часто сопряжено с личностью респондента (коэф-

фициент местоимения «моя», согласно ответам испытуемых, равен 11). Иными словами, данная эмоция по сравнению с другими базисными эмоциями (страх, гнев, радость) оказывается для русских психологически наиболее актуальной.

Достаточно четко выражен ее антропоморфный характер. Она, подобно живому существу, может приходить и проходить. Родственная печали грусть также антропоморфна (ср. прийти, напасть, налететь, одолеть). Семантика некоторых из приведенных глаголов обнаруживает явно выраженные признаки интенсивности (например, напасть). Грусть русским этносом мыслится как нежелательное переживание (разлука, слезы, обида и т.п.). Она может вызываться изменениями погоды (дождь), сменой времени года (осень). Грусть, как и печаль, градуируется: она может быть легкой и большой. Причинами появления грусти могут быть расставание с другим человеком, одиночество.

Аналогичными характеристиками обладает и тоска. Однако особенностью тоски является тот факт, что она, во-первых, ассоциативно связана с цветовым спектром – «зеленая» (максимальный коэффициент 18) и негативный цвет «черный» (релевантный коэффициент 3) и, во-вторых, она активно корреспондирует с понятиями смерти, ужаса, душевной муки.

Ассоциации, вызываемые в сознании русских словами синонимического ряда *печаль*, дают, как кажется, определенный ответ на вопрос, поставленный А. Вежицкой относительно концепта «тоска», который, по ее мнению, «в русском языке необычайно подробно разработан» <...> «и не имеет определенного каузатора» (Вежицкая 1997а, с. 33, курсив мой. – Н.К.). Вероятно, польская исследовательница, делая вывод о беспричинности появления тоски, опиралась главным образом на лексикографические справочники (дефиниции).

Базисный номинант эмоции *Zorn*, с точки зрения его лексикографической репрезентации, описан неудовлетворительно, что было нами отмечено ранее. Удивление и критику может вызывать использование авторами некоторых словарей исключительно релятивного способа его толкования, в частности в DW 1992: «*Zorn – heftiger Unwille, aufwallender Aerger*» (DW 1992, S. 1470). Более полно представлено его описание в DW 1989: «*Zorn – heftiger Unwille ueber etw., was man als Unrecht empfindet od. was den eigenen Wuenschen zuwiderlaeuft*» (DW 1989, S. 1787). Приведенные филологические дефиниции фиксируют такие содержательные признаки определяемого феномена, как «интенсивность переживания эмоции» (*heftiger*), «причина и условия по-

явления эмоции» (als Unrecht empfindet od. was den eigenen Wuenschen zuwiderlaeuft и т.п.). Названные здесь семы структуры *Zorn* соотносятся с теми характеристиками, которые приписываются данному слову «наивными» носителями немецкого языка в художественной и разговорной речи.

Применение метода сплошной выборки фиксирует высокую степень антропоморфности концепта *Zorn*. Примечательно, что, по нашим данным, слова *Zorn* и *Wut* в предложении, как правило, выступают в функции субъекта действия, что мы объясняем максимальной силой интенсивности переживания соответствующих эмоций человеком. Будучи психологическим субъектом («деятелем») в речи, *Zorn* и *Wut* активно сочетаются с глагольной лексикой – *erfuellen, steigen, brodeln, fassen, erfassen, packen, hinreissen, toben, hineinkommen, uebermannen* и др. При этом нельзя не обратить внимания на гиперактивность (если не сказать агрессивность) семантики некоторых слов, в особенности *fassen, packen, hinreissen, toben*, что, по нашему мнению, подчеркивает импульсивность эмоций *Zorn* и *Wut*. Названные выше глаголы обозначают действия человека. Следовательно, можно с полным правом заключить, что соответствующие номинации эмоций уподобляются активным поступкам человека. С целью иллюстрации этого утверждения приведем ряд примеров, не нуждающихся, как нам кажется, в каком-либо комментарии: «Nie schien der Zorn ihn selbst zu ergreifen» [R. Musil]; «Eine rasende Wut gegen den Bengel Rader fasst sie...» [H. Fallada]; «Zorn verschlug ihm nicht den Appetit» [H. Fallada]; «Wie die Wut in mir tobt!» [L. Tieck]; «Dann uebermannte sie der Zorn» [H. Fallada]; «Dann packte mich die Wut» [R.M. Rilke]; «Und es ging sein Zorn verloren» [C. Brentano]; «Ungeduld kam hinein, Aerger, dann Zorn» [H. Fallada]; «Und den Mann ueberkam eine grosse Wut» [P. Bichsel].

Помимо антропоморфных признаков, приписываемых *Zorn* и *Wut*, нами зафиксирована натурморфная ассоциативность рассматриваемых концептов. Эмоции *Zorn* и *Wut* в немецком языковом сознании связаны с представлениями о цвете, температуре; иногда они коррелируют также со зрительными и вкусовыми образами. Мы считаем, что переживание импульсивных эмоций гнева (бешенства и т.п.), физиологическое и физиогномическое проявление которых максимально выражено, служит основой для многочисленных метафор.

Цветовая метафора, в целом не свойственная ранее рассмотренным эмоциям, оказывается продуктивной при «наивной» характеристике группы эмоций *Zorn*. Приведем некоторые наиболее экспрессивные и типичные для ее метафорического описания художествен-

ные примеры: «vor Zorn rot werden» [R. Musil]; «vor Wut rot werden» [H. Boell]; «weiss vor Zorn» [H. Fallada]; «Dann geriet die Gnadige in hellen Zorn» [H. Fallada]; «Er betrachtete alles mit verstecktem Aerger, der oft in helle Wut umschlug» [Voelkner B.].

Описание природы эмоций Zorn и Wut, как видим, основывается на трех цветообозначениях – rot, weiss и hell. Человек, согласно наблюдениям «наивных» немцев, в ситуации переживания гнева (бешенства) либо краснеет, либо бледнеет (белеет). В данном случае речь идет о физиогномическом типе метафоры. Ее можно, на наш взгляд, квалифицировать как естественную, примитивную ввиду очевидности связи между переживаемыми эмоциями и натуральностью их проявления. Полисемант *hell* (первичное значение «светлый») метафоризирует многочисленные явления немецкой культуры, в том числе и некоторые фрагменты психического мира человека. Данная лексема, согласно словарным дефинициям (DW 1989, S. 538), в качестве метафоры выполняет функцию усиления выражаемого признака (интенсивность), предельности развития свойства определенной субстанции.

Ряд ученых полагают, что феномен цвета по сравнению с другими раздражителями (например, со вкусом) психологически релевантен при освоении и характеристике человеком окружающего его мира. Отсюда и многочисленные метафоры, основанные на цвете, его восприятии и богатых ассоциативных потенциях (Циген 1998, с. 387–388, 394).

Эмоции Wut и Zorn в немецком языке описываются также с помощью «температурной» метафоры, в чем опять же проявляется физиология их человеческого восприятия – «Eine kalte, bittere Wut erfuellte sie» [F. Weiskopf]; «Scham, Zorn und Ratlosigkeit stiegen ihm heiss zu Kopf» [F. Weiskopf]. Переживание эмоций группы гнева сопряжено, таким образом, с физическим ощущением повышения / понижения температуры человеческого тела.

Не продуктивными для художественного описания эмоций Zorn и Wut оказались такие типы метафоры, как вкусовая и зрительная: «Eine kalte, bittere Wut erfuellte sie» [F. Weiskopf]; «In blinder Wut sterben» [C. Brentano] (подробнее см. разд. 3, подразд. 3.4), что позволяет говорить об отсутствии жесткой связи между данными эмоциями и их соответствующими способами освоения (вкус и визуальное восприятие).

В ходе исследования установлено, что эмоции группы Zorn связаны с архетипами огня («erglueh'nd im Zorne» [C. Brentano]; «die Wut glomm langsam in ihm hoch» [Voelkner B.]; «Ach in seinem Herzen wehen Hoellenflammen tiefen Zornes» [C. Brentano]); воды («Es versinkt dein

grimmer Zorn» [C. Brentano]; огня – воды («In seinem Gehirn brodelte die Wut wie siedenes Wasser» [B. Voelkner]; «Er kochte innerlich vor Wut und Empoerung» [B. Kellermann]; «Er kochte vor Wut» [D. Noll]) и воздуха («Sein Zorn ueber Uta war laengst vertraucht» [D. Noll]).

Данный лингвистический материал служит доказательством психологической релевантности первоэлементов мира (архетипов) для становления эмоциональной понятийной системы, включающей в себя по определению многочисленные метафорические дескрипции и экспликации чувственной сферы жизнедеятельности человека. Как видим, представления об эмоциях архаичного и средневекового человека сохранились в знаковой (метафорической) форме и по сей день. Это обстоятельство, с одной стороны, говорит о преемственности языка и культуры в целом, а с другой – о важности вербального оформления главных для человека социальных смыслов.

Явления культуры, как известно, расположены в поле оценочных координат. Языковая (речевая) метафора служит одним из наиболее убедительных доказательств квалификации того / иного феномена в том / ином этносе. Данное замечание априори проецируется на номинации эмоций, наиболее тесно, плотно корреспондирующие с фрагментами психического мира человека.

Наиболее очевидно оценка группы эмоций Zorn в немецком языке выражается прилагательными и причастиями, выступающими в речи в качестве эпитетов. Приведем обнаруженные нами примеры метафоризации соответствующих эмоций с последующим кратким лингвокультурологическим комментарием: а) «ein wilder Zorn erfasste alle und riss sie hin» [R.M. Rilke]; б) «angreifender Zorn» [A. Zweig]; в) «Pagel bezwingt den aufsteigenden Zorn» [H. Fallada]; г) «Er erstickte fast vor sinnlosem Zorn» [H. Fallada]; д) «Er zitterte vor sinnloser Wut am ganzen Leibe» [H. Fallada]; е) «von unsinniger Wut» [H. Fallada]; ж) «Wenn ich steh' in boesem Zorne!» [C. Brentano]; з) «Er sprach mit bekuemmertem Zorn» [L. Tieck]; и) «in fuerchterlichen Zorn geraten» [R.M. Rilke]; к) «im heiligen Zorne Gottes» [C. Brentano].

Гнев, согласно представлениям немцев, часто может: 1) иметь агрессивную форму выражения (примеры а, б); 2) обладать способностью возрастания (пример в); 3) разрушать (*ersticken*) его носителя (примеры г, д). Кроме того, переживание этой эмоции приводит человека к неразумным поступкам (примеры г, д, е). Неумение сдерживать гнев, следовательно, немецким сообществом порицается. Как и при интерпретации эмоции Angst, мы имеем здесь дело с ее ярко выраженной отрицательной оценочностью (примеры ж, и). При этом

слово *Zorn* употребляется с уточняющими его аксиологическую характеристику дериватами номинантов эмоций *Furcht* и *Kummer* – *furchterlicher, bekümmert* (примеры 3, и).

В поэтическом выражении «im heiligen Zorne Gottes» достаточно легко распознать перекочевавшие из мифолого-религиозной в современную наивную картину мира соответствующие вербальные реликты. Гнев Всевышнего всегда справедлив; он священ.

Не лишено, по нашему мнению, психолого-культурологического интереса наблюдение за оценкой концепта *Zorn* в пословицах и поговорках немецкого языка. Интерпретативный анализ пословично-поговорочного фонда, вербально опредметившего эмоции с доминантой *Zorn*, позволяет нам сделать следующие выводы: 1) переживание гнева иррационально, человек, не способный себя контролировать, сдерживать данную импульсивную эмоцию, обречен на коммуникативную, а значит, и реальную неудачу в жизни; 2) сопротивляться этой эмоции не могут лишь слабые духом люди; 3) переживание гнева не дает покоя; 4) следует находить возможность избавляться от отрицательной эмоции гнева; 5) иногда гнев стимулирует деятельность человека; 6) переживание гнева, его дозированное проявление (*klein*) есть свидетельство привязанности одного человека к другому, гнев может укреплять положительные чувства.

Интерпретативный анализ пословично-поговорочного фонда, включающего слова *Zorn* и *Wut*, показывает, что, во-первых, обычно переживание и выражение гнева порицается немецким этносом и, во-вторых, рассматриваемый феномен имеет амбивалентный характер. В целом же указанные эмоции отрицательно квалифицируемы немецким этносом.

Филологическое определение номинации гнева в русском языке, так же, как и соответствующее определение выше рассмотренного *Zorn*, нельзя признать удовлетворительным: «гнев – чувство сильного возмущения, негодования» (ТС 1995, с. 130); «гнев – чувство сильного возмущения, негодования; состояние раздражения, озлобления» (БАС 1954, т. 3, с. 179–180); «гнев – чувство сильного негодования, возмущения, раздражения» (ТС 1938, т. 1, с. 577). Здесь, как и в случае с определением слова *радость*, в качестве метаязыка используются такие семантические признаки, как «отнесенность к миру эмоций» (чувство, состояние), «интенсивность переживания эмоции» (сильный), которых, по нашему мнению, явно недостаточно для «узнавания» анализируемой эмоции.

Наши наблюдения над употреблением слов, обозначающих группу эмоций гнева, обнаруживают высокую степень плотности его ме-

тафоризации. При этом данный лингвопсихологический процесс основывается на следующих архетипах: огонь («Страшный гнев, полымем охвативший Макара, вдруг бесследно исчез» [М. Шолохов]; «Высоко пылает ярость, | даль кровавая пуста...» [А. Блок]; «Пылая гневом, она разоблачала Уварова ...» [Д. Гранин]; вода («И в огромных, расширенных зрачках его плеснулось бешенство...» [М. Шолохов]; вода – огонь («Массивная нижняя челюсть его мелко задрожала, на глазах вскипели слезы ярости и восторга» [М. Шолохов]).

Натурморфные, а именно температурные и цветовые признаки, приписываемые русским языковым сознанием рассматриваемым эмоциям, наиболее явно выражены в следующих примерах: 1) «Ты, дед, не сепети», – с холодным бешенством заговорил Хопров ...» [М. Шолохов]; «Ну подожди...», – с холодным бешенством подумал Давыдов» [М. Шолохов]; 2) «Он спасется от черного гнева | мановением белой руки» [А. Блок]; «белое бешенство» [М. Цветаева].

Соматика гнева и бешенства иллюстрируется их речевыми употреблениями: «Он весь дрожал в гнев и бешенстве...» [В. Быков]; «И тут он, не выдержав, сказал дрогнувшим от гнева голосом...» [М. Шолохов]; «И он, вдруг уставившись на Копытовского округлившимися от бешенства глазами, заорал...» [М. Шолохов]; «Как ваше здоровье?» – любезно осведомился Лопехин, испеляя повара пронизывающим взглядом, еле сдерживая готовое прорваться наружу бешенство» [М. Шолохов].

Слово *гнев* иногда может сочетаться со своим глагольным дериватом («Прогневался гневом, топнул о землю...» [М. Лермонтов]), что помогает продуценту речи (в данном случае поэтической) в максимальной степени передать эмоциональное мироощущение своего персонажа, а значит, соответствующим образом воздействовать на читателя или слушателя.

Легкость трансформации одних эмоций в другие иллюстрируется следующими художественными примерами: «Презренье созревает гневом» [А. Блок]; «Велико же было его изумление, перешедшее затем в ярость, когда он...» [М. Шолохов]. Этот лингвистический факт подчеркивает онтологическое единство фрагментов эмоционального мира человека.

Отрицательный, в высшей степени импульсивный характер эмоции гнева может иногда выражаться в инвективных контекстах («Сука, ты подлая, – крикнул он с тихой яростью» [В. Быков]). Оценочность суждений «наивных» русских о гнев и представлена и в пословице «Покорное слово гнев укрощает». Здесь подчеркивается, что эту эмоцию в силу ее негативной импульсивности следует подавлять.

Согласно данным АС, слово *гнев* имеет следующие реакции: ярость – 27; злость – 25; праведный, сильный – 21; радость – 16; божий – 14; справедливый – 12; страшный – 10; яростный – 6; богов, страх, злой, прошел – 5; бешеный, боль, большой, злоба, ужас, ужасный – 4; буря, любовь, печаль, раздражения, сердитый – 3 (АС 1994, с. 35). Словом-реакцией *гнев* служит следующим стимулам: ярость – 56 (АС 1994а, с. 59), злость – 25 (АС 1994а, с. 102), раздражение – 22 (АС 1994а, с. 102), сильный – 21 (АС 1994а, с. 283), страшный – 10 (АС 1994а, с. 303), бешенство – 7 (АС 1994а, с. 353), боль – 4 (АС 1994а, с. 18), злоба – 4 (АС 1994а, с. 102), раздражение – 3 (АС 1994а, с. 261), ненависть – 2 (АС 1994а, с. 186), жалость, сочувствие – 2 (АС 1994а, с. 223), возмущение – 2 (АС 1994а, с. 45), разъяренный человек – 1 (АС 1994а, с. 262), не угасает – 1 (АС 1994а, с. 182), негодование – 1 (АС 1994а, с. 184), неимоверный – 1 (АС 1994а, с. 186), неистовый – 1 (АС 1994а, с. 186), хмуриться – 1 (АС 1994а, с. 334).

Данная эмоция ассоциативно связана с родственными ей эмоциями – яростью, злостью, раздражением, бешенством, страхом и др., что подчеркивает их онтологическую близость, единство. Ей приписываются свойства интенсивности, достаточно четко выраженной оценочности (например, злой, справедливый, страшный, ужасный и т.п.).

Синонимичный рассмотренному выше слову номинант эмоции *бешенство* русским сознанием ассоциируется со следующими словами: ярость – 7; злость – 4; гнев – 3; ужас – 2, смерть – 1 (АС 1994, с. 17), прийти, приходиться (АС 1994, с. 25), звериное (АС 1994, с. 100). Слово *бешенство* является словом-реакцией по отношению к следующим словам-стимулам: ярость – 6 (АС 1994, с. 189), злость – 4 (АС 1994а, с. 102), темперамент (АС 1994а, с. 310).

По сравнению с номинантом «бешенство» номинант «ярость» оказывается более «ассоциативным»: гнев – 56; благородная – 14; дикая – 13; слепая – 12; сильная – 11; ненависть – 8; бешеная – 7; бешенство – 6; злоба, бессильная – 4; в душе, злая, кипучая, красная, свирепая, страсть, страх, ужас – 3; безграничная, безудержная, грусть, ненависть, неудержимая, страшная, ужасная – 2 (АС 1994, с. 189). Слово *ярость* выступает реакцией на следующие стимулы: злость – 55, гнев – 25, раздражение – 22 (АС 1994, с. 102), бешенство – 4 (АС 1994, с. 102), грусть – 2 (АС 1994, с. 64). Носителями русского языка указываются такие признаки ярости, как интенсивность, знаковость (преимущественно отрицательная). Она ассоциативно связана со многими другими эмоциями; некоторые из них на языковом уровне синонимичны друг другу: гнев, бешенство.

Слово *раздражение*, согласно АС, имеет следующие реакции: сильное – 32; злость – 22; гнев – 17; злоба, ненависть, неприязнь, ярость – 2 (АС 1994, с. 139). В качестве стимула оно выступает по отношению к словам: гнев – 17 (АС 1994а, с. 59), злость – 22, бешенство – 4 (АС 1994а, с. 102), негодование – 1 (АС 1994а, с. 184), недовольство – 1 (АС 1994а, с. 184), остыло – 1 (АС 1994а, с. 210), ощущение, чувство – 1 (АС 1994а, с. 217), подавить – 1 (АС 1994а, с. 231).

Минимальным количеством ассоциаций обладают слова *негодование* и *возмущение*: негодование – гнев, раздражение (АС 1994а, с. 184); возмущение – гнев 2 (АС 1994а, с. 45), что говорит, во-первых, в пользу признания действительно «зонного стягивания эмоций» (см.: Витт 1983), их «группового родства» (Block 1957. – Цит. по: Рейковский 1979, с. 165–166) и, во-вторых, о пересечении психологических и языковых критериев их отнесения к онтологически единому классу психических явлений и соответственно вербальных знаков (синонимов).

Вкратце подведем промежуточные итоги по вопросу концептуализации эмоций в немецкой и русской современной наивной картине мира.

1. Анализ современных немецко- и русскоязычных художественных и пословично-поговорочных текстов, имеющих определенную хронологическую фиксацию (Новое время), позволяет отметить эволюционную смену теоцентризма антропоцентризмом. Человек все более и более социализируется; в Новое время он становится «мерой всех вещей». Данный культурный процесс, в основе которого лежат причины социально-исторического, экономического и психологического свойств, активизирует рождение и активное распространение *антропоморфных* номинаций. Антропоморфный тип метафоризации эмоций – один из доминантных вторичных способов оязыковленной репрезентации психического мира Нового времени. Отмеченные же следы теоцентризма в немецком и русском языках (*heiliger Zorn*, *священный гнев* и т.п.) – свидетельство преемственности культуры, эволюционного характера ее развития, психологически релевантная привычка языкового сообщества пользоваться «готовыми» знаками.

2. Наблюдения над употреблением в художественной речи номинантов эмоций обнаруживают ассоциативную общность представлений немцев и русских о рассматриваемых явлениях. Анализ многочисленных современных метафорических описаний эмоций в сопоставляемых языках иллюстрирует онтологическую близость мышления двух этносов. Языковое сознание немцев и русских распределе-

чивает психический мир с помощью архетипов и их «производных». Архетипы продуцируют в нашем сознании определенные гештальты, устойчивые образы, интеллектуально и вербально «проработанные» слепки физической действительности. Наиболее актуальными для немецко- и русскоязычного сознания являются, согласно нашим наблюдениям, архетипы воды и огня, представляющие собой психолого-культурную универсальную релевантность как для архаического, средневекового, так и для современного «наивного» человека. Антропо-, натур- и зооморфные признаки, приписываемые эмоциям немцами и русскими, в сопоставляемых лингвокультурах часто совпадают. Так, для групп эмоций Angst и страх характерны такие признаки, как высокая степень антропоморфности (т.е. эти эмоции мыслятся прежде всего человекоподобно), бесцветность, температурность; для *Freude* и *радости*, *Zorn* и *гнева* помимо температурности типичны также свойства цвета.

Вместе с тем проанализированный языковой материал фиксирует предпочтительность выбора тем / иным лингвокультурным сообществом определенных признаков физического объективного мира при освоении и соответствующем лингвистическом оформлении эмоций. Мы считаем методологически верным учет количественных показателей использования тех / иных номинаций эмоций в разных языках, в особенности, если речь идет об их фиксации в золотом фонде языка – пословицах и поговорках, в наиболее ярко выраженной форме эксплицирующих оценочные характеристики интересующих нас концептов. Иными словами, частотность употребления номинирующих эмоции слов в художественных контекстах и устойчивых выражениях (в частности в пословицах и поговорках) мы признаем значимой величиной. Хорошо известно, что удельный вес оязыковленных понятийных образований есть свидетельство их культурной, вероятно, прежде всего психологической актуальности для того / иного этноса.

Анализ пословично-поговорочного фонда немецкого и русского языков позволяет заметить значительное преобладание в употреблении номинаций группы эмоций печали во втором из них. Оценочные характеристики этого концепта, оязыковленного в прецедентных русскоязычных текстах, отчетливо обнаруживают свою активность и в тезаурусном (ассоциативном) материале. Печаль по сравнению с другими эмоциями, например, с радостью, мыслится русскими как некое в высшей степени *динамичное* образование. Ассоциатами слово *печаль* имеет большое количество *глаголов*, в содержательную структуру которых нередко входят семы интенсивности и даже агрессивности.

Метафорические описания данной эмоции активно корреспондируют со словами-реакциями на слово *печаль*. Следует иметь в виду то

обстоятельство, что мы исследовали метафорические дескрипции печали не только в *современных* художественных текстах, но и текстах XVIII–XIX вв. Отмеченная корреспонденция между данными «Русского ассоциативного словаря», составленного по ответам респондентов конца 80-х – начала 90-х годов, и метафорическим осмыслением рассматриваемой эмоции в диахронии интерпретируется нами как *вневременная* лингвокультурная универсалия человеческого сознания. *Современная* метафоризация эмоций принципиально совпадает с их косвенными обозначениями в прошлом. Мыслительные образования (понятия, концепты) вербально строятся на «древних», конкретных человеческих представлениях (гештальтах), основу которых составляют изначально диффузные образы. Последние являют собой результат сравнения человеком объектов *физического* мира друг с другом и соответствующий перенос их наименований в ментальный, в частности в эмоциональный мир. Архетипы, таким образом, всегда «держат» наше языковое сознание в зоне психолого-эмоционального воздействия.

3. Наблюдения за многочисленными употреблениями слов, обозначающих эмоции в немецком и русском языках, позволяют отметить их ярко выраженный знаково-оценочный характер: Freude, радость – позитивное психическое переживание, а Angst, страх, Zorn, гнев, Trauer, печаль – отрицательные психические переживания. В ряде случаев, как мы ранее отмечали (см.: разд. 3, подразд. 3.2), позитивность и негативность эмоций фиксируется в самих словарных дефинициях.

Из выделяемых учеными (см., например, Арутюнова 1999а, с. 130–131) основных типов оценок – а) гедоническая (в особенности такой ее подтип, как сенсорная) и б) утилитарная, согласно представлениям немцев и русских – оказываются актуальными при осмыслении сущности эмоций: а) *der genossene Genuss, susses Freude, sanfte Freude, bittere Wut, ein kleiner Zorn staerkt die Liebe, Wo Freude ist, da ist Leben* и др., *сладкая радость, горькая печаль. – Om радостми и старуки со старухами помолодели* и др.; б) *sinnloser Zorn, sinnlose Wut, unsinnige Wut, Zorn ist der Stachel zu grossen Taten, Hundert Stunden Kummer bezahlt keinen Heller Schulden, Wo die Freude ist, ist die Gesundheit, Nimm den Zorn nicht ins Bett* и др. – *Старость не радость* и т.п. При этом, как показывают наши наблюдения над употреблениями номинаций эмоций в пословицах, поговорках и особенно в художественных текстах, русское языковое сознание отдает предпочтение сенсорному способу освоения мира, в то время как для немецкого языкового сознания

характерна еще и утилитарная оценка. Этот лингвистический факт свидетельствует о несовпадающей системе предпочтений немецкой и русской культур, о некоторых различиях в менталитете двух этносов.

Ментальные различия немцев и русских мы иллюстрировали в самом общем виде ранее – при обсуждении вопроса филологического определения номинантов эмоций в сопоставляемых языках (см. разд. 3, подразд. 3.2). В немецкоязычных словарных дефинициях внимание акцентируется на необходимости указания причинно-следственных отношений, корреспондирующих с миром эмоций. В русскоязычных словарных определениях значительно чаще предлагается набор оценочных сем – «счастливей», «радостный», «скорбный», «тоскливый» и др. В этой связи мы хотели бы высказать осторожное предположение о том, что для составителей русскоязычных толковых словарей, носителей русской культуры, представителей русского языкового этнического коллектива, возможно, более важной представляется необходимость иллюстрации оценочной характеристики эмоции, нежели вызывающих ее причин. Еще раз следует подчеркнуть, что данное предположение нуждается в более серьезной верификации, в привлечении к исследованию значительно более объемного языкового материала.

Точкой в данном подразделе может быть имеющее прямое отношение к обсуждаемому вопросу высказывание лингвиста-культуролога Г.Д. Гачева: «У каждого народа есть *особый склад мышления, система своих категорий или особое соотношение понятий*, присущих и другим народам. Есть что-то, что побуждает вести рассуждения особым образом, среди каких-то своих проблем, их решая, и двигая мысль в направлении к каким-то целям ...» (Гачев 1988, с. 180, курсив мой. – Н.К.).

Эмоциональные концепты «Angst – страх»,
«Freude – радость», «Trauer – печаль»,
«Zorn – гнев» в научной картине мира

Научная картина мира являет собой результат глубокой рефлексивной деятельности человека, логически выстраивающего понятийную систему социальных феноменов, упорядочивающего их. Научную картину мира можно условно определить как «вторичную» действительность, как результат вторичного осмысления представлений, суждений, рожденных в наивной картине мира. Оба варианта картины мира есть единая когнитивно-вербальная человеческая система. Ее составляющие находятся в диалектически сложных взаимоотно-

шениях. Компоненты картины мира суть обыденное и научное сознание человека.

Философ И.Т. Касавин, рассматривающий указанные типы сознания, пишет: «Обыденное сознание нагружено *научными идеями и фактами*, моральными и эстетическими нормами и идеалами, религиозными верованиями и метафизическими образами, которые транслируются и культивируются в данном социуме; оно обусловлено различными производственными и политическими практиками, в которых участвует человек» (Касавин 1999, с. 29, курсив мой. – Н.К.).

Научное сознание, по своей природе опирающееся на обыденное сознание, т.е. на практические знания человеком мира, формирует свой собственный относительно автономный объект наблюдения и последующего анализа. Современный цивилизованный человек, по крайней мере, его элитарная разновидность, есть носитель, в том числе и глубокого теоретического знания, способного непротиворечиво, логично объяснить виртуальный, а значит, и реальный мир.

Отличительной чертой строгого научного знания и сознания можно считать его абстрактность. Обыденное знание и сознание конкретно, «привязано» к отдельным явлениям мира. «Практическое знание не включает в себя абстрактно-общих содержаний; <...> оно ограничено частной ситуацией и подбором конкретных средств для достижения определенных целей. Эти средства готовы к употреблению и требуют лишь простого копирования приемов обращения с ними» (Касавин 1999, с. 51).

Абстрактный тип знания, или наука, представляет собой специальную, условно автономную сферу деятельности человека, все более интенсивно формирующуюся, особенно в Новое время. В этом смысле науку можно характеризовать и как способ познания, и как результат когнитивной деятельности человека. Успешность же рефлексивных человеческих поступков определяется в том числе и степенью разработанности понятийно-терминологического аппарата, служащего как для фиксации результатов самой познавательной деятельности исследователя, так и для ее осуществления. Язык, как известно, выполняет множество функций, среди которых принято считать важнейшими номинативную и эвристическую.

Активно формирующийся в Новое время специальный язык, язык науки, можно сравнить с древними кастовыми языками (маги, колдуны, священнослужители и т.п.) в том смысле, что он обслуживает *специальную* сферу деятельности человека, включающую в себе соответствующие социальные институты и, следовательно, участников

данного типа общения. Научный тип общения предполагает также и условия его протекания, этические и *вербальные* нормы, которым следуют ученые, и т.п. Отсюда – необходимость пользования ими унифицированным, по возможности (в идеале) четко, строго дефинированным терминологическим языком (подязыком). Его создание и функционирование – не только необходимый атрибут научного типа общения, но и условие развития науки как отрасли человеческого знания и жизнедеятельности в целом.

Иными словами, носители теоретического знания, в целях успешной коммуникации, а следовательно, и результативного распределения мира, создают свой собственный язык (по сути, социальный диалект), являющийся и условием существования, функционирования, и признаком так называемого научного дискурса. Под дискурсом социолингвисты (Брайт 1999, с. 107–114; Карасик 1999, с. 5; Караулов, Петров 1988, с. 8) понимают текст в ситуации реального общения; текст, погруженный в конкретную ситуацию коммуникации. Каковы же требования, предъявляемые его важнейшей составляющей, – терминологическому языку, термину?

В последние 10–15 лет в филологии появилось множество работ (нередко критических), разносторонне исследующих терминологическую проблематику, не обделенную вниманием ученых, в том числе и крупных (В.В. Виноградов, Д.С. Лотте и др.), начиная со второй половины прошлого столетия. Существуют и плодотворно работают целые научные школы, центры, занимающиеся изучением терминологических вопросов (см. обзоры в: Лейчик 1989; Felber, Budin 1989). Несмотря на это, в лингвистике, как и прежде, не сложилось единого взгляда на определение термина как языковой единицы. Принципиальными следует считать, насколько мы можем судить, различия в подходах ученых к определению термина по сравнению с обычным словом в семантическом и функциональном.

Так, сторонники семантической школы полагают, что термин – это особое лексико-семантическое явление, существующее автономно от основного пласта лексики, функционирующее по своим «терминологическим» законам (Тогунов 1984, с. 115–121; Толикина 1970, с. 61–62; Экономов 1989 и др.). Лингвисты этого направления отрицают наличие у термина полисемии, антонимии (!), синонимии. Вероятно, в данном случае мы имеем дело с ситуацией, обозначаемой прецедентом «выдавать желаемое за действительное».

Терминоведы-функционалисты, напротив, полагают, что лексико-семантические процессы, свойственные обычным словам, актуаль-

ны и для терминологических номинаций (Прохорова 1983; Циткина 1988; Hums 1971, S. 146–148). Мы считаем совершенно обоснованным мнение В.М. Лейчика, утверждающего, что слова «обычного» языка могут терминологизироваться, т.е. употребляться в специальном терминологическом значении в соответствующем дискурсе (Лейчик 2001, с. 27–30). Термин, по В.М. Лейчику, – единица функциональная, выполняющая традиционные функции языкового знака (слова) – коммуникативную, номинативную, сигнификативную, прагматическую и, в особенности, эвристическую. Термины, по мысли В.М. Лейчика, следует рассматривать «как когнитивные структуры, как средство формализации абстрактных элементов определенных научных теорий» (Лейчик 1989, с. 86).

Во многом аналогичной точки зрения придерживаются Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин. Они пишут: «1. Значение слова-термина соотносится в первую очередь не с каким-либо отдельным предметом, а с их классом, рядом или типом; в противоположность ему значение слова-нетермина соотносимо, как правило, с конкретной вещью, свойством и т.п. 2. Значение слова-термина соотносимо с профессиональным научным понятием, в то время как значение слова-нетермина коррелирует обычно не только с бытовым понятием или общим представлением, но часто с какими-либо эмоциональными переживаниями. 3. Значение слова-термина соотносено с потребностью дефинирования, а значение слова-нетермина такой соотнесенности не имеет, хотя дефинирование и допускает. 4. Значение слова-термина может подниматься на высшие ступени отвлечения от действительности и даже порывать связи с нею; значение слова-нетермина обычно остается на низших ступенях отвлечения от действительности. 5. Значение слова-термина допускает в принципе формирование индивидуальных, свойственных отдельным ученым понятий; значение слова-нетермина, как правило, препятствует возникновению таких понятий, его значение коллективно, а не личностно (личностным может стать применение слова)» (Головин, Кобрин 1987, с. 42–43).

Авторы приведенной цитаты избегают в своих рассуждениях категоричной модальности, что объясняется, как мы понимаем, сложностью однозначного проведения демаркационной линии между понятиями «термин» и «нетермин».

Следует отметить, что сами терминологические номинации, используемые в той / иной отрасли науки, в разной степени удовлетворяют идеальным требованиям, предъявляемым к ним учеными (в частности, моносемия, неэкспрессивность). Так, В.Н. Прохорова все

термины классифицирует на три группы в зависимости «от степени их терминологичности»: 1. Лексика низкой степени терминологичности (слова, входящие практически в каждую терминологическую систему как названия основных объектов мира, например, «дом»). Для терминологии этого типа четко выражен только один признак – наличие дефиниции. 2. Лексика средней степени терминологичности – это также не узкоспециальная терминологическая лексика, общая для целого ряда терминологий, например, общетехническая («деталь»). 3. Термины высокой степени терминологичности – узкоспециальная лексика, специфическая только для данной терминологии («семема») (Прохорова 1983, с. 22–23).

Номинанты эмоций, являющиеся объектом нашего исследования, в научном дискурсе выступают как термины. Отметим, что в своем терминологическом значении употребляются все *базисные* обозначения эмоций и ряд небазисных, вторичных номинаций (например, *Melancholie, Furcht, Wut, меланхолия, боязнь*). При этом все оказавшиеся в центре нашего исследовательского внимания номинации эмоций относятся, согласно вышеприведенной классификации, к лексике низкой степени терминологичности (*Angst, Freude, Zorn, Trauer, Schreck, Schrecken, Spass* и др., *страх, радость, гнев, печаль* и др.), поскольку эти слова общеупотребительны в немецком и соответственно в русском языках.

Данные обозначения мы квалифицируем как полифункциональные языковые единицы, т. к. они применяются в самых различных дискурсах, т.е. сферах человеческой жизнедеятельности (в быту, в науке и т.п.). Полифункциональность этих слов иллюстрирует, на наш взгляд, зону пересечения обиходных (народных) и научных (элитарных) понятий, житейского сознания, строящегося на конкретных фактах освоения мира, и теоретического сознания, с одной стороны, пользующегося конкретным опытом «наивного» распредмечивания действительности человеком, а с другой, непременно оперирующего абстрактными понятиями, расширяющего горизонты познания, углубляющего наши знания.

Сопоставляя терминологические единицы с обычными словами, Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин отмечают, что эти два условно выделяемых класса языковых знаков апеллируют к различным уровням сознания – первые к научному, а вторые к бытовому. Различие же, по мнению этих терминоведов, заключается лишь в степени существенности, правильности и точности выделяемых признаков, лежащих в основе обобщения предметов. Бытовые понятия, по Б.Н. Головину и

Р.Ю. Кобрину, в принципе однородны с абстрактными понятиями науки и отличаются от них только допуском, *степенью приближения* (Головин, Кобрин 1987, с. 39, курсив мой. – Н.К.). Следовательно, можно сделать вывод об аппроксиматичном характере обиходных понятий, в то время как научные более полно интерпретируют мир. Думается, что наш материал (разд. 3, подразд. 3.2), в частности описание способов репрезентации значения номинаций эмоций в филологических и энциклопедических словарях в целом, подтверждает истинность приведенного здесь суждения.

Мы обнаружили многочисленные общие и некоторые отличительные феноменологические черты оязыковленных концептов в немецкой и русской культурах. Признаки, выявленные в результате анализа филологических дефиниций и речевых (художественных, разговорных, пословично-поговорочных) употреблений соответствующих языковых знаков, суть *народные представления* немцев и русских о таком важном психолого-культурном явлении, как эмоции. Определение сущности представлений носителей разных языков, членов разных культур об эмоциях проводилось, как было заявлено во введении монографии, посредством применения комплексного лингвокультурологического анализа номинаций эмоций, что, как показывают результаты исследовательской практики (Апресян 1995а; Вежицкая 1997; Головановская 1997 и др.), в высшей степени технологично и методологически целесообразно.

Обсуждая вопрос методологии исследований, направленных на изучение эмоциональных фрагментов картины мира, а также сами конкретные результаты, полученные на эмпирической базе разных языков, ряд лингвистов высказывают мысль о необходимости учета языкового фактора, «по-своему» преломляющего психическую действительность. Так, признанный специалист по проблемам эмоциональных концептов А. Вежицкая пишет: «Ученые, желающие изучать эмоции, в значительной мере полагаются на эмоциональные концепты, *выражаемые в их родном языке*. Это неизбежно, и не обязательно плохо, если только они осознают факт такого влияния и не обманывают себя на тот счет, что, говоря, например, об *anger*, *joy* или *disgust*, они ведут речь о каких-то биологически обусловленных, универсальных человеческих реалиях, и если они понимают, что рассматривают *эмоциональные переживания человека сквозь призму собственного языка*» (Вежицкая 1997г, с. 347).

Мы считаем не менее важным изучение проблемы ЭК в ином, не «народном», а научном дискурсе (тексты, прежде всего психологи-

ческие, психоаналитические, общеполитические). Обнаружив общие универсальные и вместе с тем некоторые специфические свойства онтологии ЭК, их рождение, функционирование в обиходной лингвокультурной жизни немецкого и русского этносов, мы задаемся вопросом о понимании интересующего нас феномена в мире «строгой» науки. Как понимаются эмоции, ЭК элитарными *разноязычными* личностями, т.е. учеными, принадлежащими разным языковым сообществам, разным лингвокультурам? Насколько сам исследователь зависим (если он вообще зависим) в своих теоретических рассуждениях относительно толкования эмоций от своего языка, собственного «дома бытия», в котором он рождается и живет? Присутствует ли в понимании эмоционального феномена «образцовыми» носителями разных языков сам дух языка (в гумбольдтовском смысле слова), сама специфика этнокультуры?

Поиск ответов на поставленные здесь вопросы предполагает анализ употреблений номинантов эмоций в научном дискурсе (психологические дефиниции эмоций, описание эмоций в специальных научных работах, прежде всего по психологии и психоанализу).

Ознакомление со специальной научной литературой (статьи, монографии и т.п.) по проблеме интерпретации феномена эмоций позволяет сделать вывод о терминологическом употреблении *преимущественно базисных* эмоций (Angst, Freude, Zorn, Trauer, страх, радость, гнев, печаль) в немецко- и русскоязычных научных дискурсах. Данные слова, выступающие в науке как термины, должны быть строго дефинированными. Это значит, что, согласно предъявляемым к терминологической единице требованиям (прежде всего ее моносемия и неэкспрессивность), ученые пытаются четко определить объем, содержание, а значит, и границы используемого ими языкового знака, обозначающего то / иное понятие. Языковой знак, применяемый в научном дискурсе как термин, является не только наименованием определенного денотата / референта; он обозначает специальный фрагмент научной картины мира, служит средством логического осмысления, анализа, обобщения конкретной сферы действительности.

Ранее (разд. 2, подразд. 2.3) при обсуждении проблемы филологической интерпретации номинаций эмоций мы фрагментарно приводили психологические дефиниции базисных терминов, обозначающих психические явления. Сопоставление психологических дефиниций и филологических определений номинантов эмоций проводилось с целью более полного их толкования в лексикографической (филологической) практике. Здесь же мы предлагаем, во-первых, энциклопедиче-

ские (т.е. психологические) дефиниции терминологических номинаций эмоций в немецком и русском языках в сопоставительном аспекте. Во-вторых, мы надеемся, что сравнительный анализ терминологических обозначений эмоций в пределах одного языка позволит обнаружить уровень распрямленности учеными *разных* эмоциональных феноменов (как базисных, так и вторичных). При этом укажем на ограниченное количество психологических дефиниций терминологических обозначений эмоций, доступных нам для анализа, и, кроме того, на отсутствие возможности сопоставления (в ряде случаев) их параллельной энциклопедической репрезентации в немецком и русском языках.

В немецких психологических словарях термину *Angst* даются следующие дефиниции: 1. «Angst – ein in der Regel mit physiologischen Erscheinungen wie schnelle Atmung, Schwitzen, Zittern, Herzklopfen, einhergehender unangenehmer emotionaler Zustand, der vor allem auftritt, wenn Meidungsmotivationen frustriert werden» (WBP 1976, S. 24); 2. «Angst – elementare, unangefasste, affektive, nicht objektbezogene Reaktion, die, verbunden mit teilweisem oder totalem Kontrollverlust ueber die innere oder aeussere Realitaet, als ein die Existenz bedrohender, ueberwaeltigender und aeusserst schmerzhafter Agressionszustand empfunden wird; die Angst aeusserst sich individuell (z.B. Depression) und kollektiv (Panik)» (WBP 1974, S. 20); 3. «Angst – die bei Wahrnehmung oder Vorstellung einer Gefahr auftretende natuerliche Affektreaktion; seelische Symptome – schmerzvolles Beklemmungsgefuehl, Aufregungszustand» (KPL 1949, S. 12).

Во всех трех дефинициях эмоции *Angst* психологи приписывают следующие релевантные признаки: 1) «состояние» (Zustand, Agressionszustand, Aufregungszustand); 2) «соматическая форма проявления эмоции» (mit physiologischen Erscheinungen wie schnelle Atmung, Schwitzen, Zittern, Herzklopfen, nicht objektbezogene Reaktion, auftretende natuerliche Affektreaktion, schmerzvolles Beklemmungsgefuehl); 3) «условия, причина появления эмоции» (wenn Meidungsmotivationen frustriert werden, die Existenz bedrohender Zustand, bei Wahrnehmung oder Vorstellung einer Gefahr). Указанные здесь признаки признаются учеными *необходимыми* при дефинировании рассматриваемого термина.

Признаки же «отрицательная знаковость эмоции» (unangenehmer), «масштабность переживания эмоции» (einhergehender), «индивидуальное или коллективное переживание эмоции» (individuell, Depression, kollektiv, Panik), «тип реальности» (innere oder aeussere Realitaet), «ха-

рактер контролируемости эмоции» (mit teilweisem oder totalem Kontrollverlust), по всей видимости, можно считать уточняющими (но не избыточными).

Примечательно, что психологический словарь, изданный в 1949 г., по сравнению с более поздними справочниками (1974 и 1976 гг.), содержит минимальное количество признаков, формирующих объем понятия Angst. Данный факт может свидетельствовать, с одной стороны, о все более глубокой рефлексии человеком (ученым) рассматриваемого феномена, а с другой, по всей видимости, о повышении требований к специальным словарям.

Родственная Angst вторичная эмоция Panik дефинируется психологами следующим образом: 1. «Panik – eine durch ploetzlich hereinbrechende ueberstarke Reize, besonders in Massensituationen (Erdbeben) ausgeloester Angst; und Erregungszustand, der die Faehigkeit zur ruhigen Ueberlegung lahmgelegt und sich in plan- und daher meist sinnlosen Furchtreaktionen entlaedt» (KPL 1949, S. 33); 2. «Panik – auf den Schreckenerregungen griechischen Hirtengott Pan zurueckgehende Bezeichnung fuer ein planloses, affektgesteuertes Fluchtverhalten in Situationen ausserordentlich grosser tatsaechlicher oder eingebildeter Gefahr» (WBP 1976, S. 94); 3. «Panik – voruebergehende > hyponoische und > hypobulische Reaktion auf Schreck und Angst» (WBP 1974, S. 87).

Здесь релевантными признаками данного понятия следует считать следующие: 1) «референтная отнесенность эмоции» (Angst, Erregungszustand, Reaktion auf Schreck); 2) «условие протекания и причина возникновения эмоции» (Reize, Massensituationen, Erdbeben, in Situationen ausserordentlich grosser tatsaechlicher oder eingebildeter Gefahr); 3) «последствия переживания эмоции» (die Faehigkeit zur ruhigen Ueberlegung lahmgelegt); 4) «формы проявления эмоции» (ploetzlich, sinnlose Furchtreaktionen entlaedt, ein planloses, affektgesteuertes Fluchtverhalten).

Уточняющим при этом, насколько можно судить, служит признак интенсивности (ueberstarke). Избыточным следует признать признак «происхождение слова» (griechischer Hirtengott Pan, zurueckgehende Bezeichnung).

Теперь обратимся к психологическим дефинициям терминов эмоций группы *Trauer*, а именно *Melancholie* и *Schwermut*. Первый из них имеет следующие энциклопедические определения: 1. «Melancholie ist eine konstitutionell bedingte (endogene) Verstimmung» (KPL 1949, S. 28); 2. «Melancholie (mela – schwarz, cholie – gelb) – Traurige, endogene Verstimmung» (WBP 1974, S. 130). В отличие от рассмотренных выше

дефиниций базисных терминов эмоции слово *Melancholie* определяется минимальным количеством признаков: 1) «референтная отнесенность эмоции» (*Verstimmung*); 2) «отрицательная знаковая направленность эмоции» (*traurig*), 3) «условие и причина появления эмоции» (*konstitutionell bedingte / endogene*). В психологическом словаре WBP 1974 предлагается этимология данного слова. Этот признак при минимальном раскрытии толкуемого эмоционального феномена вряд ли стоит считать необходимым. Вероятно, его в лучшем случае можно квалифицировать как уточняющий. Таким образом, терминологическое описание слова *Melancholie* следует оценить как неудовлетворительное. Несколько ниже, при анализе употреблений и описаний интересующих нас концептов, в частности нашедших отражение в специальной работе З. Фрейда «Печаль и меланхолия» (Фрейд 1984, с. 203–211), можно будет предложить в дополнение к названным выше некоторые другие, как минимум, уточняющие признаки, формирующие содержание *Melancholie*.

Аналогичным образом обстоит дело с психологическим толкованием термина эмоции *Schwermut*. «*Schwermut – Sinnverlust des Daseins, eine Form des «Nicht-Koennens» und Folge angehaltener Entscheidung.* > *Depression, Melancholie*» (WBP 1974, S. 130). В данном случае отсутствует эксплицитно оформленное указание на его референтную отнесенность (правда, есть ссылка на термины *Depression, Melancholie*). Количество релевантных для «узнавания» читателем признаков максимально редуцировано: 1) «причина возникновения эмоции» (*eine Form des «Nicht-Koennens»*) и 2) «следствие переживания эмоции» (*Folge angehaltener Entscheidung*).

Анализ психологических дефиниций терминологических номинаций эмоций в немецком языке, таким образом, позволяет сделать следующие выводы: во-первых, так называемые *базисные* эмоции имеют более полное, более глубокое энциклопедическое описание; во-вторых, так называемые вторичные эмоции на уровне специальных специалистов психологами дефинируются минимальным набором признаков. Последних, вероятно, недостаточно для «узнавания» даже профессиональному читателю.

Далее обратимся к русскоязычным психологическим дефинициям терминов базисных и вторичных эмоций. Начнем с «эмоции эмоций» — страха. «Страх — эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности» (ПС 1990, с. 386). Согласно приведенной дефиниции, данному фено-

мену приписаны следующие релевантные признаки: 1) «референтная отнесенность эмоции» (эмоция); 2) «условия появления эмоции» (возникающая в ситуациях угрозы), 3) «объект угрозы» (индивид), 4) «характер, источник опасности» (действительный, воображаемый). Названные здесь признаки мы относим к классу необходимых.

Более полную и глубокую интерпретацию данная эмоция, как можно заметить, имеет в немецком специальном словаре. В нем, как мы ранее указывали, помимо необходимых есть и уточняющие признаки, составляющие ее содержание («соматическая форма проявления эмоции», «отрицательная знаковость эмоции», «масштабность эмоции», «индивидуальное или коллективное переживание эмоции», «характер контролируемости переживания эмоции»). В целом же психологическую дефиницию страха следует признать удовлетворительной, особенно, если сравнить ее с определением следующей базисной эмоции.

«Радость – чувство удовлетворения, удовольствия, приподнятости, обычно связанное с успехами в деятельности и т.п.» (ПС 1965, с. 193). Совершенно очевидно, что в данном случае мы имеем дело не с психологической дефиницией, а скорее с филологическим определением. Для этого, как мы уже указывали в подразделе 3.2, достаточно сравнить их *definiens*. Весь минимальный набор представленных в вышеприведенной дефиниции признаков необходим, но еще недостаточен для раскрытия содержания радости как термина. Этими признаками являются: 1) «референтная отнесенность эмоции» (чувство); 2) «положительная знаковость» (приподнятость); 3) «причина появления эмоции» (связанное с успехами в деятельности). К числу уточняющих, как показывает анализ научных статей, монографий и т.п., следовало бы отнести, как минимум, следующие признаки: «соматическая форма проявления эмоции», «масштабность эмоции», «реальность / виртуальность эмоции». В противном случае проблематично увидеть на основе психологической дефиниции (точнее сказать – псевдодефиниции) различие в содержании радости и, например, удовольствия или удовлетворения. Тем самым мы хотим сказать, что приведенная дефиниция не может быть отнесена к классу строгих научных определений не только в силу *редуцированного* признакового набора, но и из-за неудачного метаязыка, выбранного ее составителями.

Данные замечания в полной мере относятся и к научному (квазинаучному) определению гнева. «Гнев -- одна из эмоций; сильное негодование, возмущение, состояние раздражения, озлобления» (ПС 1965,

с. 55). Как и в предыдущем случае, авторы предлагают минимально необходимые, но далеко не достаточные для раскрытия соответствующего понятия признаки: 1) «референтная отнесенность эмоции» (эмоция, состояние); 2) «интенсивность переживания эмоции» (сильное). Очевидно, что эту максимально усеченную модель якобы научного толкования, с учетом данных психологии и психоанализа, следовало бы дополнить такими признаками, как «причина возникновения и условия протекания эмоции», «соматическая форма проявления эмоции». Мы можем констатировать филологический характер психологической дефиниции гнева в русских специальных словарях.

Эмоция *ужас* в русском психологическом словаре дефинируется совершенно неудовлетворительным образом: «ужас – чувство сильного страха» (ПС 1965, с. 250). По сути, здесь налицо филологическое определение конкретного психологического феномена. Ему свойственны, согласно данной дефиниции, следующие признаки: 1) «референтная отнесенность эмоции» (чувство, страх); 2) «интенсивность переживания эмоции» (сильный). Их перечень мог бы удовлетворять требования, предъявляемые к филологическим определениям, но никак не к энциклопедическим. С целью иллюстрации этого утверждения сопоставим психологическую дефиницию слова *ужас* с ее филологическими определениями: «ужас – чувство сильного страха, доходящее до подавленности, оцепенения» (ТС 1995, с. 816); «ужас – чувство состояния очень сильного испуга, страх» (БАС 1964, т. 16, с. 375); «ужас – чувство сильного страха, испуга, приводящее в состояние подавленности, оцепенения, трепета» (ТС 1940, т. 4, с. 904).

Подводя краткие итоги рассмотрения вопроса о дефинировании некоторых базисных и вторичных эмоций немецкими и русскими психологическими словарями, мы считаем необходимым отметить следующее. Во-первых, в немецких психологических справочниках по сравнению с русскими предлагаются более содержательные характеристики эмоций, в особенности базисных (например, *Angst*). Во-вторых, сами базисные эмоции нередко выступают в функции метаязыка при описании содержания вторичных эмоций в специальной разновидности текста – энциклопедической статье. В-третьих, русские психологические определения следует квалифицировать как псевдодефиниции, поскольку в них не содержатся необходимые и достаточные признаки соответствующих понятий (исключение составляет дефиниция страха). В-четвертых, максимально полными являются психологические дефиниции слов *Angst* и *страх* соответственно в немец-

ком и русском языках. Данное обстоятельство мы интерпретируем как психокультурологическую релевантность этой эмоции для человека, на которую мы неоднократно указывали выше. В-пятых, фрагментарное сопоставление дефиниций параллельных эмоций немецкого и русского языков обнаруживает более высокую степень их распредмеченности в первом из них, что, по нашему мнению, объясняется двумя взаимосвязанными факторами: с одной стороны, существованием серьезных традиционных научных психоаналитических школ в Европе, в частности в Германии, а с другой – недостаточной лексикографической (в широком смысле слова) отечественной практикой. Аргументом нашей позиции могут служить наблюдения над соответствующими немецкими и русскими научными дискурсами: многочисленные отечественные работы, посвященные проблеме эмоций, со ссылками на научные европейские, в том числе и немецкие, психологические и психоаналитические труды, школы и т.п.

Анализ фрагментов немецких и русских психологических текстов, в которых употребляются терминологические номинации эмоций, обнаружил следующие признаки, характеризующие исследуемые концепты: 1) «полярность эмоций (их положительная / негативная психологическая характеристика)»; 2) «оценка (моральная, этическая) эмоций»; 3) «активность эмоций»; 4) «градуируемость эмоций (как правило, их интенсивность)»; 5) «предметность vs. абстрактность эмоций»; 6) «причины, условия возникновения эмоций»; 7) «осознание vs. неосознанность эмоций»; 8) «последствия переживания эмоций»; 9) «соматическое проявление эмоций»; 10) «амбивалентность эмоций»; 11) «первичность / вторичность эмоций (их происхождение)».

Приведем примеры употребления терминологических номинаций эмоций, иллюстрирующие вышеназванные признаки.

1. *Полярность* эмоций. «Положительные эмоции способствуют конструктивному взаимодействию человека с другими людьми, с ситуациями и объектами. Отрицательные эмоции, напротив, переживаются как вредоносные и труднопереносимые» (Изард 1999, с. 57). «Эмоции обладают положительным или отрицательным знаком», есть «приятные» и «неприятные» эмоции» (Рубинштейн 1984, с. 153). «Большинство ученых делят эмоции на положительные и отрицательные» (Изард 1999, с. 34); «Sie werden als positive und negative Gefühle bezeichnet» (Reuning 1941, S. 46). «Die meisten Begriffe, die wir unsere jeweilige Befindlichkeiten charakterisieren (z.B. Liebe, Hass, Angst usw.) fallen naemlich auf Grund ihrer Aehnlichkeitsrelationen in ein zweidimensionales System...» (Hofstaetter 1974, S. 305).

2. *Оценка (моральная, этическая)* эмоций (например, переживание, точнее манифестация переживания гнева обществом порицается). «Гнев воспринимается как нежелательная реакция, и человек, как правило, стремится ее избежать. Вы стыдитесь того, что потеряли контроль над собой» (Изард 1999, с. 225).

3. *Активность* эмоций. «Гневу как одной из доминирующих эмоций в индивидуальной структуре эмоциональности свойственна большая активность» (Витт 1983, с. 67). «H. Hoff sieht im Psychopaten ein Individuum ohne hemmende Angst, asozial, mit mächtigen Aggressionen und ungehemmten, unkoordinierten Triebregungen» (Hofstaetter 1974, S. 236).

4. *Градуируемость* эмоций. «Es kann zunaechst gar kein Zweifel bestehen, dass die Tatsachen, welche schon eine feiner differenzierende Sprache wie die deutsche mit Seligkeit, Glueckseligkeit, Gluecklichsein, sinnliche Lust und Annehmlichkeit bezeichnet, nicht immer dieselben Arten von Gefuehlstatsachen sind, die etwa nur an Intensitaet verschieden seien, oder mit verschiedenen Empfindungen und verschiedenen gegenstaendlichen Korrelation verbunden waeren» (Reuning 1941, S. 46).

5. *Предметность vs. абстрактность* эмоций. «Под предметными понимаются более обобщенные чувства. Мы бы их назвали мировоззренческими» (Рубинштейн 1984, с. 159); «Glueck ist personaler Zustand. Lust ist zunaechst die Umkleidung eines einzelnen Geschehens... Die Wirkung, die an der Oberflaeche bleibt, kann nicht zum Glueck fuehren, denn sie dringt nicht zu der personalen Sphaere vor, in der das Glueck seinen Ort hat; sie muss sich mit der blossen Lust begnuegen, die an der Oberflaeche spielt» (Geiger. – Цит. по: Reuning 1941, S. 60).

6. *Причины, условия возникновения* эмоций. «Они рассматриваются как реакция на более специфические условия, такие как фрустрация потребности, невозможность адекватного поведения, конфликтность ситуации, непредвиденное развитие событий» (Вилюнас 1984, с. 7). «Радость – это чувство, возникающее у человека вследствие осознания реализации своих возможностей» (Изард 1999, с. 158); «Гнев – активатор других эмоций» (Там же, с. 247). «Die phobische Furcht (nicht eigentlich Angst, da sie einen spezifischen Gegenstand besitzt) verwandelt Wunschregungen in ihr Gegenteil; begehrte Erlebnisse und vieles, was mit ihnen zusammenhaengt, werden zum Anlass von Ekel, Abscheu und Besorgnis» (Hofstaetter 1974, S. 216). «Die Freude ueber einen Erfolg mag den Kuenstler so ueberstroemen, dass er...» (Geiger. – Цит. по: Reuning 1941, S. 59). «Sobald unsere Rezeptoren jedoch eine gewoehnliche Situation anzeigen, laesst diese Hemmung nach. Die Emotionen (Zorn, Angst usw.)

сind sozusagen potentiell immer in uns, jedoch versagt ihnen die Hinrinde zuzeiten die Entfaltung» (Hofstaetter 1974, S. 117).

7. *Осознание vs. неосознанность* эмоций. «Базовая эмоция влечет за собой отчетливое и специфическое переживание, которое осознается человеком» (Изард 1999, с. 63). «Zwei weitere Erscheinungsformen der Psychoneurose, die haeufig gekoppelt auftreten, sind die Phobie (Furcht vor bestimmten Objekten, Situationen und Taetigkeiten) und die Zwangsneurose» (Hofstaetter 1974, S. 216).

8. *Последствия переживания эмоций*. «С давних пор известно, что отрицательные эмоции (тревога, страх) влияют на кровообращение» (Шингаров 1971, с. 7). «Die depressive Verstimmung der Melancholie» (Hofstaetter 1974, S. 246).

9. *Соматическое проявление эмоций*. «Почему, испугавшись, я сознаю в себе “присутствие страха”, а не просто некоторые органические впечатления, дрожание, биение сердца и т.д. ?» (Клапаред 1984, с. 95). «Эреутофобия – это страх покраснения в присутствии публики» (Жане 1984, с. 197). «Врожденный механизм гнева предполагает оскал как демонстрацию готовности броситься на противника и уку- сить, но многие люди в гневе, напротив, стискивают зубы и поджи- мают губы, словно стремясь смягчить или замаскировать внешние проявления гнева» (Изард 1999, с. 31). «Am leichtesten zugaenglich sind die Veraenderungen der Atemfrequenz und des Blutdruckes. Dazu kommt die entdeckte Tatsache, dass der elektrische Leitungswiderstand bei Erregung ab- und im Zustand der Beruhigung zunimmt» (Hofstaetter 1974, S. 118).

10. *Амбивалентность* эмоций. «Эмоции обладают положительным или отрицательным знаком: удовольствие – неудовольствие, веселье – грусть, радость – печаль и т.п. Оба полюса не являются обязательно внеположными. В сложных человеческих чувствах они часто образуют сложное противоречивое единство: в ревности страстная любовь уживается со жгучей ненавистью» (Рубинштейн 1984, с. 153). «Hier ergeben sich aber bereits Schwierigkeiten, da Lust und Unlust ebenso wie Liebe und Hass oder auch Freude und Ekel nebeneinander oder im schnellen Wechsel vorkommen koennen (d.h. Ambivalenz)» (Hofstaetter 1974, S. 119).

11. *Первичность / вторичность* эмоций – генетическая классификация. «Фундаментальные эмоции являются врожденными» (Изард 1999, с. 31).

Результаты предпринятого анализа употреблений терминологических номинаций эмоций в научном дискурсе показывают общность приписываемых им признаков с данными В.К. Вилюнаса, обобщив-

шего в одной из своих обзорных работ качественные характеристики исследуемого феномена. В список составленных на реферативном материале отечественным психологом признаков эмоций мы могли бы включить ряд дополнительных, а именно – активность, причина возникновения, полярность, моральная (этическая) оценка, последствия переживаний.

Заемствованные из «обычного» языка номинации эмоций терминологизируются в научном дискурсе. Их употребление в специальном значении со всей очевидностью иллюстрирует глубину рефлексии учеными (прежде всего психологами, психоаналитиками) эмоциональных переживаний. Различие в их понимании народным, наивным и научным теоретическим сознанием легко заметить на примере употребления синонимичных слов *печаль* (Trauer) и *меланхолия* (Melancholie) в немецком языке. «Наивные» носители немецкого языка применяют данные слова для вербализации одной и той же жизненной ситуации – состояния уныния, печали, плохого настроения (traurig sein, melancholisch sein), в то время как психоаналитики проводят принципиальную грань между данными понятиями. Чтобы ее убедительно показать, приведем фрагмент из научной работы З. Фрейда «Печаль и меланхолия»: «Сопоставление меланхолии и печали оправдывается общей картиной обоих состояний. Также совпадают и поводы к обоим заболеваниям, сводящиеся к влияниям жизненных условий в тех случаях, где удастся установить эти поводы. Печаль является всегда реакцией на потерю любимого человека или заменившего его отвлеченного понятия, как отечество, свобода, идеал и т.п. Под таким же влиянием у некоторых лиц вместо печали наступает меланхолия, отчего мы подозреваем их в болезненном предрасположении. Весьма замечательно также, что нам никогда не приходит в голову рассматривать печаль как болезненное состояние и предоставлять ее врачу для лечения, хотя она и влечет за собой серьезные отступления от нормального поведения в жизни. Мы надеемся на то, что с течением времени она будет преодолена, и считаем вмешательство нецелесообразным и даже вредным. Меланхолия в психическом отношении отличается глубокой страдальческой удрученностью, исчезновением интереса к внешнему миру, задержкой всякой деятельности и понижением самочувствия... Теми же признаками отличается и печаль, за исключением только одного признака: при ней нет *нарушения самочувствия*.<...> Нам кажется естественным привести меланхолию в связь с потерей объекта, каким-то образом недоступной сознанию, в отличие от печали, при которой в потере нет ничего бес-

сознательного» (Фрейд 1984, с. 204–205, курсив мой. – Н.К.). Как видим, в психоанализе выделяется существенный для специалистов, но нерелевантный, неизвестный обычному среднестатистическому индивиду отличительный признак в понятиях печали и меланхолии («нарушение самочувствия»).

Не менее убедительным аргументом, свидетельствующим о разном, несовпадающем содержании одних и тех же языковых единиц, используемых в наивном и научном дискурсе, являются немецкие слова *Angst* и *Furcht*. Немецкий проф. Х. Хофштетер указывает на различие, существующее между названными психологическими терминами: «*Dem Betrag der Angst, die in einer Konfliktsituation und, zum Unterschied von der Furcht, eigentlich nur in einer solchen erlebt wird, entspricht die simultane Wirksamkeit von Appetenz und Aversion ...*» – содержанию страха (*Angst*), который переживается в ситуации конфликта, в отличие от боязни (*Furcht* – страх, боязнь), и, собственно говоря, только в ней (т.е. именно в ситуации конфликта. – Прим. наше. – Н.К.) и может переживаться, соответствует симультанная действительность аппетита и антипатии» (Hofstaetter 1974, S. 184, перевод и курсив мой. – Н.К.).

Знания «наивных» немцев, в отличие от носителей «дополнительной» научной картины мира, ограничиваются их умением правильного грамматического и стилистического употребления *Angst* и *Furcht*. А. Вежбицкая в своей статье «*Angst*» утверждает, что «в контекстах, когда чувство (здесь имеется в виду *Angst*, прим. мое. – Н.К.) связано с конкретной мыслью, различие между *Angst* и *Furcht*, по-видимому, не столь существенно, и носители языка не обязательно сознают его» (Вежбицкая 1999а, с. 565).

Примеры, приведенные выше, на наш взгляд, наглядно показывают тонкие, едва уловимые для наивного сознания отличия между содержанием синонимичных слов. Различия же в содержании данных слов фиксируются, учитываются при их терминологическом использовании носителями научного, теоретического сознания, что, как мы уже указывали, свидетельствует о разной степени глубины распремечивания действительности обычными людьми и специалистами той / иной отрасли знания (в этом случае психологами, психоаналитиками).

Изучение коммуникативного поведения номинантов эмоций в научном дискурсе, таким образом, позволяет заключить, что ЭК, понимаемые как многомерные, сложные мыслительные конструкты, содержательно включающие в себя понятия, образы и оценки, имеют

специфические особенности функционирования в научном дискурсе. В отличие от своего функционирования в наивном дискурсе (прежде всего художественная и разговорная речь), научные ЭК лишены такого признака, как образность. Понятийный же признак у научных концептов оказывается более «проработанным» теоретическим сознанием человека (учеными), о чем свидетельствуют их психологические дефиниции (в особенности, немецкоязычные) и речевые употребления в специальных (психологических и психоаналитических) текстах. Третий компонент концептов – ценностный – наличествует также и в научных концептах, подтверждением чего служат, в первую очередь, психологические дефиниции, в которых либо эксплицитно (*unangenehmer emotionaler Zustand, schmerzhaft, schmerzvoll*, приподнятость и др.), либо имплицитно (*schwitzen, zittern, Herzklopfen*, успех и др.) высказывается оценочное суждение относительно того / иного эмоционального переживания (главным образом семы «знаковость эмоции», «соматическое проявление эмоции», «последствия переживания эмоции»).

В отличие от обиходного терминологического употребление прямых номинаций эмоций не обнаруживает этнокультурной зависимости элитарной языковой личности, т.е. носителя теоретического сознания, в понимании исследуемого феномена. В данном случае, по нашему мнению, мы имеем дело с процессом своеобразной «межкультурной интертекстуальности» общечеловеческого знания и соответственно сознания ученых, профессионально занимающихся изучением психических переживаний. Пользуясь метафорой, можно сказать, что «дом бытия» ученого как одного из видов элитарной языковой личности лишен этнокультурной специфики, что детерминруется особенностями научного дискурса.

Выводы

Проведение лингвокультурологического анализа слов, обозначающих концепты эмоций, предполагает обращение их исследователя к общекультурному и собственно языковедческому материалу. Использование комплексных исследовательских методик позволяет сделать заключение, что ЭК, как и любые другие концепты, динамично развивающиеся мыслительные конструкты, функционирование которых детерминруется общекультурными (историческими, психоло-

гическими, социально-экономическими, семиотическими, в том числе и собственно языковыми) факторами.

ЭК – социальная, преимущественно существующая в вербальной форме ценностная система, становление которой имеет принципиально *исторический* характер. Ее становление – результат познавательной деятельности человека, следствие освоения им окружающего мира. Формированию ЭК как самостоятельной концептосферы предшествуют первичные эмоции-представления архаичного человека, строящиеся на архетипах (огонь, вода, земля, воздух и др.). Сакрализация данных первоэлементов мира и их «производных» (фетишизм и анимизм) объясняется попытками древнего человека психологически защитить себя.

Архетипы как социально-исторический феномен универсальны, что подтверждается как данными мифологии, так и сохранившимися лингвистическими (этимологическими) фактами. Архетипы вкупе с постоянно развивающимся языком и другими примитивными семиотиками представляют собой материальный способ распрямления действительности. Ее понимание изначально мифологично.

Миф является особым, первичным типом человеческого мышления. Мифолого-магическое сознание древнего человека синкретично по своей сути; оно не различало причинно-следственных отношений в мире, в том числе и в его эмоциональном фрагменте. На своей эмбриональной стадии сознание архаичного человека не дифференцировало действительность реальную, тактильно, зрительно, аудиально воспринимаемую и действительность субъективную, живущую изначально в нем в форме неких диффузных, нечетко оформленных, неосознаваемых (эмоциональных) образов; внешнее и внутреннее им не различалось.

В основе познавательной деятельности архаичного человека лежали переживания первичных элементарных инстинктивных эмоций (страх, опасность), генетически запрограммированные в приматы, в наиболее высокоразвитые живые существа. Поскольку первичные реакции древнего человека, оформляющие его отношения с внешним миром, эмоциональны, постольку и хронологически вторичные его ощущения, смутные, размытые представления о предметах окружающей действительности также эмоционально окрашены. Здесь, таким образом, имеются в виду *инстинктивные представления-эмоции* – своеобразная реакция архаичного человека с его неразвитой психикой на объекты мира, т.е. внешние стимулы.

О синкретизме сознания древнего человека свидетельствуют языковые факты, многочисленные диффузные номинации объектов *раз-*

ных форм действительности – физической, физиологической, психологической. Феномен синкретизма есть дефицит человеческих знаний, ограниченность его эвристических возможностей на определенном этапе развития цивилизации и культуры.

Синкретизм человеческого сознания, по мнению ряда ученых (Гуревич 1989; Касавин 1999), сохраняется и в средние века. Прежняя диффузность значений слов (*Angst, страх, ужас* и т.п.) иллюстрирует следы мифолого-магического сознания человека. Мифолого-религиозное сознание как наиболее актуальный тип сознания Средневековья путается в различении причин возникновения того / иного феномена и его последствий. Во многом, как и ранее, актуальными остаются многочисленные языковые номинации диффузного свойства. Одним и тем же языковым знаком (одно и то же ли это в действительности слово?) обозначаются фрагменты разных форм существования мира (см. например, *Grimm, Wehmut, omпада* и др.).

Средневековые характеризуются сменой мифолого-магического сознания религиозным, точнее – мифолого-религиозным типом. На мифах строилось дорелигиозное знание и само сознание человека. Впоследствии религия систематизировала, упорядочила мифологию – действительно интеллектуальное завоевание язычников. Церковь как активно действующий социальный институт эпохи Средневековья начинает все в более жесткой форме выполнять регулятивную функцию. Благодаря ее деятельности появляется важный комплексный (триадный) культурный концепт как атрибут того времени – «страх – грех – вина». Этот концепт активно культивируется церковью, в результате чего появляются активно живущие в сердцах средневековых людей разнообразные фобionaстроения (см. например, Dinzelsbacher 1993a, S. 285–286), во многом определяющие менталитет, дух и психологию тех времен. Данный исторический отрезок времени характеризуется религиозной оценкой любых фактов человеческой жизни. В средние века, как утверждают ученые, «нет *этически нейтральных* сил и вещей» (Гуревич 1972, с. 262, курсив мой. – Н.К.).

Все возрастающая общественная деятельность церкви объективно приводит к христианизации языка, в особенности его семантики как наиболее восприимчивой, лабильной компоненты «дома бытия» человека. В содержании средневекового слова присутствует идеологическая компонента. Целый ряд *современных* номинаций эмоций, как показывает этимологический и синтагматический анализ немецкого и русского языков, использовался в эпоху Средневековья в мистикорелигиозном значении (*Entsetzen, Seligkeit, Glueckseligkeit, Entzuecken,*

отрада и др.). В это время, особенно в позднее Средневековье, судя по этнографическим, историческим и лингвистическим данным, все более отчетливо оформляется оценочное отношение человека к разным ЭК – радости и печали, страху и гневу. Священнослужителями небезуспешно культивируется порицание стремления к переживанию такой позитивной эмоции, как радость. Ее выражение, равно как и публичная экспликация печали, нарушает, согласно представлениям священнослужителей, заветы Всевышнего. Бурно радоваться, быть опечаленным – значит вызывать недовольство Бога. Радость и печаль как ЭК включают в свою структуру ярко выраженную оценочную характеристику. Концепт же страха оценивается церковью положительно, поскольку он коррелирует с чувством вины и греха.

Самая жесткая политика санкций данного социального института (вспомним времена инквизиции, борьбы с еретиками, колдунами и ведьмами), разумеется, еще не говорит о «культурной смерти» базисных позитивных эмоций, переживание которых человеку психологически необходимо. Скорее всего, здесь речь может идти о стремлении церкви предложить средневековому человеку редуцированную модель ощущений таких эмоций, как радость, удовольствие и т.п. Безусловно, культивирование концептов страха, вины и греха в значительной мере определяет сам вектор направления развития формирующейся эмоциоконцептосферы. Этот культурный процесс приводит к таким социальным типам человеческого поведения, как аскетизм, затворничество, антигедонизм. Данные культурные паттерны, как хорошо известно, зачастую находят свое место и в современном мире. Они – надкультурны, хотя, как думается, и могут иметь в разных сообществах как этноспецифические особенности, так и различную степень распространенности. Весь вопрос заключается в мере психологической предрасположенности к их переживанию тем / иным этносом, носителями его той / иной субкультуры, располагающей своей системой ценностей. Здесь, как нам кажется, могут быть уместны данные экспериментальной психологии, установившей, к примеру, что современные ирландцы по сравнению с англичанами более склонны к переживанию депрессии и в действительности часто ей подвержены (см. Изард 1999, с. 224).

Позднее Средневековье – эпоха теоцентрической модели мира, хронологически граничащая с Новым временем, характеризуется определенными, пусть всего лишь едва пульсирующими культурными

трансформациями антропоцентрического свойства. Между средневековым человеком и Богом устанавливается некая личная связь; идет интенсивное личностное общение прихожан со Всевышним в отличие от раннего Средневековья. Человек теперь не только созерцатель церковного ритуала, но и все более активный его участник (см.: Гуревич 1989, с. 58–59).

Одной из причин происходящих культурных изменений в позднее Средневековье считаются экономические преобразования, характерные, в частности, для Европы. Авторитетный ученый М. Вебер отмечает, что, начиная примерно с XVI в., значительно меняются настроения людей. Сама протестантская религия (в отличие от католицизма и, как мы понимаем, православия) деактуализирует некоторые мешавшие экономическому развитию церковные нормы. Теперь добродетелями признаются и ценности *утилитарного* свойства. Согласно протестантским моральным нормам, следовало быть честным человеком, потому что эта черта характера полезна, ведь она «принесит кредит; так же обстоит дело с пунктуальностью, прилежанием...» (Вебер 1990, с. 74).

Известно, что всякие экономические, общественно-политические и в целом общекультурные трансформации, происходящие в человеческом сообществе, всегда находят свое отражение в языке, главным образом в его лексико-семантической системе. Раннее Средневековье характеризуется невысокой номинационной плотностью мира эмоций, о чем говорят данные этимологии немецкого и русского языков. В позднее же Средневековье в языках развиваются эмоциональные значения слов, отнесенных нами в класс вторичных, производных концептов. Обычно эти слова уточняют семантику уже существующих обозначений эмоций. Как правило, в их содержательной структуре есть признак интенсивности (ср. приведенные выше номинации *Trauer* – печаль и *Wehmut* – глубокая печаль или *Schrecken, Schreck*). Значения так называемых базисных номинантов эмоций на рубеже позднего Средневековья и Нового времени (в особенности – в Новое время) «уточняются» либо их прямыми дериватами (*Hochgenuss*), либо лексическими заимствованиями (например, из французского языка *Panik, паника*), иногда выступающими при этом как синонимы к уже существующим номинациям, служащими удобным лингвистическим средством конкретизации родственных эмоций, либо специализацией значений слов конкретного языка (*Beklemmung, Grauen, боязнь, ярость*), либо же появлением новых слов (*Schwermut*). Данные семан-

тические процессы фиксируют результаты освоения человеком психического мира. Они становятся необходимыми для вербализации культурно-значимых смыслов, обнаруживаемых человеческим сообществом в ходе распремечивания действительности.

Заметим, что помимо сужения, специализации значений слов, коррелирующих с эмоциональным фрагментом действительности, имеют место и противоположные (правда, значительно реже) семантические процессы – значения слов могут иногда расширяться. Например, слово *Grimm* в нововерхненемецком языке употребляется и в эмоциональном значении, и в значении «наименование черты характера человека». Культурологически более интересное слово *Lust*, в древневерхненемецком языке обозначавшее исключительно конкретный тип поведения человека, главным образом женщины – «распутство», в Новое время, сохранив это значение, приобрело еще и другой смысл – обозначение всякого желания, не обязательно сексуального. В целом же для рассматриваемого исторического отрезка времени (в частности, в позднее Средневековье и в начале Нового времени) все более характерной оказывается моносемия языка субстантивно оформленных эмоций, что обусловлено прежде всего общекультурным процессом десинкретизма.

Указанную семантическую трансформацию мы понимаем как следствие повышения эвристических возможностей человека образца *позднего* Средневековья и *раннего* Нового времени. Человеческое языковое сознание теперь в состоянии увидеть границы, разделяющие «территории» многочисленных эмоциональных представлений и понятий. Языковые единицы, обозначавшие ранее диффузные понятия, в действительности относящиеся к разным фрагментам мира, сужают свои значения за счет конкретизации.

Наши наблюдения над речевыми употреблениями номинантов эмоций в обсуждаемый исторический период развития общества со всей очевидностью показывают (см. например, лингвистические факты в словаре И.И. Срезневского) психолого-культурную актуальность архетипов, служащих основой ассоциативно-образной концептуализации эмоционального мира. При этом, как мы уже ранее отмечали, следует иметь в виду то обстоятельство, что, по всей видимости, для архаичного и средневекового человека сами эмоции мыслились как некие реально действующие субстанции (ср.: «Боязь и трепетъ приде» (Срезневский 1989, т. 1, ч. 1, с. 159). Вероятно, в данном случае речь идет о прямом, буквальном понимании нашими далекими

предками реальных действий эмоций, сохранившихся и по сей день в современных языках, но уже интерпретируемых их носителями, пользователями как *метафоры*.

Новое время, хронологически охватывающее условно конец XVII в. и последующие века (Гуревич 1972, 1989; Beutin 1993, S. 137–153; Lundt 1993, S. 317–325; Vocelka 1993, S. 295–301 и др.), характеризуется, как известно, интенсивным развитием науки. Концептуализация эмоций в научной картине мира в отличие от их наивного народного осмысления не обладает ярко выраженной этноспецифичностью и представляет собой достаточно четко (насколько это возможно) дефинируемую понятийную систему, обслуживаемую специальным терминологическим языком. Необходимость строгого различения значений терминов, фундаментальные глубокие интерпретации социальных феноменов, стремление профессионалов к созданию единого универсального понятийно-терминологического аппарата приводят к формированию особого типа дискурса – научного.

Если наивная картина мира строится преимущественно на мифолого-мистико-архетипических представлениях человека об окружающей его действительности, на конкретном практическом знании мира, то фундаментом научной (хронологически вторичной) картины мира служит *эмпирико-теоретический* тип знания. Ее носители апеллируют к абстракциям, пользуются обобщенными, а не обязательно конкретными понятиями.

Вербализованные ЭК, которые мы рассматриваем как непременно *динамические* феномены, с социолингвистической (или функциональной) точки зрения могут классифицироваться по аналогии с понятиями на обиходные, художественные и научные. При этом их содержание видоизменяется в зависимости от среды лингвокультурного обитания (разговорный и художественный дискурс, с одной стороны, и научный – с другой).

Среда лингвокультурного обитания ЭК актуализирует определенные признаки его структуры. В научном дискурсе манифестируются *понятийный* и *ценностный* признаки ЭК. Образный признак, свойственный всякому художественному концепту, как показывает анализ соответствующих дефиниций и контекстов, не актуален для научного концепта. При этом максимально «проработанным» у него оказывается *понятийный* признак. Ценностный признак наличествует в структуре всех типов ЭК, о чем свидетельствуют, в первую оче-

редь, данные анализа их словарных определений и психологических дефиниций, в которых, как было установлено, в эксплицитной (например, *unangenehmer emotionaler Zustand, schmerzvoll*, приподнятость и др.) или же в имплицитной форме (*zittern, Herzklopfen*, успех и др.) фиксируется оценка (актуализация сем «знаковость», «соматическое проявление», «последствия переживания эмоции»).

В немецкоязычных психологических словарях, по сравнению с аналогичными русскоязычными справочниками, предлагается более квалифицированное описание когнитивных структур ЭК.

Контекстуальный анализ терминологических употреблений номинантов эмоций (преимущественно базисных) обнаруживает принципиальные сходства в понимании исследуемого явления немецкими и русскими элитарными личностями (психологами, психоаналитиками), что объясняется максимальной интегрированностью *современной* науки. В отличие от концептуализации эмоций в наивной картине мира в данном случае каких-либо этноспецифических свойств, приписываемых носителями разноразличного теоретического знания эмоциональному феномену, не обнаружено.

По сравнению с научными ЭК их обиходные и художественные аналоги обладают облигаторным свойством – признаком образности. Этот признак релевантен для когнитивной структуры обиходных и художественных концептов. Образы, приписываемые наивным сознанием разноразличным ЭК, как показывает соответствующий контекстуальный анализ, в сопоставляемых лингвокультурах часто совпадают. Этот факт мы объясняем прежде всего общностью немецкой и русской культур (европейский тип культуры), структурными сходствами самих языков, относящихся, как известно, к одной и той же семье.

Обнаруженное сходство метафоризации эмоций в данных лингвокультурах (ср. совпадающую типологию разноразличных метафор или конкретный факт «бесцветности» концепта *страха* в ассоциативном сознании немцев и русских, или употребление разноразличных номинаций как оксюморона, или обычно совпадающую оценку концептов в немецких и русских прецедентных текстах, например, в пословицах, поговорках и т.п.) наглядно иллюстрирует принципиальную общность способов вербального освоения мира разными этносами. Многочисленные и разнообразие метафорические описания эмоций, которые мыслятся *современным* наивным человеком как антропо- и натурморфные субстанции, судя по художественным контекстам, как

правило, активно себя проявляющие, в своей основе имеют архетипы (чаще всего «огонь» и «вода»).

Вместе с тем были выявлены и некоторые различия в оязыковлении эмоций немецким и русским лингвосообществами. Так, словарные определения номинаций ЭК в немецком языке, как правило, более энциклопедичны, чем в русском. Семный набор, служащий метаязыковым средством их описания, в русскоязычных определениях минимизирован. В немецком языке соответствующие определения более глубоко показывают содержание дефинируемых явлений. Здесь же следует указать на большее количество оценочных семантических признаков в структуре номинаций эмоций русского языка по сравнению с немецким, что, как мы думаем, может быть объяснено не столько лексикографическими просчетами составителей словарей, сколько следствием различий в менталитете этносов. Русское сознание, носителями которого являются и элитарные языковые личности (в данном случае авторы словарей), характеризуется относительно высокой степенью оценочной ориентации. Оно, если так можно выразиться, активно работает в жанре «моралите»: все и вся должно быть оценено (главным образом, эмоционально).

Кроме того, сопоставительный анализ прецедентных текстов, в особенности пословиц и поговорок, обнаруживает более высокую частотность употребления номинации печали в русском языке. Оценочные характеристики соответствующего оязыковленного концепта обнаруживаются и в ассоциативном словаре русского языка. Печаль по сравнению с другими концептами, например, с радостью, мыслится русскими как *динамичное* образование. Со словом *печаль* ассоциируется много глаголов, в семантику которых входят признаки *интенсивность* и *агрессивность*. Ассоциативные ряды этого слова в высшей степени образны и оценочны. Номинации группы эмоций печали, используемые в метафорических значениях, активны, зримы, более деятельностны, чем эквивалентные им обозначения в немецком языке (Trauer). Примечательно, что русским не ясны каузаторы эмоции печали. Русским сознанием печаль наделяется многочисленными антропо- и зооморфными признаками. Натурморфные признаки характерны и для русской печали, и для ее эквивалента в немецком языке. Считаем, что все отмеченные выше различия следует интерпретировать далеко не всегда совпадающей системой предпочтений, характерной для того / иного этноса.

Наблюдения над многочисленными употреблениями в художественном дискурсе номинаций эмоций приводят к мысли о четко оформленном знаково-оценочном отношении как русских, так и немцев к эмоциям: радость в их представлении есть положительная эмоция, печаль и страх – отрицательные. Гнев, как правило, оценивается отрицательно, в особенности в пословично-поговорочном фонде обоих языков. Художественные же употребления номинанта *Zorn* – гнев иллюстрируют нередко амбивалентную оценку.

Оценка ЭК, вербализованных в паремиях немецкого и русского языков, равно как и в художественных произведениях XVIII–XX вв., носит обычно сенсорный или утилитарный характер. Причем утилитарная оценка свойственна преимущественно немецким ЭК. Для их русских эквивалентов характерен главным образом сенсорный тип оценки. Вероятно, как никакие другие явления культуры, ЭК максимально расположены к самому центру поля оценочных координат.

Культура как социальный феномен по своему характеру исторична; ее развитие эволюционно. Этим фактором объясняется преемственность ее важнейшей компоненты – языка, его состояний на разных этапах развития человеческой цивилизации. Анализ этимологических данных, употребления номинаций эмоций в современном языке, факты ассоциативного словаря позволяют отметить схожесть представлений об эмоциях архаичного, средневекового и современного человека. Эти по своей сути ассоциативные представления сохраняются в знаковой (преимущественно метафорической) форме и по сей день; они сопровождают человека, психологически «держат» его на протяжении столетий.

Вместе с тем обнаруживаются и некоторые отличительные черты в структуре ЭК, фиксируемые посредством анализа вербализующих их форм в диахронии культуры. Антропоцентрическая тенденция в развитии мысли новой эпохи, социализация человека в Новое время в целом приводят к «размыванию» теоцентризма как основной модели толкования мира. Антропоцентризм на уровне языка продуктивно и активно эксплицируется, в частности, антропоморфными метафорическими средствами человеческой речи. При этом теоцентрическое отношение человека к миру во многом сохраняется, что подтверждают многие номинации (*Gotteszorn*, *Божий гнев*, *страх Господний* и т.п.). В подобного рода реликтовых обозначениях есть образные и ценностные признаки, психологически в целом культурно необходимые и современному человеку.

Лингвокультурологический синхронно-диахронический анализ немецко- и русскоязычных ЭК позволил определить их сущностные характеристики, составить их дискурсную типологию и лингвистические классификации, выявить феноменологические сходства и некоторые различия в лингвистической объективации данных феноменов в динамической плоскости, увидеть в целом общие и специфические черты формирования и функционирования ЭК в сопоставляемых лингвокультурах.

Эмоции, как любой другой культурный феномен, символизируются либо вербально, либо невербально. В действительности вербальные и невербальные средства общения людей выступают как интегрированные коммуникативные единицы, что обусловлено их объективными ограничениями в плане выражения мыслей, интенций *Homo loquens*. Невербальное знаковое оформление эмоций в немецком и русском языках преимущественно акционально. Предметная же символизация эмоций не продуктивна в обеих лингвокультурах в отличие от их акционального оформления (символы действий). Абстрактный и диффузный характер эмоций затрудняет их предметную символизацию. Высокая продуктивность акциональной символизации эмоций (мимика, многочисленные жесты, иллюстрирующие переживаемые / имитируемые эмоциональные состояния, аффекты человека и т.п.) обусловлена главным образом их физиогномическим происхождением. Акциональная символизация эмоций, подобно вербальным знакам, часто полисемична. Ее многозначность снимается, как и в случае с вербальным типом коммуникации, – контекстом.

Вербальные символы, в том числе и символы эмоций, могут классифицироваться на аффективные и эпистемологические. Первые объективированы эмоциональными (эмотивными), а вторые – рациональными языковыми средствами. Концептуализация эмоций осуществляется разноуровневыми средствами языка. При лингвокогнитив-

ном и лингвокультурологическом анализе концептосферы языка словная (лексемная) и сверхсловная (словосочетания, устойчивые словесные комплексы) номинации наиболее информативны, поскольку служат способом порождения, развития, рецепции и хранения смыслов. В данных видах номинации фиксируются многочисленные смысловые трансформации, происходящие в языке и в культуре в целом. Этим обстоятельством, на наш взгляд, объясняется предпочтительность выбора учеными для когнитивного и особенно комплексного лингвокультурологического анализа лексически и фразеологически оформленных концептов, в которых объективирован внешний и внутренний мир человека.

Всякая концептосфера лингвистически объективирована различными языковыми техниками – прямым, вторичным и косвенным типами номинаций. Эмоциональная концептосфера знаково оформлена преимущественно вторичной и косвенной номинациями (метафора, метонимия, функциональные переносы). Этот лингвистический факт мы объясняем известной распространенностью и продуктивностью указанных типов номинации в языках на их современном этапе развития (безграничность мира и смыслов и ограниченность прямых номинативных техник). Кроме того, следует помнить, что вторичные и косвенные номинации есть процесс и результат *оценочного переосмысления* языковых сущностей.

Вербальные символы, оформляющие эмоциональные лексические концепты, с прагматико-семасиологической позиции классифицируются на три класса – обозначения, дескрипторы и экспликанты. Последний класс вербальных знаков принято называть эмотивами (Шаховский 1988, с. 32–33). В их семантической структуре логический компонент максимально редуцирован, а оценочно-образный – максимально развернут, манифестирован. Следуя правилу аналогии, мы можем фразеологические концепты (концепты, выраженные сверхсловно) классифицировать на фразеологизмы-номинанты, фразеологизмы-дескрипторы и фразеологизмы-экспликанты.

Эмоциональный концепт (художественный и обиходный) – это этнически, культурно обусловленное, сложное структурно-смысловое, интегративное, обычно вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе, включающее в свою архитеконику, помимо понятия, образ и / или оценку и функционально замещающее в процессе рефлексии и коммуникации множество однопорядковых предметов (в широком смысле слова), вызывающих пристрастное отношение к ним человека.

Концепт есть облигаторно когнитивная структура, т.е. понятие; но в отличие от последнего он обязательно погружен в конкретный лингвокультурный контекст, в конкретную сферу употребления в пространстве и времени. Концепт размещен в определенной системе *идеологии* (в широком смысле слова). Он всегда «привязан» к дискурсу.

ЭК, таким образом, отличается от эмоционального понятия более сложной архитектурой. ЭК – это *не только понятие*, не только набор определенных ментальных, когнитивных элементов, но и *оценочные* представления человека о самом понятии, определенные, ассоциируемые с ним в сознании человека образы.

Основу *эмоционального* концепта составляет непосредственно сама эмоция. Ее наименование есть номинация и самого ЭК.

Психологическая классификация эмоций на базисные и периферийные (Изард 1980; Витт 1983, 1984 и др.) имеет положительную лингвистическую верификацию. Базисными в психологии и психоанализе принято считать первичные (несоциализированные!) эмоции (Нойманн 1998; Риман 1998 и др.). Нами установлено, что обозначения базисных эмоций (страх, радость, гнев, печаль) с точки зрения их генезиса первичны. К числу базисных психологи относят эмоции, обозначенные словами, имеющими статус *доминанты* в соответствующих языковых микропарадигмах.

На наш взгляд, базисными могут быть как обозначения эмоций, так и – шире – их концепты (вербальные). Критериями базисности ЭК могут быть: 1) словарный статус доминанты соответствующей лексики, оязыковляющей тот / иной концепт (данные синонимических словарей); 2) время появления и употребления соответствующего слова в качестве *номинации психического переживания* (этимологические данные); 3) функционирование конкретного номинанта эмоции в качестве метаязыкового средства определения значения номинаций эмоций (лексикографические данные); 4) семасиологический статус номинанта эмоции (гипероним); 5) индекс ассоциаций и словоупотреблений номинантов эмоций в языке (данные ассоциативных словарей и словарей частотностей). Таким образом, одной из классификаций ЭК можно признать генетико-семасиологическую. Использование вышеназванных лингвистических критериев для определения статуса ЭК (его базисности или небазисности) позволяет в принципе отнести к классу базисных Angst, страх, Freude, радость, Trauer, печаль, Zorn, гнев.

В зависимости от сферы применения (быт, художественное творчество, наука) оязыковленные ЭК могут быть типологизированы на

обиходные, художественные и научные. Данную типологию мы называем дискурсной.

Дискурс, понимаемый как текст в реальной коммуникации (с ее задачами, участниками, средой и т.п.), детерминирует саму архитектуру ЭК. Актуализация компонентов триадной структуры ЭК (понятие, образ, оценка) детерминирована самим дискурсом.

В научном дискурсе *всегда* актуализируется *понятийный компонент* (он главный) ЭК, что обусловлено самими целями данного типа институционального общения. При этом, как показал исследованный материал (употребления слов, обозначающих концепты, в научных статьях, монографиях и т.п., а также психологические дефиниции ЭК), актуальным является помимо понятийного (доминантного) и ценностный компонент. Феномены эмоций, рассматриваемые учеными в отмеченном типе дискурса, квалифицируются на уровне *рациональной* оценки (концепты квалифицируются такими метаязыковыми характеристиками, как «положительный», «отрицательный», «опасно», *positiv, negativ, gefaehrlich* и т.п.).

Научные концепты в данном дискурсе используются как терминологические языковые единицы. Их содержание, объем максимально дефинированы, насколько позволяют знания ученых на конкретном этапе развития психологической науки. Рационально оценочные характеристики терминов, обозначающих научные концепты, вторичны; безусловно первична их понятийная основа.

Понятия, лежащие в основе концептов, в принципе изменчивы, что объясняется рефлексивной деятельностью человека, расширением и углублением знания им соответствующих референтных областей мира. Об этом свидетельствуют, в частности, изданные в *разное* время психологические словари, фиксирующие дефиниции терминов, номинирующих психические переживания человека.

Оязыковленным в *разных культурах* (немецкой и русской) научным концептам, в отличие от обиходных и художественных, не свойственна этноспецифика. Различия в понимании, толковании ЭК обнаруживают себя в разных научных школах (теория дискретных эмоций К. Изарда, когнитивная теория Б. Спинозы, теория социального конструктивизма, теория экзистенциализма и многие другие), которые, строго говоря, не имеют национального происхождения. Установленный факт, по всей видимости, объясняется надэтническим, надкультурным характером современного научного дискурса, известной общностью лингвокультурного пространства *современных ученых*.

Контекстуальный анализ терминологических употреблений номинантов эмоций обнаруживает принципиальные сходства в понимании

исследуемого феномена немецкими и русскими элитарными личностями (психологами, психоаналитиками), что, по нашему мнению, следует объяснить максимальной интегрированностью *современной* науки.

Научный эмоциональный концепт – это надкультурное, надэтническое сложное структурно-смысловое вербализованное абстрактное образование, базирующееся на понятии и включающее помимо него в свою архитектонику рациональную (неэмоциональную) оценку; научный эмоциональный концепт функционально замещает человеку (преимущественно ученому) в процессе рефлексии и специального типа коммуникации множество однопорядковых предметов (в широком смысле слова).

Формированию научного знания, научной картины мира хронологически предшествуют наивное знание, наивная языковая картина мира, т.е. нестрого научные, филогенетически первичные человеческие представления и понятия о действительности. Наивная языковая картина мира, в отличие от научной, обладает многочисленными этноспецифическими особенностями, что обусловлено самыми разнообразными факторами – историческими, социально-экономическими, географическими, психологическими, собственно лингвистическими и т.п. (вспомним, например, теории географического детерминизма, экономического детерминизма, гипотезу лингвистической относительности).

Лингвистическое (этимологический анализ, парадигматический и синтагматический, т.е. текстовой, анализ коммуникативного поведения номинаций эмоций, их ассоциативные характеристики и т.п.) и культурологическое (исторические, этнографические, психологические факты) изучение ЭК было направлено на установление закономерностей лингвокогнитивного формирования эмоциоконцептосферы в диахронии немецкой и русской культур. Эмпирической базой реализации этой комплексной задачи являются обиходные и художественные ЭК, оязыковленные в соответствующих типах дискурса.

Среда лингвокультурного обитания данных типов концептов – обиходный и художественный дискурсы – определяет специфику актуализации компонентов их архитектуры. Релевантными являются оценочный и образный признаки художественного и обиходного концептов. Перераспределение компонентов триадной структуры ЭК, выражающееся в актуализации оценочного и образного признаков, обусловлено коммуникативно-прагматическими задачами соответствующих дискурсов.

Контекстуальный анализ слов, обозначающих ЭК в художественном и обиходном дискурсах, обнаруживает образность и оценочность представлений наивных носителей языка об эмоциях (ср.: их высокочастотные, продуктивные метафорические описания). Сопоставительное наблюдение коммуникативного поведения терминологических и нетерминологических наименований эмоций в разных типах дискурса позволяет заметить большую абстрактность научных концептов по сравнению с ненаучными. Здесь имеются в виду как художественные и научные тексты, так и филологические определения, и психологические дефиниции, иллюстрирующие сущность исследуемых концептов.

Филологические определения, предлагаемые «наивными» составителями лексикографических источников, по сравнению с научными (психологическими) дефинициями репрезентируют необходимый и, как оказывается, далеко не достаточный набор семантических признаков, формирующих содержательную структуру ЭК. Метаязык, с помощью которого даются определения обиходным и художественным концептам, не позволяет дифференцировать последние. Данное замечание в особенности относится к лексикографированию так называемых вторичных ЭК (*Schrecken*, *Vergnuegen*, *ужас*, *боязнь* и т.п.).

Филологами предлагаются родовидовой, релятивный и отсылочный способы толкования номинаций эмоций как в русском, так и в немецком языках. Следует указать при этом на недостаточно активное использование комбинированного способа определения соответствующих эмоциональных феноменов. Мы считаем лексикографически целесообразным при определении значения номинантов эмоций применение *комбинированного* способа. Принципиально возможным при этом является фрагментарное использование семантических параметров, актуальных для психологических дефиниций эмоций человека. Понимая специфику адресата *филологического* словаря, мы вместе с тем полагаем возможным экстраполиацию ряда важнейших содержательных признаков, фиксируемых в психологических дефинициях, в структуру филологических определений. К числу таких признаков (параметров) можно отнести «род», «видовые характеристики» («интенсивность, причина, последствия, условия появления эмоции», «объект эмоции», «длительность, осознанность, контролируемость или неконтролируемость, положительная / отрицательная знаковая направленность эмоций»).

Выбор же самих семантических признаков (метаязык) для лексикографического описания ЭК в филологическом словаре определя-

ется их онтологической направленностью, отнесенностью психологами к той / иной «зонной группе» (термин Н.В. Витт) – к страху, радости, гневу или печали. Примечательно, что максимально распределенными в филологических определениях являются базисные ЭК *Angst* – *страх*. Менее полны знания «наивным» человеком природы таких концептов, как *Zorn*, гнев, *Trauer*, печаль. Их когнитивные структуры представлены более усеченным набором семантических признаков. Более детальное лексикографическое описание концептов *Angst*, *страх* мы объясняем их глубокой рефлексией языковым сознанием. Уместно вспомнить мнение ряда психологов о признании статуса первичности происхождения именно указанных концептов, обладающих вневременной и внекультурной психологической актуальностью для человека (см. например: Нойманн 1998; Римап 1998).

Изучение филологических определений ЭК в *немецком и русском языках* выявило в их структуре некоторые отличия. В немецкоязычных словарных определениях чаще актуализируются семы причины и следствия, в то время как в русскоязычных определениях активно используются в качестве метаязыка квалификативные семы («счастливый», «радостный», «скорбный», «тоскливый» и т.п.). Можно предположить, что для составителей русскоязычных «наивных» словарей не столь важны сами по себе события, вызвавшие переживание той / иной эмоции, но психологически, культурно более релевантно *само переживание*, форма, характер его протекания с позиции эмоциональной оценки.

Вероятно, более ценными в лингвокультурологическом отношении являются метафорические использования слов, обозначающих эмоции в немецком и русском языках, в художественном дискурсе. Интерпретация продуктивных метафорических употреблений номинантов эмоций обнажает лингвокогнитивный механизм деятельности человеческого разноязычного сознания. Анализ метафорических дескрипций эмоций обнаруживает скрытые связи между различными феноменами мира, открывает для исследователя новые знания об окружающей его действительности, его внутреннем мире. Ассоциативный характер языкомышления своим результатом имеет вербальное установление формальных и функциональных сходств, ментально связывающих предметы мира. Обнаружение ассоциативных отношений всегда культурно обусловлено: в этносе в разное время его существования вербально эксплицирована система ценностных предпочтений в выборе «участников» метафоры.

Обычно номинанты эмоций в художественном дискурсе выступают как субъекты действия. Наиболее продуктивным, согласно нашим

наблюдениям, является глагольный тип *антропоцентрической* (или антропоморфной) метафоры в обоих языках (*fassen, ergreifen, охватить* и т.п.). Установленный факт объясняется активностью, динамизмом глагола как класса слов и, что, вероятно, более важно, психологической предрасположенностью Homo loquens сопоставлять действия эмоций с человеческими поступками («плотные» семантические группы *motusverbum, emotioverbum, dicendiverbum*).

Помимо антропоцентрического типа метафоры как в немецком, так и в русском языках распространена также *натурморфная* метафора (опять же преимущественно глагольная) – *aquaverbum, ругоverbum, ругоaquaverbum, аероverbum*. В ее основе лежит сравнение эмоций с культурно-релевантными понятиями (первозлементами) – «вода», «огонь», «воздух» (архетипы). Психические переживания нашим сознанием уподобляются физическим свойствам определенных, витально необходимых для жизни человека объектов реального мира. Последние в силу своей биологической значимости мифологическим, а впоследствии и религиозным сознанием трансформируются в *культурную* релевантность (огонь – символ очищения, вода – символ рождения, жизни и т.п.), чем, вероятно, следует объяснить внетемпоральную, внеэтническую жизнь натурморфной метафоры.

Принципиальное сходство в способах объективации эмоций (т.е. их метафоризации) в данных лингвокультурах (совпадающая типология разноязычных метафор, конкретные факты цветовой «окрашенности» того / иного концепта в ассоциативном мышлении немцев и русских и т.п.) мы расцениваем как иллюстрацию общности путей и форм вербального освоения мира разными этносами. Разнообразные, активно используемые метафорические описания эмоций, которые мыслятся *современным* наивным человеком как антропо- и натурморфные субстанции, судя по художественным контекстам, в своей основе имеют архетипы (чаще всего «огонь» и «вода»).

Заслуживающим внимания мы считаем культурологический факт преобладания в немецких метафорических описаниях эмоций *утилитарного* и *сенсорного* типов оценки. Для русскоязычных метафорических дескрипций эмоций свойствен преимущественно *сенсорный* тип оценки. Данный лингвистический факт следует квалифицировать как результат существующих различий в системе культурных предпочтений разноязычных этносов: выбор способа освоения эмоционального мира этноспецифичен.

Важными для выявления этнокультурной специфики исследуемых концептов в настоящей работе мы считаем результаты интерпрета-

тивного сопоставительного анализа такого вида прецедентных текстов, как немецкие и русские пословицы и поговорки. Наблюдения над употреблением номинаций эмоций в пословично-поговорочном фонде позволяют сделать вывод о достаточно четко оформленном *оценочном* отношении русских и немцев к базисным эмоциям: радость, судя по нашему материалу, есть положительная эмоция, печаль и страх — отрицательные. Гнев обычно оценивается также отрицательно.

По нашему мнению, следует указать на специфические свойства концепта печали в русском языке сравнительно с его эквивалентом в немецком. Русская печаль и ее концептуальные «дериваты» (*тоска*, *грусть* и др.) имеют не только несколько более высокую частотность употребления в художественном дискурсе по сравнению с составляющими микропарадигмы Trauer, но и обладают более богатыми ассоциациями, отличающимися образностью и ярко выраженной оценочностью. Используемые в своих метафорических значениях элементы микропарадигмы «печаль» активны, зримы, более деятельностны, чем соответствующие элементы немецкой парадигмы Trauer. Примечательно, что носителям русского языка и русской культуры часто не ясны каузаторы печали. Русское языковое сознание мыслит этот концепт преимущественно антропоморфно, антропоцентрично. Русские концепты группы печали (*грусть*, *тоска*) по сравнению с их немецкими эквивалентами мыслятся русским языковым сознанием многочисленными образами; они располагают в нем значительно более широкой ассоциативной направленностью. Концепт русской печали обладает ярко выраженной этноспецификой. Он квалифицируется как национально-маркированный, о чем свидетельствуют номинанты-дубликаты эмоций (*грусть-тоска*, *тоска-печаль*, *тоска-кручина*). Последние относятся к безэквивалентной лексике. Они могут быть транслируемы в другой язык, в другую культуру описательными средствами.

Многоаспектное описание эмоциоконцептосферы предполагает не только исследование мотивирующих образов языка, но и изучение этимологии слов, обозначающих указанный фрагмент мира. Происхождение слов, номинирующих эмоции на современном этапе развития немецкого и русского языков, подтверждает утверждение ученых, согласно которому наиболее древние слова изначально обозначали явления *внешнего*, *реально* существующего, т.е. тактильно, визуально, аудитивно и т.п. воспринимаемого мира, поскольку человеческое мышление в своем филогенезе исключительно предметно-конкретно. Этот вывод актуален, в особенности для ряда так называ-

емых вторичных номинаций эмоций. Слова, называющие многие эмоции в *современном* немецком и русском языках, первоначально обозначали главным образом фрагменты физической действительности (совершение человеком физических действий – *Beklemmung, Entsetzen, страх, ужас* и многие другие; физические свойства предметов (*Truebsal, гнев, ярость*) или же физиологические реакции на них человека (например, *Angst* – в значении «душить, сдавливать», *Ingrimm* – в значении «болезненное самочувствие», *Koller* – «боль в животе» и др.). Некоторые из исследуемых слов в далеком прошлом иногда также номинировали сами факты, события, вызывающие соответствующее психическое состояние (например, *Grausen* – «ужасное событие» и т.п.).

Несколько слов (*Freude, Seligkeit, Wehmut*), обозначающих эмоции в *современном* немецком языке, судя по данным этимологического анализа, изначально корреспондировали с обозначениями эмоционального мира. Примечательно, что иногда номинанты эмоций трансформировали свои значения, сохраняя при этом свою референтную отнесенность: так, *Wehmut* первоначально употребляется в значении «гнев», затем в значении «глубокая печаль», сейчас в значении «легкая печаль».

Напомним, что так называемые базисные номинации эмоций, как правило, предшествуют появлению вторичных (производных, периферийных) обозначений эмоций. Базисные номинанты эмоций (*Freude, Zorn, Trauer*) возникли в древневерхненемецком языке (VIII–IX вв.). Русскоязычные базисные номинации эмоций (*радость, гнев, страх*) также предшествуют появлению вторичных обозначений фрагментов эмоциональной картины мира (*отрада, боязнь, трепет* и т.п.).

Семантика лексических единиц, корреспондирующих сегодня с фрагментами эмоционального мира, несколько веков тому назад была в высшей степени диффузна по причине синкретизма (нерасчлененности) человеческого восприятия различных явлений действительности, недостаточно «проработанных» архаичным сознанием *Homo sapiens*.

Этимологический материал, таким образом, приводит к выводу о том, что на раннем этапе развития цивилизации вызывающие эмоциональные реакции у древнего человека реальные события, предметы лингвистически не дифференцировались. Сама эмоция и событие, ее спровоцировавшее (т.е. причина), часто именовались одним и тем же словом. Можно предположить, что архаичный человек относился к переживаемым эмоциональным реакциям, примитивным эмоциям как к *реальным объектам* мира. Эмоции, интерпретируемые цивилизованным человеком как определенные лингвокогнитивные абстракт-

ции, оторвавшиеся от действительности, представляющиеся нам как некие автономные, более того – самодовлеющие величины (об этом свидетельствуют многочисленные метафоры эмоций), отождествлялись в древности непосредственно с объектами предметного, «вещного» мира.

Хорошо известно, что семантика слова в диахронии языка под влиянием лингвистических и экстралингвистических факторов может сужаться или расширяться. Семантика большинства исследуемых в нашей работе слов сужается (*Beklemmung*, *Grauen*, *Scheu*, *Truebsal*, *Kummer*, *Wehmut*, *Grimm*, *Ingrimm*, *Zorn*, *боязнь*, *ярость* и т.п.). В результате этого семантического процесса их значения становятся более конкретными, менее расплывчатыми. Лишь в единичных случаях отмечено расширение значений, ведущее в некоторых случаях даже к полисемии. Подчеркнем еще раз: как правило, имеет место сужение семантики слов, корреспондирующих с объектами эмоционального мира, что мы определяем как следствие возрастающих эвристических возможностей человека. Его сознание устанавливает границы между эмоциональными и неэмоциональными представлениями, точнее понятиями.

Изучение архитектоники ЭК (их понятийного компонента) в диахронии немецкой и русской лингвокультур наряду с сужением, конкретизацией обнаруживает появление новых слов (нередко заимствований) в номинативной системе языка. Лингвокогнитивный процесс синонимизации языка, выражающийся во все возрастающем количестве слов, обозначающих родственные концепты, обусловлен необходимостью вербализации новых смыслов. Нами установлено, что особенно активно синонимизируются уже эксплицированные эмоциональные понятия в немецком и русском языках в так называемое Новое время (XVII–XVIII вв.). Рост (особенно в Новое время) синонимических рядов, обозначающих онтологически близкие понятия, свидетельствует о поиске «говорящим человеком» более адекватных (субстантивных) языковых средств для уточненной вербализации эмоциональных понятий, в целом – о социализации человека.

Лингвистический анализ семантики членов синонимических рядов показывает, что одним из важнейших смысловых признаков, их характеризующих, является градуальность языковенных понятий. Релевантен также социально-функциональный признак номинаций эмоций. Их употребление в Новое время регулируется сферой коммуникации. Расширение сфер коммуникации обусловлено все более усложняющимся характером человеческой жизнедеятельности.

Оформленные языком ЭК представляют собой лабильные и наблюдаемые (в силу их знаковости) социальные феномены. Высокая плотность и разнотипность вербализации рассматриваемого явления объясняются его психологической, в целом социокультурной релевантностью для человека. Изменение содержания ЭК детерминировано средой обитания – постоянно трансформируемым *культурным* и *временным* пространством.

Для того чтобы проследить эволюцию формирования немецкой и русской эмоциоконцептосфер, обязательно *лингвокультурологическое* изучение соответствующих номинативных систем сопоставляемых языков в *исторической* плоскости. В исследовательских целях мы по аналогии с исторической классификацией времени – древние века, Средневековье и Новое время – пользуемся соответствующими культурологическими терминами – архаическая (или мифологическая), средневековая или мифолого-религиозная и современная наивная картина мира.

Формированию ЭК как самостоятельной концептосферы предшествуют первичные эмоции-представления архаичного человека, строящиеся на архетипах (огонь, вода, земля, воздух и др.) и их «производных» (дым, река, дерево и т.п.). Сакрализация данных первоэлементов мира приводит к их фетишизации и анимизации. Данные феномены мы толкуем как попытки психологической защиты древнего человека от окружающего, непонятного ему мира. Наименования витально релевантных для мифолого-магического человека фрагментов физического и физиологического мира переносятся на его чувственную сферу. Архетипы как социально-исторический феномен универсальны, что подтверждается как данными мировых мифологий, в том числе германской и славянской, так и сохранившимися лингвистическими (этимологическими) фактами. Архетипы вкупе с постоянно развивающимся языком и другими примитивными семиотиками представляют собой материальный способ распремечивания действительности. Ее рефлексия изначально может быть только мифолого-магической.

В основе эвристической деятельности архаичного человека лежали переживания первичных элементарных инстинктивных эмоций (страх, опасность), генетически в него запрограммированные природой. Инстинктивные представления-эмоции есть естественная реакция древнего человека на объекты мира, т.е. внешние стимулы.

Отмеченный выше синкретизм мифолого-магического сознания как характерологическая черта древних времен в значительной степени сохраняет свою актуальность и в средние века. Прежняя размы-

тость понятийного компонента концептов (например, *Angst*, *страх*, *ужас* и т.п.) иллюстрирует следы мифолого-магического сознания человека. Религиозное сознание, концептуально опирающееся на языческие мифологические представления человека о действительности, по-прежнему недостаточно четко дифференцирует объекты разных миров – физического и психического (эмоционального). Диффузность понятийного компонента ЭК во многом сохраняется и в Средневековье: один и тот же языковой знак обозначает фрагменты разных форм бытия (например, *Grimm*, *Wehmut*, *отпада* и др.).

В эпоху раннего Средневековья, как свидетельствуют этимологические данные, в немецком и русском языках слова, первоначально номинировавшие исключительно мифические образы (*Wut* ← *Wotan*, *Furor(e)* и *фурор* ← *Фурия*, *Panik* и *паника* ← *Пан*, *радость* ← **arda*), употребляются уже в эмоциональном значении. Обозначения фрагментов культурно-значимой мифологической картины мира теперь используются и как наименования эмоций.

Время Средневековья и следующие за ним столетия в лице церкви значительно влияют на становление эмоциоконцептосферы. Помимо ярко выраженной оценочной компоненты в структуре оязыковленных к тому времени ЭК наблюдается пополнение новыми лексическими единицами рассматриваемой концептосферы. Такие, например, слова, как *Entzuecken*, *Entsetzen*, *Seligkeit*, *отпада*, используемые в современном языке как номинанты эмоций, имеют в действительности мистико-религиозное происхождение.

Регулятивная функция церкви как самого важного социального института Средневековья, инструмента влияния на поведение и мысли людей приводит к рождению четко оформленных комплексных ЭК, в частности триадному концепту «страх – грех – вина». Он успешно культивируется церковью, в результате чего становятся актуальными для средневековых людей разнообразные фобинастроения, во многом определяющие психологию, сам дух того времени.

Судя по этнографическим, историческим и лингвистическим данным, оценочная (идеологическая) компонента имеет статус доминанты в структуре ЭК, особенно в позднее Средневековье. Стремление человека к переживанию мирской радости, яркое выражение эмоции печали порицается церковью, в то время как постоянное ощущение страха священнослужителями поощряется, поскольку оно корреспондирует с чувством греха и вины человека перед Всевышним (следует указать на актуальность культурного концепта аскетизма).

Принципиально важно отметить, что характерная для Средневековья теоцентрическая модель мира постепенно сменяется антропо-

центрической моделью, свойственной для Нового времени. Антропоцентризм как мироощущение «нового» человека эксплицируется самим языком, обслуживающим культуру того времени и несущим соответственно в своей семантике его (времени) идеологию. Доказательством антропоцентрической тенденции в развитии мысли Нового времени служат, в частности, ярко выраженные многочисленные *антропоморфные* метафорические описания эмоций. Следует еще раз подчеркнуть, что «смещенный» теоцентризм в определенной степени сохраняется. Это подтверждается анализом номинаций эмоций (Gotteszorn и др.). В подобного рода реликтовых обозначениях есть образные и ценностные признаки, психологически и в целом культурно необходимые *современному* человеку.

Эмоциоконцептосфера – система динамично развивающихся мыслительных конструкторов, функционирование которых детерминруется самыми различными факторами – психологическими (З. Фрейд, К. Юнг, К. Хорни, Ф. Риман и др.), социально-экономическими (М. Вебер и др.), историческими (А.Я. Гуревич, P. Dinzelbacher, K. Vocelka и др.), семиотическими (Ю.М. Лотман и др.), в том числе (и в особенности) языковыми. В своей совокупности они образуют культурологический и лингвистический факторы.

Анализ культурологического материала позволяет заметить некоторые изменения в поведенческих нормах людей Нового времени. Так, в частности, развивающаяся в Германии протестантская религия деактуализирует некоторые ставшие тормозом экономическому развитию церковные предписания. Добродетелью начинают признаваться также и утилитарные ценности (богатство, деньги). Очевидные изменения в ценностной системе немецкого этноса приводят к соответствующим реакциям языка. Его номинативная система пополняется новыми утилитарно-ориентированными смыслами, о чем свидетельствует, в частности, анализ художественного дискурса, включающего в себя и пословично-поговорочный фонд языка. Прежняя, т.е. допротестантская, мораль «разбавляется» императивами экономического свойства.

В заключение заметим, что фундаментальное лингвокультурологическое описание немецкой и русской эмоциоконцептосфер предполагает расширение самой эмпирической базы исследования. На наш взгляд, в перспективе необходимо выявление удельного веса каждого из названных выше общекультурологических факторов (социально-экономического, психологического, семиотического) в системе становления и функционирования концептосферы эмоций немецкого и русского языков.

ПЕРЕЧЕНЬ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

1. Абаев 1965: *Абаев В.И.* Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке // *Вопр. языкознания*. 1965. № 3. С. 24–44.
2. Аверинцев 1987: *Аверинцев С.С.* Символизм // *Литературный энциклопедический словарь*. М.: Сов. энцикл., 1987. С. 378–379.
3. Алефиренко 1998: *Алефиренко Н.Ф.* Теория языка. Введение в общее языкознание. Волгоград: Перемена, 1998.
4. Антология 1996: *Антология* культурологической мысли. М.: Изд-во РОУ, 1996.
5. Апресян 1995: *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. 2-е изд., испр. и доп. Т. 1. М.: Шк. «Языки русской культуры», «Восточная литература» РАН, 1995.
6. Апресян 1995а: *Апресян Ю.Д.* Интегральное описание языка и системная лексикография. Т. 2. М.: Шк. «Языки русской культуры», 1995.
7. Арнольд 1976: *Арнольд И.В.* Эквивалентность как лингвистическое понятие // *Иностр. яз. в школе*. 1976. № 1. С. 12–20.
8. Арнольдов 1993: *Арнольдов А.И.* Введение в культурологию. М.: Наука, 1993.
9. Арнольдов 1987: *Арнольдов А.И.* Теория культуры: историзм и вопросы методологии // *Культура, человек и картина мира*. М.: Наука, 1987. С. 5–28.
10. Арутюнова 1976: *Арутюнова Н.Д.* Предложение и его смысл. М.: Наука, 1976.
11. Арутюнова 1990: *Арутюнова Н.Д.* Метонимия // *Лингвистический энциклопедический словарь*. М.: Сов. энцикл., 1990. С. 300–301.
12. Арутюнова 1990а: *Арутюнова Н.Д.* Метафора // *Лингвистический энциклопедический словарь*. М.: Сов. энцикл., 1990. С. 296–297.

13. Арутюнова 1990б: *Арутюнова Н.Д.* Метафора и дискурс // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 5–32.
14. Арутюнова 1991: *Арутюнова Н.Д.* Истина и этика // Логический анализ языка. Культурные концепты. М.: Наука, 1991. С. 7–23.
15. Арутюнова 1999: *Арутюнова Н.Д.* Язык и мир человека. 2-е изд., испр. М.: Шк. «Языки русской культуры», 1999.
16. Арутюнова 1999а: *Арутюнова Н.Д.* Оценка в механизмах жизни и языка // Там же. С. 130–274.
17. Арутюнова 1999б: *Арутюнова Н.Д.* Метафора в языке чувств // Там же. С. 385–398.
18. Аскольдов 1997: *Аскольдов С.А.* Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М.: Academia, 1997. С. 267–279.
19. Атеисты 1967: *Атеисты*, материалисты, диалектики древнего Китая. М.: Наука, 1967.
20. Бабаева 1997: *Бабаева Е. В.* Культурно-языковые характеристики отношения к собственности (на материале немецкого и русского языков): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 1997.
21. Бабенко 1989: *Бабенко Л.Г.* Лексические средства обозначения эмоций в русском языке. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989.
22. Бабенко 1990: *Бабенко Л.Г.* Русская эмотивная лексика как функциональная система: Дис. ... д-ра филол. наук. Свердловск, 1990.
23. Бабенко 1995: *Бабенко Л.Г.* Роль человеческого фактора в интерпретации эмоций: репрезентация эмотивных смыслов в словаре, предложении и тексте // Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвистики: Тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1995. С. 65–66.
24. Бабушкин 1996: *Бабушкин А.П.* Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1996.
25. Баженова 1993: *Баженова А.И.* Солнечные боги славян // Мифы древних славян. Саратов: Надежда, 1993. С. 3–16.
26. Баженова 1990: *Баженова И.С.* Способы обозначения эмоций и их роль в структуре художественного текста (на материале немецкоязычной художественной прозы): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1990.
27. Балли 1961: *Балли Ш.* Французская стилистика. М.: Иностр. лит., 1961.
28. Барт 1994: *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Изд. гр. «Прогресс»; «Универс», 1994.

29. Барт 1983: *Барт Р.* Нулевая степень письма // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 306–349.
30. Бархударов 1977: *Бархударов Л.С.* Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории переводов. М.: Междунар. отношения, 1977.
31. Батищев 1987: *Батищев Г.С.* Социальные связи человека в культуре // Культура, человек и картина мира. М.: Наука, 1987. С. 90–135.
32. Безруков 1969: *Безруков В.И.* Эмоционально-экспрессивный фактор и лексическое значение // Вопр. лексикологии. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1969. С. 30–35.
33. Белый 1994: *Белый А.* Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994.
34. Беляевская 2000: *Беляевская Е.Г.* О характере когнитивных оснований языковых категорий // Когнитивные аспекты языковой категоризации: Сб. науч. тр. Рязань: Изд-во РГПУ, 2000. С. 9–14.
35. Белякова 1995: *Белякова Г.С.* Славянская мифология. М.: Просвещение, 1995.
36. Бидни 1997: *Бидни Д.* Культурная динамика и поиски истоков // Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. Т. 1. СПб.: Университет. кн., 1997. С. 385–420.
37. Боас 1997: *Боас Ф.* Границы сравнительного метода в антропологии // Там же. С. 509–518.
38. Богозов 1965: *Богозов Н.З., Гозман И.Г.* и др. Психологический словарь. Магадан: Изд-во Магадан. пед. ин-та, 1965.
39. Богуславский 1994: *Богуславский В.М.* Человек в зеркале русской культуры, литературы и языка. М.: Космополис, 1994.
40. Болдырев 1999: *Болдырев Н.Н.* Концептуальные структуры и языковые значения // Филология и культура: Материалы Междунар. конф. Тамбов: Изд-во Тамбов. ун-та, 1999. С. 62–69.
41. Брагина 1972: *Брагина А.А.* «Цветовые» определения и формирование новых значений у слов и словосочетаний // Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1972. С. 83–85.
42. Брагина 1998: *Брагина Н.Г.* Устойчивые словосочетания: метафора и миф // *Anzeiger fuer slavische Philologie.* Graz, 1998. Bd. 25. S. 41–63.
43. Брайт 1999: *Брайт У.* Введение: параметры социолингвистики // Зарубежная лингвистика. I. М.: Изд. гр. «Прогресс», 1999. С. 107–114.
44. Брутян 1968: *Брутян Г.А.* Гипотеза Сепира-Уорфа. Ереван: Луйс, 1968.
45. Бубер 1995: *Бубер М.* Два образа веры. М.: Республика, 1995.

46. Буйленко 1993: *Буйленко И.В.* Внешняя валентность и синтаксическая сочетаемость глаголов движения в русском языке // Филологический поиск: Сб. науч. тр. Вып. 1. Волгоград: Перемена, 1993. С. 3–11.
47. Буряков 1979: *Буряков М.А.* К вопросу об эмоциях и средствах их языкового выражения // *Вопр. языкознания.* 1979. № 3. С. 47–59.
48. Бюлер 1993: *Бюлер К.* Теория языка. Репрезентативная функция. М.: Изд. гр. «Прогресс»; «Универс», 1993.
49. Васильев 1980: *Васильев И.А., Поплужный В.Л., Тихомиров О.К.* Эмоции и мышление. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.
50. Вебер 1990: *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма // Он же. Избр. произв. М.: Прогресс, 1990. С. 61–272.
51. Вебер 1990а: *Вебер М.* «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Там же. С. 345–415.
52. Вежбицкая 1997: *Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. М.: Рус. словари, 1997.
53. Вежбицкая 1997а: *Вежбицкая А.* Русский язык // Там же. С. 33–88.
54. Вежбицкая 1997б: *Вежбицкая А.* Прототипы и инварианты // Там же. С. 201–230.
55. Вежбицкая 1997в: *Вежбицкая А.* Семантические универсалии и «примитивное мышление» // Там же. С. 291–325.
56. Вежбицкая 1997г: *Вежбицкая А.* Толкование эмоциональных концептов // Там же. С. 326–375.
57. Вежбицкая 1997д: *Вежбицкая А.* Концептуальные основы психологии культуры // Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Рус. словари, 1997. С. 376–404.
58. Вежбицкая 1999: *Вежбицкая А.* Семантические универсалии и описание языков. М.: Шк. «Языки русской культуры», 1999.
59. Вежбицкая 1999а: *Вежбицкая А.* Angst // Там же. С. 547–610.
60. Вежбицкая 1999б: *Вежбицкая А.* Семантика: примитивы и универсалии // Там же. С. 3–88.
61. Вежбицкая 1999в: *Вежбицкая А.* Семантика грамматики // Там же. С. 90–259.
62. Верещагин, Костомаров 1990: *Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.* Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 4-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1990.
63. Веселовский 1997: *Веселовский А.Н.* Язык поэзии и язык прозы // *Русская словесность. От теории словесности к структуре текста.* Антология. М.: Academia, 1997. С. 85–112.
64. Вильмс 1997: *Вильмс Л.Е.* Лингвокультурологическая специфика понятия «любовь» (на материале немецкого и русского языков): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 1997.

65. Вилюнас 1984: *Вилюнас В.К.* Основные проблемы психологической теории эмоций (вступ. ст.) // Психология эмоций. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 3–28.

66. Виноградов 1977: *Виноградов В.В.* Об основных типах фразеологических единиц // Он же. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977. С. 140–161.

67. Витт 1983: *Витт Н.В.* Эмоциональная регуляция речевого поведения при общении. М.: Изд-во МГУ, 1983.

68. Витт 1984: *Витт Н.В.* Речь и эмоции. М.: Изд-во МГУ, 1984.

69. Войшвилло 1967: *Войшвилло Е.К.* Понятие. М.: Изд-во МГУ, 1967.

70. Вольф 1985: *Вольф Е.М.* Функциональная семантика оценки. М.: Наука, 1985.

71. Воркачев 1992: *Воркачев С.Г.* Безразличие vs. презрение (на материале испанского языка) // Вопр. языкознания. 1992. № 1. С. 79–86.

72. Воркачев 1995: *Воркачев С.Г.* Семантизация концепта любви в русской и испанской лексикографии (сопоставительный анализ) // Язык и эмоции: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1995. С. 125–132.

73. Воркачев 2000: *Воркачев С.Г.* «Две доли» – две концепции счастья // Языковая личность: проблемы креативной семантики: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000. С. 54–61.

74. Воркачев 2001: *Воркачев С.Г.* Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филол. науки. 2001. № 1. С. 64–72.

75. Воробьев 1997: *Воробьев В.В.* Лингвокультурология. Теория и методы. М.: Изд-во Рос. ун-та Дружбы народов, 1997.

76. Гаджиева, Журавлев, Кумахов, Нерознак 1988: *Гаджиева Н.З., Журавлев В.К., Кумахов М.А., Нерознак В.П.* Введение // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. М.: Наука, 1988. С. 3–25.

77. Гак 1991: *Гак В.Г.* Истина и люди // Логический анализ языка. Культурные концепты. М.: Наука, 1991. С. 24–31.

78. Гаспаров 1996: *Гаспаров Б.М.* Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М.: Нов. лит. обозрение, 1996.

79. Гачев 1988: *Гачев Г. Д.* Национальные образы мира. Общие вопросы. Русский. Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский. М.: Сов. писатель, 1988.

80. Георгиева 1998: *Георгиева Т.С.* Русская культура: история и современность: Учеб. пособие. М.: Юрайт, 1998.

81. Герд 1996: *Герд А.С.* Научно-техническая лексикография // Прикладное языкознание. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1996. С. 287–307.

82. Глинка 1998: *Глинка Г.А.* Древние религии славян // Мифы древних славян. Саратов: Надежда, 1998. С. 87–141.

83. Головановская 1997: *Головановская М.К.* Французский менталитет с точки зрения носителя русского языка (контрастивный анализ лексических групп со значением «высшие силы и абсолюты», «органы наивной анатомии», «основные мыслительные категории», «базовые эмоции»). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997.

84. Головин, Кобрин 1987: *Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю.* Лингвистические основы учения о терминах. М.: Высш. шк., 1987.

85. Горелов 1980: *Горелов И.Н.* Невербальные компоненты коммуникации. М.: Наука, 1980.

86. Городникова 1985: *Городникова М.Д.* Эмотивные явления в речевой коммуникации. М.: Изд-во МГПИИЯ, 1985.

87. Горский, Ивин, Никифоров 1991: *Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л.* Краткий словарь по логике. М.: Просвещение, 1991.

88. Григорьева Е.Г. 1987: *Григорьева Е.Г.* Эмблема и сопредельные явления в семиотическом аспекте их функционирования // Символ в системе культуры. Труды по знаковым системам. XXI: Учен. зап. Вып. 754. Тарту: Изд-во ТГУ, 1987. С. 78–85.

89. Григорьева Т.П. 1987: *Григорьева Т.П.* Образы мира в культуре: встреча Запада с Востоком // Культура, человек и картина мира. М.: Наука, 1987. С. 262–300.

90. Гридин 1976: *Гридин В.Н.* Психолингвистические функции эмоционально-экспрессивной лексики: Дис. ... канд. филол. наук. М.: 1976.

91. Гуревич 1972: *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972.

92. Гуревич 1981: *Гуревич А.Я.* Проблемы средневековой народной культуры. М.: Искусство, 1981.

93. Гуревич 1989: *Гуревич А.Я.* Культура и общество средневековой Европы глазами современников (exempla XIII в.) М.: Искусство, 1989.

94. Девкин 1978: *Девкин В.Д.* О градуальном словаре // Фразеологическая система языка. Челябинск: Изд-во Челяб. пед. ин-та, 1978. Вып. 4. С. 31–40.

95. Демьянков 1994: *Демьянков В.З.* Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопр. языкознания. 1994. № 4. С. 17–33.

96. Джемс 1984: *Джемс У.* Что такое эмоция? // Психология эмоций. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 83–92.

97. Дмитриева 1997: *Дмитриева О.А.* Культурно-языковые характеристики пословиц и афоризмов (на материале французского и русского языков): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 1997.

98. Добровольский, Караулов 1993: *Добровольский Д.О., Караулов Ю.Н.* Идиоматика в тезаурусе языковой личности // Вопр. языкознания. 1993. № 2. С. 5–15.

99. Додонов 1975: *Додонов Б.И.* Классификация эмоций при исследовании эмоциональной напряженности личности // Вопр. психологии. 1975. №6. С. 21–33.

100. Додонов 1978: *Додонов Б.И.* Эмоции как ценность. М.: Политиздат, 1978.

101. Ельмслев 1999: *Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка // Зарубежная лингвистика. I. М.: Изд. гр. «Прогресс», 1999. С. 131–256.

102. Жане 1984: *Жане П.* Страх действия как существенный элемент меланхолии // Психология эмоций. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 192–203.

103. Жельвис 1990: *Жельвис В.И.* Эмотивный аспект речи. Психолингвистическая интерпретация речевого воздействия. Ярославль: Изд-во Ярослав. пед. ин-та, 1990.

104. Журавлев 1974: *Журавлев А.П.* Фонетическое значение. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974.

105. Иванов, Топоров 1965: *Иванов В.В., Топоров В.Н.* Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период). М.: Наука, 1965.

106. Изард 1980: *Изард К.* Эмоции человека. М.: Изд-во МГУ, 1980.

107. Изард 1999: *Изард К.* Психология эмоций. СПб.– М. – Харьков – Минск: Питер, 1999.

108. Каган 1990: *Каган М.С.* Жизнь слова в культуре. Опыт системного изучения проблемы // Res Philologica. Филологические исследования. М.–Л.: Наука, 1990. С. 356–369.

109. Кайсаров 1993: *Кайсаров А.С.* Славянская и российская мифология // Мифы древних славян. Саратов: Надежда, 1993. С. 41–86.

110. Калашник 1984: *Калашник Я.М.* Патологический аффект // Психология эмоций. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 220–227.

111. Карасик 1990: *Карасик В.И.* Значение слова: определение и толкование // Коммуникативные аспекты значения: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1990. С. 58–67.

112. Карасик 1992: *Карасик В.И.* Язык социального статуса. М.–Волгоград: Перемена; ИЯ РАН, 1992.
113. Карасик 1994: *Карасик В.И.* Языковая личность и категории языка // Языковая личность: проблемы значения и смысла: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1994. С. 25–35.
114. Карасик 1996: *Карасик В.И.* Культурные концепты: проблема ценностей // Языковая личность: культурные концепты: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1996. С. 3–16.
115. Карасик 1997: *Карасик В.И.* Субкатегориальный кластер темпоральности (к характеристике языковых концептов) // Концепты. Науч. тр. Центроконцепта. Вып. № 2. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 1997. С. 154–173.
116. Карасик 1997а: *Карасик В.И.* Язык послеписьменной эры // Языковая личность: проблемы семантики и прагматики: Сб. науч. тр. Волгоград: РИО, 1997. С. 141–154.
117. Карасик 1999: *Карасик В.И.* Религиозный дискурс // Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1999. С. 5–19.
118. Карасик 2000: *Карасик В.И.* О креативной семантике // Языковая личность: проблемы креативной семантики: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000. С. 5–18.
119. Караулов 1981: *Караулов Ю.Н.* Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М.: Наука, 1981.
120. Караулов 1987: *Караулов Ю.Н.* Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.
121. Караулов 1989: *Караулов Ю.Н.* Предисловие. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. М.: Наука, 1989. С. 3–8.
122. Караулов, Петров 1989: *Караулов Ю.Н., Петров В.В.* От грамматики текста к когнитивной теории дискурса // Т.А. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Изд. гр. «Прогресс», 1989. С. 5–11.
123. Касавин 1999: *Касавин И.Т.* Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманитарного ин-та, 1999.
124. Кассирер 1996: *Кассирер Э.* Философия символических форм // Антология культурологической мысли. М.: Изд-во Рос. откр. ун-та, 1996. С. 202–209.
125. Кафанья 1997: *Кафанья А.* Формальный анализ определений понятия «культура» // Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. Т. 1. СПб.: Университет. кн., 1997. С. 91–114.

126. Кацнельсон 1986: *Кацнельсон С.Д.* Общее и типологическое языкознание. Л.: Наука, 1986.
127. Кирьян 1981: *Кирьян А.Д.* Градация как способ организации лексико-семантической группы: Дис. ... канд. филол. наук. М.: 1981.
128. Клакхон 1998: *Клакхон К.* Зеркало для человека. Введение в антропологию. СПб.: Евразия, 1998.
129. Клапаред 1984: *Клапаред Э.* Чувства и эмоции // Психология эмоций. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 93–102.
130. Климов 1990: *Климов Г.А.* Основы лингвистической компаративистики. М.: Наука, 1990.
131. Кожин 1980: *Кожин А.Н.* Образные сравнения и фразеологизмы // Рус. яз. в школе. 1980. № 3. С. 73–76.
132. Козеренко, Крейдлин 1999: *Козеренко А.Д., Крейдлин Г.Е.* Тело как объект природы и тело как объект культуры (о семантике фразеологизмов, построенных на базе жестов) // Фразеология в контексте культуры. М.: ИЯ РАН, Шк. «Языки русской культуры», 1999. С. 269–277.
133. Колшанский 1974: *Колшанский Г.В.* Паралингвистика. М.: Наука, 1974.
134. Колшанский 1980: *Колшанский Г.В.* Контекстная семантика. М.: Наука, 1980.
135. Колшанский 1990: *Колшанский Г.В.* Объективная картина мира в познании и языке. М.: Наука, 1990.
136. Комарова 1991: *Комарова З.И.* Семантическая структура специального слова и ее лексикографическое описание. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991.
137. Копыленко, Попова 1989: *Копыленко М.М., Попова З.Д.* Очерки по общей фразеологии. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1989.
138. Королев 1990: *Королев А.А.* Валентность // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1990. С. 79–80.
139. Косериу 2001: *Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история (проблема языкового изменения). 2-е изд., стереотип. М.: УРСС, 2001.
140. Коул, Скрибнер 1977: *Коул М., Скрибнер С.* Культура и мышление: психологический очерк. М.: Прогресс, 1977.
141. Красавский 1992: *Красавский Н.А.* Терминологическое и обиходное обозначение эмоций (на материале русского и немецкого языков): Дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 1992.
142. Красавский 1994: *Красавский Н.А.* Цветовая номинация эмоций в русском и немецком языках // Языковая личность: проблемы значения и смысла: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1994. С. 53–60.

143. Красавский 1997: *Красавский Н.А.* Эволюция и семантизация эмоционального мира человека // *Языковая личность: проблемы обозначения и понимания: Тез. докл. науч. конф.* Волгоград: «Перемена», 1997. С. 81–83.

144. Красавский 1998: *Красавский Н. А.* Метафорическое использование номинантов эмоций в немецком языке // *Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты: Сб. науч. тр.* Волгоград – Саратов: Перемена, 1998. С. 96–104.

145. Красавский 1999: *Красавский Н.А.* Синонимия как тип семантических отношений в терминологической системе эмоций немецкого языка // *Структурно-семантические аспекты изучения языковых единиц: Сб. науч. тр.* Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 1999. С. 134–141.

146. Красавский 1999а: *Красавский Н.А.* Семантическая структура номинантов эмоций в немецком и русском языках // *Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики: Сб. науч. тр.* Волгоград: Перемена, 1999. С. 162–172.

147. Красавский 2000: *Красавский Н.А.* Лингвистические методы исследования эмоциональной концептосферы // *Лингвистические парадигмы: традиции и новации: Материалы междунар. симпозиума молодых ученых «Лингвистическая панорама рубежа веков».* Волгоград: Перемена, 2000. С. 18–28.

148. Красных 1998: *Красных В.В.* Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация). М.: Диалог-МГУ, 1998.

149. Кубрякова 1990: *Кубрякова Е.С.* Парадигматика // *Лингвистический энциклопедический словарь.* М.: Сов. энцикл., 1990. С. 366–367.

150. Кубрякова, Шахнарович 1991: *Кубрякова Е.С., Шахнарович А.М.* Онтогенез речи и формирование языковой способности человека // *Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи.* М.: Наука, 1991. С. 141–220.

151. Кубрякова 1996: *Кубрякова Е.С.* Предисловие // *Кубрякова Е.С., Демьянков В.З. и др. Краткий словарь когнитивных терминов.* М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. С. 3–10.

152. Кубрякова 1996а: *Кубрякова Е.С.* Концепт // Там же. С. 90–93.

153. Кубрякова 1996б: *Кубрякова Е.С.* Ментальный лексикон // Там же. С. 97–99.

154. Кубрякова 1999: *Кубрякова Е.С.* Языковое сознание и языковая картина мира // *Филология и культура. Материалы междунар. конф.* Тамбов: Изд-во Тамбов. ун-та, 1999. С. 6–13.

155. Кубрякова 2000: *Кубрякова Е. С.* О формировании значения в актах семизиса // Когнитивные аспекты языковой категоризации: Сб. науч. тр. Рязань: Изд-во Рязан. пед. ун-та, 2000. С. 26–29.

156. Кузнецов 2000: *Кузнецов А. М.* Когнитология, «антропоцентризм», «языковая картина мира» и проблемы исследования лексической семантики // Этнокультурная специфика речевой деятельности: Сб. обзоров. М.: Изд-во ИНИОН, 2000. С. 8–22.

157. Кьеркегор 1993: *Кьеркегор С.* Страх и трепет. М.: «Терра – Республика», 1993.

158. Лайонз 1978: *Лайонз Дж.* Введение в теоретическую лингвистику М.: Прогресс, 1978.

159. Лакофф, Джонсон 1990: *Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 387–415.

160. Ларин 1958: *Ларин Б. А.* Из славяно-балтийских лексических сопоставлений // Вестник ЛГУ. № 14. Вып. 3. Сер. истории языка и литературы. Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. С. 151–162.

161. Левицкий 1973: *Левицкий В. В.* Семантика и фонетика. Черновцы: Изд-во ЧГУ, 1973.

162. Лейчик 1989: *Лейчик В. М.* Предмет, метод и структура терминоведения: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1989.

163. Лейчик 2001: *Лейчик В. М.* К обоснованию когнитивного терминоведения // Филология и культура: Материалы III междунар. конф. Ч. 2. Тамбов: Изд-во Тамбов. ун-та, 2001. С. 27–29.

164. Лихачев 1997: *Лихачев Д. С.* Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М.: Academia, 1997. С. 280–287.

165. Лич 1997: *Лич Э.* Введение. Структурное исследование мифа и тотема // Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. Т. 1. СПб.: Университет. кн., 1997. С. 591–602.

166. Локтионова 1999: *Локтионова В. Г.* Процессы категоризации: знание в языке, знание о языке // Структурно-семантические аспекты изучения языковых единиц. Межвуз. сб. науч. тр.: Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 1999. С. 12–23.

167. Лосев 1993: *Лосев А. Ф.* Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993.

168. Лотман 1987: *Лотман Ю. М.* Символ в системе культуры // Символ в системе культуры. Труды по знаковым системам: Учен. зап. Вып. 754. Тарту: Изд-во ТГУ, 1987. С. 10–20.

169. Лотман 1994: *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века): СПб.: Искусство, 1994.

170. Лотман 1996: *Лотман Ю. М.* О семиотическом механизме культуры // Антология культурологической мысли. М.: Изд-во Рос. откр. ун-та, 1996. С. 323–327.

171. Лук 1982: *Лук А. Н.* Эмоции и личность. М.: Знание, 1982.

172. Лукьянова 1986: *Лукьянова Н. А.* Экспрессивная лексика разговорного употребления: проблемы семантики. Новосибирск: Наука, 1986.

173. Лукьянова 1991: *Лукьянова Н. А.* Экспрессивность в системе, словаре и речи // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М.: Наука, 1991. С. 157–178.

174. Лурия 1984: *Лурия А. Р.* Диагностика следов аффекта // Психология эмоций. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 228–234.

175. Лурия 1998: *Лурия А. Р.* Язык и сознание. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998.

176. Льюис 1983: *Льюис К.* Виды значения // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 211–224.

177. Ляпин 1997: *Ляпин С. Х.* Концептология: к становлению подхода // Концепты: Науч. тр. Центроконцепта. Вып. № 1. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 1997. С. 11–35.

178. Ляпин 1997а: *Ляпин С. Х.* Концептологическая формула факта // Концепты: Науч. тр. Центроконцепта. Вып. № 2. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 1997. С. 5–71.

179. Макдауголл 1984: *Макдауголл У.* Различение эмоции и чувства // Психология эмоций. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 103–105.

180. Маковский 1980: *Маковский М. М.* Системность и асистемность в языке (опыт исследования антиномий в лексике и семантике). М.: Наука, 1980.

181. Маковский 1992: *Маковский М. М.* Лингвистическая генетика. Проблемы онтогенеза слова в индоевропейских языках. М.: Наука, 1992.

182. Маковский 1996: *Маковский М. М.* Язык – Миф – Культура. Символы жизни и жизнь символов. М.: ИРЯ им. Виноградова РАН, 1996.

183. Малиновский 1998: *Малиновский Б.* Магия. Наука и религия. М.: Рефл-бук, 1998.

184. Малиновский 1997: *Малиновский Б.* Функциональный анализ // Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. Т. 1. СПб.: Университет. кн., 1997. С. 681–702.

185. Мамонтов 2000: *Мамонтов А.С.* Язык и культура: сопоставительный аспект изучения. М.: ИЯ РАН, 2000.

186. Маркелова 1997: *Маркелова Т.В.* Оценочные высказывания с предикатами «любить» и «нравиться» // Филол. науки. 1997. № 5. С. 66–75.

187. Маслова 1997: *Маслова В.А.* Введение в лингвокультурологию: Учеб. пособие. М.: Наследие, 1997.

188. Маслова 1991: *Маслова В.А.* Параметры экспрессивности текста // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М.: Наука, 1991. С. 179–204.

189. Мелерович, Мокиенко: *Мелерович А.М., Мокиенко В.М.* Фразеологизмы в русской речи: Словарь. М.: Рус. словари, 1997.

190. Мердок 1997: *Мердок Дж.* Фундаментальные характеристики культуры // Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. Т. 1. СПб.: Университет. книга, 1997. С. 49–56.

191. Мечковская 1996: *Мечковская Н.Б.* Социальная лингвистика. 2-е изд., испр. М.: Аспект Пресс, 1996.

192. Мечковская 1998: *Мечковская Н.Б.* Язык и религия: Учеб. пособие. М.: Агентство «Файр», 1998.

193. Миненок 1997: *Миненок Е.* Энциклопедия суеверий (русские суеверия). М.: Локид-Миф, 1997.

194. Миронов 1989: *Миронов Л.Н.* Семантика цвета // Цвет. Материалы. Дизайн: Материалы науч. конф. М.: ВНИТЭ, 1989. С. 13–14.

195. Михайлов 1997: *Михайлов А.В.* Античность как идеал и культурная реальность XVIII–XIX веков // Михайлов А.В. Языки культуры: Учеб. пособие по культурологии. М.: Языки рус. культуры, 1997. С. 509–563.

196. Мониц 1998: *Мониц Ю.В.* Проблемы этимологии и семантика ритуализованных действий // Вопр. языкознания. 1998. № 1. С. 97–120.

197. Морковкин 1988: *Морковкин В.В.* Антропоцентрический versus лингвоцентрический подход к лексикографированию // Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. М.: Наука, 1988. С. 131–136.

198. Морозова 1999: *Морозова В.С.* Символика цветообозначения при описании концептов эмоций в современном арабском литературном языке // Фразеология в контексте культуры. М.: ИЯ РАН; «Языки русской культуры», 1999. С. 300–304.

199. Моррис 1983: *Моррис Ч.* Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 37–89.

200. Москвин 1993: *Москвин В.П.* Идеографический словарь сочетаемости. Киев: Изд-во КГПИИЯ, 1993.

201. Москвин 1996: *Москвин В.П.* Классификация русских метафор // Языковая личность: культурные концепты: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1996. С. 103–113.

202. Москвин 1997: *Москвин В.П.* Русская метафора. Семантическая, структурная, функциональная классификация. Волгоград: Перемена, 1997.

203. Муравьев 1975: *Муравьев В.Л.* Лексические лакуны (на материале лексики французского и русского языков). Владимир: Изд-во ВГПИ, 1975.

204. Мурзин 1995: *Мурзин Л.Н.* Антропологическая ниша в языковой науке // Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвистики: Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1995. С. 11–12.

205. Мягкова 1990: *Мягкова Е.Ю.* Эмоциональная нагрузка слова: опыт психолингвистического исследования. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990.

206. Нерознак 1998: *Нерознак В.П.* От концепта к слову: к проблеме филологического концептуализма // Вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: Межвуз. сб. науч. тр. Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998. С. 80–85.

207. Никифоров 1978: *Никифоров А.С.* Эмоции в нашей жизни. М.: Сов. Россия, 1978.

208. Новиков 1990: *Новиков Л.А.* Антонимия // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1990. С. 35–36.

209. Новиков 1990а: *Новиков Л.А.* Гипонимия // Там же. С. 104.

210. Новиков 1990б: *Новиков Л.А.* Стилистика орнаментальной прозы А. Белого. М.: Наука, 1990.

211. Нойманн 1998: *Нойманн Э.* Происхождение и развитие сознания. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1998.

212. Овсянко-Куликовский 1989: *Овсянко-Куликовский Д.Н.* Литературно-критические работы: В 2 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1989.

213. Олышанский 2000: *Олышанский И.Г.* Лингвокультурология в конце XX в.: Итоги, тенденции, перспективы // Лингвистические исследования в конце XX в.: Сб. обзоров. М.: РАН ИНИОН, 2000. С. 26–55.

214. Опарина 1999: *Опарина Е.О.* Лексические коллокации и их внутрифреймовые модусы // Фразеология в контексте культуры. М.: ИЯ РАН, «Языки русской культуры», 1999. С. 139–144.

215. Ортега-и-Гассет 1990: *Ортега-и-Гассет Х.* Две великие метафоры // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 68–81.

216. Осипова 1990: *Осипова О.А.* Функциональная вариативность древнегерманских консонантных основообразующих формантов // Языки мира: проблемы языковой вариативности. М.: Наука, 1990. С. 153–170.

217. Павиленис 1986: *Павиленис Р.И.* Язык. Смысл. Понимание // Язык. Наука. Философия. Логико-методологический и семиотический анализ. Вильнюс, 1986. С. 240–263.

218. Панкратова 1991: *Панкратова С.М.* Зависимость реализации валентности от задач коммуникации // Языковые единицы в речевой коммуникации: Межвуз. сб. науч. тр. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. С. 70–80.

219. Пиз 1995: *Пиз А.* Язык жестов (Как читать мысли людей по их позам, мимике, жестам) // Язык жестов. Минск: Парадокс, 1995. С. 9–256.

220. Покровская 1998: *Покровская Я.А.* Отражение в языке агрессивных состояний человека (на материале англо- и русскоязычных художественных текстов): Автореф. дис. ... канд. филол. наук.: Волгоград, 1998.

221. Покровский 1959: *Покровский М.М.* Семасиологические исследования в области древних языков // Избранные работы по языкознанию. М.: АН СССР, 1959. С. 60–117.

222. Попова, Стернин 2000: *Попова З.Д., Стернин И.А.* Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2000.

223. Попова, Стернин 2000: *Попова З.Д., Стернин И.А.* К методологии лингвокогнитивного анализа // Филология и культура. Материалы III междунар. конф. Ч. 2. Тамбов: Изд-во Тамбов. ун-та, 2001. С. 19–22.

224. Постовалова 1988: *Постовалова В.И.* Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М.: Наука, 1988. С. 8–69.

225. Постовалова 1999: *Постовалова В.И.* Лингвокультурология в свете антропологической парадигмы (к проблеме оснований и границ современной фразеологии) // Фразеология в контексте культуры. М.: ИЯ РАН, «Языки русской культуры», 1999. С. 25–33.

226. Поттебня 1997: *Поттебня А.А.* Мысль и язык // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М.: Academia, 1997. С. 51–65.

227. Почепцов 1998: *Почепцов Г.Г.* Теория и практика коммуникации. М.: Центр, 1998.
228. Пропп 1999: *Пропп В.Я.* Русский героический эпос: Собр. тр. М.: Лабиринт, 1999.
229. Прохвачева 2000: *Прохвачева О.Г.* Лингвокультурный концепт «приватность» (на материале американского варианта английского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2000.
230. Прохорова 1983: *Прохорова В.Н.* Лексико-семантическое образование русской терминологии: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М.: 1983.
231. Радклиф-Браун 1997: *Радклиф-Браун А.* Методы этнологии и социальной антропологии / / Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. Т. 1. СПб.: Университет. книга, 1997. С. 603–632.
232. Радченко 1997: *Радченко О.А.* Язык как мироздание. Лингво-философская концепция неогумбольдтианства: В 2 т. М.: Метатекст, 1997.
233. Расторгуева 1989: *Расторгуева Т.А.* Очерки по исторической грамматике английского языка. М.: Высш. шк., 1989.
234. Рахманов 1983: *Рахманов И.В.* и др. Немецко-русский синонимический словарь. М.: Рус. яз., 1983.
235. Рейковский 1979: *Рейковский Я.* Экспериментальная психология эмоций. М.: Прогресс, 1979.
236. Риман 1998: *Риман Ф.* Основные формы страха. Исследование в области глубинной психологии. М.: Алетея, 1998.
237. Рождественский 1996: *Рождественский Ю.В.* Общая филология. М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1996.
238. Рубинштейн 1984: *Рубинштейн С.Л.* Эмоции / / Психология эмоций. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 152–161.
239. Рэдфорд 1997: *Рэдфорд Э., М. Рэдфорд М.* Энциклопедия суеверий (английские суеверия). М.: Локид-Миф, 1997.
240. Савицкий 1993: *Савицкий В.М.* Английская фразеология: проблемы моделирования. Самара: Изд-во «Самарский университет», 1993.
241. Сартр 1994: *Сартр Ж.-П.* Экзистенциализм – это гуманизм / / Сартр Ж.-П. Тошнота: Избр. произв. М.: Республика, 1994. С. 433–470.
242. Семенюк 1990: *Семенюк Н.Н.* Статус и некоторые проблемы стилистического варьирования: исторический аспект / / Языки мира: проблемы языковой вариативности. М.: Наука, 1990. С. 36–51.

243. Сентенберг 1994: *Сентенберг И.В.* Языковая личность в коммуникативно-деятельностном аспекте // *Языковая личность: проблемы значения и смысла*: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1994. С. 14–24.

244. Сепир 1993: *Сепир Э.* Язык, раса и культура // Он же. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. С. 185–194.

245. Сепир 1993а: *Сепир Э.* Язык и среда // Там же. С. 270–284.

246. Сепир 1993б: *Сепир Э.* Символизм // Там же. С. 204–209.

247. Серебренников 1983: *Серебренников Б.А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М.: Наука, 1983.

248. Серебренников 1988: *Серебренников Б.А.* Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление. М.: Наука, 1988.

249. Серебренников 1988а: *Серебренников Б.А.* Реконструкция по косвенным данным // Сравнительно-историческое изучение разных семей. Теория лингвистических реконструкций. М.: Наука, 1988. С. 138–145.

250. Серл 1990: *Серл Дж.* Метафора // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 307–341.

251. Сеченов 1995: *Сеченов И.М.* Психология поведения. М.: Воронеж: Изд-во «Ин-т практ. психологии», 1995.

252. Силецкий 1990: *Силецкий В.И.* Семиотика языка и языки искусства (Shakespeare's cipher II) // *Res Philologica*. Филологические исследования. М.–Л.: Наука, 1990. С. 428–442.

253. Симонов 1982: *Симонов П.В.* Потребностно-информационная теория эмоций // *Вопр. психологии*. 1982. № 6. С. 44–56.

254. Синюк 1999: *Синюк В.Б.* Фразеологизмы как выразитель эмоций в языке // *Разноуровневые характеристики лексических единиц*: Сб. науч. ст. Ч. 2. Смоленск: Изд-во СГПУ, 1999. С. 164–168.

255. Сиротинина, Кормилицына 1995: *Сиротинина О.Б., Кормилицына М.А.* Национальные языковые и индивидуальные речевые картины мира // *Дом Бытия. Альманах по антропологической лингвистике*. Вып. № 2: Язык – Мир – Человек. Саратов: Изд-во СГПИ, 1995. С. 15–18.

256. Скидан 1997: *Скидан О.П.* Математический концепт и его категориальная структура // *Концепты*: Науч. тр. Центроконцепта. Вып. № 1. Архангельск: Изд-во Помор. гос. ун-та. 1997. С. 36–69.

257. Скидан 1997а: *Скидан О.П.* [Предисловие редактора] // *Концепты*: Науч. тр. Центроконцепта. Вып. № 1. Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 1997. С. 5–10.

258. Соболевский 1986: *Соболевский И.А.* Кинетическая речь на производстве // Семиотика пространства и пространство семиотики. Труды по знаковым системам. XIX. Тарту: Изд-во ТГУ, 1986. С. 106–112.

259. Солодуб 1990: *Солодуб Ю.П.* Национальная специфика и универсальные свойства фразеологии как объект лингвистического исследования // Филол. науки. № 6. 1990. С. 55–65.

260. Солодуб 1994: *Солодуб Ю.П.* К проблеме разграничения поговорок и поговорок в языках различных типов // Филол. науки. № 3. 1994. С. 55–71.

261. Сорокин 1999: *Сорокин Ю.А.* Антропоцентризм vs. антропофилия: доводы в пользу второго понятия // Фразеология в контексте культуры. М.: ИЯ РАН, «Языки русской культуры», 1999. С. 52–57.

262. Соссюр 1999: *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999.

263. Спиноза 1984: *Спиноза Б.О.* О происхождении и природе аффектов // Психология эмоций. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 29–46.

264. Стеблин-Каменский 1976: *Стеблин-Каменский М.И.* Миф. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1976.

265. Стеблин-Каменский 1978: *Стеблин-Каменский М.И.* Историческая поэтика. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978.

266. Степанов 1975: *Степанов Ю.С.* Основы общего языкознания. 2-е изд. перераб. М.: Просвещение, 1975.

267. Степанов 1983: *Степанов Ю.С.* В мире семиотики // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 5–36.

268. Степанов 1997: *Степанов Ю.С.* Слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М.: Academia, 1997. С. 288–305.

269. Степанов 1997а: *Степанов Ю.С.* Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Шк. «Языки русской культуры», 1997.

270. Стернин 1999: *Стернин И.А.* Концепты и невербальность мышления. Филология и культура: Материалы междунар. конф. Тамбов: Изд-во Тамбов. ун-та, 1999. С. 69–79.

271. Стефаненко 1999: *Стефаненко Т.Г.* Этнопсихология: Учебник. М.: Ин-т психологии РАН, 1999.

272. Тайлор 1999б: *Тайлор Э.* Первобытная культура // Антология культурологической мысли. М.: Изд-во Рос. откр. ун-та, 1996. С. 122–128.

273. Телия 1987: *Телия В.Н.* О специфике отображения мира психики и знания в языке // Сущность, развитие и функции языка. М.: Наука, 1987. С. 65–74.

274. Телия 1990: *Телия В.Н.* Номинация // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1990. С. 336–337.

275. Телия 1996: *Телия В.Н.* Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Шк. «Языки русской культуры», 1996.

276. Телия 1999: *Телия В.Н.* Основные постулаты лингвокультурологии // Филология и культура: Материалы междунар. конф. Тамбов: Изд-во ТГУ, 1999. С. 14–15.

277. Тогунов 1984: *Тогунов В.М.* Некоторые структурно-семантические особенности образования сложных немецких терминов в сопоставлении с русскими // Отраслевая терминология и лексикография: Сб. науч. тр. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. С. 115–121.

278. Толикина 1970: *Толикина Е.Н.* Некоторые лингвистические проблемы изучения термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии: Материалы совещ. М.: Наука, 1970. С. 58–65.

279. Толстая 1991: *Толстая С.М.* Магия обмана и чуда в народной культуре // Логический анализ языка. Культурные концепты. М.: Наука, 1991. С. 109–115.

280. Толстая 1999: *Толстая С.М.* Славянские народные представления о смерти в зеркале фразеологии // Фразеология в контексте культуры. М.: ИЯ РАН, «Языки русской культуры», 1999. С. 229–234.

281. Толстой 1997: *Толстой Н.И.* Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М.: Academia, 1997. С. 306–315.

282. Толстой, Толстая 1978: *Толстой Н.И., Толстая С.М.* К реконструкции древнеславянской духовной культуры (лингво-этнографический аспект) // Славянское языкознание: VIII международный съезд славистов. М.: Наука, 1978. С. 364–385.

283. Топоров 1988: *Топоров В.Н.* О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М.: Наука, 1988. С. 5–60.

284. Тресиддер 1999: *Тресиддер Дж.* Словарь символов. М.: Фаир-Пресс, 1999.

285. Уайт 1997: *Уайт Л.* Государство – Церковь: его формы и функции // Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. Т. 1. СПб.: Университет. кн., 1997. С. 285–313.

286. Уайт 1997а: *Уайт Л.* История, эволюционизм и функционализм как три типа интерпретации культуры // Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. Т. 1.: СПб.: Университет. кн., 1997. С. 559–590.

287. Уилрайт 1990: *Уилрайт Ф.* Метафора и реальность // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 82–109.

288. Успенский 1997: *Успенский В.А.* О вещных коннотациях абстрактных существительных // Семиотика и информатика. Вып. 35. Ч. 1. М.: ВИНТИ, 1997. С. 146–152.

289. Уфимцева 1977: *Уфимцева А.А.* Лингвистическая сущность и аспекты номинации // Языковая номинация. Общие вопросы. М.: Наука, 1977. С. 7–98.

290. Феоктистова 1999: *Феоктистова А.Б.* Культурно значимая роль внутренней формы идиом с позиций когнитологии // Фразеология в контексте культуры. М.: ИЯ РАН, «Языки русской культуры», 1999. С. 174–179.

291. Феоктистова 1981: *Феоктистова Н.В., Лемберская А.А.* К вопросу о системности в лексике (на материале древнеанглийских слов со значением «помощь», «защита») // Системное описание лексики германских языков: Межвуз. сб. Вып. № 4. Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. С. 78–85.

292. Феоктистова 1984: *Феоктистова Н.В.* Формирование семантической структуры отвлеченного слова (на материале древнеанглийского языка). Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.

293. Фомина 1996: *Фомина З.Е.* Эмоционально-оценочная лексика современного немецкого языка: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М.: 1996.

294. Фрейд 1984: *Фрейд З.* Печаль и меланхолия // Психология эмоций. Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 203–211.

295. Фрейд 1989: *Фрейд З.* Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989.

296. Фрейд 1992: *Фрейд З.* Будущее одной иллюзии // Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс, 1992. С. 17–64.

297. Фрейд 1992а: *Фрейд З.* Человек Моисей и монотеистическая религия // Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс, 1992. С. 135–256.

298. Фрэзер 1998: *Фрэзер Дж.* Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1998.

299. Хайдеггер 1993: *Хайдеггер М.* Время и бытие. М.: Республика, 1993.

300. Хиллман 1996: *Хиллман Дж.* Архетипическая психология. СПб.: БСК, 1996.

301. Холодная 1983: *Холодная М.А.* Интегральные структуры понятийного мышления. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1983.

302. Хорни 1995: *Хорни К.* Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза // Психоанализ и культура: Избр. труды Карен Хорни и Эриха Фромма. М.: Юрист, 1995. С. 16–272.

303. Худяков 2001: *Худяков А.А.* Понятие и концепт: опыт терминологического анализа // Филология и культура. Материалы III междунар. конф. Ч. 2. Тамбов: Изд-во Тамбов. ун-та, 2001. С.32–37.

304. Цибуля 1991: *Цибуля Н.Б.* Некоторые аспекты жестовой коммуникации в отношении к просодии и к тексту // Прагматические аспекты функционирования языковых единиц: Тез. докл. и выступл. М.– Воронеж: ИЯ РАН; Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. С. 212.

305. Циген 1998: *Циген Т.* Физиологическая психология в 14 лекциях // Основные направления психологии в классических трудах. Ассоциативная психология. М.: Изд-во АСТ–ЛТД, 1998. С. 311–510.

306. Циткина 1988: *Циткина Ф.А.* Терминология и перевод (К основам сопоставительного терминоведения). Львов: Выща шк., 1988.

307. Черданцева 1998: *Черданцева Т.З.* Метафора и символ во фразеологических единицах // Метафора в языке и тексте. М.: Наука, 1998. С. 78–92.

308. Черемисина 1995: *Черемисина Н.В.* Языковые картины мира: типология, формирование, взаимодействие // Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвистики: Тез. докл. междунар. науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1995. С. 15–16.

309. Чернышева 1993: *Чернышева И.И.* К динамике фразеологической системы (на материале немецкого языка) // Филол. науки. № 1. 1993. С. 61–70.

310. Шайкевич 1990: *Шайкевич А.Я.* Тезаурус // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1990. С. 506–507.

311. Шахнарович 2000: *Шахнарович А.М.* Когнитивные аспекты семантики (в онтогенезе) // Когнитивные аспекты языковой категоризации: Сб. науч. тр. Рязань: Изд-во Рязан. пед. ун-та, 2000. С. 38–42.

312. Шахнарович, Графова 1991: *Шахнарович А.М., Графова Т.А.* Экспериментальное исследование реализации эмотивности в речевой деятельности // Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М.: Наука, 1991. С. 99–113.

313. Шахова 1980: *Шахова Л.И.* Структурно-функциональная характеристика лексико-семантической группы существительных «чувство переживания» в русском языке: Дис. ... канд. филол. наук.: Киев, 1980.

314. Шаховский 1987: *Шаховский В.И.* Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987.

315. Шаховский 1988: *Шаховский В.И.* Категоризация эмоций в лексико-семантической системе (на материале английского языка): Дис. ... д-ра филол. наук. М., 1988.

316. Шаховский 1995: *Шаховский В.И.* О лингвистике эмоций // Язык и эмоции: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1995. С. 3–15.

317. Шаховский 1995а: *Шаховский В.И.* Эмоциональная картина мира и язык // Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвистики: Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1995. С. 72–73.

318. Шаховский 1998: *Шаховский В.И., Сорокин Ю.А., Томашева И.В.* Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы (межкультурное понимание и лингвоэкология). Волгоград: Перемена, 1998.

319. Шаховский 2000: *Шаховский В.И.* The Russian language personality and its neologisms in emotional communicative situations // Языковая личность: проблемы креативной семантики: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000. С. 121–128.

320. Шейгал 1990: *Шейгал Е.И.* Градация в лексической семантике: Учеб. пособие. Куйбышев: Изд-во КГПИ, 1990.

321. Шелов 1990: *Шелов С.Д.* Об определении лингвистических терминов (Опыт типологии и интерпретации) // Вопр. языкознания. 1990. № 3. С. 21–31.

322. Шехтман 1981: *Шехтман Н.А.* Семантический повтор как проявление системных свойств лексики // Системное описание лексики германских языков: Межвуз. сб. Вып. 4. Л.: Изд-во ЛГУ, 1981. С. 11–16.

323. Шехтман 1988: *Шехтман Н.А.* Системность лексики и семантика слова: Учеб. пособие к спецкурсу. Куйбышев: Изд-во КГПИ, 1988.

324. Шингаров 1971: *Шингаров Г.Х.* Эмоции и чувства как форма отражения действительности. М.: Наука, 1971.

325. Широкова 1999: *Широкова М.А.* Глагол «тосковать» и его белорусские корреляты // Разноуровневые характеристики лексиче-

ских единиц: Сб. науч. ст. Ч. 2. Смоленск: Изд-во СГПУ, 1999. С. 61–65.

326. Шмелев 1991: *Шмелев А.Д.* Правда vs. истина в диахроническом аспекте (Краткая заметка) // Логический анализ языка. Культурные концепты. М.: Наука, 1991. С. 55–58.

327. Шмелев 1964: *Шмелев Д.Н.* Очерки по семасиологии русского языка. М.: Просвещение, 1964.

328. Шрамм 1979: *Шрамм А.Н.* Очерки по семантике качественных прилагательных (на материале современного русского языка). Л.: Изд-во ЛГУ, 1979.

329. Щерба 1957: *Щерба Л.В.* О частях речи в русском языке // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957. С. 63–84.

330. Экономов 1989: *Экономов Г.М.* Особенности семантики военного термина (на материале русского и английского языков): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1989.

331. Элиаде 1998: *Элиаде М.* Священные тексты народов мира. М.: Крон-Пресс, 1998.

332. Юдин 1999: *Юдин А.В.* Русская народная духовная культура. М.: Высш. шк., 1999.

333. Юнг 1996: *Юнг К.* Психологические типы. М.: Университет. книга, АСТ, 1996.

334. Юнг 1996а: *Юнг К.* Подход к бессознательному // Антология культурологической мысли. М.: Изд-во РОУ, 1996. С. 210–211.

335. Jakobson 1956: *Якобсон П.М.* Психология чувств. М.: АПН РСФСР, 1956.

336. Jakobson 1983: *Якобсон Р.* В поисках сущности языка // Семантика. М.: Радуга, 1983. С. 102–117.

337. Jaspers 1991: *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991.

338. Abel 2000: *Abel A.* Das lexikographische Beispiel in der L2-Lexikographie (am Beispiel eines L2-Kontext- und Grundwortschatzwoerterbuches) // Deutsch als Fremdsprache, 3. Quartal Heft 37, 2000. S. 163–169.

339. Bausinger 1980: *Bausinger H.* Identitaet // Grundzuege der Volkskunde. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980. S. 204–264.

340. Bayer 1994: *Bayer K.* Evolution: Kultur: Sprache. Eine Einfuehrung. Bochum, Universitaetsverlag Brockmeyer, 1994.

341. Beyer 1989: *Beyer A., Beyer H.* Sprichwoerterlexikon. М.: Высш. шк., 1989.

342. Bergmann 1991: *Bergmann M.* Metaphorical Assertions // Pragmatics. New York: Pxford, Oxford University Press, 1991. P. 485–494.

343. Beutin 1993: *Beutin W.* Religiositaet. Neuzeit // Europaeische Mentalitaetsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen. Stuttgart, Alfred Kroener Verlag, 1993. S. 137–153.

344. Boehme 1993: *Boehme Ch.* Aengste und Hoffnungen. Antike // Europaeische Mentalitaetsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen. Stuttgart, Alfred Kroener Verlag, 1993. S. 275–285.

345. Boehme 1993a: *Boehme Ch.* Freude, Leid, Glueck. Antike // Europaeische Mentalitaetsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen. Stuttgart, Alfred Kroener Verlag, 1993. S. 302–307.

346. Buck 1984: *Buck R.* The Communication of Emotions. New York; Guilford, 1984.

347. Buller 1996: *Buller D.* Communicating Emotions // Nonverbal Communication. The unspoken dialogue. Second edition. New York: London: Tokyo, The McGraw-Hill Companies, 1996. P. 271–296.

348. Burgoon 1996: *Burgoon J.* Nonverbal Communication // Nonverbal Communication. The unspoken dialogue. Second edition. New York – London – Tokyo, The McGraw-Hill Companies, 1996. P. 3–160.

349. Carruthers 1994: *Carruthers M.* The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture. Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

350. Davidson 1991: *Davidson D.* What Metaphors Mean // Pragmatics. New York-Oxford; Oxford University Press, 1991. P. 495–506.

351. Dinzelbacher 1993: *Dinzelbacher P.* Vorwort // Europaeische Mentalitaetsgeschichte. Stuttgart, Alfred Kroener Verlag, 1993. S. IX–XXXVII.

352. Dinzelbacher 1993a: *Dinzelbacher P.* Aengste und Hoffnungen. Mittelalter // Europaeische Mentalitaetsgeschichte. Stuttgart, Alfred Kroener Verlag, 1993. S.285–294.

353. Dinzelbacher 1993b: *Dinzelbacher P.* Individuum, Familie, Gesellschaft. Mittelalter // Europaeische Mentalitaetsgeschichte. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1993. S.18–38.

354. Dolnik 1994: *Dolnik J.* Das axiologische Konzept und die axiologischen Wortfelder // Zeitschrift fuer Slawistik, Bd. 39. № 4, 1994. S. 504–513.

355. Efron 1972: *Efron D.* Gesture, Race and Culture. The Hague, Mouton Press. 1972.

356. Ehlich, Rehbein 1982: *Ehlich K., Rehbein J.* Augenkommunikation. Methodenreflexion und Beispielanalyse. Bd. 2. Amsterdamer

Arbeiten zur theoretischen und angewandten Linguistik. Amsterdam, John Benjamins B.V., 1982.

357. Eismann 1999: *Eismann W.* Русские фразеологизмы в иноязычном тексте. Выражение и описание обычаев при формировании стереотипа о «русских» в описаниях немецких путешественников XVI–XVIII вв. // Фразеология в контексте культуры. М.: ИЯ РАН, «Языки русской культуры», 1999. С. 41–51.

358. Ekman 1971: *Ekman P.* Universals and Cultural Differences in Facial Expressions of Emotion // Nebraska Symposium on Motivation. Lincoln, University of Nebraska Press, 1971. P. 207–283.

359. Ekman 1977: *Ekman P.* Bewegungen mit kodierter Bedeutung: Gestische Embleme // Zeichenprozesse. Posner R., Reinecke H. (Hrsg.). Frankfurt (a. M.), 1977. S. 180–198.

360. Ekman, Oster 1979: *Ekman P., Oster H.* Facial expression of emotion. Annual Review of Psychology, 1979. № 30. P. 527–554.

361. Ekman, Friesen 1981: *Ekman P., Friesen W.* The repertoire of nonverbal behavior // Nonverbal communication, interaction, and gesture. Selections from Semiotica. The Hague – Paris – New York. Mouton Publishers. 1981. P. 57–106.

362. Feichtinger 1993: *Feichtinger B.* Sexualitaet / Liebe. Antike // Europaeische Mentalitaetsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen.: Stuttgart, Alfred Kroener Verlag, 1993. S. 54–70.

363. Fleischmann 1999: *Fleischmann E.* Die Translation aus der Sicht der Kultur. Kulturelle Modelle der Translation // Филология и культура: Материалы междунар. конф. Тамбов: Изд-во Тамбов. ун-та, 1999. С.16–33.

364. Fomina 1999: *Fomina S.* Emotional wertende Lexik der deutschen Gegenwartssprache. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1999.

365. Felber, Budin 1989: *Felber H., Budin G.* Terminologie in Theorie und Praxis. Tuebingen: Guenter Narr Verlag, 1989.

366. Goerner, Kempcke 1975: *Goerner H., Kempcke G.* Vorwort // Synonymwoerterbuch. Sinnverwandte Ausdruecke der deutschen Sprache. Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1975.

367. Grabowski, Harras, Herrmann 1996: *Grabowski J., Harras G., Herrmann Th.* Bedeutung, Konzepte. Bedeutungskonzepte. Berlin, Westdeutscher Verlag, 1996.

368. Graf 1958: *Graf A.* 6000 deutsche und russische Sprichwoerter. Saale, 1958.

369. Hannerz 1995: *Hannerz U.* Kultur in einer vernetzten Welt. Zur Revision eines ethnologischen Begriffes // Kulturen – Identitaeten – Diskurse. Perspektiven Europaeischer Ethnologie. Berfin, 1995, Akademie Verlag, S. 64–84.

370. Hayakawa 1967: *Hayakawa S. J.* Semantik. Sprache im Denken und Handeln. 4. Auflage. Darmstadt: Darmstadter Blaetter, 1967.
371. Heelas 1984: *Heelas P.* Emotions across cultures. In: Objectivity and cultural divergence. S. C. Brown, eds. P. 21–42. Cambridge, Cambridge University Press. 1984.
372. Hofstadter 1987: *Hofstadter D. R.* Ein endloses geflochtenes Band. 10. Aufl., Stuttgart, Klett-Gotta, 1987.
373. Hofstaetter 1974: *Hofstaetter H.* Woerterbuch der Psychologie. Berlin, Mouton de Gruyter, 1974.
374. Hudson 1991: *Hudson R. A.* Sociolinguistics. Lecturer in linguistics. Cambridge – New York – Port Chester – Melbourne – Sydney, Cambridge University Press, 1991.
375. Hums 1971: *Hums L.* Zu einigen Fragen der Terminologie // Sprachpflege, 1971. VII. Leipzig. S. 146–148.
376. Jackendoff 1993: *Jackendoff R.* Patterns in the Mind. Language and human Nature. New York, London, Toronto, Harvester Wheatsheaf, 1993.
377. Jaeger, Plum 1989: *Jaeger L., Plum S.* Probleme der Beschreibung von Gefuehlswoertern im allgemeinen einsprachigen Woerterbuch // Woerterbuecher, Dictionaries. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Bd. 5. Berlin, 1989. S. 849–855.
378. Jaffe 1971: *Jaffe A.* The Myth of Analysis. Evanston, 1971.
379. Jeggle 1980: *Jeggle U.* Alltag // Grundzuege der Volkskunde. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980. S. 81–126.
380. Kainz 1962: *Kainz F.* Psychologie der Sprache. Bd. 2 (In 3 Bd.) Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, 1962.
381. Kaschuba 1995: *Kaschuba W.* Kulturalismus: vom Verschwinden des Sozialen im gesellschaftlichen Diskurs // Kulturen – Identitaeten – Diskurse. Perspektiven Europaeischer Ethnologie. Berlin, Akademie Verlag, 1995. S. 11–30.
382. Kendon 1981: *Kendon A.* Introduction: Current Issues in the Study of 'Nonverbal communication' // Nonverbal communication, interaction, and gesture. Selections from Semiotica. – The Hague – Paris – New York, Mouton Publishers. 1981. P. 1–56.
383. Kirchgaessner 1971: *Kirchgaessner W.* Probleme der Einheit von Rationalem und Emotionalem im Erkenntnisprozess. Berlin, Akademie Verlag, 1971.
384. Koeck 1987: *Koeck W.* Kognition – Semantik – Kommunikation // Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Frankfurt, Suhrkampff, 1987. S. 340–373.

385. Korff 1980: *Korff G.* Kultur // Grundzuege der Volkskunde. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980. S. 17–80.
386. Kroeber, Kluckhohn 1963: *Kroeber A. L., Kluckhohn C.* Culture. A critical Review of concepts and definitions. New York, 1963.
387. Kuehn 1987: *Kuehn P.* Bedeutungserklärungen im Wörterbuch: Angaben zum Verwendungsdurchschnitt oder zur Verwendungsvielfalt? Ein Beitrag zur Lexikographie des Gefühlswortschatzes am Beispiel Eifersucht // Zeitschrift fuer Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Bd. 40. 1987. S. 267–278.
388. Kuesters 1993: *Kuesters U.* Freude, Leid und Glueck. Mittelalter // Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen. Stuttgart, Alfred Kroener Verlag, 1993. S. 307–317.
389. Lakoff 1980: *Lakoff G., Johnson M.* Metaphors we live by. Chicago, 1980.
390. Lakoff 1987: *Lakoff G.* Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind.– Chicago – London, 1987.
391. Langacker 1990: *Langacker R. W.* Concept, image and symbol: The cognitive basis grammar. Berlin, Mouton de Gruyter, 1990.
392. Lauffer 1948: *Lauffer O.* Farbensymbolik. Thuringen, 1948.
393. Leewen-Turnovcova 1996: *Leewen-Turnovcova J. van.* 'Rationalität' und 'Irrationalität' als Linearität und Zirkularität: Zur Konzeptualisierung der Verrücktheit und der praktischen Vernunft // Zeitschrift fuer Slawistik, Bd. 41, № 3, 1996. S. 305–337.
394. Lundt 1993: *Lundt B.* Freude, Leid, Glueck. Neuzeit // Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen. Stuttgart: Alfred Kroener Verlag, 1993. S. 317–325.
395. Lutz 1982: *Lutz C.* The domain of emotion words on Ifaluk // American Ethnologist 1982. № 9. P. 113–128.
396. Lutz 1988: *Lutz C.* Unnatural emotions. Chicago and London, University of Chicago Press, 1988.
397. Mandler 1975: *Mandler G.* Mind and Emotion. New York, 1975.
398. Markovina 1993: *Markovina I.* Interkulturelle Kommunikation: Eliminierung der kulturologischen Lücken // Sprache, Kultur, Identität. Selbst und Fremdwahrnehmungen in Ost- und Westeuropa. Frankfurt–a.–M., 1993. S. 174–178.
399. Martinich 1991: *Martinich A. P.* A Theory for Metaphor // Pragmatics. New York-Oxford, Oxford University Press, 1991. P. 507–517.
400. Ochs 1993: *Ochs E.* Language as symbol and tool // Ochs E. Culture and language development. Language acquisition and language

socialization in a Samoan village. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 210–227.

401. Ortony, Clore, Collins 1988: *Ortony A., Clore J. L., Collins A.* The cognitive structure of emotions. Cambridge, Cambridge University Press, 1988.

402. Poyatos 1981: *Poyatos F.* Gesture Inventories: Fieldwork Methodology and Problems // Nonverbal communication, interaction, and gesture. Selections from Semiotica. The Hague – Paris – New York, Mouton Publishers. 1981. P. 371–399.

403. Poyatos 1993: *Poyatos F.* Paralanguage. A linguistic and interdisciplinary approach to interactive speech and sound. Amsterdam Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1993.

404. Reuning 1941: *Reuning K.* Joy and Freude. A comparative Study of the linguistics Field of plesurable Emotions in English and German. Starthmore, Pennsylvania, 1941.

405. Sager 1995: *Sager S.* Verbales Verhalten. Eine semiotische Studie zur linguistischen Ethologie. Tuebingen, Stauffenburg Verlag, 1995.

406. Schaefer 1987: *Schaefer B.* Germanistische Lexikographie. Tuebingen, Max Niemeyer Verlag, 1987.

407. Schiffrin 1981: *Schiffrin D.* Handwork as Ceremony: The Case of the Handshake // Nonverbal communication, interaction, and gesture. Selections from Semiotica. The Hague – Paris – New York, Mouton Publishers. 1981. P. 237–250.

408. Schwarz 1992: *Schwarz M.* Kognitive Semantiktheorie und neuropsychologische Realitaet. Tuebingen, Niemeyer, 1992.

409. Schwarz 1996: *Schwarz M.* Einfuehrung in die kognitive Linguistik. Tuebingen und Basel: Francke Verlag, 1996.

410. Sonnabend 1993: *Sonnabend H.* Religiositaet. Antike // Europaeische Mentalitaetsgeschichte. Stuttgart, Alfred Kroener Verlag, 1993. S. 104–120.

411. Sorokin 1993: *Sorokin J. A.* Lakunen-Theorie. Zur Optimierung interkultureller Kommunikation // Sprache, Kultur, Identitaet. Selbst und Fremdwahrnehmungen in Ost- und Westeuropa. Frankfurt-a.-M., 1993. S. 167–173.

412. Sparhawk 1981: *Sparhawk C. M.* Contrastive-Identificational Features of Persian Gesture // Nonverbal communication, interaction, and gesture. Selections from Semiotica. The Hague – Paris – New York, Mouton Publishers. 1981. P. 421–458.

413. Taylor 1995: *Taylor J. R.* Linguistic categorization. Prototypes in linguistic theory. Oxford, Clarendon Press, 1995.

414. Tomkins 1963: *Tomkins S.* Affect, imagery, consciousness. V. II. The negative affects. New York, 1963.

415. Tomkins, McCarter 1964: *Tomkins S., McCarter R.* What and Where the Primary Affects? Some Evidence for a Theory // Perceptual and motor Skills. V. 18, 1964. P. 119–159.

416. Vester 1991: *Vester H.* Emotion, Gesellschaft und Kultur. Grundzuege einer soziologischen Theorie der Emotionen. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1991. S. 286.

417. Vocelka 1993: *Vocelka K.* Neue Zeit. Aengste und Hoffnungen // Europaiesche Mentalitaetsgeschichte. Stuttgart, Alfred Kroener Verlag, 1993. S. 295–301.

418. Wegner 1985: *Wegner I.* Frame-Theorie in der Lexikographie. Untersuchungen zur theoretischen Fundierung und computergestuetzten Anwendung kontextueller Rahmenstrukturen fuer die lexikographische Repraesentation von Substantiven. Tuebingen, Max Niemeyer Verlag, 1985.

419. Woodall 1996: Woodall W. Relationships between verbal and nonverbal communication // Nonverbal Communication. The unspoken dialogue. Second edition. New York – London – Tokyo, The McGraw-Hill Companies. 1996. P. 135–187.

420. Zillig 1982: *Zillig W.* Bewerten: Sprechakttypen der bewerten Rede. Tuebingen: Max Niemeyer Verlag, 1982.

СПИСОК СЛОВАРЕЙ И СОКРАЩЕНИЙ

1. АС 1994: Русский ассоциативный словарь. Кн. 1. Прямой словарь: от стимула к реакции/ Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А. и др. М.: ИРЯ РАН, 1994.
2. АС 1994а: Русский ассоциативный словарь. Кн. 2. Обратный словарь: от реакции к стимулу/ Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А. и др. М.: ИРЯ РАН, 1994.
3. АС 1996: Русский ассоциативный словарь. Кн. 3. Прямой словарь: от стимула к реакции/ Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А. и др. М.: ИРЯ РАН, 1996.
4. АС 1996а: Русский ассоциативный словарь. Кн. 4. Обратный словарь: от реакции к стимулу/ Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А. и др. М.: ИРЯ РАН, 1996.
5. АС 1998: Русский ассоциативный словарь. Кн. 5. Прямой словарь: от стимула к реакции/ Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А. и др. М.: ИРЯ РАН, 1998.
6. АС 1998а: Русский ассоциативный словарь. Кн. 6. Обратный словарь: от реакции к стимулу/ Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А. и др. М.: ИРЯ РАН, 1998.
7. БАС 1950–1965: Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.–Л.: АН СССР, 1950–1965.
8. КФЭ 1994: Краткая философская энциклопедия / Ред. Е. Ф. Губский. М.: Изд. гр. «Прогресс», 1994.
9. ПС 1965: Психологический словарь / Сост. Н.З. Богозов, И. Г. Гозман и др. Магадан: Изд-во МГПИ, 1965.
10. ПС 1983: Психологический словарь / Под ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика, 1983.
11. ПС 1990: Психология: Словарь / Под ред. В.В. Абраменкова. М.: Политиздат, 1990.
12. МЛ: Немецко-русский электронный словарь «МультиЛекс». М., 1998.

13. Преображенский 1959: *Преображенский А. Г.* Этимологический словарь русского языка: В 2 т. М.: ГИС, 1959.
14. Рахманов 1983: *Рахманов И. В.* и др. Немецко-русский синонимический словарь. М.: Рус. яз., 1983.
15. ССРЯ 1970: Словарь синонимов русского языка: В 2 т./ Под ред. А. П. Евгеньевой. Л.: Наука, 1970.
16. ССРЯ 1986: Словарь синонимов русского языка / Ред. Л. А. Чешко. М.: Наука, 1986.
17. Срезневский 1989: *Срезневский И. И.* Словарь древнерусского языка: В 3 т. М.: Книга, 1989.
18. ТС 1938–1940: Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: ГИЗ ин. и нац. словарей, 1935–1940.
19. ТС 1995: *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка. 2-е изд., испр. и доп. М.: Азъ, 1995.
20. ЭС 1996: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. 3-е изд., стереотип. СПб.: Изд. центр «Терра», 1996.
21. DW 1992: *Deutsches Woerterbuch. Wahrig G. Guetersloh – Muenchen*, 1992.
22. DW 1989: *Deutsches Universalwoerterbuch. Dudenverlag Mannheim – Wien – Zuerich*, 1989.
23. EW 1989: *Etymologisches Woerterbuch des Deutschen in 3 Bd. Pfeifer W. Berlin, Walter de Gruyter*, 1989.
24. EW 1999: *Etymologisches Woerterbuch der deutschen Sprache Kluge F. Berlin – New York, Walter de Gruyter*, 1999.
25. HWB 1984: *Handwoerterbuch der deutschen Sprache in 2 Bd. Kempcke u. a. Berlin, Akademie Verlag*, 1984.
26. KPL 1949: *Kleines psychologisches Lexikon. Berka M., Wien*, 1949.
27. *Synonymwoerterbuch 1975: Sinnverwandte Ausdruecke der deutschen Sprache. Hrsg. Goerner H., Kempcke G. Leipzig, Bibliographisches Institut*, 1975.
28. VW 1986: *Valenzwoerterbuch zur Syntax und Semantik deutscher Verben. Hrsg. von H. Schumacher. Berlin – N.Y., Walter de Gruyter*, 1986.
29. WBP 1974: *Woerterbuch der Psychologie. Hofstaetter H. Berlin: Mouton de Gruyter*, 1974.
30. WBP 1976: *Woerterbuch der Psychologie (hrsg. von Clauss G.) Leipzig, VEB Bibliographisches Institut*, 1976.
31. WgW 1979: *Woerter und Gegenwoerter: Antonymie der deutschen Sprache. Ch. Agricola, B. Agricola. Leipzig, VEB Bibliographisches Institut*, 1979.

32. WV 1977: Woerterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Adjektive. K.-E. Sommerfeldt, H. Schreiber. Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1977.

33. WV 1975: Woerter und Wendungen. Woerterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Hrsg. von Agricola E. Leipzig, Bibliographisches Institut, 1975.

Научное издание

Николай Алексеевич Красавский

**ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ
В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ**

Монография

ЛР № 020048 от 20.12.96 г.

Подписано к печати 03.05.2001 г. Формат 60 × 84/16. Печать офс. Бум. офс.
рингура «Таймс». Усл. печ. л. 28,8. Уч.-изд. л. 31,0. Тираж 250 экз. Заказ 498

ВГПУ. Издательство «Перемена»
Типография издательства «Перемена»
400131, Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 27